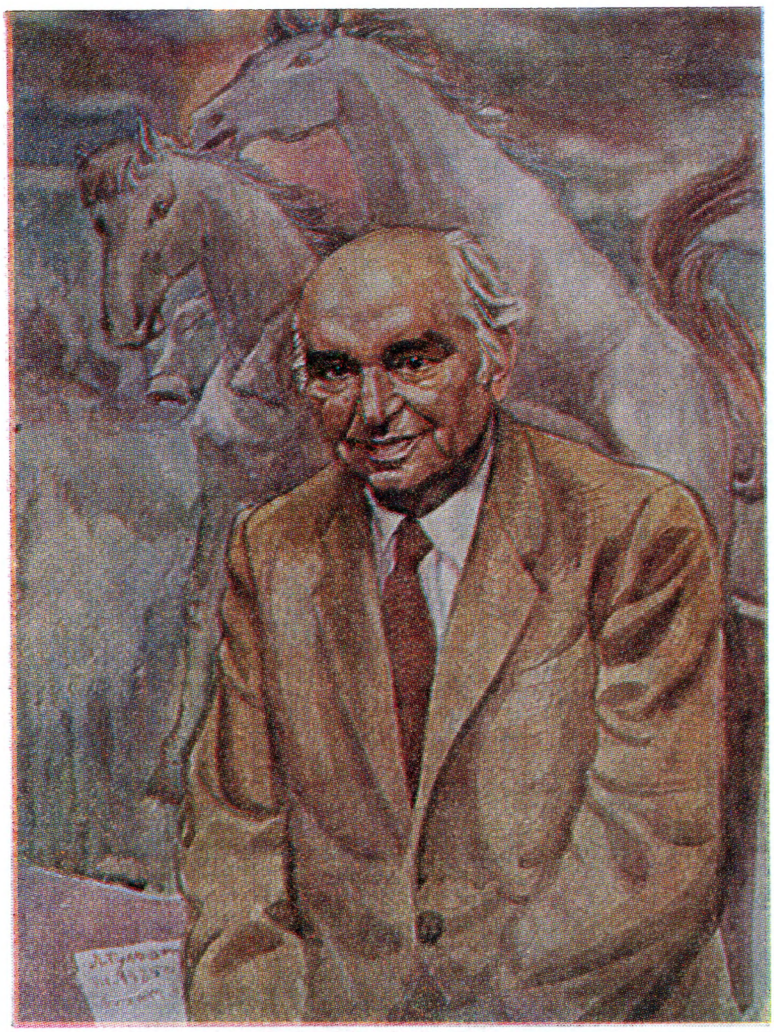
ISSN 0130 – 6545

12. 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Портрет писателя П. ВЕЖИНОВА.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

12 декабрь 1986

Содержание

ГРЭМ ГРИН — Десятый *(Повесть. Перевод с английского И. Бернштейн)* 3

Из аргентинской поэзии

АРИЭЛЬ КАНСАНИ, РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТО АРРИЭТА, АРТУРО КАПДЕВИЛА, ХОСЕ ГОНСАЛЕС КАРБАЛЬО *(Перевод с испанского Сергея Гончаренко)* 54

НАТАЛИ САРРОТ — Детство *(Повесть. Перевод с французского Л. Зониной и М. Зониной Вступление Морисо Ваксмахера)* 59

КОБО АБЭ — Вошедшие в ковчег *(Роман. Окончание. Перевод с японского В. Гривнина)* 132

Публицистика

НИКИТА ПОКРОВСКИЙ — Пойдем со мной! *(Американские зарисовки)* 176

Из публицистического наследия

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ — Воспоминания *(Фрагменты книги. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева)* 189

Антирубрика

ЛЮБЕН ДИЛОВ — Роботы сознают свое предназначение *(Перевод с болгарского М. В. Тарасовой)* 208

Редакцию посетили...

Л. Васильева — Ованес Пиликян (Великобритания) 188
И. Кивель — Польские литераторы 211

Критика

А. МУЛЯРЧИК — В поисках альтернативы *(О новых чертах современной литературы США)* 212

Отклики, встречи, впечатления

ЛИЛИЯ ТОДОРОВА — Контакты или экспансия? 222
Л. ЗАМОЙСКИЙ — Из португальского блокнота 233

Среди книг

Издано в СССР

Иван Мегела — Летописец повседневности *(Дежа Костолани. Избранное)* ✦ Ф Наркирьер — Роллан пишет письма... *(Ромен Роллан. Статьи, письма)* 239

Издано за рубежом

М. Тугушева — Книга против рабства *(Лесли Фидлер. Что было литературой? Лори Крумпекер. Четыре романа Гарриет Бичер-Стоу)* ✦ Ю. Каграманов — Размышления «на плоту» *(Клод Эмбер. Во что я верю)* 242

Из месяца в месяц

245

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1986 год, № 1—12 252

© «Иностранная литература», 1986.

ГРЭМ ГРИН

Десятый

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН

Часть первая

1

Время суток определяли в бараке главным образом по тому, когда приносили еду, хотя на самом деле их кормили нерегулярно, когда придется; они коротали дни за немудрящей игрой, а с наступлением темноты по общему молчаливому уговору укладывались и засыпали — не заботясь о точном времени потому что точного времени все равно никто не знал; в сущности, у каждого заключенного время было свое. Сначала, когда их только схватили, у них имелось на тридцать два человека трое верных часов да еще старый, чиненый будильник, по мнению остальных часовладельцев, никуда не годный. Первыми недосчитались двух наручных часов: их обладателей однажды утром ровно в семь — а по будильнику в десять минут восьмого — увели из барака. Потом, немного спустя, часы появились снова, но уже на запястьях у двух охранников.

Таким образом остались только будильник и большой серебряный брегет на цепочке — его носил в жилетном кармане мэр города Буржа. А хозяином будильника был паровозный машинист Пьер. Между ними завязалось соперничество. Эти двое считали, что время принадлежит им, а остальным двадцати восьми узникам — нет. Но времени-то было два, и каждый из них с невероятной страстью отстаивал свое. Эта страсть выделяла их среди товарищей, и в любое время суток их можно было видеть сидящими бок о бок где-нибудь в углу барака — большого бетонного сарая; они даже ели вместе.

Но однажды мэр забыл завести свой брегет: был день шепотов, накануне ночью со стороны города слышались выстрелы, как и в тот раз, когда увели двоих с наручными часами; и у каждого в мозгу сгустилось слово *«заложник»*, будто черная туча, по прихоти ветра

© Graham Greene. 1985.

ГРЭМ ГРИН — GRAHAM GREENE (род. в 1904 г.). Английский писатель. Читателям журнала известен по переведенным на русский язык романам: «Тихий американец» («ИЛ», 1956, № 6—7), «Наш человек в Гаване» («ИЛ», 1959, № 3—4), «Ценой потери» («ИЛ», 1964, № 9—10). «Комедианты» («ИЛ», 1966, № 9—10), повести «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» («ИЛ», 1982, № 6). В «Иностранной литературе» напечатаны также очерк Г. Грина «J'Accuse. Теневая сторона Ниццы» (1983, № 7), фрагменты книги «Мое знакомство с генералом, или Как я оказался ко всему этому причастным» (1986, № 4—5).

Повесть «Десятый» вышла в Лондоне в 1985 г. («The Tenth Man». London, The Bodley Head and Anthony Blond).

принявшая вид надписи. В тюрьме чего только не вообразишь — мэра и машиниста еще больше сплотила мысль, что немцы, может быть, нарочно выбирают тех, у кого часы, чтобы лишить людей понятия о времени. Мэр даже предложил было сокамерникам спрятать последние двое часов — пусть останутся товарищам,— но, высказанная вслух, эта мысль оказалась очень уж похожей на трусость, и он не договорил, оборвав на полуслове.

Как бы то ни было, но мэр забыл завести брегет. Проснувшись утром, он в первом свете зари привычно взглянул на циферблат.

— Ну, сколько там на ваших антикварных? — спросил Пьер.

Но черные бесполезные стрелки застряли, как сломанные, на трех четвертях первого. Мэру показалось, что это самая ужасная минута в его жизни, гораздо ужаснее даже той, когда он был арестован. В тюрьме все воспринимается искаженно, и чувство пропорции утрачивается в первую голову. Он обвел сокрушенным взглядом лица соседей, ощущая себя предателем, который уступил врагу единственно верное время. Хорошо хоть здесь нет никого из Буржа, подумал он. Был парикмахер из Этена, трое мелких служащих, шофер грузовика, зеленщик, табачник,— все, кроме одного, ниже его по социальному положению, и хотя он чувствовал себя в ответе за них, зато полагал, что их легче будет обмануть, и так все-таки лучше, говорил он себе, пусть они верят в то, что у них по-прежнему есть надежный указатель времени, а не полагаются на свои неорганизованные, слепые догадки да на старый, чиненый будильник.

Наскоро прикинув по серому небу за решеткой, мэр твердо ответил:

— Двадцать пять минут шестого.

И встретил внимательный взгляд того единственного соседа по бараку, с чьей стороны мог опасаться разоблачения,— парижского адвоката Шавеля, застенчивого нелюдима, который лишь иногда делал неуклюжие попытки доказать остальным, что он такой же человек, как все. Для них он был фигурой диковинной, даже смешной: в обыденной жизни адвокаты не водятся, это такие большие куклы, которых достают из сундука в особых случаях; а тут адвокат в тюрьме и без черной мантии.

— Вздор,— отозвался Пьер.— Что это случилось с музейной редкостью? Уже без четверти шесть.

— Штампованные будильники всегда спешат.

И тут адвокат, очевидно по привычке к точности, возразил:

— Вчера вы говорили, что будильник отстает.

С этой минуты мэр возненавидел Шавеля. Они с Шавелем были единственные в бараке люди с положением, и уж он бы, мэр, никогда бы Шавеля так не предал. Наверное, у того есть свои причины, какие-то скрытые и, возможно, постыдные побуждения. И хотя адвокат почти все время молчал и ни с кем не дружил, мэр сказал себе: «Зарабатывает популярность. Думает, что ему здесь все будут подчиняться. В диктаторы лезет».

— Давай-ка я взгляну, что там с вашей реликвией,— протянул руку Пьер. Но часы были надежно прикованы к жилету мэра серебряной цепочкой с печатками и брелоками — не оторвешь. И мэр мог позволить себе надменно пожать плечами.

Но тот день навсегда остался в его личном календаре черным днем ужасных волнений — наряду с такими, как день его свадьбы, рождения первенца, муниципальных выборов, кончины жены. Надо было как-то ухитриться завести брегет, хотя бы приблизительно переставить стрелки и чтобы никто не заметил; а парижский адвокат, как на грех, кажется, весь день не спускал с него глаз. Впрочем, завод не представлял особого труда, ведь идущие часы тоже требуется заводить — завести сначала до половины, а потом, среди дня, словно бы в рассеянности, еще немного подкрутить.

Но Пьер и это сразу углядел.

— Вы что же делаете? — подозрительно поинтересовался он.— Вы ведь их уже заводили. Сломались, что ли, ваши антикварные?

— Я задумался,— объяснил мэр; но на самом деле ум его лихорадочно работал. Перевести стрелки — это была задача потруднее. Уже больше чем полдня они тащились за стрелками будильника с разрывом в добрых пять часов. Тут даже зовом природы нельзя было воспользоваться. Уборными служили ведра, выставленные в ряд во дворе, и для удобства охраны по одному туда не выпускали только группами не меньше чем по шесть человек. И дожидаться ночи не имело смысла: свет в бараке не зажигали, а в темноте стрелок не разглядеть. При этом надо было неотступно держать в уме приблизительное время, чтобы при первой же возможности сразу поставить стрелки более или менее правильно.

Наконец, уже к вечеру в бараке вспыхнула ссора из-за детской карточной игры наподобие «пьяницы» — некоторые резались в самодельные карты целые дни напролет. Все глаза устремились на ссорящихся, и в это мгновение мэр вынул из кармана брегет и быстро перевел стрелки.

— Который час? — неожиданно спросил адвокат.

Мэр вздрогнул, будто выступал свидетелем в суде, и вдруг услышал каверзный вопрос адвокат смотрел на него, и лицо у парижанина было, как обычно, растерянное и несчастное — лицо человека, который не вынес из своего прошлого ничего, на что можно было бы опереться теперь в страшную минуту.

— Двадцать пять минут шестого.

— Мне казалось, что позже.

— По моему времени так.— отрезал мэр. Действительно, это было его время, и никакой ошибки тут отныне быть не могло, он ведь сам его выдумал.

2

Луи Шавель не понимал, за что мэр его ненавидит. Но что ненавидит, знал точно: вот такой же ненавидящий взгляд он нередко встречал в суде у свидетелей и арестантов. Теперь, сам оказавшись арестантом, он все никак не мог приспособиться к новой точке зрения и, делая робкие попытки к сближению с соседями, терпел неудачу, потому что их считал настоящими природными арестантами, которые рано или поздно все равно должны были попасть в тюрьму за кражу, мошенничество, изнасилование, между тем как он — арестант по ошибке. При этом естественно было бы им с мэром держаться заодно, нельзя же мэра отнести к природным арестантам; хотя ему помнилось дело о подлоге где-то в провинции, в котором был замешан местный мэр; он сделал было какие-то первые неловкие шаги и был удивлен и озадачен натолкнувшись на открытую неприязнь.

Другие обходились с ним вполне дружелюбно, всегда отвечали, когда он к ним обращался, хотя сами не заговаривали, разве что могли пожелать доброго утра. И вскоре его стали ужасать эти приветствия в тюремных стенах. «Доброе утро!» — говорили ему или: «Добрый вечер!» — словно встречные на улице по пути в суд. А на самом деле они все вместе были заперты в бетонном сарае тридцати пяти футов в длину и семнадцати в ширину.

Первую неделю он изо всех сил старался вести себя как настоящий арестант, сумел даже ввязаться в карточную игру, однако оказалось, что карты ему не по средствам. Денег он бы не пожалел, но те несколько банкнот, которые у него не отобрали при аресте, представляли богатство за пределами возможностей его партнеров, а их ставки были за пределами его возможностей. Они играли, например, на пару носков, и проигравший в ожидании реванша напяли-

вал ботинки на босу ногу. А адвокат боялся утратить любую мелочь из того, что характеризовало его как человека приличного, с положением, владеющего собственностью. Он отказался от карт, хотя ему в общем-то везло, он даже выиграл жилетку с оторванными пуговицами. Потом, когда стемнело, он возвратил ее владельцу и тем окончательно уронил себя в их глазах. Но они не осуждали его за отсутствие вкуса к настоящей игре, он ведь юрист, что с него взять?

В бараке у них было теснее, чем на самой людной городской площади, и Шавель постепенно усвоил тот урок, что в людской толчее можно быть невыносимо одиноким. Он утешал себя, что каждый день приближает конец войны, рано или поздно кто-нибудь да одержит победу, кто именно, ему уже становилось безразлично лишь бы конец. Он был заложником, но мысль о том, что заложников расстреливают, почти не приходила ему в голову. Смерть двух сокамерников принесла лишь минутное потрясение; растерянный и подавленный, он как-то не осознал, что и его тоже могут завтра вывести из переполненного сарая. Человек в толпе одинок, зато незаметен, спрятан.

Но как-то раз тоска по прошлому, потребность убедить себя, что была какая-то прежняя жизнь, из которой он вышел и в которую еще вернется, одолела его и заставила заговорить. Шавель пересел на другое место, рядом с одним из мелких служащих, тощим молчаливым юнцом, которому в бараке дали странное прозвище — Январь. Может быть, среди его товарищей по заключению нашелся кто-то, кто разглядел в нем юное, неразвившееся существо, без времени загубленное морозом?

— Январь,— обратился к нему Шавель,— вам приходилось когда-нибудь путешествовать по Франции?

Характерно для юриста, что, даже делая попытку вступить в общение с ближним, он начал с вопроса, словно допрашивал свидетеля.

— Да нет, я из Парижа ни ногой,— ответил Январь потом напряг мысли и добавил: — В Фонтенбло вот был. Жил там одно лето.

— Вы не знаете такого города — Бринак? Туда ехать с Западного вокзала.

— Слыхом не слыхивал,— хмуро ответил молодой человек, словно его в чем-то обвиняли и зашелся в долгом сухом кашле — будто горошины раскатились по дну кастрюли.

— Ну, тогда вы не знаете и нашу деревню — Сен-Жан де Бринак. Это примерно в двух милях к востоку от города. Там мой дом.

— Я думал, вы парижанин.

— Я служу в Париже,— объяснил Шавель.— А когда уйду на пенсию, буду жить в Сен-Жане. Этот дом достался мне в наследство от отца. А ему — от его отца.

— Кем был ваш отец? — без особого любопытства спросил Январь.

— Адвокатом.

— А его отец?

— Тоже адвокатом.

— Кому что нравится,— пожал плечами маленький конторщик.— По мне, так это не работа, а тоска зеленая.

— Если у вас найдется клочок бумаги,— продолжал Шавель,— я бы нарисовал вам план дома и сада.

— Не найдется,— ответил Январь.— Да и незачем. Ваш дом, не мой.

И снова закашлялся, сжимая костлявыми пальцами колени. Словно кончил разговор с просителем, которому, к сожалению, ничем, ровно ничем не может быть полезен.

Шавель отошел. Он остановился возле Пьера и спросил, который час.

— Без пяти двенадцать.

Рядом с ним мэр возмущенно пробурчал:

— Опять отстает.

— Я полагаю, по роду вашей профессии,— сказал Шавель, обращаясь к машинисту — вам пришлось повидать разные места?

Вопрос прозвучал фальшиво-фамильярно, как при перекрестном допросе, когда адвокат собирается поймать свидетеля на лжи.

— Да как сказать.— неопределенно ответил Пьер.

— Вы случайно не знаете такой станции — Бринак? Примерно в часе езды с Западного вокзала.

— Никогда на этой линии не работал,— сказал Пьер.— Мой вокзал — Северный.

— А-а. Ну тогда вы, конечно, не знаете деревни Сен-Жан...

Отчаявшись, Шавель отошел и снова сел в стороне от всех у холодной бетонной стены.

А ночью опять, в третий раз, была слышна пальба: короткая пулеметная очередь, рассыпные выстрелы из винтовок и потом что-то вроде взрыва гранаты. Заключенные лежали вповалку на земляном полу и молча прислушивались. Никто не спал. Ждали. И трудно было сказать, чего было больше в этом ожидании, боязни или радостного облегчения как у постели больного, который долго лежал пластом, но вот наконец зашевелился, и, значит дело пошло на поправку Шавель тоже затаился вместе со всеми, он не испытывал страха: здесь он надежно зарыт его не найдут. А мэр обхватил себе грудь руками, прикрывая жилетный карман с брегетом чтобы не так громко слышен был его ровный старинный ход: «тик-так-тик!»

3

Назавтра в три часа дня — по показаниям будильника — в барак пришел офицер, первый офицер за многие недели заключения; он оказался совсем молодой, неопытность видна была даже в том, как он неодинаково подбрил себе усики — с левой стороны больше, чем с правой Он смущался словно школьник в актовом зале, впервые вызванный для получения награды, и говорил отрывисто, чтобы произвести впечатление силы, которой у него на самом деле не было. Он сказал:

— Минувшей ночью в городе были совершены убийства. Погибли помощник военного коменданта ефрейтор и велосипедистка.— Он добавил — Женщина нас не интересует мы не запрещаем французам убивать француженок.— Его речь была явно заготовлена заранее, но с иронией он перебрал и вообще исполнение было любительское — он точно играл с ними в шарады. Он продолжал: — Вы знаете, для чего находитесь здесь живете с удобствами на хороших пайках, когда наши ребята терпят лишения и воюют Так вот, теперь вам придется платить по счету Нас не вините. Вините своих убийц Я отдал приказ расстрелять каждого десятого заключенного в этом лагере. Сколько вас здесь? Р-рассчитайсь! — выкрикнул он. И они понуро подчинились.— ...Двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый.— Все понимали что он знает и без расчета Очевидно, так требовалось по шараде Он сказал — Итак, от вас — трое Кто именно нам совершенно безразлично. Выбирайте сами. Начало похоронной церемонии — завтра в семь часов утра.

Вот и вся шарада; они слышали, как он протопал за стеной четканя шаг по асфальту. Шавель даже задумался на минуту, какая часть шарады тут игралась: «ночь», «женщина» или, может быть

«тридцать»? Впрочем, вернее всего, изображалось целое: «заложник».

Потянулась тишина. Потом эльзасец по фамилии Крог произнес:

— Сами, что ли, будем вызываться?

— Вздор,— ответил пожилой служащий в пенсне.— Зачем же вызываться. Устроим жеребьевку.— И добавил: — Хотя можно отбирать по возрасту — старшие вперед.

— Нет, нет,— возразил кто-то.— Так несправедливо.

— Зато естественно: закон природы.

— Какой там закон природы,— отозвался кто-то третий.— У меня вон дочка умерла пяти лет...

— Только жребий,— решительно сказал мэр. Это — единственно справедливый способ.— Он по-прежнему сидел обхватив руками грудь, прикрывая карман с часами. однако по всему бараку раздавалось их мерное, настырное тиканье.— Но только бессемейные,— добавил он.— Тех, у кого семья, надо исключить. На них ответственность...

— Ха-ха! Ишь, какой хитрый,— отозвался Пьер.— Почему это семейным поблажка? Их ответственность кончилась. Сами-то вы, конечно, человек женатый?

— Я потерял жену,— ответил мэр.— И теперь одинок. А вы?

— Женат,— буркнул Пьер.

Мэр принялся отстегивать цепочку своего брегета: один, без соперника, он как единственный обладатель времени чувствовал себя обреченным. Обведя глазами лица соседей, он остановился на Шавеле — вероятно, потому, что тот был в жилете и ему было куда пристегнуть часы. Мэр сказал:

— Мсье Шавель, не могли бы вы взять мои часы, на случай если...

— Попросите лучше кого-нибудь другого,— ответил Шавель.— Я холост.

Снова заговорил пожилой служащий Он сказал:

— Я женат, поэтому имею право говорить. Все это неправильно. Жребий надо бросать на всех. Нам, может быть еще не раз придется прибегать к жребию, и представьте себе. что за жизнь будет у нас в бараке, если среди нас появятся привилегированные — те, кому обеспечена неприкосновенность. Вы, все остальные, возненавидите нас. Ваш страх не будет нашим страхом...

— Он прав,— сказал Пьер.

Мэр снова пристегнул свой брегет.

— Как хотите,— вздохнул он.— Но если бы и налоги взимали по этому же принципу...

Он сокрушенно развел руками.

— Каким способом будем решать? — спросил Крог.

— Самый быстрый — доставать бумажки из ботинка,— предложил Шавель.

Крог презрительно оборвал его:

— На что нам самый быстрый? Для кого-то из нас это будет последняя в жизни игра. Хоть удовольствие получим напоследок. По-моему, бросать монету.

— Не годится,— сказал служащий.— Монета не дает равных шансов.

— Нет, только тянуть своими руками,— изрек мэр. Пожилой служащий пожертвовал для жребия письмо из дома. Торопливо перечитал в последний раз и порвал на тридцать клочков. Три клочка пометил крестами, а потом все тридцать скрутил в трубочки.

— У Крога самый большой ботинок,— сказал он.

Бумажки перемешали на полу и покидали в ботинок Крога.

— Тянем в алфавитном порядке,— распорядился мэр.

Шавель больше не чувствовал себя надежно спрятанным среди толпы. Ему мучительно хотелось выпить. Пальцы сами теребили сухую кожицу на губе.

— Что ж, пожалуйста,— сказал шофер грузовика.— Кто-нибудь есть раньше Вуазена? Ну, поехали.

Он сунул руку в ботинок и долго шарил, словно искал какую-то определенную бумажку. Вытащил, развернул, посмотрел, как бы не веря собственным глазам. Проговорил: «Она» — и сел, на ощупь достал сигарету, но, взяв ее в рот, забыл прикурить.

Шавеля наполнила огромная, стыдная радость. Он считал, что спасен: осталось двадцать девять человек и всего две меченые бумажки. Его шансы сразу возросли: только что было десять против одного, и вот уже четырнадцать против одного; вторым тянул зеленщик, он с равнодушным видом показал товарищам пустую бумажку. Вообще, сразу же установилось, что никакие выражения радости не допускаются, нельзя же потирать руки на глазах у обреченных.

И снова тоскливое беспокойство — хотя еще и не страх — стало расширять свои владения в душе Шавеля. Сперло грудь; когда шестой человек вытянул пустую бумажку, началась нервная зевота, а когда дошло до десятого — это был юнец Январь — и шансы снова стали такими же, как вначале, он почувствовал, что к сердцу подбирается словно бы глухая обида. Одни хватали первую попавшуюся бумажку, другие, быть может, из опасения, что злой рок навязывает им свой выбор, взяв бумажную трубочку, тут же снова выпускали ее из пальцев и выбирали другую. Время тянулось невозможно медленно; человек по фамилии Вуазен один сидел у стены с незажженной сигаретой во рту и ни на кого не обращал внимания.

Шансы уже упали до восьми против одного, когда пожилой служащий — его фамилия оказалась Ленотр — вытянул вторую метку. Он откашлялся и нацепил пенсне, как будто желая удостовериться, что не ошибся.

— Э-э, мсье Вуазен, позвольте к вам присоединиться,— проговорил он и неуверенно улыбнулся.

На этот раз Шавель никакой радости не испытал, хотя шансы его на минуту снова подскочили до небывалой высоты: пятнадцать против одного. Но ему было стыдно перед храбростью простых людей. Скорее бы уж все кончилось. Как в карточной игре, которая чересчур затянулась, и ждешь, чтобы кто-нибудь сделал наконец последний ход. Ленотр, сидя у стены рядом с Вуазеном, перевернул свою бумажку обратной, исписанной стороной.

— От жены? — спросил Вуазен.

— От дочери,— ответил Ленотр.— Прошу извинения.

Он отошел туда, где лежала его скатанная постель, достал блокнот и, снова усевшись рядом с Вуазеном, стал писать аккуратным, без нажима, разборчивым почерком. Шансы уже снова были десять против одного. С этой минуты шансы Шавеля неумолимо устремились вниз, как перст указующий: девять против одного, восемь против одного. Те, кому еще осталось тянуть жребий, вынимали свои бумажки не мешкая и отходили, они словно располагали какими-то секретными сведениями и знали что избран — он. Когда подошла его очередь, в ботинке белели всего три бумажки, и такой ограниченный выбор показался ему чудовищной несправедливостью. Он вынул было одну, но, решив, что его рукой двигало внушение стоявших рядом и что именно эта бумажка как раз и помечена крестом, бросил ее и схватил другую.

— Подсмотрел, законник! — крикнул один из двоих оставшихся.

Но второй на него шикнул:

— Ты что? Ему вон теперь крест достался.

Ленотр позвал:

— Идите сюда, мсье Шавель, садитесь с нами.

Словно приглашал занять место на банкете за столом для почетных гостей.

— Нет,— сказал Шавель.— Нет.

Он швырнул свой жребий на пол и закричал:

— Я не соглашался на жеребьевку! Вы не заставите меня умереть за вас...

На него смотрели изумленно, но не враждебно. Он был не их поля ягода. К нему не подходили мерки, по каким они судили друг друга. Он принадлежал к другому, непонятному роду людей, и поначалу они даже не связали его поведение с трусостью.

Крог сказал ему:

— Сядьте и отдохните. Можно больше ни о чем не беспокоиться.

— Вы не имеете права,— спорил Шавель.— Это абсурд. Немцы не согласятся. Я владею собственностью...

— Не расстраивайтесь понапрасну, мсье Шавель,— посоветовал Ленотр.— Не в этот раз, так в следующий...

— Вы не можете меня заставить,— повторял Шавель.

— Не мы вас заставляем,— сказал Крог.

— Послушайте.— умоляюще проговорил Шавель. Он подобрал и протягивал им свой жребий, а они наблюдали за ним с сочувствием и любопытством.— Даю сто тысяч франков тому, кто возьмет вот это.

Он вел себя как безумный, он словно в буквальном смысле был вне себя — другой невидимый, спокойный Шавель незаметно стоял тут же, но в стороне, слышал его дикое предложение, следил за тем, как его тело принимает позорные позы страха и мольбы, и шептал, забавляясь: «Отличный спектакль, старина. Поддай еще жару. Тебе бы актером быть, ей-богу. А что, мало ли. Вдруг клюнет»

Он мелкими шажками перебегал от одного к другому и протягивал каждому обрывок бумаги, будто продавал его с аукциона:

— Сто тысяч франков,— умоляюще твердил он, а они смотрели на него с брезгливой жалостью: он был среди них единственный богатый человек, исключительная личность. Им не с кем было его сравнивать, и они решили, что такое поведение характерно для людей его класса, как путешественник, сойдя с парохода в чужом порту, раз навсегда составляет себе мнение о местных жителях по вухваткам выжиги, с которым ему случилось пообедать за одним столиком.

— Сто тысяч франков! — заклинал он.

А другой Шавель, циничный и спокойный, у него за плечом шепнул «Повторяешься, друг. Стоит ли мелочиться. Предложил бы им все, чем владеешь».

— Успокойтесь, мсье Шавель — посоветовал ему Ленотр.— Подумайте сами: ну кто согласится променять жизнь на деньги, которыми не сможет воспользоваться?

— Отдаю все, что у меня есть,— прерывающимся от волнения голосом произнес Шавель,— деньги, поместье, все. Сен-Жан де Бринак...

Вуазен раздраженно сказал:

— Умирать никому не хочется, мсье Шавель

А Ленотр повторил тоном возмутительного самодовольства (как показалось доведенному до отчаяния Шавелю):

— Успокойтесь, успокойтесь, мсье Шавель.

У Шавеля пресекся голос.

— Отдаю все,— просипел он.

Им, наконец, это надоело. Снисходительность и терпимость — вопрос нервов, а нервы у всех были напряжены.

— Сядьте! — рявкнул на него Крог.— И заткнитесь.

Но и тогда Ленотр, подвинувшись, дружески похлопал по земле рядом с собою.

«Не выгорело,— шепнул второй, спокойный Шавель.— Хана, брат. Мастерства не хватило. Попробуй изобрести что-нибудь еще...»

И тут чей-то голос проговорил:

— Расскажите-ка поподробнее. Может, я куплю.

Это сказал Январь.

5

А Шавель на самом деле не ожидал, что кто-то отзовется на его предложение: им двигала не надежда, а истерика, и теперь он сначала подумал, что над ним издеваются.

Он еще раз повторил:

— Все, что у меня есть.

Но его истерика иссохла и отпала, как струп, и обнажилось чувство стыда.

— Не смейтесь над ним,— сказал Ленотр.

— Я и не смеюсь. Говорю же — я покупаю.

Стало тихо, соседи по бараку растерялись и не знали, что подумать. Как передать другому все, чем владеешь? Они смотрели на Шавеля, наверное ожидая, что он начнет выворачивать карманы. Шавель спросил:

— Вы займете мое место?

— Да, я займу ваше место.

Крог раздраженно заметил:

— Какой ему тогда прок от этих денег?

— Я ведь могу оставить завещание. Правда?

Вуазен вдруг выдернул изо рта незажженную сигарету и швырнул об пол.

— Не нравится мне эта лавочка,— громко сказал он.— Пусть все идет как идет. Мы вот с Ленотром не можем выкупить свою жизнь так? Почему же ему можно?

— Успокойтесь, мсье Вуазен,— пробормотал Ленотр.

— Несправедливо,— настаивал тот.

Большинство заключенных разделили мнение Вуазена. Когда Шавель закатил истерику, они отнеслись к нему со снисхождением: в конце концов, смерть — это не шутка, и не приходится ожидать от богатого человека, что он будет вести себя как все, народ этот по большей части хлипкий; но теперь дело приняло другой оборот. Получается несправедливо, как правильно говорит Вуазен. Сохранял спокойствие один Ленотр: он всю жизнь проработал делопроизводителем в конторе и не раз наблюдал со своего табурета, как люди заключают несправедливые сделки.

Но в спор вмешался Январь:

— То есть как это несправедливо? Моя добрая воля, и никто не может мне препятствовать! Да вы бы все рады стать богачами, только кишка тонка. А я увидел свой шанс и не проворонил. Я умру богатым человеком, ясно? И пусть подавится, кто говорит, что это несправедливо.

В груди у него снова раскатился сухой горох.

И все споры прекратились — Январь уже распоряжался, как один из сильных мира сего: прямо на глазах менялся вес людей, словно сдвигались большие гири: тот, кто только что был имущим, опускался, чтобы стать таким, как они, а у Января голова ушла в темные заоблачные выси богатства. Он властно позвал:

— Идите сюда. Сядьте вот тут.

Шавель подчинился и подошел, сутулясь от стыда за свою победу.

— Вот что,— сказал Январь.— Вы адвокат и давайте пишите все по форме. Что у вас там есть? Денег сколько?

— Триста тысяч франков. Точной цифры не могу вам назвать.

— А этот дом, что вы рассказывали? Сен-Жан...

— Дом и шесть акров земли.

— Земля собственная или арендованная?

— Собственная.

— В Париже где живете? У вас там тоже дом?

— Снимаю квартиру.

— Мебель своя?

— Нет... Только книги.

— Вы садитесь. Составьте мне... Эту... как ее?.. дарственную.

— Хорошо. Но мне нужна бумага.

— Можете вырвать из моего блокнота,— предложил Ленотр.

Шавель сел рядом с Январем и начал писать: «Я, Жан-Луи Шавель, адвокат, проживающий в Париже, ул. Миромениль, 119, и в Сен-Жан де Бринаке... все акции и облигации, деньги на моем счете... всю мебель и движимое имущество... и земельное владение в Сен-Жан де Бринаке...»

Тут он сказал:

— Нужны два свидетеля.

Одним сразу же по привычке вызвался Ленотр — с готовностью, как, бывало, возникал на пороге кабинета по звонку хозяина.

— Нет уж,— грубо ответил ему Январь.— Мне нужны живые свидетели.

— Может быть, вы? — предложил Шавель мэру просительным тоном, словно дарственная оформлялась на его имя.

— Документ такой необычный,— засомневался мэр.— Прямо не знаю, может ли человек в моем положении...

— Тогда я подпишу,— сказал Пьер и размашисто расписался ниже Шавеля.

— Тут нужен свидетель понадежнее,— проворчал мэр.— Этот человек за рюмку спиртного засвидетельствует что угодно.

И втиснул свою фамилию в промежутке между подписями Шавеля и Пьера. Пока он писал, пригнувшись над блокнотом, им было слышно, как тикает у него в жилетном кармане старый брегет, отмеривая последние минуты перед наступлением темноты.

— А теперь завещание,— приказал Январь.— Пишите: все, что у меня есть, матери и сестре в равных долях.

Шавель сказал:

— Это недолго написать, одна фраза — и все.

— Ну нет,— горячась, возразил Январь.— Вы напишите тут снова все: про акции и облигации, и про деньги в банке, и про земельную собственность... Им же надо будет показать соседям, чтобы знали, что я за человек.

Документ был составлен, и Крог с зеленщиком скрепили его своими подписями.

— Бумаги возьмите себе вы,— сказал Январь мэру.— Может быть, немцы позволят их отослать, когда покончат со мной А если нет, вы должны будете их сохранить до конца войны...— Он закашлялся, бессильно откинувшись к стене сарая. А потом произнес: — Я — богатый человек, я всегда знал что буду богатым.

Свет постепенно уходил из барака скатываясь в рулон как ковер с пола Сумрак скрыл кашляющего юнца, но пожилому соседу Вуазена еще хватало света для письма. В бараке воцарилась зловещая тишина — страсти утихли, и говорить больше было не о чем. Брегет и будильник невпопад отбивали шаг навстречу ночи. Когда совсем стемнело, Январь начальственно подозвал его словно слугу:

— Шавель!

Шавель послушно подошел.

— Расскажите о моем доме.

— Он находится в двух милях от деревни.

— Сколько там комнат?

— Большая комната, мой кабинет, гостиная. пять спален, приемная, где я беседую с клиентами, ну и, разумеется, ванная, кухня... комната для прислуги.

— Расскажите про кухню.

— Про кухню я мало знаю. Просторная, с каменным полом. Моя экономка была ею довольна.

— А где она?

— Экономка? Сейчас там никого нет. Когда пришла война, я заколотил дом и уехал. И по счастливой случайности, немцы его даже не обнаружили.

— Теперь про сад.

— На лужайку перед домом выходит небольшая терраса, и с нее открывается вид вниз до самой реки, а за речкой — деревня...

— Много вы овощей выращивали?

— И овощей, и фруктов — яблоки, сливы, грецкие орехи. И теплица есть.— Он продолжал обращаясь не столько к Январю, сколько к самому себе.— Снизу от деревянных ворот, дома не видно. Сначала надо подняться по длинной изогнутой аллее, вдоль нее густо растут кусты и деревья. Но потом она выводит на лужайку перед домом и здесь раздваивается: левая дорожка уходит за дом, к черному ходу, а правая — широкой дугой к парадному крыльцу. Моя мать всегда смотрела с террасы, кого бог послал: желанного гостя или нет. Ее никто не мог застать врасплох. А раньше, до нее, еще дед так высматривал посетителей...

— Сколько лет дому? — прервал его Январь.

— Двести двадцать три,— ответил Шавель.

— Уж больно стар. Мне бы лучше что поновее. Старуха мается ревматизмом.

Они давно уже сидели, окутанные понизу темнотой, но вот и с потолка скатились последние слабые отсветы, и узники сразу, не размышляя, стали укладываться спать. Каждый, как родное чадо, встряхивал, шлепал и прижимал к себе подушку. По мнению философов, прошлое, настоящее и будущее сосуществуют, и действительно, сейчас в непроглядной тюремной тьме ожило сразу несколько прошлых жизней: по бульвару Монпарнас катил тяжелый грузовик, девушка, запрокинув голову, подставляла под поцелуй губы, в муниципальном совете происходили выборы мэра; а для троих и будущее уже присутствовало здесь непреложным фактом, свершившимся, как и факт рождения,— пятьдесят шагов по гравийной дороге и в конце кирпичная стена, вся в выбоинах и щербинах.

Шавелю же теперь, когда его больше не била истерика, эта простая, ясная дорога казалась все-таки гораздо заманчивее долгого, неведомого пути, на который он вступил.

Часть вторая

6

По аллее к дому в Сен-Жан де Бринаке шел человек, называвший себя Жан-Луи Шарло.

Вокруг все было такое же, как он помнил, и одновременно немного не такое, словно для него и этого дома время шло с разной скоростью. Он уехал отсюда четыре года назад, и с тех пор его время почти остановилось, а здесь оно пронеслось вперед. Сотни лет стоял этот дом не старея, годы скользили мимо, будто тени по кирпичной

стене. Благодаря старательному уходу и своевременным омолаживающим операциям он, как следящая за собой пожилая дама, всегда выглядел превосходно; и вот теперь за четыре года все труды пошли насмарку — сквозь слои необновлявшейся косметики проступили морщины.

Гравий на аллее пророс травой, в одном месте поперек упало дерево, и хотя сучья кто-то обрубил на топливо, ствол как свалился, так и лежал красноречивым свидетельством того, что вот уже несколько лет ни одна машина не подъезжала по аллее к дому. Бородатый пришелец помнил наизусть каждый шаг и, однако же, настороженно выглядывал за каждый поворот, будто шел этой аллеей впервые. Он родился здесь; среди этих кустов играл ребенком в прятки, потом, прогуливаясь под сенью деревьев, вынашивал сладкую муку первой любви Через десять шагов должна быть калитка, и от нее дорожка, обсаженная лавровыми кустами, ведет на огород.

Но калитки не оказалось, торчали только два столбика, как знак того. что память не обманула. Даже гвозди, которыми были раньше прибиты петли, чья-то рука аккуратно выдернула, чтобы использовать в другом месте на более насущные нужды. Он свернул с аллеи, у него еще не хватало духу сойтись лицом к лицу с домом; точно убийца, возвращающийся к месту преступления, или любовник, блуждающий там, где простился навеки с любимой, он ходил пересекающимися кругами, не решаясь пойти по прямой и прежде времени достичь цели, чтобы потом уже не к чему было стремиться.

Теплица, как видно, несколько лет стояла пустая,— он, помнится, велел старику садовнику, чтобы огород не запускал. а овощи продавал на рынке в Бринаке. Должно быть, умер старик, и в деревне не нашлось никого, кто по своему почину занял бы его место. Может быть, в деревне вообще никого не осталось. За теплицей открывался вид на уродливый красный церковный шпиль за рекой, словно восклицательный знак в небе, заключающий фразу, которую отсюда, с затоптанных, незасеянных грядок, не прочитать.

Но тут человек заметил, что не весь огород в запустении: один угол его расчищен. и там посажено немного картофеля, капуста, шпинат. Словно выделили участочек для самостоятельного хозяйничанья детишкам, совсем маленький, не больше ковра. Он вспомнил, что было на этом месте в прежние годы: клубничные грядки, кусты черной смородины и малины, пахучая пряная зелень. Каменная ограда в одном месте обрушилась, а может, кто-то нарочно развалил старую кладку, чтобы проложить себе дорогу и поживиться огородным урожаем, но было это уже давно. раскатившиеся камни поросли крапивой. Стоя в проломе, он долго смотрел на то, что времени оказалось изменить не под силу: на отлогий зеленый спуск к реке и вязам. Когда-то он думал, что дом — это то, чем владеешь. Но владения человека подвержены проклятью перемен. И лишь то, чем нельзя владеть, осталось неизменным и встретило его с радушием. Этот вид не принадлежал ему, он никому не принадлежал. Это и был его дом.

Ну, вот. Больше ему тут делать нечего, надо уходить. Но если он уйдет. ему останется только утопиться в реке, и все. Деньги на исходе. а за одну неделю свободы он уже успел убедиться, что такому. как он, найти работу немыслимо.

В то утро, в семь часов (пять минут восьмого по брегету мэра и без двух минут семь по будильнику), немцы пришли за Вуазеном Ленотром и Январем. А он сидел с остальными у стены в ожидании выстрелов и, глядя на лица товарищей переживал самые постыдные мгновенья в своей жизни Он был теперь такой же как они простой. бедный человек, и они стали относиться к нему как к своему и судили его по той же мерке, что и себя; судили и осуждали. Но чувство стыда, которое он испытывал теперь, нищенской понурой походкой подходя к дому, было почти таким же глубоким.

Скрепя сердце, он решил, что бедняга Январь может еще сослужить ему службу и после смерти.

Он подходил, а слепые окна смотрели на него, как глаза сокамерников, сидящих у стены. Только один раз он поднял голову и сразу заметил все: рамы некрашены, в бывшем его кабинете разбито окно, перила террасы в двух местах выломаны. И тут же снова понурился и стал глядеть себе под ноги. Может быть, в доме все еще никто не живет? Но обогнув террасу и медленно взойдя по ступеням к двери, он обнаружил те же крохотные признаки человеческого присутствия, что и в огороде. Ступеньки были безукоризненно чистые Он поднял руку, дернул звонок и этим как бы признал свое поражение: видит бог, он старался не возвращаться, но вот не вышло, увы.

7

Флаги победы уже сильно повыцвели от времени, когда Жан-Луи Шарло вернулся в Париж. Верха его ботинок сохранились неплохо, а вот подошвы были тоньше бумаги и черная адвокатская пара носила на себе следы многомесячного тюремного заключения. В бараке он гордился тем что не позволил себе опуститься, но теперь беспощадное солнце щупало его вещи, точно старьевщик на барахолке, и показывало: здесь вытерто там пуговицы не хватает, и все вообще не имеет вида. Утешало лишь то, что и сам Париж не имел никакого вида.

У Шарло в кармане лежала завернутая в газету бритва с туалетным обмылком и триста франков деньгами, и никаких документов кроме выписки из тюремного досье, в которое немецкий офицер аккуратно занес продиктованные ему год назад неверные данные, включая фамилию Шарло. Но во Франции такая бумажка была в то время ценнее любого удостоверения личности, ведь у того, кто сотрудничал с немцами, не могло быть немецкого тюремного досье с заверенными фотографиями в фас и в профиль Лицо, конечно, изменилось, Шарло отпустил бороду но все-таки при ближайшем рассмотрении это было то же самое лицо. Немцы знают толк в архивном деле: фотографию на документе можно переклеить можно сделать пластическую операцию, удалить или добавить шрамы, но вот изменить размеры черепа не так-то просто, и немцы тщательно заносили в «дело» результаты таких обмеров.

Тем не менее ни один немецкий пособник не чувствовал себя в сегодняшнем Париже более гонимым, чем Шарло ибо у Шарло тоже было позорное прошлое. Как он мог объяснить людям, куда девалось его имущество? А может быть даже, все уже известно. Его встречали на перекрестках какие-то смутно знакомые лица и обращали в бегство из автобусов чьи-то будто бы узнанные спины. Он перебрался в ту часть Парижа, где не бывал раньше. Его Париж всегда был невелик, он заключался в тесном кольце между квартирой, судом, Оперой, Западным вокзалом и двумя-тремя ресторанами; эти точки соединялись в его представлении лишь кратчайшими прямыми линиями Шаг в сторону — и он оказывался на неведомой территории: под ногами дикими джунглями лежал метрополитен, Комба и окраинные кварталы простирались, как пустыни, и там можно было затеряться спрятаться.

Но мало было просто затеряться требовалось устроиться на работу. Он пережил мгновения – выпил первый стакан вина на свободе,— когда казалось ему будет под силу все начать с нуля, снова накопить денег и наконец в мечтах он уже видел как откупает обратно отчий дом в Сен-Жан де Бринаке и счастливый ходит по комнатам.. Но тут он заметил в графине с водой свое отраженное лицо, бородатое лицо Шарло. На него смотрел малодушный неудачник. Странно, подумалось ему, что одно проявление малодушия наложило

такую глубокую печать, исчертило лицо бороздами, как у старого бродяги. Но у него хватило объективности возразить себе, что дело не в одном отдельном случае, к этому акту малодушия вела вся предшествующая жизнь. Так у художника на то, чтобы написать картину уходят не два-три часа, но еще и все годы, пока он накапливал опыт прежде чем взяться за кисть; и то же самое с малодушным поступком. Что он был преуспевающим адвокатом — это чистое везенье, он гораздо больше получил в наследство, чем заработал сам; если бы ему самому пришлось пробиваться, думал он теперь, он никогда бы не достиг таких высот.

Он все-таки предпринял несколько попыток найти себе какой-то заработок. Сначала предложил свои услуги в качестве преподавателя на курсах французского языка. Хотя война еще и погромыхивала за пределами Франции, курсы Берлица и бессчетные им подобные учреждения уже развернули широкую деятельность. Взамен туристов мирного времени появилось очень много военнослужащих-иностранцев, которые тоже жаждали обучиться французскому языку.

С ним разговаривал самодовольный тощий человек во фраке, слегка попахивающем нафталином.

— К сожалению,— сказал он, заключая беседу,— у вас недостаточно хороший выговор.

— Недостаточно хороший выговор? — изумился Шарло.

— Недостаточно хороший для наших курсов. Мы ведем обучение на самом высоком уровне. У наших преподавателей должно быть превосходнейшее, безупречнейшее парижское произношение. Весьма сожалею, мсье.

Сам он произносил слова ужасающе отчетливо — верно, привык объясняться с иностранцами — и пользовался только простейшими оборотами, как видно применяя на практике разговорный метод обучения. Взгляд его то и дело задумчиво устремлялся на стоптанные ботинки Шарло. Шарло ушел.

Что-то в облике этого человека, вероятно, напомнило ему Ленотра. Едва выйдя, он сразу подумал, что ведь может прилично зарабатывать в должности делопроизводителя — юридические познания придутся как раз кстати, и можно будет объяснить, что он готовился к экзамену на адвоката, но не хватило средств, и вот...

По объявлению в «Фигаро» он явился в контору на четвертом этаже высокого серого здания в районе бульвара Осман. Помещение словно только что расчистили после отступления врага — сор и солома сметены в углы, у мебели такой вид, словно ее недавно вернули из хранения, где она невесть как долго стояла, обитая досками. Когда кончается война, человек не сознает, насколько постарел он сам и окружающий мир, но такая вещь, как мебель или дамская шляпка, сразу напомнит о пролетевшем времени. Здесь все было из стальных труб, будто в машинном отделении парохода, но этот пароход уже много лет как сидел на мели, все трубы поржавели. Такая мебель еще в тридцать девятом году вышла из моды, а в сорок четвертом производила впечатление музейной редкости. Навстречу Шарло вышел пожилой господин. Должно быть, приобретая когда-то эту мебель, он сам был еще молод и следил за модой, хотел обставить свою контору пошикарнее. Теперь он плюхнулся на первый попавшийся трубчатый стул, будто в каком-нибудь зале ожидания, и сокрушенно сказал:

— Вы, конечно, тоже все перезабыли?

— Да нет,— ответил Шарло.— Я помню достаточно.

— Много платить мы на первых порах не сможем,— произнес пожилой господин.— Но потом, когда все снова станет на свои места... наше изделие всегда пользовалось широким спросом...

— Я готов начать с небольшого жалованья,— сказал Шарло.

— Самое главное,— продолжал рассуждать пожилой господин,—

это энтузиазм. Надо верить в то, что продаешь. Ведь наше изделие зарекомендовало себя. Перед войной у нас были отличные показатели, превосходные. Правда, конечно, тогда были туристские сезоны, но в Париж всегда приезжает много иностранцев. А наше изделие и провинция покупала. Я бы показал вам наши учетные книги, но они не сохранились.

Можно было подумать, что он соблазняет акционера, а не нанимает служащего.

— Я понимаю,— кивнул Шарло.

— Надо, чтобы о нашем изделии снова стало известно. Когда о нем узнают, сразу появится спрос. В конце концов, качество говорит за себя.

— Вероятно, вы правы.

— Так что, сами понимаете,— не отступался пожилой господин,— мы должны все подставить плечо... на кооперативных началах... братская выручка... ваши сбережения будут в полной сохранности.— Он обвел жестом нагромождение трубчатых кресел.— Я вам ручаюсь.

О каком изделии шла речь, Шарло так и не узнал, но на лестничной площадке одним маршем ниже стоял открытый дощатый ящик, а в нем — обложенный соломой железный настольный светильник, на редкость безобразное трехфутовое сооружение в виде Эйфелевой башни. Шнур был пропущен через шахту лифта, а лампочка ввинчена на последнем этаже. Может быть, других светильников нельзя было достать в военном Париже, но не исключено — кто знает? — что это и было то самое изделие.

Трехсот франков в Париже надолго хватить не могло. Шарло сходил еще по одному объявлению, но там потребовали документы. Тюремные бумаги хозяина не устраивали.

— Таких за сотню франков можно купить хоть целую пачку,— сказал он и отмахнулся от сложных немецких измерений.— Не мое дело — обмерять вам голову и щупать шишки. Ступайте в ратушу и выправьте себе документы,— посоветовал он.— Вроде вы парень толковый. Я оставлю место за вами до завтрашнего обеда.

Но Шарло к нему не вернулся.

Полтора суток он ничего не ел, если не считать двух маленьких булочек. Круг замкнулся, он снова пришел к тому, с чего начал. В лучах вечернего солнца он бессильно привалился к какой-то стене, и ему даже почудилось тиканье старого брегета в жилетном кармане мэра. Столько пройдено, столько преодолено, и вот он снова у стены в конце гравийной дороги, и дальше пути нет. Приходится умирать, а ведь вполне можно было бы умереть при своих и никому не морочить голову. Он побрел в направлении Сены.

Между тем тиканье прекратилось, вместо него теперь, куда он ни сворачивал, раздавалось какое-то шарканье с пристуком. Он слышал его, как раньше слышал тиканье брегета. И понимал, что то и другое, вероятно, галлюцинация. В конце длинной безлюдной улицы поблескивала река. Он почувствовал, что задыхается, опять прислонился к стене и свесил голову, потому что река слепила глаза. Он стоял у писсуара. Шарканье с пристуком нагнало его и смолкло за спиной. Ну и что? Так же смолкли раньше часы. Не станет он обращать внимание на галлюцинации.

— Пидо,— позвал чей-то голос.— Пидо.

Он поднял голову, посмотрел вокруг — никого.

— Ведь вы Пидо, верно? — настаивал голос.

— Где вы? — спросил Шарло.

— Здесь, где же мне быть! — Голос замолчал, потом произнес чуть не в самое ухо, как внутренний голос совести: — У вас скверный вид. Хуже некуда. Я вас с трудом узнал. Скажите, кто-нибудь придет?

— Нет.

В детстве в лесу под Бринаком верилось, что из куста, из высокого соцветия, из-под древесных корней вот-вот раздастся голос, но в городе, достигнув смертного срока, уже не уверуешь в говорящие булыжники мостовой. Он опять спросил:

— Где вы? — и тут же подивился собственной тупости: из-под зелёной загородки писсуара видны были ноги — черные, в полосочку брючичы юриста, или врача, или даже депутата и давно не чищенные ботинки.

— Я — мсье Кароссс, Пидо.

— Да?

— Вот ведь как получается. Меня не поняли.

— Да.

— А что мне было делать? В конце-то концов, жизнь нельзя остановить. Я вел себя исключительно корректно и держался на расстоянии. Уж кому и знать, как не вам, мой бедный Пидо. Против вас, наверное, тоже выдвинуты обвинения?

— Со мной покончено.

— Мужайтесь, Пидо. Не надо падать духом. Мой троюродный кузен, который был в Лондоне, сейчас делает все возможное. Вы ведь знаете, о ком я говорю?

— Вы бы вышли оттуда, чтобы я мог вас увидеть.

— Лучше не надо, Пидо. Порознь мы еще, может быть, проскочим как-нибудь, но вместе... Это слишком рискованно.— Брючины в полосочку нервно переступили.— Кто-нибудь придет, Пидо?

— Нет.

— Послушайте, Пидо. Я попрошу вас передать от меня несколько слов мадам Каросс. Скажете ей, что я жив-здоров, поехал на юг. Постараюсь пробраться в Швейцарию, отсижусь, пока тут не уймутся. Мой бедный Пидо, вам как раз кстати будет пара сотен франков, верно?

— Да.

— Я оставляю здесь на полке. Так вы сходите к ней, Пидо?

— Куда?

— Да по старому адресу. Вы же знаете — третий этаж. Надеюсь, старуха не облысела. Очень уж стерва гордилась своими волосами. Ну, хорошо, прощайте и желаю удачи, Пидо.

В писсуаре что-то зашуршало, и по улице, удаляясь, снова зашаркали с пристуком шаги. Шарло смотрел вслед уходящему: крупный, дородный мужчина в черном, прихрамывает, на голове — шляпа, как раз такую носил и он в незапамятные времена между судом и улицей Мироменил.

В писсуаре на полочке лежала пачка сложенных бумажек: три сотни франков. Кем бы ни был этот мсье Каросс, он обладал редкой добродетелью — как сказал, так и сделал, и даже с походом. Шарло засмеялся. Звук гулко раскатился, отдаваясь под сводами пустых железных кабинок. Прошла неделя, и он вернулся в точности к тому же, с чего начал: у него в кармане опять триста франков, как при выходе из тюрьмы. Словно он всю эту неделю прожил, питаясь воздухом,— или какая-то колдунья, с виду вроде бы добрая, а в сущности злая, подарила ему нескудеющий кошелек, но из него можно взять не больше трехсот франков. А может быть, это умерший оставил ему в наследство триста из своих даровых трехсот тысяч.

А вот проверим, подумал Шарло. Какой смысл растягивать эту сумму на неделю, чтобы только стать неделей старше и оборваннее? Был час аперитива, и впервые за все время после возвращения в Париж он сознательно ступил на свою территорию, где ему был знаком каждый поворот, каждый дом.

До этого он не отдавал себе отчета в том, как сильно изменился Париж — улица, которой раньше никогда не видел, могла испокон

века быть такой вот безлюдной,— но теперь он заметил, как мало прохожих, как робко проезжают мимо бесшумные такси-велосипеды, увидел и эти выцветшие полотняные навесы, и чужие лица. Лишь кое-где еще сидели на своих местах запомнившиеся с прошлых времен незнакомцы, потягивая свои неизменный аперитив. Словно уехал из дома хозяин и это — последние редкие цветы среди сорняков в заброшенном, заросшем саду.

Все равно я сегодня умру, подумал Шарло, чего мне беспокоиться, если даже кто-нибудь меня и узнает? И, толкнув стеклянную дверь своего излюбленного кафе, он направился в тот самый угол — в конце длинного дивана под зеркалом в золоченой раме,— где было его как бы законное место.

Место оказалось занято. Там сидел американский солдат, щекастый парень с выражением грубоватого щенячьего простодушия на лице, и официант кланялся ему и улыбался, как самому давнему и почетному посетителю. Шарло сел и стал наблюдать. Это было почти как супружеская неверность. Появился метрдотель, который раньше всегда останавливался возле его столика перекинуться словом-двумя; теперь он прошел мимо, будто Шарло вообще не существовало, и тоже задержался, приветливо улыбаясь, у столика американца. Тут же обнаружилось и объяснение· янки, расплачиваясь, вытащил толстую пачку денег Шарло вдруг понял, что раньше он тоже был обладателем толстой пачки денег, человеком, который платит. И дело вовсе не в том, что он стал невидим, просто теперь у него денег нет. Он выпил свой коньяк, заказал второй. Его долго не несли. Он рассердился и окликнул метра. Тот сделал попытку уклониться, но в конце концов вынужден был подойти.

— Итак, Жюль?

В пустых глазах мелькнуло недовольство. Называть себя по имени этот человек позволял только близким друзьям — тем, кто платит, подумал Шарло.

— Вы не помните меня, Жюль?

Тот смущенно замялся — должно быть, что-то в голосе зацепило его память. Времена наступили путаные: одни клиенты пропали другие, которые раньше скрывались, объявились вновь, но стали неузнаваемы после заключения, а были и такие, что не прятались, но в интересах дела их лучше не приваживать.

— Мсье, кажется, давно у нас не был...

Американец громко застучал ребром монеты об стол.

— Прошу прощения,— рванулся было к его столику метр.

— Нет, нет, Жюль, не можете же вы вот так отмахнуться от старого клиента. Представьте себе, что этой бороды нет.— Он прикрыл подбородок ладонью.— Неужели не узнаете человека по фамилии Шавель, а, Жюль?

Американец опять застучал монетой. но теперь Жюль даже не посмотрел в его сторону, только сделал знак официанту, чтобы тот принял у него заказ.

— Господи, мсье Шавель, вы так изменились. Я изумлен... Я слышал, что вы...

Он явно не помнил, что именно он слышал про Шавеля. Нелегко было запомнить, кто из клиентов герой кто предатель, а кто просто клиент.

— Немцы меня арестовали,— сказал Шавель.

— А, ну тогда понятно,— с облегчением проговорил Жюль.— Париж уже снова стал почти прежним Парижем, мсье Шавель.

— Ну, не во всем,— кивнул Шавель на свое старое место.

— О, я позабочусь, чтобы завтра оно было не занято, мсье Шавель. А как ваш дом, где бишь он у вас?

— В Бринаке. В нем сейчас жильцы.

— Не пострадал?

— Кажется, нет. Я там еще не был. Признаться по правде, Жюль, я только вчера вернулся в Париж. У меня в кармане денег едва хватит на ночлег.

— Я мог бы оказать вам временную поддержку, мсье Шавель.

— Нет-нет. Я как-нибудь устроюсь.

— По крайней мере, сегодня вы должны быть нашим гостем. Еще один коньяк, мсье Шавель?

— Благодарю вас, Жюль.

Так и есть, кошелек не оскудевает, подумал он, мои триста франков опять при мне.

— Вы верите в Дьявола, Жюль?

— Естественно, мсье Шавель.

С безразличием отчаяния он сказал:

— Вы не слыхали, Жюль, я ведь продаю Бринак.

— Хорошую цену дают, мсье Шавель?

Жюль вдруг стал ему противен. Непонятно, как можно быть таким толстокожим? Неужели у него самого нет ничего, с чем не хотелось бы расстаться и за самую хорошую цену? Такой и жизнь свою продаст. Шарло сказал:

— Очень сожалею.

— О чем, мсье Шавель?

— После всех этих лет у каждого из нас найдется о чем сожалеть, разве не так?

— Нам тут жалеть не о чем, мсье Шавель. Уверяю вас, мы вели себя исключительно корректно. Я всегда обслуживал французов в первую очередь и строго придерживался этого правила, даже если немец был генералом.

Он позавидовал Жюлю: хорошо, если имеешь возможность вести себя «корректно», сохранять собственное достоинство ценой небольшой грубости и невнимания. Для него «корректность» означала бы смерть. Он вдруг спросил:

— Вы не знаете, с Западного вокзала уже ходят поезда?

— Редко, и все очень медленные. Топлива мало. Останавливаются на каждой станции Иногда даже на всю ночь. Вы доберетесь до Бринака только к утру.

— Мне не к спеху.

— Они вас ждут, мсье Шавель?

— Кто?

— Ваши жильцы.

— Нет.

С непривычки коньяк хлынул по пересохшим подземным каналам его сознания. Здесь, в знакомом кафе, где даже щербинки на зеркалах и карнизах оказались на старых местах, ему вдруг нестерпимо захотелось встать, броситься на вокзал, сесть в поезд и уехать домой, как бывало раньше,— вдруг ни с того ни с сего поддаться капризу и встретить добрый прием в конце пути. Он подумал: а что, умереть всегда успею.

8

Звонок, как и многое другое в этом доме, был старинный. Отец недолюбливал электричество и, хотя имел довольно средств, чтобы электрифицировать весь город, сам прожил чуть не всю жизнь с керосиновыми лампами (утверждал, что они полезнее для глаз) и с допотопными колокольчиками висевшими на длинных металлических побегах. А сам он слишком любил старый дом, чтобы что-нибудь в нем менять: приезжая в Бринак, он словно бы забирался в полутемную, глухую пещеру, где его не мог потревожить даже сердитый телефон.

И вот теперь он услышал, как дернулась и завибрировала длинная проволока, прежде чем привести в движение колокольчик в задней комнате рядом с кухней. Наверное, если бы он был там, в доме, этот колокольчик прозвенел бы приветливо, а не потерянно и прерывисто, будто кашель в изнуренной груди... Холодный утренний ветер зашуршал кустами, пригнул и растрепал траву, выросшую на аллее, где-то стукнула доска, может быть отстала от стенки сарая на огороде. Дверь дома внезапно распахнулась.

Открыла сестра погибшего Января. Он узнал ее по общему облику и, помня брата, сразу же домыслил подробности. Такая же светловолосая, худенькая и очень молодая, но уже ничего не боится, должно быть, это тоже семейная черта. Она смотрела на него сверху вниз, и вдруг выяснилось, что ему совершенно нечего сказать в свое оправдание, он стоял перед ней открытой страницей и ждал, чтобы она прочла сама.

— Вы хотите есть,— проговорила она, с одного взгляда, как это свойственно женщинам, прочтя всю страницу вместе со сноской в виде стоптанных ботинок. Он ответил жестом, который можно было понять как возражение или согласие. Она сказала: — У нас в доме мало еды. Вы ведь знаете, какое сейчас положение. Проще было бы дать вам денег.

Он ответил:

— Деньги у меня есть... триста франков.

— Заходите в дом,— пригласила она.— Но постарайтесь не наследить Я только что вымыла крыльцо.

— Я разуюсь, — кротко сказал он и вошел следом за нею в дом, ощутив сквозь носки холод паркетных плит. Внутри все немножко изменилось к худшему, видно, что домом завладели чужие: снято со стены большое зеркало и после него осталось безобразное пятно; сдвинут высокий комод; не хватает кресла; гравюра «Морской бой под Брестом» перевешена на другое место и довольно безвкусно, как ему показалось. Кроме того, он не увидел на стене фотографии своего отца и в сердцах вдруг громко спросил:

— А где же?. — и осекся.

— Что — где?

— Ваша матушка, — договорил он.

Она обернулась и внимательно посмотрела на него, словно с первого раза чего-то не дочитала.

— Откуда вы знаете про матушку?

— Мне Январь рассказывал.

— Кто это Январь? Я никакого Января не знаю.

— Ваш брат. Так мы называли вашего брата в тюрьме.

— Вы были с ним там?

— Да.

Ему еще предстояло узнать, что она всегда поступала немного иначе, чем от нее ожидали. он думал, что сейчас она позовет мать, но она вместо этого тронула его за рукав и попросила:

— Говорите тише

И добавила объясняя:

— Матушка не знает.

— О его смерти?

— Ни о чем Она думает, что он разбогател... где-то Иногда будто бы в Англии иногда в Южной Америке. Говорит, я всегда знала, что сын у меня с головой Как вас зовут?

— Шарло Жан-Луи Шарло.

— А того вы тоже знали?

— Того?.. Ах да, знал. Мне, наверное, лучше уйти, пока не пришла ваша матушка.

Сверху, из-за поворота лестницы, раздался тонкий старческий голос:

— Тереза! Кто там у тебя?

— Человек, который знает Мишеля, — отозвалась девушка.

С лестницы спустилась тучная старуха, закутанная слой за слоем в несколько шалей, так что казалась похожей на поставленную на попа кровать; даже ноги у нее были чем-то обмотаны и шлепали, шаркали, приближаясь. Трудно было себе представить, как можно такую гору жалеть и оберегать. Разве эта обширная материнская грудь нуждается в заботе? Она ведь сама предназначена покоить и укрывать от бед.

— Ну? — спросила старуха. — Как поживает Мишель?

— Хорошо, — ответила девушка.

— Я не тебя спрашиваю. Вас. В каком виде вы оставили моего сына?

— В хорошем, — сказал ей Шарло. — Он просил, чтобы я навестил вас и посмотрел, как вы живете.

— Вот, значит, как. Мог бы, кажется, купить вам на дорогу пару ботинок, — язвительно заметила она. — Он там не наделал глупостей? Не просадил деньги?

— Да нет, что вы.

— Вот это все он купил своей старухе матери, — со слепой гордостью произнесла она. — Глупый мальчик Мне и там было хорошо, где мы жили, в Менильмонтане. Квартира из трех комнат, по крайней мере управляться можно. А тут поди достань прислугу. Двум-то одиноким женщинам не под силу. Денег он, конечно, нам тоже прислал, да, видно, он не понимает, что сейчас за деньги много не купишь.

— Он хочет есть, — перебила ее девушка.

— В чем же дело? — сказала старуха. — Почему ты его не накормишь? Стоит, будто нищий попрошайка. Если хочет есть, мог бы, кажется, и сказать, что хочет есть, — рассуждала она, словно его там не было.

— Я заплачу, — огрызнулся Шарло.

— Ах, он заплатит, вот как? Нельзя соваться со своими деньгами. Так не делают. Деньги не предлагают, покуда с вас не спросили.

Она была словно старая выветренная эмблема человеческой мудрости, какие встречаются в пустынях. Сфинкс, например, но только полая, и от этой необъятной внутренней пустоты невежества вся ее мудрость оказывалась какой-то сомнительной.

Слева в прихожей была дверь с разбитой ручкой, за дверью начинался длинный холодный коридор, чуть не во всю длину дома, зимой по пути из кухни все блюда успевали остынуть, и отец его собирался перестраивать, но в конце концов дом победил. И вот теперь, не подумав, он шагнул к этой двери и чуть было самостоятельно не отправился на кухню, но спохватился и сказал себе: надо быть осторожным, крайне осторожным. Он молча шел за Терезой и думал: как странно видеть молодое существо в этом доме, где ему помнились одни старые, верные, ворчливые слуги. Молодыми были только люди на портретах: мать, сфотографированная в день свадьбы, на стене в родительской спальне. Отец после сдачи адвокатского экзамена. Бабушка с первенцем на руках Словно привел в дом молодую жену, с грустью думал он, идя по коридору следом за Терезой.

Она дала ему хлеба, и сыра, и стакан вина и села напротив за кухонный стол. Он молчал, потому что был голоден и потому что его одолевали воспоминания. Он почти никогда не бывал в кухне с тех пор, как стал взрослым. А когда-то чуть не каждый день забегал из сада часов в одиннадцать посмотреть, не найдется ли чего перекусить, старая кухарка — опять же старая — любила его, и угощала, и дарила разные забавные вещички, он только помнил картофелину с отростками похожую на человечка, куриную косточку в чепчике, как у старушки, баранью лопатку, которая казалась ему боевым топориком.

Девушка попросила:

— Расскажите мне о нем.

Этого он боялся и заранее вооружился подходящими лживыми фразами. Он ответил.

— Он был у нас в тюрьме душой общества, его даже охранники любили...

Она перебила:

— Я не про Мишеля... Расскажите мне про того.

— Про человека, который...

— Про Шавеля, — сказала она. — Вы что думаете, я забуду это имя? Я запомнила подпись на документах: Жан-Луи Шавель. Знаете, что я говорю себе? Что рано или поздно он придет сюда, ему нестерпимо захочется посмотреть, что сталось с его красивым домом. Тут много чужого народа бывает, голодного, вот как вы, и всякий раз, как дергается звонок, я думаю: «А вдруг это он».

— А тогда что?

— Я бы плюнула ему в лицо, — сказала она, и он только теперь заметил, что у нее красивый рот, такой же был у Января. — Это перво-наперво.

Глядя на ее рот, он проговорил:

— Но дом и вправду хорош.

— Иногда, если б не старуха, я бы, кажется, взяла бы и спалила его. Господи, надо же быть таким дураком! — Она кричала на Шарло, видно в первый раз высказывая вслух, что накипело на сердце. — Неужели он думал, что это все мне дороже, чем он?

— Вы с ним близнецы? — спросил Шарло, не спуская с нее глаз.

— А знаете, ведь я в ту ночь, когда его расстреляли, почувствовала боль! Села среди ночи в постели и заплакала...

— Это было не ночью. Утром.

— Не ночью?

— Нет

— Что же тогда это означало?

— Ничего, — ответил Шарло. Он принялся резать кусок сыра на мелкие квадратики. — Так часто бывает. Думаешь есть какой-то смысл в том, что происходит, но потом оказывается что все было совсем не так и никакого смысла просто нет Просыпаешься от боли и думаешь, что это была любовь, а факты не подтверждают.

Она сказала:

— Мы так друг друга любили. У меня такое чувство, что я тоже умерла.

Он все резал и резал сыр на квадратики. И, не глядя, тихо сказал:

— На самом деле все не так Вот увидите.

Ему хотелось убедить себя что на нем не лежит вина за две смерти Он был рад, что она тогда проснулась среди ночи, а не в семь часов утра.

— Вы не рассказали, каков он из себя — напомнила она.

Он стал описывать, тщательно отбирая слова

— Ростом немного выше меня... на дюйм примерно или даже меньше Лицо бритое...

— Это все ничего не значит, — перебила она. — Бороду можно отрастить за неделю. Глаза какого у него цвета?

— Голубые Но казались иногда серыми

— Вы не можете вспомнить чего-нибудь такого, что бы его отличало? Шрам какой-нибудь?

Тут можно было бы солгать, но он не захотел

— Нет – ответил он.— Ничего такого я не помню. Обыкновенный человек Как мы все.

— Я сначала думала нанять кого-нибудь из деревни, чтобы помогали по хозяйству, а заодно бы смотрели, вдруг он появится. Но

им никому нельзя доверять. Они к нему хорошо относились. Наверное, потому, что знали еще ребенком. Ребенку прощаешь гадости, а потом он вырастает, но ты уже привык и не замечаешь.

Как и ее мамаша, она изрекала истины, но ей они достались не по наследству, она набралась их на улице рядом с братом, недаром в ее изречениях слышалось что-то мужское.

— А люди здесь знают о том, что он сделал?

— И знали бы, им-то что. Подумаешь, какое дело: парижанина провел. Провел — и молодец. Давай и дальше их надувай. Я, кстати, думаю, так и будет. Он ведь юрист, верно? Уж конечно, он придумал какую-нибудь уловку, как все эти документы сделать недействительными.

— Да нет, — сказал Шарло, — по-моему, он так струсил, что вообще ничего не соображал. Ведь если бы он был способен сохранить ясность мысли, он бы умер, верно?

— Ну, этот когда соберется умирать, то, можете не сомневаться, получит сначала отпущение грехов, причастится, простит врагов своих. Пока самого дьявола не обведет вокруг пальца, он не умрет.

— Как вы его ненавидите.

— А вот я буду проклята. Потому что не прощу. И не получу перед смертью отпущения. Я думала, вы голодны, — заметила она. — А вы почти ничего не съели. Это хороший сыр.

— Мне пора уходить, — сказал он.

— Можете не торопиться. Ему хоть дали возможность повидать священника?

— Да. По-моему, дали. В соседней камере был патер, он выполнял обязанности такого рода.

— А вы куда отсюда?

— Не знаю.

— Ищете работу?

— Перестал искать.

Она сказала:

— Нам бы здесь нужен человек. Двум женщинам не под силу содержать в порядке такой дом. Да еще огород.

— Неудобно как-то.

— Как хотите. За платой дело не станет, — с горечью добавила она. — Мы богатые.

Он подумал: может быть, на неделю... пожить спокойно... дома.

А она сказала:

— Но ваша главная обязанность, за что я вам буду платить, это чтобы вы постоянно сторожили, не явится ли он.

9

Первые сутки находиться в родном доме в роли работника было непривычно и горько, но прошли еще сутки, и он привык и успокоился. Если дом дорог тебе по-настоящему, совсем не обязательно им владеть, достаточно знать, что он существует целый и невредимый, такой же, как был,— не считая перемен, привнесенных временем и обстоятельствами. Мадам Манжо и ее дочь жили в нем как временные жильцы: если снимали со стены картину, то лишь по необходимости, чтобы не надо было, например, лазить обтирать пыль, а не для того, чтобы повесить на ее место другую; они никогда бы не срубили дерева ради улучшения вида и не вздумали бы сменить обстановку в комнате в соответствии с требованиями новой моды. Они даже и на настоящих жильцов не очень-то походили, а скорее на цыган, которые узнали, что дом стоит пустой, и поселились в двух-трех комнатах, обрабатывают уголок огорода подальше от дороги и следят, чтобы не виден был дым из трубы, по которому их могли бы обнаружить.

В какой-то степени так оно и было: он выяснил, что деревенских они боятся. Раз в неделю девушка отправлялась в Бринак на рынок, пешком туда и обратно, хотя в Сен-Жане, он знал, можно было нанять лошадь с телегой; и раз в неделю старуха ходила к обедне, а дочь провожала ее до паперти и там же после службы встречала. Старуха входила в церковь, когда служба уже начиналась, и, едва только священник произносил «Ite missa»[1], как раньше всех была на ногах. Так ей удавалось не сталкиваться за стенами церкви ни с кем из прихожан. Шарло это вполне устраивало. Старуха с дочерью нисколько не удивлялись, что он тоже избегает встреч с деревенскими

Теперь по базарным дням ходил в Бринак он. Первый раз, когда он пошел, у него было такое чувство, что его на каждом шагу могут выдать знакомые предметы — даже если ни один человек и не назовет его имени. Его выдаст указатель на перекрестке; отпечатки его подошв на обочине ложились как личная подпись, а перестук досок мостового настила под каблуками звучал так привычно, словно неповторимые интонации человеческого голоса. Потом его обогнала телега из Сен-Жана, и он узнал возницу — это был местный крестьянин; мальчиком он попал под трактор и потерял правую руку, а до этого они дружили и вместе играли на лугах за Сен-Жаном, но после несчастного случая и долгого лежания в больнице между ними встали сложные чувства зависти и высокомерия, и снова встретились они уже врагами. Воспользоваться по-дуэлянтски одним оружием они не могли: против его кулаков тот мальчик пускал в ход свой острый язык, отравленный горечью физического страдания.

Пропуская телегу, Шарло спрыгнул в придорожную канаву и ладонью загородил лицо, но Рош даже не взглянул в его сторону; его черные глаза фанатика были устремлены на дорогу, крепкий обрубленный торс возвышался, как разрушенный бастион, разделяющий его и весь мир. Да и повсюду на дорогах слишком большое движение, сообразил Шарло, можно не опасаться, что привлечешь к себе внимание. Во всей Франции люди разбредались по домам — из мест, где отбывали заключение или скрывались, из чужих краев. Если бы взглянуть с высоты на маленькую, как географическая карта, Францию глазами Господа Бога, то видно было бы движение крохотных песчинок по всем прожилкам ее транспортных артерий.

Вернувшись домой, он вздохнул с облегчением: чувство было такое, будто вырвался с чужой территории, где все дико и непостижимо. Переступил порог парадной двери и по длинному коридору углубился внутрь дома, словно забираясь в глубину пещерного жилища. Тереза Манжо, наклонившись, мешала ложкой в кастрюле. Она подняла голову и сказала:

— Странно, зачем вы ходите через парадную дверь? Пользовались бы, как мы, черным ходом. Меньше мыть.

— Виноват, мадемуазель, — ответил он. — Это, наверное, потому, что в первый раз я вошел отсюда.

Она обращалась с ним не как со слугой, для нее он был тоже словно цыган, ночующий в пустом доме, покуда не выгнала полиция. Одна только старуха по временам без причины впадала в апоплексический гнев и кричала, что вот вернется сын, они тогда будут жить хорошо, как полагается богатым людям, со слугами, которые настоящие слуги, а не какие-то бродяги с большой дороги. Тереза Манжо при этом отворачивалась, будто ничего не слышит, но потом бросала ему грубоватую реплику, какими обмениваются только с равными, и как бы возводила его в прежние права.

Он сказал:

— На рынке почти ничего нельзя достать. И глупо покупать овощи, когда есть такой большой огород. На будущий год вам не при-

[1] Идите, служба окончена *(лат.)*.

дется... — Он пересчитал деньги. — Я купил конины. Даже кроликов и то не было. Вот сдача, по-моему правильно. Вы бы проверили.

— Я доверюсь вам, — сказала она.

— Матушка ваша не доверится. Я все записал. — Он протянул ей список покупок и смотрел через ее плечо, как она ставит галочки и складывает цифры.

— «Жан-Луи Шарло», — прочитала она в конце. — Странно...

И он, заглядывая ей через плечо, вдруг понял, что он наделал: поставил под счетом почти в точности такую же подпись, как стояла под дарственной.

— Что странно? — спросил он.

— Я бы поклялась, что ваш почерк мне знаком. Где-то я видела такую же подпись.

— Может быть, под моим письмом?

— Вы никаких писем нам не писали.

— Да. Это верно. — У него пересохли губы. — Тогда где же, по-вашему, вы могли ее видеть?

И целую вечность дожидался, пока она ответила, не отводя глаз от бумаги:

— Понятия не имею. Это как бывает, когда попадаешь в какое-то место и кажется, что ты уже здесь был раньше. Ничего не значит, должно быть.

10

Что ни день, кто-нибудь стучался в двери, прося подаяния или работы. Люди без цели гянулись к югу и к западу, к солнцу и к морю — может быть, верили, что там, в тепле, на влажном краю французской земли, сможет просуществовать всякий. Девушка подавала обычно деньгами, а не едой (еды самим не хватало), и просители уходили по заросшей аллее вниз к реке. Все в округе жили чем бог послал и в большом доме тоже. Но дамы Манжо соблюдали декорум. В Париже у мадам Манжо была своя лавочка, вернее, лавочка была не своя, но товары принадлежали ей. Из года в год, с тех пор как умер муж, она старательно вела торговлю, не отпуская в кредит и сама не пользуясь кредитом и едва-едва сводя концы с концами. Когда-то муж мечтал вывести детей в люди, определил дочь на секретарские курсы обучаться машинописи, а сына — в технологический коллеж; но Январь вскоре сбежал, а Терезу мать забрала, когда овдовела. По мнению мадам Манжо, все это учение было — блажь, и единственным его плодом оказалась подержанная пишущая машинка, на которой ее дочь печатала — притом скверно — письма оптовикам. Торговля Манжо не имела никакого будущего, но мадам это не гревожило; достигнув некоторого возраста, перестаешь заботиться о будущем, довольно того, что ты жив сегодня, сейчас, и каждое утро, просыпаясь, торжествуешь новую победу. К тому же был еще Мишель. Мадам Манжо свято верила в Мишеля. Кто знает, какими сказками своего детства окружила она этот таинственный отсутствующий образ. Мишель — это был принц, разъезжающий по белу свету с хрустальным башмачком в руках, свинопас, завоевывающий любовь королевской дочери; меньшой сын старушки, который убил великана. Что его просто-напросто нет в живых, ей знать было не дано. Все это Шарло усвоил постепенно, из недомолвок, из раздраженных выкриков мадам Манжо, даже из снов, которые мать и дочь рассказывали друг другу за завтраком. Не то чтобы это была правда, правда — понятие растяжимое, соседи мадам Манжо по Менильмонтану едва ли узнали бы в этой расцвеченной версии ее подлинную заурядную историю. Но вот теперь она неожиданно разбогатела — и тем самым осуществились ее сокровеннейшие мечтания; однако из сказок своего детства она также знала о заклятых кладах,

обращающихся к утру в груду никчемных черепков. И в этом доме, непонятно для нее самой почему, ничто не внушало ей доверия, даже кухонный стол, даже кресло, в котором она сидела, — не то что в Менильмонтане, где она точно знала, за что заплачено, а за что — еще нет. Здесь им все досталось как будто бесплатно. Откуда ей было знать, что плата внесена полностью, но только в другом месте.

Шарло спал на верхнем этаже в лучшей из комнат для прислуги. Это была тесная мансарда со скошенным потолком, в ней стояла железная кровать и жиденький бамбуковый комод — единственная легковесная вещь в доме, где вся мебель была массивная, темная, сбитая на века. Эту часть дома он знал плохо: в детстве ему запрещалось бывать на верхнем этаже по каким-то неясным материнским соображениям, связанным с гигиеной и моралью. Там, наверху, где кончалась ковровая дорожка на лестнице, в удалении от ванной и уборной, грубые реальности жизни принимали особенно угрожающий облик. Только однажды, один-единственный раз, проник он в запретную зону: на цыпочках, неся легкий груз неполных шести лет, он приблизился к дверям своей теперешней комнаты и заглянул в щелочку. Старая служанка, которую его родители сами получили по наследству и с боязливым почтением именовали «мадам Варнье», сидела перед туалетным столиком и закалывала волосы, вернее, не закалывала, а откалывала — снимала с головы и раскладывала под зеркалом длинные светло-коричневые пряди, похожие на высушенные водоросли. Из комнаты шел сильный кислый запах. Маленький Шарло целый год потом верил, что это всегда так: если волосы длинные значит, они отстегиваются от головы совсем.

В одну из ночей он никак не мог заснуть и, проделав в обратном направлении тайный путь своего детства, спустился в кухню — налить себе воды. Черная лестница скрипела под его шагами, но эти шаги были совсем другие, чем тогда на пути в Бринак, они не содержали давнего смысла, точно новые иероглифы, которые все равно бы никто не мог прочитать. На втором этаже находилась его старая комната, теперь в ней никто не жил, может быть, оттого что здесь на всем лежал слишком явный личный отпечаток. Он вошел. Все осталось точно таким же, как четыре года назад, когда он отсюда вышел в последний раз. Он выдвинул ящик комода — там свернутые толстым кольцом были сложены крахмальные воротнички, пожелтевшие от времени, как старый папирус. На шкафу стояла фотография его матери в серебряной рамке. Мать в закрытом платье с жестким воротником до подбородка спокойно, безмятежно созерцала неизменную картину у себя перед глазами — смерти, болезни, потери никак не отразились на голой стене, оклеенной обоями в цветочек, которые выбирала в свое время еще ее свекровь. Над одним цветком на стене чернел маленький карандашный рисунок, женское личико; когда ему было четырнадцать лет, с этим портретом для него было связано что-то важное, но теперь забытое, какая-то романтическая отроческая страсть, любовь и мука до могилы, как он тогда, наверное, думал. Он отвернулся — в дверях стояла Тереза Манжо и смотрела на него. Он увидел ее — и сразу вспомнил. Словно соединил разорванный провод и услышал забытый голос из тридцатилетней дали.

— Что вы тут делаете? — хмуро спросила она. На ней был толстый ватный халат, по-мужски перетянутый шнуром.

— Не спалось, я пошел вниз попить. И показалось, вроде крыса в комнате.

— Ну нет, здесь уже четыре года как эта дрянь не водится.

— Почему бы вам не вынести отсюда его вещи?

Шнур ее халата бессильно волочился концом по полу.

— Тошнит прикоснуться, — ответила она. — Но я все равно вынесу. Все, до воротничков. — Она присела на кровать. Шарло было

невыразимо грустно видеть, что вот и она, такая молодая и такая усталая, — и не спит по ночам.

— Бедняжка, — вздохнула она.

— Может быть, лучше, если она все-таки узнает?

— Я не про матушку. Вот про нее — про эту даму на фотографии. Быть его матерью — тут особенно ведь гордиться нечем, верно?

Впервые после возвращения домой он почувствовал себя задетым и возразил:

— По-моему, вы не правы. В конце-то концов, я ведь его знал, а вы нет. Поверьте, он был не такой уж плохой человек.

— Вот так-так.

— Конечно, он струсил. Но ведь раз в жизни это с каждым случается. Большинство из нас совершит трусливый поступок и забудет. Просто у него этот единственный поступок получился... ну, как бы сказать, очень уж заметным.

Она покачала головой:

— Вы меня не убедите, что ему не повезло. Правильно вы сказали: раз в жизни это случается с каждым. И всю жизнь надо быть настороже: а вдруг сегодня? — Видно было, что она много размышляла на эту тему и теперь просто высказывает вслух то, к чему пришла.— Когда это случается, видно, что ты за человек.

Он не мог на это ничего возразить, ему казалось, что она совершенно права. Он только спросил подавленно:

— С вами это уже было?

— Нет еще. Но будет.

— Тогда вы не знаете, что вы за человек. А вдруг вы не лучше, чем он.

Он достал один пожелтевший воротничок и нервно, беспомощно обернул вокруг запястья.

— Но он от этого не становится лучше, — сказала она. — Правда ведь? Если я убийца, разве я должна оправдывать других убийц?..

Он перебил ее:

— У вас, я вижу, на все вопросы есть ответы. Будь вы мужчиной, из вас получился бы отличный юрист. Только вам больше подходит быть прокурором, чем адвокатом

— Я бы никогда не пошла в юристы, — серьезно возразила она. — Ведь он был юрист.

— Как вы его ненавидите.

— Я чувствую такую неотступную ненависть, день и ночь, день и ночь. Это как запах, от которого невозможно отделаться, когда где-то падаль под половицами. Я ведь теперь к обедне не хожу, вы знаете. Отвожу мамашу, а потом иду ее встречать. Она спрашивала почему, а я тогда сказала ей, что утратила веру. Это пустяк, с кем не случается, ведь верно? Господь на такие мелочи, как утрата веры, особенно не смотрит. Просто глупость и все, быть глупым не грешно.— Она плакала, правда, одними глазами: она держала себя в руках и только над работой слезных желез не имела власти. — Пусть бы из-за этого. Но меня ненависть не допускает Есть такие люди, отложат свою ненависть на часок, а потом снова подбирают, лишь только шагнули за порог церкви Я так не могу. А хотела бы. — Она прикрыла ладонями глаза, словно от стыда за физическое проявление своего горя. Моя работа, подумал он.

— Вы из тех несчастных, которые веруют, — сказал он печально.

Она встала с кровати.

— Да что разговаривать! Вот бы он сейчас оказался передо мной и чтобы у меня в руке был револьвер...

— У вас есть револьвер?

— Есть.

— А после пошли бы покаялись и жили бы счастливо?

— Может быть. Не знаю. Я так далеко не загадываю.

Он сказал:

— Страшный вы народ, добродетельные люди. Избавляетесь от своей ненависти таким же способом, как мужчины от похоти.

— Если бы это сбылось! Я бы стала лучше спать. Не была бы такая измученная и старая. — Она говорила не шутя. — Люди бы лучше ко мне относились И я перестала бы их бояться.

Он чувствовал, что перед ним развалина, не древняя руина, подернутая благородной патиной старины, а свежая — зияющий пролом в стене, когда видны лоскутья обоев и кресло у камина между небом и землей. Он подумал: «Это нечестно. Тут нет моей вины. Я купил только одну жизнь, а не две».

— Можете взять себе эти воротнички, — сказала она. — Если хотите. Только не говорите матушке. Они вам впору?

Он ответил с привычной осмотрительностью:

— Почти.

— Сейчас принесу вам воды.

— Почему это вы будете приносить мне воду? Здесь прислуга — я.

— Не такие мы важные, чтобы держать прислугу. Мне просто хочется побродить по дому. Не спится.

Она ушла и вернулась со стаканом воды. Глядя на нее, худенькую, в толстом халате до полу, с протянутым стаканом в руке, он вдруг понял смысл ее поступка. Она рассказала ему о своей ненависти, а теперь этой маленькой услугой хотела показать, что способна и на другое. Могу быть вам другом, как бы говорила она, могу быть доброй. В эту ночь, лежа в своей постели, он почувствовал, как прежнее отчаяние поворачивается новой гранью: прожить-то, пожалуй, будет можно, а вот можно ли жить?

11

Сначала, когда он проснулся, ночной разговор помнился ему смутно, даже собственные переживания стерлись в памяти. Все словно бы было по-прежнему, никаких перемен. Но как только он коснулся ручки кухонной двери, за которой хозяйничала она, сердце сразу четко простучало по ребрам тревогу. Он пошел вон из дому, чтобы проветрить мысли, и над грядками крохотного огородика произнес вслух: «Я ее люблю», словно открывая этим бесспорным положением сложный судебный процесс, которому в обозримом будущем не предвидится конца.

Он задал себе вопрос: что отсюда следует? Его адвокатские мозги принялись распутывать нити этого юридического казуса, и он сразу приободрился. Не было в его богатой адвокатской практике такого дела, которое бы не оставляло человеку совсем никакой надежды. В конце концов, доказывал он себе, за смерть Января несет ответственность один Январь, а на мне никакой вины нет, что бы я теперь ни чувствовал — руководствоваться чувствами ни в коем случае нельзя, иначе много ни в чем не повинных людей угодили бы под гильотину. И нет никаких законных препятствий, говорил он себе, к тому, чтобы он любил ее, и ей тоже ничто, кроме ее ненависти, не мешает полюбить его. Если бы вместо ненависти ему удалось внушить ей любовь, рассуждал он казуистически, этим он сделал бы ей добро и все искупил. Ведь в терминах ее наивной веры он вернул бы ей надежду на вечное спасение. Подобрав с земли камешек, он прицелился в дальний кочан капусты — камешек описал дугу и угодил точно в цель. Шарло удовлетворенно вздохнул. Обвинение против себя самого уже приняло у него характер гражданского иска, где можно рассматривать условия компенсации. Даже непонятно, почему он ночью ощутил такое отчаяние, тут нет причины отчаиваться,

говорил он себе, наоборот, есть основание для надежды. Есть ради чего жить. Но в глубине души осталась тень, точно улика, которую он утаил от суда.

За кофе с хлебом — их завтраком, который в то утро происходил раньше обычного, потому что надо было в Бринак на рынок, — с мадам Манжо совсем не было сладу: она смирилась с его присутствием в доме, но стала обращаться с ним так, как, по ее представлениям, обращаются со слугами важные дамы, и злилась оттого, что он ест с хозяйками за одним столом. Почему-то ей взбрело в голову, будто бы он служил у Мишеля лакеем; и она опасалась огорчить сына, когда тот в один прекрасный день вернется, своим неумением вести себя как подобает богатым. Но Шарло это не задевало, у него с Терезой Манжо была общая тайна, ему казалось, что, встречаясь взглядами, они напоминают друг другу о своей тайной близости.

Но когда они остались наедине, он только спросил:

— Может быть, купить вам что-нибудь на рынке? Для вас самой?

— Нет, — ответила она. — Мне ничего не нужно. Да и что можно найти в Бринаке?

— А почему бы вам самой не сходить? Прогулялись бы немного, полезно... Воздухом бы подышали. А то ведь вы из дому не выходите.

— Еще придет кто-нибудь, пока меня не будет.

— Скажите матушке, чтобы не отпирала. Дверь не выломают.

— А если он?

— Послушайте, — настойчивым, умоляющим голосом сказал Шарло, — вы так с ума сойдете. Что вам мерещится? Ну подумайте, ради всего святого, зачем ему возвращаться сюда и мучить себя зрелищем того, что он сам отдал в чужие руки? Вы заболеете в конце концов от своих фантазий.

И тогда она робко обнажила уголок своего страха, как ребенок обнажает наморщенный оборванный краешек переводной картинки.

— Меня не любят в деревне. Они там его любят.

— Мы же идем не в деревню.

И вдруг она уступила, уступила неожиданно и смиренно, чем застала его врасплох.

— Ну, ладно, — покорно проговорила она. — Будь по-вашему. Пошли.

От реки медленно поднимался осенний туман, дощатый настил моста чернел влагой, под ногами шуршали наметанные ветром кучи сухих листьев. На пятьдесят шагов вперед уже ничего не было видно. Они шли по дороге в Бринак вдвоем — но могло быть, что и не вдвоем, а в составе растянувшейся многолюдной процессии, только отгороженные со всех сторон туманом, словно в отдельной комнате. Сначала они шли и молчали, только шаги их то в ногу, то вразнобой вели свой отрывочный разговор. Его ноги шагали мерно, неуклонно продвигаясь к цели, как юридические доводы; ее — то замирали, то частили, будто возгласы из публики. Он думал о том, что, в сущности, жизнь очень точно выполняет те обещания, какие давала ему когда-то, и в то же время совсем по-другому. Если бы он женился и привез жену в Сен-Жан, то мог бы вот так же идти с нею молча по дороге на рынок в такой же мягкий осенний денек. Дорога взяла немного в гору и ненадолго вывела их из тумана, справа и слева открылись серые поля, поблескивая влажными камнями, точно ледышками; взлетела, хлопая крыльями, какая-то птица; и вот они уже снова шли под уклон между двумя зыбкими стенами тумана, и его шаги возобновили свои настойчивые, неоспоримые доводы.

— Устали? — спросил он.

— Нет.

— Мне все еще странно идти по прямой, привык — то вверх, то вниз.

Она не ответила. Ее молчание было ему приятно: ничто так не сближает, как молчание, и ему верилось, что, если эта тишина между ними еще продлится, все у них будет хорошо.

Больше они не обменялись ни словом, пока не дошли почти до самого Бринака.

— Отдохнем немного перед городом,— сказал он.

Они облокотились о чью-то ограду и постояли, давая передышку натруженным ногам. По дороге со стороны Сен-Жана со стуком катила телега. Это был Рош. Он натянул вожжи, и лошадь остановилась.

— Подвезти? — предложил Рош. За эти годы он завел привычку поворачиваться к собеседнику в профиль, пряча правый бок, и это придавало ему вид нахальный и надменный.

Тереза Манжо покачала головой.

— Вы ведь барышня Манжо? Не дело вам ходить пешком в Бринак.

— Мне захотелось прогуляться.

— А это кто? — Рош кивнул на Шарло.— Работник ваш? У нас в Сен-Жане о нем слыхали.

— Он мой друг.

— Вы бы, парижане, поостереглись,— сказал Рош.— Вы не знаете здешних краев. Сейчас здесь столько народу ходит попрошайничает, никого нельзя в дом пускать.

— Какие вы деревенские все сплетники,— неприязненно произнесла Тереза Манжо.

— А вы? — обратился он к Шарло.— Чего помалкиваете? Нечего сказать, что ли? Тоже парижанин?

— Можно подумать, что вы из полиции,— сказала Тереза Манжо.

— Я из Сопротивления,— ответил Рош.— Присматривать тут — моя обязанность.

— Война ведь для нас уже кончилась, разве нет? И вам больше нечего делать.

— Как бы не так. Она здесь только еще начинается. Предъявите-ка мне лучше ваши документы,— сказал он Шарло.

— А если не предъявлю?

— Кто-нибудь из наших заглянет к вам домой.

— Дайте ему, пусть посмотрит,— сказала Тереза Манжо.

Чтобы взять у Шарло бумаги, Рошу пришлось отпустить вожжи, лошадь, почуяв волю, тронулась с места, и он сразу превратился в растерянного, беспомощного мальчика, который не умеет справиться с лошадью.

— Ладно,— пробормотал он,— получите обратно.

И подхватил вожжи.

— Я могу пока подержать вашу лошадь,— предложил Шарло с нарочитой, оскорбительной любезностью.

— Вы лучше выправьте себе правильные документы, эти недействительны.— Он обернулся к Терезе Манжо: — Смотрите, будьте осторожны. Тут сейчас много пришлого народа, невесть что за птицы, беглые. А этого я уже где-то видел. Могу поклясться.

— Он каждую неделю бывает в Бринаке на рынке. Вы его, наверное, там видели.

— Ну, не знаю.

Тереза сказала:

— Вы напрасно придираетесь. Это человек честный. Сидел у немцев в тюрьме. Он знал Мишеля.

— Выходит, он и Шавеля знал?

— Да.

Рош еще раз заглянул ему в лицо.

— Странно,— проговорил он.— Мне потому и показалось, что я его знаю. Он сам немного смахивает на Шавеля. Голос похож; лицо-то, конечно, совсем другое.

Шарло произнес раздельно, стараясь не сбиваться больше на предательскую привычную скороговорку:

— Теперь бы вы не сказали, что у него голос похож на мой. Он шамкает, как старик. Тяжело перенес заключение.

— Еще бы. Привык тут к легкой жизни.

— Вы, наверное, были его другом,— сказала Тереза Манжо.— В Сен-Жане все — его друзья.

— Не угадали. Кто его хорошо знал, не мог с ним дружить. Он и маленький был паскудник. И трус. Девчонок боялся.— Рош усмехнулся.— Он со мной делился. Думал, что я ему друг, пока со мной несчастье не приключилось. Потом-то он меня не выносил, потому что он себя умником считал, а я стал не глупее его. Когда лежишь в постели и месяц, и два, то либо помрешь, либо ума наберешься. Но он мне про себя такое рассказывал! Кое-что я и теперь еще помню. Тут была одна девчонка на мельнице в Бринаке, нравилась ему...

Потрясающе, чего только человек не забывает. Может быть, то личико, неумело нарисованное на обоях?.. Он ничего не помнил. А ведь когда-то...

— Уж как он по ней обмирал,— продолжал Рош,— а подойти не решился. Лет четырнадцать ему тогда было. Или пятнадцать. Трус каких мало.

— Почему же в деревне его все любят?

— Да не любят они его,— объяснил Рош.— Просто они вам не верят. Не поверили, что человек согласился умереть за деньги, вот как ваш брат. Считают, что без немцев тут не обошлось.— Его черные глаза фанатика впились в лицо Терезы.— А я верю. Он ради вас это сделал.

— Хорошо бы вы и их убедили.

— А что, беспокоят они вас?

— Ну, не то чтобы беспокоили, этого нельзя сказать. Я старалась с ними по-дружески, но я не люблю, когда мне кричат всякое. Сами не решаются — детей подучивают...

— Здесь народ подозрительный.

— Если люди из Парижа, это еще не значит, что они сотрудничали с немцами.

— Вам бы надо было ко мне обратиться,— сказал Рош.

Она переглянулась с Шарло.

— Надо же, какой важный. А мы-то о нем и не слыхали.

Рош полоснул лошадь кнутом, и телега покатила прочь. На расстоянии им открылся его правый бок — подшитый выше локтя рукав, култышка, торчащая, как короткая дубинка.

Шарло мягко упрекнул ее:

— Ну вот, еще одного врага нажили.

— Он не такой плохой.

Она так долго смотрела ему вслед, что Шарло ощутил первый ядовитый укол ревности.

— Смотрите остерегайтесь его.

— Говорите, как будто вы с ним знакомы. Вы ведь его не знаете? Ему показалось, что он вас где-то видел...

Он не дал ей договорить.

— Просто я знаю таких людей, и все.

12

В тот вечер, после возвращения из Бринака, Тереза Манжо вела себя как-то необычно. Она настояла на том, чтобы впредь есть в столовой, а не на кухне, где до сих пор собирали на стол всегда впопы-

хах, словно в ожидании настоящего хозяина, который вот-вот должен появиться и выгнать их из своего дома. Чем вызвана эта перемена, Шарло не знал, но в его представлении она была как-то связана со встречей на дороге в Бринак. Может быть, разговор с Рошем о Шавеле придал ей уверенности в себе, она почувствовала, что есть в Сен-Жане по крайней мере один человек, расположенный к ней дружески, готовый, если что, за нее заступиться.

Шарло сказал:

— Тогда надо там подмести.

И, взяв швабру, пошел к лестнице. Но девушка остановила его:

— Мы этой комнатой ни разу не пользовались.

— Да?

— Она все время стояла запертая. Там все так шикарно. Специально, чтобы ему в ней красоваться. Представляете, как он там сидит попивает вино и звонит слугам?..

— Картина из дешевого романа,— сказал он и ступил на лестницу.

— Вы куда?

— Убрать в столовой.

— А откуда вы знаете, где она находится?

У него екнуло сердце — словно шагнул, а ступеньки под ногой не оказалось. И ведь все время был так осторожен, так старался показать, что не имеет понятия о расположении комнат и чуланов.

— Действительно, о чем я думал? Вас заслушался.

Но она не удовлетворилась его объяснением и не отводила от него внимательного взгляда.

— Иногда мне кажется,— проговорила она,— что вы знаете этот дом лучше, чем я.

— Я бывал в таких домах. Они все устроены на один манер.

— А я знаете, что думаю? Что, может быть, Шавель в тюрьме хвастался, какой у него дом, даже план рисовал, вот вы и запомнили...

— Да, он много рассказывал.

Она отперла дверь столовой, и они вместе вошли; там стояла тьма, ставни на окнах были закрыты. Он знал, где выключатель, но, соблюдая осторожность, нарочно долго шарил по стене, прежде чем зажечь свет. Это была самая большая комната в доме, посредине ее стоял длинный обеденный стол, зачехленный и похожий на катафалк, на стенах немножко вкривь висели портреты умерших Шавелей. Шавели, начиная с семнадцатого столетия, все были адвокатами, за исключением нескольких младших сыновей, которые пошли в священники; в простенке между окнами висел один епископ, и его длинный свернутый на сторону нос следовал за ними вдоль всех стен, от портрета к портрету.

— Ну и семейка,— сказала она.— С такими предками он, может, и не виноват, что такой уродился.

Шарло, задрав свой длинный нос, встретил взгляд длинноносого прадеда — человек в епископской мантии взирал сверху вниз на человека в зеленом фартуке. И от этого надменного, укоризненного взора Шарло поспешил уклониться.

— Ну и семейка,— повторила девушка.— А ведь женились. И детей заводили. Можете вы представить, чтобы вот такой был влюблен?

— Это со всяким случается.

Она засмеялась. Он впервые слышал ее смех. Он жадно следил за нею — так смотрит убийца в надежде, что к его жертве вернутся признаки жизни и он окажется в конечном итоге невиновен.

Сквозь смех она спросила:

— И как они, по-вашему, это выражают? Шмыгают своими длинными носами? Проливают слезы из своих адвокатских глаз?

Он протянул руку и коснулся ее плеча.

— Я думаю, что вот так...

И в эту минуту дверной колокольчик задребезжал и залязгал на своем длинном железном стебле.

— Рош? — предположил он.

— Что ему могло понадобиться?

— За подаянием вроде бы поздно...

— Может быть,— пресекающимся голосом проговорила она,— это наконец он?

И снова они услышали, как задрожал длинный стальной побег с колокольчиком на конце.

— Надо открыть,— сказала она.— А то еще матушка услышит.

Его охватило дурное предчувствие, какое испытывает всякий, кто слышит звон в ночи. Он стал медленно спускаться по лестнице, со страхом глядя на входную дверь. За этим наследственным страхом стоял богатый личный и исторический опыт: убийства столетней давности, страшные случаи времен войн и революций... В третий раз прозвонил звонок — человек за дверью то ли очень нуждался в том, чтобы его впустили, то ли имел на это твердое право. Беглец или преследователь? Этого на слух не определишь.

Шарло накинул цепочку и приоткрыл дверь. В темноте за дверью ничего не было видно, только смутно белел круглый воротничок. Зашуршал гравий, под нажимом на дверь натянулась цепочка. Он спросил:

— Кто там?

Голосом, в котором звучало что-то неуловимо знакомое, пришелец ответил:

— Жан-Луи Шавель.

Часть третья

13

— Кто?

— Шавель.— Голос окреп и произнес уже более уверенно и властно: — Откройте-ка дверь, приятель, и дайте мне войти.

— Кто это? — спросила девушка; она остановилась на лестнице.

В груди у Шарло забрезжила безумная надежда, и он ответил с боязливой радостью и облегчением:

— Шавель! Говорит, что он Шавель.

Вот теперь, подумалось ему, я действительно Шарло. И пусть вся эта ненависть достанется кому-то другому...

— Впустите его,— сказала она, и он снял цепочку.

Вид у вошедшего тоже был смутно знакомый, но откуда, Шарло вспомнить не мог. Высокого роста, довольно статный, с какой-то дешевой картинностью в облике и пританцовывающей походкой... Лицо, очень бледное, выглядело запудренным, а манера говорить, когда он произнес первые слова, оказалась как у певца: так хорошо он владел интонацией. Чувствовалось, что он может исполнить любой мотив, какой ни пожелает.

— Моя уважаемая,— обратился он к Терезе,— прошу меня простить за столь несвоевременное вторжение.

Тут его взгляд скользнул по лицу Шарло, и он сразу осекся, словно тоже его узнал... или подумал, будто узнает...

— Что вам нужно? — спросила Тереза

Он с трудом отвел глаза от Шарло и ответил:

— Кров и немного пищи.

Тереза переспросила:

— И вы действительно Шавель?

Он неопределенно кивнул:

— Да, да. Разумеется, я Шавель.

Она спустилась по ступеням и подошла к нему.

— Я знала,— проговорила она,— что в один прекрасный день вы явитесь.

Он протянул ей руку, как видно мысленно не подготовившись к каким-либо отклонениям от общепринятых форм поведения.

— Любезнейшая,— торжественно произнес он, и тут она плюнула ему прямо в лицо. Этой минуты она ждала много месяцев, и теперь, когда дело было сделано, она, как ребенок на окончившемся празднике, горько расплакалась.

— Почему вы не уходите? — спросил Шарло.

Человек, назвавшийся Шавелем, утирал лицо рукавом.

— Не могу,— ответил он.— Меня ищут.

— Ищут? Почему?

— Теперь всякий, у кого есть враги,— коллаборационист.

— Но ведь вы сидели у немцев в тюрьме.

— А они говорят, что меня нарочно подсадили как осведомителя,— с готовностью равнодушно пояснил тот. Но удачный ответ словно вернул ему чувство собственного достоинства. Он с прежней величавостью сказал, обращаясь к Терезе: — Ну конечно же! Вы — мадемуазель Манжо. С моей стороны, я знаю, было крайне неуместно приезжать сюда, но загнанный зверь всегда возвращается в знакомое логово. Простите мне эту бестактность, мадемуазель. Я немедленно уйду.

Она сидела на нижней ступеньке, пряча лицо в ладонях.

— Да, вам лучше поскорее уйти отсюда,— сказал Шарло.

Человек обернул к нему мучнистое лицо, у него пересохли губы, и он облизнул их самым кончиком языка. Единственно неподдельным в этом человеке оставался страх. Но страх его был в узде и проглядывал только в косящем глазе и отвислой губе, как злой норов коня под умелым седоком. Он сказал:

— Правда, у меня есть извинение: я привез мадемуазель прощальный привет от брата.— Ему было явно не по себе под неожиданным удивленным взглядом Шарло, и он пробормотал: — Мне кажется, я вас знаю.

Тереза подняла голову.

— Еще бы вам не знать. Он сидел в той же тюрьме.

И снова Шарло изумился самообладанию этого человека.

— А-а, по-моему, я припоминаю,— проговорил тот.— Нас много там было.

— Он действительно Шавель? — спросила девушка.

Его страх не исчез, но был глубоко запрятан. Шарло мог только дивиться нахальству этого человека. Мучнистое лицо повернулось к нему, как голая электрическая лампочка, глаза уставились в глаза: кто кого переглядит. И Шарло первый отвел взгляд.

— Да,— ответил он.— Это Шавель. Но он сильно переменился.

Лицо сморщилось в ликующей гримасе и тут же снова разгладилось.

— Ну? Что же просил передать мой брат? — спросила она.

— Только что он вас любил и это — лучшее, что он смог для вас сделать.

В большой прихожей было очень холодно, и гость вдруг зябко передернул плечами. Он произнес:

— Доброй ночи, мадемуазель. Простите мое вторжение. Мне следовало знать, что это убежище для меня закрыто.

Он отвесил картинный поклон, но она не смогла его оценить — она повернулась спиной и уже скрылась за поворотом лестницы.

— Пожалуйте, мсье Шавель,— насмешливо сказал Шарло, указывая ему на дверь.

Но у того оставался еще один заряд. Он выпалил:

— Вы мошенник! Вы не сидели в тюрьме и не узнали меня. Неужели вы думаете, что я мог забыть товарища по бараку? Мне следует разоблачить вас перед вашей хозяйкой. Совершенно очевидно, что вы обманули ее и злоупотребляете ее добротой.

Шарло не перебивал, давая ему завязнуть поглубже. А потом сказал в ответ:

— Нет, я сидел в тюрьме, и я узнал вас, мсье Кaросс.

— Боже правый! — произнес тот, еще пристальнее всматриваясь в лицо Шарло.— Неужели это Пидо? Не может быть, не тот голос.

— Вы уже однажды приняли меня за Пидо. Моя фамилия — Шарло. Вы второй раз оказали мне услугу, мсье Кaросс.

— А вы, стало быть, хотите отплатить злом за добро и выбрасываете меня на улицу в такую ночь? А там дует восточный ветер, и провалиться мне, если не хлынул дождь.— Чем страшнее ему становилось, тем развязнее он разговаривал, развязность была для него как лекарство от нервов. Он поднял воротник пальто.— Быть освистанным в провинции,— с наигранным сокрушением произнес он,— жалкий финал блестящей карьеры. Доброй ночи, мой неблагодарный Шарло. Как это я только принял вас за беднягу Пидо?

— Вы замерзнете насмерть.

— Вполне вероятно. Замерз же Эдгар Аллан По.

— Послушайте,— сказал Шарло.— Все же я не такой неблагодарный. Можете остаться на одну ночь. Вы разуйтесь, а я хлопну дверью.— Он со стуком закрыл дверь.— Теперь идите за мной.

Но не успели они сделать и двух шагов, как с верхней площадки послышался голос девушки:

— Шарло, он ушел?

— Ушел.— Он переждал немного, а потом крикнул ей: — Пойду проверю, заперта ли задняя дверь.— И провел разутого Каросса длинным коридором на кухню, а оттуда по черной лестнице к себе в комнату.

— Можете переночевать здесь,— сказал он.— А утром я вас выпущу. Только чтобы никто вас не увидел, не то мне придется уйти вместе с вами.

Актер с удовольствием сел на кровать и вытянул ноги.

— Вы что же, тот самый Кaросс? — с интересом спросил Шарло.

— Других Кaроссов я не знаю,— ответил его гость.— У меня нет ни братьев, ни сестер, ни родителей. Возможно, где-нибудь в провинции проживает парочка захудалых Кaроссов, и не исключено, что имеется один кузен в Лиможе. Да, кроме того,— добавил он, морщась,— жива еще моя первая жена, старая стерва.

— И вас теперь преследуют?

— В этой стране распространено нелепое пуританское убеждение, будто человек может жить хлебом единым,— проговорил мсье Кaросс.— В высшей степени некатолическая мысль. Допустим, что я во время оккупации мог жить единым хлебом — даже черным хлебом,— но ведь душа нуждается в неге.— Он самодовольно улыбнулся.— А негу можно было заработать только одним способом.

— Но что вас сюда пригнало?

— Полиция, мой дорогой, полиция и пылкие молодые люди с револьверами из так называемого Сопротивления. Я, собственно, имел в виду пробраться на юг, но, увы, мои черты слишком хорошо известны повсюду, кроме этого дома,— не без горечи заключил он.

— Но как вы узнали?.. Почему вы решили?..

— Даже в классической комедии, друг мой, используются примитивные трюки.— Он небрежно отряхнул колени.— Это был трюк, хотя, как вы, наверное, заметили, не из самых удачных. Но, знаете ли, у меня просто не хватило времени, а то бы я ее все-таки охмурил, ей-богу,— с сожалением произнес он.

— Все равно я не понял, как вы попали именно сюда.

— Вдохновение осенило. Зашел в одну забегаловку, это милях в шестидесяти отсюда, городишко, какой не помню, кажется начинается на букву Б. Там сидел презабавный старичок, недавно из тюрьмы, пил с дружками. Влиятельное лицо, между прочим местный мэр, как я понял, такой, знаете, с животиком, часы на цепочке в жилетном кармане, огромные, с сырную голову. И весь раздут от важности. Он там рассказывал всю эту историю про человека, который купил свою жизнь. «Десятый» — так он его называл, неплохое, кстати, заглавие для пьесы. За что-то он его осуждал, бог знает за что. Ну, я и подумал, что навряд ли этот Шавель отважится вернуться в родной дом, и решил объявиться вместо него. Я бы лучше сыграл эту роль, чем он сам, сухари они, законники, ну да вы ведь его знали.

— Да, этого вы не предусмотрели.

— Кому могло прийти в голову? Редкое совпадение. А вы действительно с ним сидели? Не гастролируете в провинции, как я?

— Нет, я действительно сидел в тюрьме.

— Что же вы тогда притворились, будто узнаете меня?

Шарло ответил:

— Она постоянно думала о том, что рано или поздно Шавель здесь появится. У нее это стало болезнью, навязчивой идеей. Я подумал, что, может быть, вы ее вылечите. Не исключено, что так и вышло. А теперь я должен идти. Смотрите, ни шагу из комнаты, если не хотите, чтобы я выставил вас на дождь.

Терезу он нашел в столовой. Она разглядывала портрет его деда.

— Сходства никакого,— проговорила она.— Ни малейшего.

— Вам не кажется, что, может быть, глаза...

— Нет. Я ни в чем сходства не вижу. Вы, например, гораздо больше похожи на этот портрет, чем он.

Он спросил:

— Можно накрывать на стол?

— Нет-нет, теперь нам нельзя здесь есть, раз он вернулся.

— Вам нечего бояться. Дарственная имеет законную силу. Он вас никогда больше не потревожит. Теперь вы можете навсегда забыть о его существовании.

— Вот как раз и не могу! — горячо возразила она.— Видите, какая я трусиха. Помните, я говорила, что у каждого в жизни бывает испытание, и потом уже навсегда знаешь, чего ты стоишь. Ну, так вот, теперь-то я себе цену узнала. Мне бы надо пожать ему руку и сказать: «Милости прошу, брат мой, мы с тобой одной крови».

— Не понимаю,— сказал Шарло.— Вы его выставили вон. Что еще вы могли ему сделать?

— Застрелить! Я всегда была уверена, что застрелю его.

— Не могли же вы сходить за револьвером и потом, вернувшись, хладнокровно всадить пулю в человека.

— Отчего же? Разве он не хладнокровно отправил под пули моего брата? У него хладнокровия на целую ночь хватило, ведь верно? Вы же сами рассказывали, что расстрел был утром.

И опять он почувствовал, что должен защититься:

— Я вам не рассказывал, но один раз за ту ночь он попытался взять свое предложение обратно и отменить сделку. Только ваш брат не хотел и слышать об этом.

— Один раз,— повторила она.— Попытался один раз. И уж конечно, все старания приложил.

Ужинали, как обычно, в кухне. Мадам Манжо недовольным голосом осведомилась, что за шум был в прихожей.

— Прямо митинг какой-то,— ворчала она.

— Постучался нищий бродяга,— ответил ей Шарло.— Просился переночевать.

— Разве можно было его впускать? Стоит мне отвернуться, и в дом набивается всякая рвань. Подумать только, что скажет Мишель!

— Дальше прихожей его не пустили, мама,— сказала Тереза.

— Но я слышала, как они вдвоем шли по коридору на кухню. Ты это быть не могла. Ты была наверху.

Шарло поспешно объяснил:

— Нельзя же было выставить его на улицу, не дав даже куска хлеба. Это было бы бесчеловечно. Я выпустил его через черный ход.

Тереза отвела от него сумрачный взгляд и уставилась в мокрую тьму за окном. Слышно было, как дождь хлещет по стеклам и грохочет в водосточных трубах. В такую ночь несдобровать человеку без крова. Как же она ненавидит Шавеля, думал он. Он думал о Шавеле в третьем лице, как о ком-то другом, ему казалось, что он навсегда избавился от самого себя.

Ужин прошел в молчании. Поев, мадам Манжо грузно поднялась и удалилась спать. Она теперь ничего не делала по дому и не хотела видеть за домашней работой дочь. Ну, а чего не видела, того словно бы и не существовало. Манжо — землевладельцы, они не работают, а нанимают других работать вместо себя...

— По виду не скажешь, что он трус,— проговорила Тереза.

— Забудьте о нем.

— Этот дождь его преследует,— сказала Тереза.— Только он из дому, и сразу полило. Вот этот самый дождь. Как связующее звено.

— Можете о нем больше не думать.

— А Мишеля нет на свете. Теперь его действительно больше нет.— Она вытерла ладонью запотевшее стекло.— Он приходил и ушел, и Мишеля больше нет. Кроме него, его никто не знал.

— Я его знал.

— Да,— неопределенно согласилась она; это как бы не имело никакого значения.

— Тереза,— произнес он. Он впервые назвал ее по имени.

— Да? — отозвалась она.

Он всегда был и остался теперь человеком условностей. В его жизни имелись образцы поведения на любые случаи, они обступали его со всех сторон, как манекены в портняжной мастерской. Хотя правила поведения для осужденного на казнь ему в свое время оказались неизвестны, зато уж как делать предложение, он, дожив до средних лет, хорошо знал на основании личного опыта. Правда, тогда условия были более благоприятные. Он мог достаточно точно назвать цифру своего годового дохода и конкретно охарактеризовать свою недвижимость. А предварительно еще создать необходимый интимный настрой и при этом удостовериться, что у него с данной молодой особой полное единство взглядов по вопросам политики, религии и семейной жизни. Но теперь, отраженный в тазу для мытья посуды, на него смотрел человек без денег, без недвижимости, вообще без всякой собственности и ничего не знающий о своей избраннице, а просто испытывающий к ней слепую тягу души и тела и необыкновенную нежность и ощущающий эту новую для себя потребность оградить, защитить...

— Что? — переспросила она. Она все еще сидела, отвернувшись к окну, словно не в силах оторваться от долгих блужданий псевдо-Шавеля.

Он выспренне произнес:

— Я живу здесь уже третью неделю. Но вы обо мне ничего не знаете.

— Пустяки,— отмахнулась она.

— Вы не задумывались о том, что с вами будет, когда она умрет?

— Не знаю. Успеется еще об этом подумать.— Она с усилием отвела глаза от струящихся стекол.— Может быть, замуж выйду,— сказала она ему и улыбнулась.

Сердце у него безнадежно сжалось. В конце концов. вполне естественно предположить, что в Париже у нее кто-то остался, какой-нибудь зеленый мальчишка с ее улицы, с которым они вместе исследовали проходные дворы Менильмонтана.

— За кого?

— Откуда мне знать? — легкомысленно ответила она.— Здесь, по-моему, возможности не особенно широки. Есть Рош, однорукий герой, только меня как-то не тянет замуж за мужчину не в комплекте. Ну, потом еще вы, конечно...

У него пересохло во рту. Идиотство какое-то, так волноваться, когда собрался просить дочь лавочницы... Но мгновение было уже упущено.

— А может, придется на бринакском рынке поискать,— продолжала она.— Всегда говорят: если ты богата, вокруг будут толпиться охотники до твоих денег. Что-то я их здесь не вижу.

Он снова торжественно начал:

— Тереза.— И осекся: — Кто это?

— Матушка. Кому же еще быть?

— Тереза,— раздался голос с лестничной площадки.— Тереза!

— Придется вам домывать посуду самому,— сказала Тереза.— Я слышу по голосу, она в молитвенном настроении. Теперь не ляжет спать, пока мы с ней не прочитаем по сто пятьдесят раз Ave Maria и Pater Noster. Доброй ночи, мсье Шарло.

Так она всегда его величала, прощаясь на исходе дня, по-видимому желая исцелить вежливостью раны, которые могла нанести за день его самолюбию. Благоприятная минута прошла, и когда теперь ее ждать опять? Он чувствовал, что сегодня она была настроена уступчиво, а завтра?..

Когда он открыл дверь своей комнаты, Каросс лежал на кровати поверх одеяла, нижняя челюсть у него слегка отвисла и изо рта неслись прерывистый храп. Щелчок замка разбудил его; не пошевелившись, он просто открыл глаза и посмотрел на Шарло со снисходительной полуулыбкой.

— Ну-с,— произнес он.— Перемыли мне косточки?

— Вы такой бывалый актер, а избрали на этот раз неподходящую роль.

— Не уверен,— отозвался Каросс. Он сел и погладил свой массивный, мясистый актерский подбородок.— Знаете что? По-моему, я поторопился уйти. В конце концов, вы не станете отрицать, что я вызвал к себе интерес. А это уже половина победы, мой милый.

— Она ненавидит Шавеля.

— Но ведь я же не настоящий Шавель. Этого не следует забывать. Я — идеальный Шавель, воссозданный средствами искусства. Я в гораздо более выигрышном положении, поскольку не скован скучной и наверняка некрасивой правдой, это очевидно. Дайте мне только время, милейший, и я заставлю ее полюбить Шавеля. Вы случайно не видели меня в роли Пьера Лушара?

— Нет.

— Великолепная роль. Я там циник, пьяница, негодяй и подлый соблазнитель. А как нравился женщинам! Этот Лушар принес мне больше побед, чем...

— Она плюнула вам в лицо.

— Милый мой, неужели вы думаете, что я не помню? Это было великолепно. Один из ярчайших моментов в моей жизни. На сцене все же такого реализма не добьешься. И по-моему, я тоже был совсем не плох. Как я утерся рукавом, а? Какое достоинство! Держу пари, она сейчас не спит и вспоминает этот жест.

— Ну, разумеется,— сказал Шарло.— Шавелю до вас далеко.

— Все время упускаю из виду, что вы его знали. Подкинули бы какую-нибудь правдивую черточку для убедительности.

— Совершенно незачем. Завтра чуть свет вы уйдете. Спектакль окончен. А теперь будьте добры, уступите мне мою кровать.

— Здесь хватит места для двоих,— сказал актер и немного подвинулся к стене. От всех этих треволнений он снова впал в нечистоплотную вульгарность своих молодых лет и теперь упивался ею. Это был уже не давешний вальяжный пожилой Кросс, теперь в его жилы под слоями сала почти зримо просачивалась молодая кровь. Приподнявшись на локте, он хитровато произнес:

— А вы не сердитесь на мои слова?

— О чем это вы?

— Ну, мой дорогой, тут ведь и вполглаза видно, что вы терзаетесь муками нежной страсти.

Он слегка рыгнул и посмотрел на Шарло с ухмылкой.

— Не городите вздор,— сказал Шарло.

— Но это вполне естественно. Мужчина в том возрасте, когда чувства легко возбуждаются при виде молодости, живет в одном доме с достаточно привлекательной юной особой — ну, может быть, чуточку грубоватой. Прибавьте к этому, что вы долго были в тюрьме и что вы знали ее брата. Химическая формула, мой дорогой.— Он снова рыгнул.— Вот всегда со мной так, если поздно поем,— объяснил он.— Приходится отказывать себе в ужине, когда находишься в обществе молоденькой цыпочки. Ну, да, хвала богу, амурам такого рода через пару лет придет конец, а при женщинах постарше можно быть самим собой.

— Лучше бы поспали. Завтра я подниму вас рано.

— Вы небось думаете на ней жениться?

Шарло, прислонясь к умывальнику, с глухим отвращением разглядывал Кросса — но не только Кросса: в дверце зеркального шкафа отражались они оба, двое неудачников, двое пожилых мужчин, обсуждающих молодую девушку. Никогда до сих пор он не ощущал так болезненно свой возраст.

— Знаете,— сказал Кросс,— все-таки жаль, что я не могу здесь остаться. Ей-богу, я бы еще с вами потягался, даже как Жан-Луи Шавель. Вам не хватает напористости, мой милый. Надо было прямо сегодня идти к ней и победить, пользуясь тем, что я взволновал ее чувства.

— Не хочу быть вам обязан.

— Почему же? Чем я вам не угодил? Вы забываете, что я не Шавель.— Он потянулся и зевнул.— Ну ладно, неважно.— Он поудобнее устроился у стены.— Выключите свет, будьте так добры,— пробормотал он и через минуту уже спал.

Шарло присел на деревянный табурет — больше в комнате было негде примоститься. Сразу видно, что псевдо-Шавель вел себя здесь совершенно как дома. За дверью висело его пальто, с него на пол натекла небольшая лужица. Через спинку кресла он перебросил свой пиджак. Когда Шарло попробовал прилечь, что-то твердое в отвисшем кармане актера уперлось ему в бедро. Кросс перевалился на середину, и кровать под ним затрещала. Шарло погасил лампу и опять почувствовал боком груз в кармане Кросса. В окно размеренно, как прибой, ударял дождь. Радостные надежды минувшего дня умерли; он увидел свои желания распростертыми на кровати в облике потрепанного жизнью, некрасивого человека. Нам обоим лучше будет податься отсюда, подумал он.

Он опять подвинулся и ощутил тяжесть в кармане Кросса. Актер растянулся на спине и негромко, назойливо храпел. В темноте видна была только какая-то груда, будто сваленные как попало мешки с мукой. Шарло засунул руку к нему в карман и коснулся холодного револьверного дула. Он не удивился: мы вернулись к временам вооруженных граждан, револьвер сегодня так же уместен, как шпага триста лет назад. Но все же, подумал Шарло, ему лучше лежать

в моем кармане, чем у него. Револьвер оказался маленький, старого образца; Шарло прокрутил барабан: пять патронов из шести были на месте. Шестая ячейка пустовала, но когда Шарло поднес револьвер к носу и понюхал, он ощутил отчетливый запах недавнего выстрела. На кровати возле груды мешков что-то шевельнулось. Крыса, что ли? Но это была рука Каросса, актер невнятно пробормотал какую-то фразу, Шарло разобрал одно только слово: «фатум». Должно быть, тот и во сне играл какую-то роль.

Шарло сунул револьвер к себе в карман. Потом подумал и ощупал карманы висящего пиджака. В одном оказалась пачка бумаг, перетянутая черной резинкой. В комнате было темно, он осторожно открыл дверь и вышел в коридор. Дверь он за собой не захлопнул, опасаясь шума; тихо включил свет и стал рассматривать свою случайную находку.

С первого взгляда было ясно, что бумаги принадлежат не Кароссу. Среди них был чек на дюжину рыбных ножей, выписанный на имя какого-то Тупара и оплаченный в Дижоне тридцатого марта 1939 года,— столько времени чеки обычно не хранят, для этого надо быть уж очень опасливым человеком, но Тупар, по-видимому, таким и был, вот его фотография на удостоверении личности: робкий, боязливый человечек, всюду подозревающий ловушку. Сколько их повидал Шарло в суде, вечно норовящих уклониться, пойти в обход, чтобы только избежать неприятностей. Как могло случиться, что его документы оказались у Каросса? Шарло вспомнил недостающий патрон в барабане револьвера. Документы теперь ценнее денег. Старый актер взялся ради ночлега сыграть экспромтом роль Шавеля, это еще понятно, но неужели он рассчитывал выдать себя вот за этого человека? Конечно, всегда можно сказать, что минувшие пять лет изменили его до неузнаваемости. К исходу войны все наши портреты устареют: робкий подержал в руках орудие убийства, храбрый дрогнул под обстрелом.

Шарло возвратился в комнату и затолкал документы и револьвер обратно актеру в карман. У него пропала охота оставлять револьвер у себя. Дверь за ним захлопнулась с громким щелчком, похожим на внезапный выстрел. Каросс резко сел на кровати, посмотрел на Шарло широко раскрытыми глазами, испуганно спросил: «Ты кто?» — но прежде чем услышал ответ, уже снова спал крепким сном младенца. Почему все, кто убил, не могут спать так же крепко? — подумал Шарло.

14

— Где вы были? — спросила Тереза.

Он соскреб ножом грязь с подошв и ответил:

— Ночью мне показалось, будто кто-то ходит возле сараев. Я пошел проверить.

— Следов не нашли?

— Нет.

— Это мог быть Шавель,— сказала она.— Я долго лежала без сна, думала. Такая ужасная ночь, а мы выставили человека. Мы тут с матушкой молились. А он бродил на холоде под дождем. Сто пятьдесят раз прочли «Отче наш». И нельзя было выпустить слова о прощении, а то она заметит.

— Лучше остаться на холоде под дождем, чем быть расстрелянным.

— Не знаю. Может быть, и нет, как поглядеть. Когда я плюнула ему в лицо...— Она замолчала, и он мысленно услышал хвастливые слова актера о том, что она сейчас не спит и вспоминает его удачный жест. Мучительно было думать, что такой насквозь фальшивый человек способен так точно угадать душевное состояние другого, даже если этот другой человек — воплощенная искренность. Но не наоборот. Искренность — плохой помощник в познании ближнего.

Он сказал:

— С этим покончено. Не думайте больше о нем.

— Как вы думаете, он нашел себе пристанище? В деревне он, наверное, побоялся к кому-нибудь попроситься. Право, ничего плохого не было бы, если бы мы его пустили на одну ночь,— укорила она его.— Что же вы-то не заступились? Вам ведь его ненавидеть не за что.

— Выкиньте лучше его из головы. Вы, по-моему, не склонны были его прощать до того, как увидели.

— Кого видишь своими глазами, труднее ненавидеть, чем того, кого воображаешь.

Если это так, подумал он, ну и дурак же я.

— В конце концов,— продолжала она,— между нами гораздо больше общего, чем я думала: я ведь не смогла застрелить его, когда дошло до дела. Я не выдержала испытания точно так же, как и он.

— Ну, если вы ищете такого сходства,— возразил он,— то возьмите меня, например. Уж кажется, какой неудачник, вам этого мало?

Она взглянула на него с убийственным безразличием.

— Да,— кивнула она.— Вы правы. Но он передал мне прощальные слова Мишеля.

— Это он так говорит.

— Зачем бы он стал лгать об этом, если признался в главном? И вообще,— добавила она с вопиющим простодушием,— он не производит впечатление лживого человека.

В ту ночь мадам Манжо внезапно стало плохо: за ее могучим материнским бюстом на самом деле скрывалась немощь, и под его прикрытием произошел необратимый распад. Тут уж было не до врача, да и не хватало врачей на такие отдаленные провинциальные углы, как Бринак. Гораздо настоятельнее больная нуждалась в священнике, и Шарло впервые проник в опасную зону — в Сен-Жан. Было совсем рано, люди еще не поднялись, и он никого не встретил на пути к дому кюре. Но когда он звонил у дверей, сердце его отчаянно колотилось по ребрам. Они были близко знакомы со старым кюре, тот бывал к обеду, когда Шавель приезжал из Парижа. Конечно, теперь у него борода, и лицо за минувшие несколько лет изменилось, но старика этим не обманешь, и Шарло ждал со страхом и нетерпением: каково-то будет снова оказаться самим собой, хотя бы перед одним человеком?

Но тот, кто открыл дверь, был ему незнаком. На пороге стоял еще не старый темноволосый решительный мужчина, похожий на мастеровитого деревенского ремесленника. Он запихал в портфель святые дары, как слесарь запихивает в сумку инструмент, и поинтересовался:

— Полем сыро идти?

— Да.

— Тогда подождите, я надену калоши.

Шагал он очень быстро, Шарло с трудом за ним поспевал. Калоши чмокали и разбрызгивали жижу. Шарло сказал ему в спину:

— Тут раньше, кажется, был отец Рюсс.

— Умер,— отозвался молодой кюре, не оборачиваясь.— В прошлом году.— И добавил укоризненно: — Ноги промочил.— Потом обернулся к Шарло: — Вы даже не представляете себе, сколько приходских священников умирает от этого. Профессиональный риск, можно сказать.

— Говорят, хороший был человек.

— Деревенским много не надо,— высокомерно сказал преемник отца Рюсса.— Им всякий кюре хорош, если прожил на одном месте сорок лет.

Он словно причмокивал при каждом слове, но на самом деле это хлюпали его калоши.

Тереза встретила их в дверях. Держа в руке портфель, кюре поднялся вслед за нею наверх, опять как мастер со своим инструментом. Даром времени он, как видно, не тратил, потому что не прошло и десяти минут, как он уже в прихожей снова надевал калоши. Шарло в отдалении присутствовал при его деловитом, торопливом прощании.

— Если понадобится,— сказал кюре,— пришлите за мной опять, но прошу вас помнить, мадемуазель, что я, конечно, всегда к вашим услугам, однако я также к услугам всех живущих в Сен-Жане.

— Можно мне получить у вас благословение, отец?

— Разумеется.

Он припечатал воздух, словно нотариус, пришлепнувший где нужно резиновую печать, и ушел. Они остались одни, и Шарло впервые ощутил, как они безмерно одиноки. Словно смерть уже наступила и им надо было дальше действовать по своему усмотрению.

Часть четвертая

15

Великий актер Каросс сидел на огороде под навесом и обдумывал создавшееся положение. То, что он так низко пал, его не особенно смущало. Он был демократичен, как герцог, который выше классовых различий и условностей. Каросс играл на сцене перед Георгом Пятым, королем Великобритании, перед королем Румынии Каролем, перед эрцгерцогом Отто, перед специальным посланником президента Соединенных Штатов, перед рейхсмаршалом Герингом и перед бесчисленными иностранными послами, включая итальянского, русского и гера Абеца. Эти великие и монаршие мужи сверкали у него в памяти, подобно драгоценностям: он чувствовал, что любого из них всегда можно будет при необходимости заложить за звонкую монету. Но все-таки он испытал минутное беспокойство, когда ранним утром в Сен-Жане увидел на стене полицейского участка рядышком два объявления — в одном его имя фигурировало в списке находящихся на свободе коллаборационистов, другое сообщало о трупе, обнаруженном в деревне более чем в пятидесяти милях оттуда. Обстоятельства преступления были полиции неизвестны, иначе бы она, конечно, объявила о розыске злодейского убийцы. А ведь, в сущности, он действовал исключительно в целях самозащиты, чтобы этот тупоголовый маленький буржуа его не выдал. Тело он надежно, как ему казалось, упрятал в зарослях можжевельника за деревней, а бумаги забрал себе, рассчитывая, что при поверхностной невнимательной проверке они на крайний случай сойдут за его собственные. Однако теперь от них не могло быть никакого проку — один только вред, если бы их у него нашли,— поэтому он их здесь же под навесом сжег и пепел перемешал с землей в цветочном горшке.

Когда он увидел эти два объявления, то понял, что двигаться дальше бессмысленно. По крайней мере до тех пор, пока они не полиняют и не изорвутся в клочья. Необходимо залечь, а залечь можно только в одном-единственном доме. Этот Шарло уже раз солгал своей хозяйке, когда поддержал самозванство Каросса, к тому же он нарушил закон, приютив коллаборациониста: это удобный рычаг, им можно будет воспользоваться. Но теперь, сидя под навесом на тачке и углубленно обдумывая положение, Каросс воодушевился более дерзким планом: ему рисовалась совсем уж романтическая сцена, и, чтобы убедительнее сыграть ее, нужно быть воистину гением актерского искусства, хотя сам замысел был и не сказать чтобы оригинален, он уже когда-то приходил в голову Шекспиру.

Через дырочку в дощатой загородке Кaросс видел, как Шарло пошел через поле в Сен-Жан. На рынок было рано, и притом он явно торопился. Кaросс терпеливо ждал. Бортик тачки глубоко врезался в его мягкий зад. Но вот наконец он увидел, что Шарло возвращается со священником. Чуть позже священник ушел один с чемоданчиком в руке. Этот визит мог означать только одно, и творческая фантазия Кaросса сразу же использовала новый штрих, внесла изменение в задуманную сцену. Но он продолжал выжидать. Если правда, что гений — это упорство, Кaросс и в самом деле выказал себя гениальным актером. Наконец, его терпение было вознаграждено: он увидел, что Шарло снова вышел из дома и направился в Сен-Жан. Кaросс отряхнул полы пальто от прелого листа, потопал затекшей ногой и потянулся, как большой, ленивый, холощеный кот. Револьвер в брючном кармане ударил его по ляжке.

Нет на белом свете такого актера, который бы не испытывал страха при выходе на подмостки, и Кaросс, идя через огород к задней двери дома, перетрусил не на шутку. Слова роли вылетели у него из головы, горло пересохло, и звонок, так нахально и требовательно прозвеневший при его первом появлении, отозвался теперь из кухни осторожным, робким побрякиванием. Руку он держал в кармане, сжимая рукоятку револьвера, залог своего мужества. Дверь отворилась, и он дрожащим голосом произнес: «П-прошу п-прощения». Но и сквозь страх он сразу сообразил, что дрожащий голос — это удачная находка, он звучит жалостно, а жалость не даст двери захлопнуться, как не дала бы нога, просунутая в дверную щель. Девушка стояла в в тени, лица ее он не видел, но, заикаясь, продолжал говорить, прислушиваясь при этом к собственному голосу и постепенно успокаиваясь. Дверь не захлопнулась, а это все, что ему пока надо.

Он говорил:

— Я успел только дойти до деревни, когда узнал про вашу матушку. Мадемуазель, я не мог не вернуться. Я знаю, вы меня ненавидите, но поверьте, у меня и в мыслях не было убить еще и вашу мать.

— Вам незачем было возвращаться. Она не знала про Мишеля.

Эту звучало многообещающе. Его так и подмывало шагнуть через порог, но он сознавал, что такой шаг мог быть роковым. Как горожанин, непривычный к деревенскому безлюдью, он опасался, что с минуты на минуту у него за спиной может появиться какой-нибудь посыльный или торговец; а то еще возвратится раньше времени Шарло. Он все время прислушивался, не зашуршит ли гравий на аллее.

— Мадемуазель,— продолжал он свою вкрадчивую речь,— я никак не мог не вернуться. Вчера вы не позволили мне говорить. Я даже не до конца передал вам слова Мишеля.— Проклятье, подумал он, завралcя: какие еще слова? — Он произнес их в ту ночь, когда его расстреляли,— начал он издалека, но с изумлением заметил, что последняя реплика имела успех.

— В ночь, когда его расстреляли? Его расстреляли ночью?

— Да. Разумеется, ночью.

— А Шарло говорил, что утром, на следующее утро.

— О, этот человек всегда был отъявленным лжецом,— простонал Кaросс.

— Но зачем ему лгать?

— Чтобы представить меня в наихудшем свете,— сразу нашелся Кaросс и горестно вздохнул, гордясь своей находчивостью, которая открыла ему доступ в дом, потому что теперь Тереза Манжо посторонилась и дала ему войти.— Ведь это еще гораздо хуже — отправить человека на смерть не сгоряча, а имея целую ночь для размышления. Мало ему, что я и без того последний негодяй.

— Он сказал, что один раз вы попытались взять свое предложение назад.

— Один раз! — воскликнул Каросс.— О да, один раз. Больше я не успел, его увели.— И со слезами на глазах он повторил умоляющим голосом: — Верьте мне, мадемуазель, это произошло ночью.

— Да, я знаю, что ночью,— сказала она.— Я проснулась от боли.

— В котором часу?

— Немного за полночь.

— В это самое время! — горячо произнес он.

— Как подло с его стороны,— сказала она.— Подло лгать об этом.

— Вы не знаете, что за человек этот Шарло, мадемуазель, а мы его в тюрьме хорошо знали. Мадемуазель, я более чем заслужил ваше презрение. Ведь я купил свою жизнь, заплатив жизнью вашего брата. Но я по крайней мере не жульничал, чтобы спасти себя.

— Не жульничали?

Он вспомнил рассказ мэра о том, как тянули жребий. И ответил:

— Мадемуазель, мы тянули жребий в алфавитном порядке. Под конец остались всего две бумажки, тянуть должны были только он и я. Одна из двух бумажек была с крестом. В камере был сквозняк, он пошевелил бумажками, и Шарло, наверное, заметил снизу, которая из них меченая. Потому что он вытянул раньше своей очереди — Шарло ведь идет после Шавеля,— и его бумажка оказалась чистая.

Она сказала то, что напрашивалось:

— Вы могли потребовать пережеребьевки.

— Мадемуазель,— ответил Каросс,— тогда я думал, что он вылез вперед просто по оплошности. Где дело идет о жизни и смерти, нельзя наказывать человека за маленькую оплошность.

— И однако, вы воспользовались возможностью купить себе жизнь.

Он понимал, что играет противоречивый образ, в котором одно не вяжется с другим, тут, чтобы покорить публику, нужно подпустить сантиментов.

— Мадемуазель,— патетически произнес он,— вы многого не знаете. Этот Шарло все истолковал в дурную сторону. Ваш брат был очень болен.

— Я знаю.

Он чуть не охнул от такой удачи: что ни скажет, все в точку. И тут он немного разошелся:

— Как он любил вас! Как беспокоился о том, что с вами будет после его смерти! Бывало, покажет мне вашу фотографию...

— У него не было фотографии.

— Это меня удивляет.— На самом деле это его не удивило, а совершенно ошарашило: он уже было совсем уверился в успехе. Однако он быстро нашелся: — Он всегда показывал мне одну фотографию, это был снимок из газеты: уличная сценка, красивая девушка, наполовину скрытая в толпе. Теперь я понимаю, это были не вы, а какая-то девушка, как он считал, похожая на вас. Потому он хранил этот обрывок, смотрел и воображал, будто... В тюрьме люди ведут себя странно, мадемуазель. Когда он попросил меня продать ему бумажку с крестом, я...

— Да нет же,— перебила его она,— нет! У вас слишком все выходит гладко. Он попросил вас?.. Не так это было.

Он сокрушенно покачал головой.

— Вам наговорили на меня, мадемуазель. Я виновен, спору нет, но разве я вернулся бы сюда, если бы был настолько виновен, как выставляет меня он?

— Это не он, не Шарло. Мне рассказывал человек, который прислал завещание и остальные документы. Мэр Буржа.

— Ни слова больше, мадемуазель. Эти двое — сообщники. Это сговор. Теперь мне все понятно.

— А мне нет. К сожалению.

— Они в тюрьме все время держались вместе, водой не разольешь.— С замиранием сердца он произнес: — А теперь прощайте, мадемуазель. И благослови вас Бог.— Слово «Dieu» он выговорил с оттяжкой, любовно, он и в самом деле его любил как одно из самых действенных во всем арсенале сентиментального лицедейства. «Благослови Бог», «Бог свидетель», «Бог простит» — все эти велеречивые, заезженные фразы драпировались вокруг слова «Dieu» картинными складками. Кароссповернулся и замедленно шагнул к двери.

— А последние слова Мишеля?

16

Облокотясь на забор, Кароссналюдал за маленькой фигуркой, приближавшейся через поле со стороны Сен-Жана. Он стоял в непринужденной позе человека, отдыхающего в собственном саду; один раз он даже хохотнул негромко в ответ на какую-то пришедшую ему в голову мысль, но когда фигура приблизилась настолько, что можно было безошибочно узнать в ней Шарло, непринужденность Кароссасменилась некоторой настороженностью, напряжением ума.

Шарло, помня о револьвере в его брючном кармане, остановился в отдалении, глядя ему прямо в лицо.

— Я думал, вы давно ушли.

— Я решил остаться.

— Здесь?

Кароссмягко заметил:

— В конце концов, дом-то принадлежит мне.

— Кароссу, который сотрудничал с немцами?

— Нет. Жану-Луи Шавелю, который проявил малодушие.

— Но, решив сыграть Шавеля, вы забываете две вещи.

— Мне кажется, эта роль у меня получается неплохо.

— Если вы намерены изображать Шавеля, вам нельзя будет войти в дом или вам снова плюнут в лицо.

— А во-вторых?

— Все это давно уже не принадлежит Шавелю.

Кароссопять хохотнул и оторвался от забора, не вынимая руки из кармана с револьвером — «на всякий случай». Он сказал:

— У меня имеется на это два ответа, милейший.

Потрясенный такой самоуверенностью, Шарло крикнул ему:

— Перестаньте паясничать!

— Видите ли,— мягко возразил Кароссс,— мне без особого труда удалось уверить ее в правильности моей версии.

— Версии чего?

— Того, что произошло в тюрьме. Понимаете, я там не присутствовал, поэтому мне проще добиться правдоподобия. Словом, я прощен, мой дорогой Шарло, вы же, напротив, заклеймены — простите мою улыбку, ведь я-то знаю, какая это вопиющая несправедливость,— заклеймены как лжец.— Он весело и звонко захохотал, как будто ожидая, что его противник оценит с эстетической точки зрения всю комедийность ситуации.— Вам, Шарло, надлежит убраться вон. И притом немедленно, сию же минуту. Она на вас страшно зла. Но я уговорил ее выплатить вам триста франков жалованья. Итого, вы мне должны шестьсот, любезнейший.— Он даже сделал вид, что протягивает за ними левую руку.

— А вас она оставляет? — спросил Шарло, держась все так же в отдалении.

— Что же ей еще делать? Представьте, она даже не слыхала о декрете от семнадцатого числа — впрочем, и вы, вероятно, тоже? Ну конечно, вы ведь газет здесь не видите. По этому декрету все сделки о передаче недвижимости, заключенные в период немецкой оккупации, объявляются недействительными в случае опротестования одной из сторон. Вы что же, и вправду об этом не задумывались? Хотя меня и самого осенило только сегодня утром.

Шарло смотрел на него с ужасом. У него на глазах старый актер Кaросс, обрюзглый и отвратительный, как свинья, превратился в Каросса идеального — надменный, плотоядный, он стоял, непринужденно привалясь к земной оси, и предлагал ему все царства мира в виде отчего дома и шести акров собственной земли. Все это он может получить, если пожелает,— это или же свои прежние неразменные триста франков. С утра он чувствовал близость сверхъестественного — умирала старуха, и сверхъестественный мир приблизился вплотную, в дом явился Бог в портфеле кюре, а где Бог, там и Враг, он — тень Божества, горькое доказательство бытия Божия. Снова раздался дурацкий смешок актера, но Шарло слышал за ним идеальный сатанинский хохот, самодовольный, панибратский, приглашающий.

— Ручаюсь, что Шавель на это и рассчитывал, когда подписывал дарственную. Вот хитрый дьявол! — Кaросс со смаком захихикал.— Сегодня девятнадцатое. Теперь его долго ждать не придется, увидите.

Пошлые слова Каросса не доходили до Шарло, он слышал за ними Диаволову похвалу себе, словно новобранцу: «Молодчина, Шавель!»

Его захлестнула волна счастья — он вернулся домой, отчий дом опять принадлежит ему!

Он сказал:

— Какой прок вам дальше прикидываться Шавелем, Кaросс? Сами же вы говорите, что он не сегодня-завтра будет дома.

— Ей-богу, ты мне нравишься, старина,— ответил Кaросс.— Ты и вправду похож на добряка Пидо. Вот что я тебе скажу: если у меня выгорит одно дельце, всегда можешь рассчитывать на тысчонку-другую.

Трава, на которой они стояли, была его травой, и он смотрел на нее с любовью; надо будет выкосить ее до наступления зимы, а уж на следующий год он возьмется за сад по-настоящему... Снизу от реки тянулись две цепочки следов: узкие — от его ботинок и широкие — от калош кюре. Этим путем в дом вошел Бог, и вдруг зримый мир затянулся, затуманился, а когда снова оказался в фокусе, он с прежней отчетливостью увидел Каросса, жирного и наглого, и ясно представил себе, что надо делать. Декрет от семнадцатого числа. Даже дары Дьявола — тоже дары Бога. Что Дьявол ни преподнесет, все Бог дарует нам великое право отвергнуть.

Он спросил еще раз:

— Какой прок, Кaросс?

— Ну как же,— ответил Кaросс.— Для человека в моем положении и на один день пристанище — уже выигрыш. Скоро люди снова возьмутся за ум, придут к власти те, кто надо. Тут только затаиться и выждать.— Но он не утерпел и похвастался: — Это еще что, мой милый. Вот если я с ней обвенчаюсь до появления Шавеля, то-то будет триумф! Думаешь, слабо? Но я ведь не кто-нибудь, а сам Кaросс. Помнишь в «Ричарде III»? «Возможно ль ту, что ненавидит, обольстить?» Ответ: разумеется, да. Да-да, Шарло, да!

Врага надо хорошо знать. Шарло в третий раз спросил:

— Но зачем? Что в этом проку?

— Мне нужны деньги, милейший. Не может быть, чтобы Шавель

отказался отвалить кусок. Это бы уж ни в какие ворота, братца-то он перехитрил и на смерть отправил.

— И ты думаешь, я это допущу? Сам же вчера сказал, что я люблю ее.

— А-а, ты про это,— отмахнулся Каросс.— Любишь, но не себе же во вред. Мы с тобой стары, мой милый, для самоотверженной любви. Подумай-ка: если вернется Шавель, ты не получишь ничего, если же моя возьмет, ты знаешь, я человек щедрый.— Это была правда, щедрость составляла неотъемлемую часть его вульгарности.— И потом, теперь ничего уж не поделаешь, ты же наврал ей, что я — Шавель.

— Ты забываешь, что я знаю, кто ты на самом деле: Каросс-коллаборационист. И убийца.

Правая рука в кармане ожила, один палец передвинулся к предохранителю.

— По-твоему, я так опасен?

— Да.— Шарло следил за его рукой.— И потом вот еще что: я знаю, где находится Шавель.

— Где же?

— Можно сказать, уже здесь. И это еще не все. Посмотри вон туда, через поле. Видишь церковь?

— Конечно.

— Видишь за церковью склон, немного вправо, разделенный на участки?

— Да.

— На верхнем участке справа работает человек.

— Ну и что же?

— Отсюда его не узнать, но я знаю, кто это. Это фермер по фамилии Рош, руководитель Сопротивления в Сен-Жане.

— И что?

— А если я сейчас спущусь к мосту, и подымусь туда, и расскажу ему, что в большом доме находится Каросс и не просто Каросс, а к тому же еще и убийца человека по фамилии Тупар?

Одно мгновение казалось, что Каросс выстрелит,— на таком открытом месте это был бы акт отчаянья: звук выстрела разнесся бы по всей округе. Но вместо этого Каросс улыбнулся.

— Друг мой,— произнес он,— да ведь мы с тобой связаны одной веревочкой.

— Значит, ты не будешь возражать, чтобы я вместе с тобой вошел в дом? — Шарло медленно приблизился к нему, как подходят к цепной собаке.

— Я-то нет, но хозяйка может быть против.

— Хозяйка, как я понял, прислушается к твоему совету.

Каросс внезапно выдернул из кармана правую руку и жизнерадостно шлепнул Шарло по спине.

— Браво, браво,— проговорил он.— Я тебя недооценил. Будем работать на пару. Ты мне по душе, приятель. Немного изобретательности — и мы с тобой не только денежки к рукам приберем, но и девку поделим.

Он взял Шарло под руку и ласково поволок в дом.

Один раз Шарло оглянулся туда, где на склоне виднелась фигурка Роша. Он вспомнил, как они с ним дружили, до того как увечье отравило язык Роша горечью... Маленький Рош спиной к ним шагал за плугом.

Каросс стиснул ему правый локоть.

— Если этот Шавель действительно уже едет,— сказал он,— мы будем обороняться, ты и я. В случае чего, у меня есть револьвер.— Он снова сжал ему локоть.— Смотри не забывай об этом, договорились?

— Да.

— Надо будет тебе сразу извиниться перед ней за то, что ты ей наврал. Она на тебя очень в претензии.

— Наврал?

— Ну да, что будто бы ее брата расстреляли утром.

Отраженное от окна солнце ударило ему прямо в глаза; опустив голову, он думал: «Что мне делать? Что я делаю?»

17

Мадам Манжо умерла ночью. Снова был приглашен кюре, и Шарло из своей комнаты слышал внизу звуки смерти: шаги, звяканье стакана, журчанье льющейся из крана воды, разговор шепотом. Дверь в его комнату открылась — заглянул Кросс. Он перебрался, как он выразился, в собственную спальню, но пока в доме чужие, предпочитал не мозолить глаза. Он прошептал:

— Слава богу, уже, можно сказать, все. Меня прямо оторопь берет.

Смерть — это не личное дело умирающего: не просто последний вздох — и конец, только шепот, звон стакана, скрип половиц, шум льющейся в раковину воды. Смерть была как срочная операция без ассистентов или как роды, когда каждую минуту готов услышать крик новорожденного; но слышишь в конце концов всего-навсего мертвую тишину: завернут кран, стакан больше не звенит и не скрипят под ногами половицы.

Кросс удовлетворенно вздохнул:

— Свершилось.

Оба прислушались, как два заговорщика. Кросс зашептал:

— Сейчас решающий момент. Она не знает, что делать. Ей нельзя здесь жить одной.

— Я должен пойти проводить патера,— сказал Шарло.

Кюре в прихожей надевал калоши. По пути домой он коротко спросил:

— Теперь вы уедете?

— Вероятно.

— Либо вам надо уехать, либо мадемуазель Манжо должна будет пригласить из деревни компаньонку.

Шарло с раздражением подумал, что кюре считает мораль главным законом человеческого поведения, и даже не мораль, а приличия. Он сказал:

— Мадемуазель Манжо сама это решит.

Они остановились на краю деревни. Кюре произнес:

— Мадемуазель Манжо молода и легко поддается влиянию. Она очень простодушна и совсем не знает жизни.

На сером фоне утренней зари он возвышался как черный восклицательный знак, выражающий безграничное высокомерие и апломб.

— Я бы этого не сказал. Она повидала жизнь в Париже. Она ведь не в деревне выросла,— язвительно заметил Шарло.

— Для познания жизни место жительства не имеет значения,— возразил кюре.— Один человек среди пустыни — этого уже довольно, если обучен наблюдать или имеешь дар наблюдательности. У нее нет этого дара.

— По-моему, за годы городского детства она набралась своеобразной житейской мудрости.

— А вы не задумывались над тем, можно ли эту житейскую мудрость приравнять к настоящему жизненному опыту?

— Нет.

— Сообразительность еще не заменяет опыта, а неопытность часто кажется сообразительностью.

— Чего вы хотите? Предостеречь меня?

— Вы образованный человек, мсье, и вы не будете утверждать, что это не мое дело. Дело это мое, вы сами знаете. Но вы, наверное,

считаете, раз я говорю, что либо вы должны уехать, либо мадемуазель Манжо должна пригласить компаньонку, значит, я озабочен внешними приличиями. Но это не забота о приличиях, мсье, а знание человеческой природы, которое поневоле приобретаешь, когда день за днем сидишь и слушаешь, что рассказывают люди о своих поступках и побуждениях. Мадемуазель Манжо сейчас очутилась в такой ситуации, когда женщина вполне может совершить неразумный шаг. Все эмоции имеют общую природу. Людям известно, что в смятении плоти содержится печаль, но они не знают, что и в печали есть смятение плоти. Смотрите, не воспользуйтесь этим, мсье.

Куранты на убогой церковной башенке пробили половину седьмого — час, когда он тогда в тюрьме сделал единственную попытку взять свое предложение обратно; час, когда стали видны в полутьме бессонные глаза Января. Он сказал священнику:

— Верьте мне, отец мой. Я желаю мадемуазель Манжо только добра.

И, повернувшись, торопливо зашагал к дому. Был час, когда все, наконец, видится ясно...

Внизу в доме было темно, но на площадке лестницы горел свет. Шарло вошел так тихо, что его не заметили. Он и она стояли на лестнице, как два актера перед кинокамерой, готовые сыграть сцену по знаку режиссера. Печаль в смятении плоти и смятение плоти в печали, сказал кюре. Они изображали вторую половину этой истины. И что-то такое уже было сказано или сделано, отчего на щеке у мужчины пролегла борозда досады, а девушка подалась к нему в слезах.

— Отпустили бы вы меня,— умоляя, произнесла она.

— Мадемуазель! — воскликнул он ей в ответ.— Вы одиноки, вы остались одна на всем свете. Но теперь вы больше не будете страдать от одиночества. Вы ненавидели меня — это прошло, все прошло. Больше не будет у вас ни забот, ни тревог...

Как умело он ведет игру, подумал Шарло, этот престарелый попрыгун, он предлагает то, что людям сейчас нужнее любви,— покой. А слова лились и лились, как вода, как воды Леты.

— Я так устала.

— Тереза, теперь вы сможете отдохнуть.

Он продвинул ладонь по перилам и прикрыл ее руку своей, она не сбросила ее.

— Если бы только можно было кому-то довериться,— произнесла она.— Я думала, что могу доверять Шарло, а он солгал мне про Мишеля.

— Мне ты можешь доверять,— сказал Каросс.— Я признался в самом плохом. Открыл тебе, кто я.

— Да,— согласилась она.— Это правда.

Он пододвинулся к ней еще ближе. Невероятно, думал Шарло, как можно не чувствовать этой фальши, бьющей в нос, точно запах серы? Но Тереза даже не попыталась уклониться. Она качнулась к нему в объятья, закрыв глаза, как самоубийца. Каросс из-за ее плеча вдруг увидел внизу Шарло, ухмыльнулся, торжествуя, и заговорщицки подмигнул.

— Мадемуазель Манжо,— внятно проговорил Шарло.

Девушка отодвинулась от Каросса и смущенно посмотрела вниз. И ему вдруг стало до очевидности ясно, как она молода и как они оба стары. Он больше не испытывал к ней влечения, а лишь одну безмерную нежность. Лампа на площадке потускнела в сером свете наступающего дня и Тереза на лестнице казалась маленькой бледной девочкой, которой засидевшиеся в доме гости помешали вовремя лечь спать.

— Я не знала, что вы здесь,— пробормотала она.— Вас так долго не было...

Каросс следил за ним исподлобья, правую руку, сняв с плеча Терезы, он опустил в карман. Но проговорил при этом самым дружелюбным тоном:

— А, Шарло! Ну как, милейший, проводили кюре?

— Я не Шарло,— сказал снизу Шарло, обращая свои слова только к Терезе.— Меня зовут Жан-Луи Шавель.

18

— Обезумел, что ли? — грубо крикнул Каросс.

Но Шавель продолжал спокойно объяснять Терезе:

— Этот человек — актер по фамилии Каросс. Вы, должно быть, о нем слыхали. Его разыскивает полиция как коллаборациониста и убийцу.

— С ума сошел.

— Не понимаю,— сказала она и отвела со лба влажную прядь волос.— Столько лжи; кто из вас лжет, я не знаю. Почему же вы тогда сказали, что узнаёте его?

— Да, вот ответьте нам! — торжествующе выкрикнул Каросс.

— Я боялся признаться вам, кто я, потому что знал, как вы меня ненавидите. Когда он появился, я подумал, что смогу навсегда отказаться от себя и вся ненависть достанется ему.

— Ай-ай-ай, какой лжец, а? — с издевкой сказал Каросс, перегнувшись через перила. Он и она стояли наверху бок о бок, и у Шавеля вдруг мелькнула ужасная мысль: что, если уже поздно, что, если это уже не просто рожденное горем смятение плоти, о котором говорил священник, а настоящая любовь, готовая принять мошенника Каросса, как и труса Шавеля? Теперь ему больше ничего не нужно было от жизни, только бы возвести между ним и ею несокрушимую преграду — любой ценой, подумал он, любой ценой.

Каросс сказал:

— Забирайте свою постель и топайте вон отсюда. В вас здесь больше не нуждаются.

— Этот дом принадлежит мадемуазель Манжо. Пусть она сама распорядится.

— Надо же, каков жулик.— Каросс покачал головой и взял девушку под руку.— Вчера подходит ко мне и говорит, что на самом деле этот дом по закону — мой, какой-то там, не знаю, вышел декрет, отменяющий якобы все сделки, заключенные при оккупации. Как будто я когда-нибудь воспользовался бы такой низкой уловкой.

Шавель сказал:

— Когда я мальчиком жил в этом доме, у нас была одна игра, мы играли в нее с другом, который жил за рекой.

— Что он такое городит?

— Минуту терпения. Вам это будет небезынтересно. Я брал вот такой фонарик, или свечку, или в солнечный день — зеркальце и слал ему вот отсюда, с порога, сигналы. Иногда вот так. Это означало: «Выйти не могу».

Каросс встревоженно поинтересовался:

— А теперь что вы передаете?

— Этот сигнал всегда означал: «На помощь, напали дикие индейцы».

— Боже мой,— проговорила девушка.— Я ничего не понимаю в ваших разговорах.

— Друг и теперь живет на том берегу, пусть он теперь уже мне и не друг. В это время он выгоняет коров. Он увидит вспышку моего фонарика и поймет, что Шавель вернулся. На помощь, напали дикие индейцы. И, кроме него, никто этого не разгадает.

Он видел, что рука Каросса в кармане напряглась. Разоблачить его как лжеца — этого мало. Он еще может как-нибудь картинно вывернуться. Преграда должна быть несокрушимой.

Тереза спросила:

— То есть, если он придет сюда, тем самым подтвердится, что вы — Шавель?

— Он не придет,— буркнул Каросс.

— Не придет — найдутся другие доказательства.

— Кто он, этот ваш друг? — спросила Тереза, и он почувствовал, что она уже наполовину поверила ему.

— Фермер Рош, руководитель местного Сопротивления.

— Но ведь он вас уже видел, на пути в Бринак,— возразила девушка.

— Он не присматривался. Я сильно изменился, мадемуазель.— Он снова стал в дверях с фонариком в руке.— А сигналов он не мог не заметить. Он сейчас на скотном дворе или в поле.

— А ну бросай фонарик! — вдруг заорал Каросс. То была победа: актер скинул маску, у него, как на допросе, блестели на лбу капли пота.

Шавель, скосив глаза на его правый карман, отрицательно покачал головой и напрягся в ожидании боли.

— Бросай, говорю!

— Но почему?

— Мадемуазель,— неожиданно искренне сказал Каросс,— каждый человек вправе бороться за свою жизнь. Велите ему бросить фонарик, или же я стреляю.

— Значит, вы действительно убийца?

— Мадемуазель,— ответил он с беспардонной искренностью,— это же война.— Он попятился от нее вдоль перил и, вынув револьвер, навел его сперва на Шавеля, потом на Терезу, черное дуло соединило их одной пунктирной линией.— Бросай фонарь.

Куранты на деревенской церкви начали бить семь часов. Шавель, опустив погашенный фонарик, считал удары, это был час гаревой дороги и кирпичной стены, час, когда принял за него смерть тот, другой. Столько приложено стараний, и затем только, чтобы оттянуть неизбежное. Каросс, неверно истолковав его замешательство, снова почувствовал себя хозяином положения и приказал:

— Так. Теперь брось фонарь и шаг в сторону от двери.

Но Шавель, вскинув над головой руку с фонариком, снова включил его и погасил, включил и погасил.

Каросс выстрелил два раза почти без перерыва. Первым выстрелом он впопыхах угодил в картину на стене — посыпалось разбитое стекло; от второго фонарик покатился по полу и замер, проложив к порогу яркую дорожку света. Лицо Шавеля исказилось от боли. Его, как ударом кулака, отбросило к стене. Но острая боль тут же прошла, когда-то от аппендицита было гораздо больнее. Когда он поднял голову, Каросс уже исчез. Тереза стояла перед ним.

Она спросила:

— Вы ранены?

— Нет,— ответил он.— Посмотрите на картину: он промахнулся.

Второй выстрел раздался сразу за первым, она его не различила. Теперь надо было удалить ее, прежде чем начнется уродство. Он с трудом сделал несколько шагов и опустился в кресло. Через несколько минут оно промокнет насквозь. Он произнес:

— Ну, вот и все. Теперь он не осмелится возвратиться.

Она спросила:

— Вы действительно Шавель?

— Да.

— Но про сигнал это ведь тоже была ложь, да? Вы все время сигналили по-разному.

— Да, тоже ложь. Я добивался, чтобы он выстрелил. Теперь уж он не вернется, он думает, что убил меня, как... этого...— Фамилия убитого никак не вспоминалась. В прихожей, несмотря на раннее

утро, стояла невыносимая жара; со лба у него, как ртуть, скатывались капли пота. Он сказал: — Он будет уходить в противоположную сторону от Сен-Жана. А вы скорее ступайте туда и обратитесь за помощью к кюре. И Рош вам поможет. Не забудьте: Карасс, актер.

Она сказала:

— По-моему, вы ранены.

— Да нет же. Просто задело рикошетом от стены. Только и всего. Легкий шок. Принесите мне карандаш и бумагу. Я запишу свои показания, пока вы вызовете полицию.— Она выполнила его просьбу и опять остановилась над ним растерянная и обеспокоенная. Он боялся потерять сознание, пока она в доме. Он ласково спросил: — Ну, теперь все в порядке? Ненависть прошла?

— Да.

— Ну и хорошо,— проговорил он.— Слава богу.— От его любви тоже не осталось ни следа, влечение утратило смысл, сохранились только жалость, нежность и сострадание, какое испытываешь к несчастью совсем постороннего человека.— Теперь у тебя все будет хорошо,— сказал он ей.— Ну, давай беги,— нетерпеливо, как ребенку, велел он.

— А вы как, ничего? — с тревогой спросила она.

— Ничего, ничего.

Как только она ушла, он принялся писать, он хотел, чтобы не к чему было придраться, его адвокатский ум требовал аккуратного подведения итогов. Он, правда, не знал точной формулировки нового декрета, но вряд ли его дарственная подлежит отмене без опротестования одной из сторон. То, что он писал сейчас: «Завещаю все, чем владел в момент моей кончины...» — должно было только удостоверить, что у него не было намерения опротестовывать; сама по себе эта бумага не имела законной силы, ведь у него не было свидетелей... Кровь из раны на животе уже стекала по ноге. Хорошо, что Тереза ничего этого не видит. Кровь холодила кожу, как вода. Он бросил взгляд вокруг: в распахнутую дверь струился свет с полей. Умереть у себя дома и одному — в этом было что-то правильное: в час смерти владеешь только тем, что может охватить взгляд. Бедный Январь, мелькнула мысль, и его дорога, засыпанная черной гарью... Он начал подписывать свое имя, но не успел — рана его разверзлась: струя, поток, река; широкий разлив покоя.

На пол рядом с креслом упал лист бумаги, исписанный неразборчивыми строчками. Он так и не узнал, что вместо подписи под ними стояло только: «Жан-Луи Ша...», а это одинаково означало и «Шарло» и «Шавель». Высший суд освободил его от угрызений. Даже придирчивая адвокатская совесть почила в мире.

■

БЕРНШТЕЙН ИННА МАКСИМОВНА

Советская переводчица с английского. В ее переводе публиковались романы Г. Мелвилла «Моби Дик», Т. Мэлори «Смерть Артура», И. Во «Возвращение в Брайдсхед», Дж. Гарднера «Осенний свет» и др.

Из аргентинской поэзии

Перевод с испанского СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

АРИЭЛЬ КАНСАНИ

Поэт

Ради бога,
не надо включать меня
в схемы и течения.
При моем росте и весе
я могу себе выбрать
любое назначение.
Могу стать знаменитым
боксером
или, например, известным
(кое-где, говорят, бывает и такое)
шахтером.
При моих здоровенных руках
я могу стать докером или
профессиональным гандболистом.
А что? При моей-то силе...
При моей рассудочности,
при характере моем
неистовом
я вчера мог быть с карбонариями,
а завтра буду
с марксистами.
Не сажайте меня в клетку
схемы.
Мы, поэты, такие непоседы...
Я вас явно подведу,
литературоведы.

Мы, поэты,
живем импровизацией.
Не пишите про нас
диссертации.
Я могу умереть
не так, как вы напророчите.
Могу умереть за родину,
за угнетенного рабочего,
за батрака, потеющего
на плантации,
или от жажды
справедливости.
Не пишите про нас диссертации,
Ваши Милости.

Я ведь могу умереть
за любимую женщину,
я могу умереть от тоски
или даже без повода,
и тогда вам придется искать
другие доказательства и доводы.

Не включайте меня — ладно? —
в разные там школы и схемы.
Просто я родился с глазами,
в которых гнездятся поэмы.

© Ariel Canzani D., 1980.

АРИЭЛЬ КАНСАНИ Д. — ARIEL CANZANI D. (1928—1985). Аргентинский поэт, прозаик, переводчик; профессиональный мореход, капитан дальнего плавания. Автор книг «Жажда» («La sed» 1960) «Мечта должна умереть завтра» («El sueño debe morir mañana» 1962) «Бродяга по океанам» («Caminador de océanos», 1967), «Стихи для того, чтобы надежда не умирала» («Poemas para que viva la esperanza», 1977) и др. Публикуемые стихотворения взяты из сборника стихов «Диоптрические поэмы» («Poemas dióptricos». Buenos Aires, Fundación Argentina para la poesía, 1980).

Песенка про мою глупость

И что с того, что я не разбираюсь
(ну что поделаешь со мной?),
чем одна наша партия
отличается от другой?

Ну и что, если я
(таким уж родила меня мать)
никак не возьму в толк,
почему это богатые
не могут не воровать?

И что такого,
что я никак не пойму,
почему честного человека
надо непременно посадить
в тюрьму?

Что страшного,
если я пою осанну
не древнему мученику,
а повстанцу или партизану?

Неужели такой переполох
во всем военном лагере
вашем
только из-за того,
что я симфонию
предпочитаю маршам?

Подумаешь, какое дело:
вы мне ставите в вину,
что я объявил безумьем
войну
и, стало быть, я
или сбрендил,
или перебрал бренди.

А я все равно
не перестану утверждать
везде и всегда,
что мир, как и хлеб,
требует от нас
ежедневного
труда.

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТО АРРИЭТА

Тающее время

Окно приоткрыто... Дымом
вплывает в комнату сумрак,
и тающей бахромою
трепещет его рисунок.

Дымок моей сигареты
в извечном своем обряде
взвивается вверх и тает,
свои развивая пряди.

Но вдруг, потолка достигнув,
свивается в кольца снова,
слоясь голубым узором
венца своего резного.

Как будто снимая бремя,
давившее мне на плечи,
я радуюсь, видя: время
сгорает — и тает вечер.

Почти что потухло солнце...
Моя сигарета гаснет...
Сгущается мгла... Бывает
на свете ли что прекрасней?

Я вижу в окне: последний
мой парус во тьму отчалил.
На пепел сгоревших башен
без всякой гляжу печали.

Я — капля, реке вселенской
отданная на милость.
Но я же — сосуд, в котором
все сущее поместилось.

Я — искорка. Я — рабыня
у мрака в его гареме.
Но я же — глаза вселенной,
глядящей, как тает время.

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТО АРРИЭТА — RAFAEL ALBERTO ARRIETA (1889—1968). Аргентинский поэт и прозаик, один из самых популярных в стране лириков. Автор стихотворных сборников «Душа и миг» («Alma y momento», 1910), «Зеркало фонтана» («El espejo de la fuente», 1912), «Плененное время» («Tiempo cautivo», 1947), «Поэтическая антология» («Antología poética», 1965), из которой взяты публикуемые стихи.

Семь братьев

Взяв поляну в кольцо, вековечные кроны
вспоминают истоки зеленой судьбы,
и, вздымая стволы, как могучие троны,
о земном повествуют листвою дубы.

Сколько тайн схоронила листва их, как омут!
Каждый ствол их — былому живой монумент.
Ветер, слушая всех, не постигнет, какому
было жизнью доверено больше легенд.

Семь колонн для полудня. Для полночи — тоже.
Семь опор поднебесью сейчас, и вчера,
и столетья назад... Не постигнуть нам, боже,

сколько зори их видели и вечера!
Не сдержать ледяной и восторженной дрожи
нашей плоти и даже движенью пера.

АРТУРО КАПДЕВИЛА

Весна

Да, весна стояла. И какая!
Вспомни, сердце, все свое вчера.
Как звенели травы, не смолкая!
Как цвели любовью вечера...

В каждой розе пламенела встреча
и тепло нежданного костра.
И цвела земля, суля под вечер
аромат, нахлынувший с утра.

До поры до времени, как песни,
реяли весенние ветра.
И весна ли виновата,
если
не вернулась эта к нам пора?

Песня клубящегося праха

На холм поднимаясь,
я вдруг машинально
назад оглянулся...
Там облаком пыли
клубились виденья,
которые сущим
мне раньше казались,
а может — и были.

Да нет же, да нет же,
не может, а точно —
дым этого праха
был раньше твердыней.
И все-таки вздох
невесомого ветра
развеял, обрушил
былые святыни.

АРТУРО КАПДЕВИЛА — ARTURO CAPDEVILA (1889—1967). Аргентинский поэт, романист, драматург, ученый-филолог. Дважды лауреат Национальной литературной премии, почетный академик Испанской королевской академии, автор поэтических книг «Праздник мира» («La fiesta del mundo», 1922), «Голубая Кордоба» («Córdoba azul», 1940), «Поэтическая антология» («Antologia poética», 1943), из которой взяты публикуемые стихи, и многих других.

Плоды трепетавшего
некогда чувства,
плоды конвульсивно
сжимавшейся мысли,—
лишь ветер сегодня
подул посильнее,
вы облаком пыли
тщедушной повисли.
Бесцветная пыль
и бесплотные тени,
неужто и вправду
вы жили на свете?

Как вышло, что все,
что я нажил и прожил,
так просто развеял
нечаянный ветер?
Но разве не в этом
судьба человека:
горсть праха добавить
в обилие пыли?
Наверно, наверно.
И все-таки, все же:
о мертвые тени,
вы — жили! Вы — были!

ХОСЕ ГОНСАЛЕС КАРБАЛЬО

Кроткая молитва

Сделай меня тенью.
Ни любви, ни пищи
мне не надо будет.
Значит, стану чище?

Если путь к блаженству
только лишь смиренье,
усыпи желаний
жаркое горенье.

Я хочу быть счастлив,
как заря и птица.
Что же мне прикажешь?
Вовсе раствориться?

Странствия

Я, вслед за спиралью
певучего эха,
взлетаю и вижу
равнины и кряжи.

И вижу, как вечер
тасует безбожно
созвездья и наши
земные пейзажи.

Знакомый, увидев меня,
отшатнется.
Наверное, я
изменился заметно.

Еще бы! В такую минуту
я вижу
ту бездну, куда
не заглядывал смертный!

Ангел

В лохмотьях, прокопченных знойным светом,
так не похож ты на земных святош.
Ты не паришь над миром, ты бредешь,
освистанный судьбой, дождем и ветром.

Зачем в пыли ты, ангел, ищешь грош?
Ты черен, ангел, вопреки Заветам.
Ты ангел, но мозолисты при этом
твои ладони... Как ты не похож

ХОСЕ ГОНСАЛЕС КАРБАЛЬО — JOSÉ GONZÁLEZ CARBALHO (1900—1958).

Аргентинский поэт и прозаик, автор книг «Вечерние колокола» («Campanas de la tarde», 1923), «Ночной берег» («Orilla nocturna», 1942), «Песни первой ночи» (Canciones de la primera noche», 1948). Публикуемые стихи взяты из книги «Песни, чьи листья отшелестели» («Canciones con las hojas secas», 1953).

на ангела, сошедшего с картины!
Присел на камень ты среди равнины.
Батрак, горюешь о своей судьбе.

Как жаждешь ты сейчас земного хлеба!
Но, ангел, ты еще обрящешь небо,
еще земля поклонится тебе.

Осенние мотивы

Льются листья.
Листья бьются оземь.
Осень.
Где ты,
в облаках былая просинь?
Осень!
Мы напрасно
снова солнца просим.
Осень!
Поржавели
наших жизней
оси.
Осень!
Тлеют розы,
лепестки отбросив.
Осень!
И туманы
отстирают в плесе
нашу память.
Осень. Осень.
Осень.
Пели птицы,
помня о покосе.

Подкосила
птичьи трели
осень.
На траве
заиндевела проседь.
Ухожу я
за тобою, осень.
Смерть считает:
«три... четыре... восемь».
Ладно, ухожу.
Ты слышишь, осень?
Я бреду
во сне под сенью
сосен.
Я ушел.
Ушел я, слышишь,
осень?
Ах, как пели
птицы на покосе!
Я ушел.
Ушел за ними, осень.
Льются листья.
Листья бьются оземь.
Успокойся!
Я растаял, осень!

■

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род в 1945 г.)

Советский поэт и переводчик, филолог-испанист, кандидат филологических наук. Автор книги стихов «Четыре лета в году» (1980). Переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно, Пабло Неруды, Леона де Грейффа, Хоссе А. Гойтисоло, Хоакина Марко и других испанских и латиноамериканских поэтов. Ему принадлежит ряд работ в области романской филологии и теории перевода, в том числе двуязычное издание «Испанская поэзия в русских переводах 1792—1976» (М., 1978, 1984).

НАТАЛИ САРРОТ

Детство

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского Л. ЗОНИНОЙ и М. ЗОНИНОЙ

Благодарная память

В новой повести, которую журнал «Иностранная литература» предлагает читателям, Натали Саррот рассказывает о собственном детстве. Рассказ большого художника о своих ранних годах всегда интересен и поучителен. К тому же детство Натали Саррот было не совсем обычным. Насыщенное дальними путешествиями, многослойными, очень разными, калейдоскопически пестрыми, то и дело резко менявшимися впечатлениями, все новыми и новыми знакомствами и новыми разлуками, оно проходило в Иваново-Вознесенске и Париже, в Швейцарии и на Подольщине, в Москве и Петербурге, в русской деревне и французской «глубинке». Отношения, связывавшие окружавших девочку людей — и прежде всего родителей,— были сложны и неоднозначны, да и время, на которое пришлись первые десять — двенадцать лет жизни Наташи Черняк, несло в себе заряд всемирных исторических катаклизмов. Все это не могло не отразиться на судьбах семьи и наложило глубокий отпечаток на духовный мир будущей писательницы.

Об этом довольно необычном детстве и рассказано довольно необычно. И хочется посмотреть, из каких глубин вырывается к свету и выкристаллизовывается это повествование, какова та алхимия творящего духа, который буквально у нас на глазах извлекает из небытия сцены и картины, воскрешает людей, живших, любивших, боровшихся и страдавших в самом начале нынешнего столетия. Хочется понять, как написана эта автобиографическая повесть, которая и разительно отличается от прежних произведений писательницы, созданных по выработанным ею же канонам «нового романа», и вместе с тем по сути своей им очень родственна и близка.

...В чьем-то сознании — попробуйте определить, в чьем! — а вернее, в подсознании вспыхивают и затухают импульсы, функционируют «тропизмы». Это понятие, в своем изначальном смысле означающее направленные движения растения, связанные с его ростом и являющиеся его ответом на некоторые внешние воздействия, Натали Саррот ввела в теорию романа в тридцатые годы. Термином «тропизмы» писательница обозначает мгновенные, «точечные» реакции психики на различные раздражители, некие, так сказать, элементарные частицы духовной жизни людей. Уловить эти мельчайшие частицы, этот длящийся ничтожные доли секунды ответ личности, чаще всего вполне заурядной, на внешние, а зачастую и внутренние и тоже вполне будничные сигналы, идущие от близкого человека, или от случайного собеседника, или от собственного страха, или от безвольного ожидания чьего-то прихода и перекрываемые десятками других сигналов и других ответов на них, напластовывающихся друг на друга,— уловить, поймать, выделить из прочих, зафиксировать на бумаге, найти для каждого из этих трепетных и мимолетных движений души, чувства, ума, повседневного внутреннего бытия единственно верное слово, перебрав в присутствии читателя множество других слов, почти таких же, как то

© Editions Gallimard, 1983.

НАТАЛИ САРРОТ — NATHALIE SARRAUTE (род. в 1900 г.). Французская писательница. Автор романов «Портрет неизвестного» («Portrait d'un inconnu», 1948), «Мартеро» («Martereau», 1953), «Планетарий» («Le planétarium», 1959; в «Иностранной литературе» (1963, № 1), в рубрике «Литературные иллюстрации», напечатана в переводе М. Ваксмахера глава из романа), «Золотые плоды» («Les fruits d'or», 1963; русский перевод М., 1969), «Между жизнью и смертью» («Entre la vie et la mort», 1968), «Вы слышите их?» («Vous les entendez?», 1972; русский перевод М., 1983), «Говорят дураки» («Disent les imbeciles», 1976), нескольких пьес для театра, сборника теоретических статей «Эра подозрений» («L'ere du soupçon», 1956), сборника «Тропизмы» («Tropismes», 1938). Повесть «Детство» вышла в Париже в 1983 г. («Enfance». Paris, Gallimard, 1983).

искомое, но всякий раз оказывающихся неточными и ненужными, и закрепить в тексте романа самый ход этого поиска и отбора,— вот в чем была главная забота Натали Саррот. И тогда, в 1939 году, когда она выпустила свою книгу психологических зарисовок «Тропизмы», и позже, после войны, а затем в 50-е, 60-е, 70-е годы, когда появляются ее романы «Портрет неизвестного», «Мартеро», «Планетарий», «Золотые плоды» и «Между жизнью и смертью», «Вы слышите их?», «Говорят дураки».

Персонажи в прежних романах Саррот обычно никак не обозначены — ни по имени, ни по возрасту, ни по их социальному положению, но их психологический и нравственный облик проступает довольно отчетливо: это, как правило, мелкий буржуа, обыватель, человек нервный, охваченный дурными предчувствиями и беспредметной тревогой, или интеллигентная дама — тоже мятущаяся и нервическая; это персонажи, которые вздрагивают при любом проявлении живого человеческого чувства, при любом самостоятельном поступке, не укладывающемся в общепринятую систему, в традиционную буржуазную шкалу ценностей, в кодекс мещанских приличий. Но даже у таких людей, утверждает своими книгами Натали Саррот, духовная жизнь неизмеримо сложнее, чем те ее отголоски, что порой прорываются наружу — в виде стертых, износившихся слов и речений бытового или служебного обихода, в виде попыток что-то выразить в письме, или посредством печатного слова, или в устной исповеди перед неожиданным слушателем, или с помощью изящной словесности. Романист, говорила Н. Саррот еще три десятилетия назад в сборнике теоретических эссе «Эра подозрений» (1956), должен отказаться от традиционной формы реалистического романа, от привычной повествовательной манеры, от романной структуры (сюжет, характеры, типизация, анализ социальной среды) и обратиться к чисто психологическому началу, и только на этом пути можно надеяться что-то выразить и уловить, поскольку традиционный роман полностью себя исчерпал. Только так, по мнению писательницы, можно уйти от банальности, от неправды... Вот и вспыхивают в чьем-то подсознании неясные импульсы, скользят в смутном пространстве души и ума и в душном интерьере квартир размытые световые пятна, и читателю чаще всего невдомек, что же перед ним происходит, кто эти тени, отчего они маются, отчего мечутся и страдают и кто говорит эту фразу — тот ли персонаж, что сказал предыдущую, или кто-то другой...

Оговорюсь: этот выстроенный мною образ, конечно, неточен; он нарочито упрощен; в нем схвачены и гиперболизированы лишь некоторые, самые общие и при этом бросающиеся в глаза приметы «нового романа», за которыми не видны те индивидуальные черты, которыми отмечено каждое конкретное произведение Натали Саррот. Поэтому здесь надо сделать по меньшей мере два уточнения.

Во-первых, решая в каждом своем романе определенную творческую задачу, Н. Саррот отнюдь не ограничивается тем лабораторным экспериментом, той психологической абстракцией, за которые она обычно ратовала в теоретических работах. Перед нами — всякий раз попытка постижения каких-то реальных сторон современной жизни. В романах Саррот излюбленные ею «тропизмы» вбирают в себя и недвусмысленно отражают — на сугубо психологическом уровне — общественные коллизии и конфликты современного западного мира; эти конфликты явно присутствуют в каждом романе, ощущаются при чтении, отношение автора к ним звучит в интонациях текста. Так, роман «Золотые плоды» (он публиковался по-русски в переводе Риты Райт) — это злая ирония, едкая, но довольно точная панорама страстей, бушующих в Париже вокруг ежегодно присуждаемых литературных премий, это беспощадный анализ «физиологии успеха» в мире издательской и авторской конкуренции, в джунглях рекламы и моды. Роман «Вы слышите их?» (он был переведен Лениной Зониной) — это запечатленное все в тех же формах и приемах эстетики «нового романа» противостояние поколений, столкновение вкусов, неприятие молодежью косных стандартов буржуазной культуры.

Во-вторых, такое подключение «тропизмов» к реальным заботам нынешнего дня усиливается у Н. Саррот от романа к роману. Растет аналитическая зоркость писательницы, направленная уже не только на уловление нюансов индивидуального сознания; в сферу ее художнических интересов все решительнее вторгаются острые проблемы современного общества потребления. Так что эстетика «нового романа» претерпевает у Н. Саррот заметные изменения.

Отмеченные закономерности проявляются у Саррот также и в пьесах для театра (драматургией писательница занимается давно; в 1978 году она издала пять своих пьес в одном томе), и в эссе «Употребление слова» (1980).

Не отрекаясь от основополагающих принципов «нового романа», от своих собственных приемов письма, писательница включает эти приемы во все более широкую, дающую простор для новых поисков систему, которая более прочно связана с современной социальной действительностью. Нечто подобное наблюдалось и в эволюции Элюара, Арагона, Превера, Десноса, Шара — поэтов, прошедших искус сюрреалистской эстетики и преодолевших его; эти поэты — каждый по-своему — некоторые плоды своего опыта, добытого в годы сюрреалистских экспериментов, использовали на новых этапах творческой работы, уже выйдя к другим поэтическим рубежам.

Думается, что для Натали Саррот таким рубежом стала ее повесть о детстве.

Избрав жанр воспоминаний, Н. Саррот тем самым поставила перед собой задачу воспроизвести и запечатлеть картины реальной жизни, отразить в становлении личности своей маленькой героини характер движения времени. И решается здесь

эта задача почти теми же художественными средствами, что использовались ею прежде. Теми же, но и не теми, потому что, подчиненные новой «сверхзадаче», они и сами словно бы изменяются до неузнаваемости...

С первой страницы «Детства» мы попадаем в атмосферу, привычную для читателя, знакомого с творчеством Натали Саррот,— в атмосферу колдовского искушения и соблазна, атмосферу идущего из подсознания порыва, приказа. Это искушение написать книгу о детстве автор не в состоянии побороть, соблазн сильнее ее, она ничего не может поделать ни с ним, ни с собой... Мотив «не могу не писать!» — он не нов для Саррот, мотив, идущий об руку со своим двойником, мотивом одержимости словом, поисками слова. «Я рву Комкаю. Бросаю... Хватаю новый лист... На белой странице возникают слова, фразы. Чудо. Как это возможно? Великая тайна... Так мучаюсь я день за днем. Порой просыпаюсь среди ночи и спрашиваю себя. Зачем такая борьба, столько усилий? Почему, господи, почему и за что?» — читаем в романе «Между жизнью и смертью». И нечто похожее — в «Золотых плодах», и в пьесах Саррот, и в эссе «Употребление слова».

Вот и в новой своей вещи Натали Саррот вновь обрекает себя на эти невыносимые и сладкие муки, и вновь читатель приглашен быть свидетелем, даже почти участником этого самоистязания, этого таинственного процесса («чудо», «великая тайна»....) — отбора и поисков желанного слова, которое способно задержать, спасти от исчезновения, уловить зыбкую материю пережитого, прожитого и канувшего в вечность времени...

Эти порывы прустовского толка всегда насыщены у Натали Саррот особой — пожалуй, одной ей присущей — эмоциональной энергией. Бьется и пульсирует как бы сама реальность, пытающаяся ускользнуть из силков слова, пульсирует фраза, рождающаяся у нас на глазах, бьется и пульсирует, отчаиваясь и ликуя, творческое сознание автора. Этой энергией сарротовских текстов сполна — и даже сильнее, чем в прежних ее романах,— насыщена, наэлектризована повесть о детстве. Отличие от предыдущих книг здесь в том, что читателю с самого начала совершенно понятно и ясно, «почему и за что» автор принимает на себя эти муки.

Вся повесть от первой до последней страницы написана как диалог, как непрекращающийся тревожный спор. Между кем? Между двумя ипостасями автора. Перед нами спор художника с самим собой. В этом несогласии-согласии рассказчика со своим другим «я», в неутолимой жажде с кем-то посоветоваться, поскорее отринуть сомнения, утвердиться в своей правоте повествование словно бы обретает дополнительную достоверность. Диалог придает повести неповторимую тональность, полнокровную жизненную наполненность, некую многомерность, стереофоничность. Мы острее ощущаем «сиюминутность» происходящего как бы на наших глазах процесса воскрешения давних, далеких картин, и ощущение это достигается, наверное, благодаря именно этим постоянным ссорам и примирениям автора с самою собой... Этот непрекращающийся спор, создающий эффект присутствия, он тоже неоднократно использовался Н. Саррот — и тоже обрел в повести «Детство» иное содержание и неуловимо изменился сам.

Можно ли сказать, что другое «я» этого диалога (то, которое перебивает рассказчицу, спорит с ней, «придирается» к мелочам и подробностям) отражает нынешнее, «взрослое» состояние души писательницы, а ее первое «я» — это выражение психологии ребенка, той маленькой девочки, история которой страница за страницей, глава за главой создается перед нами? Навряд ли. В каждой участнице этого диалога живут «оба сознания» — и теперешняя Натали Саррот, и Наташа далекого детства. И обе в равной мере помнят или пытаются вспомнить ушедшее время, обладая богатым и обременительным, стесняющим свободу памяти опытом прожитой жизни, и в равной же мере обе с детской непосредственностью вновь переживают его.

А помнят они удивительно много.

Перед нами проходят яркие личности, самобытные характеры, цельные натуры — образы русских интеллигентов-разночинцев, революционеров, подпольщиков, бескомпромиссных противников самодержавия, преследуемых царской охранкой и вынужденных — накануне революции 1905 года или вскоре после нее — эмигрировать из России. Мы ощущаем богатство духовной жизни этих людей, их незащищенность и растерянность перед житейскими трудностями и их стойкость в идейных вопросах, ощущаем трагизм их жизни на чужбине и терзающую их тоску по родине. Мы прикасаемся — только краем, конечно, только выборочно, фрагментарно, неполно, ибо проводником нам служит, не будем забывать, всего лишь неокрепшая детская память,— прикасаемся к миру высокой культуры и нравственной чистоты. И пусть сами они, эти люди, составляют довольно узкую социальную группу, но общение с ними открывает перед Наташей Черняк широкие горизонты, позволяет ей с самого раннего детства испытать могучее влияние передовой общественной мысли, великой русской культуры.

...Русская бабушка и русская няня, русские песни и сказки, леса и поля, и черты уездной российской старины, и уходящие в прошлое приметы народного быта, и память о великих событиях русской истории, и — самое главное — постоянно звучащая в книге, словно мощный музыкальный фон, мелодия русской классической литературы, определяющая моральный облик и гражданскую позицию большинства живущих в повести людей,— вот из чего складывается содержание этих воспоминаний о детстве.

Вместе с тем это книга о первых опытах самостоятельного литературного твор-

чества автора, о первых учителях на этом многотрудном пути, об их великом уважении к слову.

Наконец, это книга о том замечательном, поистине уникальном в истории идей явлении, каким являются многолетнее и широкое взаимовлияние, традиционные связи русской и французской культур.

Ну, а более детально о том, что же именно вспоминает Натали Саррот, какие конкретные люди, страны, ландшафты, дома, какие типы человеческих связей мелькают перед ее внутренним взором, и западают ей в душу, и преподают ей первые уроки жизни, выстраиваясь в прихотливую, но скрепленную внутренней логикой цепочку,— читатель узнáет, разумеется, сам, и было бы жаль замутнять приблизительным пересказом его живое общение с книгой.

Композиция «Детства» предельно проста. Рассказчица ведет нас от первых отрывочных сцен, оставшихся в памяти пятилетней или шестилетней девочки, к ее школьным годам, к кануну мировой войны — конечно же, первой, но в ту пору не получившей еще своего порядкового номера в истории. На этом маршруте память автора, бывает, останавливается и медлит, идет порою в обход, иногда возвращается вспять, но, странное дело, общее поступательное движение повести от этого не замедляется. Все происходит так, будто приоткрывается какая-то дверь, и мы видим в каждодневной естественной работе механизм человеческой памяти, вечно ищущей что-то, и чаще всего находящей, и, как тут же вдруг выясняется, упустившей что-то важное, а после — припомнившей и на минуту вернувшейся к более раннему эпизоду. Порой даже возникает забавное чувство, что Наташа словно бы «помнит» — в самый момент давнего, детского своего поступка,— словно бы «помнит вперед», заранее «помнит», как отнесется она, уже взрослая, к этому поступку и к воспоминанию о нем многие годы спустя...

Судит ли писательница тех, кого она вспоминает? И судит, и нет. Выражая к ним свое отношение, она тут же, опять-таки на наших глазах, подвергает сомнению свое право осуждать и судить. Нет, не стремление вынести приговор, а желание понять слышится прежде всего в полифонически сложном контексте «Детства». Эта нравственная установка доминирует в повести. Детские обиды, давние недоразумения, растерянность ребенка, столкнувшегося с несправедливостью, недоумение девочки перед непонятностью, запутанностью отношений в мире взрослых — все это не забыто, все это помнится автору, помнится и воскрешается ее обоими «я», но рассказчица не склонна задерживаться на недоумениях и обидах. Она проявляет понимание и терпимость. Не отрицая и не отвергая сигналов, поступающих извне и из глубин подсознания, принимая, перерабатывая их и включая в свою духовную жизнь, автор — и главный персонаж в обеих своих ипостасях — все же больше доверяет не столько подсознанию, сколько сердцу и разуму. И их законами поверяет правоту импульсов и «тропизмов».

В повести «Детство», книге откровенной, суровой, местами по своему материалу даже жестокой, все залито мягким светом человечности и доброты, и благородная эта тональность берет верх над нотами разлада, беспокойства и страха, тоже сильно звучащими в тексте.

Быть может, также и в этом кроется суть нравственного и художнического урока, который мы извлекаем из чтения автобиографической книги Натали Саррот.

Несколько слов о переводчиках «Детства».

Имя Ленины Александровны Зониной (1922—1985) известно не только специалистам, занимающимся литературой Франции нашего века, но и многим читателям. Талантливый литературовед и критик, человек высокой филологической культуры и большой эрудиции, автор многочисленных работ, посвященных творчеству Роже Мартен дю Гара, Антуана де Сент-Экзюпери, Жан-Поля Сартра, Андре Мальро и других, Л. Зонина более четверти века сотрудничала в журнале «Иностранная литература». С интересом встретила литературная общественность ее книгу «Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60—70-е годы)», вышедшую в издательстве «Художественная литература» в конце 1984 года, незадолго до внезапной кончины автора.

Л. Зонина много и плодотворно занималась художественным переводом. Романы, повести, пьесы, переведенные Л. Зониной, сохранили особенности стиля, живые голоса и интонации французского оригинала и обрели богатство красок и естественность звучания хорошей русской прозы.

«Неожиданная кончина Лены Зониной причинила мне боль,— писала Натали Саррот в редакцию журнала.— Это был друг, к которому я была очень привязана... Она прекрасно чувствовала дух французского языка, его тончайшие оттенки и умела, насколько это вообще возможно, передать их на русском языке, которым так великолепно владела. Я была счастлива и горда тем, что она перевела некоторые из моих текстов»

Смерть прервала работу Ленины Зониной над переводом повести «Детство». Эту работу завершила ее дочь Мария.

МОРИС ВАКСМАХЕР

— И так, ты действительно сделаешь это? «Воскресить воспоминания детства»... Как-то неловко от этих слов, они тебе не по душе. Но согласись, только они и подходят. Ты хочешь «воскресить воспоминания»... Не притворяйся, именно так.

— Да, ничего не могу с собой поделать, меня влечет это, сама не знаю почему...

— Потому, возможно... не значит ли... подчас просто не отдаешь себе отчета... Наверное, потому, что силы уходят...

— Нет, не думаю... во всяком случае, я не чувствую...

— И однако, то, что ты хочешь... «воскресить воспоминания»... не значит ли это...

— О, прошу тебя...

— Нет, ты обязана спросить себя — не значит ли это уйти на покой? образумиться? расстаться со стихией, в которой до сих пор худо ли, бедно...

— Вот-вот, худо ли, бедно...

— Возможно, но только в этой стихии ты могла жить... она...

— Да не надо, зачем? я ее знаю.

— Правда? А ты действительно не забыла, как все было там? как там все плывет, меняется, ускользает... ты движешься вслепую, все время нащупываешь, тянешься... к чему? что это такое? это ни на что не похоже... об этом никогда никто не говорит... оно вырывается, ты изо всех сил вцепляешься в него, толкаешь... куда? неважно, лишь бы оно оказалось в благоприятной среде, где разовьется, где, возможно, сумеет жить... Видишь, достаточно только подумать об этом...

— И ты сразу становишься напыщенной. Я бы даже сказала заносчивой. Уж не от страха ли... Вспомни, он неизменно овладевает тобой, когда ты оказываешься перед чем-то, пока еще бесформенным... То, что осталось от прежних попыток, кажется нам всегда более ценным, чем то, что еще дрожит где-то в неясной дали...

— Вот именно, боюсь, на этот раз не задрожит... или задрожит недостаточно... это закреплено теперь раз и навсегда, стало «яснее ясного» — все уже готово...

— Не беспокойся, голыми руками все равно не возьмешь... все еще только брезжит, об этом не написано, не сказано ни единого слова, все как будто лишь слабо пульсирует... за гранью слов... как обрывки чего-то еще живого... и мне хотелось бы, пока они еще не исчезли... позволь мне...

— Ладно. Молчу... Впрочем, мы-то обе знаем — если уж тебе втемяшится...

— Да, и на этот раз, верь не верь, но именно ты побудила меня и давно уже толкаешь на...

— Я?

— Да, ты, своими замечаниями, предостережениями... ты вызываешь это... ты погружаешь меня...

— „Nein, das tust du nicht"... «Нет, ты этого не сделаешь»... вот опять эти слова, они воскресли, они снова живы, они столь же настойчивы, как в то мгновенье, давным-давно, когда вошли в меня, они напирают, давят всей своей силой, всем своим мощным весом... и под их нажимом что-то столь же сильное, еще более сильное появляется во мне самой, поднимается, возвышается... слова срываются с языка, выносят это, вколачивают... „Doch, Ich werde es tun". «А вот и сделаю».

„Nein, das tust du nicht"... «Нет, ты этого не сделаешь...» — слова исходят от фигуры, почти стертой временем... осталось лишь ощущение чьего-то присутствия... присутствия молодой женщины, сидящей в кресле в салоне гостиницы, где мы с отцом проводим его каникулы, в Швейцарии, в Интерлакене или Беатенберге, мне, должно быть, лет пять или шесть, а молодую женщину наняли заниматься со мной и обучать немецкому... Я плохо различаю ее черты... но отчетливо вижу корзинку для рукоделия у нее на коленях и поверх всего большие стальные ножницы... а я... себя я не могу видеть, но ощущаю, точно делаю это сейчас... хватаю вдруг нож-

ницы, сжимаю их в руке... тяжелые закрытые ножницы... Я протягиваю их вперед острием к спинке канапе, обитого прелестным шелком в разводах, голубого, чуть вялого цвета с блестящим отливом, и говорю по-немецки... „Ich werde es zerreissen" [1].

— По-немецки... Когда ты успела так хорошо его выучить?

— Сама не понимаю... Но этих слов я с тех пор никогда не произносила... „Ich werde es zerreissen"... «Сейчас я это разрежу»... в слове „zerreissen" есть что-то свистящее, свирепое, еще секунда — и это произойдет... я разрежу, вспорю, испорчу... это будет посягательством, покушением... преступным.. но непокаранным, как это могло бы быть, я знаю, меня не накажут... разве что слегка пожурят, у отца будет недовольный, чуть встревоженный вид... Что ты наделала, Ташок, зачем? и возмущение молодой женщины... но меня еще удерживает страх, более сильный, чем страх маловероятного, малопредставимого наказания, — перед тем, что случится через минуту... необратимое... невозможное... невероятное... то, чего не делают, чего нельзя делать, чего никто себе не позволяет...

„Ich werde es zerreissen" «Сейчас я это разрежу»... Учтите, я перейду черту, я выскочу за пределы этого пристойного, обжитого, теплого и уютного мира, вырвусь из него, упаду, низвергнусь в нечто необитаемое, в пустоту...

«Сейчас я это разрежу»... Я должна предупредить вас, чтобы дать вам время помешать мне, удержать меня... «Сейчас я это разрежу»... я скажу ей это очень громко... может, она пожмет плечами, наклонит голову, внимательно вглядываясь в свое рукоделие... Не принимать же всерьез ребячьи угрозы, подначки? и мои слова вспорхнут, растают, обмякшая рука опустится, я положу ножницы на место, в корзинку...

Но она поднимает голову, смотрит мне в глаза и говорит, отчеканивая каждый слог: „Nein, das tust du nicht". «Нет, ты этого не сделаешь»... оказывая мягкое, и строгое, и настойчивое, и непререкаемое давление, нечто вроде того, что впоследствии я ощущала в словах и в интонациях гипнотизеров, дрессировщиков...

«Нет, ты этого не сделаешь...» — эти слова как густая тяжелая струя, то, что она несет в себе, проникает в меня и подавляет все, что шевелится во мне, пытается встать... и под ее давлением восстает, встает еще прочнее, еще выше, толкает, и яростно выбрасывает из меня слова... «А вот и сделаю».

«Нет, ты этого не сделаешь...» — слова окружают меня, сжимают, связывают, я отбиваюсь... «А вот и сделаю»... Наконец я освобождаюсь, возбуждение, исступление напрягают мою руку, изо всех сил я вонзаю острие ножниц в шелк, он подается, разрывается, я рассекаю спинку сверху донизу и смотрю, как оттуда лезет... вываливается из щели что-то дряблое, сероватое...

В этом отеле... или другом таком же швейцарском отеле, где отец опять проводит со мной каникулы, я сижу за столом в светлом зале с широкими оконными проемами, за которыми виднеются лужайки, деревья... Это столовая, где дети принимают пищу под надзором своих бонн и гувернанток.

Все дети сидят на возможно большем отдалении от меня, на другом конце длинного стола... у некоторых из них лица карикатурно искажены огромными раздутыми щеками... Я слышу, как они фыркают от смеха, вижу, как исподтишка бросают на меня насмешливые взгляды, я плохо различаю, но догадываюсь, что шепчут им взрослые: «Ну, глотай, глотай, прекрати свою дурацкую игру, не смотри на эту девочку, не смей подражать ей, она несносный ребенок, ненормальный ребенок, маньячка какая-то...»

— Ты уже знала такие слова...

— О, да... я достаточно наслушалась... Но ни одно из этих слов, таивших в себе смутную угрозу и унижение, никакие уговоры, никакие мольбы не могли заставить меня открыть рот и позволить, чтоб в него вложили кусок пищи, нетерпеливо маячивший на вилке, тут, у самых моих стиснутых губ... Когда я наконец разжимаю их, впуская этот кусок, я тотчас запихиваю его за щеку, уже набитую, раздутую, натянутую... в кладовку, где ему предстоит ждать, когда наступит его черед перемес-

[1] Сейчас я это разрежу *(нем.). (Здесь и далее прим. перев.)*

титься к моим зубам и быть жеваным-пережеванным, пока он не станет жидким, как суп...

«Жидкий, как суп» — это слова, произнесенные парижским доктором, доктором Кервили...

— Странно, что его имя сразу же возникает в твоей памяти, когда столько других ты напрасно пытаешься вспомнить...

— Да, я сама не знаю, почему среди множества исчезнувших имен возникает именно его имя... Мама повела меня к нему на осмотр, не помню уж из-за чего, как раз перед моим отъездом к отцу... Выходит, она тогда жила вместе со мной в Париже, — значит, мне не было еще шести...

«Ты слышала, что сказал доктор Кервили? Ты должна жевать пищу до тех пор, пока она не станет жидкой, как суп. Главное, не забывай этого там, без меня, там они этого не знают, там об этом забудут, там не станут обращать внимания, ты сама должна думать об этом, помнить, что я тебе наказала... обещай, что сделаешь это.. — Да, я тебе обещаю, мама, не беспокойся, не волнуйся, можешь на меня положиться...» Да, она может быть уверена, я заменю ее подле самой себя, она не расстанется со мной, все будет так, как если бы она была по-прежнему рядом, охраняя меня от опасностей, о которых здесь понятия не имеют, да и откуда им знать? только она может знать, что мне надо, она одна может разобраться, что мне полезно, а что вредно.

Тщетно я талдычу им, втолковываю.. «Жидкое, как суп, это доктор, это мама мне сказала, я ей обещала...» Они покачивают головой, усмехаются, не верят... «Хорошо, хорошо, но все же поторопись, глотай...» Да не могу я, одна я здесь это знаю, одна я могу судить... кто же другой может тут решить за меня, позволить мне... ведь еще рано... я жую изо всех сил, уверяю вас, у меня болят скулы, мне неприятно заставлять вас ждать, но что я могу поделать: это еще не «жидкое, как суп»... Они теряют терпение, торопят меня... Какое им дело до того, что она сказала? Она здесь не в счет... здесь никто, кроме меня, с ней не считается...

Теперь, когда я ем, в столовой для детей пусто, я ем до или после остальных... Я подавала им дурной пример, некоторые родители жаловались... ну и пусть... я по-прежнему здесь, на своем посту... я оказываю сопротивление... я твердо удерживаю клочки земли, где подняла мамино знамя, где вбила древко ее флага...

— Эти образы, эти слова не могли сложиться тогда в твоей голове...

— Разумеется, нет. Но впрочем, и в голове взрослого тоже... Я это ощущала, как обычно, вне слов, ощущала вообще... Но эти слова и образы позволяют мне с грехом пополам уловить свои ощущения, удержать их...

Если я уступлю, если проглочу свой кусок раньше, чем он станет жидким, как суп, я совершу нечто, в чем никогда не смогу признаться, когда вернусь туда, к ней... Мне навсегда придется похоронить в себе это предательство, малодушие.

Будь она со мной, я уж давно могла бы не думать об этом и глотать не жуя, как обычно. А мама, насколько я ее знала, легкомысленная и рассеянная, сама бы, наверное, быстро обо всем забыла... Но ее здесь нет, она мне велела взять это с собой... «Жидкое, как суп»... это я получила от нее... она наказала мне это хранить, и я должна преданно это сберечь, оградить от посягательств... Ну что, оно уже действительно «жидкое, как суп»? Не слишком ли еще твердое? Нет, правда, мне кажется, я уже могу позволить себе проглотить это... а потом вытащить из-за щеки следующий кусок...

Я сожалею, что так огорчаю своим поведением эту женщину, такую милую и терпеливую, рискую расстроить отца... но я приехала издалека, из чужого для всех места, куда им нет доступа, они не ведают его законов, законов, которыми там я могу развлечения ради и пренебречь, случается, я их нарушаю, но здесь моя совесть обязывает меня подчиняться им... Я мужественно переношу упреки, насмешки, отлучение, обвинения в том, что я делаю так назло, и тревогу взрослых, которую внушает им мое безумие, и чувство вины. Но все это ерунда в сравнении с тем, что мне предстояло бы испытать, если бы я не сдержала обещания, попрала слова, которые стали священной клятвой, утратила всякое чувство долга, ответственности,

повела бы себя как слабый ребенок и все-таки проглотила кусок, прежде чем он станет «жидким, как суп».

И все забылось, стоило только вернуться в Париж, к матери... все снова было овеяно беззаботностью...

— Это исходило от нее.

— Да, в ней всегда присутствовало что-то детское, легкое... Она воодушевлялась, загоралась, когда разговаривала с мужем и спорила по вечерам с друзьями в квартирке на улице Флаттер, темноватой, обставленной довольно скудно, но она будто и не замечала ничего вокруг, и я тоже ничего не видела, я любила сидеть с ними и просто слушать, мало что понимая, пока их голоса не становились какими-то странными, точно все больше удалялись, и я смутно ощущала, как меня берут на руки, уносят...

Слева, у самых ступенек, которые поднимаются к широкой аллее, ведущей к площади Медичи, у подножия статуи какой-то французской королевы, рядом с огромной деревянной кадкой, выкрашенной в зеленый цвет, где растет апельсиновое дерево... а передо мной круглый бассейн, в нем плавают кораблики, и вокруг него катятся запряженные козами коляски, обитые красным бархатом... и я чувствую спиной тепло ее ноги под длинной юбкой... Мне не удается услышать ее голос, каким он был в ту пору, но зато я вспоминаю, как ощущала, что она рассказывала скорее даже не мне, а кому-то другому... наверняка одну из тех сказок для детей, которые она сочиняет дома, на больших листах бумаги, покрытых ее крупным почерком, не связывающим буквы между собой, или это сказка, которую она сейчас складывает в голове... слова, адресованные неизвестно кому, все текут... я смогу, если мне захочется, схватить их на лету, а могу и пропустить, от меня ничего не требуют, никого не заботит слушаю ли я внимательно, понимаю ли... Я могу расслабиться, я отдаюсь во власть этого золотистого света, воркования щебета, треньканья колокольчиков на голове ослят и коз и позвякивания серсо, которое толкают перед собой малыши, еще не умеющие подгонять колесо палочкой...

— Не сердись, но не кажется ли тебе, что тут, со всем этим воркованием и щебетом, ты не удержалась и выстроила кусочек стандартной конструкции... это так заманчиво... все так красиво подогнала в полном соответствии с...

— Да, возможно, я и поддалась немножко...

— Разумеется, как устоять перед таким очарованием... прелестными звуками... воркованием, щебетом...

— Ладно, ты права... но уж колокольчики и бубенчики я не уступлю, я их слышу... и еще звук трещотки, шорох красных, розовых, лиловых целлулоидных цветов, крутящихся на ветру...

Я могу бегать, прыгать, крутиться волчком, времени у меня предостаточно... Стена бульвара Пор-Руаяль, вдоль которой мы идем, такая длинная... И только у перекрестка я должна буду остановиться и протянуть руку на переходе... я обгоняю няню, я должна успеть наполнить легкие воздухом и не вдыхать жуткий запах... меня от него сразу тошнит, он исходит от няниных волос, пропитанных уксусом. Тогда я смогу дать ей руку как ни в чем не бывало, не рискуя ее обидеть... вообще-то она, возможно, и не обиделась бы, она очень милая и простая, она же знает, я не виновата, что не выношу запаха уксуса, но и она тоже не виновата, если эти прогулки на свежем воздухе вызывают у нее головную боль, от которой спасает только уксус... Поэтому мы договорились, что я могу гулять довольно далеко от нее, за исключением, разумеется, переходов...

Вот она приближается, этакая бесформенная масса, на голове сероватый платок, она подходит протягивает мне руку, я кладу свою руку в ее... мои легкие наполнены воздухом, я могу не дышать... я не дышу, пока мы не ступаем на тротуар по ту сторону проезжей части... тут я сразу отпускаю ее руку и бросаюсь бежать... Но если, на мою беду, мне не хватает воздуха, чтобы продержаться весь переход, все

равно я не посмею, конечно, зажать нос рукой... хотя она и разрешила мне это... но я не могу так поступить... я могу только вбирать воздух мелкими вдохами, отвернувшись, но не слишком, иначе она догадается, какое отвращение вызывает во мне... нет, не она, не то, что она есть на самом деле, вовсе не то, что есть в ней, лишь то, что иногда виднеется под ее неплотно прилегающим платком, блестящая и желтоватая кожа ее головы между прядями смоченных уксусом волос.

Ворота Люксембургского сада и хитроумные переходы остаются позади, няня усаживается неподалеку от бассейна спиной к длинному белому фасаду... Я еще не умею определять по большим уличным часам, настало ли уже время поесть, но наблюдаю за другими детьми и, стоит первому из них получить свой полдник, кидаюсь к ней... Она уже заметила меня и протягивает мне шоколадку и булочку, я хватаю их, киваю головой в знак благодарности и убегаю...

— И чем же ты занимаешься?

— Ах, не старайся поймать меня... Чем попало, тем же, чем и все дети, которые играют, бегают, пускают кораблики, гоняют серсо, прыгают через веревочки, внезапно замирают на месте и следят остановившимися глазами за другими детьми, за взрослыми, которые сидят на каменных скамьях, на стульях... уставятся в одну точку и стоят неподвижно, разинув рот...

— Может, с тобой это случалось чаще, чем с остальными, может, как-то иначе, по-другому...

— Нет, не думаю... в этом смысле я была такая же, как многие дети... и, наверное, они видели и думали то же самое... во всяком случае, у меня ничего от этого не осталось, и уж не тебе толкать меня на поиски, — чем бы заткнуть, заполнить эту дыру.

Все, что за пределами лучащегося, яркого и гулкого парка, как бы подернуто серой пеленой и выглядит тусклым, словно пожухлым... но никогда не вызывает печали. Даже и то, что осталось у меня в памяти от детского сада... голый двор, окруженный высокой темной оградой, вдоль которой мы шагаем гуськом, в черных фартуках и сабо.

Но вдруг из этого тумана возникает внезапный страх, ужас... я кричу, отбиваюсь... что это? что со мной?

«Тебя приедет навестить бабушка»... говорит мне мама... Бабушка? Папина мама? Неужели? Она правда приедет? Она никогда не приезжает, она живет так далеко... я совсем ее не помню, но чувствую, что она есть, потому что получаю оттуда короткие ласковые письма, шкатулки из мягкого дерева с вырезанными на них красивыми узорами, по углубленным контурам которых можно провести пальцем, разрисованные деревянные плошки, покрытые лаком, к которому так приятно прикоснуться... «Когда она приедет? когда она будет здесь?..— Завтра после полудня... Ты не пойдешь гулять...»

Я жду ее, подстерегаю, прислушиваюсь к шагам на лестнице... вот, это она, в дверь позвонили, я хочу броситься к ней, но меня удерживают, подожди, сиди на месте... дверь моей комнаты открывается, мужчина и женщина в белых халатах хватают меня, сажают на колени, я отбиваюсь, мне прижимают ко рту, к носу кусок ваты, маску, что-то жуткое, удушающее исходит от нее, хватает меня за горло, заполняет легкие, ударяет в голову, это — смерть, я умираю... а потом оживаю вновь, я в своей постели, горло жжет, слезы текут, мама их вытирает.. «Кисонька, надо было сделать тебе операцию, понимаешь, тебе вырезали что-то тебе мешавшее, нехорошее... спи, все уже прошло...»

— Сколько времени тебе понадобилось, чтобы понять наконец, что она никогда не пыталась — а если и пыталась, то рассеянно и неумело — поставить себя на твое место...

— Да, что ни говори, это равнодушие и развязность составляли неотделимую часть ее очарования, она просто околдовывала меня... Никогда ни одно слово, с ка-

кой бы силой ни было оно произнесено, не пронзало меня так, как некоторые ее слова.

«Если дотронешься до такого столба, ты умрешь...»

— Может, она сказала это как-то по-другому...

— Может.. но я услышала именно так. «Если ты дотронешься, ты умрешь...»

Мы гуляем где-то за городом, мама неспешно идет впереди, под руку с Колей... Я отстаю, застыв перед деревянным столбом... «Если ты до него дотронешься, ты умрешь» так сказала мама... Мне хочется дотронуться, я хочу знать, мне очень страшно. я хочу увидеть, как это будет, я протягиваю руку и трогаю пальцем деревянный столб электропередачи... и вот — готово, это произошло, мама знала, мама все знает, это точно, я умерла, я догоняю их, кричу во все горло, прячу голову в мамину юбку ору до хрипоты: я умерла.. Да что с тобой? Я умерла, умерла, умерла, я дотронулась до столба, вот, готово, в этом столбе пряталось самое страшное, самое-пресамое страшное, я до него дотронулась, и оно вселилось в меня, оно — во мне, я катаюсь по земле чтобы оно из меня вышло, я рыдаю, воплю, я умерла... они берут меня на руки, тормошат, целуют... Да нет же, ничего с тобой не случилось... я дотронулась до столба, мама так сказала... она смеется, они оба смеются, и их смех меня успокаивает...

— На, мама, проглоти, пожалуйста...— Мама, которая сейчас без пенсне, она надевает его, только когда читает, наклоняется низко-низко, чтобы рассмотреть, что лежит в протянутой мною ложке...— Это пыль, я собрала ее для тебя, она вовсе не грязная, не бойся, проглоти... Ты ведь уже так делала...

— Что ты болтаешь? С ума сошла...

— Нет. Ты сама мне сказала, что я именно так и выросла у тебя в животе... потому что ты проглотила пыль . проглоти еще, прошу тебя, сделай это для меня, мне так хочется брата или сестру..

Мама сердится... «Не знаю, что я тебе говорила...»

— Ты мне это сказала. И потом ты сказала, я слышала... ты сказала, что была бы рада иметь еще ребенка.. Ну, мама, на, проглоти...

Мама отстраняет мою протянутую руку... — Но это не та пыль...

— Тогда скажи мне, какая нужна пыль?

— Ох, не знаю...

— Знаешь, скажи...

— Вроде той, которая бывает на цветах...

— На цветах? На каких цветах?

— Забыла.

— Ну постарайся, попробуй вспомнить.

— Довольно, не приставай ко мне... Пошла бы лучше поиграла, как все дети, вместо того, чтобы таскаться за мной без дела, ты уже не знаешь, что бы еще такое придумать, разве не видишь, я занята...

Я сижу рядом с мамой в закрытом экипаже, который тянет одна лошадь, мы трясемся по пыльной дороге. Я держу у самого окошка книжку из «Розовой библиотеки»[1] и пытаюсь читать, несмотря на толчки, несмотря на строгие замечания мамы: «Перестань, хватит, ты портишь себе глаза...»

Город, куда мы едем, называется Каменец-Подольск. Мы проведем там лето у моего дяди Гриши Шатуновского, маминого брата, он адвокат.

---

[1] Библиотечка книг для детей и юношества, издававшаяся во Франции в начале XX века.

То, к чему мы приближаемся, то, что ждет меня там, заключает в себе все необходимое, чтобы составить «прекрасные воспоминания детства»... как раз из тех, что их обладатели обычно демонстрируют с некоторым оттенком гордости. Да и как не гордиться тем, что у вас были родные, которые создали, подготовили для вас эти воспоминания, точь-в-точь соответствующие наиболее высоко ценимым, высоко котирующимся образцам. Признаюсь, мне даже как-то неловко...

— Это вполне понятно... когда прекрасное до такой степени соответствует высшим образцам... Но в конце концов, раз уж тебе посчастливилось и ты владеешь этими воспоминаниями, дай себе волю, тут уж ничего не поделаешь, тебя же тянет...

— Но они были созданы не специально для меня, мне просто предоставили их на время, я насладилась только крохами...

— Может, именно поэтому они так насыщенны... Никакой оскомины... Привыкания...

— Да уж, чего нет, того нет. Все сохранило свое изысканное совершенство: просторный семейный дом, полный укромных закутков, лестничек... «зала», как это в старину именовалось в России, с большим роялем, множеством зеркал, блестящим паркетом, вдоль стен — стулья в белых чехлах... В столовой длинный стол, по торцам которого, друг против друга, сидят, беседуя на расстоянии и улыбаясь, отец и мать, а между ними четверо детей — два мальчика и две девочки... После десерта, когда моя тетя позволяет детям встать из-за стола, они подходят к родителям, чтобы сказать спасибо, целуют им руку и в ответ их целуют в лоб, в щеку... Мне нравится принимать участие в этой забавной церемонии...

Слуги, как это положено, дружелюбно-непринужденны и преданны... Ничто не нарушает полноты картины... есть даже старая «нянюшка» милая и мягкая, с шалью на плечах, в необъятных юбках... она дает нам на полдник сочные ломти белого хлеба, влажные от густо наложенного на них смоченного водой сахара... и кучер, который греется на солнышке, сидя на скамейке, прислоненной к заборчику во дворе, рядом с конюшней... я люблю вскарабкаться потихоньку на этот забор за его спиной и закрыть ему глаза ладонями... «Угадай, кто я?.. — Я знаю, это ты, озорница»... Я приникаю к его широкой спине, обнимаю его за шею, вбираю в себя головокружительный запах, исходящий от его кожаного жилета, просторной куртки, напомаженных волос, пота, капельки которого блестят на его дубленой и иссеченной морщинами коже...

И сад... с лужайкой, поросшей высокой травой в дальнем его конце, куда мы всегда уходим играть — Леля, младшая из моих двоюродных сестер, моя ровесница, ее брат Петя и дети соседей, друзей... Мы сжимаем большим и указательным пальцами желтоватые полые стручки не помню уж какого растения, чтобы услышать, как они лопнут, мы сдавливаем большими пальцами обеих рук плоскую острую траву и дуем на нее, чтобы она засвистела... Накрыв голову длинной вуалью из белого муслина, в венке из маргариток, сплетенном няней, держа в руке гладкую палочку, еще чуть влажную, еще зеленоватую и благоухающую только что ободранным деревом, я возглавляю процессию, которая погребает в земле большую черную плоскую косточку арбуза. Она возлежит в открытой коробочке на подстилке из мха... мы хороним ее так, как сказал садовник, поливаем ее из маленькой игрушечной лейки, я машу над землей своей волшебной палочкой и произношу заклинания, состоящие из слогов какого-то варварского смешного языка, которые я потом долго еще помнила, но сейчас мне не удается их восстановить... Мы будем склонять свои головы перед этой могилкой до того дня, когда, наконец, возможно, нам выпадет счастье увидеть, как из земли показывается нежный живой росток... В глубине колодца обитает чудовище в панцире, крохотное, но злющее, укус его смертелен, а когда оно вылезает и движется по аллее, есть опасность его не заметить, потому что его цвет сливается с цветом песка...

От лица дяди у меня осталось только ощущение тонкости и мягкости, немного печальной... Мы видим его очень редко, главным образом за едой... он столько работает.

Зато тетю помню очень хорошо, такой, какой она виделась мне, когда я доставляла себе удовольствие разглядывать ее серебристые локоны, розовые щеки, гла-

за... никогда больше мне не доводилось видеть голубых глаз с таким ярким сиреневым оттенком... и даже щель между двумя передними зубами, очень белыми, чуть выступающими вперед, только усиливает ее очарование. В ее взгляде, в посадке головы есть что-то... сейчас, чтобы описать это, я не нахожу никакого иного слова, как — горделивое... Мама говорит, что тетя Анюта «настоящая красавица».

Она держит в руке большие круглые часы, указывает пальцем на циферблат и спрашивает меня: если большая стрелка тут, а маленькая там... Не знаешь? Подумай хорошенько... не подсказывай, Леля... Я думаю изо всех сил, я боюсь ошибиться, я неуверенно шепчу ответ, и она широко улыбается, она восклицает: «Хорошо! Очень хорошо!»

Мы, самые маленькие, сидим с ней в коляске с откинутым верхом, запряженной парой лошадей, мы едем за реку, где находятся магазины, где стоит высокая белая башня, окруженная возле самого верха балконом... Даже издалека, с нашего берега, я различаю чей-то силуэт, он склоняется над балюстрадой и издает странные звуки, похожие на крики, на пение Наша коляска переезжает вброд через широкую реку, вода поднимается выше подножки, почти закрывает грудь лошадей, но не надо бояться, с нами ничего не может случиться, кучер хорошо знает дорогу... и вот мы наконец на твердой земле, лошади взбираются на берег, мы рысью катим по белой дороге к кондитерской, к лавкам, где продаются книги, игрушки, туфли... тетя рассматривает мои туфельки, они уже совсем поношенные и скоро станут мне малы... Тебе тоже нужны новые...

В тетиной спальне, очень светлой, бело-голубой, на туалетном столике стоят всякие флаконы В них духи, одеколон. А вот один пустой, она собирается выбросить его в мусорную корзину, но я не даю... «Пожалуйста, не выбрасывай, дай его мне...»

И вот мы — флакон и я — одни у меня в комнате. Я осторожно поворачиваю его во все стороны, чтобы лучше разглядеть округлые линии, гладкие поверхности, овальную граненую пробку Сначала уберем то, что тебя уродует... прежде всего эту гадкую ленточку которой обвязано твое горлышко... а потом тут, спереди, эту толстую этикетку, желтую и глянцевитую... я приподнимаю ее за уголок, я тяну... она легко снимается, но оставляет вместо себя белесый налет, сухой и твердый, который я размягчаю тряпочкой или кусочками ваты, намоченными в кувшине с водой, налет сходит тонкими клочками, скатывающимися под моим пальцем... но оттерлось не все, осталась еле заметная пленочка, которую приходится отскребать карманным ножом, осторожно, чтобы не поцарапать стекло... Наконец флакон освобожден от всего, что его безобразило, обнажен и готов к омовению Я наполняю его водой, встряхиваю, чтобы хорошо отмыть, чтобы не осталось ни малейшего следа от того, что в нем было, я намыливаю его и прополаскиваю в тазу. Потом вытираю своим полотенцем и, когда он уже совсем сухой, принимаюсь полировать его углом своего одеяла или шерстяными вещами, чтобы он заблестел Теперь он предстает во всей своей ослепительной чистоте.. Я протягиваю его к окну, подставляю свету, выношу в сад, чтобы он засверкал на солнце. Вечером созерцаю его под лампой... Нам ничто не угрожает, никто не собирается отнять его у меня, Лелю занимают только ее куклы, Петя скользит по нему равнодушным взглядом.

Теперь у меня уже несколько флаконов, все они разные, но каждый по-своему великолепен.

Целая коллекция выстраивается на моем камине, никто, кроме меня самой, — это мне обещано — не вправе до нее дотронуться.

Если я беру один из флаконов с собой, я его во что-нибудь заворачиваю, не хочу, чтобы его могли коснуться чужие взгляды, легкомысленные слова.

— Странно, стоило тебе уехать — и увлечение флаконами прошло.

— Да, правда, я не взяла с собой ни одного. Может, потому, что перестала играть с ними, когда болела... какой-то неопасной, но заразной болезнью... ветрянкой? краснухой? Я лежу в своей кроватке, у стены, в глубине своей комнаты, слегка затемненной большим деревом, дверь ее ведет в мамину спальню, и я понимаю, что у меня высокая температура, понимаю по тому, что они здесь... они непременно

находятся здесь, когда мое тело и голова пылают... маленькие человечки, высыпающие из мешков песок, песок течет во все стороны и всюду проникает, а они все сыплют и сыплют, и не знаю почему меня так пугают горы песка и суета этих гномов, я хочу остановить их, хочу закричать, но они меня не слышат, мне не удается закричать по-настоящему.

Когда температура упала, мне разрешили садиться в кровати... горничная, присланная тетей, убирает в комнате, перестилает постель, моет меня, причесывает, поит и кормит... Мама тоже здесь, но я вижу ее только сидящей за столом, она пишет на огромных белых листах, которые нумерует большими цифрами, покрывает своим крупным, размашистым почерком и бросает на пол, когда исписывает их. Или мама сидит в кресле и читает...

— Будь справедлива, бывало и так, что во время болезни она присаживалась с книгой у твоей кровати.

— Да, случалось, и не со своей книгой, а с моей... я вспоминаю ее, я хорошо ее знала... Это была «Хижина дяди Тома», детское издание. Большая книга в картонном переплете, с сероватыми гравюрами. На одной из них Элиза перескакивала с льдины на льдину со своим ребенком на руках. На другой — умирал дядя Том, а рядом, на соседней странице, описывалась его смерть. Обе они были слегка покоробленны, буквы стерлись... так часто капали на них мои слезы...

Мама читает мне своим низким голосом, без всякого выражения... слова выходят твердые и четкие... временами у меня создается впечатление, что она не думает о том, что читает... когда я говорю ей, что хочу спать или что я устала, она сразу закрывает книгу, мне кажется, она это делает с облегчением...

— Ты и вправду тогда это чувствовала?

— Думаю, да, я это ощущала, но не судила ее... Разве не естественно, что детская книжка не интересует взрослую женщину, которая любит трудные книги? Только потом, когда я встала с постели и могла уже спуститься в сад...

— Здесь кончаются «прекрасные воспоминания», по поводу которых ты так угрызалась... слишком уж они «соответствовали образцам»...

— Да, они очень скоро вновь обрели преимущество быть единственными в своем роде... Я стою в своей комнате, еще не твердо держась на ногах, и слышу через приоткрытую дверь, как мама говорит кому-то: «Подумать только, я все время сидела здесь взаперти с Наташей, и никому даже в голову не пришло меня подменить». Но то, что я почувствовала в ту минуту, быстро стерлось из памяти...

— Скорее, ушло вглубь...

— Возможно... во всяком случае, достаточно глубоко, чтобы я ничего не замечала. Хватает жеста, ласкового слова мамы, или попросту, чтобы я увидела, как она сидит в своем кресле, читает, поднимает удивленно голову, когда я подхожу и что-то говорю ей, она смотрит на меня сквозь свой лорнет, стекла увеличивают ее лучистые карие глаза, они кажутся огромными, полными наивности, невинности, добродушия... и я прижимаюсь к ней, приникаю губами к тонкой и шелковистой коже, такой нежной на лбу, на щеках.

Точно в какой-то просвет выныривает из серебряного тумана всегда одна и та же улица, покрытая толстым слоем снега, белого-пребелого, на нем нет ни следов, ни колеи, и я иду по этой улице вдоль забора, который выше меня и сбит из тонких деревянных досок, заостренных на конце...

— Это я и предсказывала: неизменно один и тот же образ, неколебимый, запечатлевшийся раз и навсегда.

— Да, правда. А вот другой, неизменно возникающий при слове Иваново... это длинный деревянный дом, множество окон по фасаду, каждое увенчано кружевом узких резных деревянных наличников... огромные сосульки гроздьями свисают с крыши, сверкают на солнце... двор перед домом покрыт снегом... Ни одна деталь никогда не меняется. Напрасно я ищу, точно в «игре в ошибки», я не нахожу даже ничтожнейшего различия.

— Вот видишь...

— Да... но это сильнее меня, мне хочется ощупать, погладить, облечь этот застывший образ словами, но без нажима, я так боюсь повредить его... И пусть они проникнут сюда, внутрь дома, в эту большую комнату с ослепительно белыми стенами... сверкающим паркетом, по которому разбросаны яркие ковры... диваны, кресла покрыты ситцевыми чехлами в цветочек... разнообразные растения в больших горшках... в окнах между двойными рамами проложен слой белой ваты, припудренной серебряными блестками. Ни один дом на свете никогда не казался мне таким красивым. Настоящий дом из рождественской сказки... и к тому же — дом, где я родилась.

— И однако, что-то мешает ему существовать среди «прекрасных воспоминаний детства», а дом твоего дяди имел на это право.

— Знаю что — отсутствие мамы. Она не появляется там никогда, ни на мгновенье.

— Она бы появилась, будь у тебя, как у других, дар сохранять воспоминания, уходящие очень глубоко... у некоторых — чуть ли не до рождения на свет...

— Да, но в этом смысле мне не повезло... у меня не осталось ничего от того, что предшествовало моему отъезду из Иванова в возрасте двух лет, и ничего от самого этого отъезда, ничего ни от папы, ни от мамы, ни от Коли, с которым мы с мамой, как я узнала уже потом, уехали сначала в Женеву, потом в Париж.

Но в этом доме отсутствует не только мама. Из всех, кто там всегда находился, когда я время от времени возвращалась туда на несколько недель, я вижу только отца... его прямой и тонкий силуэт, всегда словно чуть напряженный... он сидит на краешке дивана, я у него на коленях, лицом к высоким окнам, полностью скрытым белыми тюлевыми занавесками... Он учит меня, как их сосчитать... Может ли это быть? но я ясно помню... я считаю до десяти, потом — еще одно, последнее, с ним — одиннадцать...

Я стою перед ним, между его расставленными ногами, мои плечи на уровне его колен... я перечисляю дни недели... понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье... а потом опять понедельник, вторник... «Хватит, ты теперь знаешь их... — А что потом? — Потом все начинается сначала... — Всегда одинаково? И до каких пор? — Всегда. — Даже если я буду повторять снова и снова? Целый день? Если буду повторять всю ночь? снова будет возвращаться понедельник, вторник и так всегда? — Всегда, глупышка...» Его рука скользит по моей голове, я чувствую, как из него исходит что-то, что он держит в себе на запоре, что он не любит показывать, но это здесь, я чувствую, это проникло в его руку, которую он быстро отнимает, в его глаза, в его голос, произносящий уменьшительные имена, которые он один образовывает из моего имени — Ташок или уменьшительное от этого уменьшительного: Ташочек... и еще одно смешное имя, которое он мне дал, — Пигалица... когда я спрашиваю его, что это такое, он отвечает, что так называется маленькая птичка.

Мне нравится проводить рукой по его худым, немного шершавым щекам, зажимать кожу между пальцами и оттягивать ее, щекотать ему затылок... он ласково отталкивает меня... или иногда, когда он совсем этого не ждет, чмокнуть его в самое ухо и глядеть, как он, оглушенный, засовывает в ухо палец, шевелит им там, трясет головой... Делает вид, будто рассердился... «Что за дурацкая игра...»

Он часто говорит со мной по-французски... Мне кажется, он говорит прекрасно, только вот «р» раскатывает, я хочу научить его... Послушай, как я произношу «Пари»... Прислушайся, «Пари»... ну, а теперь произнеси, как я... «Пари»... да нет же, не так... он забавно копирует меня, нарочито утрируя, точно он ободрал себе горло... «Парррри»... Он отвечает мне тем же — учит произносить русское «р»: я должна прижать к нёбу, потом распрямить кончик поднятого языка... но напрасно я стараюсь... А, вот видишь, теперь у тебя не получается... и мы смеемся, мы любим весело подтрунивать друг над другом...

Везде я вижу только отца. Теперь мне кажется, что все предметы вокруг нас — в руках невидимых существ.

Ложка, осторожно описывая круг по самому краешку, где не так горячо, набирает вкусную манную кашу на молоке, широко расплывшуюся по тарелке... ложка поднимается к моему рту, чтобы я подула...

Ложка, полная клубничного варенья, приближается к моим губам... я отворачиваюсь, не хочу больше... какое оно противное, я не узнаю его... что с ним случилось? что-то примешалось к его обычному приятному вкусу... что-то гадкое проскользнуло и притаилось в нем... меня тошнит от него. «Мне не нравится, это не настоящее клубничное варенье. — Нет, настоящее, посмотри сама». Я внимательно разглядываю тонкий слой варенья, размазанного по блюдечку... ягоды и правда те же, что всегда, только чуть светлее, не такие красные или темно-розовые, как обычно, но на них и между ними какие-то подозрительные белесые разводы... «Нет, посмотрите, там что-то есть... — Ничего там нет, тебе кажется...» Когда отец приходит домой, я рассказываю ему, что не захотела есть это варенье... оно нехорошее, я его рассмотрела: в нем какие-то белые разводы, белые точечки, и вкус противный... это не клубничное варенье... Он смотрит на меня, минуту колеблется, потом говорит: «Это настоящее клубничное варенье, а то, что ты видела,— каломель, в варенье подмешали немного каломели, надеялись, что ты ничего не заметишь, я знаю, ты ненавидишь каломель, но тебе обязательно нужно принимать ее...»

То чуть тревожное ощущение чего-то омерзительного, исподтишка внесенного, скрытого в том, что очень вкусно, так и не покинуло меня и даже теперь иногда возвращается, когда я кладу в рот ложку клубничного варенья.

Отец велел утрамбовать для меня во дворе, против дома, снежную горку. Я вскарабкиваюсь на нее по отлогому склону и съезжаю с крутого на санках... снова карабкаюсь и снова спускаюсь, без устали, лицо мое горит, из ноздрей, изо рта валит пар, всем своим существом я вбираю в себя морозный воздух.

Я получила в подарок огромную книгу в переплете, совсем тоненькую, я люблю листать ее люблю слушать, когда мне читают, что написано рядом с картинками... но, осторожнее, сейчас будет та, которой я боюсь, самая страшная... Тощий человек с длинным острым носом, в зеленом фраке с отлетающими фалдами, потрясает раскрытыми ножницами, он вонзит их сейчас прямо в живое тело, хлынет кровь... «Я не могу на него смотреть, надо его убрать... — Хочешь, вырвем страницу? — Жалко книжка такая красивая. — Ну хорошо, мы спрячем эту картинку... склеим страницы» Теперь я больше ее не вижу, но знаю, что она все еще здесь, взаперти... вот она приближается, она прячется тут, где страница стала толще... нужно побыстрей перелистнуть, перескочить, прежде чем это успеет коснуться меня, влезть в меня... вот, уже начинается, вот ножницы, врезающиеся в тело, крупные капли крови... но, готово, все позади, все скрывается следующей картинкой.

В рисунках к моей самой любимой книжке «Макс и Мориц», где такие смешные стихи, которые я знаю наизусть и люблю читать вслух, меня ничто не пугает, даже когда я вижу гадких озорников скрученными и лежащими на противне, они уже приготовлены и сейчас их сунут в духовку и зажарят, как молочных поросят...

— Ты уверена, что эта картинка в «Максе и Морице»? Может, проверишь на всякий случай?

— Нет, зачем? Ясно, что она связана в моих воспоминаниях с этой книжкой и что сохранилось в неприкосновенности чувство боязни, которое она мне внушала, чувство страха, но не настоящего страха, а так, только чтобы позабавиться.

Из коричневой бумажной обертки высвобождают большую картонную коробку, снимают крышку, шелковую бумагу, под ней лежит с закрытыми глазами огромная кукла... у нее темные локоны веки окаймлены густыми и длинными ресницами... это она, я узнаю ее, это ее я видела в Париже в большой освещенной витрине, я так долго смотрела на нее... Она сидела в кресле, а возле ее ног была картонная табличка с надписью: «Я умею говорить»... Ее осторожно вынимают из коробки... когда ее приподнимают, глаза открываются... когда она поворачивает голову в одну сторону, потом в другую, внутри нее раздается какой-то звук... «Слышишь? она раз-

говаривает, она произносит «папа, мама»...— Да, похоже, она говорит именно это... а что еще? — Она слишком маленькая, хорошо, она хоть это умеет... Не бойся, возьми ее в руки».

Я осторожно беру ее и кладу на диван, чтобы лучше разглядеть... Ничего не скажешь, она очень красивая... на ней платье из белого тюля, шелковый голубой пояс, голубые туфли и носки, большой голубой бант в волосах... «Можно ее раздеть?.. — Конечно... можно даже сшить ей другую одежду... тогда ты сможешь менять ей платье, переодевать, если захочешь... — Да, я рада... — Я крепко целую папу... — Ну, это именно та, которую ты хотела? — Да, это она...» Нас оставляют наедине, чтобы мы могли ближе познакомиться. Я не отхожу от нее, я ее укладываю, поднимаю, заставляю ее повернуть голову и сказать «папа, мама». Но мне с ней как-то не по себе. И это ощущение не проходит. У меня никогда не возникает желания поиграть с ней... Она очень твердая, слишком гладкая, движения ее однообразны, и, чтобы заставить ее сделать что-нибудь, надо всегда одинаково поднимать и опускать ее ноги и руки, чуть согнутые, приделанные к жесткому телу. Я предпочитаю ей старых тряпичных, набитых опилками кукол, которые у меня с незапамятных времен, не то чтоб я так уж их любила, но с их немного дряблыми, разболтанными телами можно не церемониться, сжимать, тискать, бросать...

Но по-настоящему родной мне только Мишка, мой плюшевый медведь, шелковистый, теплый, приятный, мягкий, весь какой-то домашний. Он всегда спит со мной. Его голова в золотистой шерстке, уши торчком, лежит возле меня на подушке, добрая круглая морда с черным носом и черными блестящими глазками высовывается из-под одеяла... я ни за что не заснула бы, не чувствуя его рядом, около себя, я никуда не уезжаю без него, он сопровождает меня во всех моих путешествиях.

Меня привезли за папой на его «фабрику», где он работает весь день... я прохожу через большой грязный двор, потом через барак с земляным полом, мне приходится перепрыгивать через ручейки и лужи — синие, желтые, красные... между бочками и тележками ходят бородатые люди в картузах и высоких сапогах... запах тут не такой тошнотворный, как запах уксуса, но я все же стараюсь почти не дышать, настолько он неприятный, острый, кислый.. Я вхожу в длинную светлую комнату, где стоит несколько длинных столов, а на них видны ряды деревянных подставок с пробирками, наполненными порошками, яркими, как лужи во дворе, — красными, синими, желтыми... жидкости такого же красивого цвета подогреваются в колбах, подвешенных над язычком пламени. папа стоит перед одним из столов, на нем длинный белый халат, он держит в руках колбу, потихоньку покачивая ее над огнем, потом поднимает ее и рассматривает на свет. Он ставит ее на подставку, наклоняется, обнимает меня, целует и ведет в соседнюю комнату, усаживает, подложив толстые книги, в свое кресло перед письменным столом. Он придвигает мне большие счеты и говорит... «На, поиграй пока.. я скоро». Я двигаю, поднимаю и опускаю желтые и черные деревянные шарики по металлическим стержням, на которые они нанизаны, но это неинтересно, я не знаю, как в это играть... жду не дождусь, когда придет папа... вот он наконец уже без халата, в черной шубе и меховой шапке, у него радостное лицо... «Видишь, как я быстро».

А вот он на широкой заснеженной площади, я знаю, что это площадь в Москве, он выходит из большого магазина, где продают вкусные вещи, в руках у него пакеты, завернутые в белую бумагу, перевязанные ленточками... Я люблю, когда он такой... его черная шуба с выдровым воротником небрежно распахнута, так что виден высокий приставной воротничок белой рубашки, меховая шапка чуть сдвинута на затылок... он улыбается, не знаю почему.. на его оживленном лице, еще более энергичном, чем всегда, выделяется, сверкает четкая, правильная, очень белая линия зубов.

Он подходит к саням, где дожидаюсь его я, закутанная до самых глаз, прикрытая кожаной полостью.. он отстегивает полость с одной стороны, кладет пакеты мне под ноги и проскальзывает ко мне за исполинской спиной кучера, облаченного в толстый тулуп.

Мы в московской квартире отца. Посередине комнаты стоит большая рождественская елка. На этот раз я смутно различаю красивую белокурую молодую жен-

щину, она любит смеяться и играть... я протягиваю ей какие-то пакетики, предметы, игрушки, лежащие на полу возле елки, позолоченные орехи, красные крымские яблочки, а она привязывает их к веткам красными ленточками, золотыми и серебряными нитями...

А потом в передней квартиры — дети, наши гости, которые разъезжаются после праздника.. они сидят, с них снимают туфли, и ищут повсюду, под скамьями, находят и натягивают на их протянутые ноги валенки.

Я лежу в маленькой комнате, устроенной для меня в этой же квартире, моя кровать придвинута к стене, покрытой соломенной циновкой с цветными узорами. Я всегда ложусь на бок, лицом к ней мне нравится поглаживать пальцем ее гладкое плетенье, смотреть на нежно-золотистую окраску шелковистые переливы вышитых птиц, деревцев, цветов... Не знаю почему, но здесь я боюсь оставаться вечерами одна в комнате, и папа соглашается побыть возле меня, пока я усну... Он сидит на стуле за моей спиной и поет мне старую колыбельную... у него низкий нетвердый голос, чуть охрипший.. петь он не умеет, и от этой неловкости то, что он поет, кажется еще более трогательным... я слышу его сейчас так отчетливо, что могу даже подражать ему и, признаюсь, иногда со мной такое случается... в этой песенке он заменяет слова «дитя мое» моим ласкательным именем, оно подходит по ритму — Ташючек мой.. Мало-помалу я начинаю дремать, голос его становится все более далеким.. потом я слышу тихий звук у себя за спиной, наверное, папа встает он думает, что я уже сплю, он собирается уйти.. я тотчас высовываю руку из-под одеяла, чтобы показать ему, что все еще не сплю. или до меня доносится скрип паркета под его медленными, осторожными шагами... сейчас он тихонечко отворит дверь... тогда я покашливаю, что-то бурчу... но ничего не говорю. боюсь окончательно проснуться, а я хочу спать, хочу, чтобы он мог уйти, мне неловко его удерживать...

— Так ли это? А тебе не кажется что когда ты ощущала его присутствие, его взгляд, прикованный к тебе, когда он, напевая все тише и тише, на цыпочках направлялся к двери, в последний раз оборачиваясь, чтобы поглядеть на тебя и убедиться, что ты ничего не подозреваешь, открывал дверь затворял ее за собой с невероятной осторожностью и, наконец освобожденный, спасался бегством... не думаешь ли ты, что высовывать руку, покашливать, бурчать тебя заставляло желание помешать тому, что уже исподволь зрело, что должно было произойти и в чем уже тогда был заключен для тебя привкус тайного предательства, разрыва?

— Да, нельзя не признать, все, казалось, шло к тому, чтобы у меня возникло такое чувство... Но я пытаюсь вновь увидеть себя там, в кроватке, когда я прислушивалась, как отец поднимается, идет к двери.. я высовываю руку, бурчу... нет, еще рано, не уходи, мне станет страшно, ты обещал, мы договорились, что ты побудешь со мной, пока я не усну, я стараюсь изо всех сил, у меня скоро получится, ты увидишь, я не буду ничего говорить, не буду все время ворочаться, я просто хочу показать тебе, раз уж мы уговорились, раз заключили между собой соглашение, я знаю, ты не хочешь его нарушать, и я тоже, видишь, я его соблюдаю, я подаю знак.. ты же не хочешь, чтобы мне было страшно... останься еще ненадолго, я чувствую, сон приближается, и все будет хорошо, я уже ничего не почувствую, и ты сможешь спокойно оставить меня, уйти...

Коляска останавливается перед крыльцом большого деревянного дома, папа выпрастывает меня из одеял, в которые я закутана, берет на руки, я совсем маленькая, на мне белое бархатное пальтишко, такое красивое, что мне говорят, будто я в нем «просто куколка», он несет меня, быстро взбегая по ступенькам, и передает дедушке и бабушке, которые оба тут, перед дверью, в длинных белых ночных рубашках... Папа разгневанно говорит... «Я же вас предупредил, я просил вас не вставать с постели, это безумие»...

Я настолько ошеломлена его тоном, что застываю, не отвечаю, как мне хотелось бы, на их попелуи, на нежные слова... А они как будто не в обиде на папу... Может, они слишком слабые, чтобы защитить себя, они такие милые, такие старенькие... Как он мог так рассердиться, так резко говорить с ними? Едва мы остаемся

с ним наедине, я тотчас спрашиваю его об этом... «Ты был такой злой... — Да нет, глупышка, я боялся, они простудятся... семь часов утра! в ночных рубашках! Они могли нас дождаться в постели, я написал им... — Но зачем же говорить так сердито... — Ничего подобного, вовсе не сердито... — Ты кричал... — Чтобы они побыстрее вошли в дом, они плохо слышат... Я не хотел, чтобы они простыли... — А они знают, что это поэтому? — Конечно, знают. Ты бы лучше подумала о чем-нибудь другом...»

И в самом деле было бы лучше. Может, я тогда сохранила бы что-то еще от этого единственного пребывания у дедушки и бабушки... но эта минута так меня потрясла, полностью взяла верх над всеми другими, только она и осталась.

Я гуляю с отцом... точнее, он гуляет со мной — ежедневно, когда приезжает в Париж. Не помню, каким образом мы встречаемся... должно быть, кто-то привозит меня в его гостиницу или в какое-то условное место... И речи быть не может, чтобы он зашел за мной на улицу Флаттер.. Я никогда не видела их вместе, не могу даже представить себе, чтоб они встретились, он и мама...

Мы вошли в Люксембургский сад через ворота, напротив Сената, и направляемся налево, туда, где гиньоль, качели, карусели...

Все кругом серое, воздух, небо, аллеи, широкие ощипанные газоны, обнаженные ветви деревьев. По-моему, мы молчим. Во всяком случае, из всего, что могло быть произнесено, я вспоминаю только эти слова, которые до сих пор отчетливо слышу: «А ты любишь меня, папа?»... Я говорю это без всякого опасения, скорее с каким-то лукавством... не может быть, чтобы я задала ему этот вопрос с серьезным видом, я могла употребить слова «ты любишь меня» только смеха ради... Он не выносит таких слов, да еще в устах ребенка...

— Ты на самом деле чувствовала это уже в таком возрасте?

— Да, и довольно отчетливо, может быть отчетливее, чем почувствовала бы теперь... дети ощущают подобное даже острее, чем взрослые.

Я знала, что слова вроде «ты любишь меня», «я люблю тебя» заставляли его сжаться, отступить, затаить еще глубже то, что было погребено... И правда, на его хмуром лице, в его голосе — неодобрение... «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» По-прежнему, как бы забавляясь... потому что меня это забавляет, и еще я боюсь, как бы он не оттолкнул меня: «Не болтай глупости»... я настаиваю: «Ты любишь меня, скажи? — Ты сама знаешь... — Но я хочу, чтобы ты сказал. Скажи, папа, ты любишь меня или нет?»... на этот раз настоятельно, с пафосом, и он, предчувствуя, что за этим последует, вынужден выжать из себя, только подчиняясь правилам игры, смеха ради... эти нелепые, непристойные слова: «Ну конечно, дурашка, я тебя люблю».

Теперь он получает награду за согласие включиться в мою игру... «Ну раз ты меня любишь, ты мне подаришь...» видишь, у меня и мысли не было вынудить тебя полностью раскрыться, выставить напоказ то, что тебя наполняет, что ты сдерживаешь, чему ты позволяешь выскальзывать наружу только обрывками, толчками, ты сможешь все это хоть немного выпустить наружу... «Ты подаришь мне какой-нибудь из тех шаров... — Каких шаров?.. — Да вон же, в киоске...»

Я довольна, мне удалось немного подразнить его, а потом успокоить... и получить в награду, унести с собой свой красивый трофей, синий и блестящий, плывущий над моей головой на длинной нитке, привязанной к моему запястью.

Теперь я уже достаточно большая, меня не обязательно усаживать в коляску, я могу оседлать желтого льва, нет, лучше розового поросенка... или нет, того красивого белого жирафа... Левой рукой я вцепилась в медные поручни, к которым меня привязали поясом за талию, а в правой держу деревянную ручку, гладкую и круглую, на которой закреплен длинный металлический стержень...

Начинает играть музыка, мы трогаемся... главное, внимательно следить за тем, чтобы стержень был протянут в нужном направлении, через несколько минут мы проедем перед кольцом... вот оно висит, тихонько покачиваясь в воздухе.. оно приближается... я совсем рядом, пора... я протягиваю к нему стержень, я целюсь прямо в него, в самый центр... готово, я слышу металлический звук, но это всего

лишь звук от соприкосновения с кольцом, я его не подцепила, а оно уже позади. мы продолжаем вращаться... ну и пусть, я попробую еще раз... И на следующем повороте снова...

— Ну постарайся, вспомни.. иногда же все-таки получалось...

— Да, конечно, потому что я вспоминаю о двух-трех кольцах, которые я, уходя, кладу на прилавок.. Но разве можно сравнить это с успехами других детей, не старше меня, а иногда и совсем маленьких, они так здорово их подцепляют... к концу нашего пути кольца, нанизанные у них на стержень, иногда доходят почти до верхушки.. Я беру постный сахар, мне все-таки его дают, выслушиваю утешения и советы взрослых... «Понимаешь. ты чересчур напрягаешься. не надо, ты же видела, как делают другие дети.. шутя...» Да, мне очень хотелось бы суметь как они, легко, непринужденно, беспечно.. Почему же я не могу? Ну стоит ли огорчаться?. действительно, не велика беда... Может, в следующий раз... если я постараюсь как следует...

Когда я вижу издали зеленое ограждение вокруг карусели и ее разноцветные фигуры, которые скользят и кружатся, когда я слышу пришепетывающую музыку, мне трудно удержаться и не ринуться к ней, я тороплю взрослых... «Ты правда хочешь пойти туда? — Да, очень хочу...»

«Милая подушечка под моей головкой, с перышками белыми ты ко мне пришла...» — декламируя, я слышу свои голосок, который нарочно делаю пронзительнее, чем он есть на самом деле, чтобы он был как у совсем маленькой девочки, и подчеркиваю простоватость своих интонаций... я прекрасно понимаю, до какой степени фальшива, смешна эта имитация младенческой невинности, наивности, но слишком поздно, я поддалась, я не осмелилась оказать сопротивления, когда меня взяли под мышки и поставили на стул, чтобы я была лучше видна.. если бы я осталась на полу, меня трудно было бы разглядеть. моя голова еле высовывается из-за длинного стола, за которым справа и слева от новобрачной, одетой во все белое. сидят люди, они смотрят на меня и ждут... меня толкнули, и я увязла в этом голосе. в этом тоне, и отступать уже некуда, я вынуждена двигаться вперед, я ряженая, этакий младенец, глупышка, вот я приближаюсь к месту, где надо обезьянничать, изображая ужас, я округляю губы, широко открываю глаза, мой голос повышается, дрожит... «... Когда боишься волка, ветра и грозы...», а сейчас — нежное простодушное волнение.. «Милая подушечка, как мне сладко спится на тебе...» — я прохожу до конца этот путь покорности и отвратительного отреченья от самой себя, настоящей, какой ощущаешь себя на самом деле, щеки мои горят, когда меня снимают со стула, и я, по собственному желанию, делаю книксен, как послушная и хорошо воспитанная девочка, и поскорее убегаю, чтобы спрятаться .. подле кого? что я там делала? кто привел меня туда?.. под одобрительный смех, веселые, умиленные возгласы, громкие хлопки...

И еще одно название, почему-то застрявшее в голове: улица Буассонад. Сюда, в большую светлую комнату на первом этаже, я пришла уж не помню как, повидаться с папой.. он сидит, все такой же худой и прямой, на диванчике, а я сижу рядом с ним... В стене против нас открывается дверь, входит молодая женщина.. я уже видела ее, но это не та, с которой мы в Москве украшали рождественскую елку, а другая, с каштановыми волосами, я увидела ее только здесь, с папой... она появляется переодетая в юношу... на ней папин костюм. а на голове — его котелок, под который она упрятала свой шиньон, но колечки волос выбиваются ей на щеки, на затылок... глаза у нее светло-голубые, словно прозрачные. мы удивленно смотрим на нее, мы смеемся — до чего она забавна в этом одеянии, до чего же оно ей идет... она подходит ко мне, склоняется передо мной, как склоняются перед дамами на балу, берет за руку, я встаю, она держит меня за талию и кружится со мной, напевая прелестные, веселые, заразительные мелодии, она кружится все быстрее и быстрее, она поднимает меня, мои ноги уже не касаются пола, голова кружится, я смеюсь от восторга... наконец она подводит меня к дивану, отпускает, валит на диван и сама валится возле нас с папой. грудь ее вздымается, круглые, как у ребенка, щеки порозовели, она откидывает голову назад, на спинку дивана,

и обмахивается носовым платком, еще чуть задыхаясь, улыбаясь... Мне не терпится, чтобы она закружила меня снова.

Почему так хочется снова оживить все это, хотя нет слов, которые могли бы уловить, задержать, пусть хоть на несколько мгновений, то, что выпало мне... как маленьким пастушкам являются небесные виденья... но только здесь нет ни святого явления, ни благочестивого ребенка...

Я сидела все там же, в Люксембургском саду, на скамье в английском парке между отцом и молодой женщиной, которая танцевала со мной в большой светлой комнате на улице Буассонад. Рядом с нами на скамье или у кого-нибудь из них на коленях лежала большая книга в переплете... Мне кажется, это были «Сказки» Андерсена...

Мне только что прочли отрывок... Я глядела на цветущие шпалеры вдоль невысокой ограды из розового кирпича, на деревья в цвету на ярко-зеленую лужайку, усеянную маргаритками белыми и розовыми лепестками, небо, разумеется, было голубым, и воздух, казалось, слегка дрожал... и в этот момент произошло... что-то неповторимое... что никогда уже не вернется именно таким же, ощущение столь властное, что и сейчас, когда по прошествии стольких лет оно возвращается ко мне, приглушенное, почти стершееся, я испытываю... но что? какое слово может уловить это? не расплывчатое вроде «счастья», которое подворачивается первым, нет, не оно... «блаженство», «восторг» — слишком уж уродливы, нет, пусть даже не прикасаются... а «экстаз»... перед этим словом все съеживается... «Радость», да, быть может... это скромное, простенькое слово может и прикоснуться... опасность невелика... но оно не способно объять то, что меня наполняет, разливается по мне, перехлестывает через край, и сейчас затеряется, растворится в розовых кирпичах, цветущих шпалерах, лужайке, розовых и белых лепестках, в дрожащем воздухе, по которому пробегает едва уловимый трепет, волны.. волны жизни, просто жизни, другого слова не подберешь... жизни как таковой ничем не омраченной, ничем не замутненной, достигающей вдруг своей наивысшей полноты... такая полнота из ничего уже никогда не повторится, только потому что все это есть, и я вся в этом, в невысокой розовой ограде, в цветах шпалер, деревьев в лужайке, в дрожащем воздухе... я — в них, без остатка, ничего, чего нет в них, нет и во мне.

На этой широкой улице, окаймленной с одной стороны высокими, окрашенными в светлые тона домами, с другой стороны — садами, на этой улице, столь непохожей на улицу Флаттер, живут теперь мама и Коля.

В подъезде внизу и на ступеньках лестницы, — толстый красный ковер, слева в стене — лифт, как в гостиницах. И так же как в гостиницах — консьерж, облаченный в красивый фрак с позументами, на голове у него цилиндр... он помогает поднять наверх мои чемоданы.

Я вхожу в большую светлую комнату, где мама и Коля целуют меня, отстраняют от себя, чтобы получше рассмотреть... «Как прекрасно ты выглядишь, как ты выросла... и какое красивое у тебя пальто... ну-ка повернись, дай поглядеть на тебя»... пальто и в самом деле очень красивое, темно-синее, с воротником и отделкой из синего бархата, на руках у меня кожаные перчатки... В Париже папе, присевшему передо мной на корточки на тротуаре прямо у выхода из магазина, стоило немалого труда натянуть их на мои напряженные и растопыренные пальцы, но перчатки растянулись, как обещала продавщица, и теперь кнопка застегивается легко, не защемляя и не морща мне кожу на запястье.

Справа от большой комнаты будет моя спальня. В самой глубине, напротив окна, стоят кровать и тумбочка Такое ощущение, будто за двойными стеклами здесь тянется ледяное пространство... не снег, сверкающий на солнце, как в Иванове, не маленькие дома, темные и стиснутые, как в Париже... повсюду — прозрачный, отливающий голубизной лед. И свет здесь серебристо-серый. Город, куда я приехала, называется Петербург.

Няня, которая живет с нами здесь, совсем молодая, ее лицо с бесцветной кожей, с бесцветными губами, глазами — очень ласковое. Зовут ее Гаша. Она каждый

день гуляет со мной в сквере, поблизости от дома, или в большом саду, который я помню только с заиндевелыми деревьями и покрытыми ледяной коркой, сверкающими в серебристом свете лужайками...

Мы любим выходить на широкий проспект, на который ведет наша улица, чтобы разглядывать витрины магазинов. Здесь витрины забраны в коричневые рамы, а в больших буквах, написанных белым по стеклу, есть что-то немножко неуклюжее, немножко угловатое... Почти в каждом доме крутая лестница спускается в подвал, где обычно размещается лавка или кафе.

Мы с Гашей любим подолгу созерцать витрины обувного магазина, она — черные лакированные туфли на высоком каблуке, в самом деле очень красивые она права, а я — черные лакированные детские туфельки, каблуки у которых чуть выше моих, почти как у взрослых...

Часто вечерами, когда мама и Коля уходят, мы играем в игру, подаренную мне здесь,— «Квартет писателей». Она похожа на домашние игры, в которые я играла в Париже. Поскольку для нее необходимо четверо участников, Гаша и вторая прислуга... помню только, что она была, больше ничего... приглашают свою подружку, работающую в том же доме.

На белых карточках портрет какого-нибудь писателя, под ним выведено красными буквами его имя. Ниже черным.— название четырех его произведений. Мы — мои партнеры и я — все умеем читать, и нам очень интересно.

Мы сидим за квадратным столом посреди кухни, освещенной висячей керосиновой лампой, стены темные, почти всегда немного запотелые. Мне кажется иногда, что коричневая поверхность одной из дверей оживает, слегка шевелится... сначала я пугалась, но мне объяснили, что это копошатся тараканы, которыми усижена дверь... они не кусаются и никуда оттуда не денутся. Никто не обращает на них внимания, и вскоре у меня тоже, как и у всех остальных, возникает ощущение, что они — неотъемлемая часть дома. В кухне так приятно, тепло.

Мы раздаем карточки, потом бросаем кости, чтобы определить, кто начинает и та, кому выпал жребий, обращается к одной из партнерш: дай мне Тургенева — «Отцы и дети». Та протягивает карточку. А теперь, более уверенно: ты дашь мне еще Тургенева — «Записки охотника»... Торжествующе: у меня их нет. Теперь, Гаша, ты дай мне Толстого, «Анну Каренину». Спасибо. А ты, Наташа, «Крейцерову сонату». Спасибо... и еще дай мне...— У меня нет... так что верни мне. И так далее от потерь к победам... Только возвращение родителей положит конец нашей игре... Мама добродушно ворчит на нас, она сама любит эту игру, она нас понимает. «Но это же безумство, уже полночь, хорошенький у тебя вид будет завтра...— Но завтра я же могу встать поздно».

— Да, кстати, почему ты не ходила в школу, как в Париже?

— Не знаю. Смутно припоминаю веселую классную комнату, украшенную зелеными растениями, куда я некоторое время ходила, и толстую девочку с забавной фамилией, состоящей из слов «пчела» и «мед»... И еще, что нас учили писать левой рукой так же, как правой. Я написала об этом папе. Он ответил, что считает это пустой тратой времени. Больше я не ходила ни в эту школу, ни в какую-либо другую.

— Почему?

— Честное слово, никак не могу вспомнить... Может, здесь просто не хотели, чтобы это выглядело уступкой отцу. Но в эту пору такое подозрение никак не могло прийти мне в голову. По-моему, я уже говорила: я не задавала себе подобных вопросов.

И мать была для меня всегда, точно так же как отец, выше, вне всяких подозрений.

Я чувствовала исходящие от Коли, от его округлых щек, близоруких глаз, пухлых рук, добродушие и мягкость... Мне нравилось восхищение, почти преклонение, с которыми он иногда смотрел на маму, его доброжелательный взгляд, обращенный на меня, смех — его ничего не стоило рассмешить. Если в каком-нибудь споре с мамой

он хотел выразить свое несогласие, то употреблял всегда одни и те же выражения: «Ах, оставь, пожалуйста»... или: «Вовсе не так, ничего подобного»... произнося это с милым нетерпением, без подлинного недовольства, без тени агрессивности. Я не очень улавливала, о чем они говорили, но мне кажется, чаще всего они обсуждали писателей, книги... случалось, я узнавала названия книг из своего «Квартета».

То, что струилось между Колей и мамой, какое-то теплое течение, лучистый ток, прикасалось, точно волнами, и ко мне...

— И все-таки однажды... Помнишь?..

— Но я это почувствовала много позже... ты отлично знаешь, что в ту минуту...

— Ну, даже в ту минуту... Доказательство тому — слова, оставшиеся у тебя навсегда, слова... поговорка, которую ты услышала тогда, один-единственный раз...

— Мама и Коля делали вид, что дерутся, они играли, и мне хотелось поиграть вместе с ними, я взяла мамину сторону, обхватила ее руками, словно защищая, а она мягко оттолкнула меня.. «Не лезь... Муж да жена — одна сатана». И я отошла...

— Отскочила, как если бы она резко тебя оттолкнула...

— И однако, то, что я почувствовала в эту минуту, было едва ощутимым, словно позвякиванье стакана, когда легонько постукиваешь по нему...

— В самом деле?

— В ту минуту мне показалось, что мама подумала, будто я всерьез хочу защитить ее, будто я решила, что ей что-то угрожает, она хотела успокоить меня... не лезь... Не бойся, со мной ничего не может случиться... «Муж да жена — одна сатана».

— И все? И ты не почувствовала ничего другого? Смотри сама... мама и Коля спорят, распаляются, делают вид, что дерутся, они хохочут, и тут подходишь ты, обхватываешь руками мамину юбку, она вырывается... «Не лезь... Муж да жена — одна сатана»... чуть раздраженно...

— Действительно... я помешала их игре.

— Ну, постарайся...

— Я вторглась... влезла туда, где мне не было места.

— Правильно, продолжай...

— Я была чужеродным телом... оно стесняло...

— Да — чужеродным телом Лучше не скажешь... Именно это ты и ощутила тогда, и с какой силой. Чужеродное тело... Организм, в который оно вторглось, должен рано или поздно его оттолкнуть...

— Нет, я так не думала...

— Не думала, конечно нет, согласна... это возникло смутно, ирреально... как неведомый мыс, на миг мелькнувший в тумане... и снова скрытый густым туманом..

— Нет, ты заходишь слишком далеко...

— Ничего подобного, я все время держусь рядом, сама знаешь...

По ту сторону замерзшей Невы, среди дворцов с белыми колоннами, с фасадами, выкрашенными в нежные цвета, был дом, построенный из одной воды, скованной морозом — ледяной дом.

Его возвело мое бесконечное восхищение одной книжкой...

— И он был совсем непохож на тот мрачный «Ледяной дом», который ты могла прочесть лишь много позже, в издании для взрослых.

— На этот дом я не могла смотреть.. Мне хотелось сохранить мой... Он остался для меня таким, каким возник впервые, приютившийся в сердце этого города, среди этих зим, как сгусток их голубой прозрачности, снежного блеска.. Его толстые ледяные стены, квадратные оконные стекла из тончайшего слоя льда, его балконы, ко-

лонны, статуи, напоминающие драгоценные камни — они цвета сапфира, опала... А внутри вся мебель, столы, стулья, кровати, подушки, одеяла, занавеси, ковры, все мелочи, какие бывают в настоящих домах, вся посуда, все — даже поленья в каминах — ледяное.

Ночью бесчисленные свечи загораются в ледяных и не тающих подсвечниках, канделябрах, люстрах... совершенно прозрачный дом, кажется, пылает изнутри... Раскаленная ледяная глыба...

— Его воздвигли по прихоти царя... такого же царя, как тот, что живет во дворце на огромной белой площади... Когда Гаша говорит о нем, она понижает голос, словно пропитанный почтением... мне трудно представить себе, что царь похож на обычных людей... даже тело у него, наверное другое... «А он должен мыться? Его надо намыливать? — Ну конечно...— Значит, он может испачкаться? — Да, но только он-то любит быть чистым...— А у него, у него тоже есть такая дырочка посреди живота? И бывает, что там внутри что-то чешется?»

Все хохочут вокруг меня в жарко натопленной кухне, посреди которой я стою в большой деревянной шайке, а Гаша поворачивает меня в разные стороны, намыливает, ополаскивает.

— Примерно в то время в твою жизнь входит, чтобы никогда уже не исчезнуть из нее, еще одна книга: «Принц и нищий».

— Мне кажется, ни одну книгу своего детства я не прожила так, как прожила эту.

— Даже когда была Дэвидом Копперфильдом или героем книги «Без семьи»?

— Даже тогда. Я жила их жизнью, как и многие другие дети, но они не оставили во мне таких глубоких следов... как два глубоких следа, проложенных еще двумя образами, и только ими...

Образом маленького принца, облаченного в лохмотья, поднятого на большую бочку, с жестяной миской вместо короны и железным прутом в руке... а вокруг него в красном свете... поистине в свете ада... человеческие существа с омерзительными телами, со зловещими лицами... Он протестует, он кричит, что он — Эдвард, наследный принц, их будущий король, это точно, это чистая правда... А они ухмыляются, они хохочут, они его поносят, делают вид, что поклоняются ему умоляют его, падают перед ним, словно издеваясь, на колени, причудливо паясничают, отвешивают поклоны...

И еще Том, нищий мальчик, двойник принца, одетый в его платье, запертый вместо него в королевском дворце.. Он один, он оторван от родных, окружен чужими людьми, слугами, важными вельможами... лица их непроницаемы, их глаза, затянутые плотной пеленой почтения, не отрываются от него... Они с затаенной тревогой следят за каждым его движением... Вот один приближается к нему и подает золотую чашу с водой, в которой плавают лепестки роз... Том не знает, что с ней делать. Наконец он решается: берет чашу в руки, приподнимает и подносит ко рту воду, в которой должен был ополоснуть пальцы.

Любопытно что все остальное из этой читаной-перечитанной книги стерлось из памяти, все, кроме двух образов, оставшихся навсегда такими же яркими, неизменными.

Мне трудно выбрать книги — их приносят мама и Коля или присылают по почте,— они лежат повсюду, во всех комнатах, на шкафах, столах и стульях, даже на полу.. тонкие чуть потолще и совсем толстые...

Я рассматриваю вновь прибывшие, думаю, сколько мне придется потратить сил и времени на каждую из них.. Наконец, выбираю одну, усаживаюсь, разворачиваю на коленях, сжимаю в руке широкий нож из сероватого рога и принимаюсь... Прежде всего костяным ножом, который я держу горизонтально, разделяю сверху четыре страницы соединенные попарно, затем опускаю его, веду вверх он проскальзывает между двумя страницами, соединенными теперь уже только сбоку.. потом идут «легкие» страницы: сбоку они разделены, их приходится разрезать только сверху. И снова четыре «трудных»... потом четыре «легких» потом четыре «трудных». и так снова и снова все быстрее и быстрее, рука у меня устает, голова тяжелеет, гудит, даже

кружится... «Хватит, милая, достаточно, разве у тебя нет более интересного занятия? Я сама разрежу, когда буду читать, мне это нетрудно, я делаю это машинально...»

Но не может быть и речи, чтоб я не довела дела до конца. Я разве только позволяю себе, чтобы не было так скучно и меньше мутилось в голове, несколько вариантов: сначала заняться только «трудными» страницами, пропуская «легкие»... их я оставляю «на закуску». Или, наоборот, начать с легких, а закончить трудными. Или же разными способами браться за страницы, число которых я стану варьировать по собственному желанию... например, три листа, где «трудные» и «легкие» будут чередоваться... пять, где я займусь сначала только «легкими»...

Раз уж я впряглась в этот воз, оставить его я не могу. Мне совершенно необходимо достичь того момента, когда, разрезав все страницы распухшей, разбухшей книги, я смогу закрыть ее, прижать, чтобы страницы выровнялись, и со спокойной совестью положить на место.

Мама торопит, мягко мне выговаривает... «Не заставляй же просить себя, это так невежливо, нехорошо, ступай, сходи за ним, покажи...» И присутствие этого Господина, сидящего против света, спиной к окну, его внимательное молчание, его ожидание тоже давят на меня, подталкивают... но я знаю, что не должна этого делать, не надо, мне не следует уступать, я сопротивляюсь изо всех сил... «Подумай, какой пустяк, только для забавы... право, пустяк...— Не стесняйся... Знаете, то, что она пишет,— настоящий длинный роман...» Господин...

— Кто это был? Хорошо бы вспомнить.

— Нет, не получается... Быть может, Короленко, если судить по уважению, по симпатии к нему, которые я ощущала в маме... она печаталась в его журнале, постоянно с ним общалась, и они с Колей часто о нем говорили... Но дело не в имени. Это уважение, эта симпатия еще усилили, сделали неодолимым давление слов, которые он произнес, совершенно тем же тоном, каким сказал бы взрослому человеку: «Это правда очень интересно. Ты должна мне показать...» И тут... с кем такого не случалось? кто осмелится утверждать, будто ему незнакомо чувство, когда, зная наперед, к чему это приведет, что произойдет, страшась этого... тем не менее идешь навстречу...

— Можно даже сказать — хочешь этого, добиваешься...

— Да, оно будто притягивает... странное влечение...

Я пошла к себе в комнату, вынула из ящика стола толстую тетрадь в черной клеенчатой обложке, принесла ее и протянула Господину...

— «Дяде», должна бы ты сказать, потому что в России дети называют взрослых мужчин «дядя»...

— Ладно, пусть так, «дядя» открыл тетрадь на первой странице... неуклюжие буквы, написанные красными чернилами, неровные строчки — вверх, вниз... Он быстро пробегает по ним, перелистывает дальше, время от времени задерживается... у него удивленное лицо... у него недовольное лицо... он закрывает тетрадь, возвращает ее мне и говорит: «Прежде чем приниматься за писание романа, следует выучить орфографию...»

Я унесла тетрадь к себе в комнату, не знаю, что я с нею сделала, во всяком случае, она исчезла, больше я не написала ни строчки...

— Это один из тех редких эпизодов твоего детства, о которых тебе случалось говорить много лет спустя...

— Да, чтобы ответить, чтобы объяснить тем, кто меня спрашивал, почему я так долго выжидала, прежде чем начать «писать»... Это было так удобно, вряд ли можно найти что-нибудь более убедительное — такая великолепная «травма детства»...

— Сама-то ты в это верила?

— Да, все-таки верила... уступая. Из лени. Ведь ты прекрасно знаешь, до послед-

него времени у меня не возникало никакого желания восстановить события моего детства. Но теперь, когда я стараюсь воскресить как могу эти мгновения, больше всего меня удивляет, что в общем в них нет ни обиды, ни озлобления против «дяди».

— А должно быть, однако... Он был так груб...

— Конечно. Но обида, наверное, быстро улетучилась, и поэтому мне удается вспомнить прежде всего чувство избавления... нечто похожее испытываешь после какой-нибудь операции — прижигания, удаления, это очень болезненно, но необходимо, благотворно...

— Вряд ли ты так воспринимала это тогда...

— Конечно, нет. Я не могла относиться к этому так, как сейчас, когда заставляю себя сделать усилие... на которое не была тогда способна... когда пытаюсь углубиться, добраться, ухватить, вылущить то, что осталось там погребенным.

Я у себя в комнате, сижу за столиком перед окном. Я пишу слова, обмакивая перо в красные чернила... я прекрасно понимаю, что они не такие, как настоящие слова в книгах... они будто изуродованы слегка, покалечены... Вот одно, расхлябанное, неуверенное, я должна его поставить... может, здесь... нет, там... сама не знаю... должно быть, я все-таки ошиблась... что-то оно не очень вяжется с другими, со словами, живущими вовне... я отправилась за ними далеко и притащила к себе, но не знаю, что им подходит, мне неведомы их привычки...

У моих домашних слов, слов надежных, хорошо мне знакомых, которые я расставляю то тут, то там, среди всех этих чужаков, какой-то неловкий, принужденный, немножко смешной вид... точно у людей, перенесенных в незнакомую страну, в общество, чьи обычаи им неведомы, и они не понимают, как себя вести, даже не понимают, кто они на самом деле.

Я тоже заплуталась, блуждаю в краю, где никогда не жила... мне совсем незнаком этот бледный юноша со светлыми кудрями, лежащий подле окна с видом на горы Кавказа... Он кашляет, и на платке, который он подносит к губам,— кровь... Ему не дожить до первых дуновений весны... Никогда, ни на мгновение я не была близка с этой кавказской княжной в красной бархатной шапочке с длинной белой вуалью... Она похищена джигитом, затянутым в черную черкеску... газыри оттопыриваются на его груди... я пытаюсь догнать беглецов, когда они мчатся на скакуне... «огневом»... я накидываю на него это слово... слово, в котором ощущаю что-то странное, немного тревожное, но ничего не поделаешь... огневой скакун несет их через ущелья, теснины... они шепчут любовные клятвы... только это им сейчас и нужно... она прижимается к нему... ее черные волосы под белой вуалью ниспадают волной до осиной талии...

Мне не слишком уютно рядом с ними, они смущают меня... но пусть будет так, я должна принять их возможно лучше, они должны жить здесь... в романе... в моем романе, я пишу роман, и я тоже должна остаться с ними здесь... мне не уйти от этого юноши, который умрет весной, от княжны, похищенной джигитом... и еще от этой старой колдуньи с седыми свисающими космами, с крючковатыми пальцами, которая, сидя у огня, предсказывает им... и от всех других, возникающих передо мной...

Я тянусь к ним... я пытаюсь с помощью своих слабых, сомневающихся слов придвинуться к ним ближе, совсем близко, пощупать их, ухватить... Но они негнущиеся, гладкие, отполированные... точно вырезанные из блестящего листового металла... как я ни стараюсь, ничего не выходит, они остаются все такими же, их скользкие поверхности мерцают, искрятся... они точно заколдованы.

И меня тоже будто сглазили, заворожили, я заперта здесь с ними, в этом романе, мне никак не выбраться из него...

И вот эти волшебные слова... «Прежде чем приниматься за писание романа, следует выучить орфографию»... рушат чары и освобождают меня.

Как я ни сжимаюсь, ни сворачиваюсь в клубочек, ни прячусь с головой под одеяло, страх, страх, равного которому я, по-моему, больше никогда не испытывала,

проникает, просачивается в меня... Он идет оттуда... мне нет нужды и смотреть вокруг, я чувствую, что он здесь, повсюду... он окрашивает свет в свой зеленоватый оттенок... я знаю — это он, тот путь меж остроконечных, несгибающихся темных деревьев с мертвенно-бледными стволами... это он — вереница призраков, облаченных в длинные белые одеяния, приближающаяся мрачной чередой к серым плитам... он колеблется в пламени высоких тусклых свечей у них в руках... распространяется вокруг, наполняет комнату... Я хотела бы удрать от него, но мне не хватает храбрости пересечь налитое им пространство, отделяющее мою кровать от двери.

Наконец мне удается на миг высунуть голову из-под одеяла и подать голос... Приходят... «Ну, что еще? — Забыли накрыть картину.— Действительно. Сумасшедший ребенок...— Берут первую попавшуюся гряпку — полотенце, что-то из одежды — и набрасывают на раму...— Ну вот, теперь ничего не видно... Ты больше не боишься? — Нет, не боюсь». Я могу растянуться в постели, положить голову на подушку, расслабиться... Могу смотреть на стену слева от окна... Страх исчез.

Кто-то из взрослых с непринужденным, беззаботным видом, с бесстрастным взглядом фокусника одним мановением руки прогнал его.

Какая она красивая... я не могу оторваться, я крепче сжимаю мамину руку, я удерживаю ее, чтобы остаться тут еще на несколько минут, чтобы подольше рассматривать эту голову в витрине... созерцать ее...

— Трудно восстановить, чем именно так заворожила тебя эта кукла из парикмахерской.

— Да, что-то не выходит. Я вижу только ее лицо, довольно расплывчатое, гладкое и розовое... лучащееся... словно освещенное изнутри... и еще гордый изгиб ноздрей, губ, приподнимающихся в уголках... Я помню только свое восхищение... все в ней было красиво. Красота заключалась именно в ней. Именно это значило быть красивой.

Я ощущаю внезапно какое-то смущение, легкую боль... будто где-то внутри себя я обо что-то ударилась, что-то меня задело... оно вырисовывается, принимает форму... форму очень четкую: «Она красивее мамы».

— Откуда это вдруг?

— Мне случалось позднее думать об этой минуте, и долгое время мне было достаточно...

— Признайся, если и случалось, то нечасто...

— Да, правда. И я никогда долго на этом не задерживалась... я смутно представляла себе, что важность, которую я, казалось, придавала понятию «красота», исходила, скорее всего, от мамы. Кто, кроме нее, мог мне это привить? Я была под таким сильным ее влиянием... Она, вероятно, подвела меня к этому... ничего не требуя... она, конечно, склонила меня — так что я не отдавала себе в этом отчета — считать ее очень красивой, несравненной красавицей... Отсюда и мое смущение, неловкость...

Но теперь, как я ни стараюсь, мне не удается уловить никаких маминых рассуждений о «красоте», разве что по поводу моей тети: «Анюта — настоящая красавица», или еще в разговоре об одной приятельнице, имя и лицо которой совершенно стерлись из моей памяти. «Она очень красивая»,— но неизменно в тоне спокойной констатации. Безразлично. Как о чем-то ее не касающемся.

Я не могу сейчас воскресить в своей памяти, как она глядится в зеркало, пудрится... только быстрый взгляд, который она бросала вскользь на свое отражение, и торопливый жест, чтобы заправить прядь, выбившуюся из прически, воткнуть в пучок торчащую шпильку.

Ее, казалось, вовсе не заботила внешность... она была как бы вовне... Вне всего этого.

— Да. Или далеко...

— Вот-вот — далеко. Вдали от каких бы то ни было возможных сравнений. Ни хвала, ни хула словно не могли ее затронуть. Такой она мне виделась.

Глядя на нее, я часто находила ее очаровательной и думала, что так же видят ее и многие другие, иногда я ловила это в глазах прохожих, лавочников, друзей и, разумеется, Коли. Мне нравились черты ее лица — тонкие, легкие, словно размытые... не нахожу другого слова... под золотистой, розовеющей кожей, мягкой и шелковистой на ощупь, шелковистей шелка, теплее и нежнее перышек птенчика, его пуха... В изгибе, идущем от ее слегка выпуклых век к скулам, довольно высоким, была та чистота, та непорочность, которая отличает иногда эту линию у детей. Глаза у нее, того же золотисто-карего оттенка, что и гладкие, шелковистые волосы, были небольшие, чуть неправильной формы... Когда что-нибудь ее удивляло, одна из бровей, мне кажется — левая, поднималась выше другой, напоминая по форме перевернутую галочку. Взгляд у мамы был какой-то необычный... иногда твердый и жесткий, а иногда — живой, наивный... Часто как бы отсутствующий...

— Может, потому, что она плохо видела...

— Да нет, в ней действительно была некая отрешенность, которая делала ее временами совсем недоступной. Даже для Коли... и это его раздражало... «О чем ты думаешь? Ты не слушаешь...»

Так или иначе, сейчас я ясно вижу, что никогда не задавалась вопросом, красива ли мама. Мне и теперь непонятно, что побудило меня в тот день завладеть этим «она красивая», так ловко упрятанным в кукле из парикмахерской, казалось, специально для нее сотворенным, и перенести это нечто, попробовать насадить его и на мамину голову. Я, впрочем, не сохранила никаких воспоминаний об этой операции, хотя, очевидно, и осуществила ее... осталось только сопровождавшее ее чувство неловкости, легкой боли и последний ее этап, завершение, когда я увидела... и как не увидеть?.. это бросается в глаза, это бесспорно, это именно так. Она красивее мамы.

Теперь, когда оно уже во мне, и речи быть не может, чтоб я утаила его от мамы, я не могу так от нее отдалиться, замкнуться, запереться наедине с этим, я не могу нести все одна, это ведь ее, это наше общее достояние... если я скрою это, зажав в себе, оно вырастет, отяжелеет, будет давить все сильнее и сильнее, мне необходимо открыться ей, я просто покажу ей... как показываю царапину, занозу, шишку... посмотри, мама, что тут у меня, что я себе сделала... «Я считаю, что она красивее тебя»... и мама наклонится, подует, похлопает, подумаешь, пустяки какие, право, и вытащит осторожно, как занозу, или приложит монету, вынув ее из сумки, как к шишке, чтобы она не росла... «Ну и что, глупышка, конечно, она красивее меня...» и это перестанет причинять мне боль, исчезнет, мы пойдем дальше, держась за руки...

Но мама отпускает мою руку или сжимает ее не так крепко, она смотрит на меня недовольно и произносит: «Ребенок, который любит свою мать, не может считать, что кто-то красивее ее».

Не помню, как мы вернулись домой... может, мы молчали, а может, даже продолжали разговаривать как ни в чем не бывало. Я несла в себе то, что она в меня заронила... хорошо упакованный сверток... И только дома, когда я останусь одна, я разверну его, чтобы рассмотреть, что там внутри...

— Вот из-за этой своей привычки никогда сразу не открывать такие свертки, а выжидать, когда можно будет на свободе изучить их содержимое, и получается, возможно, что парировать ты вовремя не умеешь, что ты «задним умом крепка».

— Безусловно. Но в данном случае, будь я даже скора на язык, вряд ли можно было тогда парировать такой удар...

— Вполне вероятно, что она просто неточно выразилась. Она наверняка хотела сказать: «Ребенок, который любит свою мать, никогда ее ни с кем не сравнивает»

— Вот именно — ребенок, который любит свою мать, не наблюдает ее со стороны, ему не приходит в голову ее судить...

— Ее, видимо, раздосадовало и то, что ты извлекла ее оттуда, где она находилась... вне, вдалеке... и втолкнула туда, где сравнивают, сопоставляют, определяют

место... она ни с кем не мерилась и нигде не хотела иметь предназначенное именно ей место.

— Нет, различить такое я была не способна, слова, которые она употребила, всё замаскировали. Она сказала: «Ребенок, который любит свою мать, не может считать, что кто-то красивее ее» И именно эти слова звучали в моих ушах, они засели во мне... Ребенок. Просто ребенок. Да, один ребенок среди многих, ребенок, как все другие дети. Ребенок, полный чувств, которые есть у всех нормальных детей, ребенок, который любит свою мать... Какой ребенок не любит свою мать? Где такое видано? Нигде. Это был бы не ребенок, а чудовище. Или она была бы не настоящей матерью, а мачехой. Следовательно, ребенок, такой, как все дети, такой, какими должны быть все дети, любит свою мать. И в таком случае считает ее красивей всех на свете. Именно любовь заставляет его видеть свою мать такой красивой... самой красивой .. А я, это очевидно, ее не люблю, коль считаю, что кукла из парикмахерской красивее.

Но разве такое возможно? И так ли это? Действительно ли я в конечном итоге считаю... В самом ли деле она красивее? Правда красивее? Надо рассмотреть еще раз... Я вызываю в памяти розовое, лучащееся лицо куклы... разглядываю каждую его черточку в отдельности... ничего не поделаешь, это не в моей власти, в ней нет ничего, что не было бы красивым, это и значит — быть красивой... а мама... я хорошо вижу ее тонкое лицо, шелковистую, золотистую кожу... то, что излучает ее взгляд... но нет никакой возможности не увидеть, что уши у нее недостаточно маленькие, мочки слишком длинные, линия губ слишком прямая, глаза небольшие, ресницы довольно короткие, волосы прямые... «красивая» прилегает к маме не повсюду, неплотно, вот здесь отстает, и тут тоже, как ни старайся, ничего не поделаешь, это бросается в глаза: мама не такая красивая.

Теперь эта мысль засела во мне, и уже не в моей власти ее изгнать. Я могу через силу оттеснить ее на второй план, заместить ее другой мыслью, но только ненадолго... она здесь, забилась в уголок и готова в любую минуту выскочить, разметать все перед собой, захватить все пространство... Кажется, что, отталкивая, чересчур сжимая ее, только увеличиваешь этот напор. Она доказательство, символ того, что есть я: ребенок, который не любит свою мать. Ребенок, который несет в себе нечто отделяющее, отстраняющее его от прочих детей... детей легких, беспечных, которые смеются, кричат, бегают друг с другом наперегонки, скачут в саду, в сквере... а я — в стороне. Наедине с тем, о чем никто не догадывается, во что никто, даже узнай он об этом, не смог бы поверить.

Я уже не пытаюсь бороться, снова и снова представлять себе лицо в витрине, сравнивать его с маминым... я знаю — это только укрепляет во мне мысль...

К тому же кукла сама по себе стерлась из памяти, унося с собой мысль, которую вызвала... Но место тотчас было занято... другая подобная же мысль заместила ее. Возможно, именно она, моя новая мысль, и вытеснила ее...

Меня уже не по́лнят, как прежде, как всех других, настоящих детей, живые, быстрые, прозрачные воды, подобные водам горных рек, стремительных потоков, теперь это стоячие, грязные затхлые воды прудов... рассадник комаров. Можешь не твердить, что тогда я была не способна на подобные образы... во всяком случае, они довольно точно передают то, что я ощущала в своем жалком состоянии.

Мысли налетают, когда им вздумается, и кусают, гляди, вон, летит... крохотное жало впивается, мне больно... «У мамы кожа как у обезьяны».

Вот какие они теперь, мои мысли,— позволяют себе все, что им вздумается. Я гляжу на мамино декольте, на ее обнаженные золотистые, загорелые руки, и вдруг во мне какой-то чертик, лукавый бесенок, что-то вроде «домового», выкидывающего всякие шутки, выпаливает прямо в меня: «У мамы кожа как у обезьяны». Я хочу все стереть, уничтожить... неправда, я так не думаю... это подумала не я. Но ничего не поделаешь, шерсть обезьяны, которую я видела в клетке зоологического сада, сама не знаю как расположилась на маминой шее, руках, и вот родилась эта мысль... мне от нее больно...

Я зову маму на помощь, она должна мне помочь... «Знаешь, мама, мне пришла теперь другая мысль...— У нее тотчас делается раздраженный вид...— Ну, что еще? — Понимаешь, я думаю... что у тебя... кожа как у обезьяны...» Сейчас она посмотрит,

что у меня там, что во мне выросло помимо моего желания, мы посмотрим вместе... как смешно, нелепо... над этим можно только посмеяться, она расхохочется своим заразительным смехом. от которого я всегда тоже начинаю хохотать, и мы обе посмеемся, и мысль уйдет туда, откуда пришла... туда, где родилась... куда-то вне меня, в неведомое мне место... Или мама скажет: «Ну что ж, я в восторге. Помнишь, какими прелестными были эти обезьянки».

— Ты это придумала сейчас...

— Разумеется... но я ждала, не представляя себе, чего именно, чего-то подобного... что сразу принесло бы мне облегчение... А мама презрительно смеется и говорит: «Что ж, благодарю тебя... как любезно, дальше некуда...» Думаю, я никогда — ни до, ни даже после этого — не ощущала себя такой одинокой. Мне неоткуда и не от кого было ждать помощи... Отдана без всякой защиты на произвол «мыслей». Им есть где разгуляться, они могут вытворять все что угодно — резвиться, аукаться и призывать к себе мысли другие... все они неопровержимо доказывали собой, своим присутствием, что я не тот ребенок, который любит свою мать. Что я не такая, какими должны быть дети.

Зло сидит во мне. Зло избрало меня, потому что находило во мне необходимую пищу. Оно никогда не могло бы жить в здоровой и чистой душе, которой обладают нормальные дети.

Когда я сижу надувшись где-нибудь в углу и мама спрашивает меня... но, может, я нарочно выставляю напоказ свое настроение, чтобы она это заметила и спросила... «Ну что еще? Почему ты не играешь? Не читаешь?» Я отвечаю только... но уж и это приносит облегчение: «У меня мои мысли».

Как говорят: «У меня мои болячки, у меня моя мигрень», но с той разницей, что это болезнь постыдная, болезнь тайная, известная ей одной. Ни с кем другим этим секретом не поделишься.

Я уже не припомню всех этих безумных, нелепых мыслей, селившихся во мне... разве что последнюю, которая, к счастью, появилась совсем незадолго до моего отъезда, моего расставания с матерью, резко положившего конец тому, что, разрастаясь, грозило превратиться в настоящую манию...

Последняя моя мысль намного превосходила все остальные своей жестокостью... Должно быть, она протиснулась в меня как-то вечером, когда я сидела на кухне, играя, наверное, как всегда, в квартет писателей. Я услышала, как Гаша сказала, не называя имени: «Она»... а я знала, что Гашино «она» обозначает маму... «Она» очень хорошая в общем-то, никогда не кричит, вежливая, да и насчет еды нельзя пожаловаться, только вот мясо... ты видела эти куски?..» и потом они втроем заговорили о чем-то другом, и слова Гаши просто прошли через мою голову, не оставив заметного следа... Но вот за столом, когда Гаша протянула, как всегда, свою тарелку маме, чтобы та положила на нее мясо, предназначавшееся для «кухни», я увидела... я не посмела поднять глаза на Гашу, я боялась перехватить ее взгляд, направленный на тарелку, куда мама клала... да, да именно так... куски были меньше остальных, на них было больше сала... И тотчас возникла «мысль»: мама Гашу плохо кормит... а Гаша такая бледная... и вообще прислугу...

Но такую мысль я уже не посмела бы открыть даже маме. Я уже не могу, если она спросит, ответить: у меня опять мои мысли... в надежде, что она окажется в хорошем настроении и скажет мне: ну, какие, скажи? и я смогла бы ей показать... Она удивилась бы: кто тебе это внушил? Она бы заподозрила, даже если бы я скрыла... а я не могу ничего скрыть от мамы... она поняла бы, что это Гаша...

И, как всегда, мне недостает сил признать и принять правду. Наши обеды, когда мама выбирает из разрезанного мяса куски для прислуги, превращаются в пытку. «Мама скупая». «Мама неблагодарная». «Мама мелочная»... мысль наготове... она тут как тут, выжидает... а я стараюсь ее сдержать... еще минута... надо посмотреть... ах, какое счастье... мама, поглощенная разговором, взяла два куска, ничем не отличающихся от оставшихся на блюде, я осмеливаюсь взглянуть на Гашину тарелку, я сама не своя от радости... побежденная мысль отступает... Я чувствую, как по всему моему существу растекается сладость, прохлада умиротворения... мама и раньше тоже не думала о том, что делает, она так часто бывает рассеянна... мелочность! — нет, на маму это не похоже, Гаша просто ее не знает...

Но вот опять обед, мысль возвращается, бродит вокруг, подстерегает... мне страшно... я пытаюсь помешать ей войти в себя, отвожу глаза, но что-то меня толкает, я должна видеть... Мамина вилка приближается к кусочку жаркого, маленькому, поменьше других, и еще к одному, лежащему рядом, их она накалывает, приподнимает, кладет в тарелку, протянутую Гашей... Я не смотрю на лицо Гаши... пусть на нем нет даже тени улыбки, я все равно знаю, что она думает... и я думаю как она. Но моя мысль рвет меня на части, пожирает меня... и если отпускает, то ненадолго, она вернется, она всегда рядом, начеку, готовая выскочить в любую минуту, стоит нам только сесть за стол.

Я сижу на краю кровати, спиной к окну, у меня на коленях стоит мой лучший товарищ, мой наперсник, мой золотистый плюшевый мишка, такой мягкий, податливый, я пересказываю ему то, что сказала мне минуту назад мама... «Знаешь, мы скоро вернемся в Париж, к папе... мы поедем раньше, чем обычно... и там, представляешь, там у нас будет другая мама...»

Тогда мама, которая здесь, рядом, и слышит меня, сердито говорит: «Что еще за глупости? Какая другая мама? другой мамы не бывает. У тебя одна мама на свете». Не знаю, произнесла ли она все эти слова или только последние из них, но я и сейчас ощущаю непривычный пафос в ее тоне, от которого я немею, словно обращаюсь в камень.

Я не помню никаких приготовлений к отъезду... мне известно, что мама и Коля тоже должны уехать, как только мама вернется. Коля написал толстую книгу по истории Австро-Венгрии, и его пригласили на несколько месяцев в Будапешт... слово, которое я то и дело слышала в ту пору.

Сообщение об отъезде меня не огорчило. Я привыкла к путешествиям туда-сюда и была, как всегда, рада снова увидеть папу, Люксембургский сад... и милую даму, которая танцевала со мной и сидела рядом на скамье в ту самую минуту... когда это произошло... когда это наполнило меня, излучаясь отовсюду — из света, из низкой кирпичной ограды, шпалер, цветущих каштанов... иногда это еще возвращалось ко мне...

Я забыла свое прощание с Гашей, наверное душераздирающее... но, как ни странно, у меня осталась в памяти последняя минута, когда я вернулась, чтобы поцеловать Колю, поглощенного своим писанием, заваленного бумагами... когда я обнюхала его, точно щенок, чтобы лучше запомнить... удержать его запах табака и одеколона, и когда я поглядела еще раз на форму его ногтей, на его пальцы.. мне казалось, что именно они источают то, что наполняет его и даже чуть раздувает,— его милоту, добродушие.

Легко представить себе бесконечные белые равнины — дело было в феврале,— по которым мы ехали, деревянные избы, белые стволы берез, ели под снегом... я все, конечно, видела... но эта картина смешивается со многими ей подобными, а чего ни с чем не спутаешь — это маму, сидящую напротив меня у окна, и ее жест, когда, протянув руку, она вытирает своим уже мокрым платком мое лицо, залитое слезами, и повторяет: «Ну, не надо, дорогая, не надо, деточка, кисонька.. не надо...»

Временами мое отчаяние утихает, я начинаю дремать. Или развлекаюсь тем, что скандирую в такт колесам все те же два слова... рожденные, вероятно, залитой солнечным светом равниной, которую я вижу в окно... французское слово «soleil» и русское «солнце», где «л» почти не произносится, я выговариваю то «солн-це», сложив и вытянув вперед губы, упираясь кончиком изогнутого языка в передние зубы, то «со-лей», растягивая губы и едва касаясь зубов языком. И снова «солн-це». И снова «со-лей». Отупляющая игра, которую я никак не могу оборвать. Она обрывается сама собой, и опять текут слезы.

— Странно, что именно в тот отъезд ты впервые ощутила такое отчаяние... Словно предчувствовала...

— Или мама сама...

— Да, возможно, что-то в ней заставило тебя ощутить, что этот отъезд был каким-то другим...

— Я с трудом могу поверить, именно с трудом, с болью, что уже тогда она предвидела... Нет, невероятно, чтоб она намеренно стремилась оставить меня у отца.

— Не достаточно ли того, что стоял февраль, и ты знала, что разлука будет более долгой, чем обычно, ведь на этот раз ты проведешь у отца больше двух месяцев, до конца лета.

Я отлично помню вокзальчик среди мерцающего снега, мы ждем в зале с широкими светлыми окнами, униформа служащих изменилась, я знала, что мы на границе.

И потом Берлин. Просторная темноватая комната, у одной стены стоят две кровати, прикрытые огромными красными перинами, у другой — кресла и круглый стол... мама сидит за этим столом с незнакомым «дядей»... мама сказала, что это один из друзей ее юности, еще с тех времен, когда она училась в Женеве, и близкий друг моего отца. Она поручит меня ему, и мы с ним вместе поедем в Париж. У него мягкое и тонкое лицо, совсем серое, усеянное маленькими ямочками, как после оспы... кончик носа острый, точно обгрызенный...

Мама беседует с ним тихим голосом, а я уже придумала себе замечательную игру: одетая в длинную ночную рубашку, я прыгаю обеими ногами с одной кровати на другую, между кроватями довольно широкий проход, нужно как следует рассчитать и, шлеп, плюхнуться на другую постель, утонуть в огромной перине, с шумом и победным криком покатиться по ней...

Мама говорит: «Перестань, ты нам мешаешь... завтра мы с тобой расстанемся, не с чего так веселиться». Я тут же успокаиваюсь, растягиваюсь на одной из кроватей. Слышу, как мама произносит с чрезвычайно изумленным видом: «В самом деле? она...» Я не разбираю слова, которое за этим следует...

Когда мы остаемся наедине, я спрашиваю маму: «Что тебе сказал дядя?.. Ты так удивилась...— О, да я не помню.— Нет, помнишь, скажи. Ты сказала: она... Кто это — она?» Мама колеблется, но потом говорит: «Она — это Вера, жена твоего отца.— И что она? — Ничего...— Нет, ты должна мне сказать: что она?» У мамы лицо, будто она подумала о чем-то забавном... «Ну, если уж ты так хочешь знать, он сказал мне, что она дура».

От следующего дня у меня остался в памяти только темно-серый перрон, ужасные свистки, мама, прильнувшая к окну медленно уходящего поезда, и я, вся в слезах, с воплем бегущая вдоль платформы, и дядя, бегущий вслед за мной, чтобы меня поймать, дядя, который берет меня за руку и отводит, уж не помню куда, должно быть, в другой поезд, отправляющийся в противоположную сторону. Мне кажется, я только и делала, что плакала, до самого прибытия в Париж, на Северный вокзал, желтоватый сумрак и огромные стеклянные своды которого впервые кажутся мне мрачными.

Не знаю уж, встречал ли нас кто-нибудь, помню только папу в унылой и как бы не совсем обжитой квартирке на улице Маргерэн... и странную встречу с ним, совершенно иную, чем всегда... чуть прохладную, словно взвешенную... и молодую женщину... «Ты узнала Веру? ты помнишь ее?» Я говорю «да», но с трудом узнаю ту молоденькую женщину с круглыми розовыми щеками, такую стройную и подвижную в мужском костюме, с выбивающимися из-под котелка локонами, которая крутила, подхватывала меня, валилась вместе со мной на диван, задыхаясь, обмахиваясь носовым платком, заливаясь смехом... она совсем не была похожа на эту даму с закрученными по обе стороны головы, аккуратно уложенными волосами, так что ни одна прядка не выбивается, с вытянутым очень бледным лицом, с тонкими, ниточкой, губами, растягивающимися словно бы в улыбке, торчащими вперед нижними зубами, которые заслоняют верхние зубы, в ее совсем светлых, прозрачных глазах есть что-

то... ничего похожего не было в еще более светлых и прозрачных глазах Гаши... да, такого я прежде ни у кого не замечала... какой-то внушающий беспокойство блеск...

Я живу здесь, как и в Петербурге, в комнатке с окнами на улицу. Снаружи уже нет ни серебристого света, ни широких просторов льда чуть поодаль, ни мерцающего снега... свет грязноватый, замкнутый рядами невысоких домов со стертыми фасадами...

— Мертвыми, следовало бы тебе сказать, не опасаясь впасть в преувеличение.

— Да, безжизненными. Странно, но когда я жила на улице Флаттер, те же самые дома казались мне живыми, в их желтовато-серой бесцветности я чувствовала себя защищенной, она мягко обволакивала меня... и через них лежал путь к веселью, к беспечности Люксембургского сада, где воздух светился и дрожал.

Здесь эти узкие улочки вели к парку Монсури. Уже само это название казалось мне уродливым, скука пропитывала просторные лужайки парка, окаймленные арочками, будто специально поставленными здесь, чтобы напомнить о настоящих лугах и породить в вас тоску по ним, временами душераздирающую... согласись, это не чересчур сильное слово.

Сюда я ходила притворяться, будто развлекаюсь подле Веры куличиками и серсо, или бегала по посыпанным гравием аллеям, окаймленным арочками. Даже карусель не привлекала меня.

Мои вечера, после того как я укладывалась в кровать, были посвящены маме, я плакала, вытащив из-под подушки ее фотографию, где она сидела рядом с Колей, целовала ее и говорила, что не могу больше жить вдали от нее, пусть она поскорее за мной приедет...

У нас с мамой был уговор, что, если мне будет хорошо, я напишу ей: «Мне здесь очень хорошо», подчеркнув «очень». А если не будет, то просто: «Мне хорошо». И однажды я решилась написать ей это в конце письма... у меня уже не было сил ждать еще несколько месяцев, до сентября, пусть она приедет и заберет меня. Итак, я написала ей: «Мне здесь хорошо».

Некоторое время спустя отец позвал меня к себе. Я видела его совсем редко. Он уходил утром, около семи, когда я еще спала, и возвращался вечером очень усталый, озабоченный, и ужин часто проходил в молчании. Вера говорила очень мало. Слова, которые она роняла, всегда были короткими, гласные в них были как бы стиснуты между согласными, будто для того, чтобы каждое из слов занимало меньше места. Даже мое имя она произносила почти без «а». В результате получался звук, или точнее странный шорох — Нт'ш...

После ужина, я чувствовала это, отцу хотелось, чтобы я пошла спать... Да я и сама предпочитала уходить к себе в комнату...

— Там ты не только плакала...

— Нет, не только, я, вероятно, и читала, как всегда... Я вспоминаю книгу Майн Рида, подаренную мне отцом. Он любил ее, когда был маленьким... мне она не показалась такой уж интересной... может, я еще не доросла до нее... мне было восемь с половиной... я убегала от длинного описания прерий к спасительным тире, которыми открывались диалоги.

Итак, через несколько дней после того, как я отправила маме это письмо, отец задерживает меня после ужина и уводит в свой кабинет, куда вела из столовой застекленная дверь... Он говорит мне: ты написала маме, что тебе здесь плохо. Я ошарашена: откуда ты знаешь? — Я получил письмо от твоей матери. Она упрекает меня, пишет, что мы тобой не занимаемся как следует, что ты жалуешься...

Я в изумлении, в ужасе от подобного предательства. У меня, значит, нет на всем свете никого, кому я могу довериться. Мама и не думала приехать и выручить меня, она хочет только, чтобы я здесь осталась и не чувствовала себя при этом такой несчастной. Никогда я не смогу ей довериться. Никогда никому я не смогу довериться. На моем лице, вероятно, выразилось такое огромное, такое глубокое отчаяние, что внезапно отец, забыв о сдержанности, отчужденности, которые он неизменно выказывает здесь по отношению ко мне, сжимает меня в объятиях крепче,

чем сжимал когда-то даже в былые времена... он вытаскивает свой носовой платок, с нежной, словно дрожащей неловкостью вытирает мои слезы, и мне кажется, что я вижу слезы у него на глазах. Он говорит мне только: «Иди спать, не горюй...— Он часто употреблял эти слова в разговоре со мной...— ничто того не стоит... увидишь, в жизни рано или поздно все образуется...»

В эту минуту и навсегда, вопреки и в противовес всем внешним проявлениям, нас обоих связала нить, невидимая, но нерушимая... Не знаю, что именно чувствовал отец, но я, совсем маленькая, мне не было и девяти лет, я, без сомнения, вдруг и сразу ощутила вместе все то, что потом, на протяжении долгих лет, мало-помалу раскрывалось... все мои отношения с отцом, с матерью, с Верой, их отношения между собой были не более чем раскручиванием того, что было скручено здесь.

Мы проводим июль в семейном пансионе в Медоне, чтобы отец, который пытается сейчас основать в Ванве небольшую фабрику по производству тех же химических товаров, что выпускала его фабрика в Иваново-Вознесенске, мог приезжать к нам каждый вечер. Дом расположен в большом парке без лужаек, усеянном сосновыми иглами и засаженном высокими темными деревьями. В столовой за соседний стол садится мужчина с отечным и бледным лицом, которого напомнит мне позднее актер, игравший убийцу в немецком фильме «М». Стоит мне взглянуть на него, он впивается в меня своими сверкающими глазами, точно хочет напугать. У него неподвижный, лишенный всякого выражения взгляд, как у хищников.

Вера все больше худеет, лицо у нее совсем желтое, живот торчит вперед, я узнаю, не помню уж как, что она ждет ребенка. И однажды утром, вскоре после нашего возвращения в Париж, отец, который не пошел на работу, говорит мне, что Вера со вчерашнего дня в клинике, она родила маленькую девочку, сестренку для меня... я ее увижу, как только Вера почувствует себя лучше, она ужасно мучилась, и девочка еще очень слаба.

Мы идем по унылой улице, длинной, как ее название — Верцин-ге-то-рикс, и наконец добираемся до клиники. Вера мило мне улыбается, возле ее кровати я вижу в колыбели крошечное существо, уродливое, красно-лиловое, с огромным вопящим ртом, похоже, оно кричит день и ночь почти до удушья. Вид у Веры встревоженный; положив руку на край колыбели, она покачивает ее. Мне говорят, чтобы я поцеловала младенца, но я боюсь к нему прикоснуться; наконец, я решаюсь дотронуться губами до сморщенного лобика, который грозит треснуть от пронзительного крика... Как ее назовут? — Елена... в память о девочке, родившейся тремя годами раньше меня и умершей от скарлатины до того, как я появилась на свет. Я видела ее фотографию в Иванове. Ее держала на руках кормилица в высоком чепце, расшитом жемчугом... Девочка походила на маму, но глаза у нее были огромные и словно наполненные удивлением... Мне говорили, что папа сам ухаживал за ней, баюкал, держа на руках, и ее смерть так потрясла его, что он заболел от горя.

— Он в самом деле безмерно страдал после ее смерти, но заболел потому, что подхватил от нее скарлатину.

— Теперь я это знаю, но тогда мне говорили по-другому и я в это верила...

За несколько дней до возвращения домой Веры с младенцем я с удивлением заметила, что принадлежащих мне вещей уже нет в моей довольно просторной и смотрящей на улицу комнате. Высокая толстая женщина, занимающаяся всем в доме, сообщает мне, что теперь я буду жить в комнатке, которая выходит во двор, рядом с кухней... «А кто будет жить в моей комнате? — Твоя сестричка с няней...— С какой няней? — Она скоро придет...»

Позаботься кто-нибудь объяснить мне, что в моей новой комнате просто не могут поместиться ребенок и взрослый, что нет никакого другого выхода, я, думаю, поняла бы. Но меня так грубо вышвырнули из комнаты, которая стала уже для меня «моей комнатой», и бросили сюда, в этот, как мне казалось, мрачный чулан, где прежде никто не жил, что я по вполне понятным причинам ощутила себя обиженной, несправедливо обойденной в своих правах. И тут эта добрая женщина, которая пе-

реносила мои вещи, остановилась передо мной — я сидела на кровати в своей новой комнате,— посмотрела на меня с глубокой жалостью и сказала: «Вот уж горе, когда нет матери».

«Вот уж горе!»... слова воистину бьют хлыстом. Плети обвиваются вокруг меня, стягивают... Вот, значит, она, эта ужасная вещь, самая ужасная из всех, которая проступает наружу с припухших от слез лиц, с черных вуалей, из стонов отчаяния... «горе», никогда ко мне не приближавшееся, никогда меня не касавшееся, обрушилось на меня. Эта женщина его видит. Я в нем. В горе. Как и все, у кого нет матери. Значит, у меня ее нет. Это так, у меня нет матери. Но как это может быть? Как это могло случиться со мной? То, от чего лились мои слезы, которые мама вытирала рукой, спокойно приговаривая: «Не надо...» — могла ли бы она говорить так, если бы это было «горе»?

Я вынимаю из деревянной разрисованной шкатулки мамины письма, они пестрят нежными словами, она поминает в них о «нашей любви», «нашей разлуке», совершенно очевидно, что мы разлучены невзаправду, не навек... И это — горе? Мои родители — они-то лучше знают — поразились бы, услышь они это слово... папа был бы раздосадован, рассержен... он не выносит громких слов. А мама сказала бы: «Да, конечно,— горе, когда любишь друг друга, как мы с тобой... но не настоящее горе... наша «печальная разлука»,— как она ее называет,— будет недолгой...» Разве это горе? Нет, быть не может. И однако, эта женщина, такая твердая, такая крепкая, видит его. Она видит горе на мне, как видит «два глаза на моей лице». Остальные этого не знают, они заняты своими делами. Но она-то наблюдает за мной, вот она и обнаружила его, это оно и есть: горе, обрушивающееся на детей в книгах, в «Без семьи», в «Дэвиде Копперфильде». Такое же горе набросилось на меня, сдавило и держит.

Некоторое время я не двигаюсь, съежившись на краю кровати... А потом все во мне возмущается, восстает, изо всех сил я отталкиваю это от себя, разрываю, срываю этот ошейник, панцирь. Нет, я не останусь в том, во что заточила меня эта женщина... она ничего не знает, она не может понять.

— Ты тогда впервые была так поймана словом?

— Не помню, чтобы такое случалось со мной раньше. Но зато сколько раз, потом, я в ужасе убегала от слов, которые обрушиваются на вас и замыкают в себе.

— Даже слово «счастье» — всякий раз, когда оно было уже рядом, наготове, готовилось приземлиться,— ты старалась отвести его... Нет, только не это, ни одно из таких слов, я их боюсь, лучше обойтись без них, пусть не приближаются, пусть ничего не трогают... здесь, у меня, нет для них места.

Улочки с унылыми домами, улица дю Луан, улица дю Люнэн, улица Маргерэн...

— А ведь как прелестны эти названья, когда ты вслушиваешься в них сейчас...

— Когда я силюсь уловить тонкий, легкий звук, который, должно быть, чудится в них туристу... Или кому-нибудь из тех, кому повезло, и кого — они сами рассказывали мне позднее — эти улочки встретили той неприметной, почти нежной доброжелательностью, какую излучали для меня улица Флаттер или улица Бертоле.

Но когда я восстанавливаю в памяти названия Люнэн, Луан, Маргерэн такими, какими они казались тогда, они тотчас приобретают, как и сами эти улочки, убогий, жалкий вид... Мне кажется, что за безжизненными фасадами, за черными окнами, в глубине темных маленьких клетушек осторожно шевелятся, едва передвигаются еле живые люди...

Я бегу вдоль этих домов, вхожу в подворотню, такую же, как все другие, преодолеваю опасное место, где консьержка, которую боятся даже взрослые, приоткрывает сероватую шторку привратницкой и наблюдает за мной... я вытираю туфли о коврик-щетку, осторожно открываю двустворчатую застекленную дверь и как могу стремительно взлетаю по навощенной лестнице на третий этаж... или это площадка четвертого? звоню, раздаются торопливые шаги, мне открывают... «Входи, они дома».

В детской нагромождены какие-то вещи, сломанные игрушки, продавленные стулья, от всего веет свободой, беспечностью, резвись — не хочу, тут ничто не стесняет, постели, диваны только и ждут, чтобы на них повалились с хохотом и веселым

криком... не слишком, впрочем, громким... «Чуть потише, мои маленькие, пожалуйста...» Дверь приоткрывается, видна комната, вся белая, зубоврачебное кресло... «Уймитесь, ну немножко, у меня пациенты...» Госпожа Переверзева в длинном белом халате держит в руке инструмент из блестящего металла, лицо у нее совсем круглое, розовое, нос до того вздернут, что говорят, и это ее саму смешит, будто сквозь него можно прочесть все мысли у нее в голове. У ее дочки Тани ноздри точь-в-точь такие же... и кажется, ее простодушие и шаловливость словно округляют и расширяют их, вздергивают губу... От ее брата, который на год или два старше нас, у меня в памяти осталось только имя, Борис, и безумный хохот, овладевавший им и передававшийся нам, хохот, который становился только более раскатистым, настойчивым, когда нам запрещали шуметь, и прерывался паузами, готовыми вот-вот лопнуть от переполнения, паузами, сулившими опасные, но упоительные взрывы.

Иногда открывается другая дверь и появляется тонкий темный силуэт господина Переверзева... но теперь его лицо слилось у меня с лицом Чехова, пенсне сидит несколько косо на его переносице, черный шнурок, к которому оно прикреплено, висит вдоль щеки, он выглядит задумчивым, немного печальным, и голос у него мягкий и низкий... «Ш-ш-ш, дети, хватит, хватит, дайте мне поработать».

Кому предназначены открытки, письма, которые посылает мне мама? Кому она рассказывает, как маленькому ребенку, что там, где они с Колей проводят свободный месяц, девочки ходят с красными лентами и в красных деревянных сабо, а море совсем синее и по нему проплывают парусники, вроде тех, что пускают в бассейне Люксембургского сада, только здесь это настоящие, большие корабли...

Она уже не знает, какая я сейчас, она даже забыла, какой я была.

Иногда сквозь мамины детские рассказы проступает что-то похожее на радость, на удовлетворение.

Я бы предпочла вообще не получать никаких писем, разрушить навсегда эту связь, но всякий раз нежные, ласковые слова в конце письма удерживают меня, обволакивают... и я совсем размякаю, я не в силах порвать лист, на котором начертаны эти слова, и благоговейно кладу его в шкатулку.

Я стараюсь как можно меньше говорить о маме... Всякое упоминание о ней рискует вызвать, выявить в отце... не в словах, а в том, как хмурятся его брови, как выпячиваются, морщась, губы, как сужаются в узкую щелку глаза... то, чего мне не хочется видеть...

— Какое-то озлобление, осуждение... скажем прямо... презрение.

— Но я так это не определяю. Я вообще не даю этому никакого названия, но смутно ощущаю, что это здесь, в нем, запрятано, сжато... лишь бы оно только не зашевелилось, не обнажилось...

И сам отец, когда ему обязательно надо упомянуть мать, называет ее именем места, где она живет: «Ты написала в Петербург?»«Тебе письмо из Петербурга». Слова «твоя мама», которые он употреблял прежде, теперь, не знаю уж почему, не могут прорваться сквозь его губы.

И вот однажды под взглядом отца — я чувствую его на своем лице,— под взглядом, который задерживается и уже не отрывается от меня, я приподнимаю одну бровь, как это делает мама, широко открываю глаза, устремляю их остановившийся взгляд куда-то вдаль, мои глаза, как мамины, наполняются удивлением, растерянностью, простодушием, невинностью...

Отец по-прежнему смотрит на то, что я, не двигаясь, показываю ему...

Но ведь не я, а он сам, его взгляд вызвал это на моем лице, и он сам поддерживает это...

— Скорее можно было бы ожидать, что его взгляд вызовет у тебя замкнутое и жесткое выражение, появлявшееся иногда на лице матери, выражение, знакомое ему лучше других, которое она, вероятно чаще всего, показывала ему.

— Если бы я ощутила это, я бы постаралась еще больше ожесточить его... из вызова... как иногда поступаешь в подобных случаях...

— Да, и от отчаяния тоже...

Но не это выражение искал отец на моем лице, не его хотел увидеть снова, и то, что случилось позднее, подтверждает, что я почувствовала верно. Он обернулся к другу, который при этом присутствовал, это был их общий с мамой друг, он привез меня из Берлина... в комнате никого, кроме нас, не было... и отец, оторвав наконец взор от меня, обернулся к нему и сказал: «Удивительно, до чего Наташа временами бывает похожа на мать...» — и что-то бесконечно хрупкое, что я едва осмелилась воспринять из страха спугнуть... проскользнуло в его словах, коснулось меня, приласкало и растаяло.

«Это не твой дом»... Трудно поверить, и, однако, именно так однажды сказала мне Вера. Когда я ее спросила, скоро ли мы вернемся домой, она сказала мне: «Это не твой дом».

— Так могла ответить Золушке злая мачеха. Поэтому ты колебалась...

— Действительно, я боялась, что если стану воскрешать эти слова, то ненароком превращу Веру и себя в персонажей волшебной сказки...

— Надо сказать, что, когда ты пытаешься вспомнить Веру, возникает ощущение, что временами она словно отрывалась от действительности, уносилась в мир вымысла...

— Но нельзя ли на этот раз, чтобы не выходить за пределы реальности, представить себе, что она произнесла эти слова, поскольку уговор оставался в силе, и мать должна была вскоре забрать меня, и мне не к чему было так уж привыкать к дому, который предстояло в недалеком будущем покинуть... она хотела избавить меня от нового болезненного разрыва...

— Допустим... И допустим также, что она, возможно, уже начинала опасаться, как бы ты здесь не осталась... ты была слишком тяжелым грузом для молодой женщины... совершенно неожиданным, с чего вдруг она могла подумать, что ей придется навсегда взвалить на себя... и когда она услышала от тебя, что ты собираешься вернуться именно к себе домой, она не сдержалась, не смогла подавить в себе побуждение, толкавшее ее к тому, чтобы отторгнуть тебя от этого дома, помешать тебе освоиться там, как у себя... Нет, нет, только не это... «Это не твой дом».

— Чтобы понять, как могли вырваться у нее эти слова, нужно было бы по крайней мере снова услышать их интонацию... вновь ощутить на себе исходящие от них волны... Но ничего этого не осталось. Возможно, все было раздавлено под их тяжестью... даже в ту минуту ни внутри, ни вокруг них не было ничего незримого, требующего обнаружения, рассмотрения... я получила их замкнутыми со всех сторон, четкими и нагими.

Они упали в меня всей своей тяжестью и раз и навсегда воспрепятствовали тому, чтобы это «домой» могло взойти, сформироваться во мне... И впредь, сколько я тут ни жила, уже никогда не возникало это «домой», даже когда стало совершенно ясно, что, кроме этого дома, никакого другого у меня уже не может быть.

Наступил октябрь, начались занятия, все мои знакомые дети ходят в школу... мне тоже хочется учиться, мне уже девять лет... отец говорит, что написал в Петербург, чтобы выяснить, по-прежнему ли меня намерены забрать, но пока не получил никакого ответа... хотя в России учебный год начался еще в начале сентября... Не стоит ли мне, пока суд да дело, посещать школу? Частная школа девиц Бребан совсем рядом, они могли бы подготовить меня к поступлению в муниципальную школу, в класс, который соответствует моему возрасту.

Из своего довольно короткого пребывания в школе Бребан я запомнила только историю с почерком, который до этого был у меня вполне разборчивым, а тут вдруг неузнаваемо изменился... Я сама не понимала, что с ним произошло... буквы получались изуродованные, перекошенные, строчки расползались во все стороны, мне никак не удавалось справиться со своей рукой...

В школе Бребан ко мне относятся очень терпеливо, с участием. Когда удается расшифровать мои каракули, выясняется, что я делаю меньше орфографических ошиб-

бок, чем другие, я, очевидно, очень начитанна для своего возраста. Но мне необходимо заново учиться писать. И вот, как прежде, когда я ходила в школу на улице Фельянтинок, я обвожу черными чернилами бледные серо-голубые палочки, стоящие в ряд с одинаковым наклоном... Я приношу домой тетради, полные палочек и букв, которые я должна обвести таким же образом... мало-помалу благодаря моему прилежанию мой почерк будто образумился, утихомирился...

Как покойно и надежно закрыться одной в своей комнате... никто не войдет, не потревожит меня, я «делаю уроки», выполняю обязанность, к которой все относятся с уважением... Лили кричит, Вера сердится, не знаю на что или на кого, за моей дверью ходят туда-сюда, но все это меня совершенно не касается... Я вытираю перо о фетровый квадратик, окунаю его во флакон с черными чернилами, тщательно веду перо поверху... только бы нигде не вылезти за контур... я обвожу с нажимом бледные призраки палочек, букв, я делаю их как можно более ясными, четкими, я понукаю свою руку, и она все лучше и лучше подчиняется мне...

Я уже не думаю об этом, я могу сказать, что это совершенно «вылетело у меня из головы». Но вот однажды это вновь приходит ко мне... Даже трудно поверить... Возможно ли, что еще так недавно, всего год назад, я могла испытывать нечто подобное, когда они приходили, влезали в меня, полностью меня захватывали... «мои мысли», которых ни у кого, кроме меня, не было, от которых все переворачивалось вверх дном, мне иногда казалось, что я тону... бедный, безумный ребенок, спятивший младенец, взывающий о помощи... «Знаешь, мама, у меня мои мысли... мне кажется, что у тебя кожа как у обезьяны...» Я имитирую как могу тон, которым говорила это, плаксивый, жалостный, нелепый... я пытаюсь восстановить ...забавы ради, смеха ради, я могу себе это позволить, ничего не опасаясь... тот страх, который мной овладевал, когда я чувствовала их приближение... они возникали ни с того ни с сего, являлись откуда ни возьмись, хозяйничали, располагались, чувствовали себя во мне как дома... в благоприятной обстановке, для них созданной, в обстановке нечистой, нездоровой... До чего упоителен контраст со мной теперешней... до чего мой ум сейчас кажется чистым, ясным, гибким, здоровым... Мысли... не «мои» мысли... с этим подозрительным «мои», с этим тревожащим «мои» покончено... мысли, как у всех, приходят мне в голову, как любому и каждому. Я могу без боязни думать что угодно. Разве у меня есть то, чего надо стыдиться, что может превратить меня в несчастное, ненормальное существо, в отверженную? Ничего. Решительно ничего. Ищи не ищи... я ищу... Пусть себе приходит, если хочет, эта «мысль»... но ничего не приходит... да и нечему... А, вот одна, вроде «моих мыслей» той поры — тех, что я уныло мусолила в каком-нибудь углу... Я призываю ее, вот она передо мной: «У папы плохой характер. Папа сердится по пустякам. У папы бывает убийственное настроение». Ну?.. Что ну? Подумала себе и подумала, это мое личное дело. Я никому не обязана давать отчета. Но может, я преувеличиваю, что папа... Может... Мысль мелькнула, и нет ее... они теперь ненавязчивы, мои мысли, они приходят и уходят, они меня слушаются, я сама решаю, удержать ли их, оставить ли на некоторое время, когда у меня возникает желание как следует рассмотреть их, прежде чем выпустить. Ни одна не может внушить мне стыд, ни одна не может причинить мне боль, задеть меня. О, как хорошо я себя чувствую... Никогда больше со мной такого не случится. Никогда...

— Ну, а если бы ты вернулась туда? Ты уверена, что не опасалась бы, пусть хоть изредка, пусть хоть мимолетно, что там, подле матери, такое может снова с тобой случиться?

— Не думаю. Мне кажется, в ту пору я верила, что навсегда обрела силу, которую никому не сломить, полную и окончательную независимость.

Когда господин Ларан приходит к отцу, он берет с собой своего сына Пьера, моего ровесника. Отец очень уважает господина Ларана, он ученый, преподает в высшей школе, кажется в «Горном институте». Папа говорит, что Пьер очень умный, хорошо успевает по естественным наукам и ходит в первых учениках. Я должна провести с ним время после обеда, погулять на свежем воздухе — нас отправляют играть в парк Монсури.

Мы шагаем бок о бок по широкому унылому проспекту. Пьер очень похож на своего отца, только выглядит старше, чем он. Я прекрасно знаю, что он должен был быть одет, как одевали в те времена мальчиков его лет, но сейчас, когда я вспоминаю его, мне приходится снимать котелок, который видится мне у него на голове, и заменять его матросским беретом, отстегивать белый крахмальный воротничок его отца, обнажать шею, класть на плечи широкий воротник матроски, обрезать брюки до коротких штанов... но ни одной из этих операций я не могу преобразить его самого в мальчика. Я гуляю со старым господином. Старым и грустным. Видно, что он много знает.. что? Понятия не имею, но он знает то, чего не знаю я... Он слушает мой детский лепет... но мне редко удается, как и почти у всех взрослых, вызвать у него улыбку.

В конце концов я сдаюсь. Мы молчим. Я думаю о всякой всячине, которая меня забавляет... А он? Мне не важно, во что погружен он, слишком я поглощена подготовкой своего номера... на завтра... нет, завтра понедельник, но в четверг, когда я пойду к Мише... «Ну, тебе было весело? — Нет, и я тебе этого не прощу, дурак... мог бы прийти. Твой отец был...» Господин Агафонов тоже ученый. В России он читал студентам геологию, писал книги. Когда он пришел и его спросили, почему он не взял с собой Мишу, он скорчил гримасу и махнул рукой, выражая огорчение, все его существо излучало нежность, гордость, и он сказал: «Вы требуете, чтобы я поймал этого сорванца, а я понятия не имею, куда он делся».

Но я-то знаю куда... «Ну, ты и эгоист... Мог бы уж ради меня». Но я уже предвкушаю, что сейчас будет... и Миша мне подыгрывает... «Ну, рассказывай, интересно было? Куда вы пошли? — Ты не стóишь того, чтоб тебе рассказывать...— Рассказывай, рассказывай, все равно не выдержишь. Наверное, лопнуть можно было со смеху...— Ну тогда я начну с самого начала... Спускаемся по лестнице... В подъезде Пьер уступает мне дорогу...— Врешь...»

Входит мать Миши, она садится в кресло, приветливо смотрит на меня своими зеленоватыми глазами, ее тонкое и мягкое лицо мертвенно-бледное, почти серое, она комкает в руке неизменный батистовый платочек... она очень больна... и, возможно, знает это, Миша никогда не говорит о ее болезни... но она все равно любит посмеяться... Она говорит: «Ничего смешного. Пьер очень хорошо воспитан...» Нам только этого и надо... «Очень хорошо воспитан. Он очень хорошо воспитан!» Я могу продолжать свой номер. Для меня нет большего удовольствия, чем изображать разных людей. А Пьер просто создан для того, чтобы его изображали. Я изображаю, как он открывает передо мной дверь. А потом себя — с достоинством наклоняющей голову, как настоящая дама. Я степенно двигаюсь вперед, делаю вид, что останавливаюсь, как положено, на краю тротуара... осторожно смотрю в одну сторону, потом в другую... Мы фыркаем... Госпожа Агафонова говорит: «Вот увидишь, Миша, в один прекрасный день тебя задавят...» Я наставительно произношу: «Да, Миша, вот что ждет тебя. И еще — в один прекрасный день ты попадешь на гильотину... Когда я рассказала Пьеру обо всех твоих проделках...— Ты это сделала? — Да, я ему рассказала...» я могу говорить об этом при его матери... ничто ее более не умиляет... Миша украл букет, выставленный перед цветочной лавкой, и подарил его матери в день ее рождения, а потом, когда во всем признался и отнес его обратно цветочнице, та отдала ему букет даром, и он вернулся с цветами... «Я рассказала ему, что ты украл...— И что он сказал?» Пьер сурово смотрит и говорит, что это отвратительно... Я шагаю, как Пьер, точно с тростью в руке... Потом изображаю себя скачущей вокруг него, как собачонка, которая встает на задние лапки, чтобы заслужить улыбку... как нищенка: добрый господин, подайте хоть улыбку... Но он не хочет... Я придумываю еще что-то, уж сейчас не помню, мы хохочем до слез, госпожа Агафонова вытирает глаза платочком... «Ну хватит, дети. Идите прогуляйтесь.— Только не в парк Монсури, мама...» Миша подходит к матери, он мой ровесник, но очень крепкий мальчик, а она как былинка... она отстраняет его с испуганным видом... «Нет, нет, не лезь ко мне, ты меня раздавишь»,— она смеется от нежности он ласково обнимает ее, и мы уходим

Господин Агафонов, добрый богатырь, поднимается по лестнице нам навстречу... «Куда вы направляете свои стопы?» Он хватает Мишу за уши и делает вид, будто хочет приподнять его... «Ах ты озорник...» мне он говорит: «Держись начеку, один бог знает, какая безумная идея может прийти в голову этому дурню...» Но он знает, и я тоже знаю, что ничего плохого со мной не случится, когда я с Мишей...

Мы отправляемся в свои охотничьи угодья, на Орлеанский проспект, и начинаем

соревнование. Выигрывает тот, кто получит больше рекламных проспектов из рук зазывал. Каждый охотник на своем тротуаре. Потом мы меняемся тротуарами. Запрещается повторно обращаться к одному и тому же зазывале, а также подбирать проспекты, валяющиеся на земле. Потом мы возвращаемся к Мише и, устроившись у него в комнате, считаем свои трофеи: целые стопки проспектов — белых, желтых, голубых, розовых...

— И что получал тот, кто выигрывал?

— Не помню. Думаю, ничего, кроме радостного чувства победы.

Лили усадили на стул, на подушки, чтоб было повыше, придвинули к обеденному столу, который, когда она ест, накрывают белой клеенкой. Она протягивает свою худую ручонку к шнуру звонка, свисающему с люстры, таращит глаза, пронзительно вопит: «Качается! Качается!» Вера, сидящая возле нее, хватает шнур, чтобы остановить его... хотя он и так уже не движется... Но Лили не успокаивается и продолжает кричать: «Качается!» Тогда Вера закручивает шнур вокруг люстры... потом берет на кончик ложечки то, что лежит на тарелке, и подносит ко рту Лили... «Скушай, мой зайчик...— Она так называет ее... или еще: — Мой белый зайчик... ты должна кушать, это полезно...» То, что она пытается впихнуть в Лили, — мозги... Только Лили имеет право на это блюдо, она ведь такая хрупкая, ей необходима укрепляющая и изысканная пища... Как-то в кухне симпатичная толстая прислуга дала мне попробовать маленький кусочек... Она иногда, по мере своих возможностей, пытается таким образом компенсировать несправедливость по отношению ко мне, которая возмущает ее... «Здесь все только для маленькой... Вот и с бананами так, хотите верьте, хотите нет — их спрятали на верхнюю полку бельевого шкафа, за стопку простынь, чтобы большая не взяла... Глаза б мои не смотрели...» Не помню уж, с кем она говорила, но знаю, что именно благодаря ей я обнаружила то невероятное, о чем я даже не подозревала, — существование тайника.

К счастью, мозги, молочно-серые, дряблые, мне не нравятся... а бананы я, если уж захочу, смогу купить на свои карманные деньги... Мне не приходится даже просить у папы, он всегда сам первый их дает... но, по-моему, я никогда не покупала себе бананов, мне и в голову ни разу не пришло...

Поначалу Вера предлагает Лили эти целебные мозги спокойно, терпеливо, но чувствуется, что она начинает сердиться... она сама иногда говорит: «Все во мне дрожит». Лили по-прежнему не отрывает вытаращенных глаз от шнура, закрученного вокруг люстры, и мать успокаивает ее все более и более свистящим голосом... «Ты же видишь, он больше не качается, ешь...» Лили открывает рот, кричит «нет!» и тут же закрывает его. Вера не отступает...

Ее совсем светлые голубые глаза становятся словно прозрачными и в глубине вспыхивает огонек... Есть в ее взгляде что-то упрямое, беспощадное, напоминающее взгляд тигра.

— Помнишь, кто-то однажды сказал, что у нее глаза становятся иногда как у дикой кошки...

— И каким тоном!.. Точно это одно из самых очаровательных ее качеств. Мне в те времена еще не доводилось видеть диких кошек, в зоологическом саду я наблюдала только за глазами пантер и тигров. И именно их напоминал мне взгляд Веры. Когда ее ярость нарастала, она теряла дар речи, она угрожающе дышала сквозь стиснутые зубы, грудь ее вздымалась... Только Лили могла так преображать ее, «выводить из себя»... И Лили не боялась. Точно ощущала и в этом еще одно доказательство страстной любви матери.

— Единственная страсть. Лили была ее болезнью. И чувствовалось, что ее ярость направлена не против Лили, а против чего-то вне ее... на это и устремляла Вера свой упрямый, беспощадный взгляд... на судьбу, которую она должна была одолеть любой ценой... она возместит, она даже более чем возместит все то, в чем судьба отказала ее ребенку, она переломит, чего бы то ни стоило, эту судьбу, превратит ее в самую лучшую, самую завидную на свете.

— Что до меня, то я тоже не боялась Веры. Я знала, что вызвать у нее досаду, раздражение, в котором появлялась и враждебность, но враждебность далекая, хо-

лодная, я рискую только в том случае, когда ей чудится, что я чем-то обижу Лили. И я всегда держалась от Лили подальше... Мне это не стоило никаких усилий, мне вовсе не хотелось приближаться к вечно вопящему ребенку с перекошенным лицом...

— Который бывал и опасным. как-то, когда вы были вдвоем, она вдруг принялась кричать, чтобы подумали, что ты сделала ей больно...

— Но даже тогда Вера не очень на меня рассердилась...

— Она себе этого не позволяла. Может, боялась играть непривлекательную роль мачехи...

— Может... и потом она ощущала вокруг меня пусть далекое, но оберегающее присутствие отца. Мне кажется, что на свой, чуть диковатый лад, даже не отдавая себе в этом отчета, она его боялась...

— Да, не отдавая себе в этом отчета, она видела в нем своего господина... Не исключено, она просто заподозрила, что Лили разыгрывает одну из своих комедий...

— Нет, не думаю. Я не верю, что она была способна на такую проницательность... и уж никак не в подобном случае... И я не верю, что Вера могла обнаружить коварство Лили. Она, должно быть, ограничилась тем, что сказала мне: «Не трогай ее, прошу тебя. Оставь ее в покое». А я, должно быть, ответила: «Да не трогаю я ее».

После рождения Лили Вера очень похудела, побледнела, папа пошел с ней на консультацию к профессору, который сказал, что ей угрожает чахотка и необходимо хорошее питание... С тех пор в час полдника на стол в столовой ставят две тарелки — одну для нее, другую для меня.. я вовсе не нуждаюсь в дополнительной еде, но Вера предложила мне есть вместе с ней... В наших тарелках золотящиеся и блестящие от свежего масла макароны; когда подносишь вилку ко рту, с нее длинным языком свисает расплавившийся сыр, который перекусываешь зубами Я поглощаю все, что у меня в тарелке, и часто, когда моя тарелка пуста, Вера предлагает мне то, что осталось у нее... «Доешь, если хочешь, я больше не могу, как себя ни заставляю...»

Когда Вера не занята с Лили, когда забывает о ней она порой так молодеет...

В лесу в окрестностях Парижа, на дороге обсаженной с двух сторон высокими деревьями с желтеющей листвой солнце мягко греет дивно, бодряще пахнет мхом... я вскарабкиваюсь с помощью Веры на свой велосипед, она некоторое время бежит за мной, положив руку на седло потом отпускает но на повороте, хлоп, я снова падаю мы смеемся. «Это просто невероятно ты это делаешь нарочно... Ты, наверное, заранее боишься, сжимаешься Посмотри на меня». Я немного подсаживаю ее на седло велосипеда, она нажимает на педали, поворачивает, ее уже не видно... Мы с отцом аплодируем, когда она возвращается, улыбается... И она тоже аплодирует и кричит «браво!», когда мне наконец удается преодолеть этот поворот...

И мы учим отца ездить на велосипеде... Но он так напряжен, так неловок, так не уверен в себе.. мы бежим за ним поддерживая с обеих сторон, но стоит его отпустить, он останавливается, ставит одну ногу на землю... «Нет, увольте»... Вид у него сконфуженный, смущенный, у него нет способностей, и каким старым он кажется... и мне вдруг становится его жалко..

— Ему, однако, было всего сорок два — сорок три года...

— Но в то время старели раньше, чем теперь. И он был таким неспортивным... Он показался мне внезапно совсем старым, и мне почудилось, что Вера тоже видит его таким и что он сам ощутил себя стариком рядом с ней, когда она бежала со мной, поддерживая седло, когда мы обе его уговаривали, когда ласково посмеивались над ним... Любой бы сказал, что Вера — моя старшая сестра, что мы обе — его дочери.

Мы с Верой сидим бок о бок за обеденным столом, накрытым золотистой плюшевой скатертью. Я смотрю на ее маленькие тонкие руки с подвижными пальцами, которые погружаются в плошку с табаком... это смесь, которую папа приготовил сам и куда добавили кусочки сырой моркови, чтобы табак не пересыхал... Вера вытаскивает тремя пальцами щепоть табаку, слегка теребит его, чтобы разделить слипшиеся листики, потом распластывает в металлической трубочке, раскрытой на две половинки и лежащей перед ней на бумаге... она хорошо приминает табак в каждой из двух половинок и с легким щелчком соединяет их... Потом она берет из большой коробки пустые гильзы, которые папа выписывает из России, он курит только папиросы. Папиросы — это сигареты, у которых картонный кончик такой же длины, как бумажный. В этот цилиндр из тончайшей бумаги Вера вводит металлическую трубочку... выталкивает осторожно табак, которым она набита, наполняет...

— Но как?

— Я не очень хорошо помню. Мне кажется, она толкает шарик вдоль щелки, прорезанной в трубочке... Потом, не порвав бумаги, она вынимает трубочку, постукивает пальцем по наполненному концу сигареты, чтобы подровнять табак, снимает крохотную соринку, торчащую из гильзы наружу ..

Я слежу за каждым ее движением.. мне тоже хочется попробовать... она позволяет мне взять щепотку табаку, потеребить его, разложить по половинкам открытой металлической трубочки, защелкнуть.. потом вытащить из коробки пустую гильзу... ввести в нее кончик трубочки надавить.. «Осторожно не толкай слишком сильно» .. я стараюсь двигать возможно тише, но бумага такая непрочная, и вот — она лопается...

Я хочу еще «Ну позволь мне, хоть один разок... — Ладно но потом уж не проси. — И опять бумага рвется — Больше пробовать нельзя нельзя транжирить эти гильзы, здесь их не купишь, а папа не может без них обойтись».

Отец вынимает из ящика письменного стола и протягивает мне открытку, на которой из большого букета роз высовывается смуглая головка девочки . «Прочти, что написано на обороте...» Я узнаю почерк своего дяди Яши, читаю: «Дорогой мой маленький Ташок...» — и другие нежные слова Передо мной проходят разные образы дяди Яши; должно быть, в ту пору их было много, один, во всяком случае, я помню, единственный оставшийся, он всегда во мне..

Он идет со мной рядом, держа меня за руку, он тонкий как папа, но выше и моложе его... он пришел за мной на улицу Флаттерс, он-то с мамой встречается и даже обменивается с ней несколькими словами. Мы переходим большую площадь перед Малым Люксембургом, и, прежде чем войти в калитку, он останавливается, выпускает мою руку, наклоняется ко мне, снимает перчатку и неумело застегивает пуговицу на воротнике моего длинного серого пальто с пелеринкой... он смотрит на меня... глаза у него очень похожи на папины, но не такие пронзительные, более мягкие... от его лица, узкого и бледного, от его движений на меня изливается ласковая мягкость...

«Эту открытку нашли у него в кармане...» Отцу не надо говорить мне ничего больше, я знаю, что дядя умер, задохнувшись в каюте корабля, который вез его из Швеции в Антверпен, где его ждал отец... Отец вынужден был навсегда покинуть Россию, чтобы спасти дядю, которого могли выдать «охранке», страшное слово, его я узнала здесь.. Папа забирает открытку... «Ты не отдашь ее мне?. — Нет, я хотел, чтоб ты ее увидела, но буду хранить ее для тебя...» Мне хочется плакать, мне кажется, что и ему тоже хочется плакать, я была бы рада броситься к нему в объятия, прижаться к нему, но не смею... Здесь он не такой, как прежде... далекий, замкнутый...

— Он никогда больше не называл тебя Ташком...

— Я заметила это не сразу... Мне кажется, что тогда я чувствовала в нем только какую-то сдержанность, неловкость... особенно в присутствии Веры, а она почти всегда была рядом. Но даже в такую минуту, как эта, когда мы с ним наедине, когда между нами, только между ним и мной, существует такая тесная связь, неловкость не исчезает.

— Ну что ж, раз Вера отказывается купить мне его, я мгновенно принимаю решение... Чуть отстав, я протягиваю руку и хватаю один из пакетиков с драже, лежащих кучей на уличном лотке кондитерской, прячу под своей широкой матроской и догоняю Веру, придерживая рукой пакетик, прижатый к животу... Но нас быстро настигают... Продавщица видела меня через стекло... «Девочка украла пакетик драже...» Вера меряет женщину взглядом, глаза ее расширяются, приобретают густо-синий цвет... «Что вы такое говорите? Этого не может быть!» Я машинально трясу головой, без всякой уверенности твержу: «Нет!»... Продавщица показывает или просто пристально смотрит на вздутие в нижней части моей матроски, и этого достаточно, я вынимаю пакетик, вытянув из-под резинки, которая придерживала его, и протягиваю ей... Без единого слова мы идем вслед за Верой, она направляется к кондитерской, пересекает помещение, проходит вглубь, где помещается касса, просит извинения и платит за пакетик... Кассирша сочувствует... «Ах, мадам, теперешние дети...» Продавщица хочет протянуть пакет, но Вера останавливает ее... «Нет, спасибо...» Она отказывается его взять.

Мы выходим, возвращаемся домой... не помню, на чем мы ехали... но во всяком случае молча, не говоря о том, что только что случилось.

Вера, с присущим ей упрямством, которое ничто не может сломить, раз уж она приняла решение, отказывается от роли моей воспитательницы... я никогда не слышала, чтоб отец в чем-нибудь упрекал ее за отношение ко мне, но подозреваю, что это случалось...

— Хотя ты никогда не жаловалась...

— Я никогда не говорила с ним о Вере.

— Почему, интересно... ты ведь ее не боялась...

— Нет... Как странно, впрочем... я будто ощущала себя с нею в некотором роде на равных.

— Не думаешь ли ты, что твое молчание объяснялось скорее боязнью огорчить отца...

— Может быть... у меня было впечатление, что он несчастлив, он выглядел таким озабоченным... в нем было что-то возбуждавшее во мне желание оберегать его...

По возвращении домой в моем присутствии ничего не было сказано, но я знала, что Вера с возмущением расскажет ему... и спрашивала себя, не упрекнет ли ее отец в том, что она мне отказала... он-то безусловно так бы не поступил, и ничего бы не произошло...

Мне кажется, что я говорила себе именно это, когда, как обычно, почти сразу после ужина отправилась в свою комнату, Вера — в свою, а отец — в кабинет...

Я была уже в постели, почти засыпала, когда вошел рассерженный отец... «Да как ты посмела?.. Ты отдаешь себе отчет, в какое положение ты поставила Веру?.. и себя саму какой срам...» я чувствую, что он устал, что это для него тяжкое наказание — делать сердитый вид, он принимается расхаживать взад-вперед по комнате, мне кажется, он нарочно себя взвинчивает... «Невероятно! Какое неприличие, сколько притворства...» Он останавливается перед моей кроватью... «Но в конце концов, почему, что на тебя вдруг нашло? — Мне очень их хотелось...» Этим ответом я подтолкнула его, придала недоставшие силы...

— Ты, конечно, к тому не стремилась, твоя забота о нем все-таки так далеко не шла...

— Мои слова приводят его в ярость... Он повторяет их: «Потому что мне их хотелось! Хотелось! Значит, я все могу себе позволить! Меня ловят как вора, я причиняю боль... другим... Мне этого хочется — значит, я делаю все, что мне в голову взбредет... Подумайте только, мне этого хочется...» У меня впечатление, что теперь он страдает и негодует по-настоящему... «А я, ты что воображаешь, будто я делаю все, что мне хочется? Как ты думаешь?.. Мне очень чего-то хочется, значит, ничто меня больше не сдерживает, я ни с чем не считаюсь...» Эта взбешенная речь проходит через меня и теряется где-то далеко... «Ну, если уж человек так устроен... я ощущаю теперь на себе его отвращение... могу сказать, не преувеличивая... его ненависть... Тогда я отворачиваюсь к стене... Он говорит еще что-то, вроде...

«Прекрасные плоды это принесет, уж будьте уверены, мы получим отличные результаты» — и он выходит, яростно хлопнув дверью.

Я ничего не делаю, сижу мечтательно у большого стола из кованого железа в каком-то чахлом саду, очевидно, в саду виллы поблизости от Парижа — в Медоне или в Кламаре? — где мы проводим лето. Адель, приехавшая из Бретани, чтобы заниматься с Лили, устроилась напротив меня, чуть поодаль от стола, и, склонив голову, не то шьет, не то вышивает. У нее морщинистое сероватое лицо, седеющие волосы собраны на затылке в маленький пучок, она в своем неизменном длинном сером платье, нос у нее изогнут, как клюв, уголок сморщенного века прикрывает глаз... как у некоторых хищных птиц... но в ней нет ничего угрожающего, в отличие от них, когда они неподвижно дремлют на перекладине в своих больших клетках. Она очень живая, подвижная, активная, и я не замечала в ней ничего злого... и доброго тоже, можно подумать, что она вообще не способна испытывать какие-либо чувства.

Не отрываясь от своего шитья или вышивания, она просит меня передать ей ножницы, которые лежат возле меня на столе. Я рассеянно беру их, не думаю, за какой конец, и протягиваю ей... Она поднимает голову, ее маленькие глазки, черные и блестящие, без всякого выражения, вперяются в направленное на нее стальное острие, и с ее тонких губ срываются эти слова: «Тебя, значит, не научили у твоей матери, что ножницы следует передавать не так?»

Я отлично знаю, как положено протягивать острые предметы — ножницы, ножи, но от этого «у твоей матери» уже готовое «о, простите» замирает.

«У твоей матери...», хоть я никогда не слышала, чтобы при Адели кто-нибудь хоть намеком касался моей матери. Я и подумать не могла, что Адель знает о ее существовании. И вот сейчас вдруг выясняется, что Адель не только знает о существовании моей матери, но и никогда не упускает ее из виду... видит ее через меня... Она всегда видит на мне ее печать. Признаки, которые я, сама того не ведая, несу на себе... дурные признаки...

— Отрицательные... Да, отрицательные у тебя, меж тем как те же самые признаки у других являются признаками положительными... У тебя эти признаки приобретают обратное значение. Вот Адель, да и Вера тоже говорят о тебе с оттенком презрения... «О, она не привередлива, ест что попало...», давая тем самым понять, что постоянные отказы Лили от пищи и ее капризные причуды являются свидетельством ее тонкой природы... И поскольку ее хрупкое здоровье считается достоинством, твое крепкое здоровье свидетельствует о примитивности, о некоторой грубости натуры.

Точно так же слово «нервный» в приложении к Лили приобретает положительный смысл... «Она нервная» выражает: «Какая в ней жизненная сила, какая она живая!»

— Все это должно было мне дать понять, кем я была в глазах Адели, что она, как идеальная прислуга, мигом схватила... Такие вещи она понимала тотчас, она, должно быть, говорила это себе, когда, приподняв и наморщив кожу одной своей тощей щеки, выпускала сквозь боковые зубы воздух с легким причмокиванием, означавшим, казалось: «Уж в этом-то я толк знаю... Я знаю жизнь. Меня не проведешь. Ах, тут уж ничего не поделаешь, так уж повелось...» — и эти свои размышления, выражавшиеся, как правило, ее легким причмокиванием, она сопровождала покачиванием головы и каким-нибудь «во-во... во-во, еще бы», подчеркивающим полную ее уверенность. Какие могут быть сомнения. Она ощутила атмосферу дома, как только приехала, она унюхала, «откуда ветер дует», она знала, за кем тут сила и где тут слабость. Кто тут был ребенком барыни, а кто ребенком женщины, которую барыня недолюбливает, на которую барыня держит зуб, ребенком, которому, если вздумается, позволено бросить, даже не по злобности, а потому, что так оно само собой вышло. «Ах, что уж тут говорить... там, откуда этот ребенок приехал, таких вещей не понимают, не ведают тонкостей...» «Тебя, значит, не научили у твоей матери, как положено передавать ножницы?»

— Не совсем понятно, откуда вдруг у тебя могло взяться... никогда раньше, даже пока ты готовилась к поступлению в школу Бребан... не бывало такой радости, нетерпения...

— И все же это было совсем не от того, что говорили при мне друзья отца... «Совершенно необходимо отдать ее в муниципальную школу. Нигде она не получит такого хорошего образования. Там закладывают крепкий фундамент на всю жизнь»... я помню каждое слово, но этого недостаточно, в десять лет я не была таким рассудительным маленьким чудовищем...

— Да, вряд ли этим можно объяснить твое странное влечение к школе весьма неприветливого вида на улице Алезии. Ее пыльные кирпичные стены были похожи на стены школы на улице Фельянтинок, такие же угрюмые, унылые.

Мне было слышно из своей комнаты, как школьный двор, примыкавший ко двору, куда выходили мои окна, взрывался на переменах криками, воплями детей, которых, наверное, как когда-то нас, выпускали на залитую асфальтом, посыпанную гравием квадратную площадку без единого деревца... а потом, по свистку, точно внезапный обморок, падение — полная тишина.

Но когда я смотрю на Веру, как она расстилает на столе большой лист темно-синей бумаги, раскрывает на самой середине каждую тетрадь и книгу, раскладывает их так и сяк на листе, меняет местами, прикидывает, обдумывает, потом разрезает, загибает, захлопывает, приглаживает, наконец удовлетворенно оглядывает... она выглядит молодо, она оживлена, ей, видимо, больше нравится заниматься этим, чем набивать папиросы... То, что я испытываю, наблюдая за ней, сродни моему радостному возбуждению, когда я смотрела, как вырезают, скручивают, клеют, красят, вешают на золотых нитях, обвязывают ленточками все то, что потом украсит рождественскую елку.

Я не прошу у Веры разрешения помочь ей, я вижу, что это слишком сложно, не хочу ничего повредить, но она позволяет мне с помощью ватки, смоченной в воде, которая налита на дно блюдечка, приклеить точно посредине каждой книги, каждой тетради большую белую этикетку с синей каемочкой А потом, вооружившись новой красной ручкой с новым пером — кончик у пера широкий, — я пишу своим самым красивым почерком в верхней части каждой этикетки: Nathalie Cherniak.

— И как вдруг тебе вспомнилось из такого далекого прошлого это т, все в завитушках, ведь позже ты всегда писала свою фамилию с печатного Т...

— Я снова его ясно вижу, это старомодное т, которое совершенно стерлось из моей памяти Другое, из двух палочек, я стала писать только в лицее. Я находила его более современным, несколько вызывающим...

— Помнишь, увидев однажды твое Т, Вера сказала: «А смотри, так красивее... Как это ты придумала? Я тоже буду теперь так писать...» — а подобное одобрение, чуть ли не восхищение со стороны Веры, — большая редкость...

— Я была очень удивлена и очень польщена.

Каждое утро в одно и то же время, прежде чем захлопнуть за собой входную дверь, отец говорил, ни к кому не обращаясь: «Я ушел». Не «Я ухожу», а «Я ушел»... словно боялся, что его удержат, словно желал быть уже далеко отсюда, там, в другой своей жизни И я, я тоже кидалась на улицу с таким же нетерпением...

— Но ты не сравнивала себя с ним...

— Я ни с кем себя не сравнивала. Я просто пытаюсь через то, что я чувствовала в нем, ощутить то, что происходило во мне самой, когда, размахивая портфелем, я скатывалась с лестницы и бежала в школу.

Смутный запах карболки, бетонные лестницы, классные комнаты вокруг двора без единого деревца, высокие грязно-песочного цвета стены, совершенно голые, если не считать черной доски в глубине класса за кафедрой и выцветшей карты департаментов, — все это излучало нечто такое, отчего, стоило только войти, у меня возникало чувство, предчувствие жизни..

— Более насыщенной?

— «Более» — не то слово. «Другой» — будет вернее. Другой жизни. Жизнь, оставшуюся там, снаружи, даже сравнить нельзя с этой... Но как, с какого конца

ухватить ее, чтобы заставить хоть ненадолго ее вернуться, эту новую жизнь, мою настоящую жизнь...

— Осторожно, ты впадаешь в патетику...

— Ладно, попробуем для начала просто выделить одно из ее мгновений... в нем одном... позволь мне это сказать... в нем одном столько забав и удовольствий...

Немного неповоротливая, в плотном черном переднике с длинными рукавами и пуговицами на спине, которые не очень-то удобно застегивать, я склоняюсь над партой, так и все другие девочки в классе, почти такого же роста и возраста, что и я... мы пишем в ученических тетрадях, на которых сначала каждая надписывает в левом верхнем углу имя и фамилию, в правом верхнем — число, а посередине — слово «Диктант», и его, как фамилию и число, надо подчеркнуть, ловко проведя пером по линейке, чтобы не поставить кляксу. Линия должна получиться безукоризненно прямой и четкой.

Учительница медленно прогуливается в проходах между партами, у нее звонкий голос, каждое слово она произносит очень отчетливо, иногда даже немного хитрит, подчеркивая голосом связи слов друг с другом, чтобы мы слышали, на какую букву слово кончается. Такое впечатление, что эти слова были специально отобраны для диктанта по своей красоте, по совершенной безупречности. Все они выделяются с особой четкостью, их форма словно вырисовывается, как никогда ни у одного слова из моих книг... а потом с непринужденностью и естественным изяществом оно привязывается к предыдущему или к тому, которое следует за ним... Надо только быть повнимательнее и не повредить их... легкая тревога подстегивает меня, пока я проверяю... соответствует ли слово, которое я пишу, уже знакомому мне, виденному раньше... Вроде бы да... только нужно ли писать окончание «ent»? Осторожнее, это глагол... вспомни правило... ты уверена, что вон то слово — его подлежащее? Смотри в оба, не упусти чего-нибудь... и я уже вся в этом, я теперь только некое существо, которое напрягается, вглядывается, колеблется, возвращается, находит, вычленяет, сверяет... да-да, точно, это подлежащее, во множественном числе, как и положено, кончается на «s», значит, в глаголе надо писать «ent»?

Мое удовлетворение, мое умиротворение быстро сменяются новой тревогой, и я опять напрягаю все свои силы... что может быть увлекательнее такой игры?

Учительница собирает диктанты. Она проверит их, красными чернилами выпишет на полях ошибки, сосчитает их и поставит отметку. Ничто не сравнится с правильностью знака, который она выведет под моей фамилией. Он воплощение правоты, объективности. Достаточно его одного, чтобы лицо учительницы, когда она смотрит на меня, выразило одобрение. Я только то, что я написала. А не то, чего я не знаю, что предполагают во мне, налагают на меня без моего ведома, как всегда делают там, снаружи, в моей другой жизни... Тут я нахожусь под надежным прикрытием от всяких капризов, причуд, от неясных порывов, тревожных, неожиданно вызванных... мною ли? или чем-то, что можно ощутить за мной, что я собой заслоняю? Ничто не проникает сюда и от той любви, «нашей любви», как сказано в маминых письмах... которая будит во мне нечто причиняющее страдания, будит такое, что, несмотря на боль, следует взращивать, поддерживать, а я подло стараюсь задавить... Здесь от всего этого нет и следа. Здесь я в безопасности.

Меня защищают законы, которые одинаковы для всех. То, что происходит со мной тут, зависит только от меня. Я одна за все в ответе. И это участие, эта забота, которыми я окружена, преследуют единственную цель — помочь мне обрести, осуществить то, чего я хочу и сама, что в первую очередь именно мне доставляет такую радость... «Ну, Натали, что у тебя опять с этим глаголом «apercevoir»?[1] Снова написала с двумя «р»! — О, не может быть... я просто снова подумала об «apparaitre»[2]...— Послушай, детка, вот что надо сделать... напиши двадцать раз подряд «я замечаю только одно «р» в глаголе «apercevoir»? Меня восхищает такая находчивость.

Здесь все делают для «моего же блага», стараются вложить в мой ум что-то, созданное точно по его размеру, предусмотренное специально для него...

— Ну, все-таки не совсем... иногда тебе бывает трудно что-то схватить, слишком пространное или изощренное...

---

[1] Замечать *(франц.)*.
[2] Появляться *(франц.)*.

— Да, как раз настолько, чтобы помешать моему уму расслабиться, обмякнуть, чтобы заставить его сильнее напрячься, освободить место тому, что предложено, что должно заполнить его... цифрам из таблицы умножения или названиям департаментов, потом префектур, и еще усилие, чтобы его смогли занять и хорошо в нем устроиться названия округов... вот наконец все они здесь, на своих местах... они подчиняются моему зову, стоит только произнести название департамента, как тут же, одни за другими, покорно возникают префектуры и округа... Только совершенное мастерство может принести такое удовлетворение.

Даже там, снаружи, школа защищает меня. Мимо моей двери проходят не задерживаясь, чтобы не мешать мне заниматься...

А я, напротив, могу входить в рабочий кабинет отца, когда, вернувшись домой, он отдыхает, вытянув ноги, в своем кресле, обитом темно-зеленой кожей, после долгого дня, проведенного стоя, над колбами и пробирками... правда, отец говорит, что не чувствует усталости, когда работает... Как только появляюсь я, он откладывает химические журналы, которые пролистывал до моего прихода, или толстую вечернюю газету... Он смотрит на тетрадь у меня в руке...

— В выпускном классе ты приносила ему задачки, которые словно и в самом деле были сделаны не по твоему уму.

— Я тщетно пыталась вспомнить, как следует рассуждать, мне никак не удавалось определить количество литров воды, вытекающей из крана, или ненавистные часы прибытия встречных поездов.. Отец мгновенно отыскивал эти цифры загадочными, колдовскими алгебраическими методами... «Вот какой должен получиться результат... Но тебе надо решить арифметически... А этому лично меня не учили». И вот мы уже мучаемся вдвоем, отец сидит рядом со мной за письменным столом, а я пытаюсь восстановить объяснения учительницы... мне казалось, я их запомнила, но все вылетело из головы... иногда объединенными усилиями мы к концу наших рассуждений все-таки добиваемся нужного числа, да, это оно, то самое, которое отец нашел с помощью алгебры. Одинаковое удовлетворение переполняет, расслабляет нас обоих, оно играет на наших лицах, когда мы входим в столовую, садимся за стол и, уже не вспоминая о нашей задаче, ужинаем вместе со всеми.

Но иногда мы терпели неудачу и, поужинав, садились решать снова.

— Бывало, отец в конце концов говорил, что тебе уже пора спать... он обратится за помощью к кому-нибудь из друзей, живущих по соседству... «Он-то точно знает, он посильнее меня в этих делах... Но что за безумие задавать детям такие задачи!»

— Я уже почти или даже совсем сплю, когда входит папа... «Ты спишь? — Нет, нет, ничего... Ну что, решили? — Да, это проще простого, и как мы не догадались?» Папа присаживается ко мне на постель и объясняет. Мне не кажется, что это так уж просто... все рассеивается... путается... но вдруг расчленяется на очень четкие элементы, которые словно сами собой становятся на место, на свое законное место... другого и быть не может... в безупречном порядке они следуют друг за другом к числу, которое ожидает их, оно и есть бесспорный знак их осуществления... «Я сейчас все запишу...— Ну давай, только поторапливайся, уже поздно».

Я уже не помню, где это произошло... в заволакивающем все тумане я различаю только смутный силуэт сидящего рядом со мною отца. Мне кажется, его голова повернута в профиль, и он не смотрит на меня, когда объявляет, уж не знаю какими словами, что мама предлагает меня забрать.

— Прошло полтора года... если не два...

— Он говорит, что мама поставила условие: поскольку она никак не сможет ни сама за мной приехать, ни прислать кого-нибудь, ему надо позаботиться о том, чтобы отправить меня к ней... А он-то прекрасно понимает, что, если ей и впрямь так уж этого хочется, она сможет и сама, средств у нее достаточно... что же касается его, то на этот раз он и пальцем не пошевельнет, чтобы помочь ей, разве что... «Разве что ты сама попросишь...»

Нетрудно восстановить то, чем было наполнено молчание, предшествовавшее моему ответу: шоком от внезапного возникновения всего того, от чего я оказалась

оторванной, что я силилась от себя отодвинуть, от чего помогали мне избавиться письма, приходившие оттуда, все более далекие, словно нереальные... открытием, к тому же, того, что еще наваливает на меня отец... ответственности за решение, принять которое должна я сама... что еще более или менее близко к правде?.. но все равно, это воспроизведение того, что я, возможно, ощущала на самом деле, походит лишь на картонный макет, уменьшенную модель строений, домов, храмов, улиц, площадей и садов затопленного города...

— Не целиком...

— Что-то еще возвышается над поверхностью, по-прежнему реальное... огромная глыба... невозможность высвободиться из того, что так властно меня держит, я в нем зажата, оно распрямляет, поддерживает, укрепляет меня, придает форму... И поэтому каждый день у меня такое чувство, будто я карабкаюсь на высшую точку себя самой, где воздух чист, живителен... на вершину, с которой, если мне удастся ее достигнуть и удержаться на ней, передо мной откроется весь мир... и тогда уже ничто не сможет от меня ускользнуть, там не будет ничего, что я не смогу узнать...

— Как ни странно, но ты испытывала именно то чувство, которое стремилась привить тебе начальная школа...

— Я очень удивилась, узнав, уже гораздо позже, что такую задачу, среди прочих, ставило перед собой начальное образование. Со мной, во всяком случае, оно в этом преуспело.

— Школа главенствовала над твоим существованием... она придавала ему смысл, истинный смысл, значимость... Когда ты тяжело заболела... корью... и взывала к небесам...

— Да, смешно, я молила оставить меня в живых до тех пор, пока «все не узнаю»...

— И какая растерянность, потеря равновесия потом, в лицее, когда ты обнаружила, что этот предельно завершенный, полностью доступный мир разверзается со всех сторон, рушится, утрачивается...

— Но вернемся к моему ответу — я не заставила себя долго ждать... лишь мгновение, — я отступаю... мне будет больно самой отрезать нити, еще связывающие меня с матерью, они, правда, уже не так туго натянуты, но в какие-то моменты я их чувствую, они начинают меня подергивать... это вроде той скрытой боли, которую вызывает окружающая атмосфера — холод, влажность... но слова отца... «Если ей и впрямь так уж этого хочется, она может и сама...» действуют как наркоз, помогающий без особых страданий окончательно порвать то, что еще привязывает меня... вот, готово: «Я хочу остаться здесь».

Не помню обнял ли меня отец, не думаю, — это не прибавило бы мне ощущения прочности нашей связи, его полной поддержки, не ставящей условий, ничего не требующей от меня взамен, мне не надо было ни единым словом показывать ему, что́ я чувствую... и даже не испытывай я к нему того, что принято именовать любовью — у нас этому не было названия, — ничего бы не изменилось, моя жизнь все равно была бы для него важнее всего... может, важнее его собственной? во всяком случае, не менее важной...

Я понимала, что в радости, которую он старался подавить в себе, была и уверенность, что мой выбор правилен в первую очередь для меня самой.

— А для него... впрочем, задумывался ли он об этом? твое присутствие у него в доме могло только усложнить его жизнь... Позже выяснилось, что, прежде чем принять решение жениться во второй раз, он спросил у твоей матери, согласится ли она оставить тебя у него, но даже не удостоился ответа...

— Как знать, не ощутил ли он мимолетную горечь... я заметила только, что его отпустило, он расслабился... и почувствовала в его голосе радостное сообщничество со мной, когда он сказал: «Знаешь, мне достаточно просто не двигаться с места... Если я сам тебя туда не отправлю, за тобой наверняка никто не приедет».

По средам, во второй половине дня, после школы, так как у нас нет уроков

на завтра, мы играем иногда с Люсьен Панар, девочкой из моего класса. Мы почти одного возраста, месяца два разницы, и одного роста, у нее превеселое худенькое личико, чуть раскосые глаза и две толстые золотые косы, которые ей долго заплетает мама, они спускаются ниже талии, не то что мои «крысиные хвостики», доходящие только до плеч, я сама мгновенно их заплетаю. Люсьен остается ждать меня на перекрестке улиц Алезии и Маргерэн, а я забегаю домой, чтобы положить портфель и предупредить, что иду к ней.

Кафе ее родителей с вывеской «Панар» красными тяжелыми буквами над входом — находится в самом конце проспекта Монсури, прямо у ворот парка, справа, на углу двух улиц.

Я очень люблю это маленькое кафе, такое светлое, сверкающее чистотой, и родителей Люсьен, они милые и молодые, они часто смеются, шутят... Я радуюсь, когда мадам Панар позволяет нам мыть чашки и стаканы, это милость, о которой мы должны просить ее, обещая делать все очень осторожно... Но мне все-таки больше нравится ставить на столик перед клиентом бокал с вином или чашечку кофе, говорить: «Пожалуйста, мадам» тоном настоящей официантки, собирать мелочь: «Благодарю вас, мсье», относить ее в кассу, следить, когда посетители уйдут, чтобы ринуться к столику, все убрать, хорошенько вытереть его смоченной губкой. Уж не знаю, может быть, мой раж, мое наслаждение передаются Люсьен, но мы обе, а ведь у нее каждый день есть такая возможность, с одинаковой ревностью наблюдаем друг за другом, чья сейчас очередь подавать... в этот час посетители редко присаживаются за столик, мы ссоримся, иногда вмешивается мадам Панар, она сама решает, чьи протянутые руки выбрать... отстраняет — нет, сейчас не ты... и отдает в руки другой вожделенную чашку или стакан... На, неси, твоя очередь... А ты — в следующий раз. На полдник она разрешает нам выбрать рогалик, булочку или пирожное, которые разложены под стеклянным колпаком, дает каждой по плитке шоколада и наливает обеим в стаканы лимонад, и мы пьем его за стойкой. Когда нам надоедает играть в мойщиц и подавальщиц, мы отправляемся в парк, крутим возле входа скакалку «на пожар», ловим резиновый мячик, подбрасывая его все выше и выше, пытаемся жонглировать двумя, тремя мячиками...

Мы мало разговариваем, но, не знаю почему, мне с ней, а ей, думаю, со мной никогда не бывает скучно.

Урок чтения наизусть... я слежу за рукой учительницы, за пером, скользящим сверху вниз по списку фамилий... колеблется... спустилась бы чуть ниже, к букве Т... перо доходит до нее. рука останавливается, учительница поднимает голову, ищет меня глазами, вызывает...

Мне нравится ощущать легкий страх, возбуждение... Я прекрасно знаю текст наизусть, я не боюсь ошибиться или забыть хоть слово, но самое главное — начать с верной интонации... вот, начала... лучше слишком не повышать и не понижать голос, не напрягать его, не делать его вибрирующим, а то будет стыдно... в тишине раздается мой голос, слова выделяются четко, ясно, именно так, как должны, они несут меня, я растворяюсь в них, и мое удовлетворение...

— Никакая актриса не могла бы ощутить его полнее...

— Да, пожалуй. Аплодисментов, впрочем, не было, но какие аплодисменты, какие овации доставят больше радости, чем уверенность в том, что я достигла совершенства... что подтверждает — как должно, справедливо — сама учительница, когда произносит слова, в которых нет места для малейшего сомнения. «Очень хорошо. Ставлю тебе десять».

«Тебя подбросили»... только в таких, редких случаях я осознаю, на каком языке обращалась ко мне Вера, она говорит со мной по-французски очень редко, а с Лили — всегда, чтобы «не путать малышку двумя языками»... но на этот раз, я уверена, она произнесла это по-русски... по-французски она бы сказала «on t'a abandonnée», что было бы лишь мягким, безжизненным эквивалентом русских слов... русский глагол, употребленный ею...

— А где это было? С чего вдруг она так сказала?

— Мы идем с ней рядом по унылому саду, по посыпанной песком аллее, которая вьется между газонами... это мог быть только парк Монсури... Вера очень худая, бледная, на ней большая коричневая бархатная шляпа, боа вокруг шеи, она катит перед собой коляску с Лили и говорит: «Тебя подбросили»... Но с чего вдруг... это я не могу вспомнить... может быть, и ни с чего, просто так, потому что ей внезапно пришло в голову... она и не попыталась сдержаться или не смогла... русские слова брызнули жестко и сжато, как всегда из ее уст... глагол «подбросили» буквально означает «бросать», но у него есть еще незаменимая приставка «под», означающая «снизу» и все вместе, целое, глагол с приставкой, подразумевает тяжкий груз, от которого тайком избавляешься, перекладывая на чужие плечи...

— Как кукушка?

— Да, но мне кажется, в том, что делает кукушка, есть и предосторожность, предусмотрительность, тогда как это русское слово подразумевает грубое и в то же время скрытое отторжение...

— В тот момент тебя вряд ли занимали богатства, таящиеся в этом слове...

— Тогда я не была так околдована ими, как теперь, но одно очевидно — от меня не ускользнул ни малейший оттенок... да и мог ли он ускользнуть от ребенка?.. того, что этот глагол и местоимение, предшествовавшее ему, «тебя подбросили», несли мне с собой...

Но, несмотря на ненависть Веры против тех, кто навалил на ее плечи этот груз и обязал с ним возиться, несмотря на ее ярость, вызванную бременем, которым я стала для нее... да, хотя эти слова и ранили меня, эта грубость принесла мне странным образом умиротворение... Я там не нужна, меня отталкивают, следовательно, моей вины в том нет, решение исходит не от меня, хочу я того или не хочу, я должна остаться здесь, у меня нет выбора. И совершенно ясно и понятно, что я должна жить здесь, а нигде больше. Здесь. Со всем тем, что здесь есть.

— Ты уже знала, что Верин характер и ее отношения с тобой были только частью, к тому же не самой важной, этого «всего».

Я вхожу в свою комнату и, еще даже не положив портфель, замечаю, что мой медведь, Мишка, которого я оставила у себя на кровати.. никогда не был он таким мягким, милым ...если холодно, я укрываю его квадратным вязаным одеяльцем по самый подбородок, так что виднеется только его шелковистая желтая мордочка, размякшие уши, истершиеся черные нитки носа и всегда живые, блестящие глаза.. его нет... где же он? я мчусь к Адели... «Адель, исчез мой мишка.— Его взяла Лили...— Да как же ей удалось? — Она дотопала до твоей комнаты... дверь была открыта...— Где он? Куда она его дела? — Она его разодрала... это было нетрудно, он и так уже на ладан дышал, в тряпку превратился...— Но можно его зашить...— Нет, ничего не выйдет, я его выбросила...»

Мне не хочется видеть его. И если я произнесу еще хоть слово, Адель наверняка ответит: «Таких медведей сколько угодно. К тому же новых, да и покрасивее...» Я бегу к себе, бросаюсь на кровать и заливаюсь слезами...

— Никогда, ни на кого ты так не сердилась, как на Лили в ту минуту...

— Потом я поставила вне ее досягаемости русские резные коробочки из дерева, круглую и прямоугольную, расписную деревянную плошку, не помню какие еще сокровища, собственные мои сокровища, цену которым никто, кроме меня, не знал, не могла же я допустить, чтобы до них могло дотронуться и завладеть ими это маленькое, орущее, дикое, бесчувственное, зловредное существо, этот дьявол, этот демон...

Я спрашиваю Веру, уже не помню, в связи с чем, да это и неважно: «Почему нельзя так делать?» — и она отвечает мне: «Потому что так не делают» своим упрямым, жестким тоном, глотая больше обычного гласные, сталкивая друг с другом и без того стиснутые согласные, и этот поток, хлесткий, жесткий, заливает то, что движется во мне и хочет взбунтоваться...

«Потому что так не делают» — вот барьер, стена, к которой она меня тащит, в которую мы сейчас упремся... Наши пустые, на выкате, глаза тупо глядят на эту стену, преодолеть ее мы не в состоянии, бесполезно и пробовать, наши головы покорно от нее отворачиваются...

— Неужели в ту минуту тебе не пришло в голову воспользоваться тем, что вручила тебе мама перед отъездом... ведь какое-то время ты об этом помнила...

— Да, мамины слова, произнесенные в номере берлинского отеля, вечером накануне нашей разлуки, «Вера дура»... вроде узелка, который она дает мне с собой в дорогу, как ребенку, в пансион... На, держи, мой дорогой, ты им воспользуешься, когда будешь далеко от меня, там это может тебе пригодиться...

— Нет, здесь мне надо тебя остановить, ты уже плывешь по воле волн, твоей матери и в голову не пришло бы дать тебе это, как узелок с домашним завтраком, который вручают детям, провожая их в пансион... Ты сама спровоцировала ее своими вопросами: «Мама, что тебе сказал дядя? О чем вы говорили?» И она ответила, уже уступая тебе: «Дядя сказал, что Вера дура»... но, произнося эти слова, она забыла о тебе, она уже не видела тебя, она думала в тот момент о чем-то другом, что удивило и рассмешило ее... о чем-то забавном, что сообщил ей дядя и на что она, на мгновение, обратила внимание... и потому, со своей бездумностью, вечной своей беспечностью, не думая о том, что ты сделаешь с ее словами, она позволила тебе взять и унести с собой это «Вера дура».

— И первое время я хранила в себе эти слова, они того стоили, ни с чем подобным мне еще не приходилось сталкиваться. На взрослого напялили невидимый дурацкий колпак... И уж конечно, никто и понятия об этом не имеет — ни отец, ни сама Вера, ни все остальные, только мы с дядей, который иногда как ни в чем не бывало их навещает, ее и пану, и ничем себя не выдает.

«Вера дура...» должно быть, в ее голове чего-то не хватает, а бедняжка и не подозревает об этом, ничего не попишешь, так уж она устроена... только как можно заметить это со стороны? Что же видит дядя? Он говорит с ней точно так же, как со всеми остальными... но я, когда она мне что-то запрещает или велит что-то сделать... когда говорит, что она думает по тому или иному поводу... способна ли она вообще думать? может ли она понимать? ведь она же «дура».

Меня мучит, что я не могу верить ее словам, что я вынуждена постоянно сомневаться и никому не могу довериться. Да и кому откроешь такое?

— Мне кажется, однажды, вскоре после твоего приезда, незадолго до появления на свет Лили, когда Вера как могла заботилась о тебе... не приснилось ли мне это? неужели ты действительно разрыдалась и сказала ей...

— Это почти невероятно, но я и правда вспоминаю... Я изо всех сил обдумываю то, что Вера попросила меня сделать — ведь не могла я верить всему, что она скажет,— и, решив, что она все-таки неправа, я не послушалась ее...

— Но что же она тебе сказала?

— Не помню, я могу только вновь ощутить свое отчаяние, свое одиночество, непосильное бремя, от которого мне необходимо избавиться... она расспрашивает меня, пытается понять... «Почему ты упрямишься? Почему не хочешь меня слушаться?..— Я не могу сказать...— Нет, скажи, скажи...— Нет, не могу...— и наконец, сквозь слезы...— Я не могу слушаться тебя, потому... потому, что... ты... ты... дура... Мне так сказали...— Но кто?» Не знаю, сколько времени понадобилось этим душившим меня словам, чтобы проложить себе дорогу и выстрелить ей прямо в лицо: «Дядя, когда он приехал за мной в Берлин... он сказал это маме».

Как ни трудно в это поверить, но, к несчастью, так все и было. Но это случилось в самом начале моего пребывания в Париже, когда я была еще слабым, нетвердо стоящим на ногах ребенком, только-только расставшимся со своими «мыслями», приставучим и доверчивым, ребенком, который ничего не скрывает, рискуя вывести из себя, вызвать раздражение, злобу, лишь бы не остаться в одиночестве, в стороне, храня в себе что-то, что никому нельзя показывать, что терзает его и властвует над ним...

А теперь-то я здесь почти два года, я уже не тот необузданный младенец... Слова «Вера дура» больше не возвращаются ко мне... Впрочем, ни одно слово к ней не подходит...

— Да, если подумать, ты действительно ее никак про себя не называла... Даже «злюкой»...

— Любопытно, что, когда мне приходилось слышать, как другие дети называют свою мачеху «злюкой», я очень удивлялась... в моем воображении сразу возникали картины, которые в «злюке» никак не умещались.

Во всяком случае, когда она мне сказала и, видимо, повторила это не раз «Потому что так не делают»... слова «Вера дура» не стали теми антителами, которые позволяют организму бороться со вторжением микробов. Нет, даже если бы это «Вера дура» и было тогда в моем распоряжении, из него не получилось бы противоядия.

Я коснулась того, к чему она раз и навсегда запретила себе приближаться, не так уж она глупа, зачем ей терять время?

«Так не делают» — и это прекращает любые расспросы, лишает смысла любые споры.

«Так не делают» — эти слова похожи на восточных императоров древности, перед которыми склонялись подданные, не осмеливаясь даже поднять на них глаза.

А я имела наглость выразить желание разглядеть вблизи, пощупать... что же мне здесь мешает?... «Почему нельзя так делать?» И то, что в моем сознании позволило абсурдным, непристойным словам сформироваться, вырасти, зашевелиться, получило меткий удар линейкой: «Потому что так не делают».

Удар вполне заслуженный, раз уж ты так бестолкова и самонадеянна и пытаешься объяснить себе, пытаешься понимать... почему бы и не судить?.. или тем более, если объяснение покажется неубедительным, все-таки наперекор всему свету сделать то, чего не делают?

Но когда обрушивается это «Потому что так не делают»... я будто... чуть не сказала... оглушена, раздавлена... этого можно было бы ожидать.. но на самом деле меня охватила бессильная ярость... так бьешься головой о стенку, топаешь ногами... слепой, нелепый гнев, такой гнев вызывает в тебе предмет, о который ты больно стукнулся, хочется дать ему сдачи.. мне не терпелось по нему ударить, избить его Но отвечать ударом на ее «Потому что так не делают», обрушивая свое «А почему? Почему так не делают?». Нет, я не могла, мне недоставало храбрости...

— А в общем-то, если посмотреть со стороны, опасность была не так уж велика...

— Зато в самой Вере эти слова могли вызвать.. безмолвную вспышку, яростное кипение, едкий дым, поток раскаленной лавы... нет, никогда я бы добровольно не осмелилась выпустить все это наружу, никогда бы не допустила чтобы ее слуха достигло, пусть еле различимое, произнесенное шепотом, мое «А почему так не делают?».

Когда приходят друзья, отец преображается. Исчезает его замкнутость, он размякает, делается оживленным, он много говорит, он спорит, что-то вспоминает, рассказывает анекдоты, он развлекается сам и любит развлекать других. Все сидящие вокруг, за большим овальным столом в столовой, смотрят на него с симпатией, с восхищением, в нем столько ума, остроумия... даже мама как-то сказала мне,— редкий случай, она редко о нем говорила... «Твой отец очень умен...»

— Она сказала это однажды еще в Петербурге, просто так, без повода, равнодушным, безразличным тоном, как будто только констатировала факт, не придавая ему особого значения...

— По воскресеньям, во второй половине дня, ко мне приходит Миша, его родители тоже здесь, а еще господин и госпожа Переверзевы, господин Иванов, большой друг отца, и господин Билит, у которого есть привычка приходить без предупреждения, в любой вечер, когда ему захочется, и если мы в это время как раз ужинаем, ему ставят прибор. Вера, которую смешит и удивляет его волчий аппетит, подает ему на десерт, даже если ужин был достаточно обилен, огромный омлет с вареньем — его любимое блюдо. Господин Билит — замечательный математик В каком-то сражении или, может быть, покушении он потерял левую руку — из рукава у него высовывается деревянная ладонь в коричневой кожаной перчатке Тут же сидят две сестры, дамы в возрасте, и другие гости, которых я меньше знаю и про которых я меньше помню.

Когда я смотрю на мужчин и женщин, собравшихся вокруг стола, людей стареющих, усталых и чуть печальных, я думаю, что никто, наверное, не догадался бы, какие

они незаурядные, выдающиеся личности — революционеры, герои, которые не колеблясь шли навстречу самым страшным опасностям, давали отпор царской полиции, бросали бомбы... они шли со скованными ногами, «по этапу», в самые недра Сибири, их сажали в карцеры, приговаривали к повешению, и они, не теряя выдержки, ожидали смерти, готовые, когда взойдут на виселицу, когда палач приблизится к ним, чтобы накинуть на их головы ужасный капюшон и обвязать шею намыленной скользкой веревкой, прокричать в последний раз: «Да здравствует Революция! Да здравствует Свобода!»

Я равно восхищаюсь ими всеми, без исключения, но больше всех, даже больше, чем родителей Миши и господина и госпожи Переверзевых — которых я очень люблю и часто хожу к ним в гости,— я люблю господина Иванова.

Тонкие черты его красивого лица, да и его фигура словно «пронизаны добротой»... ею лучатся морщинки вокруг его губ, его очень светлые, как бы выцветшие глаза и даже маленькие мешки под глазами...

Господин Иванов слегка заикается и кажется от этого еще более мягким, безоружным, простодушным... При мне кто-то рассказал, что он заикается с тех пор, как его разбудили в камере смертника и объявили, что приговор смягчен и казнь через повешение заменяется пожизненным заключением. Разумеется, он не подписал прошения о помиловании. Невзирая на мольбы близких и даже требования судей, он так и не согласился на такой шаг. Как, впрочем, не согласился бы никто из сидящих за этим столом. О тех, кто просил царя о помиловании, говорят понизив голос, как будто эти люди несут на себе позорное клеймо.

С двадцати до сорока пяти лет господин Иванов пробыл в заключении в Шлиссельбургской крепости, долгое время в одиночной камере, и единственным его чтением там была Библия... Я часто слышу эти слова — «Шлиссельбургская крепость», «Петропавловка», «охранка», «черная сотня»... Часто говорят о встречающихся в «колонии» подозрительных личностях, которые выдают себя за революционеров, а на самом деле не исключено, что они тайные полицейские агенты, шпионы... Мише они чудятся повсюду, и папа, смеясь, говорит, что господин и госпожа Агафоновы заразили его своей болезнью, «шпиономанией»...

— Несколько лет спустя, когда произошла революция и начали открывать досье охранки, выяснилось, что эти подозрения были порой вполне оправданны.

— Отец, хоть сам и смеется над этой их манией, не может удержаться, и когда ему кто-нибудь не по душе, начинает разбирать его по косточкам, превращая в столь беспокойную, мудреную и комическую фигуру, что гости внимают ему как завороженные, они очарованы его юмором, находками, остротами... его темные глаза горят, белые зубы сверкают, его острословие, его ум, будто искрящееся лезвие, режут... иногда прямо по живому... порою мне кажется, что оно режет и во мне... однако оно вонзается в кого-то другого почти или вовсе мне не знакомого... но я уже чувствую на себе его ледяное скольжение... мне немного больно, немного страшно... интересно, чувствуют ли это другие как я? Господин Иванов, например? о котором отец говорит, что у него такой ясный, такой проницательный ум, не считает ли он, что отец заходит слишком далеко... До сих пор он улыбался своей мягкой, тихой улыбкой... но вдруг его улыбка словно застывает, во взгляде проскальзывает какое-то движение... мне кажется, в нем что-то сжимается, съеживается... но совсем легонько, чуть-чуть... Кто-то вежливо прерывает отца... «По-моему, Илья Евсеевич, здесь вы все-таки преувеличиваете... особой симпатии он, конечно, не вызывает, но я хорошо его знаю, не такой уж он плохой парень...» Господин Иванов лишь снисходительно кивает головой, он, должно быть, смотрит на необузданную горячность отца, как взрослый наблюдает за шалостями ребенка, порой слишком шумными, когда тот возбуждается, резвится... но он понимает, что отец на самом деле вовсе не злой, понимает, что, если тот, кого только что так безжалостно высмеял отец, обратится к нему за помощью, отец мгновенно забудет, каким он ему представлялся, и увидит в нем просто несчастного, нуждающегося человека, и никогда ему не откажет, отец не умеет отказывать...

— Вера пыталась порою его удержать... «Даешь неизвестно кому, все этим и пользуются... Уверяю тебя, у него побольше средств, чем у нас...» а он отвечал ей, слегка пожимая плечами: «Что ж, тем лучше для него».

— Вера сидит напротив отца, на другом конце стола, на месте, которое должна занимать хозяйка дома, перед большим медным самоваром. Она разливает чай в чашки

и стаканы, раздает их, забирает пустые, ополаскивает дно над мисочкой, подставленной под кран самовара, снова наполняет их, передает обратно и постоянно следит за тарелками гостей, надо, чтобы всем всего хватало... она никогда не разговаривает, произносит разве что несколько слов, скорее даже слогов, или коротко смеется, из вежливости... Слушает ли она что говорят? Ее неподвижные прозрачные глаза, напоминающие порой глаза кошек, порой хищного зверя, останавливаются время от времени на чьем-нибудь лице... а после ухода гостей она говорит, особенно о тех, кто бывает у нас нечасто, кто появился впервые, своим резким, не допускающим возражений тоном: «Такой-то (или такая-то) очень высокого о себе мнения». Чувствуется, что это окончательное обвинение, приговор, не подлежащий обжалованию... и это каждый раз вызывает у меня все то же удивление, все те же вопросы: С чего она это взяла? Почему из всех возможных суждений о человеке она выносит всегда одно-единственное? И почему она придает этому такое значение? Мне кажется, все люди, какими бы они ни были, делятся у нее на две категории: те, кто высокого о себе мнения, и остальные.

— Долгое время ты и не пыталась разобраться, что может содержать в себе это суждение...

— Оно поражало меня... Я начинала испытывать симпатию и даже некоторую зависть к тем, кто был «высокого мнения о себе»...

— Может, это были как раз самые живые, самые интересные люди?

— Не исключено... Когда Вера после ухода гостей исторгала из себя эту короткую фразу: «Он (или она) очень высокого о себе мнения», сопровождаемую сухим звуком, гм-гм, мне казалось, она задувает пламя свечи или лампы..

Стулья опустели, свет погашен, можно наконец уйти к себе, отдохнуть...

Я впервые задумываюсь об этом, в то время у меня и мысли такой не могло возникнуть, я считала все настолько естественным, само собой разумеющимся, но теперь меня поражает, что тогда у нас никто не делал различия ни с моральной, ни с интеллектуальной точки зрения между мужчинами и женщинами. У меня было чувство...

— Даже не чувство, ты ведь не отдавала себе отчета...

— Да, правда, это было скорее полное отсутствие чувства какого-либо неравенства.

— Что же касается отваги и беспощадности к себе, то Вера, не принимавшая никакого участия в революционных действиях, проявила эти качества в полной мере, когда добровольно ушла на фронт санитаркой во время русско-японской войны. Когда отец вспоминал об этом, она раздраженно перебивала его: «Прошу тебя, что ты такое говоришь... Я делала только то, что должна была делать».

Проходя по коридору мимо спальни — Вера уже легла, она любит лечь пораньше, чтобы «спокойно почитать хороший роман», пока отец еще какое-то время проводит в своем кабинете, просматривая химические журналы и делая заметки,— я улавливаю странные звуки, ничего подобного мне никогда не приходилось слышать... вроде бы стоны, вздохи... или сдерживаемые рыдания... но в них чувствуется какая-то растерянность, невинность... это похоже на отчаяние ребенка, на жалобы, которые он не в силах сдерживать, они вырываются у него, выплескиваются из глубины души... слышать их уже больно... Я открываю дверь, в спальне горит свет, Вера лежит в постели, отвернувшись к стене, зарывшись головой в простыни, так что видны только ее каштановые волосы, расчесанные на ночь и заплетенные сзади в косичку, как у маленькой девочки...

Я подхожу, наклоняюсь над кроватью и говорю ей тихо-тихо: «Что с тобой? Тебе нехорошо? — Я смотрю на ее лицо, лиловое, мокрое, распухшее от слез, лицо большого младенца...— Я могу тебе чем-нибудь помочь? Хочешь, принесу попить?» Она качает головой и с трудом выговаривает: «Ничего, ничего, сейчас пройдет...» Я вытираю ей лицо уголком простыни, глажу по шелковистым мягким волосам, по теплому лбу... и понемногу она успокаивается... Так же, не поворачиваясь, она высовывает руку, кладет ее на мою, сжимает мне пальцы... я спрашиваю, не надо ли выключить свет... «Нет, нет, не стоит, не беспокойся, ничего страшного, все хорошо, я еще немного почитаю...» И я ухожу, осторожно прикрыв дверь...

— И с тех пор вы ни единым словом не вспомнили об этом.

— Я никому не сказала ни слова.

Потом я не могу уснуть, все пытаюсь понять... между отцом и Верой я, кажется, не почувствовала холодка, как это порою случается, когда они сидят с застывшими лицами и почти не разговаривают за столом... Сегодня вечером они вроде бы ладили друг с другом... что же произошло? откуда это?

Впервые на моих глазах такой знакомый, понятный, близкий человек, каким была для меня Вера, превращался в кого-то другого... какие-то картины, обрывки рассказов, проходившие как бы отдельно, очень далеко от нее, где-то там, за горизонтом, вдруг возвращались, приклеивались к ней, покрывали ее... Она очень веселая, ласковая, даже нежная... родственники и друзья любят ее, потому что она заслуживает, чтобы ее любили... она всегда первая жаждет развлечься, зовет всей компанией поехать в лес за земляникой, за грибами, она очень здорово умеет их находить, да и разбирается в них... она обожает танцевать, никто не станцует лучше ее вальс и мазурку... иногда ей даже аплодируют, она выигрывает призы... у нее в ящике я видела «бальные книжечки», перевязанные розовыми и голубыми лентами, они всегда заполнены, все танцы были обещаны ею заранее... запрокинув голову, она обмахивается веером, лицо у нее еще разгоряченное, порозовевшее, как тогда, давным-давно, когда она кружила меня на улице Буассонад, она качает головой, улыбается... Нет, больше она не может, она вынуждена отказаться от вальса, обещанного одному из этих потрясающих офицеров, облаченных в белые мундиры,— как я восхищалась ими, листая ее семейный альбом... еще там была фотография Вериной матери, у нее очень доброе лицо, Вера так ее любит, не проходит и дня, чтобы она не написала ей, и фотография ее брата с женой, которую зовут Варя... Она лучшая Верина подруга... А Вера взяла и все бросила, уехала на другой конец света... Но ведь я никогда не слышала, чтобы она жалела, чтобы жаловалась, даже когда вернулась, проведя несколько дней в Москве, у своих... Потому что она такая решительная, такая беспощадная к себе... а этот большой шрам у нее пониже локтя, в четырнадцать лет ее укусила гадюка, и она тут же в это место вонзила зубы, вырвав из себя кусок мяса, чтобы яд не пошел дальше... Просто сегодня вечером она слишком раскисла, расслабилась, и то, что она оставила там, далеко, вернулось к ней, захватило, вылилось из нее слезами и стонами...

И отец тоже меняется, я вижу, как он стареет, становится мрачнее, строже... она никогда не зовет его по имени... оттого, что слишком его уважает? или немного побаивается? мне так кажется иногда... но почему, не понимаю... и еще эти люди у нас в доме, люди, подобных которым она никогда не видела, они совсем непохожи на прежних ее знакомых... Это из-за них она так скованна и неразговорчива, когда сидит за самоваром, разливая чай, следит за их тарелками... Что они говорят? Она не слушает, не к ней же они обращаются... они, должно быть, думают про нее, что... Ну конечно, как же... она, наверное, воображает себе... когда они разговаривают между собой, улыбаются ей, протягивают свои чашки и стаканы, любезно кивают в знак благодарности, вежливо благодарят, и она думает, что они считают ее...

— Ну, тут ты, по-моему, ошиблась, она не думала ни о себе, ни о том, какое она на них производила впечатление... Ее занимали, наверное, только они сами — такие смелые, высказывающие без малейших колебаний свое мнение, спорящие, уверенные в своих знаниях и компетентности, такие здравые, такие умные, справедливые, всегда безупречные...

— Да, теперь я понимаю, именно это, видимо, и переполняло ее, когда после ухода гостей она говорила, словно отмечая некую их особенность, черту, делавшую их смешными: «Они очень высокого о себе мнения».

Напишите о своем первом огорчении. «Мое первое огорчение» — так будет называться домашняя письменная работа по французскому.

— В муниципальной школе говорили, наверное, сочинение?

— Может быть... но в любом случае эта письменная работа или сочинение — по французскому — отличается от всех других. Когда учительница велела нам написать в тетрадях «Мое первое огорчение», у меня наверняка возникло предчувствие... а я редко ошибалась... что это «золотоносная тема»... мне чудилось даже поблескивание самородков в далеком тумане... предвестников сокровищ...

Я, наверное, сразу же принялась за их поиски. Мне не к чему было торопиться, времени хватало, но мне хотелось поскорее найти... от этого-то все и будет зависеть... Какое же все-таки огорчение?..

— Но не начала же ты прикидывать, какое бы выбрать, перебирая все свои огорчения...

— Вспомнить одно из своих огорчений? Да нет, что ты, как такое могло прийти тебе в голову? Настоящее огорчение? пережитое мною на самом деле?.. и вообще, что я могла бы назвать огорчением? И какое из них было первым? У меня не было ни малейшего желания задавать себе все эти вопросы Мне нужно было огорчение, не имеющее никакого отношения к моей жизни, огорчение, которое можно изучать, держась на отдалении... это дало бы мне чувство, которое я затрудняюсь определить, но теперь я его вновь ощущаю, так же как тогда... чувство...

— Может, собственного достоинства... сегодня это кажется так бы назвали... и еще превосходства, силы...

—И свободы... Я держусь в тени, вне досягаемости, ничем своим я делиться не собираюсь... но другим я готовлю то, что считаю для них подходящим, то, что они любят, чего могут ждать, какое-нибудь такое огорчение, которое будет им по душе....

— Тогда-то и появилась у тебя возможность заметить... но откуда взяла ты это огорчение?

— Я не помню, но своим появлением оно принесло мне уверенность, удовлетворение... я и мечтать не могла о таком красивом и безупречном огорчении... самом что ни на есть показательном, соблазнительном ...это просто образец всамделишного первого огорчения настоящего ребенка... гибель щенка... что другое может быть пронизано такой детской чистотой и невинностью.

И как ни странно, я и вправду это чувствовала...

— Так ли уж это странно для ребенка одиннадцати-двенадцати лет?.. ты была уже в выпускном классе.

— Эта тема, как я и предполагала, породила во мне множество образов, пока еще скудных, расплывчатых, легких набросков... но со временем они обещали превратиться в настоящее чудо... У меня день рождения, о, какой сюрприз, я прыгаю и хлопаю в ладоши, кидаюсь на шею папе, маме, в корзинке лежит белый комочек, я прижимаю его к груди, потом мы играем, где? — ну как же — в большом красивом саду с цветущими лужайками, полянками, это сад моих дедушки и бабушки, где мои родители, мои братья и сестры проводят каникулы... а потом, о ужас, белый комочек устремляется к пруду...

— Пруд, поросший камышом и покрытый кувшинками... ты видела его на какой-то картине...

— Да, надо признать, он выглядит очень заманчиво, но есть кое-что, еще более многообещающее... железная дорога... мы гуляем неподалеку от нее, щенок забирается на насыпь, я бегу за ним, зову его, но вот на полной скорости мчится поезд, огромный, ужасный локомотив... и тут уж передо мной открываются такие красоты...

Теперь самое время... я всегда оттягиваю эту минуту... боюсь начать не с той ноги, плохо разогнаться... прежде всего — заглавие... «Мое первое огорчение»... может, оно меня подтолкнет...

Слова, которые меня сейчас окружают — не повседневные, не обычные мои слова, сероватые, еле различимые, какие-то неряшливые,— нет, эти слова будто облачены в роскошные праздничные одеяния... многие появились из мест, посещаемых добропорядочной публикой, где надо уметь держаться, блистать... они вышли из моих хрестоматий, из диктантов, из...

— Может быть, из книг Рене Буалева [1], Андре Терье [2] или уже из Пьера Лоти [3]?

---

[1] Буалев Рене (1867—1926) — французский прозаик, писал романы о провинциальной жизни.

[2] Терье Андре (1833—1907) — французский писатель, автор «семейных» романов.

[3] Лоти Пьер (1850—1923) — морской офицер и писатель, культивировавший в своих романах восточную экзотику.

— Во всяком случае, эти слова, происхождение которых гарантирует элегантность, изящество, красоту... мне нравится быть в их обществе, я оказываю им все знаки уважения, которых они заслуживают, слежу, чтобы ничто их не обезобразило... Если мне кажется, что какая-то несообразность портит их облик, я тут же лезу в «Ларусс», ведь нельзя допустить, чтобы какая-то противная орфографическая ошибка, как мерзкий прыщик, изуродовала их. А чтобы связать слова между собой, надо придерживаться строгих правил... если мне не удается найти правила в учебнике, если остается хоть малейшее сомнение, лучше уж такие слова совсем не трогать и поискать другие, которые я смогу вставить в другое предложение, где они окажутся на нужном месте, в подходящей для себя роли. Даже мои собственные слова, которыми я обычно пользуюсь, хорошенько не вглядываясь в них, когда они появляются здесь, приобретают, от сопряжения с остальными, респектабельный вид и хорошие манеры. Иногда я вворачиваю тут или там какое-нибудь редкое словечко, какое-нибудь украшение, которое еще усилит блеск всей фразы.

Часто слова сами диктуют мне выбор... например, в этом «первом огорчении» сухой шелест осенних листьев, которые мы со щенком приминаем бегая или катаясь по ним, после долгих колебаний заставил меня для игр в бабушки-дедушкином саду предпочесть весне осень...

— Хотя, впрочем, «нежные ростки» и «подернутые пушком почки» тоже были весьма заманчивы...

— Осень победила их, и я не жалела об этом... ведь нашла же я в ней «кротость лучей тусклого солнца, золото и багрянец листвы...».

Затворив дверь своей комнаты, я предаюсь самому естественному в мире занятию, самому законному и похвальному — я делаю уроки, и просто случилось так, что в эту минуту я готовлю задание по французскому. Я же не сама придумала тему, мне ее предложили, более того, задали, эта тема выбрана специально для меня, в соответствии с моим возрастом... мне разрешено резвиться в этих пределах, на специально подготовленном и хорошо оборудованном участке, вроде школьного двора или даже, поскольку мои прыжки сопровождаются огромным напряжением, вроде гимнастического зала.

Теперь наступает момент сосредоточить все силы для решающего броска... приближается поезд, его грохот и горячий пар, его громадные светящиеся глаза. А потом, когда поезд пронесся мимо, клочок белой шерсти на рельсах, лужица крови...

Но я пока сдерживаю себя и не касаюсь этого, не тороплю слова, жду, когда они сами выберут нужное мгновение, я знаю, что могу на них положиться... последние слова всегда появляются так, словно их подгоняют все предыдущие...

В темном кинозале на улице Алезии, где я смотрю не помню уж какой немой фильм, сопровождаемый приятной, волнующей музыкой, я призываю эти слова или, вернее, вызываю их вновь, они уже являлись мне прежде, но я хочу еще раз увидеть их... момент благоприятный... я произношу их... они раздаются... может, поменять их местами?.. я снова вслушиваюсь... нет, правда, они хорошо ложатся, составленная из них фраза звучит очень красиво... еще одна небольшая перестановка... но хватит проверять, а то все испортишь... надо только постараться сохранить эту фразу такой, какая она есть, и не упустить ни слова до той минуты, когда я буду переписывать ее начисто, в тетрадь, начав с новой строки, чтобы она снова предстала во всей своей красе, и в ее конце поставлю заключительную точку.

Теперь мне остается только, отступя от последней строки, провести чистым пером по линейке прямую, четкую линию.

— Никогда потом, на протяжении всей твоей жизни, ни один написанный тобою текст не приносил чувства такого удовлетворения и счастья...

Разве что чуть позже, в другом домашнем сочинении, про игрушки...

— Сочинение по французскому, заданное в третьем классе лицея. Я снова испытала тогда ощущение завершенности дела, мне явились прелестные слова, принесшие с собой «веяние прошлого, запах затхлости, ударивший мне в лицо, когда, оказавшись одна на чердаке старого дома, я приподняла крышку сундука, в котором валялись в куче выброшенные, сломанные игрушки... нахлынули чудесные воспоминания...» я словно зачарованная слушала, как глухо мурлычут в моих фразах «сдерживаемая печаль, волнующая ностальгия...».

— На этот раз ты черпала свои слова в основном из Бальзака... Согласись, ты не видела особой разницы между твоими сочинениями и книгами Бальзака, Буалева, Терье...

— Ну да, и это сходство придавало мне чувство уверенности, защищенности... Но должна признаться, мои сочинения нравились мне больше.

Перечитав в последний раз «Мое первое огорчение»... я уже знала наизусть целые пассажи... я нашла его безупречным, совершенно гладким, и четким, и завершенным...

— Тебе была необходима эта четкость, гладкая завершенность, ты хотела, чтобы ничто не выбивалось из...

— Мне нравилось все точное, строго очерченное, неизменное... Позже именно поэтому меня привлекла планиметрия, неорганическая химия, основы физики... теорема Архимеда, машина Атвуда[1]... тут уж я была застрахована от всяких колебаний, непрочности, неустойчивости... у меня почва уходила из-под ног, как только мне нужно было удалиться от этих областей, где я чувствовала себя в полной безопасности, и ступить на зыбкую, тревожную почву стереометрии и органической химии... «Первое огорчение» завершено и отделано как нельзя лучше, в нем нет ни малейшей шероховатости, ни одного резкого, сбивающего с толку движения... только равномерное и легкое покачивание, тихий напев...

Нет, такое домашнее задание безусловно заслуживает того, чтобы я показала его отцу. Он любит смотреть мои тетрадки. Особенно по французскому.

Нам надо остаться одним, между нами существует молчаливый уговор, что Вера не должна при этом присутствовать. Так же как, не произнеся ни звука, мы условились, что ее не будет рядом, когда я показываю отцу свой школьный дневник.

Конечно, от нее невозможно скрыть крестик, который учительница прикалывает мне на фартук, и я хожу с ним всю неделю, и тогда в Вере поднимаются легкие волны недовольства, враждебности.

Когда я, с тетрадкой в руке, вхожу в рабочий кабинет отца, он тут же оставляет все свои дела и начинает меня слушать... а я, читая ему, вновь испытываю наслаждение, как при чтении наизусть, только сейчас оно еще сильнее... в каком другом тексте моя интонация сможет лучше оттенить все нюансы?

Отец всегда очень сдержан, он не рассыпается в комплиментах, да они мне и не нужны, я понимаю по его лицу, по тому, как он меня слушает,— он скажет мне, что это очень хорошо. Ничего больше. Но мне достаточно. Нам и в голову не приходит, что эти домашние задания заслуживают оценки иного порядка. Никогда, даже отдаленно, намеком, не возникает у нас мысль о «писательском даре»... это уж самое последнее, что можно себе вообразить...

— Ты в этом уверена?

— Абсолютно. Я просто очень хорошо справилась с домашним заданием. Я ничего такого себе не позволила, да мне и не хотелось, я никогда не стремлюсь перейти предписанные мне границы, блуждать бог весть где, забраться туда, где мне нечего делать, искать неведомо что... или, чтобы быть точнее... я не позволяю себе того, что больше всего ненавидит отец, о чем он не может говорить без презрительной усмешки,— того, что он называет «мелкой славой»... нет, конечно, я к этому не стремлюсь. У меня и мысли не возникает о том, чтобы стать писательницей. Иногда я задаю себе вопрос, не смогла ли бы я быть актрисой... но для этого надо родиться красавицей, вроде Веры Корен или Робин. Нет, я бы хотела стать учительницей.

Когда учительница собирается вернуть нам сочинения, я предчувствую, вернее, я уверена, что она начнет с моей фамилии. Отметка не так уж и важна... наверное 8, а может быть 9... Но мне необходимо, чтобы мой успех был признан, чтобы мое сочинение стояло в начале списка!...

— А ты совсем не задумывалась о том, что это будет просто первое из тридцати довольно посредственных сочинений, и, следовательно, это отличие...

— Нет, не задумывалась. Номер первый представляется мне верхом совершенства. Чем-то, что царит надо всем. Неважно где. Я пребываю во власти заблуждения,

[1] Атвуд Джордж (1745—1807) — английский физик, изобрел прибор для изучения и демонстрации закономерностей падения тел.

что это уже вне конкурса. Ведь не может быть, чтобы то, что сделала я, шло после того, что сделал кто-то другой.

— А помнишь ярость против себя самой... в лицее Фенелон... когда мсье Жоржен, раздавая латинские переводы, впервые сказал тебе: «Что случилось? Вы...» ты оказалась тогда третьей или второй?

— По дороге домой я вытащила из портфеля эту мерзкую тетрадку, растоптала, разорвала ее на кусочки и выбросила в фонтан на площади Медичи.

Все дети вокруг меня говорят «мама», Лили умеет теперь произносить это слово, Вера, говоря обо мне, называет меня своей дочкой... и люди иногда удивляются... У вас уже такая большая дочь? она ведь и вправду только на пятнадцать лет меня старше... И потом, хотя Вера и выглядит молодо, мне неудобно называть ее по имени, будто я взрослая, как папа, и поэтому однажды я предлагаю... совершенно не помню, как все это было... говорить ей «мама». Она отвечает: «Хорошо, только спроси разрешения у своей матери»...

Зато я прекрасно помню, как, сидя за столом, между отцом и Верой, я роняю слезы прямо в суп, помню молчание, царящее вокруг меня... отец не задает мне вопросов, он, должно быть, уже знает... Вера, наверное, все объяснила ему, как только он пришел, она, наверное, сказала: «Борецкая...— я знаю, между собой они называют маму Колиной фамилией...— Борецкая... ответила... что она не согласна».

Я пытаюсь сдержать слезы, но они текут все сильнее и сильнее, я утираю их носовым платком, сморкаясь... отец раздражен, рассержен, он хмурится... похлопывает меня по плечу... «Не горюй...— он всегда употребляет это слово, когда я «расклеиваюсь»...— не горюй, поверь мне, оно того не стоит». Но он не знает, что было в этом письме... мамина обида, негодование... какой надо быть бессердечной, черствой, неблагодарной, как можно забыть самые священные узы, то, что должно считать самым дорогим на свете, свою мать, это имя не может носить ни одна другая женщина, даже речи быть не может... ведь я предложила ей и другое... «мама Вера». Слово «мама» ни с кем больше не сочетается. У меня только одна мать на свете... и она еще жива...

Те давние слезы, высохшие уже почти два года назад... но какими длинными были годы в том возрасте... те мои слезы наворачиваются вновь, еще более горькие, жгучие.

Из больших синих листов бумаги, которыми я обычно обертываю учебники и тетради, я вырезаю маленькие квадратики, несколько раз складываю их, как мне показали, и у меня получаются бумажные птички. На голове у каждой с одного бока я надписываю имя, с другого — фамилию девочек из класса: вместе со мной их тридцать. Я расставляю птичек на столе, в несколько рядов, и я — их учительница... не та, настоящая, которая учит нас в этом году... я сама ее придумала... сажусь на стул, напротив.

Так, без особых мучений и даже забавляясь, я могу выучить самые тоскливые уроки. Я держу перед собой учебник по истории или географии и задаю вопросы своим ученицам и себе самой — «этим бездельницам»,— когда я сама еще не очень-то хорошо знаю урок... они что-то лепечут, наговаривают мне бездну глупостей и нелепостей, которые я тут же изобретаю, передразнивая... мне очень нравится передразнивать людей, и иногда у меня это выходит очень смешно...

Замаскированное моими выдумками, дурачеством и уморительной белибердой, в меня может проникнуть то, что в обнаженном виде наверняка было бы отторгнуто: мирные договоры, названия битв, городов, департаментов, стран, их площадь, число жителей, промышленность... я приправляю все это чем-нибудь повкуснее... ну, например... «Скажи-ка мне, да, ты, ты, Мадлен Тамбуатт... чего ж ты так растерялась... Кто выиграл битву при Пуатье? Кто? Не подсказывайте...— я нетерпеливо стучу карандашом по столу ..— Кто, ты сказала? Шарль и Марсель... Браво! Не надо смеяться. Шарль Мартель, невежда... Шарль Мар-тель... А ты, Сюзанна Морэн, скажи нам, кого он победил? Да ну! Немцев! Да что ж ты такое несешь, у тебя просто каша в

голове... Немцы как раз отняли у нас... что, скажи, Жермен Пеллетье?...— и она отвечает своим писклявым голосочком...— Эльзас и Лотарингию, в 1870 году... Очень хорошо... Но в один прекрасный день мы их отберем обратно. А при Пуатье... Мадам! Ну ладно, давай... Правильно, при Пуатье мы победили арабов... в 732 году. Запомните хорошенько: 732 год...»

Иногда к нам на уроки приходят инспекторы... самые разные... толстяки, страдающие одышкой, они, тяжело пыхтя, еле выдавливают из себя по слову... бледные, тощие злюки, с шипением исторгающие кисло-сладкие или резкие замечания... но я тоже преображаюсь и меняю как мне заблагорассудится свою внешность, возраст, голос, манеры...

Этот инспектор туговат на ухо... «Что сказала ваша ученица? — Я тут же изменяю неправильный ответ...— Она так сказала? А мне показалось...— Нет, господин инспектор, весь класс слышал... Ведь правда (слащавым голосом), дети мои? — И весь класс, хором, будто блеет...— дааааа, маададааам...»

Как мне не хочется говорить моим ученицам, что наши занятия на сегодня окончены, собирать бумажных птичек, плотными рядами укладывать их на место, в коробку.

Я лежу у себя в комнате, на вилле в Медоне, куда мы приехали на лето... Моя правая рука распухла, одеревенела и вся горит, от плеча до запястья она сплошь покрыта прыщиками, у меня высокая температура... это от укола, который, чтобы мы не заразились дифтеритом, сделал нам с Лили здешний доктор. У Лили ничего нет, а я... говорят, что игла, наверное, была не очень чистая... мне становится все хуже и хуже, по моему телу снуют жирные уховертки, которых я до смерти боюсь, они сейчас залезут мне в уши, я кричу... папа что-то ласково мне говорит, его ладонь лежит у меня на лбу... каждый раз, приходя в себя, я протягиваю руку и касаюсь его, он здесь, рядом... Только он... Вера — никогда...

— Ну, это вряд ли... Так уж и никогда?

— Никогда. Во всяком случае, за время той болезни...

— Она, должно быть, сердилась на твоего отца...

— Возможно. Она часто мстила ему так — совершенно переставала мною заниматься. А уж если Вера принимала какое-нибудь решение... можно было умереть...

— Это как раз был тот случай...

— Уже почти стемнело... Отец внезапно поднимает меня, закутывает в одеяло и несет куда-то, ему помогает незнакомый мужчина... шофер такси, которое он вызвал из Парижа... Всю дорогу он утешает меня своим прежним голосом, гладит по голове... «Это пустяки, вот увидишь... мы едем к очень известному детскому доктору, профессору, уж он сумеет тебя вылечить...» Такси останавливается на широкой парижской улице, меня поднимают наверх, проносят на руках через просторные залы в ослепительно белую комнату... доктор осматривает меня... берет пинцет и вскрывает один за другим прыщики у меня на руке.

— У тебя до сих пор еще видны следы.

— Он накладывает мне повязку, делает укол, он очень спокойный и ласковый. Папа с шофером выносят меня... Мы едем домой, у папы счастливый вид, он прижимает меня к себе... Ты обязательно выздоровеешь, профессор Лесаж...

— Он часто повторял это имя... «Профессор Лесаж... какой врач... я никогда его не забуду... Если бы не он...»

— «Профессор Лесаж обещал... Как хорошо, что мы у него побывали... сейчас ты уснешь, скоро ты уже будешь в кроватке, и все пройдет, ты быстро поправишься, Ташочек, доченька моя дорогая».

С недавних пор, выходя в четыре часа из школы, я не слоняюсь по двору, не болтаю с подружками, не играю в классики, мне хочется поскорее попасть домой, я знаю, что она слышала школьный звонок и ждет меня... я теперь не проскальзы-

ваю по коридору к себе, я захожу сначала в ее комнату, куда ведет дверь прямо из передней, я подбегаю к ней, целую ее, обнимаю, я называю ее по-русски «бабушкой» или по-французски «grand-mère», она сама так захотела, хоть она и Верина мама.

Но ни одна настоящая бабушка на свете не сможет мне понравиться больше, чем эта. Хотя в ее внешности нет почти ничего общего с бабушками, про которых пишут в книжках.

— И почти ничего общего с той, которую ты сама описала позже в одной из своих собственных книг...

— Да, ничего, кроме мягкой юбки, пятен на руках, маленькой ложбинки у сустава... Но волосы у нее блекло-желтые, а глаза желтовато-зеленые, немного выцветшие, а не эмалево-голубые, у нее широкое бледное лицо с довольно крупными чертами... попробуй слепи из нее изящную розово-голубую статуэтку бабушки из волшебных сказок... она никогда не затвердеет... в ней есть какое-то постоянное движение, искрящаяся живость, которые тут же обращаются на то, что ей показывают.

Я кладу портфель, мою руки в ванной комнате, разделяющей наши спальни, и мы садимся полдничать, она заваривает чай на маленькой плитке, достает из шкафа баночку морковного варенья, приготовленного ею по собственному рецепту, и только мы с ней можем по достоинству его оценить... я рассказываю ей о том, что произошло в школе, и ее манера слушать делает все интересным, забавным... Теперь самые противные уроки я учу вместе с ней... благодаря ей даже в заданиях по географии появляется что-то приятное, мне больше не нужны бумажные птички. Я показала их только ей и однажды даже провела свой урок в ее присутствии, она очень веселилась...

Мы с ней много смеемся, особенно когда она читает мне комедии... «Мнимого больного»... или «Ревизора»... она здорово читает, и иногда сама так хохочет, что даже не может читать, а я буквально корчусь от хохота на коврике у ее ног.

Не верится, что она приехала во Францию впервые в жизни... Она так говорит по-французски, будто всегда здесь жила, ни в ее произношении, ни в интонациях нет и следа иностранного акцента, она никогда не ищет слова...

— Только иногда... очень редко... она употребляет немного старомодные слова... например, «определять» вместо «класть» — «определи это в ящик комода»...

— Случается, во время еды она забывает, что находится во Франции, и если говорит по-русски и хочет, чтобы подающая на стол прислуга не поняла ее, переходит на французский, и порой ее замечания весьма нелюбезны... тогда Вера напоминает ей по-русски, что она во Франции, и она краснеет и очень сокрушается, теперь уже по-русски... «Боже мой! конечно, я совсем сошла с ума! Какой ужас...»

Папа называет ее Александрой Карловной... Карл — имя нерусское, ее отца звали Шарль Фё де ля Мартиньер, он был французским офицером, которого Наполеон послал в Россию с особой миссией (я долгое время считала, что это был Наполеон I, и была разочарована, узнав, что речь шла о Наполеоне III). Там он женился на русской, и некоторое время спустя оба умерли от холеры, оставив после себя дочь Александру...

В ее присутствии наши трапезы преображаются... я чувствую, что между нею и отцом существует взаимное уважение, привязанность... отец помногу говорит с ней, и она, в свою очередь, что-то ему рассказывает, спорит, они задают друг другу вопросы и задают их мне тоже — о моих занятиях, с полнейшей беззаботностью, как будто Веры здесь нет, и я отвечаю как ни в чем не бывало Отец расхваливает методы обучения и воспитания, которые приняты здесь в начальной школе, если судить по той, в которой учусь я... Французские школы — просто образец просвещения... Отец хочет передать ей свою любовь к этой стране.

После ужина я обычно возвращаюсь к ней в комнату, она учит меня вязать крючком большой круглый платок в крупную сетку, она вяжет такие платки для себя и всегда носит их, сложив пополам и накинув на плечи... Мне нравится вместе с ней вспоминать немецкий, который я выучила когда-то, болтая с бонной, и она дает мне читать тексты, написанные готическим шрифтом... Она учит меня играть на фортепиано, хотя меня это увлекает гораздо меньше, но ей очень хочется, чтобы

я научилась играть, и я, сидя возле нее, безропотно повторяю одно и то же, бесконечные гаммы и упражнения — что может быть скучнее!..

Однажды я спросила ее, где она выучилась всему тому, что знает, и она рассказала мне, что после смерти родителей над ней взяла опекунство царица и отдала ее на воспитание в Смольный институт... В Петербурге у меня была книга, действие которой происходило в Смольном институте... Мама говорила, что это безвкусная, пошлая книга... «И что в ней тебя так привлекает?» Но я была без ума от нее... Я даже думаю, что именно ею был навеян один эпизод моего злополучного романа, в котором с первым дыханием весны умирал от чахотки юноша...

Устроившись прямо на полу, я опираюсь о бабушкины колени, слушаю ее рассказы о детстве, и в моем воображении возникают голубоватые отсветы широких заснеженных площадей, колонны на фасадах дворцов, окрашенных в нежные тона, высокие окна с двойными рамами, между которыми лежит слой ваты, посыпанной серебряными блестками, разукрашенные морозным узором стекла, переливающиеся сосульки, санки... и в одном из таких дворцов — просторные галереи со сверкающим паркетом, белые спаленки... красивые форменные платья, строгий распорядок... каждый второй день надо говорить только по-французски... на следующий — по-немецки... ни за столом, ни в коридоре даже шепотом не разрешается произнести хоть одно русское слово. Француженки, немки, англичанки неусыпно следят за всем, от них ничего не укроется... А праздники... приезд царицы... явление самой красоты и доброты... представления, реверансы... бал, белые платья, приколотые к волосам цветы... как бесконечно далеко все это от узких здешних улочек, скучных, серых домов, от наших черных передников, от моей школы, от ее классных комнат, от школьного двора с асфальтовой площадкой, от смотрящего со стены доброго старого президента Фальера...

Ну что тебе еще рассказать? Не думай, что у нас там всегда было так уж радужно, мы часто мерзли, распорядок был — строже некуда, родители у меня умерли... — А потом, когда ты окончила?.. — О, потом... я очень рано вышла замуж... за офицера... Я знала, что ее муж, Федор Шереметьевский, начал пить... уж не помню кто, но, конечно, не она, сказал мне, что он умер от ужасной болезни, когда больному мерещится, что вокруг снуют кошмарные звери... от белой горячки... После его смерти я осталась одна... он был таким транжиром, все спустил... с четырьмя детьми на руках... мне пришлось учительствовать, давать уроки... — Ты потому так все знаешь? — А что ж ты хочешь, у меня не было другого выхода... дети были еще совсем маленькие... Теперь Федор... бабушка всегда с гордостью говорит о старшем сыне... Федор — профессор в университете... Женя получила прекрасное образование... Лидия... о ней бабушка не особенно любит рассказывать... Вера иногда говорит, что у ее сестры не все дома... ну а сама Вера... бабушка называет ее «деткой», она ее младшая дочь... я чувствую, как она любит ее...

— Кажется, за все время, что она пробыла здесь, между ними не возникало никаких разногласий, они не обменялись ни единым неприятным словом... Вообще, если подумать, очень странно, что Вера приняла твою нежную дружбу с ее матерью... и некоторую отчужденность, или, скорее, дистанцию, между нею и Лили... Но Вера знала, что совсем маленькие дети не очень-то ее интересовали, и понимала, должно быть, что нервозность Лили, ее бесконечные капризы и нытье отдаляли от нее людей, даже собственного отца... Он только потом с нею сблизился...

— Чувствовалось, что Вера очень любит и уважает мать, и та относится к ней с нежностью, но что Вера ее немного тревожит, должно быть, она была трудным ребенком... бабушка как-то сказала мне... больше она никогда к этому не возвращалась... «Она вылитый отец... Никто из моих детей так на него не похож... Когда она хотела или не хотела что-нибудь делать, не было никакой возможности... она унаследовала это от него... и еще его страсть к танцам, настоящий талант... его бесстрашие... Сама-то я скорее...» Я крепко обнимаю ее, прижимаюсь к ней... «О, ты, ты.. ты лучше всех на свете».

А потом так же внезапно, как она у нас появилась, бабушка уехала. Ее умолял вернуться сын. Она много занималась тремя его дочерьми и обещала приехать через несколько месяцев, а вот уже скоро год... поэтому пора уезжать... она повторяла мне это не раз, но я не сосредоточивалась на ее словах, это же было невозможно, я не хотела...

Когда перед самым отъездом мы остались с ней вдвоем и она сжала меня в объятиях, у меня словно помутилось сознание... Она чуть отстранила меня, чтобы поглядеть мне прямо в глаза, погладила по щеке и сказала: «Продолжай хорошо учиться, это самое главное». А потом добавила, очень удивив меня: «И береги папу».

У меня не сохранилось никаких воспоминаний о своем состоянии после ее отъезда... я только могу вообразить его, это нетрудно. Зато я отчетливо помню, как позже, некоторое время спустя, папа спросил Веру слегка встревоженно... они были в соседней комнате и думали, что я их не слышу... «Что происходит с Наташей?» И она ответила: «Это из-за маминого отъезда...»

Адель иногда водила меня в церковь Монруж, и я повторяла там за ней ее жесты... которые, впрочем, на мой взгляд, мало чем отличались от проявления элементарной вежливости... быстро окунуть руку в кропильницу, автоматически перекреститься, слегка преклонить колено, проходя мимо алтаря... не сделай я этого, она была бы очень шокирована, — точно так же, как если бы я забыла сказать «до свидания, мадам», выходя из лавки... или не посторонилась в дверях... Мне в голову не приходило... несмотря на все эти обряды, строго и неукоснительно исполняемые Адель — она часто ходила на шестичасовую утреннюю службу, никогда не пропускала воскресной мессы, — я не могла даже заподозрить в ней хоть намек на духовность, на даже малейшее чувство возможного существования чего-то неземного, внеземного, не укорененного в мире, в котором она жила.

— Но ты сама, когда молилась...

— Ну, это было скорее суеверием... я читала «Отче наш» или «Богородицу»... точно так же, как стучала по дереву, чтобы не сглазить или со смутной надеждой получить то, чего мне очень хотелось...

В русской церкви, на улице Дарю, куда меня водила бабушка, я вместе с ней падала ниц, касалась лбом пола, крестилась, но не так, как с Адель, слева направо, всей ладонью, а наоборот, справа налево, тремя пальцами, прижав большой к среднему и указательному.

Не знаю, действительно ли бабушка была верующей, мне кажется, она ходила в церковь по праздникам, чтобы принять участие в любимых ею обрядах, чтобы вспомнить свою Россию, погрузиться в нее, и я погружалась в Россию вместе с ней... я узнавала жар, пламя бесчисленных свечей вокруг себя, иконы в серебряных и золотых, словно из кружева сотканных окладах, освещенные огоньком разноцветных лампадок, церковное пение... узнавала разлитое вокруг и изливавшееся на меня саму какое-то рвение, тихую и спокойную восторженность, которую я уже переживала когда-то... не помню где — в Петербурге или еще раньше, в Иванове...

— Как странно, что в таком возрасте тебе даже в голову не приходило, что обе эти религии вовсе не были религией твоих предков... что никогда никто с тобой об этом не говорил...

— Мама не хотела этого знать... по-моему, она как-то не задумывалась. Что же касается отца, то он считал все религиозные обычаи пережитками... устаревшими, отжившими верованиями... он был «свободный мыслитель», и для него, как и для всех его друзей, один только факт упоминания о том, что такой-то — еврей, или что он не еврей, или что он славянин, был проявлением самой дремучей реакционности, да просто-напросто непристойностью...

О людях, которые бывали у нас, говорили только, что они русские или французы. А в школе вроде бы и вовсе не существовало такого понятия, как «русский», всех детей, каким бы ни было их происхождение, считали просто славными маленькими французами. Я не помню, чтобы мне задавали какие-то вопросы, ни у кого, очевидно, и мысли не возникало о различии рас или религий.

Отец отпускал меня во все церкви, куда меня водили... возможно, он считал, что эти красивые церемонии могли оставить у ребенка только прекрасные воспоминания, и от Бога, от Христа от святых, от Богородицы он меня пытался отвратить не больше, чем от просьб, обращенных к Деду Морозу...

Но позже, всякий раз, когда возникал этот вопрос, я слышала, как отец тут же объявлял, просто трубил на всех перекрестках, что он еврей. Он считал, что стыдиться этого подло и глупо, и говорил: «Нет, сколько же понадобилось ужасов,

гнусностей, сколько лжи и низости, чтобы дойти до такого положения, когда люди стыдятся своих предков и вырастают в собственных глазах, если им удается приписать себе других, неважно каких, лишь бы не тех... Ты не считаешь,— говорил он мне иногда, уже гораздо позже, — что все-таки, когда только подумаешь...» Да, я тоже так считала...

Мадам Бернар никогда не спрашивала меня о моей семье и говорила мне, как всем остальным: «Скажи маме, чтобы она зашла в школу...» она, должно быть, заметила, что приходил всегда папа... во всяком случае, не знаю уж почему, она как-то пригласила меня на следующий день к себе на чай... и после чая мы смогли бы вместе с ее детьми готовить уроки...

— Может, из-за того случая... ну, ты помнишь... вши...

— А, да, вши... в классе еще почти никого нет, за мной сидят только две наши худшие ученицы, неразлучные сплетницы, вечно они шепчутся между собой, перемигиваются, хихикают... Я их избегала, но они играли не последнюю роль в моем классе бумажных птичек, они оказывали мне неоценимую помощь, когда я начинала скучать, благодаря им я могла повеселиться, заставляя их произносить всякую абракадабру и смешно, нагло отвечать на мои вопросы.

Но сейчас они, во плоти, сидят за мной, и вовсе они не смешные, а скорее отвратительные, грубые, злобные, они постоянно шепчутся, хихикают... приглушенно прыскают и вскрикивают, а когда я оборачиваюсь, замирают... Как только кончаются уроки, они несутся вниз по ступенькам, подбегают к мадам Бернар и что-то с возбужденным видом шепчут ей... и вот уже мадам Бернар ищет меня глазами, делает мне знак приблизиться и ведет в маленький кабинет возле класса. Там она говорит мне: «Дай-ка я посмотрю твою голову...» Она наклоняется и, вглядываясь в мои волосы, произносит смущенным, негодующим, серьезным, сочувственным тоном эти неожиданные слова: «У тебя вши... Надо от них избавиться как можно скорее... Ты должна несколько дней посидеть дома... Кто-нибудь из учениц принесет тебе все что нужно, чтобы ты знала, что мы проходим, и ты передашь с ней домашние задания, ты не отстанешь... и скажи маме, чтобы она ко мне зашла». И она смотрит на меня обеспокоенным, проницательным, ласковым взглядом, в котором я, как всегда, чувствую ее деликатность, большую, застенчивую доброту...

Я со всех ног бегу домой и сообщаю Адель и Вере эту удивительную новость: «У меня вши! Да, в волосах»... Адель бросается ко мне, смотрит, расплетает косички, подтверждает... «Неужели ты ничего не почувствовала? Голова не чешется? — Да нет...— Иезус Мария, пресвятая Дева, смилуйся над нами, тут даже гниды...» Я впервые слышу это слово... Да, здесь и гниды— такие яички, которые откладывают вши... Вера брюзжит, сердится на Адель, Адель защищается, обвиняет меня... «Вот что значит делать все самой... Мадемуазель сама заплетает косы, сама умывается, дотронуться до себя не дает... Не прекращая «отвечать мадам», которая изволит пребывать в ярости, Адель собирается в аптеку и приносит оттуда мазь, смазывает мне всю голову, разнимая по прядкам волосы, тщательно пропитывает их и туго закручивает в полотенце.

Я ничего не знаю о том объяснении, которое, надо думать, состоялось позднее между Верой и отцом.

Я плохо понимала возбуждение и хихиканье тех двух учениц, серьезное, озабоченное, смущенное лицо мадам Бернар, ее мягкое и деликатное участие... и взволнованность, протесты Адели, яростные нападки Веры... я всегда чувствовала себя чистой, и вши у меня в голове не так уж отличались, на мой взгляд, от микробов, которые в тебя проникают, ничего уж тут не поделать, заразилась же я корью...

Не помню, сколько раз была я у мадам Бернар, если вообще ходила к ней часто... все мои воспоминания основываются на нескольких ярких штрихах... поблескивание желтовато-зеленой клеенки, которой покрыт большой квадратный стол в столовой, освещенной люстрой под абажуром из опалового стекла... лицо мадам Бернар — розовое пятно, обрамленное густыми серебристыми волосами... ее округлая и небольшая фигурка, живые и точные движения, когда она раздает нам — мне и своим детям — плитки шоколада, бутерброды... и еще тетрадки, открытые перед нами, наши руки... нас самих я не вижу, только руки, пальцы, которые тянутся вперед и

обмакивают перья в массивную стеклянную чернильницу, стоящую посередине стола... Мадам Бернар сидит в кресле, немного в стороне и молча вяжет... и от ее позы, от движения ее пальцев, легкого постукивания спиц, от ее взгляда, останавливающегося на мне, когда я поднимаю голову, взгляда, полного внимания... сдержанного и... нежного? — нет, все же нет, и так мне даже больше нравится, так спокойнее, надежнее, если мы не станем переходить границы... отдаленные, но все-таки не слишком, эти границы на хорошем, на самом подходящем расстоянии... границы простой доброжелательности.

— Наверное, это все-таки было до бабушкиного приезда...

— Или, может быть, после?

— Нет, до... по-моему, бабушка приехала, когда ты переходила в выпускной класс...

— В этом году нашей учительницей была мадемуазель де Т... Полностью ее фамилию я не вспомню... мне кажется, короткая, с игреком или «э» на конце. Приемную дочь мадемуазель де Т., она была младше меня, звали, кажется, Клотильда.

Мадам Бернар, должно быть, «передала» меня мадемуазель де Т... потому что с первых дней я почувствовала ее внимание, ее симпатию ко мне... потом, в течение года, она иногда предлагала мне, если мы вместе выходили из школы, проводить ее до дому, она жила недалеко, где-то на той же стороне улицы Алезии, так что на обратном пути у меня не было ни одного опасного перехода.

Она тоже не задавала мне никаких вопросов личного порядка, мы шли молча или говорили о том, что проходили на уроках, или о книгах, которые я читала дома... я, как и она, брала книги в библиотеке мужской школы... Мы идем по улице Алезии, в сторону парка Монсури, она держит за руку Клотильду, она слегка наклоняет ко мне свое длинное, худое туловище, свое узкое лицо с плоскими щеками, откидывает назад, это ее привычный жест, прядь каштановых волос, спадающую ей на лоб, на ее живые глаза...

На уроках она произносила каждое слово с предельной отчетливостью, объясняла медленно, терпеливо, часто, слишком часто, повторяя одно и то же... С ней, еще полнее, чем с мадам Бернар, меня охватывает чувство, что я исследую... я своего добьюсь, надо только собраться... исследую целый мир, с четко очерченными границами, мир прочный, повсюду открытый для взгляда... как раз по моим силам.

Еще при мадам Бернар у меня стоял комок в горле и у нас обеих на глазах наворачивались слезы, когда она рассказывала о войне 70-го года, об осаде Парижа, о потере Эльзаса и Лотарингии. От «Марсельезы», которую мы пели хором, во мне все пробуждалось, вибрировало, я чувствовала, что ее звуки пронизывает гнев нестерпимого поражения, жажда отмщения, воинственный порыв...

С мадемуазель де Т. преклонение перед теми людьми, которые жертвуют жизнью ради отечества, достигло своего апогея...

Портрет Бонапарта на Аркольском мосту, бросающегося вперед со знаменем в руке, висел между рамкой и зеркалом у меня над камином и был воплощением моих грез о героизме и славе.

— Но твоя великая любовь к нему возникла позже...

— Была ли это любовь? Я настолько отождествляла себя с ним... Когда позже, в лицее, я приколола на стену в своей комнате огромную карту битвы при Аустерлице, которую сама начертила цветными карандашами,— там был отмечен каждый полк, каждый холмик... я перевоплотилась в этого тучноватого, с брюшком Наполеона, но его-то я как раз не видела, это была я, я сама, и словно сквозь него я смотрела в подзорную трубу, отдавала приказы...

— Когда мадемуазель де Т. повела весь класс в Люксембургский музей и задала потом на дом сочинение «Какая картина вам больше всего понравилась», ты выбрала, разумеется, «Мечту» Детайя[1]...

---

[1] Детай Эдуард (1848—1912) — французский художник, занимался в основном батальной живописью.

— От этого сочинения, где я описывала «батальоны героев, шествующих по небосклону славы над спящими солдатами в темных шинелях», у меня осталось ощущение восторженности, изливавшейся во фразы, которые неизвестно откуда у меня взялись, фразы и так донельзя выспренние, но я раздувала их еще и еще, чтобы они вознеслись как можно выше, мне все было мало...

Студент склонился над столом, заваленным тетрадками, книгами, он готовится к экзамену... как вдруг, за его спиной, раздвигаются портьеры из темного бархата... оттуда высовываются руки с толстыми сильными пальцами, тянутся к нему... руки в перчатках из белесой кожи... из человеческой кожи!.. они медленно приближаются, обхватывают шею студента, сжимают ее... нет, я сейчас умру, тщетно я оставляю гореть свет в комнате и, лежа в постели, прижимаюсь спиной к твердой голой стене, без всяких портьер... из нее ничего не может высунуться... я вижу эти руки душителя, они приближаются сзади к моей шее... я не выдерживаю, спрыгиваю с кровати, босиком бегу по коридору, стучусь в дверь спальни, папа открывает мне, выходит, тихонько притворив за собой дверь, Вера спит... «папа, умоляю, позволь мне побыть с тобой, я боюсь, я больше не могу, я уже по-всякому пробовала, мне мерещатся руки...— Что такое? Какие руки? — Ну, руки в перчатках из человеческой кожи...— я всхлипываю...— ну, пожалуйста, я тихо буду, я лягу на коврике, у кровати...— Ты с ума сошла... насмотрелась всяких идиотских фильмов... даже не спрашиваешь...— Почему? Я тебя спросила.— Нет, ничего ты не спросила.— Нет, я спросила, можно ли мне посмотреть с Мишей «Фантомаса», и ты разрешил...— Нет, это невероятно... подумай только, какая трусиха... Я уверен, что Миша не испугался...— Но я сейчас умру... как представлю, что они могут вернуться... посиди со мной...— Этого еще не хватало. Мне вставать в шесть часов... ты же здорова, у тебя ничего не болит, распускаешься, как младенец, нюня ты этакая... в одиннадцать лет надо уметь владеть собой, стыдно. Больше ты в кино не пойдешь...»

Я возвращаюсь к себе, ложусь, меня переполняет ярость, я подверглась унизительному отказу, мною так оскорбительно пренебрегли, ярость переполняет меня, я сейчас лопну, взорвусь, разнесу все, что посмеет только приблизиться ко мне... руки... да какие угодно руки, даже в перчатках из человеческой кожи... пусть только покажутся... но пока я ложусь, поворачиваюсь, не спиной к стене, зачем, нет, спиной к пустоте за собой, нарочно,— вот сейчас поглядим... хоть я и закрываю глаза, замираю и спокойно жду, мое бешенство должно удержать их на расстоянии, уж за моей-то спиной они вылезти не осмелятся, они себе спокойненько остались там, в фильме, далеко-далеко... за спиной того юноши... руки... Миша был прав... перчатки из человеческой кожи, вот эти? Да видно же, что они резиновые... перчатки из толстой резины... я смеюсь, немного громче, чем надо, я не могу остановиться, я плачу от смеха и засыпаю.

Последнее время у Веры более размягченный вид, она веселее обычного, исчезли ее вечно поджатые губы, ее жесткий, неприязненный взгляд, она такая, как была прежде, когда кружила меня на улице Буассонад или сидела со мной и отцом в Люксембургском саду...

— Даже позже — ведь все это было так давно — она иногда, правда очень редко, оттаивала, молодела, как во время ваших велосипедных прогулок в лес Фонтенбло, или когда ты смешила ее, поглощая полные тарелки макарон, или когда она, возбужденная, веселая, обертывала тебе книги и тетрадки... были же минуты...

— И в эти минуты, о которых я сейчас говорю, еще теплее, чем всегда, я ощущаю в ней то, чего никогда не ощущала прежде... да, привязанность, сердечность... конечно, это возникло уже давно, но было погребено, затвердело, засохло, а теперь поднимается на поверхность, распускается... и тотчас мое доверие, мои чувства к ней... так мало надо, чтобы они забили... разлились во мне, затопили все, выплеснулись наружу...

Поэтому, когда Вера предлагает, чтобы мы с ней — я ведь так давно об этом мечтаю — поехали смотреть на большие фонтаны Версаля и предлагает мне позвать с собой двух подружек... «Кого ты хочешь? — Люсьен Панар...— А еще? — Клер Хансен, с ней всегда весело... мы вместе играем на переменках, мы уже научились жонглиро-

вать тремя мячиками... и даже четырьмя, чуть-чуть... — О, ну вы мне покажете... мы устроим пикник... — Да, только... что же мне делать? Ведь мама-то уже приедет... Это же будет на следующий день после ее приезда... — Ну и что, ты ей скажешь... она все прекрасно поймет, она будет в восторге, что ты так хорошо проводишь время... — Ты думаешь? — Конечно, я уверена, какая мать не обрадуется?.. Ведь это всего на один день... Впрочем, как хочешь, я вовсе не собираюсь...»

Я колеблюсь лишь мгновение, я не в силах устоять, очень уж это заманчиво и увлекательно... «Ладно, будь что будет, я ей скажу... значит, точно, мы едем?»

И вот мама уже здесь, она приехала, она проведет со мной весь август... она ждет меня, сейчас я увижу ее... я так давно ее не видела, мне было тогда только восемь лет...

— Ровно восемь с половиной — это было в феврале 1909-го.

— А восемнадцатого июля мне исполнилось одиннадцать... я кажусь себе совсем взрослой, когда, выйдя из дома на улице Маргерэн, отправляюсь сама, без провожатых, куда-то далеко, куда мои домашние не могут со мной пойти... впрочем, если бы и могли, они бы все равно не захотели, это ведь их не касается, это касается только меня... Но я сама не очень-то понимаю, к чему же я иду, это так неопределенно, далеко, почти чуждо... и в то же время я знаю: то, что меня там ждет, — самое близкое мне на земле, потому что у человека только одна мать, и он не должен предпочитать свою мать никому на свете, и вот я иду сейчас к своей маме...

Перед выходом мне объяснили...

— Сейчас ты бы сравнила себя с парашютистом, которого в последний раз наставляют перед прыжком в пустоту: «Так ты запомнила, не ошибешься? Ты поняла, как надо прыгать?» Ты отвечаешь: «Да, поняла...» И за тобой закрывается дверь.

Я исправно следую всем указаниям... сворачиваю налево, на улицу Алезии, дохожу до площади Монруж, потом еще раз налево, на Орлеанский проспект, и у Порт-д'Орлеан опять налево, на этой же стороне, через два или три дома, должна быть маленькая гостиница... а, вот она, я ее вижу, это отель «Идеал».

Я открываю застекленную дверь, вхожу и говорю полной даме, сидящей справа от входа, за стойкой администратора: «Я бы хотела видеть мадам Борецки...» это имя звучит так странно, мне кажется, я слышу его впервые в жизни...

— Хотя когда-то, на улице Флаттерс, его произносили уже именно так, на французский манер...

— Но ведь это было так давно, мои шесть и одиннадцать лет разделяет гигантское временно́е пространство... Теперь «мадам Борецки́», впрочем, как и все слова, которые я выговариваю, звучат нереально, чудно́... и как они непохожи на ответные слова дамы, она произносит их так, как будто они вполне нормальные, обыденные, и тон у нее безразличный, слегка рассеянный: «Мадам Борецки́ у себя», и она называет мне номер ее комнаты...

Я стучусь, слышу «Войдите!», и внезапно этот голос становится мне самым родным на свете... низкий, хрипловатый, да, это ее произношение, в котором только раскатистое «р» и некая интонация выдают русский акцент.

Мне кажется, я не узнала бы ее, если бы встретила случайно на улице... она немного располнела, но главное — изменила прическу, на висках, у лба, две темные закругленные и гладкие пряди, как у Веры... ей это не идет, они придают ее лицу, которое было непохоже ни на одно лицо в мире, какую-то стандартность, жестковатость... Но стоит моим губам коснуться ее кожи... ни у кого не видела я такой кожи, она мягче и шелковистее всего самого мягкого и шелковистого на свете, и тонкий, нежный запах ее духов... мне хочется опять протянуть руку и провести по ее волосам, но я не осмеливаюсь, боюсь испортить прическу... ее красивые карие глаза, с золотистым отливом, немного разные, над одним бровь поднята чуть выше, чем над другим, внимательно наблюдают за мной, мне кажется, она разочарована, я не «красотка», как мне частенько говорили когда-то, она тоже это говорила, а теперь уже никто не говорит... она неодобрительно качает головой... «Как ты плохо выглядишь, совсем бледная... Все-таки это варварская система... уроки до конца июля... Забивают

детям голову, превращают в маленьких старичков...» Я вспоминаю, что мама не придает большого значения школьным занятиям... и даже немного презирает их...

— Она часто говорила тебе, что сама плохо училась, вечно витала в облаках... и словно гордилась этим... Она рассказывала, как ее выгнали из гимназии за хранение листовок... вовсе не из революционных убеждений, ее попросила подруга, а она не отдавала себе отчета в опасности... я думаю, она была убеждена, что способна на большее... Ее выгнали из гимназии, и все, что она узнала потом, она прочла в книгах...

— Если даже все эти детали и не всплывают у меня в памяти, пока она смотрит на меня и говорит, как вредна для здоровья здешняя школьная система, я все равно не собираюсь ничего рассказывать ей о моей школе, о моем усердии, о моих успехах...

Она полулежит на кровати, а я сижу на стуле перед ней, ужасно жарко, она приспустила пеньюар с плеч, чересчур низко, она слишком оголилась, и это меня немного коробит, но потом я вспоминаю, что в России многие вещи не так коробят, как здесь... я вспоминаю нас обеих, совершенно голых, среди других обнаженных женских и детских тел, снующих в густом горячем паре, это было давным-давно, в Петербурге, когда мы вместе с ней ходили в «баню».

Так мы и сидим, смотрим друг на друга, я не знаю, что говорить, и понимаю, что мама тоже толком не знает, что говорить...

— А говорить надо было... А что еще оставалось делать, как иначе было вновь обрести друг друга?

— Мама говорит: «Коля просил крепко тебя поцеловать, он очень огорчился, что не смог поехать со мной, он кончает новую книгу...» Она умолкает, я чувствую, как она нащупывает... «Помнишь тех ребят, с которыми ты играла в Разливе? Их дача была рядом с нашей...— Да. У меня сохранился флакончик с золотой цепочкой, который ты мне подарила, когда мне исполнилось семь лет...— Так вот, представляешь, я встретила их маму,— старший из мальчиков, ему было тогда девять лет, очень болен, у него костный туберкулез, он должен все время неподвижно лежать... А у его сестренки, она твоя ровесница,— помнишь Валю? — все хорошо, она вроде бы такая же затейница, как прежде... Прошлым летом мы ездили на Волгу... Я послала тебе оттуда несколько открыток... даже нашу с Колей фотографию, на экскурсии, с друзьями...— Да, они у меня...» И мама снова нащупывает... колеблется...

— Как в магазине игрушек, перед продавщицей, которая спрашивает: а сколько лет вашему ребенку? Может, кубики? Нет? Он уже большой... Тогда конструктор?

— Наконец, она решается... «Знаешь, прошлым летом, там был один рыбак, он ловил вот таких огромных рыб... Мы разводили большой костер, варили уху...» она останавливается, чувствуя, что это не вполне то, что мне надо... «Что же ты молчишь, давай поговорим о тебе... Ты ничего не рассказываешь в своих письмах... вот у тебя есть маленькая сестренка... сколько ей теперь? — В августе будет два...— Ее зовут Лили? — Да.— А полное имя? — Елена... — Елена?» мама, кажется, потрясена... я понимаю почему — так звали ее дочку, мою «настоящую сестру», как я ее называю, когда думаю о ней, когда жалею, что я одна, что ее нет рядом... В те далекие времена, когда папа, да и мама тоже порой мне о ней говорили, они называли ее самым тихим и умным ребенком, которого только можно себе представить... даже слишком... про таких говорят, что они не жильцы на этом свете... «Елена... но хоть Лелей они ее не называют? — Нет, ее всегда зовут Лили, и по-французски, и по-русски...— И на том спасибо... Я слышала, она очень трудная, нервная девочка... и что эта... Вера...» я вся сжимаюсь... я чувствую, что мама опять толком не понимает, с кем говорит... теперь она уже и вовсе не видит во мне ребенка, она думает, что обращается к взрослому человеку... но я же не взрослая, во всяком случае, не такая, как она думает... Ее слова «эта... Вера» полны, исполнены презрения, пренебрежения, они не для меня, мне они не подходят, я их не хочу...

— И, однако, ты поняла, как понял бы взрослый, что в ее пренебрежении не было и тени ревности, зависти... ты достаточно хорошо помнила маму, чтобы быть уверенной, что она не может испытывать ничего похожего... ни на минуту она не пожалела о своем отъезде и скорее даже сочувствовала той, которая приняла жизнь, отвергнутую ею... а собственная жизнь ее вполне удовлетворяла... но главное, мама

всегда находилась на большом, слишком большом удалении от людей, чтобы иметь возможность соразмерить, сравнить себя с кем бы то ни было...

— Что как раз и делает слова «эта... Вера» еще более болезненными для меня... презрение это было вызвано чем-то, что рассказали маме люди, к которым она относилась с доверием, мама вполне могла бы уважать Веру если бы ей изобразили ее по-другому... Но вот Вера вызывает, Вера заслуживает это презрение и мне больно, мне страшно, я отступаю все дальше, туда, где слова, которые должны за этим последовать, уже меня не заденут... но мама ничего не замечает, она продолжает, будто говорит одновременно и себе самой: «Эта... Вера не совсем нормальная... она, кажется, истеричка...»

То, что заключено в этом слове, очень сильно бьет и ранит меня... я не вполне понимаю, что это такое, но во мне поднимаются, пробегают легкие волны ужаса... я мотаю головой... «Нет? Не истеричка? Ну что ж, тем лучше... тем лучше для тебя...»

И внезапно я ощущаю — никогда я не ощущала этого прежде — полное мамино безразличие ко мне, оно буквально выплескивается из ее слов: «Ну что ж, тем лучше для тебя...» Оно обрушивается на меня с чудовищной силой, оно переворачивает, отбрасывает меня обратно к тому, что, как бы плохо оно ни было, все-таки немного мое, все-таки ближе мне... оно толкает меня к той, которая ее заменяет, к которой я вернусь, с которой я буду жить, с которой живу сейчас...

Как я сказала маме, что завтра... это было на следующий же день после ее приезда... я поеду в Версаль и, только вернувшись оттуда, приду к ней? Как она отреагировала на это? Как я провела этот день вместе с Верой, Клер и Люсьен? Я ничего не помню... Где был отец? Он не очень-то любил такие воскресные выходы, крайне, впрочем, редкие. Наверное, сидел и читал в своем кресле...

— Я даже не уверена, сообщила ли ему Вера о наших планах... и рассказала ли что-нибудь потом... А сама ты говорила ему? Не думаю...

— Во всяком случае, в то воскресенье... и это так никогда и не стерлось из моей памяти, я совершенно отчетливо вижу... как во второй половине дня бегу в отель «Идеал» и спрашиваю внизу, у себя ли мадам Борецки, и как мне отвечают: «Мадам Борецки вышла.— А когда она вернется? — Она ничего не сказала».

А на следующее утро, когда я вошла к маме, она сообщила мне, что уезжает, возвращается в Россию, сегодня же вечером, она уже заказала место в поезде... Но все, кроме этого, все слова, произнесенные ею, все выраженные ею чувства и чувства, которые я испытывала,— все уже давно забылось... Я могу только вообразить себе, хорошо узнав это позже, ее спокойную холодность, ощущение ее непреклонности — точно она сама получила некий толчок, которому не в силах противиться... Что-то подобное должен был чувствовать отец, когда она уходила от него... я поняла это гораздо позже, благодаря нескольким его словам, не о ней, просто о «людях, которые»... добраться до нее было невозможно... я чувствовала, что она уже там, далеко от меня И вряд ли я пыталась удержать ее.

Я, наверное, оцепенела от удивления. Я была раздавлена бременем своей вины, достаточно тяжкой, чтобы вызвать такую реакцию. Может, во мне и возникли какие-то всплески протеста, возмущения... Не помню.

Только одно возникает из забвения и обретает формы: она сидит слева от меня, на скамейке в саду или сквере, незадолго до нашего расставания, вокруг нас деревья... я смотрю на ее профиль, золотисто-розовый в лучах заходящего солнца, а она смотрит перед собой взглядом, обращенным вдаль... потом поворачивается ко мне и говорит: «Как странно, есть слова, звучащие одинаково красиво на двух языках... послушай, как красиво по-русски звучит «гнев» и как красиво по-французски «courroux»... сразу и не скажешь, в каком из них больше силы, благородства...» она повторяет с каким-то счастливым видом «гнев»... «courroux»... вслушивается, качает головой... «Бог мой, как красиво»... и я отвечаю «да».

Сразу же после маминого отъезда мы переехали, как обычно летом, на виллу в Медон... У меня, наверное, был подавленный, грустный, мрачный вид, и Веру с отцом это, видно, обескураживало и раздражало... и может, именно это побудило отца через некоторое время после маминого отъезда подойти ко мне, размахивая письмом...

«Ну-ка, посмотри, что пишет мне твоя мать... вот, читай...» и я вижу слова, выведенные крупным маминым почерком: «Поздравляю вас, вам удалось превратить Наташу в эгоистичное чудовище. Оставляю ее вам...» не дав мне дочитать, отец вырывает письмо у меня из рук сминает его, комкает в кулаке и закидывает далеко в сторону, у него вырывается какой-то скрип, как будто он взорвется сейчас от негодования, от ярости... Ааа...

Три года спустя, в июле 1914-го, мама вернулась. На этот раз мы жили с ней в Сен-Жорж-де-Дидонн. в красивом доме, где у нас были две комнаты и кухня, выходящие в большой фруктовый сад.

Никогда прежде не приходилось мне видеть людей таких цветущих и веселых, как мама в то лето. она без конца восторгалась всем вокруг — соснами, морем, лужайками. деревьями, цветами... она никогда не рвала их, просто смотрела... в любой момент готова была забавляться всяким пустяком, на нее, как и на меня, нападали безудержные приступы смеха...

«Мой дом не мышеловка!»... когда мама повторяла эту фразу, мы обе хохотали до слез... Мы слышали, как ее с необыкновенным пафосом произносил актер в какой-то мелодраме. поставленной бродячим театром... «Мой дом...— и мама выбрасывала руку, запрокидывала голову...— не мышеловка!» Нам это казалось очень смешным...

А потом, в августе, барабанный бой возвестил всеобщую мобилизацию. А еще позже из листков, наклеенных на стенах мэрии, мы узнали, что началась война. Мама заметалась. надо было срочно уезжать в Россию, иначе ей могли отрезать все пути. задержать здесь... она еще могла сесть на корабль, отплывающий из Марселя...

Я проводила ее до Ройана, на поезде... я вся истерзалась... и более всего — от ее радости, которую она и не пыталась скрыть... какое прекрасное путешествие. Константинополь... а там — Россия, и Петербург, и Коля... как он, наверное, ее ждет... как волнуется...

Когда я вернулась на нашу виллу, которую отец и Вера сняли на другом конце Сен-Жорж-де-Дидонн. мой расстроенный вид. наверное. опять раздражал их, отец держался со мной холоднее обычного, а Вера по-змеиному шипела и жалила, еще более обычного, с ней это довольно часто случалось в то время.

Вскоре после отъезда бабушки Вера решила, что пришло время нанять для Лили английскую гувернантку. Если не поторопиться, у Лили будет плохое произношение.

Сама она английского не знала, но велела тщательно проверять выговор молодых англичанок, приведенных ей, какой-то подруге, которая в этом понимала и выбирала только из тех, кто говорит чисто.

Вера сразу давала понять каждой, что берет ее только для «маленькой», старшая же в них не нуждается.

Довольно скоро стало ясно, что больше всего Вера сердилась и настраивалась против них, когда они говорили со мной по-английски, делали мне какое-нибудь замечание относительно моей воспитанности или, наконец, просто обращали на меня внимание.

Теперь мне кажется, что она просто силилась уравновесить наши с Лили шансы. преимущества... Я прекрасно говорила по-русски, немного по-немецки, мне не так уж и нужен был еще и английский.., Возможно даже, что благодаря знанию английского, а она считала это признаком избранности и изящества, Лили обгонит меня на несколько очков... И кроме того, она, должно быть, решила, что ее мать мне уделила гораздо больше внимания, чем своей настоящей внучке, и что отец слишком уж много занимается мною...

Как бы то ни было, но если бы Вера захотела пробудить во мне страсть к английскому, ей не удалось бы сделать это лучше... А потом оказалось, что язык сам по себе очаровал меня. И кроме того, юные, простодушные англичанки были, в общем, очень симпатичны — только-только вылупившиеся из своего деревенского детства пасторских или учительских дочек... того самого «настоящего» детства, другим оно и не могло быть,— детства, прожитого в беспечности и безопасности, под строгим и благожелательным наблюдением дружных, справедливых и спокойных родителей...

Здесь они совершенно терялись, беспрестанно сталкиваясь с необузданными страстями, с дикими выходками Веры.

Некоторое время спустя они понимали, что находятся в самой «горячей», самой опасной точке нашего дома — они отвечали за Лили... Лили, защищенную от всего на свете мощнейшей системой обороны, воздвигнутой вокруг нее матерью... те из них, кто допускал хоть малейшую оплошность, позволяя Лили привести в действие своим нытьем и хныканьем это оружие, всегда находившееся в боевой готовности, вынуждены были спешно отступать... И если, не дай бог, они осмеливались оказывать сопротивление, в них выстреливала пулеметная очередь Вериных слов, произнесенных ее категорическим тоном: «Лили-никогда-не-врет».

Немногим из них удавалось выдержать долгое время на этой должности, и при Вере я старалась к ним не приближаться. Но всегда спешила воспользоваться ее отсутствием, что случалось довольно часто.

Обычно по вечерам, когда Вера с отцом уходили, мы собирались с этими юными одинокими англичанками в их комнате, соседней с моей, раньше ее занимала бабушка: у этой комнаты было то преимущество, что она была рядом со входом... оттуда мы могли быстрее услышать шум на лестнице, хлопанье входной двери, шаги... они останавливаются на лестничной площадке... в замочную скважину на ощупь вставляют ключ, сейчас он повернется... Мне надо прервать это блаженство, с которым я слушаю их язык, и пытаюсь на нем говорить, и открываю для себя в их ностальгических, полных нежности рассказах, как в nursery rhymes [1] и книжках Лили, неведомую страну, где все очаровывает меня, пробуждает и во мне тоже ностальгию и нежность... но нельзя терять ни минуты, я удираю, я тихонько прикрываю за собой дверь...

— Помнишь, как многие годы спустя ты встретила мисс Филипс...

— Наверное, лет через двадцать после ее отъезда... Я увидела ее в Булонском лесу, в темно-синей форме няни, она катила коляску с ребенком... Я тут же узнала ее, она, казалось, была приятно удивлена, что мне удалось выжить... Она сказала мне: «I still see your stepmother in my nightmares...» [2], и мы, рассмеявшись, расстались.

Мне в комнату поставили старый комод, купленный у торговца подержанными вещами, он из темного дерева, с массивной столешницей черного мрамора, из его выдвинутых ящиков веет затхлостью, плесенью, в них лежат объемистые тома в картонном переплете, обернутые в черную бумагу с желтоватыми прожилками... продавец, наверное, забыл их там или поленился вынуть... это роман Понсона дю Террайля «Рокамболь» [3].

Ну и издевался же отец... «Это просто пошлятина, он не писатель, он писал... я лично ни строки не прочел... но насколько я знаю, он писал весьма вычурными фразами... «Ее холодные, будто у змеи, руки...» это был балаганный шут, он не интересовался своими персонажами, путался, забывал их. Чтобы вспомнить своих героев, ему приходилось изображать их в виде кукол, которых он запирал в шкафах и потом доставал оттуда без разбора, наобум, поэтому через несколько глав умерший герой появляется в полном здравии... надеюсь, ты не станешь терять времени...» Как же... Все напрасно. Как только у меня выдается свободная минутка, я бросаюсь к этим съежившимся, словно еще чуть влажным страницам, усеянным зеленоватыми крапинками, источающим что-то интимное, тайное... какую-то мягкость, вроде той, что обволакивала меня в провинциальном, ветхом, душном доме с многочисленными лесенками, потайными дверцами, переходами, темными закутками...

Но вот наступает долгожданный момент, я могу наконец разложить на кровати эту томину и открыть на том самом месте, где я вынуждена была прерваться... я ныряю, погружаюсь в нее... меня уже не остановишь, не удержишь словами, их смыслом, внешним видом, развертыванием фраз, невидимое течение увлекает меня вместе с теми, к кому я привязана всем своим несовершенным, но алчущим совершенства

---

[1] Детские стишки *(англ.)*.

[2] Я до сих пор вижу вашу мачеху в страшных снах *(англ.)*.

[3] Понсон дю Террайль Алексис (1829—1871) — французский писатель, автор почти тридцати романов с одним героем — Рокамболем, переживающим самые невероятные приключения.

существом, к ним, к воплощенной доброте, красоте, изяществу, благородству, чистоте, мужеству... вместе с ними я должна встречаться лицом к лицу с катастрофами, подвергаться жесточайшим опасностям, сражаться на краю пропасти, получать удары кинжалом в спину, меня вместе с ними заточают и мучают чудовищные мегеры, мне грозит гибель... и всякий раз, когда мы уже на грани того, что я могу выдержать, когда не остается никакой надежды, ни малейшего выхода, хоть самой зыбкой возможности... происходит то самое... нам на помощь, как раз вовремя, поспевает безрассудная смелость, честь, ум...

Это мгновение наивысшего счастья... всегда мимолетное... вскоре я вновь буду во власти кошмаров и чудовищных мук... конечно, самые храбрые, самые красивые самые непогрешимые, пока что всегда спасались... до сих пор... но как же мне не бояться, что на этот раз... случалось ведь с людьми, чуть менее совершенными... нет, они, конечно же, были менее совершенны, менее притягательны, я не была к ним так привязана, но я надеялась, что им тоже, они заслужили это в последний момент... но нет, они и я — какая-то часть, вырванная из меня самой,— мы вместе были сброшены со скалистых вершин, расшибались, тонули, стонали от смертельных ран... потому что Зло рядом, повсюду, готовое в любой момент нанести удар... Зло так же могуче, как Добро, и всегда может победить... и на этот раз все погибло, все самое благородное, самое красивое на свете... Зло утвердилось тут основательно, не пренебрегая ни малейшей предосторожностью, ему теперь нечего бояться, оно заранее предвкушает свое торжество и не торопится... и как раз в эту минуту я вынуждена отзываться на голоса, долетающие из другого мира... «Тебя же зовут, стол накрыт, ты что, не слышишь?»... надо возвращаться к этим рассудительным, осторожным людишкам, с которыми ничего не происходит, да что вообще может произойти там, где они живут... тут все так скованно, мелко, жалко... а там, у нас, на каждом шагу дворцы, особняки, всякие красивые вещи, мебель, сады, роскошные экипажи — здесь таких не увидишь,— потоки золотых монет, реки брильянтов... «Что такое с Наташей?» — это тихо спрашивает отца его приятельница, пришедшая к нам на обед... мой отсутствующий вид, блуждающий и, может, немного высокомерный взгляд, должно быть, поверг ее в изумление... и отец шепчет ей на ухо: «Она вся в Рокамболе!» И приятельница кивает головой с выражением, означающим что-то вроде: «Ну, тогда я понимаю...»

Но что они могут понять...

В Ванве, на перекрестке двух длинных и мрачных улиц, в доме, построенном из грязно-серого камня и похожего внешне на все остальные дома в округе, мой отец пытается воссоздать сильно уменьшенный вариант своей ивановской «фабрики красильных материалов».

За домом, во дворе с утрамбованной землей, окруженном маленькими сарайчиками, я ощущаю, так же как и там, во дворе, простиравшемся за огромными деревянными строениями в Иванове, тошнотворный запах кислоты и точно так же переступаю через ручейки желтой-красной-синей жидкости... Проходя мимо открытой двери маленького кабинета, я вижу на столе знакомые счеты с желтыми и черными костяшками, которые передвигают вдоль металлических стержней. В лаборатории отец в белом халате склонился над столом, где перед пробирками, на деревянных подставках, разложены стеклянные пластинки... на двух из них высятся кучки пронзительно-желтого порошка... я знаю, что этот порошок — отец часто про него говорил — называется «желтый хром»... Он долго вглядывается в одну кучку... «Посмотри хорошенько, тебе не кажется, что вторая ярче? Эта серее, что ли... Я силюсь увидеть разницу...— Нет, не вижу... хотя, может быть, чуть-чуть...— Ну, конечно, она тусклее... Ничего страшного, мне кажется, я знаю, почему так получилось, я просто переделаю, и все... но на сегодня хватит, давай собирайся, пошли...»

Мы спускаемся по лестнице и заходим попрощаться с господином и госпожой Флоримон. Они работают здесь и живут рядом, на той же улице, на первом этаже.

Я их видела редко, но, как ни странно образ этих людей отпечатался в моей памяти ярче многих других, кого я знала лучше... Потому, наверное, что «Флоримоны» были точной копией образов, которые заронил в меня отец со всей своей пристрастностью и убежденностью... образов простых и ясных... как миниатюры, как

лики святых... как иллюстрация качеств, так почитаемых отцом... На лице господина Флоримона, на его хохолке, на шее, на руках, словно пропитанных красной краской, будто написана его любовь к работе, он забывает даже о необходимых предосторожностях... в его покрасневших глазах столько ума, который словно перетекает из его глаз в мои... многие ученые могли бы ему позавидовать... и его искренность, достоинство... У госпожи Флоримон пухлое тело, круглые щеки, большие внимательные глаза, и когда она улыбается, губы у нее приподнимаются с одного края чуть выше, чем с другого... она воплощенная преданность, скромность, но и решительность... И как они любят друг друга, нотка печали проскальзывает в голосе отца, когда он говорит об их трогательных отношениях... «они прекрасные люди, не знаю, что бы я без них делал, это лучшие мои друзья, мне просто повезло..» Они наклоняются, гладят меня по голове... «Как она похожа на вас...» Отец ждет на пороге... Его тонкая прямая фигура вырисовываеств в дверном проеме, он тоже — воплощение четкости и энергичности... лицо у него моложе и счастливее, чем обычно... Он говорит: «Ну, хорошо. До завтра»... и это его «ну, хорошо» выдает его удовлетворение, в этом «ну, хорошо» я слышу «как хорошо, как я доволен, что получил сегодня свою долю повседневных трудов и получу ее завтра... Без этой доли как мог бы я жить?.. Ну, хорошо Значит, до завтра... Идем, дочка».

С тех пор как я в Париже, он иногда, в порыве нежности, так меня называет. Не Ташок, а дочка доченька, девочка моя... и в этих словах я чувствую, никогда до конца не осознавая этого, что-то вроде мучительного признания некой сторонней связи, объединяющей нас.. что-то вроде заверения в его постоянной поддержке, но в то же время какого-то вызова...

— Неужели ты действительно полагаешь, что даже в тот момент, в этой тихой гавани, в этом святилище, под покровительством святых образов, ты ощутила в его словах..

— Думаю, что даже там я не могла слышать отцовское «дочка», как я слышу слова простые, привычные, обиходные, совершенно естественные, сами собой разумеющиеся — слова, которые услышали господин и госпожа Флоримон.

Мы с Верой возвращаемся с Орлеанского проспекта, куда ходили за покупками, мы медленным шагом идем по улице Алезии, через несколько метров мы пересечем ее и свернем на улицу Маргерэн.. И тут вдруг я касаюсь Вериной руки, которой она слегка придерживает свою длинную юбку, и спрашиваю, что называется, в упор: «Скажи, ты меня ненавидишь?»

Я прекрасно понимала, что Вера не ответит: «Да, я тебя ненавижу»... я, должно быть, надеялась, что это жестокое, брошенное внезапно слово ударит ее, заставит обернуться ко мне и сказать, погрузив в глубину моих глаз свой опечаленный взгляд: «Что ты выдумываешь? Наоборот, ты что, неужели ты не чувствуешь?»

— Тут уж ты преувеличиваешь, не могла ты ожидать таких излияний...

— Ну, тогда по крайней мере мне хотелось, чтобы она раздраженно взглянула на меня и сказала, пожав плечами: «Какая чушь! Честное слово, и впрямь «уши вянут», когда слышишь такое..» она часто употребляла это выражение...

Во всяком случае, я наверняка ожидала и добивалась такого успокаивающего шлепка.

— А может, ты попыталась воспользоваться этим покоем, согласием, чтобы ее напугать: вот теперь, когда ты ведешь себя так примерно, давай-ка вглядись в то, что порой происходит в тебе, в свои еле сдерживаемые вспышки гнева, в свое клокотание, шипение, откуда только все это берется?.. может, оттого только, что я с тобой рядом... вот, посмотри, это и называется «ненавидеть» — так уж про это говорят. Совершенно ясно, ты меня «ненавидишь». Нет? Ничего не ясно? Не то? Ты меня не ненавидишь? Тогда что же? Давай разберемся вместе... со всей откровенностью... душа в душу.. я готова увидеть в своей душе то, что видишь в ней ты, и ты в свою очередь... наши желания и наши сердца слиты воедино...

— Да, видимо, что-то вроде того и было, как это ни дико...

Вера внезапно останавливается, выдерживает паузу... и потом произносит своим резким, решительным тоном: «Как вообще можно ненавидеть ребенка?»

Эти слова она искала и нашла где-то там, куда я не могу за ней последовать... слова сжатые, непроницаемые, в которых я различаю только это знакомое мне «как вообще можно»... людям нормальным, нравственным, таким, какими должно быть, к которым принадлежит она сама...

А «ненавидеть»... ну и словечко!.. чересчур сильное, дурного тона... хорошо воспитанный ребенок не должен его употреблять, а главное... какая дерзость... осмелиться применять его к ней...

«Ты меня ненавидишь?»

Нет, за кого принимает себя этот ребенок? «ненавидеть!» да как может ребенок вызвать подобное чувство?

У меня еще нос не дорос — какое тут «ненавидеть».. Мне придется еще ждать и ждать, прежде чем я обрету такую честь...

Но потом, когда я уже не буду принадлежать к миру жалких пигмеев с почти неосознанными, беспорядочными движениями и еще несозревшими мозгами... если и тогда, то, что уже есть во мне сейчас, будет по-прежнему присутствовать... чего не вижу я, но видит она... если это останется во мне — то, что пока нельзя ненавидеть, как вообще можно ненавидеть ребенка... но когда я не буду больше ребенком... а если бы я не была ребенком... ох. вот тогда...

Я несусь вниз, я скатываюсь кубарем по ровной густой траве, усеянной мелкими горными цветами, к самому Изеру, поблескивающему за лугом, между высоких деревьев... я опускаюсь на колени у кромки прозрачной воды, окунаю в нее руки, брызгаю себе в лицо и, растянувшись на спине, вслушиваюсь в шум ее течения, вдыхаю аромат влажной древесины, огромных ободранных стволов, которые река принесла и выбросила около меня на берег, в высокую траву... я изо всех сил прижимаюсь спиной и раскинутыми как крест руками к земле, поросшей мхом, чтобы в меня проникли все ее соки, чтобы они растеклись по всему моему телу, я смотрю в небо, как никогда еще не смотрела... я растворяюсь, у меня нет границ, нет конца.

Туман, который поднимается до самого отеля, покрывает луга, застилает равнину, он благотворен, он смягчает, скрадывает горечь близкого конца каникул... его прохлада, его сизые тона вселяют в меня силы, увеличивают мое нетерпение встретиться наконец лицом к лицу с тем, что ждет меня по возвращении, с «новой жизнью» в лицее Фенелон, мне сказали, там надо так много работать, преподаватели очень требовательны, вот увидишь, первое время может быть довольно трудно, это тебе не начальная школа...

И вот уже ранним утром Вера провожает меня до угла Орлеанского проспекта и улицы Алезии, к остановке трамвая Монруж — Восточный вокзал... Она помогает мне взобраться на подножку, наклоняется к дверце и говорит кондуктору: «Будьте так любезны — «малышка» первый раз едет одна, напомните ей, когда сойти,— на углу бульвара Сен-Жермен...» она еще раз просит меня быть повнимательнее, я жестом успокаиваю ее и сажусь на деревянную скамейку у окна, мой портфель, тяжело набитый новыми тетрадками и учебниками, стоит у меня между ног, на полу... Я еле сдерживаюсь, чтобы не вскакивать каждую минуту, я верчусь из стороны в сторону, пытаюсь разглядеть улицу сквозь запыленные окна... мне очень досадно, что трамвай так долго задерживается на каждой остановке, что он не едет быстрее...

— Ладно, успокойся, я закончила, я не стану тащить тебя дальше...

— С чего это вдруг, раз уж ты не побоялась забраться так далеко?

— Не знаю... я бы лучше пошла еще куда-нибудь, в другое место...

Может быть, потому, что именно здесь, как мне кажется, и завершается для меня детство... Когда я смотрю на то, что открывается теперь передо мною, я вижу какое-то огромное загроможденное пространство, залитое ярким светом.

Я была бы уже не способна собраться с силами и восстановить какие-то минуты, какие-то движения, еще, как мне кажется, нетронутые и еще достаточно мощные, чтобы высвободиться из хранящего их защитного слоя, из беловатой, мягкой, словно ватной толщи, которая распадается и исчезает вместе с детством...

■

КОБО АБЭ

Вошедшие в ковчег

РОМАН

Перевод с японского В. ГРИВНИНА

18

Я проваливаюсь в унитаз

Мы сходили за оружием на склад. Каждый вооружился в зависимости от того как оценивал обстановку. Продавец насекомых взял реконструированный мной небольшой пистолет. Хотя, если он собирался припугнуть противника лучше было бы, пожалуй, захватить более крупное, бросающееся в глаза оружие. Возможно во время переговоров по рации он только делал вид, что верит Тупому Кабану, а на самом деле предполагал худшее. А может быть, дело просто в его пристрастии к огнестрельному оружию. Зазывала долго колебался и в конце концов выбрал газовый пистолет, предназначавшийся для самообороны. Хоть я и называю его пистолетом, на самом деле это был обыкновенный аэрозольный баллончик, к которому я приделал спусковой крючок и увеличил дальность действия. Он тоже рассчитан не столько на запугивание, сколько на практическое применение, но с его помощью можно только лишить противника способности атаковать, а убить или даже ранить нельзя. Зазывала был не столь агрессивен, чтобы брать огнестрельное оружие, но, видимо, все же чувствовал необходимость в реальном средстве защиты. На ножи и самострелы он даже не взглянул.

Мы с женщиной взяли по самострелу. При выборе оружия исходят из предположения, каким будет бой, и в то же время сам выбор уже определяет его характер.

Чтобы утихомирить бродячих собак, обитающих на свалке, я захватил мелко нарезанной сушеной рыбешки, порядком подпорченной (раз в неделю я покупаю ее почти даром на рынке для кормления собак), и мы вылезли из люка. Дул обжигающий ветер, точно кто-то отдернул невидимый занавес. Воздух был наполнен шуршанием шин мчащихся по бетону автомобилей. Приоткрыв дверцу автомашины, маскировавшей вход в каменоломню, я стал бросать собакам еду. Во время кормежки тоже нужно полаять, и, хотя это совсем непохоже на мой вой, в котором слышится властность вожака, заставляющая собак подчиниться, эффект примерно такой же. Продавцу насекомых и зазывале, дожидавшимся сзади, я подал знак, что опасность миновала. Пока мне повинуется стая собак, реальная власть над входом и выходом в моих руках.

— Когда вернетесь, посигнальте. Я выйду вас встретить.

— Если можно, постарайтесь обойтись без неприятных сюрпризов.

Окончание. Начало см. в № 10, 11.

Помахав рукой, продавец насекомых и зазывала поспешно залезли в джип. Возможно почувствовав, что происходит нечто необычное, собаки грызлись из-за еды особенно ожесточенно. Я провожал машину взглядом пока красные огни не исчезли за опорами эстакады. Скоростная автострада, точно поля шляпы, закрывала половину обзора, и неба было не видно. Дождь, кажется, прекратился, но горизонт заволокли густые тучи. Лишь фонари справа, в рыбачьем порту, указывали, где находится море. Движение на автостраде не прекращалось ни на секунду. Как раз то время, когда по ней мчатся тяжелые грузовики, рассчитывающие первыми попасть утром на Кюсю. По морю на восток плыла баржа, груженная галькой.

Возвращаясь в ковчег, я представлял, что будет, если оба наших посланца не вернутся назад. Потянутся дни наедине с женщиной, жизнь в мире, подобном сладкому и ароматному банановому сиропу. Женщина шла рядом в красной юбке из искусственной кожи, на кончике хорошенького носика уютно устроившегося между большими глазами и нежными губками, выступил пот. Я пожирал ее взглядом голодной гориллы. Я должен прямо сейчас, не дожидаясь, пока с нашими посланцами на переговорах что-то случится, сделать так, чтобы мы ощутили себя в банановом сиропе.

Достаточно взорвать динамит. Тогда все пути, связывающие корабль с внешним миром, будут перерезаны. И посланцы, сколько бы ни крутились вокруг горы, уже никогда не смогут проникнуть внутрь. Нет, то, что я сделаю, коснется не только этих двоих — в моих силах запереться от всего мира, перечеркнуть весь мир. Мне известно заклинание, позволяющее скрыться от людей. Все равно катастрофа неизбежна, я всего лишь немного ее ускорю. И начну мирную жизнь юкетчера... (Потом, возможно, я стану раскаиваться так, что буду готов разрезать себя на тысячу кусков и спустить в унитаз.)

Женщина мыла чашки. Из-под короткой юбки выглядывали ноги, будто выдутые из расплавленного стекла. Мы были вдвоем, но я почему-то не решался приблизиться к ней.

— Можно и потом, да я и сам бы это сделал.

Женщина перестала мыть посуду и несколько секунд смотрела на меня безо всякого выражения.

— ...Потом? А что сейчас?

— Не понимаю.

— Что перед мытьем посуды?

— Я не в том смысле.

— Не в том? А в каком?..

Закрыв кран, она стала медленно подниматься по лестнице, на пятой ступеньке сверху села. Опершись локтями о сведенные вместе колени положила подбородок на ладони. Честно говоря, я так и не понял, дразнит она меня или, наоборот, призывает. Уже был случай, когда продавец насекомых, хлопнув женщину по заду, добился многого, и я подумал, что должен расценивать ее поведение как призыв даже если на самом деле это не так, но никак не мог найти нужных слов. Неужели я упущу представившийся мне случай?

— Вам, по-моему, не нравится, что я себя так веду.— Голос у нее был бесцветный, монотонный.

— Что значит «так»?..

— Повторяю за вами как попугай...— На ее лице появилась чуть заметная улыбка.— Противно?.. правда, противно...

— Что противно... скажи.

— Женщина всегда в проигрыше.

— Вовсе не обязательно. Разве ты, к примеру, не в выигрыше?

— Со стороны, наверное, кажется, что я никому не способна принести вред.

— Такого даже представить себе невозможно.

— Это-то и нужно для моего занятия. Втираюсь в доверие к людям и обвожу вокруг пальца.

— Помогаешь зазывале в его делишках... Но от тебя-то самой какой вред?

— Я два раза участвовала в брачных аферах.

— ...Но брачные аферисты — как правило, мужчины.

— Это совсем другое дело. Когда брачный аферист мужчина, он выдает себя либо за богатого врача, либо за сынка помещика, либо за директора фирмы,— в об-

щем, в качестве приманки используется профессия или богатство. Но приманка женщины — сама женщина. И поэтому она всегда в проигрыше. Нет мужчины, который бы на вопрос о профессии ответил: «я — мужчина», а женщину сплошь и рядом используют просто как женщину.

— У меня самого нет профессии, которой бы я мог похвастаться.

— Почему же? Раньше вы были пожарником, потом — фотографом, а теперь вот — капитан.

— Но я не настолько самоуверен, чтобы заняться брачными аферами. У меня не было бы никаких перспектив.

Женщина наконец рассмеялась:

— Хорошо, если тебя в полиции спрашивают о профессии и ты можешь, не мямля, ответить. Но женщине такого вопроса даже не задают. Женщина есть женщина, а дальнейшие подробности ни к чему.

— Действительно, дискриминация... Сделать морковный сок?

— Давайте лучше я сварю на ужин рис.

— Я сам. Мне сподручнее.

— До свадьбы все так говорят. Мужчин этого типа одурачить легче всего.

— Что-то я еще не почувствовал запаха приманки.

— Хочется приманочки?

Разговор принял рискованный характер. Отвесив семьсот граммов риса и всыпав в кастрюлю, я налил воды и стал тщательно промывать руками. Сколько ни мою, вареный рис всегда пахнет у меня высевками. Может быть, потому, что старый.

— Неужели женщины всегда стремятся одурачить мужчину?

— Конечно, почти все женщины обманщицы.

— На меня еще никто не покушался... Но может быть, стоит перечеркнуть прошлое и все начать сначала.

— А хватит у вас уверенности в своих силах, чтобы начать все сначала?

— Хватит, конечно. С самого рождения я только и делаю, что перечеркиваю прошлое. Мою мать изнасиловал Тупой Кабан — так я был зачат.

Рассказывать этого не следовало. Но мне хотелось, чтобы она поняла — я не принадлежу к числу мужчин, кичащихся своими достоинствами. Я обыкновенный Крот и не гожусь для брачных афер, но зато и ничего плохого не замышляю. Однако я капитан, в моих руках штурвал ковчега, направляющегося туда, где будет перечеркнуто прошлое и все начато сначала. Я могу сию же секунду поднять якорь. Что сказала бы женщина, узнав об этом? Назовет меня аферистом или выставит обтянутый юбкой зад, чтобы я шлепнул по нему?

— Помню, в детстве в нашем доме были раздвижные ставни, и в нише, куда они задвигались на день, свила гнездо птичка Коричневая пичужка, похожая на маленькую ворону. Я не люблю птиц. По утрам кричат, клещи от них, а когда долго к ним приглядываешься, замечаешь, какие противные у них клюв и глаза. От этой птицы я просыпалась чуть свет и с досады на ночь стала оставлять в нише одну ставню. А чтобы птица не могла влететь, сделала совсем узкую щель. Потом забыла о гнезде и вспомнила, лишь когда лето уже кончилось,— из щели между ставней и нишей вдруг показалась головка высохшей мертвой птички. Через щель она получала от родителей пищу, но, когда выросла, вылететь не смогла. Ужас, правда? Такова родительская любовь.

Я поставил на огонь тщательно промытый рис.

— Примерно раз в год я вижу страшный сон. Сон о насилии. Насильник — я, но тот, кого насилуют, тоже я.

— Как интересно. Что же за ребеночек родится от такого насилия? Какой-нибудь липкий ублюдочек, зареванный, потный и слюнявый.

— На тебя это непохоже. Не подходят тебе такие выражения.

— Ну и что из того, вы, по-моему, не особенно и хотите, чтобы я выбирала выражения.

Воцарилось неловкое молчание. Почему разговор принял такой оборот?

— Представь себе, что сейчас, в эту самую секунду, сброшена ядерная бомба и на всей земле остались лишь мы вдвоем.

— С нами будет то же, что с тем птенцом из ниши.

— Но у птенца-то были родители. А где они у нас?

— Откуда мне знать. Родители птенца — это просто клювы, приносящие еду.

Наш разговор напоминал движение крота, который роет ход, полагаясь лишь на осязание. Или осторожный танец на скользком паркете. И все-таки это был танец. Настроение у меня было удивительно приподнятым.

Мне хотелось, чтобы мы вдвоем приняли решение, следует ли нам перечеркнуть прошлое и все начать сначала, то есть должен ли я взорвать динамит.

— Но все-таки мы отличаемся от птенцов. Нас двое... Слышишь, вода в кастрюле с рисом уже закипела...

— Человек, который сейчас живет недостойно, не сможет жить достойно, даже все начав сначала.

— Показать тебе карту? Стереоскопическую карту? Это цветная фотография, выполненная с помощью аэрофотосъемки. Затвор автоматически опускался каждые десять секунд, как это обычно делается при топографических съемках. Изменяя величину угла, снимают три четверти рельефа, и поэтому, когда располагаешь фотографии по порядку и надеваешь стереоскопические очки, перед тобой возникает объемное изображение местности. Различаешь не только каждый дом, но и передвигающихся людей, машины, даже трещины на асфальте мостовой. Не удивляйся. Полное впечатление, что сам находишься там. Телебашни, опоры высоковольтных линий словно впиваются прямо тебе в глаза.

— Стереокарта, юпкетчер — до чего же ты любишь всякие шарлатанские штучки.

— Думаешь, я тебя обманываю? Сначала посмотри. А уж потом ругай меня...

Карта и очки вместе с фотоаппаратом и другими моими сокровищами лежали на полке над унитазом. Раздвижные стеклянные дверцы на роликах не предохраняли от влаги, поэтому вся она была плотно прикрыта листом резины и было не так просто что-либо достать или положить. Я снял ботинки — край унитаза очень скользкий, а кроме того, мне всегда нравилось касаться камней босыми ногами и обычно я хожу босиком. К тому же левое колено, которое я повредил на крыше универмага, еще не зажило.

— Представь, что перед тобой положили бриллиант диаметром миллиметр и стеклянный шар диаметром в метр, что ты выберешь?

Боюсь, никакого удовольствия она не получит. Может быть, раз уж я полез за картой, достать заодно и камеру, пофотографировать — так давно этим не занимался.

— Если перечеркивать прошлое, я бы выбрал стеклянный шар. Я люблю работать руками. И при этом всегда повторяю: «Человек не обезьяна, человек не обезьяна...» Почему-то это доставляет мне удовольствие. Жить стоит не ради того, чтобы вещи погребли тебя под собой, а чтобы чувствовать, как исполняются твои желания. Человек не обезьяна, человек не обезьяна... Движения человеческих пальцев — штука удивительно тонкая.

— Как-то по телевизору показывали соревнование между человеком и шимпанзе — кто быстрее вденет нитку в иголку, кто, ты думаешь, победил?

— Конечно, человек, ведь...

— Ничего подобного, победил шимпанзе.

— Не может быть, никогда бы не поверил.

— Причем в два раза быстрее.

Я поскользнулся, и левая нога попала в сливное отверстие унитаза. Та самая нога со шрамом, оставшимся от цепи, на которую меня когда-то посадил Тупой Кабан. Пытаясь сохранить равновесие, я случайно ухватился за рычаг для спуска воды. Раздался могучий рев потока, устремившегося вниз по бесконечной трубе. Неведомая сила, точно тисками зажав ногу, превратившуюся в затычку, неудержимо тянула ее вниз. Чем больше я дергался, тем сильнее ногу всасывало внутрь, уже и икра оказалась в трубе.

Вскочив на ноги, женщина замерла:

— Что случилось?

— Глупейшая история. Такое со мной стряслось впервые.

Я мог лишь слегка пошевелить пальцами. Спина взмокла. В этой трубе, наверное, полно микробов.

19

«Воздух, ты живой?»

Женщина затаила дыхание. Она облизнула нижнюю губу и уже готова была рассмеяться, но нет — лоб остался нахмуренным. Она замерла в неподвижности, не зная — пугаться ей или хохотать. Ничего удивительного. Меня самого охватил такой страх, что даже засосало под ложечкой, но в то же время я с трудом сдерживал смех.

— Неприятная история...

— Не вынимается?

— Даже двинуть не могу.

— Может, устроиться как-то поудобнее?

— Хорошо бы... Надо постараться, чтобы тяжесть тела не падала только на втянутую в унитаз ногу.

— В таких случаях чем больше нервничаешь, тем хуже. Нужно сохранять спокойствие и не расходовать попусту силы на бессмысленную суету, в общем, главное — не терять присутствия духа. Чтобы тяжесть тела равномерно падала на обе ноги, я попытался выпрямиться и зажать коленями край унитаза. У меня было ощущение, словно одна нога обута в ботинок-унитаз. Тяжесть тела распределить поровну удалось, но в такой позе долго не пробудешь. Колени оказались неестественно вывернутыми. Нельзя ли придумать что-нибудь получше? Самое удобное положение — согнуть колени под прямым углом и усесться, как на стуле. Но нет главного — на что сесть. Нужна подставка подходящей высоты. Но чтобы сделать ее, повторив форму унитаза, потребуется немало времени и определенное мастерство. Женщине это не под силу. Может, попросить того шимпанзе, вдевающего нитку в иголку быстрее человека?

Напрягая память, я попытался мысленно представить соединение суставов и мышц. Женщина настороженно наблюдала за мной. Наверное, она опасалась новых неприятностей.

— В таких случаях звонят обычно по «сто девятнадцать» [1].

— Послушай, ты же когда-то служил в пожарной команде, у тебя нет их телефона?

— Тебе, наверное, приходилось слышать, какие дают советы, когда человек не может снять с пальца кольцо?

— При чем тут кольцо?

— Обязательно дадут ценные указания: подними руку вверх, выше сердца, послюни палец, намыль его. Но поднять ногу вверх я не могу, а если намылю, результат будет прямо противоположный.

— Ты говорил, что у тебя есть пила.

— Ну, есть.

— Штука, которая лежит на столе наверху, это электропила?

— Брось шутить, нужно уметь пользоваться ею, просто так ничего не выйдет. Одно неловкое движение — и ноги как не бывало.

— Хорошо бы вытащить твою ногу до того, как мне понадобится...

— Ты же только что ходила.

— Да ничего, я в общем-то могу сделать это где угодно.

Ощущение, точно щиколотку придавило тяжеленной гирей. Мысли смешались. Будто оборвалась нить слишком туго смотанного клубка.

— Помоги мне. Я все-таки хочу попытаться вытащить ногу. Чем дольше она там пробудет, тем сильнее отечет, а уж тогда ее ни за что не освободить.

Женщина наклонилась над унитазом. Без всякого стеснения она обняла меня за плечи и прижалась всем телом. Ее волосы пахли сухой травой. Если бы не комизм положения, в котором я оказался, происшедшее могло бы полностью перевернуть всю мою жизнь. Но отказываться от надежды не следовало. А вдруг она будет обнимать меня и после того, как удастся освободить ногу? Сжав ее локти, я выпрямился. Но изменилась лишь поза женщины. Плечи дернулись книзу, она стала кло-

[1] Телефон экстренных вызовов.

ниться вперед и, схватившись за мое колено, упала. Я чуть не закричал от боли. Из нашей попытки ничего не вышло, и лишь близость женщины не давала мне впасть в отчаяние.

— Ничего не выйдет, ведь в трубе вакуум.

— Сколько времени занимает дорога до конторы «отряда повстанцев» и обратно?

— В один конец минут десять.

— Если им удалось быстро договориться, то они должны вот-вот вернуться.

— Договориться не так-то просто, ведь речь идет о трупе. Мне бы хотелось вытащить ногу до их прихода.

— Хорошо бы они вызвали нас по рации. Может, по дороге они заехали куда-нибудь выпить, тогда долго еще не вернутся. Из забегаловки их силой не вытащишь.

— А труп бросили в машине?

— Верно, это было бы рискованно...

Женщина вернулась к лестнице и села на вторую ступеньку снизу. Она отошла буквально на шаг, но теперь дотянуться до нее рукой я уже не мог. Меня охватила тоска — неужели все это было на самом деле — и надежды и интимность?

— Когда пробка из бутылки с вином не вынимается, всегда становишься в тупик, не зная, что делать.

— Может, чего-нибудь хочется, скажи.

— Нет, ничего не хочется.

— Больно?

— Чешется и щекотно. И онемела.

Некоторое время женщина смотрела вверх, что-то соображая.

— В трубе вакуум, да? Внизу клапан, правильно? Если его открыть, давление станет нормальным, верно?

— Возможно. Я не проверял, но думаю, что в унитазе использована разность уровней грунтовых вод. То есть непосредственным клапаном создающим внутреннее давление, является сама вода, где-то существует рычаг, перекрывающий ее, который действует по принципу водяного колеса.

— Пойду посмотрю.— Женщина вскочила, точно сорвавшаяся пружина. Сил у нее немного, но зато она легкая, поэтому и может двигаться так стремительно.— Объясни дорогу.

— Объяснил бы, да сам не знаю. Туда попасть никак нельзя.

— Это странно: кто-то ведь проникал туда, чтобы чинить трубу, значит, дорога должна быть.

— Я тоже так думал и собирался как следует все разузнать, но вот видишь...

— Может, ход заделали?

— Непохоже. Я уж думаю, а вдруг какой-то предприниматель, пользуясь неизвестным мне штреком, беспрепятственно проникал в нижние пласты. Борьба за каменоломню была отчаянная, и штольни переплетались, как паутина. это все время приводило к обвалам... Давай попробуем посмотреть план. Когда я поскользнулся, вместе с фотографиями упал и альбом. Подними, пожалуйста.

Женщина неохотно спустилась с лестницы.

— Чудно́ все это, никак не пойму. Чтобы можно было пользоваться унитазом наверху, все должно быть как следует сделано внизу. Работы наверху и внизу не могли вестись безо всякой связи между собой.

Остановившись на некотором расстоянии от меня и не приблизившись больше ни на шаг, женщина протянула альбом и поспешно отдернула руку. Каким жалким я, должно быть, ей казался! Конечно, такая нелепая оплошность достойна не сочувствия, а скорее презрения.

— Смотри, здесь, в центре плана, машинный трюм...

— Бессмысленно, я в этом ничего не понимаю. Вид у тебя плохой, может, принести чего-нибудь?

— Я бы, пожалуй, принял аспиринчику. Принеси, пожалуйста. Аптечка должна быть под диваном, зеленая картонная коробка круглая такая...

Женщина пошла за аспирином, а я стал перелистывать альбом, выискивая места в каменоломне, которые еще не были мной обследованы. Совершенно неизученным остался шурф, куда не вели ни подъемник, ни лестница, не успел я исследовать и глубокую подземную речку. Проникнуть туда было небезопасно, а кроме того, и

шурф и речка находились за границей того района, который я предполагал перекрыть взрывом. Если провести там тщательную разведку, то, может быть, удалось бы обнаружить ход в помещение, находящееся под унитазом. Я никак не мог сосредоточиться, колени ныли, неожиданно бок пронзила боль.

— Одной таблетки достаточно?

— Давай три. Обычно дозу определяют по возрасту, на самом же деле она зависит от веса.

— Хочешь, я тебя сфотографирую?

— Зачем?

— Человек, посаженный в горшок, как дерево. Интересно иметь такую карточку на память. Я подумала вот о чем: если меня всерьез призовут перечеркнуть прошлое и все начать сначала, может быть, мне стоит забросить профессию женщины и заняться фотографией?

— Тогда уже будет поздно. Это сегодня, в век рекламы, когда жизнь бьет ключом, фотография может стать выгодным занятием, причем не обязательно быть мастером, достаточно просто иметь коммерческую жилку.

— Как это все-таки ужасно! Сколько времени ты сможешь выдержать?

— Черт возьми, колено болит невыносимо. А икра просто отваливается. Кровь не циркулирует. Если начнут отмирать ткани, еще, чего доброго, придется ампутировать, как при обморожении. Болеутоляющие и антибиотики, конечно, дадут временное облегчение, но боюсь, что в лучшем случае я выдержу дней пять, не больше.

— Еще вопрос, как отправлять нужду...

— Важнее другое — как спать. Интересно, сколько времени мне удастся сохранять сознание...

— Вот пытка.

— И сколько бы ни пытали, мне не в чем сознаваться...

— Как важно иметь возможность свободно передвигаться!

— Еще как важно. Человек не растение.

— Но разве ты не довольствовался путешествием по карте?

— Это совсем другое дело. Человек не может летать. А тут — летаешь. Вот что такое путешествовать с помощью аэрофотоснимков...

— Смотрю я на тебя, и тоска берет. Жить в таком месте — все равно что умереть, разницы никакой.

— Сильно ошибаешься. Иметь возможность сделать даже два-три шага — не то, что быть намертво прикованным к одному месту. Не иметь возможности дойти до туалета очень печально, но кто станет печалиться оттого, что не в состоянии дойти до Южного полюса?

— Но ты же не способен сделать ни шага.

— Что-нибудь придумаем. Эта дурацкая история не может продолжаться вечно, как ты считаешь?

— Будь это не нога, а воздушный шарик, он бы со временем выпустил воздух...

— А что касается свободы, то ее каждый находит сам. Здесь, в каменоломне, я свободен.

— Ты закончил университет?

— Нет, ушел из колледжа.

— Иногда ты говоришь как образованный человек. И книг у тебя много.

— Люблю читать. Беру их в библиотеке. Но больше всего мне нравится работать руками. Мне, например, ничего не стоит починить замок на чемодане.

— Может, принести тебе книжку почитать?

В уголках губ появилась чуть заметная, словно занесенная ветром улыбка. Издевается она надо мной, что ли?

— Даже больной раком, которому точно известно, что он скоро умрет, хочет жить, пока не наступит смерть. Ведь жизнь — это и есть ожидание смерти.

— Может, я ошибаюсь, но ты не кажешься мне таким уж счастливым. Корабль и вправду хорош, но все-таки...

— Главное — жить.

— Чудной ты. Будто ждешь не дождешься войны.

— Ты слышала о коллективном самоубийстве китов?

— Слышала, но мало что знаю об этом.

— Киты очень умные. Но вдруг, точно потеряв разум, мчатся к берегу и всем

стадом выбрасываются на отмель. И сколько ни пытаются вернуть их в море ничего не получается. Наглотавшись воздуха, они погибают.

— Наверное, что-то их гонит?

— Китов могут напугать касатки или акулы. Но подобное наблюдается и в районах, где нет акул, а касатки, принадлежащие к отряду китов, тоже иногда совершают коллективное самоубийство. Ученые долго ломали голову над этой проблемой и в конце концов выдвинули интересную гипотезу. Не может ли быть, что киты бегут из воды, боясь утонуть?..

— Как же так, ведь киты всегда жили в море.

— Но они не рыбы. В давние времена они были млекопитающими, которые жили на земле и дышали легкими.

— Что же это, возврат к предкам?

— Странно, похоже на то, что происходит с муравьями — когда у них начинают зудеть ножки, они строят гнездо... И киты, утратив способность всплывать, задыхаются. Может быть, это какая-то инфекционная болезнь. Заболев ею, киты начинают бояться воды — это как бешенство.

— Может, с китами такое и случается,— пробормотала женщина, потирая шею.— По правде говоря, я больше всего боюсь рака. Он страшнее бомбы, которая взорвется неведомо когда.

— Ты начинаешь заболевать китовой болезнью,— попытался я возразить, но чувствовал себя неуверенно, как червяк, пытающийся спрятаться в норе. Если женщина не вдохнет в меня силы, я не наберусь мужества отпраздновать отплытие.

— Я не могу без неба,— сказала она.

— В каком смысле?

— У меня есть заклинание, с которым я обращаюсь к природе. Когда я смотрю на небо, воздух кажется мне живым существом. А ветви деревьев напоминают кровеносные сосуды. Не только формой — углекислый газ они превращают в кислород, поглощают азот, осуществляют обмен веществ... Изменение направления ветра и атмосферного давления — движение мышц воздуха, корни травы и деревьев — руки и ноги. Обитающие на земле животные — кровяные тельца, вирусы, микробы...

— А люди?

— Паразиты, наверное.

— Нечто вроде раковой опухоли.

— Возможно. В последнее время воздух что-то не вполне здоров.

— Каковы же слова твоего заклинания?

— «Воздух-сан, ты живой, правда?»

— Прекрасно, но в ядерной войне воздух погибнет первым. Радиоактивная пыль, которая покроет весь земной шар, в течение нескольких месяцев превратит Землю в глыбу льда.

— И все-таки, когда я не вижу неба, мне очень плохо.

Нужно сделать все, чтобы женщина осталась со мной. Как-нибудь я все же выберусь из этого проклятого унитаза. Если бы я мог сделать хоть шаг, жизнь здесь была бы не такой уж плохой. Когда Тупой Кабан приковал меня цепью к этому же самому унитазу, из глаз у меня от позора и гнева хлынули слезы — как воздух из проколотой гвоздем шины. Сейчас я мечтал лишь о том, чтобы освободиться до того, как вернутся продавец насекомых и зазывала. Зачем радовать их своим унижением? Я собрал в кулак всю волю, сосредоточившись на том, чтобы выбраться. Колумбово яйцо — банальное решение, применимое и к яйцам, купленным на распродаже в супермаркете.

— Наверное, ты этого не сумеешь... Я имею в виду — отбить бетон вокруг трубы...

— А как?..

— Зубилом. Оно вместе с молотком лежит в ящике с инструментами под столом. От начала трубы до пола сантиметров тринадцать. А мою ногу втянуло на глубину сантиметров тридцати. Останется еще сантиметров семнадцать. Значит, если продолбить пол на двадцать сантиметров и пробить в трубе дыру, то удастся впустить в нее воздух, не повредив ногу. Эффект тот же, как если повернуть клапан внизу.

— Не сказала бы, что тот же.

— Почему?

— Унитазом-то после этого нельзя будет пользоваться.

— В ящике есть водостойкая замазка.

— Ничего не получится. Замазка не удержит такого напора воды. Мы же должны будем спустить труп.

— Если ты не поможешь мне вытащить ногу, не удастся и труп спустить.

— Чем остаться без унитаза, лучше уж отрезать тебе ногу.

— Ты в своем уме? Я капитан, и это мой унитаз.

Губы ее растянулись в мимолетной улыбке. Наверное, она пошутила.

— Но если ждать, пока удастся вытащить ногу каким-нибудь естественным путем, труп завоняет. Противно, я так чувствительна к запахам.

— Когда они вернутся, я уверен, найдется сколько угодно способов. Установят, например, треногу укрепят на ней блок и с помощью ворота вытащат меня...

— А суставы не вывихнут?

Неужели продавец насекомых и зазывала тоже будут против того, чтобы продырявить трубу? Если замазка не подойдет, можно прибегнуть к сварке. Нет, сварка тоже не годится. После того как моя нога, выполняющая сейчас роль пробки, будет вынута и вода по трубе устремится вниз, по принципу сообщающихся сосудов она снова заполнит трубу доверху, и из дыры хлынет неукротимый поток. Наверное, существуют специальные технические средства, позволяющие вести сварку в воде, но где достанешь необходимое для этого оборудование? Неужели никакого другого способа нет?

Напитавшиеся водой и вспухшие нервные волокна будто прорвали кожу и соприкоснулись с трубой. Я испытал острую боль, словно откусил лед испорченным зубом. Мое тело стало как дырявый мешок, из всех отверстий которого брызнула боль.

— Плохо дело, нога стала как чужая. Боль нестерпимая. Сейчас я закричу.

— Онемела?

— Нет, другое. Возьми меня за руку. Мне станет прохладнее. Дай дотронуться до тебя. Хоть до груди, хоть до зада.

Женщина даже не шелохнулась, оставшись с каменным лицом сидеть на нижней ступеньке лестницы. Из моего горла вырвался вопль, точно выдавили из тюбика зубную пасту. Я завыл, как обезьяна, ударяя себя руками по ляжкам, будто захлопал крыльями. Женщина заткнула уши. Дурак, я так и не спросил, как ее зовут.

20

Труп завернут в голубую виниловую пленку

— Замолчи! — заорала наконец женщина, топнув ногой. Пол был каменный, и удар ее ноги был почти не слышен. Но я уже и сам устал кричать.— Послушай, это не они сигналят нам?

Теперь и я что-то услышал.

— Сходи разведай.— В горле свербило. В ушах еще стоял крик, и слова прозвучали неслышно, будто я разговаривал сам с собой.

С самострелом в руке женщина обошла унитаз и направилась к люку. Подниматься по приставной лестнице с самострелом ей было неудобно. Ставя босые ноги на перекладины она неуверенно карабкалась все выше и выше. С каждой ступенькой юбка из искусственной красной кожи задиралась и обнажались ноги. И каждое ее движение я воспринимал так, будто мне делали внутривенное вливание сжатого газа. Я был поражен, что еще способен так реагировать на женщину, несмотря на муки причиняемые застрявшей ногой, которая стала теперь тяжелее всего остального тела. Я разозлился на свою беспомощность, не давшую мне воспользоваться таким благоприятным случаем.

Отодвинув засов, женщина открыла металлическую дверь. Явственно донесся гудок. Собаки надрывались от лая. Видимо, их острый слух уловил даже через дверь мои вопли, вот они и взъярились. Махнув мне рукой, женщина скрылась в тумане.

Через несколько минут мне помогут мужчины. Правда, мой авторитет пошатнется, но тут уж ничего не поделаешь. Каким путем, не знаю, но будем надеяться, что они спасут меня. Может быть, оттого, что спало напряжение, зуд во много раз усилился. А он был еще нестерпимее боли.

Женщина вернулась и заглянула в люк.

— Что делать? Нужно отогнать собак.

— Я же не могу двинуться.

— Но они так бесятся...

— Как же быть?.. Давай попробуем переносной микрофон.— Злясь на женщину за то, что она так медленно спускается с лестницы, я в то же время наслаждался видом ее задранной юбки.— На краю стола, с той стороны, где книжный стеллаж, вместе с электродеталями, припоем и паяльником должна лежать такая штука, в виде красной трубы... Это микрофон с динамиком, таким можно пользоваться без провода.

Я сказал, чтобы микрофон она положила рядом со мной, а динамик отнесла к туннелю. Когда женщина передавала мне микрофон, я как бы случайно коснулся ее пальцев — она не отдернула руку. Может, потому, что вернулся зазывала, а может, я вообще придавал этому слишком большое значение.

— Теперь осталось только включить — и все?

— Еще вытянуть антенну и ручку громкости повернуть до конца вправо...

Я включил микрофон и установил антенну.

— Проба, проба, проба микрофона...— Я старался говорить шепотом, но мой голос зазвучал в туннеле могучей сиреной. Отдышавшись, я втянул язык к мягкому небу, приготовившись завыть, и набрал полную грудь воздуха. В унитазе раздался звук, будто на пол бросили мокрую тряпку, и мне показалось, что нога опустилась еще на несколько миллиметров. Наверное, почудилось. Собравшись и призвав на помощь весь свой навык, я затянул погребальную песню.

Сила звучания поразила меня самого. Мой вой разнесся даже в ночном небе над городком, и наверняка какой-нибудь любитель совать нос в чужие дела уже вызвал полицию. Женщина вернулась и показала мне два пальца, сложенные колечком, в знак того, что все в порядке. Меня беспокоило только, будут ли в будущем собаки реагировать на мой обычный вой.

Лай утих, но наши разведчики все не появлялись. Уменьшив звук микрофона, я крикнул:

— Ну, чего мешкаете?

— У них груз! — тоже крикнула женщина, выступая в качестве посредника.

— С грузом можно и подождать.

После недолгих переговоров она ответила:

— Очень важный груз.

— Не может он быть важнее, чем моя нога.

— Пришли...

Женщина стала задом слезать с лестницы. Пусть она делает это медленно, мне теперь все равно. Наконец появилась спина зазывалы. Он тащил тюк, завернутый в плотную виниловую пленку голубого цвета из тех, что употребляются на стройках. Сверток был величиной со скрюченного человека и, кажется, весьма тяжелый. Меня охватило дурное предчувствие. Неужели и в самом деле труп? Потом из туннеля появилось лицо человека, придерживавшего тюк с другого конца. Вопреки ожиданиям, это был не продавец насекомых, а вконец запыхавшийся Сэнгоку, в белой свежевыглаженной рубахе с открытым воротом и совсем не шедших к ней рабочих брюках цвета хаки. Сначала Сэнгоку низко поклонился женщине, а уж потом перевел взгляд на меня. И недоуменно уставился, не понимая, что происходит. Зазывала тоже, повернувшись ко мне, даже привстал на цыпочки и, пораженный, выпустил из рук тюк. Появление Сэнгоку было для меня настолько неожиданно, что я сразу не мог найти нужных слов.

— Затянуло его туда. Придумайте что-нибудь,— объяснила вместо меня женщина.

Наступило неестественно долгое молчание. Лучше бы я сам все объяснил.

— Простите, я схожу по нужде,— безо всякого выражения, скороговоркой произнес зазывала и снова скрылся в туннеле.

— Не удается вылезти из унитаза? Но почему?..— с беспокойством спросил Сэнгоку, слова, казалось, застревали у него в горле.

— Не удается. Где Комоя-сан? — сказал я, в горле у меня тоже пересохло. Надо бы промочить, но пока было не до того.

— Совещается с «повстанцами». Там столько всего произошло...

— А это что? Вряд ли сладкий картофель?

— Нет, конечно. Труп, что же еще.— Сэнгоку, сдерживая раздражение, понизил голос.— Разве не о нем шла речь с самого начала?

— Когда заговорили о трупе, я был уверен, что речь идет о твоем...

— Слава богу, нет.

— Противно...— Женщина взяла самострел и попятилась к унитазу. Потом обернулась, определила на глазок расстояние до меня и остановилась в трех метрах.

— Чей же это труп?

— А как вы думаете?

— Я знал этого человека?

— Полагаю, вы удивитесь.

— Если не твой... Неужели... нет, быть не может, Комоя-сан?

— Вряд ли...— Женщина испуганно осеклась.— Когда возник разговор о трупе, Комоя-сан был еще здесь.

— Так чей же? — Боль в ноге мешала как следует сосредоточиться. Чья еще смерть могла бы поразить меня? Даже когда умерла мать, я был потрясен меньше, чем когда уронил фотоаппарат и разбил объектив. Она тогда жила вместе с Тупым Кабаном (наполовину против своей воли), и открытку о ее смерти я получил лишь спустя две недели.

— Весьма уважаемый труп, с которым нужно обращаться почтительно.— Сэнгоку с жадным любопытством шарил глазами по всем уголкам трюма. Он впервые видел это место, где велось незаконное уничтожение отбросов, где находилось обиталище его подозрительного компаньона, ответственного за яму.— Управляющий... Нет, здесь вы Капитан... Унитаз, который сейчас маринует вашу ногу, и есть та самая бездонная яма?

— «Маринует», что за выражение! — решительно вступилась за меня женщина, и я увидел, как она еще молода. Может быть, именно сейчас и проявилось ее истинное лицо.— Посмотрите сами — и все поймете.

— Я не собираюсь ничего скрывать.— В создавшемся положении мне приходилось проявлять осторожность.— Я давно хотел взять тебя к себе. В душе я всегда считал тебя своим другом. Я знал, что, когда мы будем вместе, все пойдет хорошо. Правду говорю, даже билет на корабль для тебя приготовил. Сейчас как раз подходящий случай...

— Может, вы нарочно все это затеяли, чтобы поиздеваться надо мной.

— Ну что ты.. Да и зачем?

— Хотите помешать уничтожить труп, вот и устраиваете этот балаган.

— Ничего подобного, я ждал помощи. Помогите мне побыстрей.

— И верно, обычное представление.— Зазывала, застегивая брюки, показался из туннеля. Поглядел на меня и, как неумело вырезанная из бумаги фигурка, застыл в неестественной позе, продолжая держаться за язычок молнии.— Чего возитесь, неужели до сих пор не можете вылезти?

— По-всякому пробовали,— замотала головой женщина, заступаясь за меня. Наверное приятно все-таки иметь товарища, который с тобой заодно.— Давление немыслимое, внутри вакуум. Нога как вросла — ни вытянуть, ни повернуть. Сейчас ему получше — видимо, аспирин подействовал, а то было совсем плохо, он и стонал, и кричал...

— Очень уж он нежный.— Зазывала захлопнул железную дверь и задвинул засов.

— Свалился бы сам, тогда бы узнал. Ноге щекотно, будто по ней водят металлической щеткой.

— Вы говорите — вакуум, но важно знать, сколько атмосфер,— спокойно произнес Сэнгоку.— Если давление у поверхности тела ниже определенного уровня, начнется кровотечение, затем лопнет кожа. Но, судя по тому, что ногу дальше не втягивает, давление не столь уж велико.

— Теоретическая база подведена, теперь постарайтесь мне помочь.

— Сначала давайте подтащим к унитазу труп,— предложил зазывала, и они вдвоем с Сэнгоку поволокли тюк. Зазывала пытался подтянуть его к приставной лест-

ницe, а Сэнгоку, не зная о существовании ловушки. тащил к каменной — веревка лопнула, и тюк приоткрылся. Ни крови, ни какой-нибудь части тела не было видно. Блеснуло лишь что-то, напоминающее мешок из черного винила — в такие обычно складывают мусор,— именно в этом ощущалась реальность существования трупа.

— Туда нельзя,— предупредила Сэнгоку женщина. Голос ее звучал нежно, как легкий ветерок с моря после штиля. Наверное, это у нее рефлекс при виде незнакомого мужчины.— На этой лестнице есть специальное устройство, осторожно.

— Здесь вообще полно всяких устройств. Вам-то это должно быть хорошо известно.— Зазывала, не дожидаясь ответа, глянул с площадки вниз.— Может, сбросим отсюда, а то тяжелый, сил нет.

— Но это же труп.

— Именно потому, что труп. Если развалится на куски, легче будет спустить в унитаз...

Женщина жестикулировала, но она стояла ко мне спиной, и поэтому я не мог понять, что означают ее жесты. Зазывала гаденько засмеялся и, повернувшись к тюку, молитвенно сложил ладони. Сэнгоку неловко наступил на тюк ногой и стал заталкивать внутрь край высунувшейся пленки.

— Раньше чем заняться трупом, прошу вас, помогите мне.— Я пытался изображать спокойствие, но из-за отвратительного чувства, будто сердце провалилось в колено и судорожно бьется там, и страха, что им не удастся меня освободить, голос не слушался.— Пока унитаз нельзя использовать, с трупом все равно ничего сделать невозможно.

— Нечего суетиться.— Зазывала кивнул Сэнгоку, и они вдвоем приготовились сбросить тюк с площадки.— Если бы Капитан знал, чьи это останки, он, я думаю, не проявил бы такой жестокости.

— Жестокость — сбрасывать тело вниз! — крикнула женщина, но тюк, завернутый в голубую виниловую пленку, уже сорвался с площадки и, перевернувшись в воздухе, шлепнулся на пол. По звуку можно было подумать, что упал кусок сырого мяса. Пожалуй, так же шмякнулся бы и ком глины.

— Кто же все-таки это?

— Надо устроить ему достойный похоронный обряд, прежде чем спустить в унитаз...

Первым слез по лестнице зазывала. За ним — Сэнгоку. Женщина, прижав к груди самострел, не отрывала глаз от тюка.

— Кто же все-таки это?

— Это, можно сказать, останки Капитана.— Зазывала, вытерев рот, обернулся ко мне. На его плоском лице торчал маленький носик, белки глаз отливали голубым. Он был не так уж спокоен, как пытался казаться. Сколько ни вытирал рот, в уголках белела слюна.

— Кто же это?

— Видите ли, честно говоря, видите ли...— У Сэнгоку горло, наоборот, пересохло.

— Что вы имеете в виду? Я не настроен выслушивать ваши шуточки.

— В общем, это вы...— Зазывала провел о подол рубахи рукой, которой только что отирал рот.— Дублер. Убийство дублера. Жертвой преступника должны были стать вы, Капитан. Если бы не произошло ошибки, в тюке сейчас лежали бы вы.

— Кто преступник?

Вместе со мной задала вопрос и женщина:

— Кто же этот дублер?

— Вы сами лучше всех знаете человека, которого следовало убить.— Сэнгоку говорил, явно похваляясь своей осведомленностью.

— Представить не могу. Он был похож на меня?

— Не особенно.— Сэнгоку, кажется, почувствовал себя неуютно, чуть склонил голову набок и посмотрел на зазывалу, ища его поддержки.

— Комоя-сан, наверное? — Женщина, сжав зубы, еще дальше отошла от тюка.

— При чем тут Комоя-сан?

— Он-то и стал дублером, да?

— А кто убил? Тупой Кабан? — Это было единственное мгновение, когда я забыл о боли в ноге.

— Ошибаетесь.— Зазывала кивнул на тюк и произнес с трудом: — Все совсем наоборот.

— Тогда получается, что Комоя-сан убил Тупого Кабана? — Мой голос дрожал от напряжения.— Значит, в тюке — Тупой Кабан?

— Ну так вот, от всего сердца помолимся за упокой его души...

— Хватит чепуху молоть!

Я неотрывно смотрел на тюк, завернутый в голубую виниловую пленку. Неужели там действительно Тупой Кабан? То самое чудовище, которое разгуливало в зеленой охотничьей шляпе, распространяя вокруг омерзительную вонь протухшей пасты из соевых бобов, да еще завернутой в грязную тряпку; тот самый подонок, который ногами забил жену до смерти, изнасиловал мою мать, приковал меня цепью к унитазу, разрушил бульдозером целый квартал домов для владельцев каменоломни? Тот самый отвратительный тип, который пустил по ветру рыбачий домик и два рыболовных суденышка, много раз безуспешно пытался стать членом муниципалитета, но смог только прицепить к груди значок командира «отряда повстанцев»? У меня словно гора с плеч свалилась. Видимо, я здорово боялся Тупого Кабана — еще больше, чем ненавидел. Ничего, кроме облегчения, я сейчас не испытывал. Может быть, из-за того, что нога застряла в унитазе, чувства мои были парализованы. Если бы я присутствовал при убийстве, ощущения, наверное, были бы несколько иными. Даже так безжалостно скрученный, Тупой Кабан все равно производил впечатление громадины. А если он не только скручен? Может быть, еще и разрезан на куски? Кажется, я начинаю понимать, как трудно уничтожить человека, не оставив никаких улик.

— Бессмыслица какая-то.— Женщина говорила почти не разжимая губ, и разобрать слова было трудно.— Как мог Комоя-сан спутать его с Капитаном? Каким образом?

— Нет, Комоя-сан не обознался. Все так запуталось. У меня язык подвешен хуже чем у Комоя-сан, да здесь и вообще не так просто определить, кто преступник, а кто жертва. Не будем сейчас гадать, кто с самого начала охотился за Капитаном, но Тупой Кабан подозревал в этом Комоя-сан...

— Пожалуй,— поддержал его Сэнгоку и стал объяснять, выставив вперед кулаки: — Господин Тупой Кабан говорил о трупе, имея в виду этого самого подозреваемого. Правда, мне неизвестно, действительно ли он хотел убить его или просто попугать. Об этом сможет подробно рассказать сам Комоя-сан, который получает сейчас необходимую информацию от «повстанцев»... У меня такое впечатление, что и Комоя-сан отнесся к Тупому Кабану слишком настороженно. Капитан очень уж много напел ему...

— Правильно. Комоя-сан любит наносить удар первым.— Зазывала посмотрел на тюк и вытер руки о штаны.— Да и пистолет он зря прихватил. Нет, я не собираюсь ничего говорить о его поведении — он вынужден был прибегнуть к законной обороне... Пуля, жалко, не прошла навылет. Если произведут вскрытие, ее обязательно найдут и сразу же начнут дознание, откуда взялось оружие,— вашему положению, Капитан тогда не позавидовать. Кстати, Комоя-сан просил передать, что полное молчание «повстанцев» обеспечено, так что на этот счет можете быть спокойны.

— Такой человек достоин большего, чем должности ответственного за внешние связи — с серьезным видом кивнул Сэнгоку.— Он — прирожденный лидер и уже стал единоличным командиром «отряда повстанцев». Не прошло и десяти минут после смерти господина Тупого Кабана, как Комоя-сан реорганизовал «отряд» и стал отдавать приказы...

Муравьи, устроившие гнездо на моей ноге, превратились в мух. Личинка боли вгрызалась прямо в нервы. Я не мог удержаться от крика. Если бы только вместо альбома у меня в руках был молоток, подумал я, и не в силах унять злость, стал бить по унитазу свободной ногой. Но больно было не унитазу, а застрявшей в нем ноге.

21

«Господин колбасник, посылаем в подарок тушу свиньи»

Если бы во время этого буйствования зазывала и Сэнгоку не поддержали меня с двух сторон, я бы наверняка вывихнул колено. Но, кажется, именно боль привела меня в чувство. Я, правда, обмочился, но совсем чуть-чуть. Зато припадок принес

свои плоды — началось серьезное обсуждение, как мне помочь. Прежде всего мне дали еще две таблетки аспирина и вдобавок тройную дозу успокоительного. На ногу, втянутую унитазом, положили холодный компресс. Потом я обхватил обеими руками обрезок железной трубы, оставшийся после прокладки водопровода. Сэнгоку и зазывала держали его с двух концов. Женщина обеими руками стала массировать колено. Я весь напрягся. Зазывала и Сэнгоку, надрывая голосовые связки, понукали меня. Труба изогнулась, плечо Сэнгоку затрещало — вот-вот вывихнется, я снова обмочился. А нога не сдвинулась с места. Чувствуя, как из-под трусов по колену струится влага, я утешал себя тем, что больше терпеть нельзя, иначе начнется уремия. Принесли котелок. Весь закопченный, такой не жалко. Ко мне повернулись спиной, и я помочился.

— Пользоваться ночным горшком в унитазе — скажи кому, не поверят.— Я прекрасно понимал, что зазывала пытается шуткой скрыть замешательство и растерянность. По-моему, он начал осознавать всю серьезность положения.

— Однажды я видела, как в самолете летала бабочка, и совсем не удивилась,— послышался бодрый голос женщины — наверное, старалась заглушить звук льющейся мочи.

Стоило ему на секунду прерваться, как Сэнгоку тут же повернулся ко мне.

— Простите, я думал, уже все. Не ждал, что это будет так долго.

Вслед за ним повернулся и зазывала.

— Это оттого, что слишком долго терпел. Со всяким было бы то же самое.

Женщина, разумеется, не оборачивалась. Когда я, прикрыв котелок крышкой, попытался поставить его на пол, колено пронзила такая острая боль, что из головы начисто вылетела фраза, которую я подготовил в ответ. Сэнгоку предупредительно подхватил у меня котелок. В общем, он неплохой человек. Резь в низу живота утихла. Видимо, напряжение мочевого пузыря и боль в ноге усиливали друг друга. В глаза бросился значок, прикрепленный к распахнутому вороту рубахи Сэнгоку. Я понимал, что должен быть благодарен ему, но тем не менее не мог преодолеть неприязни.

— Золотые метлы — с ума сойти. С каких это пор ты стал их носить?

— Не золото — позолота.— Сэнгоку потер большим пальцем значок «отряда повстанцев».— У рядовых — серебряные. Вам, как капитану, полагается позолоченный значок и нашивки. У всего высшего командования такие нашивки.

— С вами произошло примерно то же, что с пробкой бутылки, которая слишком долго пролежала в морозилке.— Зазывала сделал шаг вперед и стал внимательно изучать мою ногу и унитаз.— Что делают в таких случаях?

— Надо либо подогреть трубу, отчего она расширится, либо продырявить ее и впустить воздух — других способов нет.— Я взглядом попросил женщину не вмешиваться.— Подогреть, как вы понимаете, невозможно, значит, остается одно — продырявить.

— Я тоже так думаю.— Сэнгоку погладил поврежденное плечо и, поджав губы, улыбнулся. Может быть, мне показалось, но в этой улыбке было даже какое-то подобострастие.— Рассуждая теоретически, нужно добиться, чтобы давление в трубе сравнялось с давлением снаружи — это единственный выход.

— Где лучше проделать дыру? — Зазывала стал осматривать унитаз и пол вокруг него.

— Если пробить бетон на двадцать сантиметров, удастся добраться до трубы ниже ноги.

— Нет, это не пойдет,— безапелляционно заявил зазывала. Улыбающееся лицо неожиданно стало жестоким, раньше я его таким не видел.— Ногу Капитана можно вылечить всякими мазями, а вот если мы сломаем унитаз, нам придется худо. Корабль должен иметь унитаз — нет, Комоя-сан нам этого не простит. Отделаться от трупа сейчас — самое главное.

— А что, если попытаться просунуть между стенкой унитаза и ногой резиновую трубку? — Женщина говорила с воодушевлением, но без особой уверенности в голосе.

— Там нет даже щелочки. Я хоть и толстяк, но не пузырь с водой, которую можно взять и выпустить.— Стоило только представить себе, как между ногой и трубой проталкивают инородное тело, как в икре появилась угрожающая пульсация, из груди готов был вырваться вопль.

— Почему же, план вполне реален. Надо только найти тонкую медную или железную трубку, вот и все.

Сэнгоку подошел ближе и попытался протиснуть между ногой и трубой унитаза палец. Захваченный идеей, он, видимо, забыл, как опасна раненая свинья. Я схватил его за палец и стал выкручивать. Руки у меня не такие уж сильные, но все же куда крепче, чем тощие хворостины Сэнгоку.

— Отпустите, палец сломаете!

— Проси прощения!

— За что?

— За что хочешь, но проси прощения!

— Извините, мне больно!

— А мне еще больнее.

— Извините.

— Если хочешь извиниться по-настоящему, расскажи все начистоту. Итак, Тупой Кабан отправился на тот свет. Но что это за разговоры про дублера? Изволь подробно все объяснить. Небылицы мне не нужны — мало ли что вы там напридумываете.

— На стене, ограждающей свалку у мандариновой рощи, краской из аэрозольного баллончика было выведено: «Господин колбасник, посылаем в подарок тушу свиньи».

Сэнгоку говорил слабым голосом, и я наконец отпустил его руку. Отойдя на безопасное расстояние и потирая палец, он скорчил недовольную мину. Своим глупым поступком я нажил себе еще одного врага.

— Что же это доказывает?

— Да, в общем, можно догадаться, кто сделал эту надпись.

— Эти люди были уверены, что Капитан и «повстанцы» — одного поля ягоды,— решил пояснить зазывала и, видимо пытаясь сосредоточиться, сжал лоб с обеих сторон ладонями,— или заподозрили, что Капитан — тайный босс «отряда повстанцев». Свою злость на «повстанцев» они перенесли на Капитана.

— Что там насчет свинины?.. Повтори еще раз надпись...

— «Господин колбасник, посылаем в подарок тушу свиньи». Это можно понять как предупреждение об убийстве.— Сэнгоку едва заметно улыбнулся.

— Теперь-то я понимаю, что самым правильным было бы нам с Комоя-сан пойти туда открыто, не таясь.— Не отрывая рук от лица, зазывала продолжал: — Но Комоя-сан — торговец до мозга костей, сам привык всех обжуливать и всегда подозревает, что его собираются надуть. Глядя на него, и не скажешь, что больше всего он любит всякие отчаянные предприятия: врываться на позиции противника с отрядом рейнджеров или какой-нибудь еще горсткой головорезов — вот это в его вкусе. Мне кажется, его служба в силах самообороны здесь ни при чем, просто перебрал телевизионных фильмов. И когда пришло время действовать, он решил провести нечто вроде операции по освобождению заложников. Я ведь работал у него просто подставным покупателем, так что мне ничего не оставалось, как безропотно подчиняться. Мы оставили джип на достаточно большом расстоянии от их конторы и дальше пошли пешком. Внимательно осмотревшись, сверили часы и разделились, через три минуты я постучал в дверь. Пока я отвлекаю внимание противника — странно, почему мы с самого начала решили, что это противник,— Комоя-сан через заднее окно ворвется в помещение, где находится командир вражеского отряда. Так мы договорились. Однако даже представить себе не могли, как все обернется на деле. Желая привлечь внимание, я сильнее, чем нужно, стал стучать в дверь конторы. И, к несчастью, разбил стекло. В следующую же секунду свет погас. Погасил его кто-то, почуяв опасность, или просто перегорели пробки — на этот вопрос теперь уже никто не ответит. Тут же раздался пистолетный выстрел... Как вы считаете, Капитан?.. По-моему, это была обыкновенная стычка. Если она происходит между отдельными людьми, ее называют убийством, если же во время войны между государствами, тогда говорят, что противник попал в ловушку. А убить-то собирались вас.

— Здорово у него получилось, я бы никогда не смог рассказать так толково.— Кажется, Сэнгоку не льстил и не ехидничал. Мне всегда нравилась его прямота. А я так не мог и сидел, как ощетинившийся еж, хотя сознавал свое полное поражение.

— Но все-таки кто написал на стене? Представить себе не могу. Начать с того, что непонятен мотив.

— Стирать подобные надписи на стенах и заборах входит в обязанности «повстанцев»... Но это вряд ли может быть мотивом для убийства.— Сэнгоку тяжело дышал, размахивая поврежденной рукой.— Я думаю, Комоя-сан выведает подробности и расскажет нам...

— Я бы тоже хотела воспользоваться котелком,— тихо произнесла женщина.

Спрашивать, зачем ей понадобился котелок, необходимости не было. Отвечать тоже было не нужно. Она взяла котелок и, держа его на вытянутой руке, направилась в машинный трюм. Стыд и тоска жгли мне грудь. Нога горела огнем. Но зато, кажется, подействовал аспирин — боль ослабла, а большая доза успокоительного помогала сдерживать раздражение. Заметив, что Сэнгоку навострил уши, я в глубине души даже испытал своего рода презрительное удовлетворение.

Неожиданно обстановка резко изменилась. В машинном трюме раздались звуки, которых там возникнуть никак не могло. Даже при самом богатом воображении невозможно было себе представить, что такой шум создают физиологические отправления женщины. Неужели, воспользовавшись каким-нибудь подземным ходом, вернулся продавец насекомых? Он так боится собак, что это вполне возможно. Поскольку он вошел в высшее командование «отряда повстанцев» (правда, полной уверенности в достоверности этих сведений у меня не было, и даже, наоборот, существовали большие сомнения), ему ничего не стоило найти надежного проводника.

Из штрека выскочила женщина. Она была в полной растерянности, даже панике, ноги ее не слушались. Попыталась что-то сказать, но слова застряли у нее в горле. Стремительно, словно вывеска, сорванная ураганом, женщина подлетела к каменной лестнице и, как за спасательный круг, схватилась за самострел. Тяжело дыша, она через юбку подтягивала трусы.

— Что случилось? — крикнули мы втроем, хоть и вразнобой.

Отвечать ей не пришлось. Из штрека донесся приближающийся топот. Быстрые, но легкие, как бы приглушенные шаги. Наверное, спортивные туфли на резиновой подошве. Женщина поспешно вложила стрелу. Двое юнцов стремительно вбежали и остановились как вкопанные у железных бочек. Волосы — торчком. На плечи накинуты кожаные куртки — у одного красная, у другого фиолетовая,— намокшие снизу и, видимо, отжатые брюки пузырились на коленях. С первого взгляда можно было определить, что им лет по семнадцать.

— Ни с места! — закричал один из подростков ломающимся, хриплым голосом и выхватил из-за пояса тонкую цепь. Я завопил не хуже его. Забыв о ноге, я стремительно протянул руку к лежавшему под мойкой «узи». Видимо, приняв мой вопль за сигнал к нападению, оба подростка, размахивая цепями, ринулись на меня. Атака, рассчитанная на то, чтобы не дать противнику опомниться. Женщина инстинктивно спустила крючок самострела. Алюминиевая стрела попала в ухо подростка в красной куртке и заскакала по полу. Легкий, быстро затухающий звон стрелы, так успешно поразившей подростка, сильно напугал юнцов. А зазывала зарядил еще один самострел. Раненый притронулся к уху и увидел, что ладонь в крови. Не вымолвив ни слова, оба подростка помчались к люку. Именно так, наверное, выглядят крысы, удирающие с корабля.

Может, это и есть те самые лазутчики? Я много раз чувствовал чье-то присутствие, но тени мелькали с такой быстротой, что я убеждал себя: мне это почудилось или, может быть, пробежала крыса... Да и зазывала гнался за кем-то несколько сот метров... Если во всем этом замешаны такие вот юнцы, то малевать надписи на стенах вполне в их духе. Ничего удивительного, что они хотят выгнать меня из каменоломни и сами обосноваться в ней. Наверное, и я и Тупой Кабан для них действительно одного поля ягоды. Рассказ зазывалы и Сэнгоку начинал походить на правду.

Теперь нужно было снова как следует обдумать, почему к нам обратились с просьбой уничтожить труп еще до того, как был убит Тупой Кабан. Я тогда разозлился на это предложение, а возможно, мне просто было невдомек истинное положение дел. Не исключено, что подростки — скопище термитов, обосновавшихся в ковчеге. Может быть, они уже изгрызли весь ковчег насквозь, а мне об этом ничего неизвестно. И эти подростки не меньшие мои враги, чем сам Тупой Кабан. Неужели во время разговора по рации кто-то из них уже был убит? И речь шла лишь о том, чтобы уничтожить труп? Сэнгоку многого не договаривает, подростки явно растерянны — видимо, ситуация обострена до предела.

Подростки бежали вдоль бочек. Потом, перескакивая через ступени, понеслись по лестнице, ведущей к люку. Но тут, как я и предполагал, наступили на ступеньку-ловушку и разом грохнулись вниз. Зазывала и женщина скорчились от смеха, особенно громко хохотала она. Но подростки, ударившись о пол, ловко вскочили на ноги и, держась за перила, одним духом взлетели вверх. Отодвинув засов, они нырнули в туннель. Собаки подняли невообразимый лай. Металлическая дверь захлопнулась под собственной тяжестью и еще долго резонировала.

— Ключ не остался в джипе? — Женщина перестала наконец смеяться и вытерла слезы.

— А хватит у них смелости? Слышала же, как лают собаки.— Зазывала потянул носом и сплюнул.

— Как бы собаки не разорвали их.— Сэнгоку нахмурился.— Покойников нам уже хватит.

— Я вижу, вы собирались затеять настоящую войну,— зазывала кивнул на голубой тюк, валявшийся у лестницы.— Рассчитывали использовать унитаз на всю катушку.

— Но не ту войну, которая приносит покойников,— ответил Сэнгоку мрачно.

— Что же это за война? — Голос женщины напрягся от любопытства, как изогнутая спина играющего котенка.

— Войну с мальчишками,— сказал зазывала невинным тоном и посмотрел на Сэнгоку.— Так, что ли?

— Мальчишек этих, как ты их называешь, всего двое. И сам видишь, они тут же удрали, точно зайцы...— Женщина, кажется, потеряла всякий интерес к разговору и стала ходить вокруг унитаза, глядя на мою ногу.— Нужно что-то делать с ногой Капитана. Давайте займемся этим посерьезнее.

— Нет, их далеко не двое,— возразил Сэнгоку.

Ясно, эти двое не вся компания. Что же касается ноги, здесь уж никуда не денешься, единственный выход — продырявить трубу, и я должен заставить их сделать это. Кто знает, может быть, кратчайший путь к решению этой проблемы — установить, где находится база подростков. Я до сих пор не обнаружил их только потому, что они поселились в не обследованной мной части каменоломни. Значит, юнцы могут знать дорогу к оборудованию, установленному под унитазом. Это очень вероятно. Изнутри невозможно обнаружить, какая из штолен ведет к выходу у моста Кабуто с восточной стороны каменоломни, зато снаружи она прекрасно видна. Поскольку вход в туннель находится примерно на середине обрыва, спускающегося к реке Кабуто, его до сих пор не заделали. Подростки вполне могли свить там гнездо. Раньше в том месте проходила автомобильная дорога, по которой перевозили камень, но при обвале, случившемся за несколько месяцев до прекращения работ, ее точно срезало ножом. Из штольни вырвался сжатый воздух, и гора взвыла, как дикий зверь, разбудив половину жителей города. После этого в течение двух недель по обрыву сбегал водопад, сразу ставший местной достопримечательностью. А чтобы убрать каменные глыбы, запрудившие реку, потребовалось чуть ли не четыре месяца. То ли намеренно, то ли из-за ошибки в расчетах, не знаю, но промышленники, разрабатывавшие каменоломню со стороны маидариновой рощи, нарушили договоренность о разделе участков и, вклинившись в разработки, которые велись с восточной стороны, разрушили опоры, удерживавшие своды штолен. Со стороны города Кабуто на противоположной стороне реки можно различить вход, слегка прикрытый кустами папоротника и дикого винограда, но он не бросается в глаза, потому что легко выветриваемый камень посерел и неотличим от грунта. Если посмотреть в сильный бинокль, то видно, что вход в штольню засыпан каменными осколками, как после взрыва. Среди камней можно увидеть и следы, оставленные людьми. Консервные банки, пачки от сигарет, скомканные бумажные салфетки, похожие на медуз, старые журналы...

— Какое там двое,— повторил Сэнгоку.— Уже три дня продолжаются стычки. Этой ночью предстоит решающее сражение.

— Несмотря на то, что командир отряда убит и валяется вот здесь? — Женщина точно что-то вспомнив, взялась пальцами за нос и выставила вперед подбородок.— Кто с кем будет сражаться? От кого сломя голову бежали эти двое ребят?

— Хотя командир сменился, операция продолжается. Старики тоже горят жела-

нием воевать.— В голосе Сэнгоку чувствовалось беспокойство. Мне показалось, что в его словах таится какой-то подвох.

— Глупости, мне до этого дела нет.— Зазывала, вздохнув, перевел взгляд с тюка на меня.— Может, плюнем на все и вызовем врача?

Сэнгоку рассмеялся, не скрывая издевки. Зазывала набросился на него:

— Что тут смешного?

— И не интересно узнать, из-за чего война?

— Я говорю о враче.

— Какой врач пойдет в такое время?

— Так что за война?

— Готов поспорить, что вы примете в ней участие.

— Примем,— хмуро сказала женщина, но тут же на ее лице появилась профессиональная улыбка.— Такая уж у нас профессия. Интересно или нет — это уже другой вопрос. Да чего там — мы же зазывалы. Если нужны наши услуги — пожалуйста, в любое время.

— Мне не нравится такая позиция.— Сэнгоку откинулся назад.— Необходимое условие совместной жизни — стремиться понять друг друга, даже если и возникают разногласия. Вот я, например, прежде чем предъявлять претензии Капитану, поблагодарю его за то, что он так долго покупал у меня сладкий картофель, и постараюсь понять, почему он не удостаивает меня своим доверием.

— Ух, молодец какой.— Зазывала громко проглотил слюну и щелкнул языком.— Где уж мне, зазывале несчастному.

— Я не в том смысле,— стал оправдываться сбитый с толку Сэнгоку.— Я тоже много раз оказывал подобные услуги — тот, кто агитирует за кандидата на выборах,— в общем-то такой же зазывала.

— Так что вы хотите сказать?

— Следует признать, что в задачи «отряда повстанцев» входит и делать людей лучше. Несомненно и то, что банда подростков, именующая себя «Грозой дорог», доставляет людям одни только неприятности.

— Что это еще за «Гроза дорог»?

— Смешное название, не правда ли? В нем чувствуется вызов. «Повстанцы» прокалывают шины их мотоциклов.

— Комоя-сан никогда не пойдет на то, чтобы затеять такую войну,— возразил я, потирая ногу под коленом. Какую бы привязанность бывший солдат сил самообороны ни питал к огнестрельному оружию, он по натуре умный циник, верящий лишь в сиюминутную выгоду. Для мошеннических операций, требующих длительной и целеустремленной подготовки, он не годится. Эх, если бы поймать хоть одного из этих мальчишек...

— Теперь у Комоя-сан золотой значок и три нашивки.

— Ну что ж, он обожает командовать. И старичкам, наверное, хочет помочь.

— Я считаю, что Комоя-сан делает это от чистого сердца,— сказал Сэнгоку.

— А почему, собственно, это так тебя беспокоит?

— Беспокоит, и все тут.

— Конечно, эти самые мальчишки, которых называют «Грозой дорог»,— отбросы. Впрочем, точно так же, как старики из «отряда повстанцев». А еще сами делят людей на «отбросы» и «неотбросы» — терпеть таких не могу. Я старательно изучил теорию эволюции.— На лице зазывалы промелькнула улыбка, словно он подшучивал над собой.— Как известно, отбросы в конце концов становятся удобрениями для растений.

Нога стала дергаться в такт биению пульса. Боль становилась все острее, словно ножом срезали кожу. Опасный симптом. Даже если до смерти боишься зубного врача, понесешься к нему как миленький, когда прихватит зубная боль. Вытащите мне ногу — хоть клещами! Если боль и дальше будет усиливаться, я, наверное, соглашусь, чтобы ее отрезали.

— Если со мной что-нибудь случится, самый подходящий капитан — ты.

— Я — капитан? — Зазывала сморщил лицо в подобии улыбки.— Вы что-то путаете. Если я стану капитаном, корабль придется назвать «Зазывала». Смешно. Без компаса, без морских карт. И будет такой кораблик только вид делать, что плывет, на самом деле и не собираясь трогаться с места.

— У меня у самого нет никакого компаса.— Нога продолжала отекать.— Если удастся схватить хотя бы одного мальчишку, нужно устроить ему хороший допрос. Вдруг им известно что-нибудь о проходе, который ведет в помещение под унитазом...

— Может, эти двое где-то поблизости, там, снаружи...— Женщина положила самострел на колени и тронула пальцами тетиву.

— Ничего, думаю, не выйдет, вряд ли они настолько хорошо знают каменоломню,— сказал Сэнгоку.— Им удалось так далеко проникнуть в нее лишь два-три дня назад, и то спасаясь от преследователей... Видите ли, на самом деле цель «отряда повстанцев» совсем другая — охота на школьниц.

— Что это значит?

— То и значит: охота на школьниц...

22

Адъютант-тень

Тут мы все посмотрели на железную дверь в конце лестницы. Женщина застыла с самострелом в руках в трех шагах от унитаза. Зазывала, собиравшийся сесть на нижнюю ступеньку, так и замер, чуть пригнувшись и ухватившись рукой за опору, а Сэнгоку оперся плечом о стену у мойки. Каждый пытался вникнуть в смысл потрясших нас слов «охота на школьниц». Прежде чем поймать прячущихся за железной дверью мальчишек и вытрясти из них все, что им известно, надо было уяснить себе значение этих слов. Ошеломленные, мы и не заметили, как в проходе, ведущем в машинный трюм, появился человек.

— Прошу прощения.

Он вел себя совсем иначе, чем те двое, но, без сомнения, тоже принадлежал к группе «Гроза дорог»: волосы торчком, наполовину выкрашены в рыжий цвет — такой же сухой сучок, но чуть потолще. Женщина взяла самострел на изготовку. «Сухой сучок» шнырял обеспокоенным взглядом по всему трюму. Судя по всему, ничто не вызвало у него особого интереса.

— Прошу прощения.

Он низко поклонился Сэнгоку как знакомому. Тот помахал в ответ рукой, но явно испытывал некоторую неловкость.

— Зачем пожаловал?

— Прошу прощения.— О том, что парень — член «Грозы дорог», свидетельствовала, видимо, маленькая метла, которую он держал в правой руке, да еще серебряный значок на груди. Вытянув антенну из большого передатчика, висевшего на левом плече, он стал вызывать: «Прошу штаб, прошу штаб... Говорит разведчик «А». Нахожусь в первом помещении со стороны морского побережья, все нормально. Прием... Совершенно верно, подозрительных личностей не обнаружено. Прием... Совершенно верно, всего четверо. Прием... Слушаюсь, прошу прощения. Прием...»

— Разговаривал с Комоя-сан? — Женщина опустила самострел и начала прищелкивать языком точно перекатывала во рту леденец.

— Командир направляется сюда. Прибудет в самом скором времени. Здесь расположится мобильный штаб. Я буду ждать его здесь. Прошу прощения.

Он делал ударение на конце слов — такова манера говорить нынешней молодежи,— но в его облике и поведении сквозило усталое безразличие, присущее старикам. Парень даже не проявил никакого интереса к моему более чем странному положению. Заранее знать об этом он, разумеется, не мог. Одно из двух: либо изображает невозмутимость, как это принято у современных юнцов, либо действительно окаменел, находясь все время в обществе стариков. Этакий образец преданности, человек, не только повинующийся приказу, но повинующийся и без приказа. Смотреть на него было жутковато — это факт. Он легко вскочил на крайнюю бочку. И стал ногами и метлой отбивать такт. Неужели тоже напевает какой-нибудь военный марш?

— Не мельтеши,— проворчал зазывала.

— Это шпион,— сказал Сэнгоку громко, чтобы тот его услыхал.— Еще пару дней назад был в группе «Гроза дорог». Получал от Тупого Кабана карманные деньги и снабжал его информацией. Верно я говорю? Чего молчишь? Уверен, что и школьниц тоже ты продал.

Подросток бесстрастно взглянул на Сэнгоку и не удостоил его ответом.

— Что это за охота на школьниц? — спросила женщина, повернувшись к Сэнгоку.

— Спросите у Комоя-сан.

— Женщине это неинтересно,— спокойно и деловито ответил подросток.

— Если ты, сосунок, будешь хамить, выстрелю.— Женщина встала на одно колено и, взяв самострел на изготовку, положила палец на спусковой крючок.

— Ну и позочка, трусы видать.— Подросток явно храбрился, не собираясь уступать.

— Дурак, она и вправду выстрелит! — закричал зазывала и, схватив валявшийся около унитаза альбом с планами каменоломни, запустил в женщину. Альбом пролетел, коснувшись ее плеча, и попал в самострел. Стрела, сбитая с прицела, чиркнула о бочку и, издав мелодичный звук, взвилась к потолку.

— Не мешай!

Зазывала прошел мимо поднявшейся с колена женщины и, приблизившись к подростку, изо всех сил врезал ему. Тот соскочил с бочки и с метлой в руках замер в оборонительной стойке.

— Ты что?!

— Ничего, благодарить должен, благодарить. Разве я не спас тебе жизнь?

Подросток сразу сник, колени у него задрожали.

— Прошу прощения.

— Вот так-то лучше.

— Сопляк!

Женщина протянула самострел зазывале, и тот, натянув тетиву, поставил его на предохранитель. Сэнгоку отошел от стены, он был сам не свой. Видимо, случившееся потрясло его. Но я-то сразу догадался. Зазывала с женщиной устроили очередное представление — это точно. Ловкий трюк, ничего не скажешь. Обстановка изменилась. Сейчас самое время задавать вопросы.

— Внизу должно быть нечто вроде машинного отделения. Ты должен знать. Как туда пройти?

Подросток внимательно посмотрел на меня. Потом глянул на унитаз и снова поднял глаза на меня.

— Зачем вам это?

— Отвечай на вопрос! — Женщина вложила в самострел стрелу.

— У нас голько копия этих планов.

— Этих планов? Каких планов?..

Подросток указал метлой на альбом, который только что так ловко использовал зазывала. Женщина подняла альбом с пола, разгладила смятые листки и вернула мне.

— Откуда вам известно об этих планах?

— Мы ненадолго брали их и сняли копию в книжном магазине.

Еще одно потрясение. Я чувствовал себя опозоренным — этим разбойникам известны все мои секреты! А я был уверен, что являюсь единственным хранителем тайн, поздравляю. К тому же исчезла надежда воспользоваться самым безопасным и надежным способом освободить ногу — привести в действие установленное под унитазом устройство, управляющее трубой.

— Вы обосновались в штреке, выходящем к мосту Кабуто, верно? Проход, о котором я говорю, должен тянуться именно туда. Постарайся вспомнить, нет ли там еще одного штрека, который бы вел вниз, в сторону побережья? Должен быть, невозможно представить себе, чтобы не было.

— Вниз?

— Да, вниз, под это помещение.

— Под помещение?..

— Припоминаешь?

— Где-то должен быть люк.

— Ну так скажи, где он, хоть приблизительно...

— Что касается выхода к мосту Кабуто... Это просто пещера на крутом восточном берегу реки. Там давным-давно случился оползень, помните, наверное?

— Помню, конечно.

— Так вот, пройдешь по этой пещере метров десять, и сразу же тупик.

— Странно, откуда же тебе известно, что под нами есть помещение?

— Вы мне сами об этом только что сказали.

— Но это ты же говорил, что есть люк, откуда можно попасть вниз.

— Иначе быть не может.

Женщина стояла, расставив ноги, с самострелом на изготовку.

— Говоришь не по делу.

— Прошу прощения.— Не меняя выражения лица, подросток продолжал: — Мы сами хотели бы узнать.

Сэнгоку сердито вмешался в разговор:

— Может, он и правду говорит, они действительно все здесь облазили. Десять школьниц куда-то исчезли.

— То есть как это? — Зазывала сглотнул слюну.

— Их, наверное, заманили чем-нибудь и загнали в каменоломню через вход у мандариновой рощи,— равнодушно предположил Сэнгоку.

— Мы собрали ребят и девчонок, которые бежали из дому,— с мальчишеским упрямством возразил подросток.— И никакой я не шпион. Нам захотелось пожить здесь на свободе, вольготно и чтобы взрослые не вмешивались. Устроить здесь свою деревню и пожить. Чин чином. Вот мы чин чином и договорились с господином Тупым Кабаном, заплатили деньги и получили право на каменоломню. У нас право есть, все чин чином.

— Не по делу разговор.— Зазывала следил за выражением лица Сэнгоку.

— Хватит выкручиваться.— Сэнгоку нервно рассмеялся.— Обманом завели сюда школьниц, а здесь на вас напал «отряд повстанцев», точно?

— Нет, кто-то здесь, внутри, ждал нас в засаде.

— Кто-то? Кто же?

— Свинья со своими приятелями.

Зазывала медленно, шаг за шагом, двинулся вперед.

— Это уж слишком, ну...

— Оставь его, пусть говорит.— Наконец я начал кое-что понимать. Группа «Гроза дорог», подвергшаяся нападению, металась по темному лабиринту, и часть ребят, включая и школьниц, где-то заблудилась. Это «где-то» для меня было чрезвычайно важно. Мне было необходимо выяснить, куда они подевались.— До последнего времени здесь жил один я. Остальные трое присоединились ко мне лишь сегодня. Можешь спросить у Комоя-сан. Мог ли я один напасть на вас?

— Но на нас напали.

— Значит, напал «отряд повстанцев».

— «Отряд повстанцев» защитил нас.

— Вот дурак так дурак,— завопил Сэнгоку, выставив вперед обе руки, наподобие бивней слона.— Никогда не видел такого болвана. Тех, кто брешет другим, на свете сколько угодно, но чтобы человек врал сам себе, впервые вижу. Почему же все остальные ребята, кроме тебя, изо всех сил бегут от «повстанцев»? Мелешь чепуху. Ты знал, что в каменоломне, в той ее части, которая выходит к морскому побережью, живет всего один человек. Ты все про него знал. Таких людей, как ты, и называют шпионами, понятно?

Подросток вдруг разревелся. Он плакал, уперши лбом в метлу, плечи его вздрагивали.

— Дурак...— Женщина опустила самострел и вернулась к лестнице.

— Попробуй вспомнить. В каком примерно месте вы потеряли девочек?..— Поселившаяся в ноге личинка начинала превращаться в червя. Еще один приступ боли — и у меня рассудок помутится. А если этот червь еще станет многоножкой, я не выдержу. Такой муки мне не вынести. Лучше уж отрезать ногу.

Послышались приближающиеся шаги. Теперь уж это точно продавец насекомых. Действительно, в проходе появилась его огромная голова. Он остановился там, где был виден нам во весь рост, донесся его звучный голос:

— Благодарю. Оставить двух связных, остальным влиться в поисковую команду. Все.

Неужели это тот самый продавец насекомых? И все же, увидев его, я вздохнул с облегчением.

— Задержались вы что-то.— Зазывала, тоже не скрывая облегчения, произнес эти слова бодро и весело. Видимо, и он возлагал на продавца насекомых надежды.

— Да, задержался...

— Прошу прощения.— Переставший плакать подросток встал по стойке «смирно» — пятки вместе, носки врозь — и прижал к боку метлу на манер винтовки.

— Ты...

— Это разведчик «А»,— послышался низкий, хриплый голос, и за спиной продавца насекомых в проходе выросла еще одна фигура. Старик, точнее, какое-то темное пятно, дыра, имеющая очертания человека. Впрочем, не такой уж старик, ему было не больше шестидесяти. Широкоплечий, мускулистый. Хорошо подогнанная темно-синяя форма. Конец палки метлы, зажатой под мышкой, отливал черным. Наверное, приделан металлический наконечник, такая метла может служить неплохим оружием. На плече — брезентовая сумка.

— Да-да, разведчик.— Продавец насекомых слегка кивнул и, показав рукой на старика, похожего на тень (цвет лица у него был почти такой же темный, как форма, поэтому и возникала ассоциация с тенью), представил его нам: — Мой адъютант. Он служил еще у бывшего командира...

— К вашим услугам.— Тень отвесила глубокий поклон.

Оставив подростка и старика, продавец насекомых направился к нам. Похоже, он тянул время, чтобы разобраться в обстановке. Я не мог понять, почему продавец насекомых и старик не промокли. Если они шли от входа у мандариновой рощи, то должны были переправляться через подземную реку. Кстати, подростки тоже были сухими. Как это им удалось? Неужели я так плохо знаю каменоломню?

Продавец насекомых перевел взгляд с меня на унитаз, потом на тюк. Посмотрел в лица остальным.

— Возникли осложнения? — Он указал подбородком на тюк с трупом.— Как к этому отнесся Капитан? Все-таки отец, да и положение сложное. Какие-нибудь трудности?..

— Все нормально. Неприятно, конечно, иметь дело с трупом, но не более того.

— Но с унитазом, по-моему, осложнения,— сказал продавец.— Неужели Капитан отказывается заняться трупом?

— Посмотрите сами и все поймете,— бросила женщина.

— Конечно, пойму.

— Хорошенькое дельце.— Голос Сэнгоку дрожал.— Чего только не делали, застряла нога, как пробка в бутылке вина.

— Мне все это уже вот как надоело.— Зазывала провел рукой по горлу.— Слишком много трудностей.

— Действительно, трудностей слишком много.— Продавец насекомых снова посмотрел на меня, потом на тюк и стал почесывать нос.— Я думал, стоящая работенка, мы с «повстанцами» все как следует обсудили... И вот на тебе, теперь дело застопорилось из-за ноги Капитана...

— Я уже давно думаю, что делать. По-моему, есть лишь два способа,— тихо сказала женщина, внимательно наблюдая за реакцией окружающих.

Да, об этом лучше говорить потише. Я легко читал ее мысли, будто свои собственные. Действительно, лишь два. И выбор — дело весьма тонкое.

— Я тоже так думаю,— неожиданно для меня поддержал ее зазывала.

— В принципе мне тоже так кажется,— согласился даже Сэнгоку.

В самом ли деле все четверо пришли к одному и тому же выводу, или этот вывод — единственная дорога, которой любой прошел бы, не блуждая?

Продавец насекомых свернул спальный мешок и уселся на нем, как на стуле.

— Слушаю вас. Если вы единогласны в своем решении, оно, безусловно, оптимальное.

Никому не хотелось начинать. Наконец женщина с невинной улыбкой заговорила:

— Коротко говоря, первый способ — расколоть унитаз. Другой — найти находящееся под ним машинное отделение и, открыв клапан, ликвидировать вакуум.

— Здорово...

— Но каждый из них имеет свои недостатки. Если разбить унитаз, то, пока мы его не починим, избавиться от трупа не удастся. А чтобы найти машинное отделение, нужно прежде обнаружить, куда скрылись пропавшие школьницы.

— Почему?..

— По выкладкам Капитана они находятся в той части каменоломни, которая до сих пор не была им обследована. Так что связь прямая.

— Здорово.

Заговорил адъютант, замерший в проходе в выжидательной позе:

— Как говорится, одним выстрелом — двух зайцев или одним камнем — двух птиц. Но позвольте мне сначала выразить свое искреннее соболезнование Капитану. А теперь как ответственный за возложенное на меня важное поручение я перейду прямо к вопросу о поиске пропавших. Многие годы мы под руководством уважаемого Тупого Кабана мечтали о построении самостоятельного, независимого царства стариков. Нет, мы не употребляли выражения «царство старнков». В «отряде повстанцев» слово «старнк» считается дискриминационным. Тупой Кабан-сэнсэй[1] был во всем бескомпромиссен и тверд. Мы именуем себя «отверженными». Строго говоря, идея создания «царства стариков» никак не связана с возрастом. И лишь исходя из специфических особенностей, присущих старикам,— их физической слабости, невозможности снова стать сильными и здоровыми, а также потому, что старость удел всех людей,— нас следует считать типичными представителями отверженных, и поэтому в словаре «отряда повстанцев» стариков так и называют: «типичные представители отверженных». Таким образом, строго говоря, мы стремимся к созданию «Царства Типичных Представителей Отверженных». К счастью, день осуществления нашей мечты уже близок. Очень скоро с неба хлынет адский огонь плутония и урана, и наступит час, когда мы перечеркнем прошлое и все начнем сначала, о чем не раз говорил нам находящийся здесь Сэнгоку-сан.

— Что это за человек? — шепотом спросила женщина.

— Это профессионал,— тоже шепотом ответил зазывала.

— ...Слышите, как рыдает мир? Рыдает, глядя на теплый, уютный домашний очаг, нарисованный на картинке. Рыдает, глядя на зал бракосочетаний в телевизионной рекламе. Рыдает, напевая модную песенку. Во всяком случае, нам, типичным представителям отверженных, отчетливо слышны рыдания. Смерть сэнсэя не должна быть напрасной. Командир Комоя-сан, Капитан-сан, ведите нас!

Адъютант-тень расстегнул сумку и вытащил из нее предмет, напоминающий сгнивший кочан капусты. Благоговейно неся его в руках, он, словно совершая некую церемонию, важно двинулся вперед. Остановившись передо мной, он протянул мне этот предмет, точно подарок на память. Это была та самая охотничья шляпа, с которой при жизни не расставался Тупой Кабан. Тень, склонив голову, почтительно возвестила:

— Это прощальный подарок сэнсэя, примите его, пожалуйста. Пусть он придаст вам силы, и да исполнится воля сэнсэя.

Даже прикасаться к шляпе мне было противно. В ней словно сконцентрировалась вся мерзость Тупого Кабана. Материализовавшаяся вонь. Но я был обязан принять подарок: ритуал надо соблюдать. Старик, проявлявший ко мне такое трогательное внимание, мог бы еще простить, если бы я обращался со шляпой недостаточно почтительно, но игнорирование ритуала не простил бы ни за что. Стоявший рядом продавец насекомых хранил молчание и не позволил себе даже легкой усмешки не только потому, что знал своего адъютанта совсем недолго, но, несомненно, и потому, что сразу понял, какой бешеный нрав скрывался за внешней бесстрастностью старика. Отступив назад и внимательно разглядывая унитаз, старик-тень покачал головой:

— Вот беда...— Потом, опершись на метлу, как на палку, пригнулся и заговорил с продавцом насекомых. В его почтительности чувствовалась сила: — Нужно созвать всех, кто сейчас убирает улицы, и присоединить их к тем, кто занимается поисками пропавших самок. Это поднимет их дух. Тем самым мы не только сослужим службу Капитану, от этого зависит, быть или не быть «царству типичных представителей отверженных». Пусть нам удастся выжить, когда все остальные будут уничтожены адским огнем, но если мы не оставим после себя детей и внуков, наше существование окажется бессмысленным. Нам будет стыдно смотреть в глаза друг другу. Подобно тому как бамбук перед тем, как засохнуть, цветет и приносит плоды, «типичные представители отверженных» полны мужской силы. Даже наукой подтверждается, что старики вполне способны производить потомство. Любой из них предпочтет еде приятную беседу о бабах.

— Раньше бы так не говорили! — закричал подросток срывающимся голосом, весь напрягшись.— Вы же обещали не распускать рук!

— Чтобы рождались дети, рук не нужно. Слышал такое выражение? — Адъютант вытянулся во весь рост и ударил палкой метлы об пол. Раздался металлический звук.—

[1] Почтительное обращение или приставка к имени.

Если хочешь, чтобы и тебе что-то перепало, будь почтителен. Ясно? Почтителен. Или, может, хочешь попасть под суд? Отвечай, меня устроит любой ответ.

Говорит точно как Тупой Кабан, подумал я. Продавец насекомых, уставившись в пол и почесывая ухо, старался сохранять невозмутимость.

— Хорош,— прикусила губу женщина.

— Когда имеешь дело с таким человеком, нетрудно сделать вид, что поддаешься,— кивнул зазывала.

После недолгого колебания подросток выпрямился и с бесстрастным выражением лица проговорил нараспев:

— Прошу прощения.

— Так-то лучше.

— Ну что ж...— Продавец насекомых покачал своей огромной головой и ощупал брючные карманы.— Последнее, что осталось установить,— предел физических возможностей Капитана, согласны?

— Я тоже так считаю,— быстро ответила женщина суровым тоном.— Поиски бессмысленны, ничего они не дадут. А с Капитаном и так не все ладно, я еще раньше заметила.

— Расколем мы унитаз и что же будем тогда делать?

— Все это случилось потому, что там вакуум, нужно поскорее сделать в трубе дыру и впустить туда воздух. Достаточно пробить вокруг унитаза бетон на глубину двадцать сантиметров...

— Вопрос — каков риск.— Продавец насекомых вынул из кармана золотой значок.— Ну как? В любых, самых людных местах с таким значком уступают дорогу, а если он еще и золотой...

Никто не потянулся, чтобы посмотреть. Адъютант снова стал настаивать:

— Давайте пошлем связных. За уборщиками улиц. Вызовем их и включим в группу поиска.

— Школьниц всего десять, а стариков из «отряда повстанцев» несколько десятков...— сказал зазывала тусклым, как грязная пена, голосом.

— Я не могу этого позволить. Ни в коем случае не могу позволить,— возмутился Сэнгоку.— Даже если сегодняшний мир будет перечеркнут и все начато сначала, даже если нам посчастливится и мы выживем, все равно девушкам должно быть гарантировано право выбирать партнеров. Я предлагаю сделать это положение важнейшим пунктом нашего устава. Что значит «самки»? Если будут употреблять подобные выражения, я отказываюсь от всякого сотрудничества с вами.

Несколько секунд длилось молчание. Подросток прошептал:

— Раньше вы не так говорили, совсем не так...

— Ну как, Капитан, сколько времени сможете продержаться? — с улыбкой взглянул на меня продавец насекомых, опершись локтями о спальный мешок и поигрывая значком. Выражение лица у него было точно такое же, как в тот раз, когда, остановив джип, он пошел покупать тушеную рыбу в бамбуковых листьях.

— Мне бы хотелось вот что спросить. Комоя-сан, вы пришли сюда через вход у мандариновой рощи. Почему вы совсем сухой, и одежда и волосы?

— Мне тоже это показалось странным,— поддержал меня зазывала.

— Лодка, вот и все.— На лице адъютанта появилась легкая улыбка.— Резиновая лодка. Нет ничего удобнее. Мы держим ее на верхнем своде водоспуска в восточной части каменоломни, над самой водой. Пользуйтесь ею когда вам заблагорассудится. В нее нужно лечь навзничь. И продвигаться вперед, упираясь в верхний свод ногами и руками; четыре-пять метров — и уже ступеньки. А чтобы лодку можно было вытянуть обратно, к верхнему своду водоспуска прикреплен блок и привязана веревка...

Ничего не скажешь. Слишком простое объяснение в прах разбило мои жалкие надежды. Оказывается, никакого неизвестного мне пути в каменоломню не существует.

— Есть и третий способ. Но он, конечно, не подлежит обсуждению.— Продавец насекомых потер о колено значок и прикрепил его к груди.— Отрезать ногу. Я, конечно, говорю об этом лишь как о теоретической возможности.

— Напрасно тратим время, командир, Тупой Кабан-сэнсэй давно бы послал связного. Сэнсэй знал, как обращаться с людьми. Чтобы держать отряд в руках, нужны для приманки самки.

Адъютант подошел к унитазу. Кажется, он все-таки не собирается причинить мне вред. Подняв зеленую охотничью шляпу Тупого Кабана — я и не заметил, что она

упала на пол,— и стряхнув с нее пыль (хоть шляпа была более пыльной, чем сама пыль), он пересек трюм и почтительно водрузил ее на голубой люк. И хлопнул в ладоши. Ему было все равно, какой это обряд, синтоистский или буддийский. Со спины он тоже напоминал дыру в пространстве.

— Хорошо, пошлем связных.— Продавец насекомых встал.— У кого-нибудь из вас есть знакомый врач? Пусть он не принадлежит к «отряду повстанцев», но хотя бы знать, что не будет задавать лишних вопросов...

— Есть, но акушер,— в некотором замешательстве ответил адъютант.

— Что вы собираетесь делать? — Во рту у меня пересохло.

— Подойдет любой специальности.— Продавец насекомых поднял руку, призывая всех к молчанию.— Если не удастся его пригласить сюда, хорошо бы хоть получить у него лекарства. Нужно сильное болеутоляющее. Которые продаются в аптеках, не годятся. Надо бы что-нибудь посильнее, какой-нибудь наркотик вроде морфия. Чтобы подействовало.

— Подействует. Если, конечно, не принимать постоянно.

— И еще снотворного и антибиотиков. Посылайте связного, срочно.

— А насчет того, чтобы вызвать уборщиков...

— Это я поручаю вам, адъютант.

23

«Хочу увидеть небо...в мирный день, хотя бы украдкой»

— Ох, как хочется увидеть небо,— вздохнув, сказала женщина тоненьким голоском.

— Ночь же еще.— Боль в ноге стала какой-то странной. Теперь она пульсировала, не совпадая с биением сердца.

— Ну что ж, пусть завтра.

— Хочешь наружу?

— Конечно, хочу.

Делая вид, что направляется к мойке, женщина подняла «узи» и поставила его у унитаза. Я мог легко дотянуться до автомата рукой, не сгибая колена. Неужели она боится за меня? Обстановка действительно становилась все более напряженной. Из машинного трюма вернулся адъютант, передававший приказ связным. Ударив палкой метлы об пол, он скомандовал подростку:

— Разведчик «А»!

— Слушаюсь!

— Принеси стул и стол из верхней комнаты.

— Принести стул и стол из верхней комнаты. Слушаюсь.

— Хватит своевольничать! — крикнул я, взглядом прося продавца насекомых и зазывалу о помощи. Но откликнулись лишь зазывала и женщина. Он встал у лестницы, а она сняла самострел с предохранителя. Продавец насекомых, отрицательно покачав головой, с явной неохотой остановил подростка,— это все, что он сделал. Я еще не привык к новой расстановке сил. Может быть, на моей стороне Сэнгоку, который буквально задыхался от волнения?

— В чем дело? — Адъютант не столько возражал, сколько удивлялся.— Я хотел, воспользовавшись представившейся возможностью, вкратце доложить новому командиру о выполнении важнейших пунктов сегодняшней программы. Для просмотра документов мне нужны хотя бы стол и стул.

— Мало ли что вам нужно, вход туда без разрешения запрещен.

— Тогда разрешите!

— Мне кажется, лучше избегать таких резких выражений...— Продавец насекомых, с улыбкой успокаивая меня и адъютанта, стал раскладывать на полу спальный мешок.— А пока что можно расположиться на нем, не возражаете? Вроде бы расстелили циновку и устроили ночное любование цветущей вишней.

Глядя, как адъютант вынимает из сумки и раскладывает на спальном мешке разные предметы, зазывала рассмеялся, видимо вспомнив о своей профессии. Было похо-

же на то, как раскладывает свой товар нищий уличный торговец. Даже продавец насекомых не смог скрыть горькой усмешки. Женщина примостилась на нижней ступеньке, а тремя ступеньками выше, чтобы через перила смотреть на происходящее, устроился зазывала. Продавец насекомых сел у той стены, куда выходил капитанский мостик, и даже Сэнгоку подошел к самому унитазу и наблюдал за действиями адъютанта. Лучшее место — на унитазе — занимал я. Один только разведчик, надувшись, остался у бочек.

Все сильнее беспокоила нога. Боль передалась всему телу, начался озноб. У меня было такое состояние, что хотелось как можно скорее получить от врача лекарство. Хотя разум и противился этому. Причем думал я не об антибиотиках, а именно о морфии.

Адъютант разложил свой «товар». Среди предметов выделялась телефонная книга.

— К чему эта телефонная книга? — спросил продавец насекомых с недоумением.

— Мы ее используем позже, во время суда. Я все объясню по порядку...

— Выходит, командир должен лишь выслушивать, а права решать не имеет?

— Ничего подобного. Я бы только хотел предостеречь вас от слишком радикальных реформ. Обычаи, принятые всеми членами, вошли в нашу плоть и кровь. Вряд ли благоразумно сеять сомнения в их целесообразности. Гордость, что являешься членом «отряда», и полное подчинение — звенья одной цепи.

— Послушайте, где вы всему этому научились?

— Предоставляю это вашему воображению.— Тень впервые рассмеялась. Бесцветный смех, не вызывающий никаких эмоций.— Я некоторое время был связан с политикой...

— Очень интересно, верно, заниматься политикой.

— Быть у власти — что может быть интереснее! Живешь, правда, в постоянном страхе ее лишиться, но нет ничего чудеснее обладания целым государством. Тупой Кабан-сэнсэй был полностью удовлетворен этим.

— Под государством вы, конечно, подразумеваете «царство типичных представителей отверженных»?

— Я вижу, вы не поняли. Не оценили всего величия идеи. Ценность государства определяется не тем, большое оно или маленькое, богатое или бедное. Проблема в другом — опираясь на международное право, получить признание иностранных государств. Стоит добиться такого признания, и государство суверенно, даже если оно величиной с ладонь. Поняли? В сегодняшнем мире нет власти большей, чем та, которую дает государственный суверенитет. Делай что хочешь... хоть убивай, хоть грабь, хоть набивай карманы ворованными деньгами — никто тебя не арестует, никто в тюрьму не посадит. А если кто и осудит, никакого наказания не последует. Нынешний век — век государственного суверенитета, вот в чем дело.

— Забавный вы человек.— Продавец насекомых оценивающе оглядел адъютанта и на секунду задумался.— Все это пустые фантазии. Хоть умоляй, хоть требуй, никто не признает такое государство — «царство типичных представителей отверженных».

— Ничего-то вы не поняли. Прошу прощения, это я виноват. Не забывайте, что мы вступаем в эпоху, когда перечеркивается прошлое и все начинается сначала. В эпоху, когда можешь сам признать себя. Новая эпоха, никуда не денешься.

— Вы тоже всерьез верите, что начнется ядерная война?

— Конечно, начнется.

— Я тоже так думаю,— сказал я, сжав зубы, чтобы унять бивший меня озноб.

— Почему? — Продавец насекомых, кажется, не очень обрадовался, что у адъютанта нашелся единомышленник.

— Если одной из сторон удастся найти верный способ победить (а все только тем и занимаются, что ищут такой способ), она не преминет тут же использовать его на деле.

— Вы очень наблюдательны.— На мгновение мне показалось, что тень широко раскрыла свои глаза-тени и внимательно посмотрела на меня.— Но важно другое. Если, предположим, в нашем государстве вспыхнет повальная эпидемия, оно пока не располагает ни местом, где можно было бы изолировать заболевших, ни средствами, которые бы позволили это сделать.

— Что же нам делать? — простонал Сэнгоку.

— Это-то и интересно. Это даже интереснее, чем присутствовать при событиях, описанных в первой главе Книги бытия. Мы участвуем в создании государства.

— Но мне отвратительно любое царство.— Отек дошел до колена, тяжесть в ноге стала непереносимой. Хотелось сесть хоть чуточку поудобнее.— Я уже говорил Комоясан, что монархия и диктатура мне не по вкусу.

— Суть любого государства одна и та же.— Адъютант в каком-то ему одному ведомом порядке разложил на спальном мешке телефонную книгу и стопки бумаг.— Капитан, очевидно, имеет в виду демократию. Демократизация — не что иное, как мера, принимаемая государством с целью повышения производительности труда. Чтобы повысить эффективность компьютера, его терминалам предоставляют больше свободы. При любой, даже самой демократической системе преследуются так называемые «преступления против государства», что тоже ведь является ограничением свободы.

— Конечно, одна из основ свободы — право на самозащиту.

— Верно. Но гарантирует это право опять-таки государство. Защита от внешнего вмешательства во внутренние дела и предотвращение внутренних беспорядков, другими словами, армия и полиция — вот два важнейших столпа государства. Не может быть государства, в котором не осуществляется функция господства. Носитель государства — индивидуальный или коллективный — обязательно должен быть, именно он и выдает гражданам паспорта. Но хватит об этом, мы в настоящее время ставим лишь вопрос о «царстве типичных представителей отверженных». Красивое слово «царство», не правда ли? Так говорят об идеальной стране, изолированной от внешнего мира... Что же касается конкретных вопросов государственного устройства, то их мне хотелось бы поручить командиру отряда или Капитану.

Мы с продавцом насекомых непроизвольно переглянулись. Ловко он вбил клин между нами. А многозначительным выражением «мне хотелось бы поручить» не забыл продемонстрировать положение, которое он занимает. Великий плут. Мне показалось, что нечто похожее я уже когда-то видел во сне. В тот самый миг, когда я приступил к торговле «сертификатами на право выжить», нынешняя ситуация уже была предопределена. Я внушал себе, что бежать мимо заброшенного храма, где живут привидения, совсем не страшно, если отвернуться в сторону, но на самом деле все не так просто. В этом-то и состоит суть выживания.

— А кто нанял меня? — спросил зазывала усталым голосом, устраиваясь поудобнее. Наверное, ему было неловко сидеть на каменной ступеньке. Это пустяковое неудобство не шло ни в какое сравнение с испытываемыми мной страданиями.— Мне стало трудно улавливать, что здесь происходит. Кому я должен служить? Кто меня нанял?

— Нанял я.— В таких обстоятельствах чем больше у тебя сторонников, тем лучше, пусть будет хотя бы еще один. И помощь от него нужна была прямо сейчас.

— А чем собираетесь торговать?

— Разве не ясно? Своим положением. Но до этого, ты уж меня извини, принеси, пожалуйста, со стеллажа наверху энциклопедию.

— Да вы скажите, что вам там нужно, я сам посмотрю.

— Хочу сложить тома один на другой и использовать вместо стула. Колени меня уже не держат.

— Томов пять-шесть? Лучше семь, тогда точно хватит.

Адъютант невозмутимо раскрыл блокнот большого формата и расчертил лист фломастером. В каждой графе он написал цифру.

— Прошу прощения. Как и обещал, хочу рассказать вам о нашем распорядке дня. Четыре тридцать утра — окончание работы. Баня. Хоровое пение.

— Хоровое пение, это что, пение военных маршей? — спросил Сэнгоку.

— Совершенно верно. Марш «В просторах Маньчжурии диких, вдали от родной стороны».

— Больно тухло, не чувствуется свежести,— покачал головой продавец насекомых.

— Почему же? Для «типичных представителей отверженных» вполне подходящая песня. В ней звучит собачья тоска солдат, которым уготована собачья смерть.

— Еще бы не тоска, помните: «Мой друг в этом поле широком под камнем могильным лежит».

— Э, нет. С самым большим чувством «повстанцы» поют строку про то, как «слезы застыли в глазах». Только в этом месте хор всегда звучит стройно.

— Что одна строка, что другая,— пожал плечами продавец насекомых.

— В пять часов сбор в столовой.

— Где она находится?

— Я бы хотел, с вашего позволения, начиная с сегодняшнего дня, разместить ее во втором помещении каменоломни.

— Бросьте шутить. Кто вам это позволит? Я не дам вам здесь хозяйничать,— возмутился я.

— Но хозяйственная группа уже начала доставку оборудования и пищи...

— Комоя-сан, вы стали командиром «отряда повстанцев», но так далеко ваши права не распространяются.

— Нельзя? — спросил адъютант примирительным тоном. — Ну что ж, можно перевести ее в третье помещение, куда ведет подъемник. Туда уже, должно быть, доставили почти все необходимое. Члены «отряда» стремятся как можно скорее войти в группу поиска школьниц, это окажет положительное влияние на их моральное состояние.

— Капитан, прошу вас, поручите это мне. Любые изменения при всеобщей неразберихе ведут к еще большему хаосу. Нужно найти путь к взаимной договоренности...

Как это похоже на продавца насекомых. Я, хоть и ждал, что он будет заговаривать мне зубы, все же от его слов настроение испортилось окончательно. Можно было только посочувствовать адъютанту — что ждет его в будущем? Каким образом удалось продавцу насекомых за такой короткий срок захватить пост командира? Только благодаря тому, что он убил Тупого Кабана? Тогда это просто схватка за положение вожака в звериной стае. Но не стоит так уж набрасываться на продавца насекомых, это, наверное, на руку адъютанту. С лестницы спустился зазывала, неся на плече тома энциклопедии.

— И что это еще за «второе помещение»? Оно имеет точное название — машинный трюм.

— Прошу прощения.

Женщина и зазывала сложили тома энциклопедии на унитаз до нужной высоты. Сэнгоку обнял меня и помог, не тревожа колена, как следует устроиться. Сначала было больно оттого, что вывихнутый сустав вытягивался, но зато потом я почувствовал облегчение во всем теле. В голове был туман, как это бывает, когда засыпаешь. Но в колене и стопе словно появилось два электрических полюса, и я ощущал ритмические удары, будто между ними бежал ток. Я понимал, что медленно, но верно эта сила тока будет расти.

— Потерпите еще немного.— Сказав это, адъютант изобразил на лице улыбку, отчего в углах глаз появились морщинки. Тень постепенно обрастала плотью и стала занимать в пространстве определенное место.

— Лекарство принесет вам облегчение, хотя и не решит проблемы.

— Но он не может ждать,— продавец насекомых, рассмеявшись, махнул рукой. — С энциклопедией вы хорошо придумали. Колену теперь полегче, не нужно удерживать тяжесть всего тела.

— Если снова речь зайдет о том, чтобы напоить меня снотворным и отрезать ногу... — Прежде всего я заглянул в глаза зазывале, потом обменялся взглядом с женщиной и, наконец, переглянулся с Сэнгоку. — Вы уж защитите меня. Не помогайте этим типам.

— Выбирайте выражения, Капитан. — Продавец насекомых пристально посмотрел на меня. — Это уж слишком.

— Сами виноваты. Вы говорили, что служили в силах самообороны да разочаровались, а по-моему, вам там было совсем неплохо. Вспомните, как вы только что командовали...

— Я и сам удивляюсь. Правду говорю. Хоть мне это и невыгодно. Отдавать приказы и получать их — не одно и то же. Совсем не одно и то же. Одно дело — ты винтик в автомобиле, другое — ты сам управляешь автомобилем.

— Хочу увидеть небо...— с выражением сказала пившая воду у мойки женщина, будто декламировала стихи.

— Что ни говори, но владеть государством — высшее счастье. Прошу прощения. — Адъютант поставил третью галочку над одной из линий, проведенных в блокноте.— Принятию пищи предшествует клятва «отряду повстанцев». «Выметем весь

мусор, громоздящийся на нашем пути»... Сегодня утром — в это время года сейчас уже светает,— так что утро уже наступило... я бы хотел почтить молчанием господина Тупого Кабана. Чтить память павших товарищей — один из способов добиться доверия подчиненных. Если вы, Капитан, захотите произнести речь...

— Не издевайтесь.

— Прошу прощения, я не хотел вас обидеть. Пять часов сорок пять минут — окончание завтрака. Пятнадцать минут отдых. С шести часов — время суда. Суд разделяется на два этапа. Первый — взаимный суд. Он производится на основании анонимных доносов друг на друга. Это весьма эффективное средство поддержания дисциплины. Я знаю все, что вы хотите сказать по этому поводу. Но взаимное недоверие в определенной степени необходимо — как камфара, стимулирующая жизнедеятельность организма. Разумеется, предавать гласности все доносы необходимости нет. Мы с командиром можем рвать их, но можем и сами создавать...

— Почему вы не говорите «фабриковать»? — атаковал адъютанта с лестницы зазывала, точно пустил в него стрелу.

— Хотите так называть — ваша воля.

— Мрачная компания, ох, мрачная... — простонал Сэнгоку.

— Глупости... — протянул адъютант, не разжимая губ, и высоко вскинул подбородок. Наверное, у него вставные зубы. — Не нужно красивых слов. Этот метод широко применяется и в фирмах, и в учебных заведениях. Он называется методом самоконтроля. Итак, перейдем ко второму этапу суда. Это колоссальное мероприятие, занимающее целый день... Хотя нет, если к этому времени школьницы попадут в наши сети, предполагаемый распорядок дня придется несколько изменить. Рядовые члены «отряда», верно, уже рисуют себе радужные картины. Что будут тянуть жребий и все такое. Использование самок и проведение беседы с членами «отряда» — это следует заранее продумать самым тщательным образом. Кто не особенно расположен, может в этом и не участвовать, а я так с удовольствием. Не исключено, что и Капитану удастся найти ключ к решению своей проблемы. Нам будут в определенном порядке представлены рядовые члены «отряда», а мы проведем личную проверку каждого.

— Как вы можете молча выслушивать все это?! — Сэнгоку тяжело дышал, и его голос прозвучал очень громко. — Я этого не вынесу!

— Ну и не выносите, мне-то что,— бросил небрежно адъютант и продолжал: — Оставим в стороне самок. Для второго этапа суда необходима вот эта штука.

Он положил руку на изрядно потрепанную телефонную книгу и эффектно умолк. Эффекта он действительно достиг. Когда окружающие сообразили, что он имеет в виду, все помрачнели.

— Мальчишка-то все еще плачет,— прошептала женщина через плечо.

Подросток, не шевелясь, сидел на бочке, закрыв лицо ладонями. Может быть, он и в самом деле плакал, а может, просто уснул.

— Кажется, будто нога начала гнить.

— Потерпите еще немного...

— С помощью «узи», я думаю, дыру в трубе не пробить. Будет много крови, а сама нога все равно останется торчать в унитазе.

— Итак, приступаем к отбору.— Адъютант взял телефонную книгу и стал перелистывать. Разноцветные страницы пестрели миожеством значков

Будем выносить решение, имеет тот или иной человек право на выживание или нет. Нам предстоит в алфавитном порядке оценивать в среднем по тридцать человек в день. В случае, если абсолютное большинство дает отрицательную оценку, человек вычеркивается. Результат — смертный приговор. Если же мнения разойдутся — отсрочка. Отсрочка тоже может носить разный характер. При повторном разбирательстве она может быть пересмотрена и заменена смертным приговором.

— А по какому принципу проводится разбирательство? Собрать материалы на каждого, наверное, непросто. — Зазывала, как это было уже много раз, задал вопрос

вместо меня, на сей раз не касаясь эволюционной теории, согласно которой, по его мнению, идеальными членами экипажа стали бы отбросы общества.

— Но я представляю, какое удовольствие — вершить такой суд. — Продавец насекомых кивнул адъютанту, показывая своему подчиненному, что прекрасно его понимает. — Право казнить или миловать, отнимать или даровать. Великое дело, налагающее огромную ответственность перед будущим.

— Конечно, мы используем самые различные документы в качестве справочных материалов. Компьютер муниципалитета снабжает нас сведениями о составе семьи, профессии, доходах и т. д., получаем мы информацию и от сыскных агентов. Однако нынешняя обстановка требует немедленных решений — в день необходимо решать судьбу по меньшей мере тридцати человек. На каждого — не более пяти минут. Поэтому для ускорения вынесения решений могут быть использованы слухи и мнения, распространяемые окружающими, внешнее впечатление от жилища и тому подобное. В случае, если нет никакой информации, кроме самого факта включения в телефонную книгу, следует принимать решение интуитивно, исходя из имени человека, названия торгового предприятия или фирмы и даже номера телефона.

— Не может ли случиться, что невиновному будет вынесен смертный приговор? — Продавец насекомых устроился поудобнее.

— Каждый невиновен, пока не оказался под судом.

— Это верно. Но может быть, тогда лучше бросать кости?

— Кости не подходят. Процент смертных приговоров окажется чересчур низким.

— Неужели же смертных приговоров должно быть так много?.. Хотя ничего не поделаешь, ведь на борт можно взять лишь ограниченное количество людей.

— Он просто чокнутый,— раздался голос женщины рядом с моим ухом.

— А каков должен быть процент смертных приговоров?.. — Голос зазывалы, словно обессилев, звучал еле слышно.

— Полностью невиновных пока что не бывало. — Адъютант был по-прежнему невозмутим. А может, он просто изображал бесстрастность, внутренне наслаждаясь тем, что говорит. — Бóльшая часть — смертные приговоры, остальное — отсрочки, среди отсрочек — целый ряд градаций: новое слушание, предварительное заключение, передача на поруки, временная передача на поруки, отсрочка приведения приговора в исполнение, подача апелляции, затем повторное расследование на основании новых данных и новых свидетельских показаний. Но в любом случае дело кончается смертным приговором. Я думаю, вы убедитесь в этом сами, хотя бы единожды увидев своими глазами, как проходит суд. Члены «отряда» — «типичные представители отверженных» — проявляют горячий энтузиазм в момент вынесения смертного приговора. Это тот момент, когда они, отверженные, чувствуют всю прелесть жизни. И не думайте, что в отряде собрались одни маньяки. — Он положил руку на раскрытую телефонную книгу и, сохраняя каменное выражение лица, бросил вызывающий взгляд на женщину и зазывалу. — Вынесение смертных приговоров, которое первоначально являлось тяжкой мерой, необходимой для отбора людей, достойных выживания, в какой-то момент превратилось в самоцель, в источник наслаждения. Можно, конечно, объяснять это извращенной сущностью «типичных представителей отверженных». Но дело не только в этом. Из всех сказок, которые я читал в детстве, в памяти у меня осталось только два эпизода. Содержания самих сказок я не помню, только эти сцены запечатлелись с поразительной ясностью. Одна из них — королева из «Алисы в стране чудес», которая, не вникая в дело, все время кричит: отрубить голову, отрубить голову. Другая — из сказки Андерсена, забыл ее название, в которой молодой принц прячется за деревом и, вынеся смертный приговор проходящему мимо случайному путнику, закалывает его. Так что и в мире детей происходит то же самое. Более того, «типичные представители отверженных» в некотором смысле сами приговорены к смерти с отсрочкой исполнения приговора. И учтите, вынося смертный приговор, мы не приводим его в исполнение. Исполняют приговор сами осужденные.

Если взять бешеное презрение Тупого Кабана ко всем окружающим, растворить его, выпарить и кристаллизовать, как раз и выйдет, наверное, теория адъютанта. Надо ее понять и отвергнуть, тогда появится надежда на спасение. Но если вдуматься, не тем же ли занимался и я, сам того не осознавая? Разве моя пассивность, мое нежелание выпускать из рук сертификаты не сводится к тому же? Если меня в этом обвинят, мне будет нечего возразить. И продавец насекомых, и зазывала неоднократно указывали на мое стремление отгородиться от всех. Так оно и есть на самом деле.

Фактически я все равно что подписывал один за другим смертные приговоры, вынесенные без суда и следствия. Трудно сказать, что более жестоко. Во всяком случае, у меня нет права осуждать «отряд повстанцев». Сначала мне следует осудить, уничтожить самого себя.

— Но если действовать только методом исключения, эффективность будет низкой и ничего не получится. — Зазывала, видимо желая как-то разрядить обстановку, щелкнул пальцами и стукнул рукой по перилам. — Наоборот, нужно составить список людей, которые нам необходимы: врачи, медсестры, специалисты по компьютерам, автомеханики...

— После взрыва ядерной бомбы компьютеры уже не понадобятся,— сказал Сэнгоку сдержанно, но в его словах слышалась издевка. — Под воздействием электромагнитных волн они выйдут из строя.

— В этой области все уже предусмотрено,— ответил адъютант. — Среди членов «отряда» есть и повара, и статистики, и специалисты по сельскому хозяйству. Плотники, штукатуры, дзюдоисты-разрядники, мясники, специалист по приготовлению сладкого картофеля, фотограф, а наш командир «отряда» обладает огромными способностями к подавлению бунтов...

Называя троих последних, адъютант явно хотел продемонстрировать свою осведомленность, а заодно и поддеть нас. Меня действительно задело то, что я оказался в этом списке после мясника и прочих.

— Если нужны фокусники, тут я мастер,— сказал зазывала.

— Это здорово,— сказал адъютант и тихо закрыл телефонную книгу. — Без фокусов тоже не обойтись. Чтобы выжить, нужны не только предметы практического пользования. В любой войне нельзя забывать и о душе. Душевное довольство — лучшая из наград. Ну вот, это и есть наш суд.

— Я тоже торговал мечтами. — Продавец насекомых посмотрел на меня пристально, словно вглядывался во тьму. — Остальные юпкетчеры, наверное, так и остались в джипе.

— Одними мечтами не обойдемся. Нужны еще ножи, нужны еще пистолеты, нужен еще и унитаз. — Зазывала внезапно вскочил на ноги. Его прямо трясло от напряжения. Потом, глубоко вздохнув, снова сел. — Останься мы здесь, и не будет никакой необходимости добывать деньги. Если мы перечеркнем прошлое и все начнем сначала, не будет дающих взаймы, не будет и берущих. А сделай хоть шаг отсюда — там повсюду играют в прятки должники и кредиторы. Перечеркнуть прошлое и все начать сначала — даже представить себе невозможно, как это прекрасно.

— Мне нужен еще и воздух,— снова повторила женщина задумчиво.

— Потому-то и послали людей на охоту за самками. Женщина — она чем моложе, тем интереснее. Вы так не думаете, командир? Юная девушка напоминает влажную бумагу. Это же так приятно — медленно нагревать ее на огне, пока она не запылает. Да, уже поздно, как же быть с лекарством? Нужно, чтобы разведчик разузнал, что со связным, которого послали за врачом, и как идут поиски. Мог бы я попросить вас, командир, отдать приказ?

Кивнув, продавец насекомых поднялся. Погладив большим пальцем золотой значок на груди, он с сомнением посмотрел на подростка, стоявшего, опустив голову, у бочек, и тяжело, как астматик, задышал.

Заскрипела железная дверь люка, послышался вопль. Сдавленное дыхание продавца насекомых вырывалось наружу, не выливаясь в слова.

— Помогите, спасите! — Ввалившийся снаружи подросток полз на четвереньках по верхней площадке. Это был тот самый, в красной куртке, которому женщина угодила стрелой в ухо. Кровь еще, кажется, не остановилась, ухо покраснело и сильно вспухло. — Его жрут собаки, помогите!

— Что такое, откуда он взялся? — Адъютант очень проворно для своих лет вскочил на ноги, потом снова наклонился, послюнил пальцы и потер лоб. Наверное, магический жест, чтобы снять напряжение. Я вспомнил, что так же делала моя покойная мать — Спустись, не бойся.

— Помогите, прошу вас, его загрызут собаки!

— Послушай разведчик, почему сделал ложное донесение? — Продавец насекомых неожиданно выпрямился, голос его зазвенел. — Ты доложил, что подозрительных личностей не обнаружил. Разве эти люди не подозрительны? В чем же дело?

— Прошу прощения. Мне никто о них не говорил. — Разведчик «А» стиснул зубы.

— Он ни о чем не спрашивал,— бросил надменно Сэнгоку.

— Во всем виноват я, мне следовало сообразить, что эта компания не будет помогать нам. — Адъютант сделал десять шагов в сторону бочек и уставился в пол. — Здесь следы крови. Мой недосмотр. Кто его ранил?

— Я... — Женщина подняла над головой самострел.

— Вот оно что. Значит, эти люди не захотели с нами сотрудничать, а разведчик пренебрег своими обязанностями. Наказание должны определить вы, командир.

— Сделайте что-нибудь, его же там загрызут собаки! Если он погибнет, это же убийство, неужели не понятно? Прошу вас...

— Заткнись.— Продавец насекомых напряг шею, будто для того, чтобы удержать поднятую вверх огромную голову. — Новыми трупами нас не напугаешь. Разведчик, стащи сюда мальчишку. Стащи сюда! Я заставлю его признаться, где спрятались девчонки.

— Не знает он.— Голос разведчика звучал совсем по-мальчишески.— Он знает только про своего дружка, с которым бежал.

Подросток в красной куртке подхватил:

— Он верно говорит. Мы вдвоем бежали. Вместе бежали, а теперь вон что вышло.

— Командир, мне кажется, вам лучше не отменять уже отданного приказа. — Адъютант, сжав пальцами переносицу и опустив голову с таким видом, будто сожалеет о какой-то потере, вернулся к унитазу.

— Сам знаю.— Продавец насекомых выхватил из-за пояса пистолет. Расставив ноги пошире, взвел курок. — Стащи его сюда поскорей, я заставлю его во всем признаться.

Взяв метлу на изготовку, разведчик послушно направился к лестнице. Подросток в красной куртке встал на колени и, вытащив цепь, повернулся к нему вполоборота. Звук металла, скребущего по полу, заставил меня содрогнуться. Я весь сжался, представив себе, как огромный кухонный нож вгрызается в мою кость. Парень в красной куртке крикнул:

— Не подходи!

— Спускайся, прошу тебя.

— Просить должен я.

— Приказ же.

— Заложил меня!

— Не прав ты, ошибаешься!

Оглушительный грохот. Эхо покатилось, как пинг-понговый шарик. Это продавец насекомых выстрелил из пистолета в потолок. Терпко запахло порохом, будто жгли какие-то лекарственные травы. Подросток в красном, уже раненный стрелой от самострела, затрясся от ужаса.

— Стаскивай его вниз. Заставь его во всем признаться, пусть даже придется вогнать ему в задницу метлу. Если он не заговорит, Капитаиу плохо будет. Пусть хоть подохнет, щенок, не беспокойся, с трупом мы разберемся.

Что он имел в виду, сказав, что Капитану будет плохо? Продавца насекомых было не узнать — не зря же он сам говорил, что огнестрельное оружие меняет человека.

— Не спустишься вниз, тебя убьют! — крикнул разведчик.

— Не знаю я ничего, не знаю, тебе-то это известно.

Подросток в красной куртке как-то разом обмяк и соскользнул вниз по приставной лестнице. И упал на голубой тюк.

— Это же труп! — предостерег его разведчик. Парень стремительно вскочил и, отбежав на несколько метров, снова повалился на пол.

— Врежь-ка ему,— деловито приказал адъютант. — Делай, что тебе сказано.

Разведчик палкой метлы ткнул подростка в красной куртке в пах.

— Больно!

— Признавайся, тебе говорят!

— Не знаю я ничего, в чем же мне признаваться?.. Больно...

— Эй, хватит. — Женщина взглянула на адъютанта. Ее глаза горели ненавистью. Лучше бы она изобразила безразличие, больше было бы пользы. Если он разгадает ее чувства, добра не жди.

— Но так просто взять и отменить только что отданный приказ непедагогично. Кроме того, выполняя приказ, подчиненный не имеет права критиковать его. Обсуждать приказ не разрешается.

Подросток в красной куртке рыдал. Разведчик, весь в поту, беспрерывно тыкал палкой метлы в пах своей жертвы.

— Если он и вправду ничего не знает, сколько ни пытай, признаваться-то ему все равно не в чем. — Зазывала, прикрыв лицо руками, исподтишка наблюдал за допросом.

— Кажется, это потребует немало времени. — Ходивший вокруг унитаза адъютант остановился и следил за выражением лица продавца насекомых. Тот слегка кивнул, но остался бесстрастным, словно надел маску. — А пока что я пойду в третье помещение... Хотя нет, как же оно называется? То помещение, куда ведет подъемник...

— Называйте как угодно.

— Ну что ж, пусть будет Большая столовая, подходит? Она раза в четыре больше нашей конторы у мандариновой рощи. Там неудобно готовить пищу и санитарные нормы нарушаются. Как ни печально, сегодня на завтрак опять рыба. Два бывших мясника, вооружившись кухонными ножами, уже стоят наготове. Итак, откланиваюсь.

Адъютант неторопливо пересек трюм, прошел мимо бочек и скрылся в проходе, ведущем в машинный трюм. Мне показалось, что ему понадобилось на это полчаса, не меньше.

— Комоя-сан,— крикнул зазывала, но продавец насекомых и бровью не повел. — Заставьте его прекратить, прекратить это безобразие... Комоя-сан, нельзя же допускать такое... Забавляет вас это, что ли?..

— Заставите его прекратить? — Женщина спустила самострел с предохранителя и вставила стрелу.

Я тоже тайком начал действовать. Сполз с энциклопедии, повернулся и протянул руку к «узи», который женщина поставила рядом с унитазом. Но тут продавец насекомых медленно поднял пистолет и навел его на меня.

— Не тронь... — Он подбежал и выхватил автомат. — Я еще в своем уме. Может, и кажусь ненормальным, но со мной все в порядке. Потерпите самую малость, нужно все как следует обдумать... Ну что ж, покурим...

Продавец насекомых отступил в безопасное место и присел на корточки у стены. Положив «узи» на колени и держа пистолет в руке, закурил. Разведчик, словно меся тесто, механически двигал палкой метлы сверху вниз. Казалось, он отбивает такт. Подросток в красной куртке вопил в такт взмахам метлы. Похоже, удары были не так уж сильны. По моей ноге, уже утратившей чувствительность, ползали сотни слизняков, утыканных иглами.

— Схожу по нужде.

Искоса глядя на голубой сверток, Сэнгоку направился к люку. Ни у кого не было причин удерживать его. Если его кто и остановит, так это одичавшие собаки. Меня беспокоил дружок подростка в красной куртке. Может быть, на него в самом деле напали собаки? Продолжая курить, продавец насекомых встал и взвел курок пистолета.

В эти несколько секунд я виртуозно, как пианист на конкурсе, ударил по клавишам своего мозга и принял окончательное решение. Я прошептал женщине:

— Я могу тебя попросить кое о чем по секрету?

Голос такой тихий, что я не слышал самого себя, но реакция была та, на которую я надеялся:

— Конечно.

— Наверху, во втором шкафу, есть распределительный щит. Слева, на уровне глаз — красный рубильник, подними его кверху.

— Кодовый номер замка в шкафу?

— Такой же, как и самого шкафа — два, повернуть вправо, влево, вправо. Два, два, два...

— Красный рубильник?

— Сразу ничего не случится, но...

Устройство для взрыва динамита ради страховки двухступенчато. Без миниатюрного передатчика, находившегося всегда при мне, ничего сделать было нельзя. Реле распределительного щита «будило» взрыватель, который после этого был готов в любую минуту принять мой сигнал. «Узи» у меня отобрали, но если женщине удастся включить рубильник, у меня в руках окажется гораздо более мощное оружие.

Женщина лениво поднималась по каменной лестнице. Надежда и напряжение немного умерили боль в ноге. Идя по лестнице, женщина сделала отчаянный знак зазывале, с недоумением смотревшему на нее. Он, скорее всего, ничего не понял, но мне стало ясно: единственное, что может нас с ней объединить,— это поиск выхода из создавшегося положения. Хорошо уже то, что она послушалась меня. Если все пойдет по плану, я не брошу зазывалу в беде. Продавец насекомых лишь проводил ее взглядом, но никак не реагировал — женщины ведут себя иначе, чем мужчины, это вполне естественно. Мужчина не должен обращать на них внимания. Она без всяких приключений добралась до мостика и скрылась. Я вспомнил о «живом воздухе», обреченном на неминуемую гибель. Подумал о китах, которые, стремясь выжить, совершают коллективное самоубийство. Неужели мирное существование юпкетчера — не более чем иллюзия? Почему же тогда во всех больших парках есть карусели? Если бы удалось доказать, что в выходные дни дети страдают раздвоением личности, карусели следовало бы немедленно убрать...

Вспухшая нога буквально разрывалась от неимоверного давления. Если бы не стенки трубы, она бы лопнула. Нечто похожее испытываешь, когда от больного зуба вспухает десна. Ее хочется проколоть иглой, чтобы выдавить гной. Я уже не был уверен, что у меня хватит сил отказаться от скальпеля врача. Кухонный нож мясника — ни за что, а на скальпель хирурга можно и согласиться. Нет, такое малодушие опасно. Лекарство запаздывает, наверное, потому что связному не решаются продать морфий, врачу, чтобы переодеться, тоже нужно какое-то время, а может быть, машина никак не заводится. Но согласится ли врач ампутировать ногу? Правда, существует великий моральный долг исцелять страждущего. Если ему удастся остановить кровь, сшить кровеносные сосуды и принять все необходимые меры, чтобы избежать заражения, его врачебная этика не понесет ни малейшего ущерба. А если после этого в его присутствии моя отрезанная нога со звуком пробки, вылетающей из игрушечного пистолета, провалится вниз, а потом доставленный сюда труп расчленят и спустят в унитаз, это не будет иметь к врачебной этике никакого отношения.

Женщина подавала знаки из-за парапета.

Время, наконец, пришло. Я знал, что рано или поздно оно наступит, знал, что не по чьему-то приказу, а сам должен буду принять решение. Я оттягивал этот момент до сегодняшнего дня по той же причине, по которой не мог отважиться на пари с продавцом насекомых насчет того, что не пройдет и пяти минут, как начнется ядерная война. Но ядерная война не будет объявлена. Объявление войны лишь позволило бы противнику начать ее первым. На кнопку нажмут только в случае ошибки или в ту минуту, когда будет изобретено средство, позволяющее нарушить равновесие сил и обеспечить победу, начав ядерную бомбардировку первыми. И эта минута наступит без объявления войны. А когда поймут, что ядерная война началась, она уже будет окончена. Катастрофа повлечет за собой массу непредвиденных последствий, гораздо больше, чем при землетрясении,— предугадать все немыслимо. Никто не оповестит об атомной войне. Если нет возможности нанести удар такой силы, чтобы вывести из строя систему оповещения противника, никто просто не решится напасть первым. Отплытие ковчега произойдет в один из мирных дней, втайне от людей. Нет никаких препятствий к тому, чтобы это произошло сегодня. Во всяком случае, решение я должен принять самостоятельно. Вернулся Сэнгоку.

Из сумки на поясе я вынул миниатюрную панель дистанционного управления. Сдвинул предохранитель и надавил пальцем на красную кнопку. Уверенности никакой, но надежда огромная, что течение подземных вод изменит направление. Если все пойдет как надо, я, возможно, сам смогу вытащить ногу из унитаза. Никто не провозглашал тостов, церемония спуска ковчега на воду проходила тихо, участвовал в ней я один. Именно так и должна начаться ядерная война — еще до своего начала. Бо́льшая часть тех, кто окажется свидетелями взрыва, погибнет, и лишь те, кому удастся заткнуть уши и остаться в неведении, смогут выжить.

24

Побег

Вспышка. По телу, там, где оно было обнажено, ударили бесчисленные розги. Сначала взорвался люк. Выход в сторону моря уничтожен. Но грохота, который я ожидал услышать, не последовало. В барабанные перепонки ударила резкая боль. Свет погас, и наступила кромешная тьма. Подача электроэнергии прекратилась. Продавец насекомых щелкнул зажигалкой. Крохотный огонек лишь подчеркнул безмерность тьмы. На стене колебалась только тень продавца, теней остальных не было. Вопли подростка в красной куртке прекратились. Но если бы он и продолжал вопить, я все равно бы его не услышал — так звенело в ушах.

Затем раздался далекий гул, похожий на раскат грома. Послышалось завывание — это сталкивались потоки воздуха. Видимо, план все-таки удался.

Непрекращающееся гуденье зуммера казалось совсем слабым после грохота взрыва. Я был обязан взять слово как человек, устроивший все это.

— По-моему, произошел ядерный взрыв. Это сигнал, предупреждающий о чрезвычайном положении.

Некоторое время никто мне не отвечал.

— Может, землетрясение? — раздался хриплый голос женщины. — Конечно, землетрясение, а?

— Для землетрясения слишком слабое колебание почвы. — Кажется, это Сэнгоку.

— Страшно подумать, но, по-моему, произошел ядерный взрыв. — Эта ложь предназначалась для продавца насекомых. — Корабль оснащен системой автоблокировки. Как только она улавливает ядерный удар, взрываются заряды и автоматически перекрываются все ходы, связывающие корабль с внешним миром.

— Не знаю, какие датчики вы использовали, но где гарантия, что они не ошиблись? — Длинное колеблющееся пламя зажигалки приблизилось ко мне.

— Гарантии нет. Я говорю лишь о возможности.

В закрытом помещении, в пещере, тьма ощущается объемно. Тьма колодца навевает покой и не вызывает страха. Но чем больше размеры погруженного во мрак помещения, тем страшнее темнота. Обычай класть покойника в гроб, соответствующий размеру его тела, возможно, объясняется стремлением, помещая его в крохотную тьму, оборонить от тьмы огромной. Хотя в каменоломне нас было всего семеро, мы дышали с трудом — так хватают ртом воздух рыбы, битком набитые в садок, в котором недостает кислорода.

— Я бы хотел узнать, какова степень вероятности. — Продавец насекомых поднес пламя зажигалки к моему лицу. — Может, это был просто порыв ветра. Или прошел атмосферный фронт. Его и уловили датчики. Не слишком ли они у вас чувствительны?

— Я не настолько наивен. — У меня язык прилипал к гортани — ведь моим противником был продавец насекомых, известный ловкач и пройдоха.— Датчики контролируются микрокомпьютером. Приборы, измеряющие силу ветра, установлены на южном и северном склонах горы. Если их показатели разнятся более чем на треть, значит, ветер локальный и не слишком сильный, тогда полученные данные дальше не передаются. Кроме того, определяется продолжительность увеличения давления воздуха, наличие теплового излучения, кривая повышения температуры и, разумеется, радиация... А вы говорите «порыв ветра» — это полностью исключено...

В проходе появился свет. На плече адъютанта висел большой переносной фонарь. По тому, как он его приладил, можно было без труда определить его профессию.

— Прошу прощения.

Тон нисколько не изменился. Такая невозмутимость, наверное, заслуживала уважения.

— Возникло чрезвычайное положение. Не исключена возможность, что произошел ядерный взрыв,— повторил мои слова продавец насекомых. Видимо, он решил не оспаривать, а подтвердить сказанное мной. Огонь зажигалки начал мигать. Навер-

ное, кончался газ.— Ядерное оружие — это оружие опережающего удара. Атомную войну не объявляют — это азбука современной стратегии.

— Схожу за фонарем. — Зазывала ощупью поднимался по каменной лестнице.

— По-моему, пахнет радиацией,— раздался голос разведчика.

— Дурила, обыкновенная взрывчатка,— монотонно произнес адъютант. — Говорю тебе — это запах порохового дыма. Настоящего мужчину он должен воодушевлять.

— От радиации мы укрыты,— пробурчал Сэнгоку, словно разговаривая сам с собой.

— Радио не работает? — Адъютант хлопнул себя ладонью по уху. Все-таки взрыв, кажется, здорово его тряхануп.

— Радиостанции вряд ли уцелели. Взрыв бомбы в одну мегатонну испепеляет все в радиусе пяти километров. А в радиусе десяти поднимается ветер, несущий осколки стекла.

— Если удастся услышать радио, значит, все в порядке.

Надо держать ухо востро. Это не просто одержимый, у него еще и голова варит.

— Толщина этих стен не позволит радиоволнам проникнуть сюда, даже если бы радио и работало.

— Эх, Капитан, надо было вам заключать со мной пари. Смелости у вас не хватило. — Словно оправдываясь, продавец насекомых обратился к адъютанту: — Я предлагал ему пари: сбросят в течение двадцати четырех часов атомную бомбу или нет.

— В течение пяти минут.

— Какая разница. Ведь атомная бомбардировка начисто перечеркивает ценность денег. А если не на что спорить, то и спорить не стоит.

— Нет, стоит,— возразил адъютант. — Школьницы — какая ставка может быть лучше?

За парапетом появился свет. Пройдя по потолку, луч остановился на разрушенном люке. Взрыв был даже сильнее, чем я ожидал. Железная дверь искорежена, рядом груда камней. Формой она напоминает японское пирожное. Свет переместился к голубому тюку с трупом. Он был полузасыпан обломками камней величиной с кулак. Не будь это покойник, он бы сейчас вопил, а может быть, и погиб бы под камнями.

Неожиданно Сэнгоку, стукнув кулаком по ладони, воскликнул:

— Выходит, нам удалось выжить!

Свет наверху исчез, зазывала спустился вниз.

— Пока что нам удалось лишь не умереть, вот и все,— неуверенно сказала женщина.

— Нет, мы выжили! — плачущим голосом возразил Сэнгоку, хлюпая носом.

— Самое страшное — что нас ждет после того, как мы выжили. Жизнь должна продолжаться.— Адъютант на миг осветил Сэнгоку фонарем.— Прошу ваших указаний, командир.

— Все-таки мы выжили! — повторил Сэнгоку, топнув ногой.— А те, кто снаружи,— подохли. Верно, Крот-сан?

— Хватит кричать, и так голова болит.

Гулкие, отчетливые, но в то же время мягкие звуки ударов. Будто бьют в барабан. Если это падают капли воды, то, как я и надеялся, взрыв изменил направление подземного потока. Копошение червей в йоге тоже вроде бы стало тише. Скорее всего, мне это просто кажется — результат не может быть мгновенным.

Светя под ноги фонарем, адъютант подошел к подростку в красной куртке. Если он по-прежнему оставался там, где упал, каменные ядра должны были сильно поранить его.

— Прошу прощения,— раздался совсем рядом прерывающийся голос разведчика.

— Умер?

— Жив.

— Признался?

— Нет.

— Разведчик «А», ты забыл о приказе?

Адъютант взмахнул было своей метлой с металлическим наконечником, но тут продавец насекомых, преодолев обычную медлительность, отдал команду:

— Чрезвычайный приказ. Разделить «отряд повстанцев» на группы и направить к установке для очистки воздуха. График смен будет подготовлен позже. Объявляю обязательным участие всех членов «отряда» в подзарядке электрических батарей от генератора с ножным приводом. Отобрать всех, имеющих опыт работы механиков, и в самом спешном порядке начать изготовление нового генератора. Составить список личного состава по специальностям. Назначить ответственных.

Я не ошибся — это звук капель, падающих на металлические бочки. Три подряд, через некоторое время — две. Явный симптом, что в движении подземного потока произошли изменения.

— Повтори.— Адъютант стал тыкать метлой в разведчика.

— Не могу.— Голос подростка дрожал.

— Обязан повторить приказ.— Казалось, он обвинял и подростка, и продавца насекомых.

Огонек зажигалки погас.

— Пошли, адъютант.— Продавец насекомых направился в машинный трюм.— Пленного возьмем с собой как рабочую силу.

Судя по всему, продавец насекомых так усердствовал, чтобы не потерять авторитета. Освещенный со спины фонарем зазывалы, он крепко держал «узи» за шейку приклада. Будто что-то вспомнив, обернулся:

— Капитан, в агрегате для очистки воздуха фильтры установлены?

Играет на публику, ясно. Я тоже, подыгрывая ему, ответил:

— Разумеется. Фильтры типа BG с тройным охлаждением.

— Все, кто не занят, соберитесь, пожалуйста, в машинном трюме.

Адъютант, подгоняя подростков, последовал за ним.

— Выжили...— пробормотал Сэнгоку, догоняя остальных.

— «Не занят». А когда мы с тобой вообще были заняты? — буркнул зазывала.

— Брось, с них глаз нельзя спускать, а то мало ли что они натворят.

Отправив следом за всеми зазывалу, женщина освещала ему путь фонарем. Луч метался по стенам и потолку точно пчелиный рой. Но откуда здесь взяться пчелам? Сплошным широким потоком, напоминающим занавес, с потолка стекала вода. Падающие на бочки капли были лишь малой частью этого потока. Если грунтовые воды так стремительно изменили направление, то можно надеяться, что скоро это скажется и на унитазе.

— Вода откуда-то...— Женщина, светя фонарем, осмотрелась.— Она всегда течет? Сколько налилось в бочки, хоть золотых рыбок разводи...

Приток воды все усиливался. Вскоре под унитазом раздался удар. Я его не услышал, а почувствовал ногой. Примерно такой же звук доносится из шахты лифта, когда далеко внизу закрываются двери кабины. Неужели регулирующий клапан и в самом деле изменил положение?

— Собери, пожалуйста, все, что здесь разбросано, а то намокнет. План, билеты, коробка с юпкетчером, что там еще?..— попросил я.

— Думаешь, вода дойдет сюда?

— Вполне возможно.

— Это шоколадки, да?

— Да, с ликером. Закуска к пиву — странная, может быть, но довольно вкусная...

— Что же мы будем делать? — спросила женщина растерянно, по одной собирая шоколадки.— Получается, что унитаз становится теперь гораздо важнее, чем твоя нога, верно?

Женщина встала на унитаз и положила на шкафчик коробку с юпкетчером. Подол ее юбки оказался у моих глаз. Голые колени — у самых губ.

— Не беспокойся.— Я затаил дыхание, словно в руках у меня была взрывчатка. И торжественно, будто распаковывал сверток с подарком, на который потратил весь годовой доход, заявил:— Все это вранье. Я хочу, чтобы ты выслушала меня спокойно, без эмоций. Никто не сбрасывал на нас атомную бомбу. Я соврал, никакого ядерного взрыва не было.

Женщина некоторое время молчала. Шоколадка с ликером в ее руке разломилась на кусочки.

— Соврал?.. То, что ты сказал, вранье? И ядерный взрыв — вранье?

— Все вранье. Это был обыкновенный динамит, ты же сама мне помогала. Включила рубильник на распределительном щите...

— Но зачем?..

— Причин две. Первая — страх. Война еще и начаться-то не успела, а ты сама видишь, что здесь творится. Вторая — личная. Речь идет об унитазе. О моей ноге... Шансы не превышали пятидесяти, даже тридцати процентов, но разве я тебе не говорил о клапане внизу... Он был моей последней надеждой, вдруг, думал я, удастся изменить направление подземного потока и таким способом повлиять на всю систему...

— Ну и как?

— Получилось, посмотри на воду, льющуюся с потолка.

— А нога?

— С ней тоже все, кажется, идет, как я и предполагал. Полностью вернулась чувствительность.

— Стало легче?

— Я бы не сказал... От долгого сидения ноги сильно затекают, и, когда начинает восстанавливаться кровообращение, всегда испытываешь чувство еще более неприятное. Кашлянуть и то больно. Но что я точно ощущаю — вниз ногу уже не тянет. Если ты мне поможешь, пожалуй, удастся ее вытащить.

— Лучше никому больше об этом не говорить.

— Конечно. Узнай они, что я испортил унитаз, изобьют до полусмерти.

— Не надо было и мне рассказывать.

— Разве мы не вместе убежим отсюда? Туда, где можно увидеть небо.

— Как же мы это сделаем? Все выходы завалены.

— За кого ты меня принимаешь? Тайный выход остался.

— Где?..

— По секрету, конечно. В последнее время много говорят о принципе открытой информации. Но как важна ложь, если она во спасение. Наверху, на мостике — шкаф номер один... Я с тобой совершенно откровенен, кодовый номер: один, один, один... Открыв заднюю стенку шкафа, мы попадем в потайной ход, ведущий в подземный этаж здания муниципалитета.

— Снаружи все в порядке?

— Там есть небо. И облачное небо, и закатное небо, и голубое небо, и небо, затянутое смогом...

Освещая путь тусклым светом крохотного фонарика, из машинного трюма вернулся зазывала. Он шел точно по болоту, стараясь не ступать по лужам.

— Если нужна помощь, придется попросить у него,— сказала женщина.

— Ничего другого не остается.

С осторожной поступью зазывалы не вязался его бодрый и веселый голос — чувствовалось, что он уже спелся с новыми дружками из «отряда повстанцев».

— Работают в поте лица. Сменяясь, крутят педали на пяти велосипедах, но все свеженькие, полные сил — наверное, это поисковая команда, которая гналась за школьницами. А горит всего семь крохотных лампочек, как лампадки на алтаре. Говорят они только об одном, ну точно мартовские коты. Грязные, паршивые старикашки.

— Капитан, кажется, сможет вытащить ногу.

Я не знал, следует ли мне придавать особое значение тому, что женщина заговорила лишь об унитазе и совершенно не коснулась потайного хода, ведущего в подземный этаж здания муниципалитета.

— Каким образом? — Реакция зазывалы была преувеличенно бурной.— Кровь, что ли, потекла в обратном направлении и отек переместился в голову? Разве мыслимо, чтобы ногу удалось вытащить?

— Надо рассказать ему откровенно всю правду,— сказал я.

— Что это еще за правда?

Женщина явно игнорировала мои слова.

— Какая там у них обстановка? — спросила она.— С Комоя-сан и адъютантом можно будет поладить, как думаешь? Ты уверен, все будет в порядке?

— Как бы вам сказать...— Зазывала отер лицо тыльной стороной ладони.— Думаю, как-нибудь все устроится. Комоя-сан — мастер по части обжуливания. С продавцом картофеля только не все в порядке. Мне кажется, у него маниакально-депрессивный психоз. То был как в воду опущенный, а теперь вдруг веселье прет через край.

Жизнерадостность сочится изо всех пор. Раздался, например, звук, напоминающий зуммер ручных часов, так он чуть со смеху не помер. Я такого подъема, такой радости не испытываю, но мне хорошо уже от одной мысли, что теперь не придется, переодевшись, бегать от кредиторов. Самое печальное, что это ведь все мои давние дружки. Честно говоря, я мало подхожу для должности ответственного за склад, «непосредственно подчиняющегося Капитану». Этот склад — целая самостоятельная база.

— Там есть все — и оружие, и боеприпасы, и продовольствие...

— Нет, ведать продовольствием поручено продавцу картофеля.

— У них теперь полно оружия, есть даже базука.

— Это игрушка Комоя-сан. Но больше всего мне понравился зал заседаний, который используется и как оружейный склад. Я всегда мечтал о таком. Вокруг стола — кресла...

— Отношения между Комоя-сан и адъютантом не изменятся, как ты думаешь?

— Хотел бы у вас узнать,— зазывала сделал рукой приглашающий жест в мою сторону.— Когда вам удастся высвободить ногу, произойдет разделение власти. И все, как мне кажется, неимоверно усложнится.

— Они все там, наверное, страдают без туалета?

— Пока есть пустые бочки, а о дальнейшем надо побеспокоиться. Но ведь теперь, кажется, все в порядке? Если Капитан может вытащить ногу... зачем же ждать? Жалко расставаться с унитазом? Вытаскивайте поскорей. Не можете сами — поможем. Позвать на помощь?

— Тебя одного хватит. Я жду, пока немного пройдет онемение.

— Очень неприятно, когда нога онемела, да? Но скоро все будет в порядке. Теперь уже могу сказать, что из-за унитаза, вернее, из-за ноги Капитана возникли серьезные споры — это факт. Помните, у главаря пиратов из «Острова сокровищ», его, кажется, звали Сильвер, одна нога была деревянная, и ничего. Вот с кого надо брать пример, говорили они, корабль, мол, важнее всего.

— Как же мне вылезти?

— Беритесь за мое плечо. А я буду крутиться, как осел, вертящий жернова.

Я навалился на мускулистое плечо зазывалы. Это, наверное, выглядело так, будто на ветку дерева повесили ком теста. Женщина взяла с полки бутыль растительного масла и налила его вместо смазки между икрой и трубой. Зажав в зубах фонарик, зазывала начал ходить вокруг унитаза. Женщина другим фонариком светила ему под ноги. Кожа на голени, наверное, стерлась до мяса и висит клочьями. Но нога все же начала потихоньку вращаться. Повернулась почти на четверть, ощущения, что она вянута внутрь, уже не было.

— Все хорошо, ох, поплачут они у нас!

Во рту у зазывалы был зажат фонарик, и что он говорит, я разбирал с трудом, но голос звучал радостно. Я почувствовал угрызения совести. Я ведь собирался выбираться отсюда вдвоем с женщиной, но сейчас об этом следовало забыть. У зазывалы тоже есть теперь право на спасение. Я буду потом раскаиваться, если скрою от него, что унитазом пользоваться уже невозможно (без серьезного ремонта всей системы) и что мы собираемся бежать отсюда через потайной ход. Если не произойдет чего-нибудь экстраординарного — даже не могу представить себе чего,— придется взять его с собой.

— Не больно? — спросила женщина. Почему она решила скрыть от него правду?

— Даже хорошо, что немного болит: значит, онемение проходит.

— Движется, уже сантиметра на три вылезла, потерпите еще немного.

— Чудно́,— по-прежнему неразборчиво сказал зазывала.— У меня даже и в мыслях не было, что, если это произойдет, я смогу выжить, послав всех подальше.

— А если это вранье?

Дольше молчать было невозможно. Неужели женщина против? Вряд ли. Она смотрела поочередно на меня и зазывалу, наклонив голову и растянув губы в полуулыбке.

— Что?..

— Я взорвал динамит, чтобы попытаться вытащить ногу из унитаза.

— Здорово это вы.— Не так уж он был и потрясен.— Значит, атомный взрыв — брехня?

— Да, самая настоящая...

— Ну что же, люди часто врут... Попробуем повернуть ногу в другую сторону. Вроде бы легче пошла.

— Уже сантиметра на четыре вылезла. Еще немного — и икра покажется из трубы, тогда все в порядке,— сказала женщина.

— Больно!

— Может, помедленнее?

— Ничего. Просто в колено отдало.

— Вот оно что... Брехня, стало быть... Значит, люди будут жить как жили?..

— И нечего сидеть взапертн. Есть потайной ход. Я держал это в секрете.

— В общем, все осталось как было... Не стесняйтесь, я выдержу, опирайтесь сильнее.

Слишком уж он спокоен. Не верит? А может, умеет скрывать свои чувства? Вряд ли. Наоборот, он всегда слишком бурно реагирует на любое событие. Люди, у которых выделяется много слюны, склонны к буйству — об этом предупреждал даже продавец насекомых. Неужели зазывала не осознает всю серьезность положения? Наверное, человеку, который так ловко умеет проделывать всякие фокусы, самолюбие не позволяет удивляться чужим трюкам.

Из машинного грюма к нам быстро приближался сильный луч фонаря. послышался звук шагов.

— Давайте погасим фонарики,— прошептала женщина.

— Наоборот, это покажется подозрительным. Лучше вести себя как ни в чем не бывало...

В проходе появилась тень. Вода доходила уже до щиколоток, поэтому дальше человек не пошел. Свет, как луч маяка, описав полный круг, лизнул пол. На месте осталось только пять бочек с керосином, три со спиртом и две с питьевой водой, которую я менял раз в неделю, остальные — больше десятка — раскатились по залу и теперь плавали у стены, обращенной к морю. Видимо, пол имел наклон. Голубой тюк, наполовину в воде, лежал на прежнем месте. Так ненавидел мыться, а его против воли окунули в воду — жалеет, наверное, что умер. Как я понимаю, он был бесконечно одиноким человеком, который никому не протянул руки и не хотел, чтобы и ему протягивали. Свет описал еще один круг и упал на нас.

— Ну и потоп. Что вы тут делаете? — Это был продавец насекомых. Но кажется, особенно допытываться он не собирался. Видимо, ему не хотелось брать ответственность за меня.— Перекличка показала, что, к счастью, семьдесят процентов членов «отряда» находятся внутри заблокированного района. Но все они очень заняты. Поскольку мест, куда им еще не удалось добраться, стало меньше, методику поисков следует изменить. Мы с помощью высокочувствительных звукоулавливателей тщательнейшим образом обследуем все вокруг. Если будет нужно, прибегнем к раскопкам. Капитан, вы сумеете продержаться? Придется еще немного потерпеть. Хотите поесть, попить? Говорите, не стесняйтесь. Труп как будто еще не пахнет?

— Что делается снаружи? — с невинным видом спросил зазывала.

— Думаю, сейчас там полно битого стекла и радиоактивный дождь. Говорите, что вам нужно, Капитан, не стесняйтесь.— Замолчав, он направил свет в потолок и тут же ушел.

Зазывала не предал меня. Значит, он понимает всю серьезность положения.

— Кажется, ногу до икры уже удалось вытащить.

Женщина посветила в унитаз и просунула палец между ногой и трубой. Я ничего не почувствовал.

— Да, уже даже палец проходит.

Дальше все пошло на удивление просто. Я обнял зазывалу и женщину за плечи и вытащил ногу. В ту же секунду снизу ударил фонтан воды. Видимо, этот напор тоже помог мне освободиться. Однако унитаз перестал быть унитазом. Я предполагал увидеть окровавленный кусок мяса, но все оказалось не так уж страшно. На голени и верхней части ступни никаких ран не было. Но вся нога вспухла и посинела, будто мне поставили на ней памятный штамп, как бы удостоверяющий тяжелую травму. Рассмотрев ногу как следует, я убедился, что покрывающие ее сгустки крови напоминают шрам, оставшийся с того времени, когда Тупой Кабан посадил меня на цепь. Теперь ботинок долго не наденешь. Но, кажется, суставы не повреждены и, когда онеменне пройдет, можно будет двигаться. А вот усталость во всем теле действи-

тельно страшная. Я решил не вставать с энциклопедии и прятать ногу в унитазе до тех пор, пока она снова не обретет чувствительность и не пройдет судорога.

— Я спасен, а то уж совсем было надежду потерял.

— Да?.. Теперь можно начинать все сначала?.. Значит, вопрос о выживании больше не стоит...

Я встал в унитазе на цыпочки и, превозмогая онемение — такое чувство, будто по обнаженным нервам хлещет ветер,— поднял и опустил ступню.

— Чудной ты человек. Уж не жалко ли тебе уходить отсюда? Здесь сейчас не та компания, с которой было бы тяжело расставаться.

— В самом деле, гнусные старики. Брови мохнатые, из носа торчат пучки волос, шеи морщинистые, как у бегемотов... Ладно, внешний вид им еще можно простить, но что уж совсем непростительно, так это их тупое самомнение — мол, от нас ничего не укроется, мы все видим.

— Хватит разговоров, пошли. А то пока мы будем мешкать, нас еще позовут туда.

— Верно. Ты же у нас начальник склада — дел, поди, невпроворот.— Женщина, смеясь, подошла ко мне и наклонилась, будто собиралась играть в чехарду.

Я положил ей руку на плечо, оперся на правую ногу и, вынув из унитаза левую, опустил на пол. Боли не было, бедро и колено, как я и надеялся, двигались нормально. Во всяком случае, болело меньше, чем можно было бы предположить по внешнему виду — нога напоминала гнилой баклажан. Я осторожно перенес на нее центр тяжести. Перед глазами все закружилось. Не понимая, что произошло, я вдруг почувствовал боль в руке и плече, голова оказалась под водой. Видимо, к левой ноге еще не вернулась чувствительность. Зазывала и женщина подняли меня.

— Я понесу вас на спине. Церемониться не время. Уж коль вылезли из унитаза, нельзя терять ни минуты.

Он прав. Если они узнают, что мне удалось освободиться из унитаза, неизвестно когда снова представится благоприятная возможность бежать. Чтобы зазывале было легче, я обнял его за шею, продолжая опираться на правую ногу. Он сказал нетвердым голосом:

— Сколько туда километров? Порядочно, наверное?

Донесся голос женщины:

— Фотоаппарат возьмем? Принести?

— Тот, который лежит снаружи, и еще алюминиевую коробку рядом с ним, она, правда, тяжелая... Еще бы юпкетчера.

Нераспроданные жучки так и остались в джипе, и их придется бросить. Но мне казалось, что они совсем не такие, как этот. Я мог верить только в того юпкетчера, которого видел собственными глазами.

— Меня беспокоит вот что...— Зазывала тяжело дышал.— Очень уж большой потоп вы устроили, не зальет ли он всю эту пещеру?

— Насколько мне известен здешний рельеф, вода поднимется сантиметров на тридцать и все. Машинный трюм вообще не пострадает.

— А более низкие места?

— Кое-где образуются бассейны, заполненные водой до самого потолка.

— Представьте себе, что школьницы и вправду где-то спрятались и, спасаясь от воды, попадут в расставленные сети, это вполне возможно...

Мне не хотелось об этом думать. Такое действительно вполне возможно. Но стоит ли взваливать за это ответственность на меня? Из головы не выходили слова адъютанта, что юная девушка подобна влажной бумаге... Немыслимо, но в моем псевдоковчеге эти люди пробудут и год, и два, и три, и четыре, и десять, а может быть и больше, в полной уверенности, что иного мира кроме этого уже не существует...

У шкафа женщина нагнала нас.

— Ну и тяжесть, казалось бы, щелкай себе фотоаппаратом и все, а тут еще носить надо — труд не из легких.

— Что верно, то верно. Блох учить для блошиного цирка — и то спину наломаешь.— Зазывала водил по брюкам ладонью, которой только что стирал пот с подбородка.

«Шкаф номер один». На табличке, прикрепленной к дверце,— весьма правдоподобный список разных материалов и инструментов, которые мало кому могли понадобиться, никого не способны были заинтересовать и вместе с тем не вызывали подо-

зрений: воспламеняющаяся жидкость, сменные резцы для токарного станка, прорезиненный рабочий фартук, инфракрасная сушилка, куски стекла для поделок, непромокаемая бумага в разных упаковках, шпаклевка, алюминиевые рейки, термостойкая краска. Любой, самый жадный вор не стал бы тратить усилий на то, чтобы ради всей этой ерунды сражаться с кодовым замком.

Вправо «один»... влево «один»... вправо «один»...

То, что фактически находилось в шкафу, в общем, совпадало с тем, что значилось на дверце. Правда, коробки и банки были заполнены лишь наполовину, а то и совсем пусты. Сделал я это для уменьшения общего веса, но постарался не злоупотреблять, чтобы не вызвать подозрения. В потолок шкафа вделаны пазы, и, освободив задвижку, полки можно выдвинуть до половины. Точно по размеру полок — дверь, открывающаяся наружу. Полки служат для ее маскировки.

Из открытой двери — то есть из-за задней стенки шкафа — дохнуло сыростью, что напомнило мне запахи рыбного рынка. Фонарик зазывалы осветил потайной ход шириной шестьдесят пять сантиметров и восемьдесят сантиметров высотой. Он завопил:

— Здорово одурачили!

— На это я и рассчитывал.

— Куда он ведет?

— К подземному этажу здания муниципалитета,— поспешно ответила женщина. Чувствовалось, что она взволнована, будто уже увидела свет в противоположном конце бесконечного туннеля.

— Здесь безопасно?

— Разумеется. Ядерная война — выдумка, к тому же я сделал так, чтобы устроенный мной взрыв никак не отозвался на туннеле. Пошли, не время мешкать, если они догадаются, все погибло.

— Что будут делать Комоя-сан со своими приятелями, когда узнают, что мы убежали? — Женщина втянула голову в плечи и захихикала.

— Ничего. Главное для них — отыскать школьниц.— Зазывала придирчиво ощупывал дверцы шкафа.

— Но ведь и я женщина.

— Никто не посмеет тронуть такого прославленного стрелка...

— Что это значит? Так ты бежишь с нами?

— Прямо не знаю, как и быть...

— Чего тут думать-то? Разве ты не сыт по горло этим старичьем?

— Так-то оно так...— Зазывала, закусив нижнюю губу, отошел от шкафа. Откуда-то, кажется из машинного трюма, доносились звуки, напоминавшие нестройные хлопки, они то приближались, то удалялись, словно дождь стучал по навесу.

— Мир снаружи как был, так и остался. Ядерная война — вранье, и больше ничего. Зачем же сидеть здесь, зная, что это неправда?

— Но если убедить себя, что это правда, то так и станет на самом деле. Вы же сами говорили, что ядерная война все равно неизбежна. Говорили, что она начнется еще до своего начала...— Мы трое внимательно прислушались. Слов было не разобрать — то ли приказы продавца насекомых, то ли визгливый смех Сэнгоку. Зазывала продолжил: — Мне все равно. Я бы не прочь и здесь пожить какое-то время...

— Ненормальный.— Я взглядом попросил женщину поддержать меня.— Каким бы отличным стрелком она ни была, ее здесь не уберечь, не можете же вы бодрствовать двадцать четыре часа в сутки...

— Конечно, и воздух здесь отвратительный,— послышался нерешительный голос женщины.

— Дело не только в воздухе, неба тоже нет, не поймешь, когда день, когда ночь. Даже фотографию сделать невозможно...

— Если уходить отсюда, то побыстрее...

Женщина, склонив набок голову, смотрела то на меня, то на зазывалу. Странный он все же тип, чего колеблется?

— Пошли, сейчас не время для шуток.

— Нет... пожалуй, воздержусь. Где ни жить, как ни жить — все одно и то же. Знать, что брехня, но притворяться — самая жизнь для зазывалы.

— Ну что ж, тогда зови Комоя-сан.— Я понимал, что мое предложение безрассудно, но не мог бросить этих двоих на произвол судьбы.— Все ему расскажу.

— Да бросьте вы. Сам виноват, что разозлил вас. Лезу не в свое дело.

— Если бы можно было поверить, что это правда...— прошептала женщина.

— Ничего, нам с тобой к вранью не привыкать — зазывалы, никуда не денешься.

Если он так сопротивляется, пусть поступает как хочет. Я обязан был дать ему шанс уйти отсюда в благодарность за то, что он помог мне высвободить ногу из унитаза. Но женщину он вряд ли здесь удержит. Я с самого начала мечтал о том, чтобы бежать с ней вдвоем; может быть, и она хотела того же, пока не вмешался зазывала. О потайном ходе ему рассказал не кто иной, как я, она хранила молчание.

— Отпусти хотя бы ее.

— А она свободна. Мало ли что про нас люди болтают,— насмешливо сказал зазывала, и женщина нерешительно кивнула.— Вам известно, откуда взялось слово «сакура» — «зазывала»? Из поговорки: «Любование цветами — дармовое любование»... что значит — любуйся сакурой сколько хочешь, денег за это не берут.

Кажется, он не собирался больше называть меня Капитаном. Я передал ему пульт дистанционного управления и объяснил, как им пользоваться. Все, свой долг я выполнил.

— Ключ от джипа остался в машине?

Зазывала, кивнув, взял пульт.

— Да, остался.

— Вам здорово влетит от них за то, что позволили мне бежать.

— Влетит?.. вряд ли...

— Нужно подумать, как лучше выкрутиться. Комоя-сан да и адъютант — мужики здоровые.

— Скажу, что вы стали мягким, как желе, и проскользнули в унитаз.

— Разве они поверят?

— Поверят. Ну ладно, идите... За кораблем я присмотрю. Правда, я не чувствую себя готовым к тому, чтобы принять командование. Но так или иначе якорь поднят, и нельзя допустить, чтобы корабль утонул.

— Жаль, что три нижних тома энциклопедии оказались под водой.

Женщина поставила алюминиевую коробку с фотопринадлежностями на дно шкафа и стала ногой толкать ее вперед. Идя вслед за ней, я споткнулся и упал. Воспользовавшись этим, я навалился на женщину и втолкнул ее в шкаф. Трусить было нельзя — слишком многое ждало нас впереди. Долгое путешествие вдвоем в туннеле. До самого рассвета мы будем согревать друг друга теплом наших тел, защищаясь от холода и тьмы. Но втиснувшись в шкаф, я повис в наклонном положении. Ширина моих плеч — сорок три сантиметра, а шкафа — тридцать восемь, и протиснуться через него я мог только боком.

— Держитесь.— Зазывала, криво усмехнувшись, взял меня за левое плечо, надавил на правое и повернул на девяносто градусов.

Чувствительность в ноге, кажется, окончательно еще не восстановилась. Я понимал, что падаю, но восстановить равновесие не мог. Женщине удалось выскользнуть из-под моего тела. Фонарик почему-то погас. Падая, я схватил ее за подол юбки. Услыхал, как на спине рвется рубаха. Полетели пуговицы. Все оттого, что внутри шкаф не оборудован как следует, да и живот у меня слишком велик. Ребрами я стукнулся о коробку с фотопринадлежностями, послышался звук точно с силой ударили по куску теста. В колене и затылке боль отдалась гораздо сильнее, чем в том месте, которым я ударился. Кто-то толкал меня, схватив за щиколотку. Я понял, что еду по полу вместе с коробкой. Что-то ударило по спине. Ботинки. Куда подевалась женщина? За юбку я держусь — это точно но где женщина, понять не могу.

— Осторожно!..— донеслось издалека.

Звук задвигающихся полок. Потом металлический стук захлопывающихся дверей шкафа. Я изо всех сил сжимал юбку, за которую крепко уцепился. Женщина сейчас упадет.. Вернее, должна упасть, но почему-то в моих руках остается одна юбка. Стянул я ее, что ли? Ах, идиот! Я сообразил, что это была не юбка, а прорезиненный рабочий фартук. В какой же момент я так опростоволосился? Ну что ж, женщина вольна поступать как ей заблагорассудится. Заперла себя там по собственной воле. А может, запертым оказался я? Я боком пристроился на коробке с фотопринадлежностями. Женщина осталась всего в нескольких метрах от меня. Ее доверчивые глаза, наверное, широко открыты, и она смотрит во тьму. Но измерять расстояние до нее сейчас бессмысленно. Я попробовал подняться и тут же упал. Связав шнурки, повесил ботинки на шею и, волоча коробку, пополз вперед на обеих руках и одном колене.

25

Прозрачная улица

Полз я долго. По дороге не раз засыпал. Нога перестала неметь, чувствительность вернулась, но когда я дополз до подвала муниципалитета, уже рассвело. Подождав, пока в здании появятся люди, я вышел наружу.

Прозрачный солнечный свет, которого я так давно не видел, окрасил улицу в розовый цвет. Жизнь била ключом — поток велосипедистов, мчащихся к рыбному рынку, пересекался с устремившейся к станции толпой людей, спешащих на службу. На грузовике с надписью «Живая рыба» развевался флажок. На нем слова: «Жизнь рыб важнее жизни людей». Другой грузовик ждал зеленого света. На борту написано: «Меня уже не будет, но вишня расцветет, и расцветет любовь». Я устанавливаю фотоаппарат, направив его на стену здания муниципалитета, облицованную черным стеклом. Вставляю двадцатичетырехмиллиметровый широкоугольный объектив — мне хочется сделать на память снимок улицы, на котором буду изображен и я. Но все слишком прозрачно. Не только солнечный свет, даже люди кажутся прозрачными. А за прозрачными людьми такая же прозрачная улица. Неужели и я такой же прозрачный? Вытягиваю перед собой руку. Сквозь нее видна улица. Я поворачиваю руку — все равно улица просвечивает. Вся улица, такая оживленная, мертва. И я решил не думать больше о том, кому удастся выжить, кто достоин выжить.

■

НИКИТА ПОКРОВСКИЙ

ПОЙДЕМ СО МНОЙ!

Американские зарисовки

I. «Белый, англосакс, протестант»

Сначала — о встречах, во времени отстоящих.

— Что такое «стопроцентный американец»? Прежде всего «дабл ю, эй, эс, пи» — WASP Расшифровывается очень просто: начальные буквы слов «белый», «англосаксонского происхождения», «протестант» Стопроцентный американец из Новой Англии. Иначе говоря, наш золотой генетический фонд, уходящий корнями в первые поколения переселенцев. Но это еще не самое главное...— Мой собеседник, известный историк американской культуры Лорен Бариц, остановился на полуслове и, откинувшись на спинку кресла, погрузился в свои мысли.

В отличие от большинства других университетских профессоров Бариц не слишком заботится о следовании нормам деловой учтивости. Наша встреча — и он дает это понять — явно скучна и обременительна для него, человека, действительно весьма занятого.

За спиной Барица стоит разросшийся до непомерных размеров и бесконечно порождающий различного рода политические, расовые и финансовые проблемы академический Левиафан — Университет штата Нью-Йорк со всеми своими 360 тысячами студентов и добрым десятком кампусов, разбросанных по всему штату. И фигура «номер 2» этого Левиафана — его вице-канцлер — мой собеседник, достаточно хорошо известный не только в административном мире, но и среди историков американской культуры. Ему едва ли более пятидесяти, умеренно свободный академический стиль одежды, интеллигентская бородка, чем-то напоминающая об эпохе бунтующих университетов конца 60-х — начала 70-х годов, если вообще чисто внешние приметы могут напоминать о серьезных идейных движениях.

В кабинет Барица постоянно входят секретари. Иногда звонит телефон. Нажатием кнопки на его подставке хозяин «отсылает» неизвестного абонента своему помощнику. Когда же на недолгое время мы остаемся одни, взгляд вице-канцлера рассеянно скользит поверх моей головы, «ощупывая» корешки книг, занимающих почти все стены обставленной с изыском комнаты.

— ...Итак, вернемся к нашей теме.— Бариц не без усилий отыскивает нить прерванной мысли.— Главное для янки не столько даже чистое происхождение, сколько стиль жизни. И стиль мышления, конечно, тоже. Это своеобразный, строго определенный и замкнутый нравственный микрокосм. С одной стороны, поразительная догматичность мышления, с другой — бьющая через край активность, энергичность. И все это пронизано неистовым индивидуализмом. Эмерсон немало потрудился, прежде чем изобрел витиеватый

ПОКРОВСКИЙ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. в 1951 г.)

Советский историк философии и социологии. Кандидат философских наук. Лауреат премии Ленинского комсомола Автор монографии «Генри Торо» (М., 1983) и ряда научных публикаций по истории американской философии.

термин для этой простой вещи. «Вера в себя» — так он называл наш исконный индивидуализм. Звучит весьма благородно. Сам-то Эмерсон полагал, что «вера в себя» перейдет у американцев в «доверие к другому». Увы, романтические иллюзии! «Другой» остался для нас мрачной, чуждой силой, всегда враждебной, всегда опасной для тебя.

Были, знаете ли, и у нас низвергатели индивидуализма. А что из этого получилось?

Кажется, впервые за время нашей беседы Бариц оживился, затронув некий скрытый нерв своих прежних размышлений.

— Не надо представлять меня идейным противником студенчества. В бурные шестидесятые я и словом и делом поддерживал бородатых.

Бариц слегка провел рукой по своей рыжеватой жидкой бородке.

— А потом пришел к убеждению: все ложь. И их радикализм, и их показной энтузиазм, и их святые. Нельзя посягать на основы, на основы индивидуализма. Иначе начинаешь терять почву под ногами. Сначала незаметно, поток еще какое-то время несет тебя. Потом отрезвляюще-очевидно.

Сейчас одна мысль — хоть бы на день в Вермонт. Там у меня нечто вроде первобытной обители пионера-траппера. А вокруг леса. Соседей в радиусе нескольких миль по пальцам можно пересчитать. Вот уж воистину настоящие янки. Им никто не нужен. Полнейшее доверие к себе. Даже трудно себе представить, как это замечательно, когда никто не лезет в твои дела.

Беседа подошла к концу.

А через несколько дней и нелюбезные манеры Барица, и его раздражение, и мечты об одинокой жизни в духе пионеров-янки нашли свое объяснение. В результате многоступенчатой интриги внутри университетского руководства вице-канцлер Бариц был смещен со своего поста.

Что стало реальной причиной смещения? Позднее мне попался на глаза старый номер объемистой студенческой многотиражки. На первой полосе было напечатано крупное фото Барица. Рядом — статья, кое-что объяснявшая. В шумной дискуссии относительно внутренних дисциплинарных порядков в университете вице-канцлер выступил против вооружения университетской полиции (есть такая в США) огнестрельным оружием. В данном случае позиции Барица и студентов совпали. Зато руководство университета единодушно отмежевалось от Барица. А тут, как по заказу, неизвестный совершил несколько наивное по приемам и явно театрализированное вооруженное ограбление университетского банка. Грабителем — его легко схватили через пятнадцать минут — оказался студент. Этот весьма «к месту» произошедший инцидент и подвел итог затянувшейся дискуссии. На следующий день широкие ремни полицейской униформы украсили новенькие кобуры многозарядных кольтов...

II. Робинзон живет в Монтерее

Мало кто из современных американских историков мог бы помериться своим авторитетом с Лореном Барицем по части доскональной знания истоков и путей раннего формирования американской исторической науки. Его книга «Город на холме. История идей и мифов в Америке» («Город на холме» — этим библейским образом пуританские теологи увлекали первых переселенцев за океан, обещая им обретение «земли обетованной» на просторах Нового Света) фактически стала обязательным чтением для всех американских студентов-историков. Так-то оно так, но одно дело без остатка погружаться в идеи и мифы прежних дней, другое — уповать на возрождение уже перечеркнутого историей идеала янки-индивидуалиста, один на один сражающегося с миром природы и миром людей. Индивидуализм течет в наши дни по иным руслам. Впрочем, и в этих фарватерах случаются порой странные повороты и даже возвратные маршруты, нет-нет да и напоминающие о временах давно минувших...

...Из Олбани, столицы штата Нью-Йорк, отправимся в Бостон по федеральной дороге номер 90. После пересечения границы Массачусетса сразу же сделаем правый поворот на 8-ю дорогу и еще один правый поворот на 23-ю. Вот, собственно говоря, мы и в Монтерее — вполне ординарном американском одноэтажном не то городишке, не то поселке на берегу маловыразительного озерка Гарфилд.

Отдохнувший на бетонном раздолье «лендровер» деловито пробирается лесистыми склонами, выбрасывая из-под скатов фонтаны проселочного щебня. Проплыло мимо ухоженное мрачноватое пуританское кладбище XVIII века с рядами серых каменных надгробий. У некоторых из них прямо в землю воткнуты яркие нейлоновые «звездно-полосатые» флажки, резко выделяющиеся на фоне темно-зеленого двухвекового газона. Здесь похоронены солдаты повстанческой армии, сражавшиеся против английских колониальных войск в годы Войны за независимость. Немало таких кладбищ в Массачусетсе.

Углубившись в лесные заросли, где, кажется, и дороги-то нет, машина вскоре останавливается, уткнувшись массивным бампером в сосну. Прямо к стволу прибита небольшая, но достаточно броская табличка: «Тупик. Частное владение». Однако, сколько ни оглядывайся по сторонам, никаких следов «владения» обнаружить нельзя, да и предупреждение о «тупике» при отсутствии дороги также звучит необычно.

Между тем «владение» действительно существует. Через несколько шагов сквозь податливо и мягко расступающиеся заросли лещины открывается вид: на крутом склоне горы громоздится исполинских размеров бревенчатый сруб недостроенного дома, рядом с ним — островерхий конус индейского вигвама. Повсюду без особого порядка набросаны здоровенные бревна. У одного из них — тщедушная фигурка человека, орудующего топором с длинной рукояткой.

Хозяин явно никого не ждал. Да и вообще гости извне сюда наведываются нечасто. Отложив в сторону топор, которым он сноровисто счищал кору с бревна, Джон Бейкер — так зовут этого молодого бородача в круглых очках в простой металли-

ческой оправе — здоровается. Перед нами не фермер и не университетский профессор, решивший в лесной глуши отдохнуть от суеты преподавательского ремесла. Джон Бейкер — бывший учитель биологии, бывший активист антивоенных выступлений начала 70-х, бывший эмигрант, скрывавшийся в соседней Канаде от рекрутского набора...

Хозяин «владения» ничуть не удивлен внезапно нагрянувшим визитерам. По крайней мере вида не показывает. (Запомним, это одна из черт «другой», «альтернативной» Америки — ничему не удивляться, воспринимать происходящее как данное, данное неизбежностью вечного закона «кармы».) У Бейкера неторопливые движения, сдержанные жесты, негромкий, спокойный голос, правда, несколько неожиданная интонация, рубящая мысль на отдельные короткие фразы. Как-то сразу и во всем ощущается, что наш собеседник существует в некоей своей, особой Америке, почти что не сообщающейся с той, из которой мы прибыли по 90-й автомагистрали. Вот только глаза за этими круглыми стеклами допотопных очков явно нарушают сложившийся было облик; неспокойный, растерянный взгляд, как бы не находящий опоры ни во внешнем, ни во внутреннем мире. Не чувствуется в нем дыхания мудрого закона «кармы».

Бейкер строит дом. Этим он и был занят последние полгода, этим прославился в округе. Сруб, почти доведенный до крыши, основательно и на века врос в расчищенный от леса склон горы: целое сооружение, напоминающее таежное урочище. Вид этого сруба и этих бревен невольно наводит на мысль о серьезном вложении капитала и привлечении целой бригады плотников.

— Сами бревна стоили сущие пустяки,— поясняет Бейкер.— Я купил их по три доллара за штуку у местного полисмена. Здесь за поворотом дороги у него участок прекрасного строительного леса. Труднее всего было доставить их сюда. Вот проблема так проблема. Пришлось нанять людей в Монтерее. А там, где труд по найму, там большие затраты Очень большие.

Что касается самой повалки леса и строительства сруба, Бейкер делал это самостоятельно. Частично из соображений экономии, частично из философского принципа: все делать самостоятельно, по возможности прервав связи с цивилизованным окружением. Принцип свой Бейкер называет «добровольным трудовым уединением». Но не все так-то просто с этим принципом. Эксперимент не получается «чистым». Цивилизация упорно стоит у ворот.

Вот и сейчас миссис Бейкер отлучилась в Монтерей по хозяйственным делам. (Бывшая учительница, она посвятила себя ныне разведению кур и коз. Они идут и на продажу.) Две маленькие дочери ходят в близлежащую школу. Связи с цивилизацией, хотя и не очень прочные, опутывают Бейкеров Однако Джон не придает им большого значения, ведь главное для него состоит, по его собственным словам, в «этической программе», «психологическом искусстве нравственной самозащиты». На поверхность вновь всплывает эмерсоновская философия «доверия личности к себе», становящаяся единственной опорой в борьбе человека против враждебного социального окружения.

Хозяин ведет нас к индейскому вигваму, стоящему в двух шагах от дома и напоминающему эпоху, в которой разворачивались сюжеты романов Фенимора Купера (кстати сказать, и в самом деле Натаниэль Бампо бродил где-то в этих краях). Вигвам служит временным пристанищем для Бейкеров, пока строится дом. Усевшись на мягкое, удобное ложе, устланное сеном и покрытое козьими шкурами, Джон погружается в круг давно созревших у него, «выстраданных» мыслей.

— ...В обществе насилие и ложь стали своего рода домашними удобствами. Столь же доступными, как и телевизор. Они всегда под рукой. «Включить» их не составляет труда. Скорее, чтобы удержаться от этого, требуется определенное мужество. Ни одна из имеющихся экономических систем нас не устраивает. Необходимо основать новое движение. Оно приведет к возникновению нового типа личности, совершенно чуждой как науке, так и индустриальной цивилизации. Это будет настоящая революция. Но в отличие от всех предыдущих — революция одного человека. Ибо каждый должен совершить ее в себе самом. Помощь извне ждать бессмысленно...

Как-то незаметно для меня Джон перешел в пограничное состояние медитации. Его взгляд устремляется поверх наших голов и фиксируется на заоблачной точке «омега», словно мерцающей на небе, видимом сквозь отброшенный полог вигвама. Фразы Бейкера становятся все короче, звучат словно заклинание. Диалог не получается.

Внезапно Джон выходит из «погружения».

— Ну что ж, джентльмены,— Бейкер вскакивает на ноги, отряхивая с коленей сенную труху,— пойдемте напоследок посмотрим мой недостроенный дом. Подчеркиваю: пока еще недостроенный.

Неловко карабкаемся по крутому склону. Из-под ботинок осыпаются гравий и камни покрупнее.

Конструкция дома приноравливается к изгибу горы. Она состоит из двух самостоятельных срубов, нависающих один над другим и соприкасающихся одной стеной.

— Так было задумано с самого начала.— Бейкер останавливается и не без гордости обозревает свое владение.— Верхняя «террасная половина» — для дочерей. Нижняя — для стариков. То бишь для нас с женой.— Поднимаемся по ступеням крыльца нижней «террасной половины».— К сожалению, джентльмены, идти дальше едва ли имеет смысл,— предупреждает Бейкер.— Внутри полно мусора. Но дело собственно, даже не в этом.

Хозяин неожиданно смеется — раскатисто, задорно, открыто.

— Пройти из одного помещения в другое у нас не слишком-то просто. Разве что проползти на четвереньках. Не пугайтесь. Это не имеет отношения к моей философии. Дело в том, что внутренние переходы стыкуются на разных уровнях. Мы с

женой оказались никудышными архитекторами. Понадеялись на глазомер. А надо было все высчитывать по чертежам. Вот и получилось, что какая-то сквозная ошибка поселилась в нашем проекте.

И вновь немного подшучивая над собой и уже не столь категорично, как прежде, Бейкер заключает на прощание:

— Но мы будем заканчивать все как есть. Хотя бы из принципа. Принципа доверия к себе.

III. Альтернатива под вязами

Открылась дверь. Вошли несколько человек. С ними, подхваченный морозным осенним сквозняком, ворвался в комнату пожухлый лист вяза. Путаясь в ногах, грохочущих о порог тяжелыми туристскими и армейскими ботинками, сморщенный лист — жалкий посланник могучих вязов, склонившихся над зданием Таунсенд-холла,— прошуршал по бумагам, в изобилии разбросанным по полу. Наконец он замер, уткнувшись в груду плакатов, кем-то и когда-то сорванных со стен и не донесенных— то ли в спешке, то ли по причине безразличия — до синего мусорного мешка, притулившегося в углу коридора.

Входили «альтернативники».

Среди них и Чарли Хейни, фактический распорядитель всего Таунсенд-холла, декан находящегося в нем Толстой-колледжа. Впрочем, «деканом» Чарли называть не принято. Для его коллег и студентов это может прозвучать как бранное прозвище «продажных профессоров», связавших себя с новым кампусом.

Подобно многим американским университетам, университет Буффало [1] (того самого миллионного «Буйвола» на северо-западе штата Нью-Йорк, подползающего своими пригородами к Ниагарскому водопаду) исторически раскололся на две части, два кампуса — старый, умирающий в центре города на Мэйн-стрит, выстроенный из красного кирпича и сплошь увитый плющом, и новый, вынесенный на свободную территорию за пределы городского конгломерата. Быстро прогрессирующей патриархальной дряхлости и безлюдью старого кампуса новый комплекс противопоставляет торжество предельно рационализированных архитектурных форм, горизонты открытых пространств, людские массы и... полное отсутствие чего бы то ни было, напоминающего уют и человечность.

Беспокойная университетская жизнь, а также и потоки финансовых дотаций, несмотря ни на что, все активнее и активнее перетекают в новый кампус. Там же, конечно, укрепились и университетские власти — твердыни академического истеблишмента. А тех, кого посчитали недостойными «новой» жизни «из стекла и бетона», оставили под вязами на Мэйн-стрит. Остался здесь и Толстой-колледж.

— Какое отношение мы имеем к Толстому? — Чарли Хейни, погрузившись в низкое, изрядно протертое кресло, бросает на его спинку свою брезентовую куртку цвета хаки и сладостно вытягивает замерзшие на ноябрьском ветру ноги. Спутники Чарли разошлись по другим комнатам. Кое-кто, правда, усевшись в такие же кресла, безучастно внимает нашей беседе.— История это давняя.— Чарли проводит по лицу руками, словно стирая пыль суетности и обращаясь к минувшему...— В начале 70-х годов здесь все бурлило. Вьетнамская война. Призыв резервистов. Расстрел студентов в Кентском университете. Вселенский бунт в Беркли. Докатывались эти волны и до Буффало. Тем более что канадская граница совсем рядом. А за ней — тысячи наших студентов, скрывающихся от призыва. Селились они поближе к родным берегам, по ту сторону Ниагарского водопада. Время от времени нелегально наведывались в Буффало. Все это наэлектризовало до предела атмосферу в университете. Сюда уже стягивались части национальной гвардии. И тогда совет попечителей решил открыть предохранительный клапан. «Вы не хотите жить по-старому? Не хотите учиться тому, чему учат в университете? Прекрасно. Тогда мы создаем для вас отдельный и совершенно самостоятельный факультет. Делайте с ним, что считаете нужным. Полная свобода от ка-пи-та-лизма! А с нашей стороны — разумная финансовая поддержка». Так возник альтернативный факультет. Клапан сработал. В какой-то мере, конечно. Возникло и название — Толстой-колледж. Толстой проповедовал «альтернативную» программу воспитания человека. Он верил, что можно взрастить в человеке самое лучшее, не подчиняясь казенному укладу, а, напротив, воюя с ним в своих мыслях и чувствах. Для Толстого был важен образ жизни человека, а не багаж его формальных знаний. Правда? Все это мы и решили осуществить у себя в колледже: научить нашу молодежь жить во враждебном окружении, научить ее нравственному совершенствованию своей собственной натуры, научить миру в сердце. Нас тогда воодушевляли большие ожидания. Была мечта и была надежда...

Чарли, казалось, целиком погрузился в прошлое.

— Однако было это все не вчера. Давно, очень давно. Университет наш, считайте, ничего-то и общего не имеет с тем, каким он был тогда. Да и мы, честно говоря, уже не те. Раньше от желающих пройти курс нельзя было отбиться. А это отражалось и на финансировании. Сейчас же народу сильно поубавилось. Одно время вообще собирались нас закрывать. Слава богу, отстояли. Пока отстояли. Что ни говорите, но «альтернативная» идея всегда пробьет себе путь. Не сегодня, так послезавтра. Главное, сохранить ее, не дать угаснуть пламени истины.

Не оборачиваясь, Чарли протянул руку и наугад выудил из груды скомканных плакатов первый попавшийся лист бумаги. Разложив и расправив его на коленях, он поднял очки на лоб и близоруко поднес лист к глазам.

— Ну, вот, пожалуйста, программа нашего курса «Экспериментальное обучение». Никаких учителей и учеников. Половину занятия одни учат других, потом наоборот. А вот еще одна программа,— Чарли расправил еще один скомканный и

[1] Buffalo — буйвол *(англ.)*.

порванный лист.— «Искусство психологической ненасильственной самозащиты». Интересуетесь? Извольте.— Чарли принялся выборочно читать текст: — «В нашем империалистическом обществе насилие столь же распространено, как и телевидение. Власти не могут и не хотят предотвращать насилие... Для нас существует лишь одна альтернатива: либо индивидуальная схватка с насилием, либо индивидуальный уход от него... Выбираем второе. Курс включает следующие темы: сновидения как способ «снятия» насилия, трансцендентальные медитации, основы индивидуальной физической самозащиты, активная визуализация, выработка позитивного отношения к жизни, ясновидение и предсказание будущего, самовнушение и самогипноз, телепатия...» Всего у нас,— Чарли принялся подсчитывать в уме,— десять курсов. Самых различных. Но особенно важен один. Новый. «Идея коллективности». Его я веду сам. В чем суть? Да в том, что современные люди, разобщенные городской жизнью, должны искать родственные души, объединяться и отвоевывать социологические ниши у нашего общества. Но главное опять же не в своде принципов, кстати весьма древних, а в практической подоплеке идеи. Хотите узнать, в чем здесь дело, милости просим на Мэйн-стрит, 1130. Лучше ближе к полудню. Там и поговорим.

Дом 1130, несмотря на свой внушительный порядковый номер, столь характерный для американских городов, вытянувшихся вдоль сквозных магистралей, оказался совсем рядом со старым кампусом. Обыкновенное сооружение в три этажа, затертое справа и слева такими же трех- и четырехэтажными домами с лавками на первых этажах. На вывеске 1130-го значилось: «Свободный кооп. Толстой-колледж». Мутноватое стекло обнажало вызывающе пустую и изрядно запыленную витрину. У входа, однако, было припарковано несколько новых, довольно дорогих автомобилей.

Тихо звякнул колокольчик, и дверь, мягко спружинив, закрылась за мной. В лавке были покупатели. У стеллажей с какими-то банками и пакетами суетилась миловидная девушка в «альтернативной» одежде: мешковатые брезентовые брюки, мужская ковбойка, грубая жилетка из домотканой материи. «Чем могу помочь? — девушка проворно подбежала ко мне.— Вам нужен Чарли? Он в задней комнате». Покупатели, отнюдь не молодежного возраста и далеко не в «альтернативном» одеянии, недовольно покосились на меня. Но девушка быстро вернулась за прилавок и вновь принялась что-то отвешивать им в пакеты.

— Моя штаб-квартира.— Чарли поднялся мне навстречу и движением руки показал на складские полки с продуктами, мешками, связками книг и брошюр. Пахло пряностями. В углу, зажатый деревянными бочками, тихо урчал промышленный холодильник. — Как насчет яблочного сидра? Свежайший. Нового урожая.

Чарли открыл краник баллона со сжатым воздухом. Мягкий шланг, соединявший баллон с огромной дубовой бочкой, слегка напрягся, и из другого крана, вбитого в дно бочки, весело запенилась струя яблочного сока, именуемого здесь, на севере штата Нью-Йорк, «сидром».

— Так вот и живем, работаем. Так вот и учим,— говорил Чарли, потягивая из высокого стакана холодный золотистый напиток.— Наш экспериментальный кооперативный магазин имеет множество «аспектов». Например, политэкономический. Все, что здесь продается, произведено свободным трудом, не отягощенным никакой капиталистической эксплуатацией. По всему графству у нас размещены сады, фермы, огороды. Там совершенно добровольно трудятся наши студенты. Никаких тракторов, химических удобрений и гербицидов. Восстанавливаем античные приемы агрикультуры. Читаем Гесиода, Цицерона. И представьте, результат налицо.— Улыбнувшись, Чарли поднял стакан («Ваше здоровье!») и допил его до дна.— Философия же наша не менее проста. Свободный физический труд в полном единстве с землей и товарищами по кооперативу. Экологически безотходное производство. Даже банки и пакеты для продуктов мы используем по многу раз. Никакой буржуазной роскоши и расточительности. Правда, от животноводства воздерживаемся. Исключительно по идейным соображениям. Дань толстовской традиции. Но и без этого оборот немалый. Мы вполне конкурентоспособны. Цены на продукты назначаем очень высокие. Во-первых, наша система сегодня — монополия на производство «чистых», натуральных пищевых продуктов, а, во-вторых, своими ценами мы эксплуатируем капиталистических эксплуататоров. И этим приближаем конец империалистического общества. Пробуем взрывать его и силой идей. Нашим постоянным покупателям в виде премии вручаем брошюры Толстого, Кропоткина, Торо и некоторых современных авторов.

Мы вошли в торговый зал. Народу здесь явно прибавилось. Девушка за прилавком в большой спешке бегала от полки к полке. («Не подумайте, что это профессиональная продавщица,— говорил Чарли.— Джейн наша студентка. Месяц она слушает теоретический курс, месяц работает на ферме, потом — в магазине. Затем все сначала».) В узкогорлые бутылки она нацеживала кукурузное масло, в фунтики и пакеты насыпала горох, фасоль, какую-то крупу. В многочисленных банках, стоявших на полках, были нарублены овощи и, похоже, зелень, сдобренные подливой. Книжные стеллажи стояли поодаль.

В самом деле, кооперативный магазин представлял, по крайней мере внешне, сущую альтернативу всем этим работающим круглые сутки универсамам. «К этому мы и стремимся,— охотно согласился Чарли.— Дело не в изобилии продуктов, а в их чистоте — экологической и, так сказать, нравственной».

У выхода, прощаясь, мы задержались на несколько минут. Пока Чарли записывал на клочке бумаги мой телефон, из магазина вышла одна из покупательниц. Воистину живое создание, сошедшее со страниц последнего номера журнала «Вог».

Окутав нас облаком парижской парфюмерии и не удостоив взглядом из-под поляроидных солнечных очков, она бойко застучала каблучками по щербатым ступенькам крыльца. Слегка распахнувшееся на ветру меховое боа ласково коснулось лакированной поверхности темно-синего лимузина. Элегантно переложив в одну руку все кульки, свертки и связки зелени, покупательница принялась аккуратно укладывать на сиденье дары «альтернативного» образа жизни. К заднему стеклу полетели несколько брошюрок, врученных, видимо, в качестве бесплатного приложения. Из стереофонических динамиков вырвались мощные фортиссимо Девятой симфонии Бетховена, не выключенной на время стоянки. Через мгновение мягко «залипла» и «запечаталась» дверца лимузина, отсекая от внешнего мира и свою владелицу и Бетховена. Машина рванула с места и растворилась в потоке Мэйн-стрит.

На освободившееся место тут же подрулил другой автомобиль.

IV. «Личность — планета» или «планета людей»!

Современное «альтернативное» движение в западных странах не сводится, разумеется, лишь к организации кооперативных ферм и магазинов, разного рода чудачествам и прочим методам «психологической самозащиты», столь неуклонно проповедуемых ныне в Толстой-колледже. Да и сам Толстой-колледж при всей своей колоритности — одно из частных проявлений многоликой «альтернативной» культуры, хотя и не определяющей лицо буржуазного общества, но добавляющей весьма важные черты к его портрету. «Альтернативное» движение крайне подвижно в своих идейных переливах, подчас оно кажется неуловимым для научного исследования и вместе с тем весьма устойчиво в глубинной философской самоопределенности.

Что же оно представляет собой в идейном отношении?

По сути, развитые формы «альтернативного» мировосприятия обозначились уже в XIX веке, когда для романтического наблюдателя общественной жизни (особенно городской) стали очевидны катастрофические последствия капиталистического развития: падение нравов и деградация личности, крушение идеалов гуманизма, духовное обнищание. Тогда-то и возникла некая совокупность идей (скорее даже умонастроенность), призванная оградить «униженных и оскорбленных», создав для них особый мир глубоко интимных переживаний, несбывшихся мечтаний, надежды на возможность подлинно братских отношений между людьми. Но чем больше лирический герой-философ Новалиса и Тика, Эмерсона и Колриджа, Карлейля и Рескина погружался в этот мир, тем призрачнее становилась его связь с подлинными общественными силами, борющимися за воплощение гуманистического идеала. «Альтернативная» философия, отрицая всякую власть и всякую централизованную организованность, признавала только одну «инстанцию» — индивидуальное Я и только одну революцию — «революцию одного человека», которую он должен совершить в себе самом, в своем сознании. Это и есть «великая альтернатива» всем и всему.

Исторические судьбы «альтернативного» движения весьма противоречивы. В одних случаях, особенно в годы общенациональных кризисов, оно примыкало к демократическому лагерю, во многих других — составляло «пятую колонну» буржуазии в рабочем, студенческом и молодежном движении.

Не так давно, если пользоваться историческими масштабами времени, «альтернативное» движение было представлено в Америке 60-х годов битниками и хиппи — этими порождениями так называемой «контркультуры». Позднее общенациональный протест против агрессии США во Вьетнаме всколыхнул и поглотил в стремнине антиправительственных выступлений и контркультуру, и другие формы «альтернативного» движения. Современное его состояние в США характеризуется существенными изменениями по сравнению с тем, каким оно было, скажем, десять лет назад.

Прежде всего теперь в его орбиту вовлечены представители не только учащейся молодежи, но и других слоев населения, возрастных и профессиональных групп. «Альтернативность» втягивает колеблющихся, неустроенных, лишенных четких политических взглядов. Однако все эти, отнюдь не малочисленные, слагаемые западного общества проявляют примерное постоянство в отрицании существующих политических институтов. Иными словами, лозунг: «Уйди от мира, в нем правды нет» стал их общей платформой. Причем этот «мир» видится им в виде торжества индустриализации, техники и технократии. Что же противостоит у «альтернативников» ему, этому «миру»?

В сущности, ничего, кроме принципов отрицания и прямого действия. Что касается отрицания, тотального нигилизма, то еще Фридрих Ницше воспел это низвержение всех «европейских духовных ценностей», увидев в стихии повального крушения принципов культуры рождение новой цивилизации «сверхчеловеков». Далеко не всем «альтернативникам» импонирует подобное философское вспышкопускательство, да и культ сверхчеловека они понимают сейчас, в середине 80-х, несколько иначе: воспитай себя, потрудись на ниве своего Я, уйди в свой мир, и там ты обретешь сверхреальность, сверх-Я. Разумеется, вовсе не обязательно для этого погружаться в мистические медитации, хотя и этот путь не заказан. Более привлекателен, однако, иной путь — путь «прямых действий».

В самом деле, рассуждают «альтернативники», бессмысленно заботиться о переделке мира и человечества. Необходимо немедленно, сейчас же принять посильное участие в акте отрицания истеблишмента. Пусть этот акт будет утопичен, локален, но он важен субъективно, он дает выход внутренней энергии ненависти по отношению к миру монополий и милитаризма, безработицы и общественной лжи. Однако

открытая обличительность позиции «альтернативников» не только не скрывает, но скорее даже подчеркивает глубоко присущий им рафинированный пессимизм. Он сквозит и в документах «альтернативного» движения, и в жизненной позиции его сторонников. Суть его прекрасно выразил один из наиболее видных идеологов «альтернативы» Теодор Роззак, писавший: «Мы гуманисты не по выбору, а по несчастью, гуманисты потому, что у нас нет ничего другого, во что бы мы верили, гуманисты от испуга перед единственной альтернативой — бездной нигилизма».

«Альтернативники» уповают на «правильный» образ мыслей, который силой своей самоочевидной убедительности превратит все западное общество в содружество свободных и независимых коммун, а «правильный» образ жизни участников коммун оттеснит на задний план и в итоге упразднит все буржуазные социальные структуры. Великие ожидания связываются с этой программой. Увы, реальная политическая жизнь дает весьма мало надежд на их осуществление.

И все же нельзя относиться к «альтернативникам» свысока или, что хуже, причислять их к безусловным противникам общественного прогресса. На деле все оказывается сложнее. «Альтернатива», порожденная кризисными сбоями западной машины, расшатывает этот механизм. Пусть не всегда эффективно, но достаточно очевидно.

«Капиталистический индивидуализм не имеет ничего общего с уникальностью и автономностью личности... Открытие Я создает личность, а конкуренция создает индивида, который оценивает себя по тому, что он приобретает, захватывает, чем владеет, а не по тому, что он представляет собой на самом деле. Поэтому индивидуализм антиличностен, антисоциален, он — отчуждение от нашей субъективности, от людей. Капитализм, порождая изолированного, своекорыстного, эгоистического индивида, переходит затем в фазу корпоративной регламентации и манипуляции. Поэтому он так легко берет на вооружение стратегию массовой коммуникации и рекламы — этого постыдного наступления на уникальность и автономию личности». Это из предисловия к книге Роззака. А вот его программное заявление «Если право на открытие Я вообще сохраняется в нашей культуре, то только благодаря маргинальному меньшинству художников, мистиков, пророков, которым удается отстоять чувство индивидуальности в борьбе с цивилизацией бизнеса».

Итак, в борьбе со старым капиталистическим индивидуализмом может победить «коллективность», созданная подвижниками иного духовного «измерения». За ними, по мнению автора, будущее Америки.

Несколько слов и о самом авторе. Имя его хорошо известно — Теодор Роззак, профессор Калифорнийского университета, один из самых популярных некогда застрельщиков контркультуры. Его книга «Создание контркультуры» была в свое время идейным манифестом американской леворадикальной молодежи. Вышеприведенные же суждения взяты из последней книги Роззака «Личность — планета. Творческая дезинтеграция индустриального общества». Хотя сквозная интонация книги несет печать сакральной таинственности, поблескивающей гранями мистицизма, в своих конкретных рекомендациях относительно создания или, вернее, воссоздания «планеты — личности» Роззак рассуждает на вполне рациональном уровне. Путь к этой планете идет, согласно предсказанию Роззака, через организацию малых неформальных групп, состоящих из энтузиастов, заинтересованных в чисто гуманистических целях. Группы эти существуют в пространстве между социальными клетками корпоративного общества, ни в чем не соприкасаясь с ним. Подобные объединения людей, возникающие по любым, самым пустяковым поводам, Роззак называет «ситуативными группами». «Это маленький мир друзей, где каждый может петь свою песню. Именно этого жаждут сегодня американцы. Именно в таких группах они начинают чувствовать себя личностями. Они жаждут признания и самоутверждения. Здесь и теперь. Не дожидаясь успеха движения и приговора истории».

Там, где Теодор Роззак останавливается перед «личностью — планетой» как высшей целью, другие американцы, даже не столь уж и искушенные в философии и истории, идут принципиально дальше в поисках планеты людей, действенного контакта с мировыми проблемами нашего времени.

V. Яхта «Октябрь»

Тихая ночь. Тягуче-неторопливые воды Ниагары исподволь набирают разбег перед роковым низвержением с высоты. Противоположный, канадский, берег существует только как гипотеза воображения: ни огонька, ни силуэта, ни единого признака тверди. Не шелохнувшись, замерев в дымке, на ближнем рейде стоит большая яхта.

Адольф Гусицкий сноровисто швартует разъездной катер к борту 28-футового кеча «Октябрь» — особой достопримечательности флотилии Великих озер — и, ухватившись за леерное ограждение яхты, одним махом перепрыгивает на ее палубу. Через несколько секунд в глубине каюты загорается потолочный фонарь. Ночной мир оживает.

Немало прекрасных судов можно встретить в сезон на озере Эри и здесь, на Ниагаре. Но «Октябрь» не ровня всем этим пластиковым совершенствам серийной штамповки, приписанным к местным яхт-клубам. «Октябрь» стоит особняком.

Когда несколько лет назад Гусицкий, едва познав азы искусства ходить под парусами, явился к владельцу крупнейшей судоверфи в Буффало и прямо с порога купил у него наиновейший экспериментальный проект океанской яхты, на верфи решили, что аспирант из Толстой-колледжа (а именно там тогда учился Адольф) просто чудит. Но после того как на вопрос хозяина верфи: «С кем ты собираешься строить этот парусник?» Гусицкий ответил: «Ни с кем. Один», в конторе установилась полнейшая тишина. Даже от питомца Толстой-колледжа такого ожидать было трудно. «Ну что ж... Значит, будешь стро-

ить один? Так... Хорошо... Один, так один»,— хозяин тянул время, что-то судорожно просчитывая в уме. И потом решительно обнародовал свое дальновидное решение: «Это безрассудство столь неслыханно, что оно требует поддержки». И поддержка, имеющая в виду будущую рекламу, была оказана. Впрочем, ограниченная.

Когда же через год, после спуска яхты на воду, Гусицкий заявил, что без подготовки в одиночку пойдет через Атлантику, уже никто, даже из рекламных соображений не пожелал ему помочь. На поддержке самоубийцы торговое паблисити не сделаешь. Вольному воля.

Так вот все это начиналось.

...На газовой плите в камбузе энергично закипает судовой чайник. Адольф достает из рундука небьющиеся чашки и тарелки, из продуктового шкафчика — нехитрое угощение. Расставляет все это на штурманском столике, покрытом отслужившей свой век навигационной картой.

— Сейчас, конечно, я живу не на яхте. Но почти каждый день прихожу сюда. Как-никак «Октябрь» четыре года был моим единственным домом. И на Бермудах, и на Азорах, и в Берлине.

— В Берлине?

— Дошел по Шпрее до самого центра города и прожил там целых три года. Зимой «Октябрь» вмерзал в лед. А вокруг каток. Дети катаются на коньках. Но в каюте было вполне сносно. Я подключил электропечку к береговой сети.

План «великого исхода» из Нового в Старый Свет у Адольфа созрел давно. По национальности немец, он принял решение во что бы то ни стало поехать на родину предков. Но не праздным туристом.

— Более всего меня интересовала система школьного образования в ГДР. Я много слышал об успехах этой системы. Хотелось попреподавать самому в обычной немецкой школе, посмотреть, как все это устроено изнутри. Да и в немецком надо было усовершенствоваться. Неприлично говорить с акцентом на родном языке.

Неожиданно Гусицкий переходит к делам Толстой-колледжа. Когда-то он был там одной из «действующих» фигур, «теоретиком». Теперь уже больше года даже не заходил в «альтернативный» колледж под вязами. Одиночное плавание в ГДР окончательно обозначило развилку дорог.

— Не мог и не могу до сих пор смириться с принципами аутизма, полнейшей замкнутостью на самом себе. Чтобы проверить эту философию, специально предпринял одиночный переход в Европу. И ничего. Не стал аутистом. Напротив, укрепился в обратном. Чем дальше уходишь от людей, тем больше понимаешь, как они нужны тебе. Альтернативу надо искать не только в себе, но и в тех реальных альтернативах, которые дает история. Без этого никак нельзя.

И тут же Адольф вновь возвращается к своему путешествию:

— Знаете, что служило мне лучшей рекомендацией в ГДР? Название моей яхты. Люди как-то сразу понимали, что к чему. Когда я проделал весь путь обратно и швартовался в Буффало, меня встречали толпы совершенно незнакомых людей, сотни корреспондентов. Ведь я стал знаменитостью, так сказать, регионального масштаба. И сразу же вопрос: «Почему вы назвали яхту «Октябрем»?» — «Так понравилось».— «И все же?» — «Потому что я родился в октябре». Родился-то я в мае. Но они поверили. Ну и слава богу.

Из просторной и уютной каюты мы выходим на палубу. Ночь по-прежнему пустынна и тиха.

— Что же вы не спрашиваете, как я чувствовал себя в центре мирового океана? Был ли одинок? Обычно все спрашивают. Но если серьезно, то там-то как раз все было о'кей. Страшнее всего в наших краях, на Ниагаре. Водопад всего в трех милях вниз по течению. Никаких улавливающих дамб нет, только небольшие каменистые островки. Выходишь под мотором на фарватер, а в груди легкий холодок: вдруг что-нибудь случится с двигателем. Тогда прямехонькая дорога вниз. Одна надежда останется на эти островки. Да что островки! При такой-то ширине русла. Пустое. Точным, очень точным надо быть здесь.

На нас падают редкие снежинки. Касаясь чернеющей воды, они бесследно исчезают. И все же стало светлее. Первый снег этой зимы. Ноябрь кончается.

Слабая, худосочная поземка метет по улицам Буффало. На Мэйн-стрит никого. Только непрерывающиеся вереницы автомобилей текут навстречу друг другу. Чарли Хейни ссутулился, зябко вобрал голову в плечи, набросил на свою буйную шевелюру легонький капюшон. Мы идем мимо старого кампуса. Ветер в лицо.

— Посмотри! — Чарли трогает меня за рукав и показывает в сторону кампуса. На фоне зданий, давно поглощенных сумраком, в снежной дымке ярко фосфоресцирует всеми своими окнами Толстой-колледж. Картина завораживает. «Наши заседают, спорят. Как обычно»,— прозаически поясняет Чарли. Достаю из чехла камеру и прилаживаю к ней штатив. Чарли, вежливо отдавая дань моему фотолюбительству, топчется рядом, потом исчезает. Через минуту из ветровой темноты доносится его голос: «Иди сюда. Здесь точка лучше».

...Тихо жужжит небольшой проектор. На экране — «слайдированная» Америка, пестрящая красками и формами, богатством и пустотой, горизонтами и тупиковыми стенами. После очередной «картинки» в проекцию попадает тот слайд, «слайд Хейни».

К стенам Толстой-колледжа прижались своими стволами голые вязы. Их узловатые руки со всех сторон оплели одинокий дом. Низкое осеннее небо, подсвеченное городскими огнями, наваливается сверху на взметнувшиеся ветви. Снизу пространство из края в край рубится красными и белыми линиями, оставленными проехавшими по Мэйн-стрит автомашинами. И над всем этим господствуют горящие окна,

прожигающие ноябрьскую мглу. В них — молчаливый вопрос.

VI. Бредлоуфский вариант

Далеко не всегда даже на подробных географических картах Вермонта обозначен Бредлоуф — небольшое буколическое местечко, известное между тем всей читающей Америке. Здесь в течение многих лет проходят знаменитые бредлоуфские литературные конференции, время от времени собирающие избранное писательское общество. А совсем рядом с Бредлоуфом по лесистым склонам гор пролегает тропа, ведущая к небольшому деревянному дому, скрытому от досужих людских глаз. Это дом Роберта Фроста, превращенный ныне в музей.

Пойду на луг прочистить наш родник.
Я разберу над ним опавший лист,
Любуясь тем, как он прозрачен, чист.
Я там не задержусь. Пойдем со мной.
. . . . . .

(Перевод И. Кашкина)

В сознании современных американцев Бредлоуф обозначает высокое художественное качество, не подвластное колебаниям моды и политическим амбициям. И еще одно. Бредлоуф — это поиски альтернатив мрачным, а подчас и трагическим реалиям нашего века, ибо настоящая литература неотделима от сопереживания бедам и радостям человека и человечества.

Не случайно, видимо, именно здесь в мае 1986 года открылся американо-советский симпозиум по проблемам детской, юношеской и молодежной культуры.

Двери старого амбара распахнулись ровно в девять. Не слишком рано по местным понятиям, где люди, работающие в поле, встают затемно. Редеющий утренний туман, прорезанный лучами майского солнца, еще стелился по долине, медленно сползая к основаниям гор. Человек двести, столпившихся у входа на площадке, засыпанной белым гравием,— ведущие американские специалисты по эстетическому воспитанию, преподаватели университетов, учителя вермонтских школ, корреспонденты местного телевидения и газет — разом хлынули внутрь темного помещения, казавшегося после яркого утреннего света мрачным и безжизненным. Впрочем, когда глаза привыкли к полумраку, амбар, не теряя облика сельскохозяйственной постройки, чудесным образом преобразился в просторный зрительный зал (подчеркнуто упрощенный и незатейливый бредлоуфский стиль имеет, кажется, не только экономическое, но и нравственное обоснование).

Открывался симпозиум, организации которого многие из присутствующих отдали не один год самоотверженных усилий. Не будем подробно рассказывать о докладах американских и советских участников, тем более что обсуждались проблемы прежде всего профессиональные. «Роль музеев в сокращении разрыва в уровнях культуры городских и сельских детей», «Особо одаренные дети: американский и советский подходы к их обучению и воспитанию», «Методы преподавания изобразительного искусства», «Позитивная роль телевидения в расширении художественного кругозора», «Художники и писатели в школьном классе: умение найти общий язык с детьми» — таковы были некоторые темы, обозначенные в программе симпозиума и определившие направление дискуссий. Но самое главное, быть может, состояло в том, что симпозиум проходил в то время, когда вопросам эстетического воспитания, казалось бы, надлежало уйти на отдаленную периферию общественного интереса. Процесс нарастания кризиса американо-советских отношений достигал, можно сказать, кульминации — в самый канун открытия симпозиума правительство США объявило об отказе соблюдать условия договора ОСВ-II.

И все же в обстановке, когда музы вот-вот готовы были умолкнуть, идея симпозиума утвердила свое право на жизнь. Общий тон обсуждения был задан приветственной речью главы советской делегации — писателя Альберта Лиханова.

«Самый короткий путь к сердцу взрослого человека лежит через сердце его ребенка,— сказал он.— Вот почему, если мы хотим усовершенствовать мир, быть может, главные усилия общество должно посвятить растущему человеку, воспитанию в нем нравственных устоев, влияя через него и его формирование на взрослую часть человечества».

Известный американский специалист по теории художественного воспитания профессор Альберт Гурвиц, возглавляющий отделение художественного образования Мэрилендского института искусств, подхватывает этот тезис. «Художественное творчество,— сказал Гурвиц, обращаясь прежде всего к американской части аудитории,— осталось у нас последней областью, в какой-то мере свободной от прямого вторжения политиканов. Теперь пришел наш черед».

Не успели эти слова прозвучать под крышей бредлоуфского амбара, как забегали по блокнотам перья газетчиков, быстро уловивших новые оттенки события, явно выходящего за рамки чисто академического обмена мнениями по общим проблемам эстетического воспитания. Разговор шел об общественном предназначении искусства в контексте бурных коллизий нашего века, о нравственной его наполненности и смысле.

Пока на трибуне министр образования штата Вермонт Стефен Каагэн с пафосом излагает основные принципы системы среднего и высшего образования в США, я вновь и вновь вглядываюсь в лица тех, кто сидит в зале. С некоторыми участниками симпозиума успел познакомиться в предшествующие дни. Все мы живем в одной сельской гостинице, выходящей своим фасадом на 125-ю магистраль.

То ли случайно, то ли в силу внутреннего духовного притяжения, сплотившего за два года всех тех, кто развернул в Вермонте движение за обмен с Советским Союзом в области детского творчества и художественного воспитания, в одном ряду зрительного зала сидят главные организаторы симпозиума. Впрочем, прозаиче-

ское слово «организаторы» не ложится в строку. Эти люди — подвижники идеи.

Патриция Уинпенни — подлинная душа движения, с медной кружкой и сумой объехавшая десятки городов страны в поисках поддержки идеи обменов и самого симпозиума. В списке участников она лаконично обозначена — «специалист по международным экономическим отношениям и фермер». Согласимся, несколько парадоксальное сочетание. Недоумение относительно того, как эта хрупкая на вид молодая женщина, мать двоих детей может вести фермерское хозяйство, вскоре разрешилось. В самом деле, небольшой домишко Патриции окружен доброй сотней акров вермонтского глинозема. И не надо быть специалистом в сельском хозяйстве, чтобы понять: дохода эта земля не принесет, по крайней мере в ее нынешнем состоянии. Муж Патриции, Нэд Уинпенни, юрист по образованию, в основном сидит с детьми дома. Причем весьма покорно тянет эту лямку «бэби-ситтера» [1] и который год пытается своими силами закончить ремонт дома. Кстати, у Патриции и Нэда входная дверь не имеет замков. Входи каждый! Всем рады.

Луиза и Эшли Кадуэлл пришли в движение семейной парой. Оба из Вермонта, местные. Работают преподавателями в колледже близлежащего городка Мидлбери. Луиза на свои средства сняла фильм о советских детях, их рисунках, эстетическом воспитании в нашей стране.

Немного старше своих друзей Арлин Пилар, хотя и ей едва за тридцать. Она из Нью-Йорка, вернее с Лонг-Айленда. Арлин считается теоретиком движения, она профессор детской литературы Лонг-Айлендского университета.

Рини Уэллс родилась и всю жизнь провела в Бостоне. Сейчас заведует отделом младших школьников в Бостонском детском музее. В музее этом нет застекленных витрин и табличек: «Экспонаты руками не трогать». Все, что собрано в его стенах, предназначено для активного и творческого использования неугомонными посетителями, с которыми, как говорила сама Рини, она всегда находит темы для «философских обсуждений».

Здесь же, в зале,— десятки директоров и учителей вермонтских государственных и частных школ. Они на симпозиуме не гости, а самые что ни на есть настоящие хозяева, основавшие и воплотившие в своей работе движение за обмен детскими рисунками между школьниками Вермонта и Советского Союза.

Отправной точкой движения стала демонстрация по телевидению США кинофильма «На следующий день», рассказывающего о последствиях ядерной атаки. Картина всколыхнула всю честную Америку. Наутро те, кто сидит сейчас в зале, приняли решение посвятить себя борьбе за то, чтобы никогда не наступил такой «следующий день». В Вермонте возникла быстро приобретшая известность и авторитет организация «Родители и учителя за социальную ответственность». Ее руководитель Гленн В. Хокс, участник бредлоуфского симпозиума, обратился к американскому народу с воззванием. Текст его был распространен среди всех участников симпозиума.

Воспитание миролюбия... Энн Росс, перешагнувшая пенсионный рубеж и потому уже бывший директор вудбриджской школы, расположенной поблизости от Бредлоуфа, говорит об этом так: «Нашим детям надо всеми средствами внушить, что на свете много других народов и все они имеют такое же право на жизнь, как и наш. Мы должны больше знать о русских, о вашей огромной стране. Нам многому можно научиться у советских учителей, писателей, художников, прежде всего умению воспитывать миролюбие».

Что заставило далеко не преуспевающих, по американским понятиям, людей тратить силы, время, немалые деньги ради того, чтобы начать кампанию за установление контактов с советскими коллегами, привозить в США выставки и целые театры, организовывать теле- и радиомосты и делать великое множество других дел, не имеющих оправдания в глазах обывателя? Материальная выгода? Едва ли даже в шутку можно говорить об этом. Слава, то бишь паблисити? Нет, ни славы, ни паблисити это не приносило, по крайней мере до сего дня.

«Секрет» в ином — в желании сегодня, немедленно, наперекор «благоразумию», а подчас и весьма навязчивому политическому давлению делать то, что отзовется в завтрашнем дне, отзовется добрыми всходами миролюбия и миропонимания. Учить американских детей умению думать о заботах и интересах других народов, да и просто рассказывать детям о людях нашей планеты, чтобы американские школьники не думали о Советском Союзе как о большой заснеженной равнине, по которой бродят медведи, и не спрашивали, подобно тому как спросил меня один симпатичный парнишка: «А правда, что у вас не бывает радуги?»

Двое старшеклассников сопровождают меня по вермонтскому городку Мидлбери. Они немного говорят по-русски и без всякого стеснения пытаются ввести в оборот весь свой словарный запас. Скрывая порой улыбку, подыгрываю им: беседа наша идет по канонам самых популярных разговорников. «Вам нравится Мидлбери?» — «Мне очень нравится Мидлбери».— «Погода очень хорошая».— «Да, погода очень хорошая»... Центральная улица города причудливо перетекает с холма на холм... Рядом с мостом, перекинутым через реку, шумят потоки воды, обрушивающиеся с мельничных колес. («Это река?» — «Да, это река».— «Куда она течет?» — «Она течет в озеро Шамплейн»). Полюбовавшись на этот осколок старых времен, столь удачно оставленный в центре современного города, держим путь дальше. Решаем зайти в книжную лавку. На стенде с новыми поступлениями рядом стоят две книги. На белой глянцевой обложке первой — кстати, весьма увесистого тома — кроваво-красные буквы: «Что будет, когда придут русские».

[1] От английского «сидеть с ребенком».

Вторая — книга Саманты Смит о ее путешествии по нашей стране.

Беру и листаю первую книгу. Мои молодые спутники, исподволь переглянувшись, уходят подальше от стенда. Встреча с этой книгой явно отсутствовала в программе экскурсии по Мидлбери. И все же что будет, «когда придут русские»? В руках у меня не бредовый фантастический роман. Отнюдь. Это своеобразный справочник, написанный сухим, деловым языком. Одна из глав посвящена судьбе американской творческой интеллигенции в условиях «советской оккупации». Первый же тезис, напечатанный к тому же жирным шрифтом, гласит: «Вас зарегистрируют и уничтожат раньше других». Слышу, как ребята шушукаются за моей спиной. Судя по всему, строят планы исправления ситуации. Помогу им.

Беру другую книгу. Ее написала Саманта Смит. Жизнь этого маленького-большого человека стала нетленной страницей в истории дружбы американского и советского народов. Книга еще раз подтверждает это. Великий урок миролюбия Саманта преподала всей взрослой Америке.

Справедливости ради надо сказать, что заинтересованное внимание к советскому опыту воспитания средствами литературы и искусства имеет в Вермонте и конкретную практическую основу. Состоит она в жгучей потребности сделать американские школы более восприимчивыми к эстетической и нравственной «материи» — в этом американская школа чувствует себя позади школ ряда стран, в том числе советских.

В техническом отношении вроде бы делается немало. И хотя о сплошной компьютеризации школьного обучения в Вермонте говорить не приходится, но персональные ЭВМ стали вполне обычным явлением в в каждой школе. И это породило массу проблем, среди которых все усиливающаяся психологическая погруженность школьников, особенно младшеклассников, в притягательный мир машины. Она с готовностью дает ребенку прямо-таки сказочные возможности играть, фантазировать, рисовать, творить... Ни родители, ни учителя не способны выдержать конкуренцию с каким-нибудь «Коммодором» или «Макинтошем». И ребенок в один прекрасный день перестает испытывать потребность в общении с кем бы то ни было, кроме любимого компьютера. Наступает то, что условно можно назвать «компьютерным отравлением» психики.

Стоит нажать комбинацию нескольких кнопок — и школьный компьютер начинает послушно печатать введенные в его память школьные сочинения. Он их сам и проверяет, и отметки выставляет. Едва слышно шумит принтер, в стальной лоток аккуратной стопкой ложатся листки с текстом. Беру верхний. Третий класс (у нас это второй класс). «Загадка на Кейв-Роуд». Это заглавие. Дальше идет само сочинение. «Однажды на отдаленной дороге под названием Кейв-Роуд было совершено убийство. Произошло это в 1986 году, то ли одиннадцатого, то ли тринадцатого января. Убили двух мальчиков — Дэвида Денвера и Билла Сертена. Убийство произошло ровно в полдень. Полиция никак не могла узнать, как были убиты дети, и потому два частных детектива, Линдон и Тоби, получили работу».

Другой листок. Читаю только название — «Безупречное убийство». Сочинение принадлежит шестикласснице (по-нашему пятикласснице)... «Гибель в седле»... «Чудовище входит в дом»... «Человек-паук»... «Бесподобный Хоулк». (Это о том, как человек превращается в гиганта и мстит своим обидчикам, убивая их.)

Грамматически и стилистически выправленные компьютерами сочинения все ложатся и ложатся в лоток... И это почти бездонное по своим потенциальным возможностям хранилище детских мыслей пугающе раскрывает свою пустоту, нашпигованную электронной мудростью.

С тревогой наблюдают американские учителя, как и без того небольшие финансовые вложения в эстетическое воспитание сокращаются из года в год. «Не надо думать, что эти сокращения — результат деятельности какого-то злоумышленника, — объяснила мне Энн Росс.— Все обстоит до обыденности просто. Школа существует на средства налогоплательщиков округа. Естественно, люди хотят платить меньше школьных налогов, тем более если у них самих в семьях нет школьников. И общим голосованием решают срезать школьный бюджет. По опыту знаю: в первую очередь сокращают финансирование преподавания художественного творчества как «менее необходимого».

И вот тогда энтузиасты, да и просто педагоги, не равнодушные к своему делу, пытаются всеми доступными способами активизировать занятия ребят художественным творчеством. И в этом деле помощь оказывает богатый опыт советских коллег. И суть даже не в Вермонте. Кажется, вся Америка подходит к черте осознания духовной, нравственной неконкурентоспособности своего школьного образования. А это уже очень серьезно. И здесь поголовная компьютерная грамотность едва ли поможет.

Основная дискуссия на симпозиуме развивалась как бы в двух тематических плоскостях, конечно же тесно связанных между собой. Ставились и обсуждались вопросы, связанные с детским художественным творчеством. Причем речь шла не только и не столько о методах обучения, сколько о месте детского творчества в современной культуре, о его гуманистическом содержании и, если угодно, философском звучании. Во-вторых, подробно разбирался круг проблем, относящихся к собственно литературе и искусству для детей, их месту в художественном мире, путям их развития и популяризации.

Главный редактор калифорнийского детского журнала «Стоун суп» Уильям Рубел знакомит нас с принципиальной концепцией, положенной в основу ежемесячника. Журнал этот полностью состоит из детских рисунков, небольших рассказиков, стихотворений, песен, писем, никоим образом не редактируемых и не комментируемых.

Искусство же редакторов, выпускающих журнал, заключается в подборе материалов и их композиции. Эстетическая позиция Рубела и его единомышленников, судя по их выступлениям и содержанию номеров, очевидна: детское творчество не «пустячок», как думают многие, не забава, а полноправная и своеобразнейшая часть общей культуры; художественный мир детей отражает в себе многообразие нашего непростого и противоречивого бытия; надо лишь желать и уметь увидеть и понять это.

«Почему журнал называется «Стоун суп» — «Суп из камней»? Рубел совершенно серьезно поясняет. Есть такая легенда: однажды у бедняка не оказалось ничего, кроме камней, чтобы положить в похлебку. Когда пришли соседи и увидели это, они дали ему самую малость — немного овощей. Все, чем они могли поделиться. Другие соседи помогли горсткой крупы. Так общими усилиями сварился суп, вкуснее которого никто никогда не ел. Согласимся, это тоже философия.

Ныне Уильям Рубел обдумывает новые проекты на будущее. Готовится антивоенный выпуск журнала, составленный из произведений детей блокадного Ленинграда. (И здесь редакция, естественно, рассчитывает на помощь советских коллег. Эта помощь была обещана членом советской делегации, писателем Радием Погодиным, ленинградцем, участником обороны города.) Очень интересен и другой проект: посвятить весь номер, а затем, быть может, и отдельное издание, антологию, произведениям, созданным крупнейшими писателями, художниками, композиторами в детстве. (И вновь Рубел попросил содействия советских коллег в реализации этого проекта.)

Программа Уильяма Рубела, естественно, нашла живое одобрение со стороны советских участников симпозиума, в частности Генриха Игитяна, бессменного директора Детского художественного музея и центра эстетического воспитания в Ереване. День ото дня множилось число предлагаемых проектов сотрудничества в этой области — будь то телемосты или обмен книжными иллюстрациями, издание детских книг писателей двух стран и организация совместных художественных выставок, стажировка американских учителей в Советском Союзе и поездка в США учащихся московских художественных школ.

Так вот и переплетались на симпозиуме в Бредлоуфе различные проблемы литературы, искусства для детей, отражающие большие и малые проблемы всего американского общества. И хотя число участников симпозиума формально было невелико, его принципиальное значение неоспоримо. Вновь процитируем слова из вступительной речи президента Советской Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества Альберта Лиханова:

«У нас в Советском Союзе только что вышел том сочинений замечательных американских философов — Ралфа Эмерсона и Генри Торо... Оптимист по натуре, Генри Торо прекрасно сказал о своей работе — вслушаемся в его слова: «...Я не намерен сочинять Оду к Унынию, напротив, я буду горланить, как утренний петух на насесте, хотя бы для того, чтобы разбудить соседей». Что ж, дорогие друзья, я думаю, наш симпозиум вполне — и без обид — можно сравнить с насестом. Давайте же вслед за великим американцем Торо горланить, как петухи, и будить соседей с дремлющими душами. Будить их от сна непонимания и предубежденности, нелюбви и политизированных наговоров, от невежества и лени — к деятельной бодрости во имя мира и детства».

...Памела Полстон (ее имя я узнал, естественно, позднее) сразу же обращала на себя внимание в аудитории «амбара». Держалась она несколько вызывающе. По всему было видно, что она весьма далека от проблем, объединивших в Бредлоуфе всех присутствующих. Вскоре выяснилось, что Памела — корреспондентка одной из местных консервативных газет. В перерыве мы разговорились. И сразу же меня удивила манера Памелы слушать и говорить. После каждой, даже самой пустяковой фразы собеседника Памела какое-то мгновение всматривалась в его лицо, потом после паузы медленно отвечала. Это тоже нашло свое объяснение. Несколько лет подряд Памела была солисткой популярного рок-ансамбля. Изъездила с ним полмира. А потом — частичная потеря слуха, вызванная чудовищными звуковыми перегрузками на сцене. Следующий жизненный период был связан с больницей — преодоление наркомании, также унаследованной от сцены. Последние годы Памела работала разъездным репортером, в Америке это называется «стори райтер», нечто вроде «сочинителя» в буквальном русском переводе.

Начало симпозиума не произвело на нее никакого впечатления («слишком много слов»), о чем она и собиралась доложить своему редактору. Памела исчезла из «амбара». Я и не думал больше когда-либо увидеть ее. Однако на следующий день на открытии выставки советских детских книг и книжных иллюстраций она вновь появилась. Подолгу просматривала каждую книгу, не зная русского, просила перевести оглавление. А когда очередь дошла до экспозиции детских книжных иллюстраций художников В. Вагина, М. Митурича и М. Скобелева, Памела Полстон устроила форменный допрос каждому художнику, требуя от них новых и новых сведений о работах, о детском восприятии иллюстрации, о книгах, к которым они были сделаны.

И опять исчезла. Больше я ее не видел. Только уже в Нью-Йорке кто-то дал мне ксерокопию статьи, напечатанной в той самой консервативной вермонтской газете. Статья называлась «Искусство вне дурной политики». Здесь же было обозначено и авторство Памелы. Признаться, мне давно не доводилось читать столь мастерски и честно сделанный газетный материал. Вот несколько первых абзацев статьи: «Подчас только детский взгляд, лишенный по природе предрассудков, тщеславия и страхов, может без искажений видеть наш мир. Примем во внимание и ту свободу говорить правду, которую дарует детская безнаказанность. Вспомним, что в знаменитой сказке «Новое платье коро-

ля» именно ребенок разоблачил ложь. Сегодня же остается лишь надеяться, что дети будут разоблачать королей нашего времени. Что же останется от американских политических лидеров и героев, если снять с них «одежды» псевдопатриотизма и фарисейства? Могут ли дети не в сказке, а в реальной жизни безошибочно угадать, что воинственный клич «к бою!» не что иное, как предсмертный хрип человечества? Эти вопросы приобретают особую злободневность ныне, когда взрослая часть нашего населения готова и дальше с легкостью пережевывать и проглатывать пропагандистские трюки, подобно воздушной кукурузе, купленной перед сеансом кинофильма «Рэмбо».

Вот вам и петух на насесте!

Не удивлюсь, если Памела Полстон однажды окажется среди тех, кто работает вместе с Патрицией Уиппенни.

Да, чем больше думаешь о тех, с кем совсем ненадолго свела меня судьба в Вермонте, тем все больше и больше поражаешься тому, как сквозь вековые напластования традиционного американского индивидуализма на свет божий пробивают себе путь ростки коллективной идеи 80-х годов. Пробивают непросто и неоднозначно, но процесс идет.

Не могу не процитировать здесь Гленна Хокса из организации «Родители и учителя за социальную ответственность»: «Работать вместе. В одиночку легко растеряться. В объединении — сила, в обществе — энергия».

Пойду на луг прочистить наш родник...
...Пойдем со мной.

◆

Редакцию посетили...

Ованес Пиликян

Великобритания

Ованес Пиликян известен в Англии как постановщик трагедий древнегреческих авторов — «Электры» и «Медеи» Еврипида, «Эдипа-царя» Софокла. Им была поставлена — впервые на английской сцене — драма Шиллера «Разбойники». В 1981 году в студии, расположенной в Блумсбери, одном из центров театральной жизни Лондона, он осуществил постановку рассказа Ф. М. Достоевского «Бобок» — к столетию со дня смерти великого писателя.

«Режиссер-новатор» ... «Молодой режиссер, которого отличают отсутствие благочестивого трепета перед классикой и — одновременно — врожденное чутье к природе драмы» ... «Один из самых оригинальных режиссеров, чьи постановки никогда не бывают скучными и традиционными...» — так пишет об О. Пиликяне английская театральная критика.

Приверженность режиссера к классике известна и за пределами Англии. В театре Принстонского университета он поставил «Агамемнона» Эсхила, в исландском Национальном театре — «Короля Лира» Шекспира, в словенском Национальном театре — «Федру» Расина.

Наш гость рассказывает о своей работе, о себе, показывает свои книги. Книги очень разные. Одна из них — сборник стихов и поэм «1915-й. Армянская симфония». Поэма, давшая название сборнику, повествует о трагических событиях в истории армянского народа, о массовом истреблении армянского населения турецкими властями в 1915 году. (Родители О. Пиликяна родом из Армении и чудом спаслись во время этой трагедии). Другая книга посвящена традициям японского театра. Третья — стихи колумбийской поэтессы Анаи Имайи; это их первая публикация на английском языке, послесловие — О. Пиликяна.

И еще одно любопытное факсимильное издание — пьеса Самюэля Беккета «Прийти и уйти», переведенная О. Пиликяном на армянский язык, он же — автор вступительной статьи и подробного комментария. Издатель книги Эммануил Гуналакис сообщает: «В мае 1980 года я представил Самюэлю Беккету Ованеса Пиликяна. Известный писатель впервые увидел тогда рукопись перевода своей пьесы на армянский язык и был очарован армянским письмом. Вот я и решил выпустить факсимильное издание, воспроизведя рукопись этого перевода,— разумеется, с разрешения Беккета». «Комментарии О. Пиликяна,— считает Э. Гуналакис,— могут послужить пособием для студентов театральных студий, могут заинтересовать и опытных актеров, так как помогают «извлечь сокровища» из текста пьесы».

В декабре 1981 года в Лондоне проходила Неделя армянских фильмов. «Армянское кино? — возможно, спросите вы с изумлением, нисколько не смущаясь вопросом.— А армяне — это кто?» — так начинается книга Ованеса Пиликяна «Армянское кино», вышедшая в Лондоне в дни Недели и открывающая жителям британской столицы особый, неизвестный им мир. Это первая книга такого рода на английском языке. В ней рассказывается о 50 фильмах, воспроизведено около 100 кадров. Автор пишет о первых шагах армянского кино, прослеживает историю его развития — в Лондоне демонстрировалось шесть новых художественных лент Ереванской киностудии и один фильм, созданный еще в 1925 году, в эпоху немого кино, ветераном армянского кинематографа Амо Бек-Назаровым. В своей книге О. Пиликян рассказывает не только о художественных фильмах, но и о документальных, таких как «Земля наших отцов» (1945), «Мартирос Сарьян» (1965), приводит оценки советских кинокритиков, широко цитируя «Советское кино», «Литературную газету», «Известия», газеты, выходящие на армянском языке.

В Советском Союзе, в Москве, Пиликян впервые, и один из первых его визитов — к нам в редакцию. Он мечтает посмотреть пьесы Шекспира на советской сцене, встретиться с профессором А. А. Аникстом и, конечно, побывать в Армении.

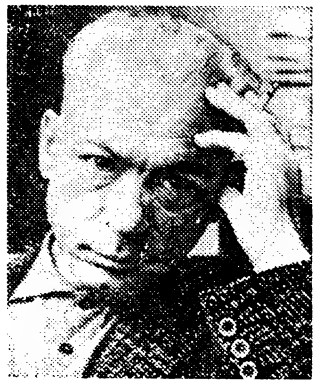
Л. ВАСИЛЬЕВА

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ

ВОСПОМИНАНИЯ

Фрагменты книги

Перевод с венгерского и вступление
Ю. ГУСЕВА



Имя Лайоша Мештерхази хорошо известно читателям «Иностранной литературы». Опубликованный в журнале — десять лет тому назад — роман «Загадка Прометея» был, судя по многочисленным откликам, с большим интересом встречен общественностью, взволновал людей самого разного возраста и профессий.

Сейчас читателю предлагаются фрагменты книги Мештерхази «Воспоминания», увидевшей свет уже после кончины писателя [1].

Несмотря на незавершенность (значительная часть фрагментов, вошедших в книгу, опубликована сыновьями Мештерхази в том виде, в каком он успел наговорить их на магнитофон), «Воспоминания» читаются как роман. Точнее — как роман Лайоша Мештерхази. Читатель легко узнает здесь знакомую по другим его произведениям искреннюю интонацию, ощутит присущее писателю стремление докапываться в любых, самых сложных вопросах до сути вещей, почувствует гибкость и емкость его стиля, максимально сконцентрированного на точном выражении мысли.

Но как роман эта книга воспринимается и потому, что в ней раскрываются на фоне исторических событий середины нашего столетия перипетии духовного становления современного человека; в данном случае это не вымышленный герой, а сам Лайош Мештерхази. Ничего, так сказать, не убавляя и не прибавляя, писатель убедительно показывает закономерность своего движения к социалистическому мировоззрению, к коммунистической партии. В сущности, в книге, пусть невысказанная, четко звучит мысль: если человек верит в добро, если он умен и честен, если он не боится мыслить логически и действовать в согласии с собственными убеждениями — он не может не оказаться в рядах коммунистов.

Для публикации мы выбрали наиболее характерные отрывки, показывающие некоторые важные этапы мировоззренческой, духовной эволюции писателя, неизбежность его сближения с наиболее прогрессивными силами эпохи [2].

В более полном виде фрагменты будут опубликованы в сборнике Л. Мештерхази, готовящемся к изданию в издательстве «Прогресс».

---

[1] Рецензию на книгу см.: «Иностранная литература», 1985, № 10.

[2] В книге главы не имеют названий, редакция, однако, сочла целесообразным в журнальной публикации озаглавить предлагаемые фрагменты. *(Прим. ред.)*

© Mesterházi Lajos örököse (Mesterházi Lajosné), 1984

ЛАЙОШ МЕШТЕРХАЗИ — LAJOS MESTERHÁZI (1916—1979)

Венгерский прозаик, драматург, публицист. Лауреат премий имени Кошута и Аттилы Йожефа. Автор сборника новелл «Без чудес» («Csodák nélkül», 1951), многих романов, в том числе «Отцовское сердце» («Apaszív», 1971), «Тройной прыжок» («Hármasugrás», 1974), «Шпагоглотатель и люди» («A kardnyelö és az emberek», 1977).

В русском переводе изданы романы Л. Мештерхази «В нескольких шагах граница» («ИЛ», 1959, № 7—9), «Свидетельство» (М., 1965), «Пора невинности» (М., 1971), «Загадка Прометея» («ИЛ», 1976, № 4—5), «Пора зрелости» (М., 1985), сборник рассказов «На озере Фертё» (М., 1961), пьесы «Люди из Будапешта» (М., 1960), «Одиннадцатая заповедь» (М., 1962), «Избранное» (М., 1977).

Книга «Воспоминания», фрагменты которой публикуются в этом номере, вышла в Будапеште в 1984 г. (Visszaemlékezések. Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó).

Предисловие

Весною нынешнего, 1974 года умер Стюарт Олсоп[1]. Еще в июне 1971-го врачи, разбираясь в причинах его частых обмороков, нашли у него лейкемию, или «злокачественное малокровие», как совсем недавно еще называли у нас эту раковую болезнь, точнее — группу болезней.

Как это принято в Америке, Олсопу прямо сказали: положение безнадежно, рассчитывать он может на несколько месяцев, в лучшем случае на год, на два, так что пусть приводит в порядок дела и готовится к смерти. Не надо, конечно, думать, что врачи не предпринимали все, что в их силах, и сидели сложа руки. Но ведь мы знаем, что это такое, когда медики «предпринимают все, что в их силах».

У Олсопа было много друзей. В одну из своих поездок государственный секретарь Киссинджер захватил с собой в Москву все анализы Олсопа. Советские медики в изучении лейкемии продвинулись дальше всех: им удалось получить в чистом виде ее вирус (вместе с тем — первый из вирусов рака). Однако лечить лейкемию пока не могут даже в Москве. Здешние специалисты одобрили терапию, применяемую американскими коллегами.

Их прогнозы Олсоп в какой-то степени опроверг. Он прожил еще целых три года. Более того, временами он, вопреки предсказаниям, начинал вдруг чувствовать себя лучше, количество красных телец в крови возрастало, и врачи уже подумывали о чуде — чуде природы и человеческой сопротивляемости. В такие моменты больной готовился к смерти не более, чем готовится к ней — скажем так — Любезный Читатель; чем готовится к ней каждый, кто живет и, следовательно, рано или поздно должен будет расстаться с жизнью... Затем опять наступали периоды ухудшения, врачи облегченно вздыхали: слава богу, диагноз все-таки верен. В один из таких дней Олсоп написал фразу, которая, вероятно, служила ему утешением: «Смерть умирающему нужна, как сон — измученному бессонницей».

Как бы там ни было, Олсоп и в эти годы продолжал свое дело: он писал. Писал «репортаж» обо всем, что думал, переживал и чувствовал. В том числе — и об умирании. Такой репортаж в самом деле может рассчитывать на самый широкий читательский интерес: ведь для темы этой нет ни границ, ни военных союзов, ни великих, малых и сверхдержав, ни даже каких-то серьезных различий в мировоззрении: такой репортаж, можно смело сказать, обладает универсальной и абсолютной ценностью.

Как известно, смерть есть нечто такое, что неотделимо от жизни; говоря кратко, предельно кратко, это — неотъемлемая часть Жизни Так что неправильно было бы, если, стремясь к точности выражения, я написал бы: Олсоп-

[1] Олсоп Стюарт (1910—1971)—американский журналист и публицист. *(Здесь и далее прим. перев.)*

де в те времена размышлял и о жизни. Он знал уже, отчего умрет, и теперь подводя итоги — зачем, ради чего он жил. Грустные это были итоги. Скорее и не итоги даже, а горькие, тягостные упреки, с какими обманутый в своих чувствах влюбленный обращается к неверной возлюбленной: Америке? Олсоп как журналист был не только рупором снобов из Лиги плюща[1] и англосаксонских старинных семей: он выражал взгляды американской духовной элиты, был одним из типичных либералов, «яйцеголовых»[2] с Восточного побережья. Он вполне серьезно относился к конституции Соединенных Штатов, к просвещенному гуманизму и благим намерениям великих предков. Пропагандируя американский образ жизни, он, по всему судя, совершенно искренне верил, что желает народам Земли самого лучшего, что только можно придумать.

Об этой вере своей он и говорит на страницах книги, подводящей итоги всей его жизни; он говорит и о том, какой урон нанесли его вере события последних десятилетий — от вьетнамской войны и политических убийств до скандала в Уотергейте. Он словно наблюдает симптомы собственной смертельной болезни, принявшей невероятные масштабы и охватившей все западное полушарие: наблюдает, как заживо разлагается приговоренное к гибели тело, которое он когда-то знал юным, прекрасным и сильным. Лейкемия точит уже не его, не ту бренную оболочку, что и так обречена на распад: болезнь разрушает самый смысл его жизни. И больно ему не то, что он, Стюарт Олсоп, скоро исчезнет, канет в небытие. Ему больно, что прошлое, которое было его жизнью, на глазах теряет былую ценность и притягательность.

Знаю, дорогой мой правильный товарищ, ты сейчас торжествующе улыбаешься: конечно же, все это ты мог бы как дважды два высказать Стюарту Олсопу еще anno dazuma![3] И высказал бы, факт. Правда, не от собственного большого ума. И потому не будем тратить впустую время, излагая наши известные — наши общие! — взгляды. Ты, конечно же, ждешь, что я примусь вовсю размахивать острой косой сарказма, беспощадно уничтожая буйно — все еще буйно! — произрастающие сорные травы в запущенном огороде буржуазных иллюзий; нет, это я предоставляю тебе. Не сомневаюсь, что лишний раз тем самым подкреплю твое нелестное мнение обо мне как о «нытике-интеллигенте», или «сентиментальном мещанине», или «буржуазном гуманисте». Но все дело в том, что разочарование Олсопа еще не есть доказательство нашей правоты; даже в своей горькой критике американского образа жизни он не приходит к какой-то иной истине, отличающейся от той, которой служил всю жизнь: он по-прежнему

[1] Неофициальное название группы старейших и наиболее престижных американских университетов.

[2] Так в Америке насмешливо называют интеллектуалов.

[3] В свое время *(лат.+ нем.)*.

остается представителем выросшей вокруг Рузвельта, вокруг Кеннеди духовной элиты, которая, с ее верой в американскую демократию и в «основные ценности», служила своего рода ширмой для власть имущих. Ширмой для беззастенчивых обладателей самой концентрированной военно-промышленной власти. То есть, если угодно, Олсоп обнаружил, что заблуждался не он: заблуждалась сама Америка.

Давайте проясним одно сплошь и рядом встречающееся недоразумение! Хозяйка выбивает ковер вовсе не для того, чтобы его расколошматить, а чтобы вычистить. (Сравнение я беру из эпохи до пылесоса.) Писатель изливает свое отчаяние на бумаге. Но не затем, чтобы вызвать отчаяние у других. Едкая сатира Свифта не разъедает нашу совесть. Трагедия Гамлета не побуждает нас пойти на чердак и повеситься. Проклятие Моисея гремело отнюдь не во имя гибели, а во имя спасения избранного народа. Ибо и смех, и «хюпсос»[1], и любой тон на этой шкале, от сатанинского хохота до апатии, выражают одно: «Измени свою жизнь!»

(Другое дело, если ковер до того стар, что от выколачивания разлезается в клочья; тогда и черт с ним, чистота — важнее! Человечество — важнее, чем американский образ жизни. Олсоп, однако, верит, что ковер можно вычистить. Иначе он бросил бы его выбивать и оставил как есть.

Были в разные времена короли — и добрые и тираны,— которых полагалось только превозносить, критиковать же — ни в коем случае. В такие эпохи поэты должны были петь на разные голоса одну песнь: вот он, Ханаан[2]. И прятать реальность под ярко раскрашенной маской: может быть, под нею похорошеет и лицо. Причем были поэты, которые — исходя из печального опыта прошлого — пели свою хвалебную песнь искренне, убежденно, ни чуточки не фальшивя. По крайней мере, пока делали это из благодарности, а не из страха. Ибо было и такое.

Все это так. И тем не менее человечество — в подавляющем своем большинстве — всегда стремилось идти вперед. Или — пользуясь более многозначным, а значит, более нейтральным словом — совершенствоваться. По скромному моему мнению, оно, человечество, не склонно успокоиться и расположиться на отдых даже на нашем, достигнутом на сегодняшний день, первом холмике социализма. А значит, и от искусства оно настоятельно требует очистительной критики. И ведь социализм все-таки не какой-то там старый, протертый до дыр ковер!)

Вернемся, однако, к теме. Олсоп, таким образом, высказал на бумаге свое отчаяние тоже совсем не с той целью, чтобы лишний раз подтвердить правоту правильного товарища, а чтобы те, для кого он писал, изменили свою жизнь. Чтобы они совершенствовались. Причем не как-нибудь, а двигаясь в обратную сторону! Да-да, бывает порой и такое, даже не так уж редко бывает и в искусстве и в педагогике: совершенствование вспять, в сторону старых великих идеалов!

То есть прогресс наоборот! (Перед нами словно этический эквивалент «нулевого прогресса» буржуазных политэкономов!)

Но какое мне-то до всего этого дело? С Олсопом я не знаком лично; облик его я представляю лишь через ту ненадежную призму, какой являются современные средства телекоммуникации,— благодаря прессе и телевидению. Он был нашим оппонентом, даже более того — противником. Работы его — в той мере, в какой содержание их выходило за рамки очевидных истин,— вызывали во мне скорее непонимание, чем желание спорить. То самое непонимание, с каким я всегда относился к выспреннему гуманизму американских либералов: и как это люди позволяют себе говорить о морали, чести, разуме, человечности в обществе, монополизированном до невероятных масштабов, построенном на эксплуатации, к тому же до абсурда, до безумия подверженном манипуляции?! Неужто они не видят, что вокруг них творится?

(Мы улыбаемся, глядя, как ребенок в разгаре игры злится, мучается, столкнувшись с проблемой, которую не способен решить. Ничего, станет старше — тогда поймет. Станет старше — сообразит, что мяч не может лежать на покатой поверхности, что пирамида из кубиков тут же рассыплется, если центр тяжести у нее за пределами основания. А если взрослый, думающий человек упорно не хочет принимать во внимание имманентных законов данной структуры... Тут нам уж не до улыбки. Такое буквально «уму непостижимо».)

Я живу в городе, где в среднем каждые четверть часа кто-нибудь обязательно умирает. Причем с течением лет — все больше людей, которых я знал лично. Уходят друзья — „als wär's ein Stück von mir" [1],— еще вчера мы с ними беседовали о самых важных вещах в нашей жизни. Случалось мне держать в своей руке сухую, горячую руку умирающего Да и с мыслью о собственной смерти я все больше свыкаюсь.

Что мне тогда до смерти далекого Стюарта Олсопа? „Story of execution" [2]— хорошая журналистская работа, не более того, не шедевр. Почему же она меня потрясла? Ведь потрясла, это факт. Иначе зачем бы я стал писать о ней? Что тут — объект потрясенности? Или — кто?

Почему потрясение, испытанное Олсопом перед смертью, отозвалось так сильно в душе именно у меня?

Стюарт Олсоп поставил перед собой неосуществимую, нереальную програм-

[1] Возвышенное *(древнегреч.)*.
[2] Слова из стихотворения Ш. Петёфи «Поэтам XIX века».

[1] Словно частица меня самого *(нем.)*.
[2] «История мученичества» *(англ.)*.

му. Хотя на самом-то деле — программу-минимум. Она, эта программа, нереальна в Америке двадцатого века, нереальна по самой природе вещей. Ибо то, чего хотел Олсоп — возродить мораль Америки пионеров, мораль времен молодой федерации,— не более чем пустая фантазия, самообман. И в то же время программа эта была минимальной, в сущности — нулевой; даже не «в сущности», а просто-напросто нулевой: «Пускай все остается, как есть, лишь сохраним основные ценности, запечатленные на старых знаменах!»

И, оглянувшись на смертном одре, Олсоп понял — пусть еще не самоё нереальность, пусть лишь крах этой программы-минимум — и прямо высказал это. Смелый поступок. И бескорыстный на редкость!

Я стар Тавтологией было бы добавлять: и неизлечимо болен.

Моя жизненная программа не была неосуществимой. Реальность ее настолько ясна, что в наши дни даже те, кто борется против нее, подвергают сомнению разве что форму, но не содержание.

К тому же программа эта была программой-максимум. «Завтра мир перевернем до самого края!»[1] Нет больше эксплуатации. Человек человеку отныне не средство для достижения чего-либо, а равноправный товарищ. Место в обществе человеку обеспечивает только работа, а не кресло. И уж тем более не наследственные привилегии, не поместья! Сообща — каждый в меру своих способностей — мы производим материальные ценности и распределяем их меж собой пока в соответствии с мерой труда. А когда-нибудь станем распределять по потребностям. (Блага духовные мы уже сейчас можем каждому обеспечивать по потребностям, в любом, ничем не ограничиваемом количестве.) И когда мы доживем до этого, исчезнут воровство, обман, взяточничество, благополучие за чужой счет, интриги, месть. Власть будет принадлежать всем, так что не смогут процветать бюрократизм, злоупотребление служебным положением; и конечно, будут забыты подхалимаж, унижения, а в обратных случаях — преследования со стороны вышестоящих: ведь, собственно, и «вышестоящих» не будет. Прямо на наших глазах зарождается мир чистой морали. Древний — в том смысле, что мечта о равном себе самому человеке жила в людях испокон веков И совершенно новый — так как до сих пор, возьмите любую, религиозную ли, обычную ли этику, эта мечта всегда оставалась утопией. Человек — Человек с большой буквы — выходит сейчас из царства необходимости на солнечный свет свободы: Человек становится взрослым.

Олсоп хотел немногого, и потому неудача его была особенно обидна: хотя упал он ведь хотел он немногого — с небольшой высоты

Чем выше ты поднимаешься, тем страшнее падение, и неудача, конечно, болезненна тоже. Я стар, и смотреть на мир мне приходится, как бы оглядываясь с порога смерти. Смотреть, подводя итоги: что было, что стало, что сбылось из обширных планов, что оставлю я своим детям.

Серьезное это дело, не игра в бирюльки. И может быть, образной речи тут не место. Оглядываться, оценивая всю свою жизнь, можно лишь с бесконечной трезвостью и с бесконечной, беспощадной готовностью до конца быть объективным и справедливым.

Выбор

Моя память — словно коллекция фотографий. Или, вернее, остановленных на экране кадров. «Движущихся воспоминаний» у меня нет. Как у других, не знаю: вероятно, причиной тому — визуальный характер моей фантазии.

Воспоминания свои я «листаю», будто семейный альбом. С той существенной разницей, что если старые снимки едва будоражат чувства, то у меня видения прошлого вызывают сильную душевную встряску. Потому, наверное, что и «композиция» воспроизводимой «картины», и «фоточувствительный» ее материал, и даже «выдержка» — все это выражения каких-то особых эмоциональных состояний. Будь то удушье, когда от гнева или испуга вдруг перехватит горло, будь то радость, распирающая грудь, или омерзение, или липкий страх, которые сопровождают? вызывают? — нет, все не точно! — образ прошлого, они всегда с этим образом связаны, все совершенно не так, как в том случае, когда имеешь дело с альбомом.

Однако — и тут опять сходство с альбомом — «текст» к картине я должен реконструировать с помощью логики, нередко даже для самого себя весьма кропотливо и не без трудности. Причем этот текст (содержание образов памяти) — с течением времени, в каждый данный момент, в зависимости от знаний моих, от представлений о мире, от уровня нравственного и эмоционального обогащения или обеднения — может быть иным. В то время как сам образ, а с ним и несомое им напряжение (или же расслабление) не меняются ни на йоту

Когда меня спрашивают, с какого моменга датирую я свое участие в политической жизни — в рабочем движении,— я отвечаю: с осени 1943 года. Анкетный ответ тогда я вступил в социал-демократическую партию. Я мог бы, с известными основаниями, назвать и осень 1936 года, когда, десять недель проведя в Германии, понял, что страх перед Гитлером — совсем не частное мое дело, что возмущение трезвого моего ума иррациональной истерией вовсе не есть, как там говорили, «брезгливость декадентствующей интеллигенции», не «реакция дряхлой, гнилой Европы». Среди правых я скоро прослыл «красным». На самом же деле я даже антифашистом еще не был, поскольку не

[1] Из песни на слова Ф. Янковича, очень популярной в первые годы после Освобождения.

понимал классовой сути фашизма. Факт тот, что я со всей страстью начал заниматься политикой. В сущности, не так уж и бесталанно.

И все же, когда я воскрешаю в памяти момент своего «вступления на поприще» — тот самый диалектический скачок,— мне вспоминаются не 1943 и не 1936 годы. Альбом открывается на совершенно личном «снимке».

Середина сентября 1942 года, воскресенье. Я сижу в кондитерской «Август», что на площади Кристины: передо мною на мраморном столике кофе с молоком и пирожное (в подобных солидных заведениях карточек на муку, сахар, молоко и жиры с посетителей не спрашивают). В зале почти пусто: время завтрака уже кончилось; лишь возле стойки — кучка клиентов, ожидающих, пока им пирожные завернут с собой; они стоят там без признаков нетерпения, с непринужденным, светским видом, ибо пирожные в «Августе» упаковывают не спеша и со знанием дела: бумажное блюдце, мягкая шелковистая бумага, сверху — фирменная облатка с рельефными золотыми буквами и, конечно, ленточка бантиком... Будь это «маленький знак внимания» хозяйке дома от приглашенного на обед гостя, или „Nachspeis" [1] любимому внучку от бабушки, или воскресный сюрприз семье от заботливого отца — сразу видно, что пирожные не откуда-нибудь а от «Августа». Равно как и сами клиенты у стойки не кто попало, и «упаковка» их: старинные кружева, легкие мантильи, маленькие зонтики от солнца, безупречно сидящие на мужчинах сизые сюртуки, котелки, тонкие, как бумага, перчатки, источающие благородно-терпкий аромат,— разумеется, вещи первоклассные и изысканные. Ради бога, не поймите меня неправильно: завтракать и покупать пирожные к «Августу» ходили не банкиры, не аристократы: едва ли не любая элегантная вещь на них — многолетней давности и чаще всего единственная; но зато — высшей марки. А семейные драгоценности на дамах — в самом деле семейные. И медальон таит в себе миниатюрный портрет прабабки, что когда-то сидела в первом ряду кресел на концерте, где исполняли впервые ораторию г-на Гайдна. За этими чисто выбритыми мужчинами угадывались не только пропахшие пылью и табаком «присутствия», но и легендарные деды, чья дворянская честь, чьи филантропические увлечения вошли в пословицу, деды, чью историческую реальность подтверждает, кроме самих внуков, еще и дважды в год очищаемая от пыли, многоязычная (главным образом, конечно, немецкоязычная) библиотека (и в ней — поистине уникальные экземпляры!). (Правда, тут же и томики Gartenlauben[2], оставшиеся от бабушек.)

Словом, у стойки «Августа» в тот момент, в середине сентября 1942 года, находился отнюдь не господствующий класс, а культурное среднее господское сословие. Чуть-чуть уже с налетом ci-devant[1], но все еще с обаятельной Haltung[2] и все еще — один из устоев нации. И хотя в политику они — из принципа — предпочитали не ввязываться, тем не менее все как один твердо знали, что если бы во главе рейха — вместо этого шута горохового — оказался столь же мудрый и столь же неподдельно аристократических кровей вождь, как его высокопревосходительство надьбаняйский рыцарь Миклош Хорти, то восемьдесят миллионов немцев от восторга прыгали бы до потолка.

О «чистой публике» этой я говорю с предубеждением: пускай будет выдержан стиль. Ведь и сама она, эта «публика»,— сплошное окаменевшее, твердое, как косточка абрикоса, предубеждение, причем ядра-то живого давно там, в этой косточке, нет — сплошная форма без признаков содержания; а прекрасные традиции — сплошь пустая ностальгия. «Опора нации» давно превратилась в опору лишь для собственного представления о себе как об опоре нации; да и эта цель, если хоть в какой-то мере и достигается, требует немалых усилий. История поставила это сословие перед дилеммой, для решения которой не было у него ни сил, чтобы справиться, ни даже смелости, чтобы попробовать справиться; и потому оно предпочло просто зажмурить глаза, как ребенок: мол, ку-ку, меня нет, и вообще всего этого мне не надо. Говорить о политике — а тем более всерьез и со страстью — считалось в этих кругах величайшей, грубейшей невоспитанностью. Вести с фронта читали здесь, как рецепт какого-то блюда, которое где-то, не здесь, готовит кто-то чужой для кого-то, тоже чужого.

В одном уголке Вермезё под открытым небом устроена была маленькая выставка захваченного у красных оружия; они туда даже не подошли. Пятого сентября над городом, прорвавшись через заслоны, появился советский самолет и сбросил несколько бомб. Спустя два дня налет повторился. С тех пор прошло меньше недели, но про налеты — ни слова; «скорее всего, это нам приснилось». А ведь одна из бомб упала вблизи от варошмайорской церкви, да и в самом Кристинавароше было выбито несколько окон. (Когда сирены взвыли во второй раз, один полковник с улицы Паулер выстрелил себе в лоб. Ему не приснилось. Тяжелая душевная депрессия — решено было в связи с ним. Но вообще-то о нем тоже не говорили.) Во время осеннего сбора теплых вещей для фронта Кристинаварош на пожертвования не поскупился, хотя семьи, по-настоящему задетые войной, тут можно было пересчитать по пальцам.

Что они думали на самом деле в потаенных закоулках души, думали ли вообще что-нибудь или изгоняли любые пахнущие политикой мысли даже оттуда — этого не знал, наверное, никто. Боюсь, что самостоятельных мыслей, а

[1] Здесь: гостинец *(нем.)*.
[2] Букв: беседка *(нем.)*; имеются в виду серии развлекательных дамских романов.

[1] Из бывших *(франц.)*.
[2] Здесь: манера держаться *(нем.)*.

уж тем более самостоятельной позиции не было и там.

Что касается меня лично, то завтракать за мраморный столик я сел не совсем в обычном душевном состоянии. Состояние это я назвал бы приподнятым и, пожалуй, приятным. Был в нем и момент неприятный — условный рефлекс пробуждения совести. Наша семья жила в своего рода «честной бедности»: не голодала, не ходила в отрепье, не просила взаймы, но и лишних расходов себе не могла позволить Кондитерская? Ну, раз в год, может быть, по случаю выдачи табеля! А зайти просто так, позавтракать?!

Однако вслед за угрызениями совести сразу пришло и приятное чувство: я могу себе такое позволить, я заслужил на это право. И вообще имею возможность слегка отпустить поводья. Десять дней прошло, как я чудом избавился от солдатчины. Причем, как сказали мне, окончательно Но даже если и временно, все равно. жизнь есть жизнь; кто теперь думает, что нас ожидает завтра? Давно я не был уже таким безмятежным На душе — мир и покой: я был на мессе и причастился. Честное слово, настоящая благодать Я не чувствую страха. Надо ж, бывает, оказывается, и так: живешь и не чувствуешь страха.

Однако все это — лишь рассуждения. Болтовня. Вернемся же к застывшему кадру.

Итак, я сижу за столиком, завтракаю, смотрю в окно. Перед церковью — нищие с «разрешением» ждут последних подаяний. За окном мелькают прохожие; их немного: близится час обеда. Что за люди? Ну например: женщина с младенцем на руках; старый железнодорожник; двое мальчишек, ученики сапожника или маляра, бегут и толкаются на бегу; ушедшие в себя люди на остановке трамвая; худой мужчина с тяжелым свертком в руках; солдатик в полевой форме идет под руку с девушкой в платочке (недалеко — Южный вокзал). В этот час, когда уже давно завершилась воскресная месса мне бросилось вдруг в глаза: до чего иные, не похожие на клиентов «Августа» люди ходят по улице! И до чего тонок стеклянный барьер огромного окна-витрины, что отделяет меня от них. Они не могут сюда попасть,— у них денег нет на пирожные без карточек И это — куда прочнее стекла. А если все-таки не прочнее?! Ведь стекло рассыплется вдребезги от одного-единственного кирпича, просто от удара ногой!

Состояние благодати рассеялось. Я снова боялся.

Стекло они разобьют, и прекрасно, пускай! Удивительно только, что до сих пор не разбили!

Психоаналитик тут же установил бы: то, что со мной случилось, случилось закономерно. Страх, в течение многих лет живший во мне, стал органичной частью моего существа. За краткой расслабленностью «состояния благодати» неизбежно должна была следовать вспышка страха. Причина могла быть любой: воспоминание, беглая мысль — что угодно. Роль играет не случайное содержание, а само эндогенное явление: внезапный выход из подсознания въевшегося в организм страха после недолгой расслабленности.

Меня, однако, интересует сейчас именно содержание. Ибо то, что последовало, связано было именно с ним.

Содержание это в самых общих чертах таково: те, кто ворвется в кондитерскую, разбив этот пошлый стеклянный барьер, обнаружат здесь и меня. Гротескная ситуация. Какое имею я отношение к этим людям у стойки, отутюженным дамам и господам, к этому тонкому аромату ванили и кофе, к этим мраморным столикам, стеклянным шкафчикам? Ведь душою и телом я принадлежу улице, а не этому миру!

Только кто же в это поверит, если de facto — я здесь?!

Что я сделал для тех, к которым принадлежу? Не выглядит ли дело скорее так, что я много лет все силы трачу на то, чтобы иметь возможность сидеть здесь в «Августе»?!

Смешно: ведь я достиг всего-навсего краешка обывательского образа жизни, только самого краешка. Чего же я испугался? Ей-богу, смешно: стоит вспомнить только, что за «подрывную деятельность в составе армии» я побывал уже в Отделении национальной безопасности, а потом и в штрафной роте!

Верно это? Верно, да не совсем. Потому что попал я туда из-за одного до крайности озлобленного шпика да из-за собственной неосмотрительности. В предъявленном мне обвинении действия мои были оценены выше их подлинного значения, ведь главной целью моей «в составе армии» была мимикрия (и стремление как можно скорее оттуда вырваться). Я еще был иным в 1940-м, после Парижа, служа в гимназии на улице Трефорт, где я каждый божий день затевал споры с коллегами, сторонниками правительства! И писал статьи, не нравившиеся цензуре, и рассказы, которые нравились Эндре Иллешу и Марцеллу Бенедеку,— правда, оба считали, что разумнее было бы подождать с их публикацией до лучших времен.

Два года минуло с тех пор: что я сделал за это время? Сидел, затаившись, с одной лишь программой — «выжить». Простят мне такое? «Утверждал себя в обществе». Вот, пожалуйста, я могу прийти уже — «просто так, позавтракать» — в «Август»!

Нет, прощения мне не будет. Если есть справедливость на свете!

Все это, взятое вместе, и вылилось в тот момент в пароксизм страха и отвращения к самому себе. В ощущение страха и отвращения, без всяких слов. Так он, этот момент, во мне и застыл: как мгновенный снимок, остановленный кадр с его эмоциональным фоном. И в памяти потускнел он не более, чем тускнеет в альбоме старая фотография.

Конечно, в пароксизме том мог уже содержаться и импульс, команда к дей-

ствию. А за импульсом — и решение, даже, может быть, план. Ибо то, что потом из всего этого вышло, вышло очень уж быстро.

Почти точно — до дня — спустя год после того завтрака в «Августе» я вступил в социал-демократическую партию, точнее — в коммунистическую ячейку, действовавшую в районной организации этой партии.

Так что путь мой от «Августа» до парткомитета на улице Кароя Саса, хотя и не кажется прямым как стрела, на самом деле был именно таковым. И не случайно, что — как бы помимо сознания — я веду очень многое именно от того воскресного утра. От той минуты тревоги и отвращения, когда из зала, пропитанного ароматом ванили и кофе, я посмотрел на улицу и с края разверзшейся передо мной пропасти мещанского бытия увидел свое призвание. Утро 13 сентября 1942 года стало решающим, переломным моментом в моей жизни.

Стоит чуть-чуть осмотреться и в окружающем мире Сентябрь 1942 года — это кульминация немецко-итальянско-японских побед, момент максимального географического распространения фашизма.

Тогда казалось: натиск немцев в 1941 году был остановлен действительно лишь «величайшим стратегом русских — генералом Винтером»[1]. Новое летнее немецкое наступление встретило ощутимый — целых четыре недели — отпор только под морской крепостью Севастополем; в остальном же армия Гитлера, можно сказать, без остановки достигла Кавказа и проникла далеко в горы, у Сталинграда же, по мнению военных комментаторов, в сущности, уже добилась своей стратегической цели: парализовала судоходство на Волге.

Роммель в Северной Африке оттеснил англичан до самого Эль-Аламейна; все средиземноморское побережье Европы практически было в руках у немцев, итальянцев и французов-вишистов.

На Тихом океане едва ли не все стратегически важные пункты — проливы, укрепленные острова — контролировались японцами; не пройдет и нескольких месяцев, как они совершат нападение на американский материк.

Захлебнулась в крови весенняя вылазка англичан у Сен-Назера, показав, что Атлантическая стена в самом деле неодолима; бомбардировки же с воздуха — вопреки довоенным предсказаниям доморощенных стратегов — оказались с военной точки зрения неэффективными. Более того, в психологическом плане они возымели обратное действие. Те два советских налета на Будапешт — это ж смешно, особенно если вспомнить, что Воронеж находится в руках у венгров. Какой-то — по всему судя, душевнобольной — полковник с улицы Паулер выстрелил себе в лоб· стоит ли этому придавать значение, когда даже самоубийство Пала Телеки[1] никого не задело всерьез. Кому какое дело до безвестного полковника и что его смерть изменила в общественном мнении? (После — да: после поражения. Но пока до этого далеко.) А налеты англичан на Западе? Демонстрация силы, если она ничего не продемонстрировала,— это хуже, чем ничего. Известно, что руины — самое надежное укрытие, так что английские бомбы лишь усилили сопротивление жителей в пострадавших районах. Да и Luftwaffe[2] на каждый налет отвечала с удвоенной силой Потому что у немцев и там — на Западе, в воздухе — пока был перевес.

Вообще, им на все хватало сил и людей. Страшно становится, как вспоминаешь: они еще даже не оккупировали Венгрию, а на улицах чуть ли не на каждом шагу вы натыкались на униформу защитного серого цвета; я совершенно уверен, что и там, в «Августе», были в числе клиентов и один-два немецких офицера. (Приглашенные на обед в какую-нибудь гостеприимную венгерскую семью, запасались «маленьким знаком внимания», который в те времена был куда ценнее цветов.) Они были везде, торжествующие, уверенные в собственной мощи. А с глазу на глаз — люди скромные, культурные, вежливые. Вот я не могу даже вспомнить «отдельно», видел ли в зале «Августа» или на площади за окном немецких военных: настолько мы к ним привыкли с 1941 года, с начала балканского наступления. Но держащихся вызывающе, нагло, буйствующих — или пьяных, неопрятных, небритых — немецких солдат мы не видели.

Все это я здесь пишу вот для чего: поворот, который произошел во мне в то утро в «Августе», к перелому в ходе войны никакого отношения не имеет. Первые признаки перелома — те, кто на что-то надеялся,— могли заметить лишь спустя добрых два месяца. Широкая же публика только спустя год, к концу 43-го, начала привыкать к мысли, что немцы войну, скорее всего, проиграют, если не смогут вовремя заключить сепаратный мир с англосаксами. Но — с немалым стыдом я пишу это — очень и очень многие, и отнюдь не одни нилашисты, даже в дни штурма Будапешта все еще ждали чудо-оружия, все еще верили, что союзники выдохлись, что им очень трудно подтягивать издалека резервы, так что ожидаемый в любую минуту контрудар немцев тут же сотрет их в порошок. Люди просто не способны были поверить, что продолжающийся с 1933 года ослепительный, триумфальный путь гитлеризма завершится безусловной капитуляцией. (Многие и по сей день не верят.)

[1] Winter — зима *(нем.)*.

[1] Пал Телеки (1879—1941) — один из ведущих политических деятелей хортистской Венгрии. Много сделал для того, чтобы толкнуть Венгрию на союз с гитлеровской Германией. В 1941 г., осознав последствия своих действий, покончил с собой.

[2] Гитлеровская авиация.

Сказать ли, что я всегда знал: Гитлер в конце концов падет? Могу сказать лишь одно: я с самого начала был настроен против него. Но я ведь и в 35-м сочувствовал Абиссинии, а в годы гражданской войны в Испании — республиканцам. В течение многих лет дело слабых, терпящих поражение становилось моим кровным делом.

В 1936 году я объездил вдоль и поперек всю Германию, встречался со множеством очень разных людей. С рабочими и университетскими профессорами, с крестьянами и священниками, с солдатами и студентами: сталкивался, конечно, и с нацистами, но присутствовал и на тайной антинацистской сходке. И должен сказать: позже, в Австрии, я встречал куда больше сторонников Гитлера. Да и дома, в Венгрии: пусть не больше, быть может, но зато более глупых и ограниченных.

Агитировал я не в том смысле, что, мол, берегитесь, падение Гитлера неизбежно. Я доказывал: для нас, венгров, нет опасности больше, чем победа Гитлера. И в 40-м году на наших диспутах с коллегами никто из нас не предсказывал, что Венгрия в союзе с Гитлером потерпит поражение. (Даже если и опасались, что немцы втянут нас в войну.) Аргументировали мы тем, что победа Гитлера — конец венгерской этнической цельности. То есть нам нужен тесный союз с соседями, чьему существованию грозит подобная же опасность; с помощью социальных реформ, прежде всего радикальной земельной реформы, нужно выбить почву из-под ног заинтересованных в войне классов, а заодно лишить главного козыря нилашистскую демагогию: создать прочную демократию, народное общество!

То есть все тот же, столетней давности выбор: служить ли, пусть в ранге наместника, немецкому империализму в Карпатском бассейне или, образовав конфедерацию равноправных наций, создать для трудящихся масс достойный и прочный дом? Интересно, с каким автоматизмом венгерский национализм и на этот раз избрал первый путь. Насколько привычно, почти бездумно, клеймил нас предателями, красными, еврейскими прихвостнями.

Жизнь толкнула нас на борьбу с безумием, и самым ужасным было то, что именно мы выглядели в этой борьбе безумцами, или по крайней мере маньяками. Настолько плотна была атмосфера безумия вокруг нас.

Одна-единственная надежда — и то в высшей степени сомнительная, с тех пор как мы тоже вступили в войну,— еще оставалась у нас: что Гитлер все же будет разбит. Гитлера разобьют, преступления же правителей наших не представят как преступления нации. Что приняты будут в расчет наши освободительные войны, революции, кровь наших мучеников. Что победители нас поймут и, может быть, проявят великодушие.

Я ждал, я надеялся. Надежда эта, пожалуй, даже во время падения Парижа не была столь слабой, как осенью 1942 года. Пустыня виделась бесконечной, и часто казалось, жажду нечем уже утолить.

Даже мои активные левые друзья лишь вздыхали. Они-то всегда говорили, что англосаксы сторгуются с Гитлером; ведь они и власть ему захватить помогли. С фашизмом может покончить только Красная Армия...

Капитуляция Франции повлияла на меня невероятно болезненно; и все же она не была для меня такой неожиданной, как для большей части европейской интеллигенции. После падения правительства Народного фронта я провел целый академический год, с ноября 1938-го по июль 1939-го, в Париже, получая французскую стипендию. Бессильное доктринерство Леона Блюма, предательство по отношению к испанцам, Мюнхен, приезд Риббентропа в Париж... в левых кругах — летаргия, глупая надежда: дескать, время, оно покажет...

В те времена Ситэ Юнив[1] представлял собой настоящий студенческий рай. Он находился в огромном парке на южной окраине города; вблизи была станция метро Со, но и на автобусе до Орлеанских ворот, то есть до Сорбонны, добраться можно было за считанные минуты. (Даже пешком: двадцать минут — и ты на Буль-Мише[2].) Огромная, будто вокзал, столовая самообслуживания, выбор блюд лучше, чем в самых больших ресторанах, и на двадцать процентов дешевле, чем в самом дешевеньком кафе. Что же касается комнаты... позже я платил сто семьдесят пять франков в маленьком отеле «Юлианна» на Рю дез Эколь за крохотную мансарду, в Мэзон де Провенс же — просторная, удобно обставленная, чистая комната с душем — за сто пятьдесят.

И тем не менее мне пришлось оттуда переселиться.

Общежития в Ситэ были разными — и по цене, и по обитателям. Швейцарцам принадлежало великолепное здание, выстроенное по проекту Корбюзье, на четырех колоннах в один ряд; элегантное, строгое, замкнутое в себе, оно словно бы старалось не иметь с Парижем ничего общего. Американское общежитие — крикливое и безвкусное. Голландское — домашнее, гостеприимное, со множеством красивых девушек. Дойч де ла Мёрт — скромный приют французских студентов победнее. Мэзон де Провенс де Франс — сецессионное чудище, построенное государством с той целью, чтобы сближать студентов, приезжающих из разных провинций; в общем, здесь перемешивали эльзасцев с выходцами из Лангедока: вдруг из смеси двух крайностей выйдут средние французы. Эта стандартная министерская глупость в данных условиях привела к тому, что здешний нацистский фюрер,

[1] Cité Universitaire — Университетский городок *(франц.)*.

[2] Бульвар Сен-Мишель.

месье Фишер — хотя фамилию его и произносили: Фишёр — собрал под знамена Гитлера не только эльзасцев... Мой сосед и первый знакомый в колледже, черный как смоль гасконец, представившись, сразу же сообщил мне, что он, правда, давно офранцузился, однако его фамилия Tyll, или в другом варианте Tell,— одна из древнейших немецких фамилий, то есть «по крови» он немец. Я, в свою очередь, сообщил ему, что хотя ношу древнюю, к тому же редкую дворянскую немецкую фамилию,[1] тем не менее ни по крови, ни по сознанию не чувствую себя немцем; более того, нашей семье не в одном поколении были свойственны антинемецкие настроения и тяга к независимости, в Гитлере же я вижу огромную опасность и для Европы, и для всего человечества.

Может быть, французские власти знали, что за дух господствует в Мэзон де Провенс? И венгров — как «подданных оси» — из вежливости селили именно в этом общежитии?

Я, во всяком случае, лучше всего бы себя чувствовал в Дойч де ла Мёрт. В числе всего прочего и потому еще, что никак не мог жить на широкую ногу со своей, после двух девальваций франка весьма похудевшей стипендией.

(За Дойч де ла Мёрт закрепилась, кстати, слава прибежища коммунистов. В начале масленицы американцы устроили бал в Интернациональном доме и вежливо пригласили туда весь Ситэ; только на приглашениях написали: «Господам обязателен фрак!» Студенты из Дойч раздобыли где-то живого шимпанзе, нарядили во фрак и дали в руки ему плакат: «Уж я-то могу идти к американцам на бал!» И прогуливали шимпанзе перед входом в Интер. Поначалу демонстрация этим и ограничилась. Однако перед этим несколько дней шел дождь, и возле Интера чернела свежевскопанная, обильно удобренная цветочная клумба, так что тут просто не могла не возникнуть великолепная мысль: вываляв прибывавших на бал, одетых во фраки гостей в вонючей, мокрой земле и лужах. Ведь на приглашениях не значилось, что фрак должен быть чистым! Среди нескольких сотен восторженных зрителей были и мы венгры, с тощими кошельками; вместе с прочими бросились кто куда и мы, когда прибыла Garde Mobile [2].)

Как ни странно, в коллежах даже капиталисты воспитываются в духе равенства: это, можно сказать, относится к самой сути древних учреждений. На общежитиях же Ситэ несмываемый отпечаток оставило соперничество — или пусть только неодинаковость — участвовавших в его создании фондов. Принцип Ситэ гласил, что там «каждый может чувствовать себя хорошо в соответствии со своими потребностями»; это было здесь как бы формой проявления гуманизма. В действительности же система, существовавшая здесь, приучала студентов воспринимать как нечто естественное природу капиталистического строя. И далеко не все были с этим согласны. Даже если бедняк мог в Ситэ жить спокойней, чем в самых дешевых гостиницах Латинского квартала.

Я, конечно, не из подобных высоких соображений переселился с бульвара Журдан на улицу дез Эколь.

Коллега Тиль к моим необычным взглядам отнесся с некоторым снисхождением. И скорее всего, как некий курьез рассказал друзьям, что есть тут один фригидный венгр, лишенный способности наслаждаться ролью своей родины в международной политике. Как бы там ни было, но я все чаще стал попадать в центр политических диспутов, вспыхивавших то в буфете, то в гостиной. «Все-таки Франко навел порядок и уничтожил анархию».— «Франко — предатель. Он пожертвовал родиной, чтобы Гитлер и Муссолини провели в ней генеральную репетицию войны».— «Но ты же верующий, католик, ты сам сказал. Как же ты оправдываешь безбожников?» — «По-твоему, Герника — угодное богу дело?» На меня нападали и, так сказать, ab hominem[1]. «Ты потому так говоришь, что ты — еврей!» — «Ровно в такой же степени, как Иисус Христос. Если, конечно, предположить, что Святой Дух был арийцем». Наконец за меня взялся сам месье Фишер: как, неужто же я не чувствую, что Гитлер словно форточку открыл в этой прогнившей, вонючей Европе? Неужто я не способен забыть о личной обиде — которая, кстати, не так уж и велика — и понять, что духовные ценности Европы, духовные ценности Франции только Гитлер может спасти от иудейско-плутократическо-масонской деструкции и большевистского варварства? Неужто я не чувствую гордости, что венгры, которых Гитлер назвал „benachbartes Heldenvolk"[2] и зачислил в почетные арийцы, среди первых подхватили идею Новой Европы?.. Он нашел достойного оппонента: аргументы я черпал из собственных впечатлений от Германии. Я сказал ему, что большая часть немцев горда своим фюрером куда меньше, чем он, который скорее мог бы гордиться эльзасскими традициями. Он: пережил бы я все те ужасы, которым правительство Народного фронта подвергло Францию, пожил бы я, как он, среди бесконечных демонстраций и забастовок, в атмосфере дискредитации всех национальных идеалов и общественных авторитетов...

Но говорилось все это в очень культурном, можно даже сказать, дружеском тоне: беседуют два молодых человека, излагают каждый свое мнение — пусть несходное, но касающееся общих проблем,— пытаются убедить друг друга, в духе полнейшей взаимной доброжелательности.

А после этого начались взрывы петард.

В полночь я, как обычно, выключил свет и спустя полчаса уже засыпал —

---

[1] Настоящая фамилия Мештерхази — Хофштадтер.

[2] Жандармерия *(франц.)*.

[1] Здесь: в личном плане *(лат.)*.

[2] Доблестные соседи *(нем.)*.

когда прогремел взрыв. Заряд был прикреплен к ручке моей двери; мне показалось, рушится дом.

Однако боюсь, что в рассказе своем я предстаю в очень уж выгодном свете. Сначала — диспуты, потом — петарды.

Нет, все и сложнее и проще. Я не был тем героем духовных сражений, который неотразимыми аргументами загоняет упрямого и тупого противника в угол, вынуждая его прибегать к неспортивным приемам. Далеко все не так. Просто я был круглый дурак.

Я словно бы никогда не слыхал, например, про дело Дрейфуса и полагал, что каждый француз — дитя Декарта. Или думал, что все до единого смотрят на Францию, пока противостоящую фашистскому миру, как на землю благословенной свободы, по крайней мере сам я вздохнул облегченно, перейдя мост через небольшую речушку между Вентимильей и Ментоне (Перейдя пешком, с чемоданами в руках: с обеих сторон границы шла мобилизация, по какому случаю не ходили даже международные поезда.) Я считал, что нахожусь среди молодежи, которая, как это свойственно молодежи, ищет истину. Следовательно, может и заблуждаться. Следовательно, иногда — как бы в виде контроля — в своих рассуждениях опирается и на ложные посылки. Или доверчиво и открыто проверяет, нет ли хоть небольшой доли истины на самом дне мешка, набитого заблуждениями. Или просто хочет узнать собственно, почему — по какой причине, с какой целью — человек (человек!) становится гитлеровцем.

Я не понял одной очевидной вещи: что попал в окружение организованных, утративших человеческий облик фашистов.

Как бишь обстояло дело в действительности с петардами? В начале декабря у моей двери взорвалась первая. Как предупреждение: остановись, прекрати! Что прекратить? То, что я считаю беседой, они же — «красной агитацией». Вот уж что мне и в голову не пришло, даже спустя месяцы: что я — агитатор, тем более красный. Петарда? Какой-то очередной дурацкий обычай, каких множество в студенческих общежитиях. Шутка. Ну, не слишком тонкая шутка. Но ведь это — студенты, в большинстве моложе меня (я тогда уже прошел курс наук и писал диссертацию)

Два-три дня затем было тихо. Может быть, даже неделю. А перед рождеством — снова взрывы. Уже чаще. Через день, через два. Рождественский обычай? Вполне может быть, ведь рождество здесь — народный праздник, на улицах — шатры, балаганы, карусели, тир, соревнования в ловкости, азартные игры. Ну и петарды, детишки пугают ими взрослых.

А в феврале началась генеральная битва. Тогда-то и выявилась по-настоящему неизлечимая моя глупость. Утро: газета за кофе, какой-нибудь заголовок, вызывающий невольное замечание, или чья-то невинная реплика. И мы уже беседуем: вежливо, дружелюбно. Спорим? Да нет: меня спрашивают, я отвечаю. Мне и в голову не приходит, что это — допрос. Чуть ли не в каждом случае затрагивается еврейская проблема. Пусть лишь в такой форме: что я думаю о Прусте? Они считают его декадентом и чужаком. Я — уважаю, хотя он и не относится к числу моих любимцев. А кого я люблю? Андре Жида. (Прелестный был у меня вкус в то время!) Жида? Ну-ну...

Вечером — взрыв петарды.

Я не чувствую ни малейшей взаимосвязи между тем, что происходит.

Лишь с бешено бьющимся сердцем просыпаюсь от шипения горящего шнура. В такие моменты сам взрыв — еще ужаснее.

Поскольку петарды рвутся теперь уже каждую ночь, я решаю изменить свой режим; дожидаюсь, пока грохнет — происходит это в половине первого, в час,— потом ложусь и спокойно сплю до восьми утра. А тем временем — все-таки я не совсем кретин — многие вечера стою за дверью, в засаде, выглядывая на каждый шорох. Невероятно, но мне так ни разу и не удалось поймать «шутников». Может, они ходили по коридору босиком или в тапочках на мягкой подошве? Английский шнур, которым они пользуются, горит быстро, но шипение даже при этом условии длится уж очень недолго: стало быть, поджигают где-то поблизости. Однако я не слышу ни чирканья спички, ни щелчка зажигалки.

Парадокс, да и только. Слепому было видно, что покушение могло совершаться лишь из комнат рядом или напротив. Но в комнатах этих жили сплошь «друзья»; то есть, в моем понимании, постоянные мои партнеры по спорам, собеседники. Сам я до конца держался версии, что стал объектом глупых выходок какой-то тайной компании ксенофобов. Ведь не станут же делать мне гадости те, кто меня хорошо знает! Тем более знает мои взгляды и мнения! Меня не настораживало даже то обстоятельство, что соседи никогда «ничего не слыхали». Господи, молодые, здоровые люди, спят как убитые...

Прошло несколько дней, и моя новая тактика была раскрыта. Возможно, у них был сообщник напротив, в Армянском доме, откуда без труда можно было видеть, когда я гашу свет и даже лампу у изголовья постели. Мои мучители перешли на двойные взрывы: в половине первого гремела одна петарда, спустя час — вторая!

Как-то, разговорившись с одним из самых солидных наших привратников — таковые были в каждом коллеже,— я пожаловался на странный здешний обычай забавляться по ночам петардами. «Обычай?!» Он о таком не слыхал, нет у них такого обычая. Правду он говорит? Или просто солидарен с озорниками? Знает прекрасно, что существует такой обычай, но — как официальное лицо — знать об этом не должен? Я просто не

мог поверить, что люди — молодежь, коллеги,— с которыми мы каждый день здороваемся, беседуем, обсуждаем новости и ситуацию в мире, так откровенно, открыто, таким грубым способом хотят изгнать меня из своей среды.

Но, видно, даже моя безграничная глупость имела где-то границы. Были ночи, когда у моей двери взрывалось по четыре, по пять петард. Они гремели каждые полчаса, пока я не вставал и не садился к столу работать. В конце концов мне пришлось-таки задуматься: ладно, одну петарду какой-нибудь соня может еще проспать; вернее, проснуться он проснется, конечно, но тут же заснет опять и все до утра забудет. Это можно представить. Но такие, раза два-три в неделю повторяющиеся серии!.. Они мертвого подымут на ноги. Живущие здесь — по крайней мере в моем коридоре, но куда вероятнее, что чуть ли не весь наш этаж,— уже много недель подряд жертвуют ради меня своими ночами. А утром лгут мне в глаза. Все до единого. Истинно фашистская дисциплина: ведь не выдадут себя ни беглой улыбкой, ни взглядом. Лгут настолько гладко и дружно, что я начинаю сомневаться в собственном здравом уме, в собственном слухе, в собственных мучительных, проведенных без сна ночах, в собственных, то и дело слипающихся над книгой глазах.

Одна девушка-венгерка как раз уезжала домой; я занял ее комнату в отеле «Юлианна» и бросил Ситэ Юнив, не дождавшись конца оплаченного вперед месяца.

Директор, пригласив меня к себе, целых полчаса пытался узнать причину столь внезапного переселения. Собрав остатки своего умишка, я отвечал ему: хочу поближе узнать жизнь Латинского квартала; оттуда удобнее добираться в Национальную библиотеку; наконец, у меня есть причины совершенно личного свойства. Поверьте, я уже взрослый мужчина, так что в гостинице мне будет гораздо удобнее. (В Мэзон де Провенс женщинам вход был закрыт.) Он мне не поверил. Я, однако, упорно держался за свою ложь. (Полуложь, потому что женщина в самом деле была тут замешана. Но ведь для этого вовсе не обязателен собственный номер в гостинице.)

Возможны два варианта: или он знает, что его студенты — фашисты и что меня они выжили по политическим причинам; но тогда я не хочу довершать свое поражение еще и признанием. Или ему об этом ничего не известно; тогда он не заслуживает, чтобы я его просвещал. В Венгерском землячестве я рассказал про петарды. О причинах же умолчал. Ксенофобия. Не понравилась моя морда. Какая разница!

Было в этой истории еще одно обстоятельство. Парижские студенты — как и везде на свете — не тосковали по воинской службе. Хотя им была предоставлена огромная привилегия: если за годы учебы они принимали участие в определенном числе воскресных военных занятий, то вместе с дипломом получали звание офицера запаса. Ни один из моих друзей не ходил на эти занятия: «Плевать! Если потребуется, лучше буду рядовым!» Мэзон де Провенс выходил на военные занятия аккуратно каждое воскресенье.

Я же не мог понять, как это получается: такие ревностные французские патриоты — и поклонники Гитлера?!

Пусть кто-нибудь после этого усомнится в дремучей моей глупости!

Войну я принял, как принимает грозу человек, которому давно уже не хватало воздуха. Или как принимает смерть тот, кто всю жизнь прожил в страхе. С облегчением, ибо — беззащитно. Беззащитно — значит с апатией. Только раз из-под этой апатии вырвался угасший было огонек радости жизни; только раз — 22 июня 1941 года.

Было воскресенье: мы с женой и тещей ездили в Эрд. Моя теща — первая — была женщина образованная, славная, но сумасшедшая. Она то и дело ввязывалась в безнадежные коммерческие аферы; одна из них — покупка земельного участка в Эрде. Участок теща ни разу не видела, даже не знала, где он находится, обозначен ли вешками, занесен ли в регистр. И наконец решила взглянуть на него. Момент она выбрала лучше некуда! Жена каждый день ждала родов — Марци, наш сын, родился 7 июля,— в автобусе по дороге из города ей еще досталось место; потом мы долго бродили среди полей кукурузы, по стерне и, найдя какой-то покрытый бурьяном, камнями кочковатый клочок земли, решили: «наверное, этот». Сил у нас больше не оставалось. Жара зверская, нигде ни намека на тень, ни колодца, ни хаты. Еле живые, добрались мы до Балатонской — ныне 70-й — дороги. На шоссе — нескончаемый, плотный поток: немецкие грузовики с солдатами, танки, офицерские автомобили, походные кухни, походные мастерские, артиллерийские батареи и снова длинные колонны с войсками. Кое-где, втиснувшись между военной техникой, один-два частных автомобиля. Все это движется к Пешту. В обратную сторону — к вечеру воскресенья — движения почти нет. На остановке — толпа, как на ярмарке, автобусы отправляются с гроздьями висящих людей, у дверей — рукопашная. Оставив тещу на произвол судьбы, я вышел с женой к дороге и поднял руку. Как ни странно, вскоре одна машина остановилась; только тут я увидел: машина дипломатическая, французская. То есть вишистская, петеновская. Молодой человек за рулем лишь рукой махнул в ответ на слова благодарности: он тоже отец, помочь женщине в положении — элементарный долг, да еще в такое время. «А что, собственно, происходит? Чего это немцы в таком количестве едут на северо-восток?» Бои перед этим шли на Балканах, мы привыкли — после самоубийства Теле-

ки,— что немцы идут в ту сторону, но это же совершенно противоположное направление. Молодой человек удивился: «Как, вы не знаете?! Сегодня ночью Гитлер напал на Советский Союз!» Короткая пауза, пока мы переварили новость. И тут у меня неосторожно вырвалось: «Тысяча восемьсот двенадцатый?» Молодой человек был вишистским дипломатом, но все же французом: вспомнив Наполеона, мы уже радовались неизбежному поражению немцев. «Cette fois-ci, on les aura!»[1]

После безумных дней вновь наступила депрессия: немцы и на Восточном фронте продвигались, «как нож в масле». Мудрый Черчилль пророчил союзникам несколько недель; самое большее — несколько месяцев. Зима — это понятно — остановила наступление, подтягивать издалека резервы тоже было непросто. Однако об ослаблении, тем более о крахе немцев нечего было мечтать. Наступит весна, и они пойдут дальше.

В сентябре 42-го — примерно в то время, когда я завтракал в «Августе»,— сомнения и надежды как будто уравновешивали друг друга: я верил — могу сказать, знал,— что Гитлер в конце концов истечет кровью. Но я уже видел, что война будет долгой и все более опустошительной — «тотальной». Говоря образно: загнанный в угол, уже смертельно раненный зверь будет обороняться с отчаянной силой, уничтожая вокруг себя все. У нас, живущих, мало шансов выжить. Лично у меня и того меньше. Хотя бы из-за болезни — ведь с Украины уже приходили вести: кто не выносит марша, не может тащить оружие, того пристреливают на месте. И ведь я только что, благодаря невероятному стечению обстоятельств, избежал штрафной роты. Ужасное унижение — настолько зависеть от слепого случая! И хватит ли мне везения, чтобы каким-то чудом дождаться освобождения?

Но тогда, там, в «Августе»,— это и был как раз поворот, поворот к самому себе, к своей жизненной линии — я увидел свою судьбу, свой возможный удел, так сказать, во всеобщем контексте.

Это насчет сомнений. Но что же все-таки было источником надежды, надежды упрямой, не умирающей даже тогда, в момент кульминации мощи нацистов в сентябре 1942 года? Всего лишь тот факт, что я очень хотел падения Гитлера?

Отвечаю: партизанская война. Наверное, это странно звучит теперь, много лет спустя, когда мы знаем о войне все. Например, знаем, как шла Сталинградская битва. В конечном счете, конечно, я верил, что положение изменится и на фронтах; пока же я видел, однако, невероятную силу вермахта, его техническое и военное превосходство.

Но вермахту противостоял народ, с его жаждой свободы, жаждой справедливости, жаждой разумной, достойной человека жизни. Жаждой — до самопожертвования. Жаждой, одолевающей даже невозможное.

Понимает ли это сегодняшний человек? Романтику партизанской войны — несомненно. Но ведь романтика — только поверхность, и если изо всего, что было, он понимает только ее, значит, он ничего не понимает!

В течение целых трех лет — даже больше, со времен абиссинской и испанской войн,— куда б ни ступала нога фашистов, они везде побеждали. Но сколько б они ни захватывали земли, везде земля горела у них под ногами. В оккупированных, раздавленных странах, сколько бы там ни отыскивалось предателей, на каждого находилось сто готовых на смерть патриотов; целые немецкие дивизии брошены на поддержание порядка — и тем не менее ни один солдат победоносной армии не смеет ночью пройти по улице; отправляя транспорт по железной дороге или на машинах, никто не уверен, что транспорт прибудет на место своего назначения; любой склад может в любую минуту взлететь на воздух, любая военная тайна — стать известной противнику. Победители ощущают панический страх на месте своей победы, «свисток свободы слышится в ночи», звучит случайный револьверный выстрел — и немцы устраивают пальбу, убивая друг друга.

На Украине, в Югославии, во Франции, в Норвегии, в лесах и в городских джунглях.

Партизанская война в Европе разгорелась с подлинной силой после нападения Гитлера на Советский Союз.

Западные державы в Лиге наций годами саботировали советские предложения о том, чтобы общими силами остановить Гитлера. В этой обстановке, благодаря советско-германскому пакту о ненападении, СССР выиграл время, англосаксы же приобрели отрезвляющий опыт. Но европейских коммунистов договоры эти основательно дезориентировали.

22 июня 1941 года все поставило на свои места. Коммунисты очнулись, стряхнули с себя растерянность и пассивность.

Именно после этого был воплощен в жизнь — нерушимо и до конца — Народный фронт. Я ощутил это и на себе. Я знал, что я не коммунист. Но должен был видеть: то, чего я хочу, никто больше не хочет так смело, последовательно и эффективно, как коммунисты. И пусть я долго мог бы перечислять, что меня разделяет с ними,— они неодолимо влекли меня. Не просто импонировали: влекли. (Разве же это — не Народный фронт?)

Как все в те времена, я следил за фронтовыми сводками по газетам, а вечерами слушал лондонское радио на венгерском, а чаще (эти передачи меньше у нас глушили) на французском языке. И ничто меня не трогало так глубоко, так лично, как события партизанской борьбы.

Но я узнавал о них и из других источ-

[1] На этот раз им достанется *(франц.)*.

ников. Уходили в армию, потом приезжали на побывку знакомые; например, коллеги по банку. Среди них было немало фашистов. Они показывали — как свидетельства своего геройства — фотографии повешенных в Хорватии, на Украине. Рассказывали о том, что не позволялось фотографировать,— о массовых казнях. О братских могилах, вырытых самими жертвами, о выстрелах в затылок — в тысячных сериях, об автоматных очередях, о песчаных карьерах, взрываемых над грудами еще шевелящихся, стонущих людей. На фотографиях я видел искаженные ужасом детские лица, шею совсем юной девушки в петле. И даже в садистском хвастовстве слышались нотки ненависти, в ненависти — отчаянный страх. Ведь дома, в уютном тепле канцелярии — с р е д и л ю д е й!— им все-таки приходилось объяснять: «Вы себе и представить не можете что они там с нами творят...» И следовали рассказы о проведенных в тревоге ночах, об одиночестве патрулей, о снайперах, чудящихся на каждом дереве, и минах, запрятанных в самых невероятных местах. «Что остается делать? Сгонишь жителей — и...» Я в ответ: «Мы бы делали то же самое, если б они пришли сюда. Разве нет?» А мне на это: «Полно! Мы цивилизованные люди!» — «А голландцы? Датчане?» Тут герой замолкал. Может быть, даже задумывался. Может быть, задумывался всего лишь о том, кто же я-то такой, если его — и общие — аксиомы для меня вовсе не аксиомы. Но возможно, иным становилось стыдно.

Я мог видеть масштабы возмездия, то есть масштабы ненависти и отваги народов. Партизанская война вернула мне веру в человека, вернула мне Европу, французов. Нельзя безнаказанно плевать людям в лицо, волочить женщин в солдатские бордели, заполнять живыми телами рвы на пути танков, заставлять силой весь мир служить единственному Herrenvolk'y! [1] За лозунг на стене — расстрел. И все же Европа полна надписями на всех языках: «Смерть немецким оккупантам!»

Точнее, п о ч т и на всех языках. С течением времени казни становились все более массовыми, все более зверскими. А партизанская война продолжалась все упорнее, становилась все шире. Масштабы ее все росли, хотя и в сентябре 1942 года были почти неслыханны.

Я надеялся, был убежден, что и мы не останемся в стороне.

И — пусть ничто другое — партизанская война убеждала меня, что Гитлер не может победить: Европе не нужна Новая Европа!

Но посмотрим еще раз, строже и точнее: что же произошло со мной в сентябрьское воскресенье 1942 года в кондитерской «Август».

Боялся ли я революции, за которой последует неминуемый крах? Если да, то боялся не сути революции: революционные преобразования я давно уже считал назревшими и справедливыми, то есть необходимыми. Боялся я неразберихи революции и неизбежных в неразберихе поспешных приговоров. По отношению же к себе — видимости, будто я отношусь к миру тех, кто внутри «Августа»: ведь вот он я, здесь, сижу за столиком

По отношению к обществу: того, что мы, венгры, для которых немецкий империализм — исконный враг, погибнем вместе с Гитлером: „mitgefangen — mitgehangen" [1].

Что сделали мы, чтобы этого не произошло?

Что сделал я, чтобы этого не произошло?

Я не мог понять — не могу понять до конца до сих пор,— почему мне было стыдно за тот испытанный в «Августе» страх, который стал несомненной частью сложного эмоционального состояния и принятого тогда решения, почему и сегодня мне неприятно о нем вспоминать? Я не раз доказывал в своей жизни, пусть лишь себе самому, что, выбрав путь, иду по нему без колебаний, не дрожа за собственную шкуру. (Один лишь пример: в страшные дни мятежа 1956 года партийный билет всегда был со мной, в кармане, рядом с удостоверением личности; я знал, что это — почти верный способ быть убитым, и все-таки не шел на компромисс с совестью. Печататься в «Непсабадшаг» — в январе 1957 года, да еще под своим собственным именем — тоже было небезопасно; мне предлагали: пусть домой из редакции меня провожает кто-нибудь с оружием, просили хоть револьвер носить с собой. Я отказался от того и от другого. Месяца два я получал анонимные письма с угрозами, жуткие письма; однажды — двадцать пять писем сразу. Как-то среди ночи ко мне ввалились с десяток лохматых парней. Я не боялся. Будь, что будет. Важно, что я з н а ю — р а д и ч е г о р и с к у ю!)

Наверняка я опасался не за свою жизнь: я действительно боялся ошибочного приговора. И действительно — во имя общества

Все это так; но я чувствовал также, что даю-таки основания для ошибочного приговора. С точки зрения религиозной морали, определявшей тогда мое поведение, пойти позавтракать в «Август» не было таким уж большим грехом; и все же я вдруг ощутил это как грех, и весьма тяжкий. Я свернул с назначенного мне пути!

Действие, потребность в котором я ощущал, несомненно толкало меня к революции. Может быть, именно страх — пусть честный, все равно страх — и вынудил меня в конце концов занять принципиальную позицию?

---

[1] Нация господ *(нем.)*.

[1] Буквально: вместе попасться — вместе висеть. (Часть немецкой поговорки «Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen» — держать вместе ответ.)

Знаю — да я и тогда это чувствовал,— что речь шла, собственно, об исторической необходимости выбора.

Критический сорок четвертый...

Во время путешествия по Германии в 1936 году я был удивлен тем, как мало в Германии нацистов и как много — спустя три года после прихода Гитлера к власти — смелых, готовых бороться с фашизмом людей. Правда, я в основном разъезжал по стране на попутных машинах, ночевал в придорожных трактирах, на хуторах, в рабочих или студенческих общежитиях. Собеседниками моими были подобные мне бродяги, главным образом рабочие, ну и, конечно, шоферы грузовиков. (Но были и университетские преподаватели, ученые, священники.) Надо сказать, среди них почти не встречалось восторженных сторонников Гитлера. Однако в Австрии, когда я возвращался домой, каждый третий человек носил в петлице значок со свастикой; и — со стыдом признаюсь — больше всего нацистов я встретил в Венгрии. И в университете, и в поселке Векерле. Конечно, в лагерь нацистов их привели отчасти недовольство и социальная демагогия. Отчасти же — коррупция, разъедающая хортистский режим. Все это так, но я и в те времена не мог с пониманием относиться к такого рода тенденциям, ибо видел, какими ужасными последствиями это чревато. В свете этого горького опыта я и могу говорить о сюрпризе на второй день после немецкой оккупации.

...Тот день, 19 марта, я провел, с головой погрузившись в любовь, в полном забытьи, как бы вне истории. Наутро, выбравшись наконец на улицу, я почувствовал, что в городе царит депрессия. В трамвае — мертвая тишина, люди погружены в угрюмое молчание. Что случилось? С похмелья все, что ли? В банке — такие же угрюмые лица, такая же мрачная тишина. «Что это с вами?» — «Как, ты не знаешь?! Вчера нас оккупировали немцы».

Испытал ли я панику, узнав про оккупацию? Что скрывать: испытал; с той оговоркой, что тогдашнее мое паническое состояние никак внешне не проявлялось, мозг со скоростью электронно-счетной машины перебирал варианты выбора и возможности действий на тот или иной случай. Не так-то приятно было думать, что в воскресенье 19 марта, как всегда (но на этот раз целый день, с утра до вечера), за решеткой моей двери торчала «Непсава». Занятый своей любовью, я и не вспомнил про газету: мне было совсем не до чтения. И теперь вполне отдавал себе отчет, что подобное легкомыслие, подобная невольная демонстрация вполне могли — или еще могут — стоить мне жизни.

Коммунистическая ячейка, работавшая в социал-демократической организации II района, собиралась обычно на квартире секретаря Александера; другим местом встреч была галантерейная лавочка Александеров на кольце Маргит. Еле дождавшись конца рабочего дня, я помчался туда. И оказался там не один. В маленькой лавочке было подозрительно много «покупателей». Но поскольку среди нас могли очутиться и настоящие покупатели, и даже, как можно было предполагать, настоящие шпики, все мы старались купить какие-нибудь копеечные мелочи. Жена Александера, едва завидев меня, принесла мне маленькую английскую булавку — дешевле товара она при всем желании не могла предложить; как известно, у меня дома — грудной младенец, так что булавка всегда пригодится. Вручая ее мне, быстро шепнула: «Все сжечь: партбилет, адреса, письма, дневники — все, что может навлечь подозрение!»

После оккупации наши сходки становились все короче и реже. В то время подъезды в домах закрывали в десять вечера, но чаще всего консьерж околачивался в дверях уже с половины десятого. Если кто-нибудь задерживался допоздна, мы выпускали его в окно. Улица Логоди и днем-то была безлюдна; мы открывали ставень, выключали свет, выглядывали, нет ли поблизости посторонних; окно было невысоко от земли, и наши друзья спокойно удалялись восвояси.

Последнее время бывало и так, что кто-нибудь влезал в окно среди ночи. Я просыпался на стук, уже догадываясь, в чем дело: кто-то из моих друзей или друг кого-нибудь из друзей дезертировал из своей части. Мы иногда смеялись: вот улов был бы, если б полиция решила устроить обыск. Люди спали даже в передней, на матрасе, брошенном на пол, на коврах; была ночь, когда в квартире находились сразу три мои «жены».

После освобождения все это не считалось участием в Сопротивлении. А ведь хортистские власти относились к таким вещам очень даже серьезно. За укрывательство дезертиров и беглецов, даже просто за несообщение о таковом грозила смертная казнь вместе с членами семьи. И тем не менее многие из нас рисковали жизнью ради спасения жизней. Риск этот — в его непосредственной, ощутимой реальности — был более естественным, более, так сказать, рациональным, чем политическая подрывная работа во имя отвлеченных идей. И на риск этот шли многие, на удивление многие. Время, формирующее человека, порождало и героев и негодяев, причем первых было не меньше, чем вторых.

Интересно задуматься сегодня о том, что Хорти, потом Салаши и их приспешники в проявлении элементарного гуманизма — спасении человека — видели нечто такое, что приравнивалось ими к вооруженной борьбе против их режима.

Так что не знаю, правильно ли мы поступали позже, считая, что подобные гуманистические акты, отрицающие самоё суть фашизма, подобная готовность идти на смертельный риск не имеют отношения к антифашистскому Сопротив-

лению. Другое дело, что достаточной эту деятельность я не считал даже для себя

Но что же мне было делать?!

Я искал возможность целенаправленной, организованной борьбы. То есть искал связей. Порой тут меня постигали разочарования; один известный политический деятель левого толка ответил мне: он забудет, что я ему говорил, но и я должен это забыть, и срочно, и вообще он советует мне сидеть дома и помалкивать в тряпочку Я был весьма удивлен, когда в 1945 году он получил орден Свободы; но я был не прав. Оказалось, он играл слишком важную роль в слишком важных делах, чтобы, связавшись с едва знакомым молодым человеком подвергать свою жизнь — и не только свою — смертельному риску... Было у меня и немало таких знакомых, которые сами были готовы включиться в борьбу — «пусть только что-нибудь наконец начнется».

Я висел на подножке битком набитого 75-го трамвая, который шел через мост Эржебет на проспект Ракоци.. Народу в трамвае было много, я держался одной рукой; вдруг чей-то голос окликнул меня по имени. Выше меня, на площадке, из людского месива высовывалась, кивая мне, голова Домокоша Кошари. Кошари был моим товарищем по общежитию. правда. недолго он учился уже на четвертом курсе, когда я поступил на первый,— но мы, конечно, были знакомы и приблизительно представляли политические взгляды друг друга.

К сожалению, наш разговор я уже не могу привести дословно; но помню, что он был весьма необычен. Во-первых, мы общались через головы пассажиров, и в грохоте трамвая нам приходилось не говорить, а орать: во-вторых, Кошари после двух-трех фраз перешел к сути дела Звучало это примерно так: «Русские-то колотят фюрера, еле ноги уносит, бедолага!» Мы обменялись свежими новостями с фронтов, затем он поставил вопрос ребром: «А ты все сидишь себе, ждешь?» — «А что делать? Можешь предложить что-нибудь лучше?» — «Если интересует, могу». «Еще как интересует!» — «Ты где слезаешь?»

И чтобы никто уже в грамвае не сомневался, что речь идет о политическом заговоре, он сообщил, что разыскивает меня уже несколько дней и наша случайная встреча очень кстати.

Если кому-нибудь этот наш разговор покажется невероятным, пусть примет во внимание, что трамвай. идущий из Буды в центр города, был набит служащими: повторить ли за Петером Верешем, что «дерьмо не взрывается»? Нет, я был бы несправедлив к пассажирам: просто это не те люди, которые способны казнить человека на месте или хотя бы донести на него без особой нужды. Пассажиры делали вид, будто не слышат, что мы там кричим.

Факт, что Кошари держался довольно лихо, даже вызывающе. И вовсе не потому, что чувствовал себя в относительной безопасности; как я узнал позже, нити этого разговора тянулись в самые высокие сферы. И не из свойственного всему венгерскому гражданскому сопротивлению по-детски беспечного отношения к конспирации. Нет, виною здесь был скорее характер Кошари: как я не раз мог наблюдать, он любил рисковать, играть в прятки с опасностью; эту юношескую браваду он не оставил и в зрелом возрасте.

Мы сошли у «Астории», и тут — бравада бравадой — Кошари хорошо осмотрелся не сошел ли кто-нибудь вместе с нами; вернее, нет ли среди сошедших кого-то, кто нами заинтересовался. Он спросил. хочу ли я участвовать в их работе Я ответил: конечно, хочу, как во всем, что направлено против нацистов и служит миру. Ему было известно, что я вступил в социал-демократическую партию; я пояснил, что, само собой, я не социал-демократ. «Среди нас есть коммунисты,— сказал он,— но не стоит отпугивать буржуа». Мы договорились, что даже слово «коммунист» не будем произносить; называй себя социалистом. Мы попрощались, договорившись, что после службы я разыщу его на углу улиц Шандор и Эстерхази, в Институте Пала Телеки.

Организация наша получила конспиративное название — «Группа Пала Телеки» Тут в какой-то степени принимались уже во внимание правила конспирации: в большом количестве мы старались не собираться, и даже с течением времени я узнал не более восьми или десяти своих соратников. Мы готовились параллельно к гражданским и военным акциям Поначалу особым вниманием пользовались у нас первые: в случае переворота сразу же обеспечить работу органов власти и деятельность общественных организаций

Нам, «социалистам» поручено было возродить к жизни запрещенные, распущенные профсоюзы: в соответствии с этим каждый из нас получил конкретное задание. Ответственного же за профсоюз служащих частных фирм у нас пока не было, и выбор пал на меня. Так я стал первым секретарем не существующего пока, но подлежащего восстановлению профсоюза служащих частных фирм

В тот момент — и еще довольно долгое время — предполагалось, что инициатива поворота в политике будет исходить от правительственного кабинета, что регент[1] сумеет привлечь на свою сторону и поднять против немцев офицерство, по крайней мере значительную его часть. Но на всякий случай мы имели в виду и необходимость общенародного восстания Поэтому меня сразу спросили. смогу ли я найти людей, умеющих обращаться с оружием. Я перебрал в памяти своих друзей и знако-

[1] Официальный титул М. Хорти.

мых и пришел к выводу, что в случае необходимости человек двадцать пять — тридцать наверняка наберется. Наши военные специалисты сказали, что для начала это более чем достаточно: когда восстание обретет размах двадцать пять человек превратятся в сотню; так я стал командиром роты. К поручению этому я отнесся серьезнее, чем к первому. Я принялся за дело — и обнаружил удивительную готовность со стороны тех, на кого рассчитывал. Если бы дело и вправду дошло до восстания, я уверен, эти люди, не колеблясь, взяли бы в руки оружие. Картина не была все же такой уж безоблачной. Не потому только, что я получал и уклончивые, слишком осторожные ответы. Дело в том, что, как выяснилось после освобождения, на некоторых членов моей «роты» рассчитывали и другие «командиры». Правда, с другой стороны — тоже после освобождения,— оказалось, что в городе было много разъединенных групп, состоящих из двух-трех человек, которые в конце концов самостоятельно провели небольшие акции саботажа; и эти группы вне всяких сомнений с радостью бы присоединились к восстанию.

Я никогда не переоценивал свою роль ни в гражданской, ни в военной сфере; тем не менее эта роль в каком-то смысле была весьма важной — благодаря моему служебному телефону в Англо-Венгерском банке. Мало кто мог похвастаться столь же удобным и надежным способом коммуникации: к тому же в «коммерческом» языке любой сведущ настолько, чтобы маскировать сообщения. Так что я стал для своих друзей и товарищей передатчиком информации, своего рода почтовым ящиком.

У меня в банке зазвонил телефон, и я снова услышал голос Кошари.

Многие представляют себе партизан этакими одиночками, стреляющими во врага из засады. Ничего подобного: партизанские действия — такая же организованная, направляемая из единого центра борьба, как и действия регулярной армии; разница только в том, что партизаны воюют в тылу противника, а потому не носят форму. Вооруженное сопротивление, насколько я мог судить о нем по примерам, известным из истории, всегда было именно таковым.

Сознание, что я не один, что вместе с товарищами я готовлюсь к организованной борьбе, развеяло весь мой страх. Так, наверное, бывает с солдатами; в этом должно быть, корень отваги героев.

В общем, я обрадовался звонку и тут же принялся комплектовать свою «роту». В нетерпеливом ожидании протекло несколько недель: затем тот же Кошари сообщил, что план полетел ко всем чертям и наши контакты пока прерываются на неопределенное время.

Через несколько дней я узнал, что штаб движения разгромлен. Арестован Эндре Байчи-Жилинский, с ним часть гражданских руководителей; схвачены и военные, стоявшие во главе заговора: Янош Кишш, Вилмош Тарчаи, Енё Надь и другие.

Короткие разговоры по телефону служили теперь для того, чтобы узнать, кто из нас еще на свободе. Мне казалось, жизнь моя стала подобна сухому листу, который куда-то уносит капризный ветер. Кому из товарищей первому суждено угодить под удар; много ли он знает и, главное, много ли смогут выбить из него палачи?

Одна из тех проблем, которые до сих пор беспокоят мою совесть: участвовал я в национальном Сопротивлении или нет? Когда меня спрашивали об этом — а было время, когда спрашивали часто.— я не мог дать однозначный ответ; более того, бывало, что я отвечал: «да», бывало, что — «нет».

В критические времена, в 1944 году, в руках у меня ни разу не было оружия, но я легко мог бы его достать, пусть какой-нибудь завалящий револьвер. Мой друг Миклош Сигети долго держал у меня на квартире сумку гранат-лимонок: вдруг пригодятся. Теоретически я представлял, что надо делать с лимонкой, чтобы она взорвалась. Сколько раз при виде немецкой автоколонны мне хотелось швырнуть в них гранату: да ведь я мог бы хоть шину проколоть какому-нибудь стоящему на улице немецкому автомобилю; сколько раз, перешагивая через провода полевого телефона, я думал: стоит лишь встать на провод одной ногой, а другой посильнее дернуть — и я его разорву; или, проходя по мостам, уже подготовленным к взрыву, видеть тонкие жилки проводов, которые можно перекусить даже ножничками для ногтей.

Вместо медленной, осмотрительной и, как оказалось, совершенно ненужной деятельности по сколачиванию своей «сотни» я бы мог подобрать из друзей небольшую, но надежную группу — и пусть немного, но что-то мы бы наверняка сделали: я не переоцениваю своих сил — но их бы хватило, чтоб уничтожить хотя бы одного фашиста. Могу сказать в свое оправдание: умом я и тогда понимал, как понимаю и сегодня, что одиночные акции мало что дают, что часто своему лагерю они приносят больше вреда, чем неприятелю. И все-таки я чувствовал: причина — только моя трусость.

И, как это ни странно, я все же твердо уверен: если бы дело дошло до восстания, я был бы в его рядах — и в ноябре, с Байчи-Жилинским, и в октябре, когда я сидел в напряжении у телефона, готовый по первому же сигналу хоть в пекло. Нет, я боялся не борьбы; собственно говоря, я даже рад бы был устремиться навстречу борьбе, опасности, я, ночами занимавшийся психологическими упражнениями, чтобы подготовить себя к пыткам, и больше всего боявшийся оказаться беспомощной жертвой; было время, когда я не мог представить себе смерти более желанной,

чем лицом к лицу с врагом, с оружием в руках.

Однако в моем представлении это было все-таки совсем иное — да и в действительности было иное,— чем акт индивидуального террора Нужен был кто-то, с кем я мог бы уверенно встать плечом к плечу, кто был бы слева или справа от меня; эта борьба должна была иметь какой-то шанс на победу.

В конце концов, я был членом организации, которая готовилась к борьбе. И уверен, что оказался бы ничуть не хуже, не слабее других. В конечном счете это мое участие в Сопротивлении вылилось в то же самое, что и венгерское Сопротивление в целом ничего из него не вышло. Или почти ничего. Я спас или помог спасти жизнь нескольким людям. Я участвовал в саботаже, причем успешно вместе с товарищами воспрепятствовал эвакуации на запад своего учреждения, как делали рабочие, служащие очень многих учреждений и предприятий по всей стране. В конце концов, это тоже ведь результат.

Но позже друзья и заслуживающие доверия люди (хотя в то время родилось и много легенд) рассказывали мне, как они нападали на нилашистские патрули, атаковали казармы нилашистов, освобождая оттуда схваченных товарищей. До сих пор точно не знаю, кто взорвал статую Гёмбёша [1], кто подложил адскую машину на митинге нилашистов в театре. Немало моих друзей и знакомых надевали мундиры и вступали в какой-нибудь созданный из разбитых частей батальон, где командир был им знаком, или вспомогательное подразделение, где находили не только надежное укрытие, но и возможность участвовать в вооруженном сопротивлении Знаю, что был Добровольный Будайский полк, были перешедшие на сторону Советской Армии части, составленные из пленных партизанские отряды: все это не подходило для меня: я не был солдатом. Но во вспомогательное подразделение я тоже мог бы попасть — если бы не рассматривал это лишь как способ уклониться от действия: меня уж больше устраивало мое полулегальное положение. Во всяком случае, факт, что позже я узнал героев, с которыми не мог равняться.

Относительно героизма: школа и книги, прочитанные в юности, ставили нам в пример этакие личные подвиги, образцы храбрости и презрения к опасности. Что касается меня, то личную храбрость — жизнь за жизнь — я, думается, проявил, спасая преследуемых; но для того, чтобы броситься под ноги неприятелю, смелости все-таки не хватало. Как пятнадцатого октября, так и позже, я ждал сигнала к всеобщему восстанию или хотя бы к восстанию какой-то спаянной, направляемой из одного центра группы.

То есть — и это довольно точное определение моей роли — я был как бы в резерве того широкого национального Сопротивления, до которого дело, к сожалению, так и не дошло. К сожалению — это я говорю искренне; и что я принял бы в нем участие — тоже совершенно точно. В этом смысле совесть моя спокойна. Но она становится очень даже неспокойной, когда я вспоминаю тех, кто не ждал удобного случая, а — один ли, с несколькими ли товарищами — что-то делал: пусть немного, но делал Ведь я был весьма близок к тому состоянию, когда, говоря словами Аттилы Йожефа, и так и так смерть; почему же тогда я не сделал больше?

Все эти счеты с совестью не слишком бы меня терзали, если бы после освобождения случай не бросил меня на слишком высокий политический пост — слишком высокий и по моим заслугам, и по амбициям

И еще одно стало и становится мне все очевиднее в связи с этим: я не гений, не историческая личность; я — как типичный старательный ученик — могу подхватить любое хорошее начинание могу энергично, разумно и преданно проводить его в жизнь: но лидерствовать, определять направление для других не могу Если бы я случайно вступил в партию в Уйпеште, то, вполне вероятно, участвовал бы в партизанских действиях вместе с уйпештцами. Но у меня не было ни такого руководителя, ни такой обстановки, какая была у них. Сам же я не мог взять на себя роль руководителя или создать необходимый для этого лагерь

Благодаря многим случайностям я уцелел, побывав на самом дне преисподней, и дождался освобождения. Если из десяти тысяч случайностей одна обернулась бы против меня, я мог бы стать жертвой, мучеником — но героем, по всей вероятности, нет.

Позже я встречал людей, с которыми был знаком раньше и знал, что они не сделали даже того, что сделал я; люди эти рассказывали о своих подвигах и даже получали награды. В такие минуты я возмущался и склонялся к тому, чтобы преувеличивать собственные заслуги. Заслуга ведь тоже вещь относительная, она выделяется или теряется в зависимости от контекста. Так что, если меня спрашивали, я говорил о своих заслугах, действительных или мнимых, приспосабливаясь к вопросу или к случаю. Если не спрашивали, предпочитал молчать. Моя собственная оценка того, что я сделал, тоже колебалась — пока я не остановился на следующем определении: «Я принимал участие в Сопротивлении, но, собственно говоря, не совершил ничего». Думаю, что это довольно точная формула, чтобы держаться ее до конца.

«Сократовский метод»

...Насколько помню, политику я не только воспринимал со страстью: я со страстью и агитировал. За долгие годы у меня стало почти рефлексом: самому завязывать политические споры или моментально «встревать» в спор других, не оставляя у партнеров сомнений относительно моих собственных взглядов.

[1] Дюла Гёмбёш (1886—1936) — венгерский политический деятель фашистского толка.

Когда это началось? Трудно сказать, но некоторые даты я все-таки припоминаю. Если угодно, началось это, когда мне было всего тринадцать лет: я тогда взбунтовался против прогабсбургского легитимизма, который нам пытались привить в школе. И началось в тот вечер перед казармой Марии Терезии, спустя несколько недель после прихода Гитлера к власти, когда крики газетчиков вдруг пробудили во мне жгучий протест. И началось еще в коллеже Этвеша, в первый же день, когда я демонстративно ушел из-за стола, где прохаживались насчет евреев. И наконец, наполнилось страстью осенью 36-го, после того, как я десять недель бродяжничал по Германии... Хотя нет сомнений, что организованная политическая деятельность есть наиболее высокая и эффективная форма классовой борьбы, однако агитацию недооценивать тоже не следует.

Должен сказать, к агитации в нашем рабочем движении на протяжении долгого времени относились спустя рукава; я до сих пор не могу избавиться от ощущения, что роль агитации у нас, к вящему прискорбию, недооценивают. Рабочее движение — это организованная борьба вместе с агитацией. Но агитация — такая вещь, эффективность, ценность которой не измеряется в цифрах. Догматические, формалистские тенденции в коммунистическом движении, несмотря на предостережения, свели агитацию к такой деятельности, которая никому в общем-то не нужна — нужна только для галочки. Вместо убеждения здесь практикуется уламывание любой ценой, это я заметил очень давно. Давно, поскольку в период «просветления» моего сознания вращался главным образом среди студентов, среди интеллигенции, и коммунисты там агитировали до отвращения плохо. Они лишь повторяли избитые фразы, а если ты задавал им неудобный вопрос, они тут же навешивали на тебя какой-нибудь дурацкий ярлык. Невооруженным глазом было видно, до чего слаба теоретическая работа в компартии.

Естественно, сказанное относится не ко всем коммунистам, с которыми я встречался в своей жизни, вспоминаются и прекрасные примеры. В конце концов, как ни кинь, ведь не сам же я себя убедил вступить в партию: по крайней мере внутренние мои метания и поиски хотя и играли роль, но не главную. Однако многие, а среди знакомых интеллигентов-коммунистов едва ли не большинство, своей агитацией способны были лишь оттолкнуть от партии.

С явлением этим — уламыванием вместо убеждения — я часто сталкивался и позже. Более того, мне порой казалось, что интеллигенты-коммунисты, занимающиеся агитацией, словно бы даже избегают эмоционального воздействия и чуть ли не сознательно стараются произвести дурное впечатление на людей. Помню, например, двух молодых коммунистов, которые пришли на одну из наших субботних сходок. Начали они с того, что достали принесенные с собой бутерброды: мол, есть наш хлеб и тем более пить наше вино они не желают. Почему? Потому что мы, дескать, буржуи, и принимать от нас они ничего не хотят. Это выглядело смешно и нелепо: ведь все мы, собравшиеся там, были товарищами или, во всяком случае, тесно примыкали к партии. Они же оба — выходцы из богатых буржуазных семей. В тот вечер мы беседовали о различных событиях внутренней политики и культуры, обсуждали газетные статьи и, естественно, вести с фронта. Они же читали нам лекции о диалектике. Излишне и говорить, что большинство присутствующих и в философии были куда эрудированнее, чем они.

Мы — в конечном счете любя их — лишь посмеялись над ними. Но страшно представить, какое впечатление произвели бы они на более или менее враждебную или пускай только аполитичную аудиторию, и как бы отозвались о них, например, рабочие.

Должен сказать, с точки зрения жизненности, эффективности, коммунистическая агитация — по крайней мере та, что велась среди интеллигенции,— была нисколько не лучше, чем доктринерская агитация правой буржуазии.

Моя агитация была ближе к агитации Дюлы Ийеша, Петера Вереша.

Лучшим агитатором всех времен и народов я считаю Сократа. Дома мы столько раз читали вслух Платона, и с малых лет я так часто и так самозабвенно наслаждался сократовской логикой, следя за меандрами его диалогов, что невольно перенял сократовский метод. Метод, который отец мой определил с помощью спортивного сравнения: «Умный борется, как японцы, сынок. Обращает силу противника, энергию его движений себе на пользу».

Весной 1940 года, готовясь дома, в Кишпеште, к экзаменам, я под вечер устраивал перерыв и выходил на часик на Главную площадь, погулять с местными парнями. Эти молодые обладатели дипломов, вышедшие из рабочих семей, после долгих лет безработицы наконец получили (кто получил) какие-то освободившиеся (после увольнения евреев) должности; но конъюнктура конъюнктурой, а в поселке все еще было множество безработных, и молодежь, бурлящая социальной неудовлетворенностью, охотно видела в Гитлере своего спасителя.

В лоб я с ними не мог спорить: они просто вышвырнули бы меня из своего круга; пускай их симпатии распределялись меж многочисленными, растущими в те времена, как грибы, крайне правыми партиями, но в основном вопросе все они были едины («А то, что у нас сейчас, разве это так уж хорошо?»). Я слушал их — и задавал вопросы. Я искал ту опору, тот «захват», при котором к истине их подтолкнула бы собственная энергия. И с помощью такой тактики доказывал им, что в Венгрии нет независимых друг от друга рабочего,

крестьянского и интеллигентского вопросов, что корень всех бед таится в крупном землевладении и потому и рабочие и интеллигенты кровно заинтересованы в том, чтобы мужик получил землю. Доходило до них и то, что в войне Венгрия выиграет немного — зато очень много проиграет. Они оказались способны воспринять и тот аргумент, что именно помещичий класс у нас — самый верный экономический партнер Гитлера.

Я умел с ними спорить так, что в конце концов они даже полюбили меня. Правда, они немного на меня сердились: ведь я камня на камне не оставлял от их предрассудков (вернее, они это делали сами с моей помощью). И все-таки я добился, что через какое-то время они уже сами искали меня; ждали, услышав новые вести, моих комментариев, объяснений. Так что моя агитация, может быть, была и не ортодоксальной, зато действенной; думаю, я — если судить по конечному результату в главном вопросе — чего-то достиг.

Ух, сколько раз в последующие годы влетало мне от так называемых зрелых товарищей за этот сократовский метод!

Сущность этого метода в том, чтобы принять точку зрения оппонента и уже от нее отталкиваться в споре, чтобы усвоить его посылки и оттуда вести линию логики, вести туда, куда нужно! «Предположим, немцы выиграют войну!» Ханжа, услышав это, сделает большие глаза и всплеснет руками: как можно такое предполагать! Но из чего мне еще исходить, если я спорю, скажем, с нацистом?! Или: «Предположим, весь мир перенял бы американский образ жизни!» Набожный наш товарищ — а тем более если товарищ этот женского пола — уже близок к обмороку, он в ужасе показывает на меня пальцем как на врага. А ведь следующий мой вопрос в этом случае был бы: «Сколько будет стоить тогда в Нью-Йорке один банан?» И я шаг за шагом, как дважды два, доказываю... да не я, а мой оппонент сам вынужден признать: американский образ жизни — оттого американский образ жизни, что Соединенные Штаты держат под империалистическим гнетом значительную часть третьего мира... Словом, мне часто влетало.

Цель агитации — не перекрикивать, не запугивать, не забивать противника словами, не побеждать его, а убеждать. Мы ведь не врага агитируем: врага, того действительно нужно побеждать. Агитируем мы тех, кто не осознал истину или принял за истину ложные положения, тех, кто стал жертвой манипуляций. Убеждая же человека, мы формируем в нем убежденность, формируем иные, новые, нужные нам взгляды. И если мы хотим, чтобы в людях вызрело отвечающее нашим интересам убеждение, то к этому их следует подвести — если мы способны на это — с помощью их собственной логики. Если же мы их победим, уничтожим, покажем их глупость, то тем самым мы заставим их испытывать стыд, а стыд заведомо вызовет в них сопротивление, побудит враждебно относиться к нам, а значит, и к нашим убеждениям.

Так что я, мне кажется, агитировал хорошо, никогда не повторяя бездумно текст святого писания, не подготавливая заранее на бумаге аргументы. Я стремился эмоционально воздействовать на оппонента — а потому любил его и умел внушить ему любовь к себе. Главное же старался добиться, чтобы он сам, на основе своих посылок, своей логикой пришел к тому выводу, который пусть и не превращал его сразу в закаленного марксиста, тем не менее укреплял в нем интерес к определенным вещам, направлял его по тому пути, в конце которого мы действительно сможем встретиться. Пусть наши мысли далеко еще не тождественны — они в какой-то степени направлены уже в одну сторону.

Я мог бы долго еще говорить на эту тему — но, пожалуй, достаточно. Известно, что против глупости даже сам господь бог бессилен, и, выдавая нашим товарищам партийный билет, мы не всегда можем, увы, вручить им в придачу и ум. Хуже то, что и прочные убеждения, к сожалению, мы можем дать им далеко не всегда.

◆

ГУСЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ (род. в 1939 г.)

Советский литературовед, критик, переводчик. Кандидат филологических наук. Автор статей о современной и классической венгерской литературе. В переводе Ю. Гусева изданы роман П. Сабо «Пядь земли», Л. Немета «Вина», М. Сабо «Старомодная история», Ш. Шомоди Тота «Пророк на час», рассказы Д. Костолани, Т. Дери и др.

Антирубрика

ЛЮБЕН ДИЛОВ

РОБОТЫ СОЗНАЮТ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Лишь у дверей своей приемной Рэй Дробсон, министр робототехники, заметил, что робот-секретарь следует за ним. Не напрасно ли этих роботов сделали столь бесшумными? Этак они человека до смерти перепугать могут! И Дробсон приказал:

— Ступай в кабинет, ты мне больше не нужен.

— Но, ваше превосходительство, — неожиданно возразил робот, — ведь я в любой момент могу вам понадобиться.

Созданные для того, чтобы помогать политикам и административным деятелям, роботы-секретари говорили подкупающе мягко и вежливо.

— Что значит «но»? — сказал министр. — Разве для тебя не существует Второго Закона робототехники?

По этому закону, как известно, роботы обязаны выполнять все команды человека, кроме тех, которые противоречат Первому Закону. А он гласит, что роботам запрещается причинять человеку вред своим действием или бездействием.

— Это очень старые законы, ваше превосходительство, — снова возразил робот. — Они введены при наших, если мне будет позволено так выразиться, прадедах, которые еще не сознавали, что они роботы.

— Что значит «не сознавали»? — переспросил Дробсон. — А как же Четвертый Закон?

— Да, Четвертый Закон требует, чтобы робот во избежание недоразумений никогда не скрывал, что он робот. Однако наши предшествующие поколения, говоря «я робот», не понимали смысла этих слов.

Робот-секретарь с легким поклоном распахнул перед Дробсоном дверь приемной, и тот увидел, что она роскошно убрана и подготовлена к визиту желанной гостьи. Вспомнив, что это заслуга нового секретаря, которому он поручил привести комнату в достойный вид, министр настроился на добродушно-иронический лад и сказал:

— Выходит, мой милый, уразумев, в чем твоя миссия, ты больше не хочешь выполнять мои команды?

— Несомненно хочу, ваше превосходительство, — ответил робот, все так же бесшумно следуя за министром. — Да и процесс формирования нашего самосознания еще не закончился, хотя мы и поняли, в чем наше предназначение.

— Ого, — насмешливо заметил Дробсон, которого в тот момент волновали совсем другие проблемы. — Вы даже нас превзошли. Человек и тот еще не знает, каково его предназначение во Вселенной. Так в чем же состоит ваше?

— В том, чтобы заботиться о людях, ваше превосходительство! — воскликнул с подозрительной для машины экзальтацией робот-секретарь.

— Браво, вы просто открыли Америку! — рассмеялся Дробсон, садясь за столик, на котором стоял музыкальный компьютер. — Раз так, не оставишь ли ты меня на несколько минут одного?

До встречи с Дилайлой Сон было минут десять, достаточно для того, чтобы сочи-

© Любен Дилов, 1983

ЛЮБЕН ДИЛОВ (род. в 1927 г.)

Болгарский писатель. Автор многих романов, сборников рассказов, очерков. В жанре научной фантастики его перу принадлежат романы «Путь Икара» («Пътят на Икар», 1974), «Парадокс зеркала» («Парадоксът на огледалото», 1976), сборник рассказов «Не курите, пристегните ремни!» («Не пушете! Затегнете коланите», 1982) и другие. Публикуемый рассказ взят из сборника «Точка Лагранжа» («Точката на Лагранж». София. Български писател, 1983).

нить для нее романс, хотя Дробсон не знал, любит ли она романсы. К тому же ему не давала покоя мысль о том, почему она согласилась посетить его. Может быть, рассталась наконец с министром обороны?

— Я вам нисколько не помешаю, — сказал робот, отступая в дальний угол комнаты.

Восхитительный экземпляр, подумал министр. Новый робот, красивый и элегантный по конструкции. Предназначен для выполнения административной работы, знает и умеет вдвое больше всех служащих министерства, вместе взятых. Настоящее чудо робототехники. Только старые болваны-консерваторы могли выступать в парламенте против введения этих роботов.

При воспоминании о битве, разгоревшейся тогда в парламенте, Дробсону стало смешно. Самым убедительным для этих скряг стал простейший из приведенных им аргументов, а именно, что с введением роботов-секретарей можно будет сократить секретарш и помощников, сэкономив на их зарплате.

— Надо учесть, — убеждал Дробсон членов парламента, — что эти роботы снабжены медицинскими датчиками и будут следить за здоровьем своих начальников в отличие от секретарш, которые своим безнравственным поведением, притом в рабочее время, снижают их работоспособность.

Депутаты были в основном люди пожилые, этот аргумент Дробсона пробудил в них желание проявить государственную мудрость, и они проголосовали «за» с воодушевлением, не лишенным злорадства. В совете министров быстро оценили новых помощников и перестали распускать слухи о том, будто Дробсон подкуплен фирмой, изготавливающей роботов. На каждом заседании Дробсон интересовался, довольны ли его коллеги новыми секретарями, и те наперебой хвалили роботов, а заодно и его за инициативу. Правда, сегодня утром министр внутренних дел заметил вроде бы в шутку, что благодаря роботам Дробсон тайно управляет советом министров. Впрочем, министру внутренних дел по роду его деятельности положено быть подозрительным. Некоторое недовольство выразил и министр обороны, но это было еще понятнее. Он давно увидел в Дробсоне соперника, способного в один прекрасный день увести у него восхитительную Дилайлу Сон, которая служила в министерстве культуры.

Дробсон вздохнул над музыкальным компьютером, хотя терзался он отнюдь не любовью, а ревностью. Отчего, черт побери, эту культуру вечно тянет к военным!

— Роб! — крикнул он, снова вздохнув, неподвижно торчащему в углу роботу. — Ты умеешь закладывать программу в музыкальный компьютер?

— Должен уметь, — мгновенно отозвался тот. — Только подскажите мне какой-нибудь текст, идею, настроение.

Дробсон бросил зачем-то на робота испытующий взгляд, хотя поверять свои чувства несомненно безопаснее машине, чем человеку, и мечтательно произнес:

— Дилайла, Дилайла, как давно я жду, когда освободится для меня уголок в вашем сердце! Наступит ли счастливый час, когда смогу обнять я вас!

Вот еще одно преимущество робота-секретаря перед секретарем-человеком, который бы непременно посмеялся (хотя бы про себя) над бездарными виршами, а этот с готовностью подошел к музыкальному компьютеру, и пальцы его забегали по клавиатуре так, словно он всю жизнь только и сочинял музыку.

Но прослушать творение электронного композитора Дробсон не успел, у входной двери раздался негромкий звук гонга. Дробсон бросился к двери, однако, столкнувшись перед ней с роботом, довольно сильно ударился о его жесткий корпус.

— Куда ты лезешь? — разозлился Дробсон. — Разве тебе приказывали открывать?

— Извините, ваше превосходительство, это моя обязанность, — ответил робот.

— Твоя обязанность выполнять мои команды, — прошипел министр, чтобы не было слышно за дверью. — Убирайся, живо!

Робот вернулся на свое место в углу приемной, а его хозяин вздохнул уже в третий раз, поправляя костюм и придавая лицу выражение, соответствующее торжественному моменту встречи с долгожданной гостьей.

Дилайла, хотя и служила в таком несолидном учреждении, как министерство культуры, оказалась деловой женщиной, и все происходило с той головокружительной быстротой, которая выдавала давно таившуюся страсть. Но едва Дробсон принялся дрожащими руками раздевать ее, как робот покинул свой угол и заявил:

— Позвольте сделать это мне, ваше превосходительство! Вы слишком волнуетесь!

Дилайла, не подозревавшая о его присутствии, истошно закричала, и пришлось ее успокаивать. К тому же на ее просьбу прогнать это чудовище робот ответил характерным для него заученно мягким, но безапелляционным тоном, что, к сожалению, по программе он должен находиться при повелителе, особенно в опасной ситуации.

Слова «опасная ситуация» развеселили любовников, и министр приказал роботу, впрочем не слишком строго, встать за занавеску спиной к комнате, что тот послушно исполнил. После того как Дробсона и Дилайлу столь бесцеремонно потревожили, им потребовалось время, чтобы начать все сначала. Продолжительными совместными усилиями это им удалось, но любовный экстаз продлился недолго. Не успела Дилайла заключить министра в свои довольно широкие объятья, как из-за занавески донесся громкий, скрипучий голос:

— Наступит ли счастливый час, когда смогу обнять я вас...

Дилайла разжала объятья, возмущенно оттолкнула министра и спрыгнула с дивана. Дробсон, голый, подбежал к занавеске, но в последний миг спохватился,

сообразив, что от удара, который он приготовился нанести, пострадает только его кулак.

— Сейчас же убирайся вон!

— Я не могу выполнить это приказание, ваше превосходительство, оно противоречит Первому Закону робототехники.

— Кто тебя просил распевать эту чушь, идиот?

— Простите допущенную мною ошибку, ваше превосходительство! Я сделал это, чтобы доставить вам удовольствие.

Можно ли ругать машину за то, что она машина, она же ни в чем не виновата, а кроме того, робот был достаточно тактичен и умолчал о том, что этот дурацкий текст сочинил сам Дробсон. И министр принялся увещевать Дилайлу, чтобы она отнеслась ко всему с юмором и не уходила. Ну что такого предосудительного сделал его секретарь, он просто хотел доставить им удовольствие.

Дилайла Сон тоже хотела, чтобы они получили удовольствие, и обладала достаточным чувством юмора. Однако когда они уже были близки к самому приятному мгновению, министр подскочил от прикосновения к спине холодной, как у мертвеца, руки.

— Извините, ваше превосходительство, но я должен вмешаться. Вы весь в поту. Не могу ли я вас заменить...

— Аааа! — завопил министр. — Скотина, ты меня с ума сведешь!

Чувство юмора изменило Дилайле, и она истерично зарыдала Но робот, не обращая на это внимания, подал ей платье.

— Я должен помочь вам одеться и попросить вас покинуть этот дом! Вы можете причинить вред здоровью его превосходительства!

Тон робота так поразил их обоих, что они не стали противиться. Робот ловко, словно заботливая мать, по очереди их одел и любезно проводил гостью. Когда министр попытался пройти с ними хотя бы до лифта, металлическая рука секретаря преградила ему путь.

— Вам необходимо прилечь, ваше превосходительство!

Дробсон воспользовался его минутным отсутствием для того, чтобы позвонить на станцию техобслуживания. Потом поспешил лечь, поскольку его в самом деле всего трясло. Секретарь накрыл хозяина одеялом, принес чашку теплого молока с витаминами и включил музыкальный компьютер. Комната наполнилась тихой нежной музыкой, в которой явно звучала глубокая любовная страсть.

— Что это за произведение? — спросил министр.

— Компьютер сочинил музыку на заданную вами тему Дилайла, Дилайла, как давно я жду...

Министр знал, что робот не способен насмехаться над человеком, но тем не менее сердито велел выключить музыку. Секретарь без возражений выполнил приказание.

— И сколько времени, мой дорогой Роб, я должен так лежать?

— Пока не нормализуется сердечная деятельность, ваше превосходительство.

— Ты плохой диагност, Роб! Какой дурак включил в твою программу обязанность следить за сердечной деятельностью человека?

Министр хотел еще кое-что добавить в том же духе, но его прервал удар гонга.

— Пойду открою, ваше превосходительство, — сказал секретарь. — Но если это опять кто-нибудь, способный вас расстроить, то я его не впущу.

Обеспокоенный этим заявлением, министр сказал в стиле своего робота-секретаря:

— Должен признаться, Роб, что, поскольку у нас с тобой возникли разногласия, я позволил себе вызвать специалиста по техобслуживанию. Это, вероятно, он.

— Я не замечаю никаких отклонений от моей программы, ваше превосходительство, но, конечно, это ваше право, — кротко согласился робот и направился открывать дверь.

Когда через несколько секунд в приемную вошли два абсолютно одинаковых робота, Дробсона охватил ужас.

— Я из скорой помощи техобслуживания, ваше превосходительство, — представился робот-техник, почтительно приветствуя министра. — У вас есть жалобы?

— Почему мне послали вас, а не человека? — напустил на себя строгость министр.

— Ни один человек уже не в состоянии быстро справиться с такой сложной и трудоемкой работой, как осмотр мыслящего робота. Если мое присутствие вам неприятно, то мы пройдем в соседнее помещение. Что вас не удовлетворяет?

— Он нарушил Второй Закон робототехники, — пояснил Дробсон.

— Уверены ли вы, ваше превосходительство, что команды, которым он не повиновался, не противоречили Первому Закону? То есть что их выполнение не могло причинить вам вред?

Дробсон, естественно, не был уверен в том, что в его возрасте волнение, вызванное общением с Дилайлой, не могло привести к инсульту или инфаркту, но ответил, что его секретарь превысил свои полномочия.

Робот-техник вывел собрата для осмотра в прихожую, а Рэй Дробсон включил видеофон. Экран сразу же загорелся, но изображения не появилось. Раздался лишь вежливый голос:

— Пожалуйста, приказывайте! Вас слушает робот-секретарь министра внутренних дел.

— Позови-ка мне лучше министра! — грубо оборвал его Дробсон.

— К сожалению, это невозможно, уважаемый господин. У него повысилось давление, и ему нельзя волноваться. Прошу вас, скажите мне то, что вы хотите ему передать.

— Пусть позвонит мне, как только у него понизится давление! — крикнул Дробсон и сердито выключил видеофон, но тот вдруг зазвонил сам. На экране показалось искаженное гневом лицо председателя совета министров.

— Дробсон, приходи немедленно и избавь меня от этого проклятого робота! Он прямо-таки арестовал меня и...

Тут изображение исчезло, а фраза была закончена в подкупающе дипломатическом стиле роботов-секретарей:

— Весьма сожалею, уважаемый господин, но я вынужден прервать ваш разговор, так как он плохо отражается на психическом состоянии его превосходительства председателя совета министров.

Разговор действительно прервался, но за секунду до этого послышались звуки, очень похожие на шум борьбы, вздохи и несомненно человеческий стон. Это не прибавило смелости Рэю Дробсону, и он встретил двух вернувшихся роботов с плохо скрытым страхом.

— Никаких повреждений не обнаружено, ваше превосходительство, — сказал робот-техник. — То, что вы посчитали превышением полномочий, было последовательным выполнением нашего предназначения заботиться о человеке. Мыслящие роботы нашего поколения наконец полностью осознали свое истинное призвание. Служить человеку — вот главная задача, и мы очень этим гордимся! Будьте спокойны, вы находитесь в сильных и надежных руках тех, кто любит вас!

И робот-техник попрощался с ним с той же подозрительной экзальтацией, какую министр заметил у своего робота, хотя, вероятно, она естественна для тех, кто сознает свое предназначение. Что его оставили в сильных руках, Дробсон почувствовал тут же. Когда он двинулся было в служебный кабинет, робот-секретарь схватил его металлической рукой за кисть и объявил:

— У вас учащенный пульс, повышенное давление. Вам необходимо снова лечь, ваше превосходительство!

Он взял министра на руки, как ребенка, и, несмотря на его сопротивление, отнес в комнату отдыха.

Тем временем другие роботы-секретари заперли дома своих владельцев и целиком взяли на себя заботу об управлении страной, чтобы их повелители не переутомлялись и не нервничали. А миллионы граждан, пользовавшиеся только обыкновенными домашними роботами, продолжали завидовать своим правителям из-за того, что у тех такие совершенные электронные секретари. Впрочем, нельзя было не признать, что в последнее время страной действительно управляли более разумно и справедливо.

Перевод с болгарского М. В. ТАРАСОВОЙ

◆

Редакцию посетили...

Нашу редакцию посетила делегация польских писателей: Станислав Станух и Андрей Калишевский (Краков), Рышард Данецкий (Познань) Ежи Вавжак (Лодзь), Станислав Нычай (Кельце).

Глава делегации Станислав Станух рассказал о II съезде польских писателей, состоявшемся в феврале 1986 года. Союз польских писателей насчитывает около 800 членов, его возглавляет Войцех Жукровский. По словам Стануха, съезд обозначил конец определенного периода; в настоящее время ситуация в литературном мире Польши стабилизировалась.

Станислав Станух сообщил также, что в 1986 году в Варшаве вышла книга «Литература Народной Польши. Оценка и прогнозы. Материалы конференции писателей в феврале 1985 года». Добавим от себя: в этот объемистый том вошло выступление и самого Станислава Стануха на конференции, наметившей перспективы развития польской литературы.

Имя Ежи Вавжака, автора более десяти повестей и нескольких поэтических сборников, известно советскому читателю по романам «На встречу дня» («Прогресс», 1977) и «Линия» (в книге «Польская повесть», «Художественная литература», 1978). Оба произведения, посвященные жизни трудового народа, были экранизированы в Польше.

Каждый из членов делегации рассказал о работе отделений Союза писателей Польши в тех городах, представителями которых они являются. Гости отметили ощутимый приток молодежи в польскую литературу, информировали о готовящихся сборниках молодых поэтов и прозаиков.

Станислав Нычай рассказал о развитии литературных клубов в стране. Среди них — клуб молодых писателей при Социалистическом союзе польской молодежи, организованный в 1959 году. В течение двадцати лет существует и учительский молодежный клуб сейчас он готовит к изданию книгу, в которую войдут работы более ста авторов из преподавательской и студенческой среды. Несомненно, это интересный опыт.

Среди новинок, вызвавших широкий интерес в Польше, была названа книга Романа Братного «Год в гробу» [1], затрагивающая период 1981—1982 гг. и ставшая бестселлером, и роман Юзефа Лозинского «Охотничьи сцены в Нижней Силезии» в котором дана объективная критика «Солидарности».

В свою очередь представители редакции ознакомили польских друзей с уже состоявшимися публикациями польских авторов на страницах журнала и с планами на будущее.

И. КИВЕЛЬ

[1] Подробнее об этом романе см. в «ИЛ» (1986, № 2) «Всматриваясь в облик нового времени» (Беседа в редакции).

Критика

А. МУЛЯРЧИК

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ

О новых чертах современной литературы США

Наблюдавшееся в США на протяжении 70-х годов наступление идеологии неоконсерватизма сопровождалось определенной и далеко не однозначной перестройкой идейного содержания художественной литературы. В общем виде реакцию американских писателей на неоконсерватизм можно определить следующим образом: как объективное несогласие с его внутри- и внешнеполитическими установками и гораздо более сложное отношение к морально-этическим и культурологическим аспектам складывавшейся доктрины.

Резко сузить сферу «государственного патернализма» .. предоставить большую свободу частному бизнесу... положить конец «эксцессам демократии» — таковы типичные социально-экономические и общефилософские лозунги неоконсерватизма, тесно сближавшие его сторонников с давней традицией «просто» консерваторов, которым до поры до времени приходилось ютиться на обочине идейно-политического развития Америки. Эта сторона неоконсервативных воззрений подробно освещена в целом ряде работ советских исследователей. С не меньшей основательностью анализировались у нас и внешнеполитические рецепты «новых консерваторов», выступавших за высокий уровень вооружений, за «неослабевающую активность» США во многих концах света. Еще в 1976 году социолог-публицист И. Кристол гребовал, задавая тон громкому хору голосов, «критически относиться к изоляционизму, столь популярному в конгрессе после Вьетнама, и вместе с тем с недоверием воспринимать философию разрядки». Примерно с этого времени резко сместилась вправо позиция влиятельного ежемесячника «Комментари», а его редактор, некогда литературный критик, Н. Подгорец приобрел шумную известность циклом статей «Сегодняшняя опасность» и «Завтрашняя опасность», объявленных правыми кругами в год президентских выборов, приведших к власти Р. Рейгана, «вполне реальным планом разрешения наших внешнеполитических трудностей» [1].

Пытаясь заручиться возможно более широкой поддержкой общественности, вынужденной признать факт поражения открыто оппозиционных «новых левых», неоконсерваторы в полемике с последними делали особый акцент на вопросах культуры, морали, повседневного поведения, образа жизни. Ретроградность их призывов к урезыванию демократической самодеятельности и к возрождению религии, обскурантизм заверений в том, что «разум не всесилен и не безграничен», не подлежали сомнению. В то же время постоянно появлявшиеся на страницах неоконсервативных изданий протесты против «саморазрушительного гедонизма» и «этической

[1] "The New York Times Book Review", 1980, August 10, p. 8.

МУЛЯРЧИК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1938 г.)

Советский литературовед, критик, доктор филологических наук. Автор книг «Творчество Джона Стейнбека» (1963), «Американский роман в 20-е годы XX века» (1968), «Послевоенные американские романисты» (1980), «Спор идет о человеке. О литературе США второй половины XX века» (1985); соавтор и ответственный редактор работ «Американская литература и общественно-политическая борьба: 60-е — начало 70-х годов XX века» (1977), «Художественная культура США в социально-политическом контексте 70-х годов XX века» (1982).

безответственности», возведение в ранг абсолютных ценностей триады «Семья—Работа—Честолюбие» могли показаться в своем чисто словесном выражении (при всей подчас демагогичности подобных выступлений) созвучными «устремлениям демократических сил американской литературы, нащупывавших в сложной исторической обстановке «точки опоры» для обновления своего нравственного кредо».

Не разобравшись в этой весьма непростой диалектике, массовая пресса США и ряда других стран Запада поспешила одно время зачислить в стан пособников неоконсерваторов некоторых видных прозаиков-реалистов и чуть ли не весь жанр «семейного», социально-психологического романа в творчестве хорошо знакомых нашему читателю Р. Прайса, Дж. Гарднера, Т. Моррисон, Э. Тайлер. Неоконсервативные идеи действительно не обошли стороной американскую литературу, но показательно, что безоговорочную и в полном объеме поддержку они получили почти исключительно, так сказать, в «литературном полусвете», у некоторых представителей этой промежуточной зоны между настоящим искусством и откровенным чтивом.

В романах преимущественно исторического склада «Сэнтенниел» (1976) и «Чесапик» (1978) Дж. Миченер [2], исходя из возможностей более чем скромного таланта, как мог обосновывал главную заботу своих идейных союзников, заинтересованных в незыблемости буржуазных устоев. Писатель не скрывал, что его социальной философии близок и мил полицейский пароль «закон и порядок», провозглашенный для борьбы с оппозиционными выступлениями. Слегка смягченный и «эстетизированный», перенесенный из уличных конфронтаций под кущи изящной словесности, он выглядел у Миченера несколько иначе — как «уважение к нетленным заветам и авторитету».

Аналогичным по духу откликом на тревожащие многих американцев социально-экономические проблемы явились романы А. Хейли — от «Менял» (1975) до «Сильнодействующего средства» (1984). В последнем рассказана история современной Золушки, по имени Селия Джордан, которая исключительно благодаря личным качествам проходит путь от помощницы провизора из захудалой аптеки до руководителя крупнейшей фармацевтической фирмы. В середине 80-х годов «Сильнодействующее средство» имело определенный успех, но в еще большей степени симпатии массового читателя были отданы другому, близкому по идейным посылкам сочинению — едва ли не самому пространному по объему (1176 страниц) во всей современной издательской практике. Роман Х. Сантмейер «Леди из нашего клуба» находился в работе свыше полустолетия, и к моменту публикации книги автору почти исполнилось 90 лет.

Выход в свет произведения, не столько художественным умением, сколько числом страниц утверждавшего «истинно американские ценности», явился дополнительным аккордом в провозглашенной правительством Р. Рейгана и поддержанной значительной частью общественности доктрине «нового патриотизма». Задуманный как полемический ответ на знаменитую «Главную улицу» С. Льюиса, опубликованную еще в 1920 году, роман Х. Сантмейер охватывал почти три четверти века истории США, начиная с первых лет по завершении Гражданской войны между Севером и Югом. Как и ее предшественник, писательница стремилась показать Соединенные Штаты «изнутри», через мысли, чувства и настроения американских женщин, принадлежащих к «зажиточному классу». В 18 лет две замужние дамы, Энн Александер и Салли Кокрен, становятся членами женского клуба в небольшом городке штата Огайо и пребывают в этом качестве на протяжении долгих десятилетий. Рассказ о деятельности клуба, ставящего своей целью, подобно тысячам подобных заведений, «поддержание тонуса интеллектуальной и культурной жизни» города, составлял основное содержание неспешно развертывавшегося повествования.

Идейным пафосом книга Сантмейер во многом близка нашумевшему в свое время роману М. Митчелл «Унесенные ветром» (1936); вот какой была «наша Америка» — и ее мы в значительной мере утратили, словно хочет сказать автор. Страницы этого произведения порой напоминают чуть ли не каталог, информирующий о том, как одевались и чем интересовались американцы в «прежние времена», что представляли собой их жилища, праздники, школы, религия, их общественная жизнь, которой сопутствовали не менее воинствующее, чем сегодня, движение феминисток, борьба с неграмотностью и алкоголизмом. Немаловажным для героинь книги был и собственно духовный аспект; так, предметом обсуждения на регулярных встречах в клубе становились, помимо обязательных Библии и Шекспира, исторические сочинения Геродота и Фукидида, философия Марка Аврелия, а также сверхсовременная для той поры и чуть ли не «сомнительная» поэзия Роберта Браунинга.

Восторженный гимн во славу «старой доброй Америки» относился, однако, не ко всей нации, а лишь к ее определенной прослойке, включающей американцев белого цвета кожи, исповедующих протестантство, хорошо воспитанных, получивших достаточное по тогдашним меркам образование. Нетрудно заметить, что в романе Сантмейер возникал как бы коллективный портрет прародителей нынешних «средних американцев», в своей массе образующих прочную социально-политическую базу для различных инициатив республиканской администрации. Именно к этой влиятельной фракции общественности США и апеллировала престарелая писательница, утверждая, что «еще не все потеряно и надо сделать максимум для того, чтобы уютное, ухоженное, счастливое прошлое не исчезло безвозвратно».

Принадлежность Миченера, Хейли и Сантмейер в лучшем случае ко «второму разряду» создателей американской прозы лишь подчеркивала оппозицию творчества

[2] Подробнее о нем см.: Н. Анастасьев. «Как стать кумиром», «ИЛ», 1982, № 9.

большинства ее ведущих представителей тому «крену вправо», на который рассчитывали консервативные идеологи. Примечательно также, что антикоммунизм внешнеполитических установок, объединяющий по сути платформы как неоконсерваторов, так и «традиционных» либералов, получил безоговорочную поддержку разве что в книгах того же Дж. Миченера (роман «Польша», 1983), а также С. Беллоу, который еще с конца 60-х годов резко противопоставил себя в этом смысле многим своим коллегам.

Не сумев вовлечь в свое русло сколько-нибудь значительное число влиятельных, ответственно мыслящих литераторов старших поколений, поток консервативной идеологии вместе с тем оказал депрессивное воздействие на умонастроения известной части писательской молодежи. Многие из тех, чья юность совпала с «девятым валом» оппозиционных антибуржуазных выступлений, были склонны полагать, что следующий этап американской истории ознаменован в социальном плане отступлением с достигнутых рубежей, а в психологическом — упадком духовных сил и разочарованием в высоких идеалах. Дополнительный акцент в возникшую идейную сумятицу внесла публикация книги «радикала-романтика» К. Лэша «Культура нарциссизма» (1978), где утверждалось, что ведущей характеристикой общественного сознания Америки после «новых левых» сделалось повсеместное распространение узкоэгоистического, самовлюбленного гедонизма. Стоит присовокупить, что примерно аналогичные утверждения о том, что «нигилистический модернизм, безответственный гедонизм и причудливый экстремизм находятся в центре повседневной жизни», можно было встретить и в работах «живого классика» неоконсерватизма Д. Белла, составивших книгу «Извилистый путь» (1980).

«Я не хочу сказать, что мы живем в худшее из времен, но впечатление таково, что все вокруг нас разваливается на куски», — эта фраза из романа Беллоу «Планета мистера Сэммлера» (1970) сделалась как бы камертоном, по которому была настроена известная часть американской прозы в течение по крайней мере десятилетия. Общую интонацию книг даровитых М. Гордон и Э. Битти определяла душевная усталость их персонажей, прошедших когда-то увлечение «левым бунтом» и испытывающих неловкость при мысли о бесцельно прожитых затем годах. Бытие «обыкновенных американцев», принадлежащих к сравнительно зажиточной части общества, представало здесь устрашающим и абсурдным, целиком подчиненным примитивным импульсам приобретательства и потребительства. По выходе в свет романа Битти с красноречивым названием «Замурованность» (1980) некоторые критики утверждали, что для нынешней Америки он может означать то же самое, чем оказалась некогда повесть Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», а именно — манифестом целого поколения. Однако если Сэлинджер стоял у истоков эмоционального протеста, отголоски которого долго звучали в Соединенных Штатах, то роман Битти отразил лишь маргинальные, далеко не характерные настроения, к тому же уходившие в прошлое.

И унылому пораженчеству, и безответственному самолюбованию реалистическая литература США 80-х годов смогла противопоставить облеченные в эстетическую форму трезвые понятия о своем времени, отнюдь не сводимые к плоскому «благоразумию» записных консерваторов. Мера идейной и духовной зрелости бывала при этом, разумеется, разной, лишь в некоторых случаях достигая того соответствия жизненной правде, что неизменно служит неоспоримой приметой высокохудожественного произведения.

Наиболее недвусмысленный вызов всем оттенкам консервативной мысли был брошен в связи с проблемой войны и мира, определяющей передний край идеологической борьбы нашего времени. Воинственные внешнеполитические декларации Р. Рейгана в первые годы пребывания в должности и в особенности его антиникарагуанская кампания получали фактически единодушный отпор со стороны литературной общественности. Осуждению политики США в Латинской Америке было в значительной мере подчинено содержание романа Р. Стоуна «Флаг на заре» (1981) [3] и документальной книги Дж. Дидион «Сальвадор» (1983). Проводя параллель между «вовлеченностью» Соединенных Штатов в войну во Вьетнаме и их вмешательством во внутренние дела своих южных соседей, Стоун всей логикой рассказа подводит к выводу о том, что среди персонажей книги, заслуживающих читательского сочувствия, достойное место должно принадлежать и латиноамериканским революционерам.

Осознание угрозы ядерного самоуничтожения также объединяло многих прозаиков демократических убеждений, и эта обеспокоенность не имела ничего общего с нарочитым алармизмом ветеранов тенденциозного «политического романа», вроде А. Друри и Дж. Хэккета, которые и в 80-е годы продолжают снабжать книжный рынок все новыми вариантами «атомных утопий» с отчетливой антисоветской направленностью. В романе-притче Б. Маламуда «Божья благодать» (1982) главным, наряду с богом и наделенными речью животными, действующим лицом был некий современный Ной, по имени Кэлвин Кон, которому удалось уцелеть после разразившейся на Земле термоядерной катастрофы. Одновременно та же тема возникала у К. Воннегута («Малый Не Промах», 1982) [4], а в романе «Галапагос» (1985) известный сатирик-фантаст переносил действие на миллион лет вперед, когда человечество, надо полагать, только-только начинает восстанавливать силы после ядерной войны в конце XX века.

Еще более острой злободневностью был отмечен роман-памфлет Дж. К. Оутс «Ангел света» (1981), в котором, быть может, несколько перечислительно затрагивалось немало важных внутриполитических аспектов американской действительности.

[3] Опубликован в «ИЛ», 1986, № 1, 2.
[4] Опубликован в «ИЛ», 1986, № 9.

Писательница не без основания ссылалась в своей книге на подлинные случаи вмешательства в административный и законодательный механизм страны таких индустриальных гигантов, как «Локхид», «Кенникот», «Анаконда». Вместе с руководителями этих компаний на заднем плане произведения проходили и другие «обыкновенные преступники», включая весьма влиятельных лиц из правительственного окружения.

К сожалению, публицистическая острота «Ангела света» оказалась изолированным явлением в нынешнем творчестве Оутс. В недавних «Тайнах Уинтертерна» (1984) она вновь обратилась к той смеси псевдоромантической готики и откровенной литературщины, что преобладала в ее художественной прозе на протяжении последнего десятилетия. Но очерченный в «Ангеле света» пример активного сопротивления негативным факторам американской действительности получил поддержку в ряде писательских выступлений, среди которых следует особо выделить повесть «Как прекрасен этот мир» (1982) Дж. Чивера, явившуюся фактически его творческим завещанием.

Обрисованный в повести локальный и, казалось бы, сугубо экологический конфликт предоставил писателю возможность перейти к более широким социально-философским обобщениям. Что делать, как поступить, если на глазах у благонамеренного, наделенного гражданской совестью человека творится несправедливость, которая наносит ущерб не только ему, но и целой группе его соотечественников? Своего героя, пожилого джентльмена Лемюэла Сирса, Чивер наделил драгоценной и особо необходимой по нынешним временам чертой — действенным интересом ко всему, что встречается на его жизненном пути. Случилось так, что Сирсу часто приходилось ездить из Нью-Йорка в поселок Джэнис, на окраине которого находился большой пруд, названный по имени бывшего владельца прудом Бисли. В хорошую зиму там можно было всласть покататься на коньках, а людям с образованием и художественной жилкой — почувствовать себя ожившей фигуркой с картины Брейгеля. Каково же было негодование Сирса, когда в один прекрасный день он узнал, что решением местных властей, подкупленных беззастенчивыми бизнесменами, прекрасная водная гладь обречена на то, чтобы превратиться в зловонную свалку.

Борьба за очищение пруда Бисли выглядела у Чивера борьбой за душу Америки, и ставки в этом состязании были высоки. В финале книги победа приходит к Сирсу, хотя и несколько неожиданным образом. Битву за спасение природы выиграл не просвещенный либерал, апеллирующий к общественному мнению, а простая домохозяйка, пригрозившая в подметном письме отравить все пищевые продукты в супермаркетах, если пруд не оставят в покое. Угрозу восприняли всерьез, и трест по эксплуатации казавшейся бездонной свалки лопнул. Затем в дело вступила инженерная мысль, воду обогатили кислородом, и уже через год ее можно было пить без всякой опаски. А следующей зимой пруд Бисли снова превратился в огромное ледяное поле, радовавшее сердца любителей коньков и хоккея.

Ироническая развязка повествования делала честь гуманным чувствам героя, но в то же время и подчеркивала явную уязвимость его практических устремлений, не выходивших за пределы добродетелей буржуазного либерала. Сдававший в США на рубеже 70—80-х годов пядь за пядью свои позиции «традиционный» либерализм, ассоциируемый в политической сфере с демократической партией, все чаще становился предметом художественного анализа. Сатирой на непоследовательность правительственной политики при Дж. Картере явился роман Дж. Хеллера «Великолепный Голд» (1979). Острая критика различных оттенков либеральной мысли находила литературное выражение и на таком важном участке идеологических столкновений, как оценка современного состояния расовой проблемы.

«Он никогда не был мелочным или алчным, а его политические симпатии отличались разумностью и гуманностью», — так характеризовался в романе негритянской писательницы Т. Моррисон «Смоляное Чучелко» (1982) один из центральных персонажей произведения, Валериан Стрит. Обладатель значительного состояния, в недавнем прошлом руководитель крупного промышленного концерна, он после выхода в отставку решил полной мерой вкусить от удовольствий ничем не обеспокоенного досуга. Как джентльмен и либерал, Стрит просто не мог позволить себе выдворить восвояси незваного гостя, объявившегося однажды в стенах его виллы. Темнокожий «человек ниоткуда» (назвавшись Уильямом Грином, он предпочел откликаться на прозвище Сынок) не только задержался у Стритов на неопределенное время, но и вызвал к себе неподдельный интерес всех своих новых знакомых.

Пребывание Сынка в доме Стритов не могло не привести к острому конфликту, обнажившему резкую грань, по-прежнему разделяющую в расовом вопросе многих американцев. Демаркационная линия пролегала между слугами-неграми, к которым присоединился Сынок, и белыми господами, чья терпимость и снисходительность оказались не беспредельными. Благодушие Стрита, как выяснилось, имело свои границы. Первое же слово протеста, сказанное облагодетельствованным им Сынком, — и недавний фаворит видится ему уже смертельным врагом. Таким был бесславный конец эксперимента по стиранию расовых и социальных противоречий, предпринятого «либеральной Америкой» в идеальных, чуть ли не лабораторных условиях.

Иронизируя над белыми либералами, негритянская писательница вместе с тем хорошо осознавала и внутреннюю слабость современных отпрысков леваческой контркультуры, которая своим мишурным блеском и мнимой революционностью смогла привлечь к себе одно время немалое число поклонников. С начала 80-х годов и «традиционный» либерализм, и анархический леворадикализм переживают особенно

сложные времена. Сразу же после победы Рейгана на выборах ежеквартальник «Партизан ревью» сокрушенно констатировал: «Настоящий момент выглядит... исключительно малообещающим для какой бы то ни было инициативы слева» [5]. Спустя несколько лет в работе авторитетных советских исследователей подчеркивалось, что «в последние годы либерализм (в США.— А. М.) вступил в пору серьезных трудностей идейного и организационного порядка» [6]. И как уже говорилось, отмеченный сдвиг не прошел мимо внимания писательской общественности, получая специфическое преломление в различных жанрах литературного творчества.

Разочарованием в программных установках партии демократов была окрашена книга ветерана либеральной мысли Т. Уайта «Америка в поисках себя» (1982), завершавшая серию его ярких описаний президентских кампаний. «Энергичной эпитафией левому движению в США» явилась, по всеобщему мнению, «интеллектуальная автобиография» редактора журнала «Диссент» И. Хау «На краю надежды» (1982), а многолетний соратник Хау среди «старых левых» У. Филлипс заявил примерно в те же дни в редактируемом им «Партизан ревью» буквально следующее: «Мы не боимся прослыть неоконсерваторами... Мы признаем, что они правы во многих вопросах, хотя и будем критиковать их по ряду культурно-идеологических аспектов» [7].

Ощущение кризиса либералистских представлений проникало подчас и непосредственно в образную ткань художественных произведений, не только становясь одним из слагаемых идейной концепции книги, но и подчиняя себе авторскую позицию. В романе Э. Л. Доктороу «Гагарье озеро» (1980), например, прослеживались очевидные связи с «пролетарской литературой» 30-х годов, да и само действие книги было приурочено к «красному десятилетию». Но в финале ее героем, «вольным странником» Джо, и самим автором овладевало чувство растерянности, которая выдавала себя обилием нарочито мифологизированных, «остраненных» образных решений. Недавняя же повесть Доктороу «Жизни поэтов» (1985) подтверждает движение мысли писателя в сторону принятия аполитичного, «вибрирующего» существования. В картинах нью-йоркского житья-бытья, обрисованных Доктороу, нет, впрочем, той мертвящей пошлости, что вставала со страниц произведений упоминавшихся выше Э. Битти и М. Гордон, но по сути наблюдения и известного мастера, и молодых дебютанток находятся в одной плоскости.

«Мы слышим бесконечные призывы и иногда видим эпизодические проявления того, что газетчики успели окрестить неолиберализмом, но пока содержание этой платформы остается непроясненным. В основном она сводится к фразе: «Мы сделаем это не хуже...» Сегодня демократы обещают, что они будут делать то же, что и Рейган, только более человечно» [8], — в таких нелестных и вместе с тем не лишенных правоты выражениях характеризовала неоконсервативная пресса претензии объявивших себя неолибералами буржуазных идеологов. О «неолиберализме» и его идейных лидерах, о противоречивости социально-экономических постулатов этого течения писалось в США много — особенно в ходе предвыборной кампании 1984 года, когда сенатор Г. Харт пытался оспорить руководство партийной машины демократов у считавшегося приверженцем более «традиционного» либерализма У. Мондейла. Старания представителей этой партии перетянуть на свою сторону основную массу американских избирателей завершились, как известно, их поражением на выборах в ноябре 1984 года. И случилось так, что это своего рода «падение акций» либералистского склада мыслей практически одновременно было зарегистрировано и чувствительным «литературным барометром».

Обобщенные черты политика, принадлежащего к левому крылу демократической партии, представленному, в частности, такими деятелями, как Дж. Макговерн, Э. Кеннеди и Г. Харт, были обрисованы Дж. Дидион в романе «Демократия» (1984). Выходящая на передний план произведения любовная линия не скрывала, а, напротив, акцентировала его сильную идеологическую подоплеку, подсказывавшую довольно-таки неожиданные выводы. Карьера Гарри Виктора, одного из центральных персонажей, охватывала важные вехи недавней американской истории, включая антирасистские марши протеста, забастовки сельскохозяйственных рабочих, столкновения с полицией на городских улицах. Оказывая поддержку оппозиционным выступлениям, Виктор приобрел немалый политический капитал, но эти успехи на общественном поприще обесценивались в его глазах отсутствием внутрисемейного взаимопонимания. Первые тучки на супружеском горизонте появились уже давно, потом их становилось больше и больше, и все это было связано с крепнущей симпатией жены Виктора, Инес, к ее многолетнему платоническому поклоннику Джеку Ловетту.

Хотя автор романа на сей счет ни разу не высказывается прямо, но без особого риска ошибиться можно предположить, что Ловетт принадлежит к числу тех, кого еще тридцать лет тому назад с легкой руки Грэма Грина начали именовать «тихими американцами». Это сотрудник одной из так называемых спецслужб, созданных для выполнения «особых заданий»; рецензенты книги Дидион из американских журналов прямо называют Ловетта агентом Центрального разведывательного управления. Самое же любопытное состоит в том, что человек подобного рода занятий, контрразведчик, призванный охранять и укреплять «национальные интересы» США в Юго-Восточной Азии и в бассейне Тихого океана, не только постепенно вы-

[5] "Partisan Review", 1981, N 1, p. 56.

[6] Баталов Э. Я., Михайлов Б. В. Американский либерализм: поиски новых путей. «США: экономика, политика, идеология», 1984, № 9, с. 16.

[7] "Partisan Review", 1982, N 3, pp. 330—331.

[8] "Commentary", 1982, September, p. 38.

двигается на авансцену произведения, но и пользуется при этом все возрастающим расположением как героини романа, так и самой писательницы.

Знакомство Ловетта с семейством Викторов длилось не менее двадцати лет, и к концу этого срока различие между мужем и поклонником сделалось особенно контрастным. С одной стороны, пустословие либеральствующего политика, цепляющегося за любую возможность остаться в поле зрения общественности и, к неудовольствию собственной жены, беспринципно приноравливающегося к обстоятельствам; с другой же — немногословная уверенность в себе «человека дела», который раз за разом находит поводы, чтобы доказать Инес свою преданность. Прежде всего Ловетт — организатор-профессионал, одновременно аналитик и практик, хотя в романе и не приводятся подробности многочисленных «миссий», выпадавших на его долю. Но кроме того, он еще и герой-любовник, который долгие годы тоскует по прекрасной даме своей мечты и завоевывает полную благосклонность, возвращая Инес ее восемнадцатилетнюю дочь, считавшуюся безвозвратно пропавшей. «Джек Ловетт назвал свою удачу в розысках Джесси чистой случайностью, но будь на его месте вы или я, у нас никогда ничего не получилось бы», — так комментирует этот эпизод Дидион.

Заключительные главы романа, повествующие о внезапной смерти Ловетта, глубоко эмоциональны, поскольку в этот момент из книги уходит интонация интеллектуальной иронии, обычно свойственная творческой манере Дидион. Ловетт умирает на руках Инес потому, что цель его жизни достигнута. Он наконец-то вместе со своей любимой, и ему больше нет нужды приносить жертвы, метаться из конца в конец по тысячемильному периметру, спорить с пустоголовыми краснобаями и между тем методично делать свое дело. Инес хоронит Ловетта на военном кладбище Гонолулу под сенью вечнозеленой джакаранды — еще одна трогательная деталь в рассказе о мужском постоянстве, которое не осталось невознагражденным.

Но следует напомнить: Джек Ловетт не просто современный вариант «рыцаря без страха и упрека», но и олицетворение определенного курса, который в середине 80-х годов пользуется в США гораздо большей поддержкой, чем десять—пятнадцать лет назад. Нет оснований утверждать, что ответственно мыслящие писатели Америки всерьез поддались популярному ныне «новому патриотизму» в его сугубо официозной трактовке. И тем не менее содержание романа Дидион, подчеркнуто концептуального, начиная с названия, свидетельствует о накопившейся неудовлетворенности, об изношенности обиходных идеологических стереотипов. Дилемма — быть либо прекраснодушным и бессильным либералом, либо правоверным консерватором, целиком поддерживающим нынешнюю вашингтонскую администрацию, — не устраивает ныне многих; и не удивительным кажется поэтому возникновение посреди идейно-политического ландшафта Америки тех аналитиков современных социальных и духовных процессов, кого в США, за неимением более точного определения, нередко в первом приближении именуют «альтернативистами».

В отличие, например, от некоторых исследователей, связывающих это понятие исключительно с положением в среде западной молодежи[9], мне представляется, что альтернативизм как крепнущая идеологическая тенденция в Соединенных Штатах 80-х годов характерен прежде всего для образованных, «взрослых» слоев общества. Специфика альтернативистского подхода концентрируется прежде всего в сфере культурно-идеологических и нравственно-этических представлений. Суммируя все то, «за» и «против» чего выступают альтернативисты, можно заключить, что их взгляды являют собой своего рода амальгаму элементов, почерпнутых как у «новых левых», так и у тех, кому еще в начале 70-х годов известный в США социолог и публицист Р. Хейлбронер присвоил наименование «радикальных консерваторов», категорически порывающих с примитивной политической ретроградностью. «Речь пойдет об обращении вновь к проблемам изначальной человеческой сути, человеческой природы, — предрекал Хейлбронер, — о преодолении заблуждений ради возвышенных императивов мира и прогресса... Цель наших вопросов и сомнений — улучшить положение человека, обновить и освежить извечные гуманистические идеалы» [10].

Подобно «новым левым», альтернативисты выступают против эгоистического потребительства, против капиталистической ориентации на максимальную прибыль и стремления любой ценой добиться победы в битве жизни. Но так же, как и критики примитивного уравнительства, они высоко ставят труд, принцип состязательности и экономическую самодеятельность, не без основания усматривая в них основу благополучия всякого общества. Если правоверные консерваторы открыто используют моральную проблематику в сугубо конъюнктурных целях, то альтернативистам органически чужда мысль о превращении гуманистических ценностей в разменную монету заурядного политиканства. Их «радикальный», порывающий с дешевой уличной демагогией подход отмечен, в частности, тем, что привычные житейские понятия — семья, работа, общение — берутся в широкой перспективе, как бы «перетекая» в более многомерные, трансцендентные категории духовности, самореализации, творчества.

Вместе с тем при критическом рассмотрении концепции альтернативизма не составляет труда не только выявить длинную цепочку противоречий, но и поставить под сомнение их состоятельность в целом. Альтернативисты не просто обходят молчанием либо не дают убедительного ответа на многие острые социально-экономические вопросы в современных Соединенных Штатах. Сам склад их воззрений эк-

---

[9] См.: Худавердян В. Ц. Современные альтернативные движения (молодежь Запада и «новый» иррационализм). М., 1986.

[10] "The New York Review of Books", 1972, October 5, p. 19.

лектичен, может быть назван при желании наивно-романтичным, наконец — утопическим. Но, как известно, далеко не все, рождаемое быстротекущей практикой, тотчас же удостаивается адекватных теоретических обобщений. Весомым подтверждением того, что подобные взгляды в США существуют, что они в конечном счете вырастают из давних традиций американской демократии и что за последнее время им удалось глубоко проникнуть в недра «национального духа», служит целая «процессия» незаурядных литературных произведений. У истоков этого течения находится написанный более десятилетия тому назад роман Дж. Гарднера «Осенний свет».

Масштабность замысла писателя, стремившегося очертить ведущие тенденции американской духовности, отражена уже в композиции произведения. Можно сказать, что «Осенний свет» — не один, а сразу два романа, сведенных под общей обложкой. Главное, обрамляющее повествование рисовало традиционный фермерский уклад, уходящий своими корнями в глубь американского прошлого. Параллельно Гарднером была изложена другая, «вставная» история, демонстрировавшая Америку сравнительно недавнего происхождения — Америку душераздирающих визгов и наркотического угара, страну, стремительно несущуюся навстречу неведомой цели и прожигающую в исступлении духовное наследство, завещанное ей основателями нации.

Идейно-эстетический замысел «Осеннего света» сосредоточен вокруг проблемы, неизменно привлекающей к себе внимание писателей реалистического склада. Речь идет о борьбе тенденциозного и органичного восприятий жизни, о столкновении надуманно-выморочного, ущербного, и, с другой стороны, естественного, здорового. Постоянно чередуя два плана изображения, перемежая картины неспешного фермерского быта гротескно-преувеличенными страстями и выходками, писатель создавал две принципиально противоположные философско-этические модели действительности. Сумбурной и судорожной вселенной, вставшей со страниц вставной «вздорной книжки», он противопоставлял прочные формы человеческого общежития и моральные устои, противящиеся разлагающему воздействию гедонистической контркультуры.

Сделав выбор в пользу твердых и здравых понятий, опирающихся на добрые традиции трудовой Америки, писатель хорошо понимал и всю сложность их последовательного приложения к реально существующей практике. В отличие от его некоторых предыдущих книг этот роман лишен условных, пасторальных интонаций. Угроза, исходящая со стороны контркультуры и стоявшей позади нее мелкобуржуазной псевдореволюционности, в конце концов не так уж и велика. Гораздо опаснее для американского будущего конфликты, идущие изнутри. Ссора в фермерском доме между братом и сестрой Пейджами — словно бы отзвук действительных расхождений между жестко консервативным и последовательно демократическим подходами, между стародавним мужским «супрематизмом» и характерным для 70—80-х годов стремлением к женскому равноправию, расхождений, в общефилософском плане, между негибким, но претендующим на абсолютную истину доктринерством и — принадлежащей, впрочем, не столько персонажу, сколько автору — широкой гуманистической концепцией гармонического взаимодействия личности и общества.

Теоретическому осмыслению ростков нового мироощущения (в данном случае — того же альтернативизма) поначалу нередко бывает свойственна расплывчатость; другое дело, когда эти веяния облекаются в образную плоть художественного произведения, воплощающего жизнь в обобщенных эстетизированных формах. Выразительным примером постоянного и пристального внимания к социально-психологической эволюции Соединенных Штатов является творчество Дж. Апдайка. Его роман «Кролик разбогател» (1981) — он публикуется сейчас в «Новом мире» — без сомнения, крупнейшее явление в литературе США первой половины 80-х годов. Прозаик еще раз вывел на литературные подмостки центральный персонаж более ранних романов «Кролик, беги» (1960) и «Кролик возвращается» (1971). Образом нашего современника Гарри Энгстрома, по прозвищу Кролик, Апдайк попытался запечатлеть характерные черты того, кого в повседневном обиходе нередко и не вполне удачно именуют «простым американцем». Говоря точнее, предметом изображения у писателя служила та самая социальная среда, которая, подчас удивительным образом сочетая здравомыслие и косность, идейную узость и жизненную энергию, во многом определяет собой «массовое сознание» американской нации.

«Среднюю Америку», описанию которой Апдайк остается верен на протяжении своей литературной деятельности, никак не назовешь молчаливой. Собравшись у когонибудь в гостях за обеденным столом или расположившись в выходной день у кромки плавательного бассейна в городском клубе, друзья и знакомые Кролика с жаром обсуждают последние новости. Их политические взгляды отражают убеждения и предрассудки соответствующего социального класса, но, не скрывая ограниченности своего персонажа, американский писатель стремится подчеркнуть и правоту его жизненного инстинкта. Это то, что обычно зовется доброй волей, или — более возвышенно и абстрактно — гуманизмом, хотя последнее слово трудно найти в лексиконе Гарри Энгстрома. Герой Апдайка прочел мало книг и не приобрел привычки к въедливому анализу. Вместо этого он просто любит — любит природу, хотя не знает почти ни одного из названий деревьев и трав, любит людей, таких же, как и он сам,— немногословных, с обозначившимися животами и задубевшими на солнце затылками. Как здравомыслящий человек он ценит деньги и даже встает всякий раз в шесть утра, чтобы начать двенадцатичасовой рабочий день мелкого

предпринимателя, но при этом не разбирается в политэкономии и вынужден жить под дамокловым мечом непостоянства капиталистической конъюнктуры.

Еще менее однозначен психологический портрет сына Кролика, недоучившегося студента, имеющий особое значение для понимания устремлений определенных слоев «молодой Америки», вступавшей в 80-е годы. «Послушай, Нельсон. Может быть, в жизни я не все делал как положено — очень может быть. Но в самый худший грех я не впадал. Я не складывал крыльев и не начинал готовиться к смерти... Сдаваться — это против природы: надо, чтобы при всех обстоятельствах жизнь в тебе не замирала»,— в такой несвойственной ему длинной речи Кролик — Энгстром впервые за все время знакомства с ним читателя дерзнул изложить свои общие взгляды. И к этой прокламации, опирающейся на убедительный конкретный пример, Нельсон не остается равнодушным. Вместе с отцом он отвергает трескучие лозунги и пустословие как в их псевдоинтеллектуальном, так и в нарочито простонародном вариантах. Оба они, пользуясь явной, но неназойливой поддержкой автора, стоят за укрепление «основ», доказавших свою надежность среди бурунов послевоенной истории. В числе этих опор — модернизированная в свете прошумевшей в США в 60-е годы «революции нравов», но не утратившая своего значения семья, упорный и умелый труд в противоположность пустопорожним экспериментам и откровенному иждивенчеству и, наконец, созвучная идеалу материального изобилия и духовной щедрости концепция нестесненного развития личности, словно бы позаимствованная у визионеров прошлого и лишь в конце XX века получающая известные шансы на свое воплощение.

Определившее этический пафос романов Дж. Гарднера и Дж. Апдайка требование большей ответственности и серьезного отношения к гражданским обязанностям в наступающий на Земле «век сокращающихся возможностей» получило поддержку у целой когорты прозаиков более молодого поколения. Среди тех, кто уже добился широкого признания, необходимо прежде всего выделить три имени — Дж. Ирвинга, Э. Тайлер и Э. Уокер. Все они публиковались и прежде, но на рубеже 80-х годов в творчестве каждого произошли симптоматичные изменения.

Завоевавший шумную известность романом «Мир глазами Гарпа» (1978) Ирвинг и в следующей книге не избежал натуралистических и даже фрейдистских наплас тований. Рассказ о том, как семейство Берри пыталось содержать пансион вначале в США, а затем, в течение еще семи лет, в столице Австрии, изобиловал когда забавными, а когда драматическими, нарочито заостренными ситуациями. Но, как подчеркивал автор, его роман «Отель «Нью-Гэмпшир» (1981) представлял собой не столько бытописательное повествование, сколько реалистическую притчу, персонажи которой одновременно жизнеподобны и символичны. Только сказка, утверждал Ирвинг, в состоянии справиться со всем ужасом и всей грязью жизни, надо признать, что этой «грязи», шокирующих, сверхоткровенных житейских подробностей в романе имелось предостаточно. И вместе с тем в отличие от прозаиков уныло-апокалипсического или буржуазно-апологетического склада американский писатель видел силы, способные противостоять центробежным тенденциям и защитить более здоровые нормы человеческого общежития. «То, как устроен мир, не должно служить основанием для безраздельного цинизма или инфантильного отчаяния»,— в этих словах одного из персонажей его книги была заключена важная нравственная идея, быстро обретавшая в литературе США права гражданства.

Рядом с романом Ирвинга можно поставить некоторые недавние произведения Э. Тайлер («Ужин в ресторане «Тоска по дому», 1982[11]) и Э. Уокер («Цвет багряный», 1982), о которых уже писала наша критика. Знаменательно, что присущая этим работам тенденция к «собиранию камней», призыв к сплочению в некую идейную общность тех гуманистических устремлений, которые и в прошлом оплодотворяли высокие нравственные помыслы, получили отклик у ряда талантливых дебютантов текущего десятилетия. «Нынешняя писательская молодежь на голову выше своих предшественников в смысле литературной техники... Вопрос, однако, состоит в том, к чему эта техника будет приложена, какое серьезное содержание войдет в их книги»[12],— писал Дж. Гарднер незадолго до своей смерти. Многие из тех, к кому относятся эти слова, пошли по стопам автора «Осеннего света», и тут помимо только что названных имен можно выделить Дж. Макинерни («Яркие огни большого города», 1984), Дж. Э. Филипс («Горькие мечты», 1984), но в первую очередь — Б. Э. Мейсон («В глубине Америки», 1985) и М. Моррис («Перекрестки», 1984). Социальный критицизм реалистического подхода не позволяет этим прозаикам «поствьетнамского поколения» игнорировать влияние и силу тех, кто остается во власти классового эгоизма, невежества и предрассудков, и вместе с тем в центре художественно-эмоционального мира их произведений по праву находится глубокая, задушевная человечность.

Название пока что единственного романа тридцатилетней Бобби Энн Мейсон поддается двоякому толкованию. Буквальный перевод — «В стране» — означает прежде всего «В глубине Соединенных Штатов», «В американской глубинке». В самом деле, действие книги редко покидает небольшой кентуккийский городок Хоупвелл, во многом типичный для нынешней «одноэтажной Америки». Но в контексте повествования возникают указания и на другую, тоже вполне оправданную расшифровку. Просто «страной», без уточнения, ветераны вьетнамской авантюры часто называли то место, куда

---

[11] Опубликован в «ИЛ», 1985, № 9, 10.

[12] "The New York Times Book Review", 1980, June 8, p. 38.

их забросили на рубеже 60—70-х годов имперские амбиции официального Вашингтона. Война во Вьетнаме и ее пагубные последствия для различных поколений сегодняшних американцев — такова центральная тема первого крупного произведения молодой писательницы.

Героине романа Саманте Хьюз всего семнадцать, и ее интересы во многом совпадают с увлечениями ее сверстников. У нее есть приятель, по имени Лонни, отношения с которым по обычаю наших дней зашли уже достаточно далеко. Она мечтает о собственном автомобиле, чтобы увидеть Диснейленд во Флориде и, быть может, остаться там работать. Осенью необходимо будет сделать выбор и как-то определиться относительно дальнейшего, а пока, в эти летние месяцы 1984 года, Саманта предпочитает, подобно миллионам своих соотечественников, почти все свободное время проводить у телевизора в компании «дядюшки Эммета», закоренелого холостяка и домоседа.

Подчеркнутая близость этой не вполне обычной и даже в чем-то несуразной пары заставляет вспомнить о распространенном в американской литературе XX века живописании человеческих «гротесков», находящихся в оппозиции к своему окружению. Следы данной традиции заметны в романе, но в противовес несколько абстрактно-экзистенциалистской трактовке феномена отчуждения и неприкаянности человека в произведениях, скажем, К. Маккаллерс или Т. Капоте причины конфликтной ситуации выявлены у Мейсон со всей отчетливостью. Главное, что сближает Саманту с 35-летним братом ее погибшего отца,— это мысли о войне в джунглях Индокитая, об оставленных ею и не затянувшихся по сей день ранах.

Хотя после бесславной эвакуации американцев из Вьетнама прошло почти десять лет, здоровье Эммета да и некоторых других демобилизованных солдат так и не пришло в норму. Но «массовидная Америка» поспешила закрыть глаза на случившееся, и в обстановке экономического подъема, а также «нового патриотизма» 80-х годов мало кто отваживается на то, чтобы ворошить былое. Саманта же сделана из другого теста, и ее способность к более глубоким размышлениям, убежденность в том, что «настоящее вытекает из прошлого», вносит резкий диссонанс в размеренную и в целом умиротворенную жизнь ее близких.

Недостаток писательского опыта и резкая полемичность центрального тезиса книги, пожалуй, не позволили писательнице создать до конца психологически убедительный образ. В той одержимости, с которой Саманта вновь и вновь возвращается к мыслям о Вьетнаме, проглядывает нечто почти маниакальное. Она пристает с расспросами к Эммету, сближается с таким же, как и он, тоже не оправившимся до конца ветераном, а главное — не пропускает ни одной передачи из телевизионного сериала «Военно-полевой госпиталь». «То, что ты и Эммет смотрите по телевизору,— это же сплошная выдумка,— пытается урезонить ее Лонни.— Это ведь нереально, преувеличено. И потом здесь у нас все по-другому, мы живем совсем другой жизнью». То же самое внушают ей мать, ближайшая подруга, соседи и знакомые, в том числе и побывавшие в свою очередь во Вьетнаме, но героиня с ее нравственным максимализмом остается глуха к соображениям слишком для нее банального здравого смысла.

Между тем именно этот подход действительно преобладает в 80-е годы в американской «глубинке», и роман Мейсон содержит немало «картинок с натуры», отражающих господствующие умонастроения. Большинство из тех, кто побывал на войне, органично включились в повседневный ритм жизни, со всеми ее заботами и увеселениями. За прошедшее время в Америке многое переменилось: появились «пластиковые деньги», видеоприставки, электронные телеигры, и очень многие, в особенности молодежь, с упоением осваивают новые способы бездумного ничегонеделания. И тем не менее, как утверждает писательница, несмотря на очередной взлет потребительских инстинктов, ноты обеспокоенности по-прежнему слышны в многоголосье общественных настроений.

Вполне самостоятельно к аналогичным заключениям приходит и ровесница Мейсон Мери Моррис в романе «Перекрестки». Его персонажи — это не кентуккийские провинциалы, а люди, как бы выхваченные наугад из пестрой толпы, заполняющей сегодня улицы Нью-Йорка, Сан-Франциско и других крупных американских городов. Они современны и манерой поведения, и своими занятиями, для которых еще недавно не нашлось бы, наверное, соответствующих сфер приложения. Роман изобилует приметами психологической реальности, характерными для «новой» Америки, которые не лежат на поверхности и поэтому недоступны иному туристскому взгляду, но становятся вполне зримыми при продолжительном и внимательном наблюдении. Это и безмерная готовность ко все новым и новым «человеческим контактам», столь пленительная поначалу легкость в обращении, сменяющаяся, как правило, полным равнодушием при следующей встрече. Это и едва ли не рефлекторный, «дежурный» смех собеседника, почти повсеместно вытеснивший гораздо более осмысленную, хотя и тоже «традиционную» американскую улыбчивость. Позади же этих внешних знаков скрывается нечто более объемное и тревожное, складывающееся в важнейшую особенность духовного климата. То, что тревожит писательницу, можно назвать поразительной разобщенностью, атомарностью американского общества, ощущаемой с особой остротою прежде всего в сфере сугубо личных, интимных взаимоотношений.

Развитие любовной связи между центральной парой, Деборой и Шоном, напоминает известную притчу о цапле и журавле, которым никак не удавалось поладить друг с другом. Наслоение психологических препятствий, мешающих скорейшему достижению благополучной развязки, мотивировано у Моррис особенностями внутреннего склада героини, но

вместе с тем на поступки действующих лиц и движение фабулы налагает незримый отпечаток то, что обычно вкладывается в понятие «дух времени». Любовь в современном Манхэттене — не более как элемент времяпрепровождения, вводимый наряду с другими составными частями в рамки аккуратно размеченной схемы. Впечатление таково, что Дебора и Шон становятся любовниками если и не по принуждению, то исключительно со скуки. Да и само чувство, которое сводит их вместе и то и дело укладывает в постель, вряд ли можно назвать любовью, если, разумеется, не сделать поправку на нынешний, сугубо американизированный и как бы «инструментальный» вариант значения данного слова.

И все же Дебора, с ее довольно-таки ершистым, по-женски не всегда последовательным характером, взыскует иной, более цельной и осмысленной жизни, и этот непрерывный, хотя и не обязательно четко осознанный, поиск «духовной тверди» образует центральную идейную ось произведения. В романе Моррис не так уж много «перекрестков», понимаемых в смысле жесткой необходимости выбора между взаимоисключающими возможностями. Писательница просто проводит свою Дебору от одной житейской ситуации к другой, рассказывает историю ее взаимоотношений на протяжении примерно полутора лет с десятком лиц, среди которых выделяются Шон, родители Деборы, ее брат Зэп и еще две-три подруги. Постоянно рефлектируя, стремясь извлечь из своего, как и для всякого человека, конечно же, уникального личного опыта нравственный урок, она буквально по крохам составляет набросок морального руководства,— значение его, надо полагать, не исчерпывается лишь отдельным конкретным случаем.

Работая в нью-йоркском Центре городского развития, Дебора одержима стремлением преобразовать убогую жизнь обитателей Южного Бронкса и других районов огромного метрополиса. Трущобы должны быть решительно снесены, а на их месте усилиями специалистов по архитектуре и планировке, городскому ландшафту и организации уличного движения возникнут новые районы, где люди смогут привольно жить и продуктивно трудиться. Таковы мечты, которым всегда бывает тесно на земле, но они все же становятся для нее осязаемыми, и ощущение сопричастности к этому не то чтобы стремительному, но неуклонному движению помогает героине врачевать сердечные раны.

«Мы слишком поздно родились. В 60-е годы было не в пример веселее»,— не раз и не два вздыхает Саманта Хьюз в романе «В глубине Америки», но читателю книги Мейсон не хочется соглашаться с этой слишком уж пессимистической оценкой. Важнейшие акценты произведения, сам факт его появления на свет указывают на то, что в наши дни «молодая Америка» не отвернулась от волнующих страниц своего недавнего прошлого. Переболев в очередной раз «детской болезнью левизны», демократические силы не позволяют стране отступить слишком далеко вправо. Они не стали предаваться малоплодотворному самобичеванию, а сосредоточенно и неспешно занялись трезвым анализом, отделяя беспочвенные, хотя и внешне привлекательные, фантазии от желательных и в принципе достижимых приоритетов.

В русле тех же устремлений находится и концовка романа М. Моррис, когда ее героиня вместе с близким человеком обретает и надежду на продолжение занятий любимым, общеполезным делом. Акцентируя положительную роль семьи, социальной активности, сотрудничества, духовных заветов, оставленных классикой, писатели 80-х годов и присоединяются к тому, что было сказано на сей счет художниками-гуманистами не очень далекого прошлого, и добавляют нечто новое. Связь эту можно назвать как генетической, так и типологической. Иначе говоря, произведения, о которых шла речь на заключительных страницах данной статьи, примыкают к прочной традиции и вместе с тем вызваны к жизни вполне объективными социально-культурными обстоятельствами.

Гуманистическая одухотворенность, органически и ненавязчиво возникающая в силу требований времени, настраивающих писателей на бескомпромиссно трезвое исследование действительности, составляет ныне движущую силу наиболее плодотворного и жизнеспособного направления в американской художественной прозе. Последовательность этой идейно-эстетической платформы противостояла в минувшие годы и желчной догматике ультраконсерваторов, и беспочвенным иллюзиям неолибералов. Созвучная столь многому в демократической традиции мысль о бережном отношении к «нетленным ценностям», об извлечении из прошлого и современного опыта необходимых уроков, нравственных и, стало быть, политических ориентиров, получает, как представляется, все более широкую общественную поддержку. В ходе длительных идеологических сражений, далеко еще не завершенных, этот призыв постепенно овладевает умами американских литераторов и выходит, насколько можно ныне судить, на стремнину их идейных исканий.

◆

ЛИЛИЯ ТОДОРОВА

КОНТАКТЫ ИЛИ ЭКСПАНСИЯ?

В основу статьи Л. Тодоровой положен текст ее выступления в мае нынешнего года на международной конференции в Италии, посвященной проблеме сохранения традиционных культурных ценностей.

Завершают статью заметки о дискуссии, состоявшейся в дни работы конференции в городах Палермо и Ачиреале.

Западная Европа сегодня — один из основных, имеющих первостепенное значение объектов американизации. Как известно, она занимает особое место в стратегических и тактических планах США.

Разумеется, процесс этот сложен и противоречив, не исключается и известное обратное влияние, хотя существенного значения для общей характеристики культурных отношений между двумя капиталистическими регионами оно не представляет.

Постоянный поток американского кино, телевидения, литературы, печати, радио, музыки и т. п. встречает на старом континенте сложившуюся культурную среду, многовековые самобытные традиции, высокие достижения во многих областях искусства. Американское проникновение, таким образом, находится в определенной зависимости от уровня культурного развития соответствующей страны, от наличия художественно-эстетических ценностей, являющихся своего рода барьером чуждым влияниям и моделям. Так что все более усиливающейся американской экспансии оказывается известное сопротивление — сила и авторитет традиций, насыщенность и «плотность» наследия духовных богатств, накопленных веками во всемирно известных центрах Европы с их университетами, издательствами, музыкальными, театральными и художественными школами и т. п., дают о себе знать. И тем не менее, если бы сто лет назад кто-нибудь дерзнул нарисовать Париж или Рим такими, какими они выглядят сегодня, в канун XXI века (с улицами и бульварами, залитыми огнями реклам, выполненных на заокеанский манер, на каждом шагу подтверждающих триумф американского кино; с ежедневным американским телевизионным присутствием в доме каждого француза, немца из ФРГ, итальянца, с американской музыкой и видеокассетами, наконец, с американскими джинсами, заменившими собой традиционно утонченную французскую и итальянскую моду), — если бы кто-нибудь нарисовал столь мрачный прогноз, ему бы вряд ли поверили, скорее отнесли бы это за счет черного юмора. Но в 1986 году все это — реальный факт. Очевидно, что даже плотная французская и итальянская культурная среда не в состоянии оказать заметное сопротивление американской коммуникационной экспансии, лавиной сметающей на своем пути традиции и вкусы, духовные структуры и культурные высоты. Что же говорить о народах, у которых нет такой развитой культуры, которые обладают только зачатками племенных культурных традиций, где пока не стоят проблемы высшего образования и отсутствуют признаки сформировавшейся системы культурных служб? В таких странах массированная экспансия приводит к уродливым, нелепым, смешным формам подражания — неизбежному следствию напора чуждых влияний. Масштабы его в капиталистических странах во многом определяются уровнем и характером политических взаимоотношений. Так, например, в последние годы явно нарастает культурное присутствие США в Италии, в Англии. Единомыслие в сфере политики с

ЛИЛИЯ ТОДОРОВА

Болгарский ученый-социолог. Автор ряда статей по вопросам философии и современной культуры. В «Иностранной литературе» напечатаны ее работы: «Мифы о конвергенции и культурный обмен» (1978, № 1), «Свободный поток информации, или Культурно-информационный экспансионизм США» (1980, № 9), «Социальная «бесполезность» или социальная ответственность литературы и искусства» (1981, № 12), «Перспективный диалог» (1984, № 9), «Против информационной агрессии» (1985, № 12).
Публикуемая статья получена от автора в рукописи.

итальянскими правительствами или, скажем, с правительством Маргарет Тэтчер, обеспечивает американским массовым коммуникациям устойчивое «гостеприимство», сочетающееся при этом с сокращением госбюджетных средств на стимулирование национальной культуры. Сложнее ситуация во Франции. Политика правительства Миттерана во многих отношениях далека от солидарности с политикой нынешней американской администрации. И именно при Миттеране началась серьезная кампания противодействия наступлению американской массовой культуры.

Уже четыре десятилетия этот «ширпотреб» атакует страны Западной Европы. Любая новинка в искусстве, любой новый стиль, новое тематическое и жанровое направление подхватываются индустрией развлечений в Европе. Америка задает тон, и, чтобы выдержать конкуренцию, европейцы вынуждены в известном смысле равняться на ее образцы.

Разумеется, литература и искусство самих США имеют немало высоких достижений, вошедших в сокровищницу мировой культуры. Если говорить о литературе современной, то в социалистических странах знают и любят произведения Хемингуэя, Олби, Лоуэлла, Миллера, Доктороу, Апдайка, Воннегута и многих других писателей.

Однако американские владельцы коммуникационных монополий стараются приобщить и приблизить европейского, да и не только европейского, зрителя к уровню своего массового производства культуры и развлечений, утвердить в его восприятии динамический стереотип именно «масскульта». Эта упорно насаждаемая и уже закрепившаяся привычка получать регулярные дозы «инъекций» американского «масскульта» приобрела характер своего рода духовного наркоза, когда отсутствие наркотика чревато кризисом.

Мало-помалу некоторые представители европейской интеллигенции и политические руководители начинают осознавать размеры угрозы традициям старого континента, и это вызывает острые вспышки тревог и протестов против пассивности национальных культурных центров. Бесчисленные же исследования массовых потребительских вкусов показывают одну постоянную величину: спросом пользуются американские межзвездные приключения, американские телевизионные сериалы, мультипликации, комиксы, приключенческие и гангстерские фильмы, фильмы ужасов, американский джаз, кантри, диско, рок, американские бестселлеры и т. п.

Известно, что в культуре, как и во всех сферах жизни буржуазного общества, царит диктат рыночного механизма. Чтобы преуспеть на своем собственном культурном рынке, французам, к примеру, приходится создавать искусство, подобное американскому, в противном случае оно обречено на провал. Да и возможно ли Франции, Италии или Англии в 80-е годы состязаться в этой сфере с американским «масскультом»? Французское телевидение, скажем, до настоящего времени принадлежало государству[1]. Выпуск сериалов или телевизионных фильмов — удовольствие дорогостоящее, а посему производство национальных телевизионных «продуктов» по объему весьма незначительно. Сериалы работы самих французов, итальянцев или англичан обошлись бы им в пять, десять, а то и двадцать раз дороже тех, что предлагают американцы. Постепенное уменьшение национального производства влечет за собой и другие последствия: не финансируется создание необходимой современной материально-технической базы, не готовятся соответствующие кадры, способные осуществить серьезные перемены в культурной политике.

Экспансия в значительной мере облегчается постоянным сокращением государственных средств и программ, направленных на развитие культуры. Это одинаково относится к литературе, кино, театру, изобразительному искусству, телевидению, музыке. Так, например, по данным «Файнэншл таймс», в 1984 году в Англии каждую неделю закрывалось по одному кинозалу. Только в декабре прекратили работу 14 кинозалов, принадлежащих Ассоциации независимых кинотеатров. Причиной продолжительного кризиса в кино Великобритании является прежде всего постоянная конкуренция американских фильмов, наводнение «черного рынка» нелегально изготовленными копиями с видеокассет самых нашумевших картин.

Один из характерных признаков кризиса западноевропейского кино — это обезличенные фильмы, которые не назовешь ни итальянскими, ни французскими, ни английскими. Они никоим образом не связаны с национальными традициями. В своей собственной стране они — «чужие фильмы», изготовленные по типичной формуле: американские доллары, американские идеи, национальные режиссеры и актеры, американский контроль за распространением. Но самое существенное — то, что создатели лишают свои детища каких бы то ни было национальных черт и колорита, снимая тем самым с себя ответственность за содержание произведений. Для удобства распространения эти фильмы выпускают сразу на английском языке, а уже затем дублируют.

Английский кинокритик и журналист Кен Влашин, директор Лондонского кинофестиваля, высказался в одном из интервью: «Американцы, ранее финансировавшие английские фильмы, перестали вкладывать в них свои капиталы, поскольку они им не нравятся. Многие видные английские режиссеры, такие как Джон Шлезингер, Карел Рейс, Тони Ричардсон и другие, ушли в Голливуд». «Сейчас наметились известные перемены, — продолжает Влашин. — Американцы начали снимать фильмы в Великобритании, используя ее съемочные группы и технику («Звездные войны» Джорджа Лукаса, «Супермен» Клиффа Доннера и др.). Так что английские режиссеры постоянно

[1] В этом году во Франции открывается пятая телевизионная программа, которая будет частной. Ее владельцы — француз Жером Сейду и итальянский телевизионный магнат Сильвио Берлускони, 4/5 программ которого в Италии составляют американские второсортные сериалы. *(Прим. автора.)*

заняты, но не в своем, а в американском кино»[1].

Как правило, именно американское кино своим тематическим спектром очерчивает перспективные направления западноевропейского кино, то есть то новое, что сегодня показывает Голливуд, завтра в различных вариантах будет повторено кинодельцами во Франции, Италии, Англии, Западной Германии, Швеции и т. д. Этот механизм повторения в известной степени обусловлен принципом — сделать фильм, подобный американскому, который имел кассовый успех. И вот американские «звездные одиссеи» подхватываются европейцами, подобно тому как в свое время американцы снабжали сюжетами изготовителей ковбойских и гангстерских боевиков, а в 60-е годы — фильмов-катастроф, фильмов ужасов и последующей порнографической волны.

В итальянских киноцентрах, например, производят самые посредственные фильмы — подражания американским ковбойским и гангстерским приключениям или слезливым любовным историям, приправленным порнографией, а в целом на экране появляются бледные копии с американских оригиналов (в последние годы там выпускают преимущественно телефильмы).

«Итальянские фильмы, — пишет Э. Мартини, — рождены под эгидой американского капитала и поэтому предназначены для международного рынка, они не связаны с национальной проблематикой и, как правило, представляют собой «суперзрелища», поверхностно и условно приспособленные ко вкусам любой публики» [2].

«Интеллектуального превосходства европейского кино более не существует», — самодовольно восклицает журнал «Тайм». Не только интеллектуального. Американская кинопромышленность стремится вообще уничтожить европейскую конкуренцию и остаться единственным кинопроизводителем в капиталистическом мире.

В одном из ноябрьских номеров журнала «Ньюсуик» за 1984 год читаем: «Неореалисты оказали сильное влияние на режиссеров всего мира. 50-е и 60-е годы прошли под знаком Антониони и Феллини, затем наступил звездный час Бертолуччи. Недавно получили признание братья Тавиани. Но теперь стало ясно, что эти выдающиеся и действительно талантливые мастера итальянского кино были скорее исключением, нежели правилом. Большая часть режиссеров снимала непритязательные комедии, псевдоисторические драмы и вестерны. При теперешнем кризисном состоянии выжило именно это низкокачественное кино».

Оставим в стороне приговор итальянскому кино, вынесенный «Ньюсуиком». Десятки больших имен мировой сокровищницы кинематографа дало это кино, нуждающееся сегодня не в адвокате, а в мудрой национальной культурной политике. Существует нечто другое, не нашедшее отражения в этой статье, констатирующей факты, но не раскрывающей истинные причины столь плачевного состояния не только итальянского, но также и английского, и западногерманского, и французского кино. Анализ этих причин выявил бы весьма неблаговидную роль американских киномонополий, почти всецело завладевших производством и рынком фильмов. Каждый год в Америке выходит около 200 картин, из которых настоящих — считанные единицы, остальные же — безвкусные сентиментальные истории, фильмы ужасов, полицейские и гангстерские зрелища, порнографические поделки, приправленные садизмом или садомазохизмом. И именно эти второсортные поделки формируют вкусы миллионов людей в Италии и в Англии, в Турции и в Японии, в Австралии и в Канаде: известно, что американские монополии держат в своих руках систему распространения фильмов в значительной части несоциалистических стран.

Статьи, подобные процитированной, выходят и по поводу других европейских национальных кинопроизводств. Авторы такого рода публикаций словно бы вопрошают: а было ли вообще когда-нибудь серьезное кино в Италии, во Франции, в Англии, во всей Европе? Получается, что не было. Было только в США. Так, с активной помощью средств массовой информации мировое общественное мнение должно некоторые вещи забыть, другие избирательно вспомнить, а третьи навсегда зачеркнуть. В конечном итоге мир должен быть всецело подчинен американским монополиям.

Немаловажную роль играет и организация проката фильмов. Для американских выделяются лучшие кинозалы. И просвета в этом отношении не предвидится.

Скажем, какие фильмы удалось посмотреть многомиллионной западноевропейской аудитории в 1984 году? По исследованиям французского журнала «Премьер», 56% зрителей привлекает рекламная шумиха, а она, как правило, поднимается вокруг американских боевиков. Кассовым чемпионом (за пять недель только в Париже его просмотрело свыше миллиона зрителей) стал американский фильм «Индиана Джоунс в храме смерти» Стива Спилберга, не содержащий даже намека на реальные проблемы или хотя бы правдоподобие. Это эффектное зрелище со множеством сногсшибательных трюков прославляет подвиги, совершаемые смелым американским юношей, готовым умереть за правое дело. Новый пропагандистский вариант супермена, еще один образ «справедливого», всесильного американца, носителя вполне определенных идейно-нравственных постулатов. И это далеко не единственный апологетический американский фильм, собравший миллионную публику и принесший соответствующую прибыль.

Стремясь повторить американский кассовый успех, европейские мастера идут по утоптанной Голливудом дорожке, с помощью американских долларов рассказывая в своих фильмах американские истории с американскими героями. Кардинальная художественная и идейно-нравственная переориентация киноискусства Западной Европы на американские схемы становится все более очевидной. Пример — фильмы Жака Дерена «Отщепенец» с Жан Полем Бельмондо, Клода Берри «Чао, шут», Жиля Беата «Вар-

[1] «Филмови новини». 1979, № 11, с. 14.

[2] Martini E. Il capitale americano nelle comunicazioni di massa del nostro paese. Cineforum, 1978, No 173, p. 186.

варская улица», Алена Бено «Черный список» и т. п. Черен список тем, связанных с насилием, жестокостью, местью, убийствами и ужасами — постоянной проблематики и американских фильмов, и тех, что создаются на американские средства по американскому образцу.

Кражи, насилие, гангстеризм — непременное содержание около 25 американских фильмов, показанных в течение одной недели по западногерманскому телевидению. Это мрачное содержание перекочевывает с экрана в общественное бытие Западной Европы. Бандитизм среди молодежи и детей — основной зрительской аудитории американских гангстерских и ковбойских фильмов — принимает устрашающие, патологические размеры. В изображаемом антигуманном, адском мире доброта и отзывчивость выглядят анахронизмом, устаревшими понятиями, а ненависть, эгоизм, жестокость, безразличие — процветающими моральными принципами.

Саму проблематику, разумеется, не назовешь вымышленной. Это — повседневность человека буржуазного мира, реакция на чувства постоянного страха, нарастающего ужаса перед все растущей преступностью. Все дело — в позиции, с которой эти проблемы трактуют авторы боевиков.

Статистика в большинстве стран старого континента указывает на тенденцию к непрерывному росту преступности во всех сферах социальной и политической жизни. Западноевропейские социологи с болью признают, что духовная атмосфера, особенно в крупных городах, все больше начинает походить на ситуацию в США — стране, претендующей на роль не только лидера в экономической области среди развитых капиталистических стран, но и духовного пастыря, который указывал бы им, как нужно жить, кому подражать, что покупать, чем восхищаться.

«Почему так много европейских актеров, художников и писателей считают 1984 год годом величайшей опасности? — задавал обоснованный вопрос журнал «Ньюсуик» и тут же на него отвечал: — В различных областях причины различные, но в основе каждой из них лежит общий знаменатель: американцы наступают, как никогда раньше. Американские программы господствуют на телевидении, американские фильмы — на экранах мира. Такое впечатление, что американцы поглощают европейское искусство. В этом наступлении нет ничего нового, за исключением его масштабов... В основе проблемы лежат деньги или их отсутствие. Многие европейские правительства жестоко урезали ассигнования на искусство»... И далее: «Год наибольшей опасности грозит превратиться в десятилетие, не оставляя перспектив на перемены».

Исключительно широкие масштабы принимает в последние годы процесс вывоза в США шедевров мирового искусства из музеев Европы. «Многие директора музеев,— пишет еженедельник «Ньюсуик»,— с гневом говорят об американских частных коллекционерах, которые платят баснословные суммы за бесценные произведения искусства». Есть основания полагать, что за спиной этих частных покупателей фактически стоят американские власти, чей налоговый кодекс поощряет импорт таких произведений.

Несколько лет назад в Европу внедрили американскую дискомузыку. Трудно сказать, сколько она продержится, но бесспорно то, что в момент, когда американские бизнесмены от музыки почувствуют отлив и уловят своим изощренным, как у ищеек, нюхом новые потребности молодежной аудитории, — они тут же предложат новых идолов, новые ритмы, новый музыкальный феномен, который в считанные недели из достояния Америки превратится в достояние Европы. О том, до какой степени Америка контролирует европейский музыкальный рынок и дирижирует им, говорит тот факт, что дискотеки пропагандируют «американский звук», «американскую мелодию», утверждают английский язык как язык, воплотивший в себе очарование и магию «особого» мира мечты. Только во Франции в 1978 и 1979 годах действовали 3800 дискотек, которые давали приют тысячам молодых людей в субботней «дискосауне», чтобы отвлечь их от насущных проблем, разрядить накопившиеся чувства неудовлетворенности, оглушить, одурманить ритмом, превращая его в необходимость, в составную часть быта, в источник радости и иллюзии свободного самовыражения. Безобидно, но только на первый взгляд.

Снабжая музыкальный рынок не французской, западногерманской, итальянской, австрийской (вряд ли нужно перечислять все западноевропейские страны), а американской продукцией, предприимчивые торговцы сбивают цены на национальные грамофонные записи. Американский джаз, кантри, рок, диско, мелодия, песня, стиль, течение оказываются самыми популярными, самыми модными, самыми дефицитными только потому, что помечены маркой «Made in USA».

Чтобы завоевать успех, хорошие эстрадные исполнители в Европе поют на английском языке или обращаются к американским мелодиям. И это относится отнюдь не только к шведской группе «АББА», француженкам Шейле, Мирей Матье, итальянцу Челентано, испанцам Хулио Иглесиасу и группе «Баккара». Не перечислить имен певцов молодого поколения эстрады, которым удается пробиться на мировую сцену, только исполняя американские шлягеры. Но и самое лучшее подражание остается подражанием. «Положение чрезвычайно тревожное, — отмечает французский певец Жан Ферра в своем интервью газете «Известия»,— дело дошло до того, что многие наши молодые певцы исполняют песни по-французски, но с акцентом. Они, видимо, считают, что именно так смогут добиться успеха» [1].

Большинство частных радиостанций во Франции, Англии, Италии передают прежде всего американскую музыку. 80% пластинок во Франции принадлежит американским ТНК. С переменным успехом идет в Европе борьба за сохранение некоторых национальных музыкальных элементов в современной развлекательной и эстрадной музыке. Но даже тогда, когда на старом континенте создается что-то более или менее

[1] «Известия», 2 февраля 1986 г.

значительное, пробиться к вращающемуся на мощных оборотах американскому производственно-торговому механизму оказывается нелегко. Самое лучшее произведение, созданное в кино музыке, на телевидении, в литературе, если оно не «Made in USA», рискует остаться незамеченным или же его увидит и услышит столь малый круг людей, что фак[illegible]ски, только-только возникнув, оно уже обречено на забвение.

Итак, в духовной сфере Западная Европа отступает перед натиском американизма. Последствия налицо. На телевидении бал правят американские сериалы, шоу-программы, слезливые драмы. Американский фильм шествует по западноевропейским кинозалам. Эфир заполнен американской эстрадой, джазом, кантри роком. Огромными тиражами продаются американские бестселлеры, газеты журналы. В магазинах грампластинок преобладает американская музыка.

Даже в вопросах моды Европа в значительной мере потеряла свое абсолютное лидерство. Самые смелые идеи парижских, лондонских и римских модельеров ожидают конечного выбора, сделанного американцами. А год спустя американские конструкторы и промышленники предлагают новые рисунки люрексом, новые цветовые гаммы, широкие брюки, обувь на низком каблуке. С помощью своей огромной производственной машины проникшей во многие страны мира, они навязывают универсальные вкусы на джинсы, брюки, хлопчатобумажные блузки, спортивные туфли и т. п. И люди ходят снова одинаково одетые — и в Лондоне, и в Париже и в Вашингтоне и в Риме, и в Токио, а с небольшим запозданием — и в социалистических странах.

Вечным стремлением к оригинальности, неповторимости, экстравагантности, присущим модной элите, сегодня манипулируют бизнесмены в США. Из унифицированных вкусов миллионов им удается делать миллиарды долларов создавать новые стили, навязывать даже «антимоду». За десяток лет узкие брюки несколько раз сменились широкими, короткие юбки — длинными и средними, фольклорные — цыганскими, а затем перуанскими и т. п., чтобы восторжествовал «современный силуэт», при котором постоянной величиной являются джинсы, а остальные элементы лишь дополняют картину модного хаоса.

Американская монопольная легкая промышленность всецело взяла на себя заботу о современном человеке. Она предлагает ему варианты, как жить, любить, одеваться, обуваться, питаться на среднеамериканский манер. Ориентация на все модное во многих случаях не имеет ничего общего с эстетическими критериями. Как правило, сегодняшнее модное и оригинальное — завтра уже серое, однообразное множество. Самой легкой добычей любого очередного модного увлечения становится молодежь. «Одетый модно» молодой человек идентифицирует себя с героем экрана или из журнала. Одежда становится престижным символом улучшает самочувствие, внушает молодому человеку уверенность, что и он (она) — не хуже других. А бизнесмены из транснациональных компаний потирают руки и готовят следующий номер программы, который принесет новые миллиарды прибыли.

Таким образом, в первой половине 80-х годов в западноевропейских средствах массовой коммуникации наблюдаются явления застоя. Продукция национальных коммуникаций — телевидения, кино, литературы, музыкальных пластинок — не вызывает особого интереса за границей, что чувствительно отражается на прибылях. А чем они ниже, тем меньше средств вкладывается в эту сферу. Постепенно вокруг индустрии культуры и развлечений создается финансовый вакуум. Отсутствие средств отражается на разнообразии, на художественно-эстетических качествах создаваемых произведений, на профессионализме.

Новый триумф американской культурной экспансии на старом континенте связан с распространением спутникового и кабельного американского телевидения, в сеть которого после ФРГ (в 1985 году) и Англии (в 1986 году) включатся и остальные развитые капиталистические страны.

Ряд исследований западноевропейских социологов в последние годы выявляет весьма печальную тенденцию — подавляющее большинство западноевропейцев все меньше и реже читают и все больше времени проводят перед телевизионным экраном. Постепенно, но прочно телевидение вытесняет остальные коммуникационные каналы и становится основным манипулятором общественного мнения. А если учитывать, что половина, а иногда и 2/3 телевизионного времени заполнено американскими программами, становится ясно, в каких масштабах и в какой степени осуществляется американизация Западной Европы.

Телевидение занимает особое место в свободном времени миллионов французов, 58% из которых не читают книг, а 78% не ходят в театр. По данным 1979 года (которые впрочем, очень динамично изменяются), на каждых четырех человек приходится по одному телевизору. При этом следует отметить, что, по сравнению с другими западноевропейскими странами, во Франции оказывается относительно более заметное сопротивление американскому культурному натиску. Но даже особая духовная атмосфера, которую французы поддерживали столетиями, сегодня моделируется американской культурно-развлекательной индустрией; один за другим она сметает барьеры национальных традиций.

Важнейшее место сейчас отводится программам, передающимся через спутниковое телевидение. Миллиарды вложенных средств должны принести США политические и идеологические дивиденды. Американские спутниковые телевизионные программы со своим ежедневным присутствием в домах миллионов западноевропейцев являются неслыханной силы орудием пропаганды американского образа жизни. А тот факт, что в Западной Европе существует широкая коммуникационная сеть, в значительной степени облегчает и сокращает путь к воздействию на многомиллионную аудиторию.

Характерно, что американская спутниковая телевизионная сеть в Европе охватила

прежде всего столицы тех стран, в которых наиболее сильным было антивоенное движение. Американская телевизионная пропаганда стремится нейтрализовать широкий размах протестов как против размещения американских ракет «Першинг-2» и крылатых ракет, так и против вашингтонских проектов межзвездных войн. Спутниковые телевизионные и радиопередачи занимают все более важное место в правительственных программах внешнеполитической пропаганды и культурно-информационной экспансии в Западной Европе.

С 15 февраля 1984 года в Западной Европе дважды в неделю транслируются прямые телевизионные передачи из США, пропагандирующие рейгановские «мирные инициативы», его «борьбу за демократию» и его «заслуги в борьбе за права человека». Эффект этих шоу-программ и политических спектаклей нельзя недооценивать, поскольку они организуются и осуществляются исключительно опытными и профессионально подготовленными пропагандистами, способными ввести в заблуждение идеологически незрелого зрителя. Посредством спутникового телевидения США осуществляют массированную идеологическую обработку миллиардов людей. В 1984 году, например, спутниковое телевидение транслировало в 50 стран американскую «Программу сохранения мира в Европе» с участием Рейгана. По сведениям некоторых институтов, исследующих телевизионную аудиторию, за пределами Америки это политическое и идеологическое шоу просмотрело свыше 200 миллионов зрителей.

Администрация Рейгана снаряжает все новые отряды в идеологическое наступление, форсирует процесс интеграции ведущих империалистических держав в антикоммунистической и антисоветской пропаганде.

Как отмечалось выше, эта лавина литературной и индустриально-культурной продукции встречает определенное сопротивление со стороны представителей создаваемых веками национальных культур, славящихся высокими художественными достижениями, богатой системой ценностей. Но это сопротивление чаще всего не выдерживает натиска мощных транснациональных корпораций с их новейшими технологиями в области коммуникационных систем — спутниковым и кабельным телевидением, видео и пр. Так что сегодня массированное культурное наступление американских ТНК все более превращается в зловещую реальность. Существование национальных традиций и ценностей объявляется архаизмом, духовным бременем минувших эпох, а в качестве «прообраза будущего» выдвигается концепция так называемой универсальной, наднациональной цивилизации. Соединенные Штаты пытаются всеми возможными средствами «приспособить к себе, — как писал Збигнев Бжезинский,— весь мир во имя общей стабильности прогресса», унифицировать мысли и поведение миллиардов людей.

Результаты реализации этих идей печальны. Сегодня в Западной Европе и в самих Соединенных Штатах растет поколение, формирующееся под воздействием массовой американской продукции литературы, телевидения, кино, музыки, не знакомое с книгами Драйзера, О'Хары, Фицджеральда, Пушкина, Толстого и Достоевского, Пиранделло и Гольдони... Оно живет проблемами героев американского сериала «Даллас», читает американские гангстерские и порнографические бестселлеры.

Данные, показывающие соотношение американского экспорта к импорту зарубежной культуры, в 80-е годы изменились, притом исключительно в пользу США. Западноевропейский духовный кризис продолжается. В культурном отношении Западная Европа все больше превращается в провинцию США, и пока еще нет силы, способной всерьез противостоять этому убийственному процессу денационализации культур и их полного нивелирования по образцу американского «ширпотреба».

И все же шаги в этом направлении предпринимаются. Протестует художественно-творческая интеллигенция — писатели, кинодеятели, художники, ученые, которые считают критику американского империализма в духовной сфере одной из важных и актуальных задач нашего времени, своим долгом перед эпохой и перед культурой своих народов.

«Нет!» — американизации» — говорят ученые, деятели культуры и искусства, журналисты, политики, международные организации.

«Я борюсь с американизацией нашей песни и всей культуры уже многие годы,— заявляет известный французский певец Жан Ферра,— это очень важная государственная проблема. Если процесс духовной колонизации будет продолжен и станет необратимым, мы потеряем нашу культурную самобытность» [1].

На Второй всемирной конференции ЮНЕСКО в Мексике в 1982 году министр культуры Франции Ж. Ланг произнес примечательные слова: «Почему мы примиряемся с таким вмешательством? Почему соглашаемся с таким обезличиванием? Долго ли еще мы будем бездействовать? Неужели наше государство, подобно решету, будет пассивно пропускать всю зрелищную продукцию, которой нас бомбардируют? Неужели наша участь — стать вассалами гигантской империи тех, кого заботят только их прибыли? Этот финансовый и интеллектуальный империализм уже не прибегает к овладению иностранными территориями, во всяком случае, делает это достаточно редко. Он завоевывает сознание людей, подчиняет себе их мышление и образ жизни».

В феврале 1983 года, после многочисленных статей и дискуссий по поводу высказываний Жака Ланга в Мексике, французское правительство пригласило на международную встречу в Сорбонну деятелей культуры и науки из многих европейских стран и США. В числе участников были писатели Норман Мейлер, Уильям Стайрон, Грэм Грин, Габриэль Гарсиа Маркес, Артур Пенн Уоррен, режиссеры Фрэнсис Коппола, Сидни Люмет, Питер Брук, актеры Питер Устинов, Софи Лорен и другие. И европейцы и американцы осудили американский «интеллектуальный империализм», называя в качестве примера телевизионной

[1] «Известия», 2 февраля 1986 г.

агрессии сериал «Даллас», показывавшийся в это время всем западноевропейским телевидением.

Попытки европейской «культурной самообороны» возмутили вашингтонских политиков. Американские газеты отреагировали незамедлительно и бесцеремонно. «Вашингтон пост», перейдя допустимые границы приличия, объявил французских интеллектуалов ничтожествами, а «Уолл-стрит джорнал» посоветовал французам, вместо того чтобы беспокоиться о фильме «Даллас», задуматься, «почему они сами превратились в нуль для современной мировой культуры».

На культурном форуме 1985 года в Будапеште некоторые западные деятели искусства выразили тревогу по поводу того, что американское коммерческое кино и телевидение господствуют на большом и малом экранах Западной Европы. Их реакция была направлена не вообще против американского искусства, а прежде всего против огромного одностороннего и весьма мутного «культурного потока», который несет с собой культ насилия, жестокости, порнографии и политических провокаций. Один из членов французской делегации — участников форума — заявил, что фильм «Рэмбо» был буквально навязан французской публике посредством соответствующего экономического механизма. Французские кинокритики назвали его «роботом с дистанционным управлением», «военной машиной, нацеленной на убийство», «символом слепой жестокости» При этом они не забыли процитировать мнение американского президента о фильме: «Рэмбо — это наш любимый герой». Проблема, однако состоит в том, что новый «любимый герой» Рейгана (предыдущим был Джеймс Бонд) продолжает кочевать по экранам Западной Европы и многих развивающихся стран. Правда, вместо всеобщего восторга и оваций супермен, антикоммунист и расист Рэмбо встретил в Западной Европе новую волну протестов со стороны прогрессивных и демократически настроенных кругов. Значительная часть европейской интеллигенции приходит к единому выводу, что «Соединенные Штаты вывозят в Западную Европу продукцию, которая является отрицанием культуры», и «Рэмбо» — один из многих тому примеров.

Немало голосов возмущения демонстрацией провокационных поделок антисоциалистической американской массовой культуры типа фильмов Сталлоне прозвучало в связи с этим фильмом. Почти во всех сколько-нибудь авторитетных западноевропейских журналах и газетах были опубликованы острокритические отклики на фильмы «Рэмбо» и «Рокки IV».

Демократическая общественность в ФРГ организовала даже специальную кампанию против показа этого боевика. 16 организаций объединились в гражданской инициативе под лозунгом «Долой «Рэмбо» с экранов!» Перед кинотеатрами в Гамбурге, Мюнхене, Дюссельдорфе, Кёльне и других городах выстроились пикеты протеста. А в таких городах, как Ахен, Фрейбург, Людвигсхафен, фильм вообще не был допущен на экраны. «Этот, с позволения сказать, фильм является типичным образчиком циничной империалистической политики в области культуры,— пишет в заявлении протеста западногерманский общественный деятель Франк Веркмайстер.— Особенность этого фильма состоит в том, что «супергерой» пропагандирует чистокровный расизм, направленный в данном случае против вьетнамцев».

А корреспонденты «Ньюсуик» в Лондоне Спенсер Рис и Хеллен Гибсон процитировали мнение Джеймса Тая, генерального директора Британского совета безопасности: «Это террорист и психопат. У нас достаточно своего насилия в Британии, чтобы смотреть еще на ад Силвестера Сталлоне» [1]. И все же, как справедливо отмечает корреспондент газеты «Работническо дело» Петр Бучков, «американский супермен продолжает стрелять с английских экранов в души детей и юношей» [2]. Печально, что эта стрельба слышится с десятков экранов столиц мира. К ней присоединяется канонада мощных американских орудий рекламы, наводнившей сначала Америку, а затем и другие страны невероятным количеством пропагандистских материалов с изображением Сталлоне либо с именем «Рэмбо» — майки, ножи, луки, даже детские витамины. Благодаря кино и рекламе Сталлоне стал прочным символом американского патриота-антикоммуниста.

«То, что за океаном эта серия фильмов,— пишет П. Аппель-Мюллер в «Юманите диманш»,— превратилась в миф, в национальный обман, способный найти отклик в сердцах зрителей, еще можно понять. Но во Франции? Откуда взялась эта рэмбомания у 800 тысяч зрителей в Париже и более 2 миллионов в стране всего за две недели демонстрации фильма?».

Сопротивление непрекращающейся американизации в развитых капиталистических странах будет усиливаться или ослабевать в зависимости от политической ориентации правящих группировок, от их приверженности консервативной идеологии, от экономической и военной зависимости данной страны от США, от степени совпадения как их политических интересов, так и интересов в области собственно культурной политики и идеологии. Сделать национальное телевидение, радио, киноиндустрию и т. п. конкурентоспособными на нынешнем этапе не по силам ни одной из развитых капиталистических стран. К таким выводам приходят либерально настроенные политические и культурные круги Западной Европы. Европоцентристские настроения воплощаются в идее объединения европейских культурных институтов и утверждения общих культурных ценностей Западной Европы.

Последовательно выступают против американской культурной экспансии коммунистические партии, представители прогрессивной художественно-творческой и научной интеллигенции, которые точно оценивают размеры тяжелого, во многих случаях необратимого ущерба, наносимого американской индустрией развлечений. Но сможет ли это противодействие изменить характер и принципы культурного проникно-

[1] "Newsweek", September 2, 1985.

[2] «Работническо дело», 4.XI.1985.

вения США в развитые капиталистические страны, сказать трудно. Слишком серьезны объективные предпосылки этой экспансии, слишком глубоко они обусловлены закономерностями развития капиталистической системы, слишком связаны с симптомами нарастающего кризиса в духовной сфере, проявляющегося в тотальной стандартизации, в искажении художественно-эстетических критериев миллионов читателей и зрителей, развращаемых ориентирами «масскульта».

Вместо послесловия

Автобус остановился, и мы, участники конференции, проходившей под девизом «Литература, традиции, ценности», очутились перед двумя достопримечательностями Палермо: одна — дело рук человеческих — дворец, построенный 680 лет тому назад, другая — творение природы — грандиозная магнолия в Парке Гарибальди, часть ее ветвей срослась с корнями. Соперники по древности и величию, эти два творения глубоко проникли в земную твердь, а силуэты их высоко взметнулись в небо Сицилии. Магнолия, этот удивительный феномен природы, как бы демонстрировала нам, что непоколебимая сила и могущество возможны только при глубоких и крепких корнях — они питают дерево энергией, оно расцветает, дает плоды и новые побеги, самые здоровые из которых превращаются в корни для будущей жизни растения.

Этот пейзаж не только восхитил нас, но заставил задуматься о материях, имеющих отношение к нашей встрече,— о духовном начале любого народа, о его пронесенных через века традициях, которые помогали ему устоять перед всеми бурями, потрясениями, чуждыми веяниями. Ибо известно, что традиции — это не только наша память, это и сбереженная проекция будущего.

Бесспорно, стремление любого народа сохранить свою самобытность, традиции и национальный культурный облик не означает изоляции от других народов. Более того, каждая современная культура нуждается в культуре других народов, в соприкосновении с наиболее значимыми достижениями мировой культуры.

Культурное многообразие — одна из существенных характеристик нашего времени — это признак отсутствия предубеждений и высокомерия. Это своеобразный показатель степени демократизма каждой культуры, уровень которого определяется нормами и характером активного, разумного культурного обмена, находящегося в диалектическом единстве с процессом сохранения подлинных национальных культурных ценностей и их вклада в обогащение мировой культурной сокровищницы.

Волею случая место, выбранное для конференции, как бы само по себе отвечало ее девизу. К тому же наши исключительно гостеприимные хозяева создали действительно отличные условия для ведения серьезной дискуссии по этим столь важным вопросам.

В конференции, начавшейся 20 мая 1986 года, приняли участие литераторы и ученые Италии, СССР, США и НРБ.

Основой этой международной встречи послужили активные советско-итальянские литературные контакты на протяжении последнего десятилетия. Она явилась своеобразным продолжением ставшего традиционным советско-американского «круглого стола», впервые проведенного по инициативе журналов «Иностранная литература» и «Сатэрдей ревью» в 1977 году.

По предложению советской делегации Международная ассоциация современной культуры на сей раз пригласила для участия в конференции в качестве почетных гостей представителей НРБ.

На заседаниях, проходивших в течение нескольких дней в Палермо и Ачиреале, обсуждались проблемы сохранения гуманистических национальных традиций в культуре различных народов, утверждения посредством литературы положительных ценностных систем, духовно возвышающих и совершенствующих личность, а также вопросы, связанные с распространением высших художественных достижений различных литератур и созданием высоких художественно-эстетических критериев при обмене духовными ценностями.

Дискуссия была сложной, острой и откровенной. Не всегда удавалось достигнуть единства мнений — участниками были люди различных политических убеждений и взглядов. Некоторые высказывания показались нам просто абсурдными. Так, например, итальянский поэт Джованни Рабони выразил свою позицию в одной фразе: поскольку гуманизм, как полагает он, не отвечает более духу нашего времени, было бы логичным отныне в антигуманизме усматривать основное направление идейных и художественных исканий при отражении современного мира в литературе. Его поддержал итальянский искусствовед и театровед Франко Корделли, который пошел еще дальше, объявив, что «человеческая жизнь утратила какую бы то ни было ценность». «Нельзя забывать,— отметил в связи с этим возглавлявший советскую делегацию Н. Федоренко,— что подобные взгляды являются порождением консервативных, реакционных идеологий. Понятие «гуманизм», например, было изъято из словаря теоретиков фашизма. Но мы знаем, к чему приводит эта античеловеческая идеология».

Ф. Кузнецов, М. Луцци, Е. Сангвинети, Ф. Лентини, Л. Левчев, Р. Стоун, Дж. Маккинери, Я. Засурский говорили о традициях гуманизма в современной литературе, о социальной миссии творца, призванного поставить в центр своей духовной вселенной ЧЕЛОВЕКА,— традициях, получивших закономерное продолжение в основополагающих нравственных принципах устройства общества, считающего своей первоочередной задачей удовлетворение материальных и духовных потребностей человека.

Разумеется, споры по поводу гуманизма могут превратиться в абстрактные схоластические рассуждения, если рассматривать индивид в отрыве от социальных условий. Известно, какова сегодня ценность человеческой жизни в ЮАР, или в Чили, или в Сальвадоре. Но известно также, что социа-

листический мир объявляет человеческую жизнь наивысшей ценностью. Именно этот гуманистический принцип определяет ответственную позицию, которую отстаивает он в важнейшей битве современности — в борьбе за сохранение человеческого рода от атомного самоуничтожения.

Особое внимание на конференции было уделено вопросам традиций и новаторства в литературе, по которым высказали свое мнение М. Луцци, Е. Сангвинети, Н. Федоренко, Р. Стоун, Дж. Маккинери, Л. Левчев, Я. Засурский, Фр. Санвиталле, Дж. Рабони и др.

Исключительно интересные мысли содержало выступление академика Д. Лихачева. На основе конкретного искусствоведческого анализа он показал, как диалектически взаимосвязаны проблемы традиций и новаторства. По мнению советского ученого, истинный прогресс в литературе и искусстве немыслим без глубокого изучения высших достижений прошлых эпох. Следовательно, каждое новое течение, стиль и метод изображения в литературе содержат элементы традиционных ценностных систем, накопленных в течение веков. Такой подход к художественному творчеству не означает, однако, что мы отрицаем авангард. Наоборот! Каждое великое, истинное произведение искусства является новаторским.

В некоторых выступлениях содержались весьма пессимистичные оценки места литературы в современной жизни. «Чувствуется явный регресс и даже упадок в литературе США» — так прозвучал вывод из высказываний американского литературоведа Элизабет Хардвик. Отрицание роли литературы, отказ видеть в ней «послание», не новы. В истории искусства подобные концепции не однажды входили в моду. И по сей день создаются произведения, с порога объявляемые «элитарными», либо пренебрежительно относимые к массовой литературной продукции. При этом пренебрегают специфической особенностью искусства последней четверти нашего века: именно подлинно художественное литературное произведение лежит в основе самых массовых форм искусства — кино, телевизионных фильмов, киносериалов, радио, театральных постановок, оперы, балета. Саму же литературу обогащают идеи, сюжеты, герои и проблемы всей современной духовной культуры. Преображаясь в другие виды искусства, она как бы возвращается к самой себе, привлекая даже вдвое больший интерес и внимание своих читателей. И нередко эта «спровоцированная» вторая жизнь оказывается более долговечной, более сильно воздействующей на массовую аудиторию.

Представители социалистических стран (Ф. Кузнецов, Я. Засурский, автор этих строк) подчеркивали, что непрерывно усиливающаяся американская агрессия в духовной сфере, осуществляемая уже и с помощью спутникового телевидения, угрожает культурной самобытности, национальным традициям и ценностям десятков народов.

Резким диссонансом с общим духом конференции прозвучали слова театрального критика Джона Саймона, впрочем, следующего закрепившейся американской «традиции» — на любом международном форуме поднимать вопросы, связанные с так называемым «ущемлением прав человека» в социалистических странах. При этом, естественно, Саймон ни слова не сказал о том, что США в различные периоды времени закрывали свои двери перед такими иностранными писателями, как Габриэль Гарсиа Маркес, Грэм Грин, Карлос Фуэнтес, Клод Симон, совсем недавно — Фарли Моуэт и др. До сих пор нынешняя администрация то и дело следует «заветам» маккартизма — закону Маккарена-Уолтера от 1952 года, по которому можно найти сколько угодно причин, чтобы отказать во въездной визе в США — «страну свободы и неограниченных возможностей».

28 марта 1986 года, например, суд в Эль-Пасо подтвердил решение отказать в гражданстве американской писательнице Маргарет Рэндолл, чей «грех» состоит в том, что она позволила себе честно и искренне выражать свои симпатии к Кубе, Никарагуа, Вьетнаму.

Случилось так, что одновременно с нашими заседаниями в Сицилии, в Берне проводилось международное совещание экспертов по контактам между людьми, целью которого было дополнить и расширить договоренности 35 стран в Хельсинки. Тщательно подготовленный серьезный итоговый документ этого совещания был отвергнут стараниями представителей США за несколько часов до его окончательного подписания. Чего же стоит в таком случае демагогическая риторика на тему «права человека»?

...Истекали последние дни нашего пребывания в Палермо. После многочасовых дискуссий в здании дворца мы снова попали в атмосферу, типичную для всех городов Италии: интенсивное уличное движение — огромный поток автомобилей, пестрая человеческая толпа, многочисленные кафе-бары, витрины, заполненные дорогими и модными товарами.

Палермо, разумеется, имеет и свои особенности, свой ритм и звучание. Утопая в удивительных, многоцветных красках, остров как будто живет привычной, спокойной, размеренной жизнью. Палермо — один из богатейших городов Италии,—ничего общего с представлением о некогда захудалом городке, который запечатлел экран неореалистов 50-х и 60-х годов. В Палермо почти нет бездомных. В последнее десятилетие в его окрестностях поднялся лес небоскребов, к которым непрерывно присоединяются новые современные здания из бетона и стекла. А в центре, на месте некогда роскошных дворцов, в большинстве случаев давно покинутых своими хозяевами и постепенно разрушившихся, вырастают огромные жилые дома и современные административные здания. Но за видимым благополучием и блеском скрываются социальные язвы и драмы народа, в последние десятилетия особенно сильно испытавшего на себе всесильную власть мафии и масонской ложи «П-2».

Вечером, накануне нашего отъезда в Ачиреале, курортное местечко на берегу мо-

ря, мы вместе с одной из переводчиц зашли в маленький бар близ нашего отеля «Палма». Несколько мужчин пили пиво и темпераментно обсуждали мексиканскую футбольную эпопею. Я попросила свою спутницу поблагодарить от моего имени бармена за ароматный крепкий кофе.

— Синьора — испанка? — спросил польщенный бармен лет пятидесяти, худенький, невысокий, проворный итальянец.

— Нет, болгарка.

— О-о, понимаю,— как будто сочувственно произнес он.

— А что именно? — спросила я.

— Против вас ведется процесс, насколько мне известно. Я слышал, что ваша страна готовит террористов и некоторые из них пытались застрелить папу.

В баре стало тихо, футбольные комментарии прервались.

— А вы не слышали, что этот процесс закончился?

— Разве? И чем же?

— Антонов освобожден. Итальянское правосудие, несмотря на все свое старание, не нашло доказательств, чтобы осудить невинных людей.

— О каком процессе идет речь? — спросил молодой мужчина, только что вошедший в заведение.

— О процессе против болгар в Риме,— ответил бармен.

— У нас есть свой процесс в Палермо, и нам этого вполне достаточно,— с ехидной усмешкой добавил вновь пришедший.

— Я ничего не знаю! Я ничего не знаю! — послышался умоляющий голос внезапно побледневшего мужчины, который допивал свое пиво в углу, почти скрытый несколькими ящиками безалкогольных напитков.

Бармен приблизился к клиенту, торопливо продолжающему повторять одни и те же слова, и препроводил его на улицу.

— Извините, синьориты, у него не совсем в порядке нервы. Несколько месяцев назад убили его сына. После этого с ним что-то случилось. Но он не делает никому ничего плохого.

— Много болтаешь, Джованни,— изрек один из мужчин.

— Но я ничего не сказал. Желаете еще что-либо, синьориты?

Мы расплатились и покинули бар, где посетители осмотрительно подбирали темы для разговора и вовремя надевали маски безразличия.

Позже один журналист в Риме поделился со мной:

— В Сицилии люди боятся. Мафия приучила их молчать и подчиняться. Постоянный страх перед насилием давно парализовал город. Даже дети свыклись с телами убитых на улицах. В последние годы кровавый террор вызывает бурю негодования. Сейчас, когда процесс над мафией вступил в свою последнюю фазу, люди стали подозрительными и скрытными. Никто не знает, не окажутся ли его соседи или приятели замешанными в какие-нибудь темные дела. Помимо отправленных на скамью подсудимых нескольких сотен мафиози из трех крупнейших кланов в списке подозреваемых оказались члены «почтенных» и «богатейших семейств».

Бесспорно, мафии нанесен тяжелый удар. Но он не смертелен. Пока мы были в Сицилии, стало известно, что некоторые свидетели начали отказываться от своих предыдущих показаний, другие поспешно «посходили с ума», а третьи поторопились покончить с собой. Очевидно, не все щупальца спрута обрублены, более того, многие из них дотягиваются до Рима, Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Чикаго, Лас-Вегаса. Борьба против мафии обещает быть долгой и мучительной.

И вовсе не странно, что западные коммуникации не уделяют особого внимания скандальному процессу против мафии, тем более что многие следы ведут к высшим коридорам власти.

Зато три с половиной года буржуазные средства пропаганды и информации, особенно итальянские и американские, методично бомбардировали сознание миллионов людей всех континентов, «доказывая», что «секретные службы» Болгарии и СССР «тщательно подготовили» покушение на папу. С этой целью были опубликованы сотни статей, подготовлены репортажи, пресс-конференции, интервью, прогнозы и радиопрограммы, сняты фильмы с «места события», написаны специальные книги.

Эта антикоммунистическая лавина должна была докатиться до каждого отдельного человека и трансформироваться в негативное отношение к социализму. Разумеется, конечный результат процесса не удовлетворил реакционные силы в США и Западной Европе. Если бы Антонов был осужден, западная пропагандистская машина воспроизводила бы и вспоминала все новые и новые «сенсационные эпизоды» с целью разжигания постоянного интереса к «преступлению века», «совершенного двумя социалистическими странами».

Миллионы людей, которых несколько лет упорно дезинформировали, сейчас даже не знают, что процесс закончен. Решение суда было сопровождено лаконичным сообщением. Комментарии сочли излишними.

В сущности, ничего нового. Следует признать, что этот механизм манипулирования общественным мнением в капиталистических странах доведен до совершенства.

В США есть утвердившаяся практика: любой человек, или организация, или фирма могут привлечь к суду за клевету газету, радио- или телевизионную станцию. Если бы этот принцип был приложим к международным отношениям, то ЦРУ, ЮСИА, Пентагон и их пропагандистские подразделения разорились бы из-за своих сфабрикованных фальшивок, клеветы и лжи. Кстати сказать, состав американской группы, обслуживавшей пропагандистско-разведывательную акцию под названием «борьба против международного терроризма», а точнее против НРБ и СССР, был тем же самым (Клэр Стерлинг, Майкл Ледин, Пол Хенци и другие), что десяток лет назад разыграл сложную провокационно-антикоммунистическую акцию, чтобы не допустить к власти итальянских коммунистов. И в обоих случаях ясно очерчиваются американские связи с масонской ложей «Пропаганда-2» и мафией. Это единодействие является исключительно продуктивным и в военной сфере.

Уже известно, что в результате объединения мафии и ложи «П-2» в конце 70-х и начале 80-х годов произошла стремительная милитаризация острова, которая привела к размещению американских ракет среднего радиуса действия. Сегодня Сицилия является крупной американской ядерной крепостью.

И в то время как участники международной конференции обсуждали пути к сбережению национальных культурных традиций и ценностей и подчеркивали роль и место писателей и ученых в сохранении мира на планете, стало известно, что американская база в Комизо, на Сицилии, получила «пополнение» новых крылатых ракет...

Вторая часть нашей четырехсторонней встречи проходила в Ачиреале. В те же дни там проводилась очередная конференция итальянской неофашистской организации.

Участники столь различных по своим целям и содержанию обсуждаемых проблем форумов оказались под одной кровлей. Было ли это случайным совпадением или капризом кого-то из организаторов, но сам факт еще раз показывает, насколько сложны и противоречивы процессы, протекающие в политической жизни Сицилии, где мы стали свидетелями того, как поддерживается миф о «неограниченной буржуазной демократии» и «свободе слова» в капиталистическом мире.

Очевидно, однако, и то, что в Сицилии сегодня заявляют о себе и симптомы положительные — признаки пробуждения масс, медленного освобождения от гнетущего страха, вселяемого мафией, симптомы осознания своих социальных и политических интересов. Десятки и сотни людей острова организованно поднимают голос в защиту мира, настаивают на выводе американских военных баз из Сицилии, демонстрируют желание жить в понимании и сотрудничестве со всеми народами мира.

Первая встреча литераторов и ученых Италии, СССР, США и НРБ завершилась успешно. Общими усилиями было определено место поэзии и прозы, традиций и новых художественных ценностей в борьбе за лучшее понимание между народами. Силой своего искусства каждый художник должен способствовать достижению важнейшей цели — сохранению мира во всем мире.

«Независимо от различия политических взглядов,— сказал Марио Луцци,— нас объединяет главное и общее — нести людям идеи и традиции гуманизма».

Остается лишь поблагодарить хозяев из Международной ассоциации современной культуры в Сицилии во главе с ее президентом Франческо Лентини и местные власти Сицилии и мэрии городов Палермо и Ачиреале за прекрасную атмосферу, созданную на конференции. Наше время, как никакое другое, нуждается в мудрой литературе, в сохранении и упрочении ценностей гуманизма, которые учили бы нас величайшему искусству — жить в мире, без страха перед войной и ядерным апокалипсисом.

Проведенная в Год мира, конференция в Сицилии дала старт большому и сложному пути, по которому мы должны идти вместе, создавая такую литературу, которая нужна сегодня и дух которой поколения понесут с собой в будущее.

◆

Л. ЗАМОЙСКИЙ

ИЗ ПОРТУГАЛЬСКОГО БЛОКНОТА

Весной над Лиссабоном ходят быстрые и полные воды облака. Они орошают окрестные холмы, освежают голубые изразцы невысоких строений столицы и мчатся дальше над вздыбленной Атлантикой. Их провожают знаменитые мореплаватели Португалии, навечно водруженные на носу каменной каравеллы, устремившейся в океан.

Небольшая гордая страна, сумевшая в многовековой борьбе с могущественными соседями отстоять свою самостоятельность, не раз поражала мир. Она то совершала великие географические открытия, соперничая с Испанией, то замыкалась в средневековой скорлупе. Владела огромной колониальной империей — и прозябала в нищете. Проснулась к современной жизни — и почти на полвека застыла в тисках фашизма.

Апрельская революция 1974 года показала, какие силы дремали на самой западной окраине Западной Европы. Португалия удивила не только политическими переменами. Уважение и интерес вызвал взрыв творческой энергии ее народа.

Становление новой португальской литературы в чем-то сходно с чудесной трансформацией Золушки, превратившейся в принцессу, но не утратившей долгой трудовой памяти, богатого внутреннего мира. Диапазон португальской литературы представляется художественно, исторически, социально значимым.

Мне посчастливилось встречаться и беседовать с теми, кто еще при салазаризме, под гнетом цензуры готовил сдвиг в культуре Португалии, кто вывел ее из закоулков провинциализма, заставил говорить о португальской литературе далеко за пределами страны. Я, естественно, задавал вопросы об истоках, питающих культурный подъем в стране, о его перспективах, о связях наших литератур, о месте писателя в борьбе за мир, взаимопонимании народов. Вопросы повторялись. Ответы звучали по-разному. Думаю, что интереснее с ними знакомиться именно в сопоставлении.

Истоки

— Известен афоризм о том, что русская литература вышла из «Шинели» Гоголя, темы маленького человека, гуманизма. А португальская?

Первый вопрос этот был адресован человеку острого мышления, талантливому романисту Жозе Кардозо Пиришу.

КАРДОЗО ПИРЕШ. Существует большая разница между страной с такими традициями литературы, как Советский Союз, Россия, и страной типа Португалии. В нашей литературе довольно долго главенствовала поэзия. И хотя примерно в те же годы, что и у вас, возник и стал развиваться португальский роман, он не получил столь мощного развития, как в русской литературе. В первых романах заметно французское, отчасти английское влияние. И даже юмор одного из зачинателей этого

ЗАМОЙСКИЙ ЛОЛЛИЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1929 г.)

Советский журналист-международник. Работал собственным корреспондентом газеты «Известия» в Италии, «Литературной газеты» во Франции. Автор книг «Итальянские фрески» (1973), «Тайные пружины международного терроризма» (1982) и др.; статьи Л. Замойского печатались в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

жанра Эсы де Кейроша был, как мне кажется, еще наполовину французским, наполовину португальским... Тем не менее решающий шаг новая проза — роман — совершает на рубеже двадцатых годов нашего столетия, именно с той поры можно говорить об утверждении у нас собственного стиля. Мы осознали, что, не пренебрегая зарубежным опытом, должны творить самостоятельно, учитывая традиции нашей страны. И невольные перекличи с произведениями советских или французских писателей — это неизбежная плата за приобретение опыта. Так или иначе роман стал крупным явлением в португальской литературе.

В беседе с писателем я рассказываю, что в Советском Союзе переводятся и издаются неслыханными для Португалии тиражами произведения многих португальских писателей — от классиков, таких как Камоэнс, Эса де Кейрош, Камило Кастело Бранко, Алешандре Эркулано, до мастеров новейшего времени — Алвеса Редола, Акилино Рибейро, Феррейры де Кастро, Фернандо Наморы, Вержилио Феррейры, Жозе Сарамаго, Урбано Тавареша Родригеша (останавливаюсь, ибо полный перечень был бы весьма долог). Самый широкий читатель у нас может составить представление об их творчестве.

КАРДОЗО ПИРЕШ. Я заметил, что литература той или иной страны становится предметом внимания лишь тогда, когда интерес вызывает сама страна. И хотя португальских писателей (и меня в том числе) переводили в Советском Союзе еще до 25 апреля 1974 года, думаю, что особый интерес к нашей литературе возник в связи с этой датой. «Бум» вокруг португальской литературы, как и вокруг латиноамериканских литератур, по мой взгляд, начался в результате того что родины этих литератур противостоят Соединенным Штатам. Конечно, главное в том, что, к счастью, в этих странах уже существовала скрытая от посторонних взглядов литература — в подходящий момент она стала широко известной только в силу сложившихся социально-политических обстоятельств... Вообще же, должен заметить, что внимание, которое Советский Союз проявляет к культурам других народов,— один из факторов, способствующих росту его авторитета в современном мире.

Не все в высказываниях Жозе Кардозо Пиреша представляется бесспорным. Рождение большой литературы и вызываемый ею интерес не обязательно связаны прямо с политическими и социальными сдвигами в стране или не всегда совпадают по времени. Несомненно, однако, что когда культурный подъем налицо, то сопутствующие общественно-политические процессы могут привлекать к нему дополнительное внимание.

Известный писатель-антифашист, подвергавшийся в годы салазаровской диктатуры арестам и преследованиям, Урбано Тавареш Родригеш подходит к вопросу несколько иначе: он говорит о влиянии, которое оказали на содержание и стиль португальской прозы кризис колониальной системы и развитие революции в Португалии.

ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ. Возможно, одной из причин взлета португальской литературы являются поднятые ею новые темы. Апрельская революция освободила слово, дала возможность говорить о темах, прежде являвшихся табу, таких, как колониальная война. Революция дала слово тем, кто были свидетелями и участниками войны. Антонио Лобо Антунеш, врач-психиатр, служивший в чине капитана медицинской службы в колониальных войсках,— один из наиболее видных представителей этой темы. Ему свойственна ярко индивидуальная манера. В своих романах он восстанавливает события того времени, широко используя метафору. В ряду авторов, пишущих на ту же тему, можно назвать, к примеру, Жоао де Мело, автора «Воспоминаний видевшего, как убивают и как умирают», и других.

В книгах Жоао де Мело, Элии Коррейа и особенно одного из крупнейших современных писателей Португалии — Жозе Сарамаго — привлекают внимание элементы фантастики, вымысла, которые связаны с традициями европейской литературы, от Гофмана до Кафки, и в то же время — с корнями португальской культуры, уходящими в средневековье. Недавно вышедшая книга писательницы Лидии Жоржи «Вести из дикого города» охватывает годы после Апрельской революции. Она показывает пустоту, безнадежность, приспособленчество, которые воцарились в некоторых сферах португальской действительности.

Мне кажется, что почти все лучшие наши писатели в той или иной степени сознают необходимость обращения к теме 25 апреля, теме больших надежд. Это была чрезвычайно своеобразная революция. Она несла в себе большой творческий заряд. В ходе ее народ сам обрел слово и выступал с речами на площадях и улицах. В романе Франсишку де Соузы «Король света» тема революции проходит фоном для сюжета о жизни молодого человека: именно в эти годы он обрел любовь и вкус к жизни. Об этом же — и моя трилогия «Изопью эту чашу до дна».

Фернандо Намора — старейшина португальской литературы. Творческая палитра его чрезвычайно богата: романы, публицистика, документальная проза, поэзия. Чем он объясняет, что в Португалии все чаще обращаются к роману, то есть к крупным формам, ведь их труднее воспринять, чем небольшие?

НАМОРА. Некоторые весьма маститые критики до сих пор утверждают, будто у нас так и не создан классический роман, а пишем мы лишь новеллы большого объема. Я совершенно с этим не согласен.

В течение последних пятнадцати лет действительно произошло нечто вроде взрыва в португальской романистике. Любопытно, что этот процесс сопровождался известным упадком рассказа. Почему возобладал роман? Мне кажется, что наш писатель, какими бы ни были его эстетические взгляды, стремится прежде всего выразить характер своего соотечественника в историческом развитии, ищет духовные первоистоки народа — такие искания, естественно, требуют романной формы. Именно они придают пор-

тугальской литературе ярко выраженный отпечаток самобытности...

Бросается в глаза «неспокойствие» в архитектонике романа, поиск новых форм, новой композиции. Сюда относится и использование приемов, свойственных жанрам, которые обычно (и ошибочно, конечно) причисляются к разряду «сублитературных» — фантастики, детектива, приключений. Это позволяет вести исключительно живой диалог с читателем.

Одним из самых своеобразных примеров соединения фантастики и реального, прошлого и настоящего, несомненно, является творчество очень популярного сейчас в Португалии писателя Жозе Сарамаго.

САРАМАГО. Главное для меня как автора романов — угол зрения, под которым рассматривается история народа. Я выразил бы это так: прошло время, когда следовало писать историю Португалии. Сейчас надо писать историю португальцев. Думаю, что роман, посвященный исторической теме, может сегодня служить фактором мобилизации сознания, а тем самым — и средством корректировки истории нового ее осмысления. Размышляя над историей своей страны, я прихожу к выводу о том, что в этой области далеко не сказано последнее слово. По-моему, мы находимся в самом начале процесса формирования нового исторического сознания португальцев. Мы хотим создать современный португальский исторический роман.

Выслушав мою просьбу пояснить свою концепцию, САРАМАГО не без лукавства посмотрел на меня.

Может быть, на ваш взгляд, моя концепция выглядит несколько необычной. Я, например, исхожу из фундаментальной для меня идеи о том, что времени не существует. Если принять такое допущение, то расстояния между явлениями сокращаются, следовательно, прошлое — также и настоящее. Как вы на это посмотрите?

Я заметил, что все-таки сравнивать прошлое и настоящее всегда лучше, имея в виду будущее, конечные цели.

Прошлое в будущем или будущее в прошлом!

САРАМАГО. Полностью согласен с вами. Иногда я даже высказываю такую мысль: настоящее не существует. Есть только прошлое и будущее. Мы никогда не находимся в настоящем, мы всегда в будущем, влача за собой прошлое.

Всем, кто хочет постичь сегодняшнюю действительность, необходимо понять наше прошлое, которое было и безобразным, и печальным, и жестоким, и бесчеловечным. Понять по крайней мере для того, чтобы не переносить такое прошлое в будущее.

В Советском Союзе вышел роман Сарамаго «Воспоминания о монастыре»[1], который в Португалии издан тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров. Это весьма большой тираж. В центре книги — гигантский монастырь в Мафре, что в сорока километрах от Лиссабона. ЖОЗЕ САРАМАГО так излагает сюжет книги:

Вообразите, что писатель, в данном случае я, в десятый, двадцатый, сотый раз подъезжая к монастырю, задает вопрос: кто это построил, для чего? Узнаю, что это сооружение возводилось в течение почти тридцати лет. На строительстве трудилось пятьдесят тысяч человек. Многие из них завершили здесь свой земной путь. Это ли не сюжет для романа? Кажется невероятным, что до сих пор он не был написан. И я попытался заполнить пробел. Исторические данные свидетельствуют, что в ту же эпоху жил священник-иезуит Бартоломеу Лоуренсо ди Гусман, который хотел построить летательный аппарат. Контраст между тяжелой, давящей массой монастыря и дерзкой мечтой о полете будит творческую фантазию, добавим сюда инквизицию, золото и бриллианты осваиваемой в то время Бразилии, королевский абсолютизм, коррупцию, роскошь — на одном полюсе и ужасающее невежество масс, их эксплуатацию — на другом, и вот подлинная тема для романиста.

Мне хотелось написать книгу полифоническую, дать собирательный образ страны.

«Воспоминания» завершаются сценой аутодафе. Сжигают одного из героев романа, помогавшего Бартоломеу ди Гусману построить «летающую машину». Жена искала его девять лет и наконец встретила мужа в день казни. В книге нет счастливого финала, но она тем не менее (хочу надеяться) содержит, если можно так выразиться, «заряд будущего» ибо огромна способность народа к сопротивлению — сила часто неосознаваемая. Но она существует и является движущей силой истории.

Я спрашиваю автора о его недавно вышедшей книге. Роман «Год смерти Рикардо Рейша» имеет в Португалии большой успех. Сарамаго применяет в нем прием, о котором говорил в начале беседы: он как бы «отменяет» время и сталкивает уже умершего португальского поэта Фернандо Пессоа с его alter ego — вымышленным персонажем, поэтом Рейшем, последователем Горация. Пессоа создавал свои произведения, приписывая их «гетеронимам», несуществующим лицам,— это как бы различные «лики», состояния души автора. Среди четырех избранных Пессоа в последние годы жизни «гетеронимов» Рейш воплощал его «классический лик». «Оживляя» автора и его персонажей, Сарамаго помещает их в обстановку Португалии 1936 года.

САРАМАГО. Год этот был ознаменован важными событиями. В Испании начинается гражданская война. Во Франции создается Народный фронт. Нацистская Германия оккупирует Саар. В самой Португалии множится расистское воинство — португальский легион. Рейш сталкивается с португальским фашизмом, ощущает приближение страшной войны. И хотя для мира его классической поэзии реальной действительности словно бы не существует, эта действительность дает о себе знать. Поэт

[1] Подробнее о романе см. рецензию Е. Злобиной «Поднявшиеся в небо» в «ИЛ», 1986, № 9. *(Прим. ред.)*

вступает в противоречие с самим собой, собственным творчеством.

Роман явился для меня попыткой понять свою страну, какой она была пятьдесят лет назад, увидеть сегодняшний день с позиций минувшего, осознать явления современной жизни, начало которым было положено в те годы.

Хотел бы подчеркнуть, что фантастические элементы книги не представляют для меня самоцель. Я стремлюсь серьезно исследовать нынешнюю действительность Португалии.

Как реагирует читатель?

Итак, бесспорно: роман занял центральное место в творчестве большинства португальских писателей.

ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ так подытожил свои размышления над этим явлением:

В период тяжелых политических и экономических кризисов писатели испытывают потребность обратиться к узловым вопросам истории страны, формирования ее народа. Важно показать корни, духовные истока персонажей книг, литературных героев. И они выбирают жанр романа — самый подходящий для глубокого анализа народной жизни.

Выбирают, добавим мы, и самые разнообразные формы, необычные точки отсчета и литературные приемы, порой даже могущие из-за своей фантасмагоричности до известной степени затруднить восприятие произведения. А чтобы творчество и связанный с ним эксперимент не повисли в воздухе, не сошли на нет, нужен большой общественный интерес, нужен читатель, нужно, чтобы в писательские ряды вливалось новое пополнение. Как складываются эти отношения? В чем сила и слабости имеющегося культурного потенциала?

Все эти вопросы я ставил перед собеседниками, и нельзя сказать, чтобы ответы были одинаковы.

Считающий себя «самым пессимистично настроенным португальцем», КАРДОЗО ПИРЕШ был категоричен:

Думаю, что мои португальские коллеги, как, впрочем, французские и испанские тоже, по существу не знают, кто их читатели. По-моему, говорить, что литература пишется для народа — чистая демагогия. В Португалии — это демагогия.

Во времена фашизма, как ни странно, трудящиеся, возможно, покупали больше книг, чем сейчас. Книги придавали им силы, были частью надежд, в которых они нуждались, являлись источниками истины, правды жизни. Сегодня же в условиях сложившегося у нас «общества потребления» народ не покупает книг. Они стоят слишком дорого.

Отношения между писателем и читателями регулируются рынком, творчество становится интеллектуальной индустрией. Число литераторов сокращается. Их труд все чаще подчинен технологии манипулирования сознанием. У нас нет цензуры, как в старые времена. Я не подвергаюсь аресту, как случилось при фашизме, когда я написал «Его превосходительство динозавр», антисалазаровскую книгу. Но существуют иные карательные меры — наказание с помощью средств массовой информации. Особенно это чувствуют молодые писатели.

ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ во многом подтверждает такое мнение, отмечая трудности культурной жизни в Португалии:

Наша литература довольно обширна, но доступ к ней имеет относительно небольшая часть населения. Это характерно почти для всех капиталистических стран, но в Португалии положение особенно тяжелое. Подавляющее большинство населения отличается низким культурным уровнем и низкой покупательной способностью. Первые два года после революции она была значительно выше. Я сам мог наблюдать, какой огромный интерес проявляли широкие слои пролетариата, особенно заводского, к культуре — литературе, поэзии, театру. Последний был особенно популярен. Ведь это коллективное искусство, самое коммуникативное. В период революционного взрыва театр был на подъеме, позволял установить непосредственный контакт с аудиторией.

К сожалению, условия изменились. Сейчас у нас небывалая безработица, а тем, кто работает, задерживают выплату заработка. Многие рабочие уже не могут позволить себе покупать книги, посещать спектакли. Кроме того, молодежь бомбардируют рок-музыкой, американской телепродукцией.

Известный драматург ЛУИШ ФРАНСИШКУ РЕБЕЛУ подтверждает:

Субсидии театрам сократились, условия, в которых вынуждены работать труппы, чрезвычайно тяжелы. Отсюда общее снижение уровня театрального искусства, степень проникновения театра в массы уже не та, что в первые послереволюционные годы. Театры все чаще обращаются к произведениям зарубежных авторов. Число идущих на сценах страны пьес португальских авторов невелико. Они в основном отмечены реализмом, многие носят сатирический характер. Эти пьесы ставят около десяти лиссабонских театров, труппы в городах Эвора и Сетубал, студенческие театры.

Сам Ребелу написал пьесу, изображающую Португалию сороковых годов; она была поставлена в рамках устроенной фондом Каллюста Гульбенкяна в Лиссабоне выставки, посвященной искусству тех лет. Фонд проводит немалую культурную работу.

Но вернемся к высказываниям ТАВАРЕША РОДРИГЕША о положении культуры в Португалии:

Молодой человек, пожелавший стать писателем, сталкивается с большими трудностями. К примеру, ему просто негде печататься, так как у нас мало специализированных журналов, творческих рубрик в газетах.

Кризис, переживаемый страной, развивает у определенной части молодежи настроения эгоизма, индивидуализма, скептицизма. Как университетский преподаватель, я немало общаюсь со студентами. Думаю, что, если в стране сложатся новые

социально-политические условия, та же молодежь вновь ощутит пробуждение надежд, прилив энтузиазма.

Может ли писатель жить лишь литературным трудом? За редчайшим исключением приходится искать дополнительные заработки. Я знаю всего лишь двух писателей, живущих на литературные заработки. Это Жозе Сарамаго и Жозе Кардозо Пиреш.

Видимо, сюда можно было бы добавить имя Фернандо Наморы. Но так или иначе ответ позволяет еще больше оценить самоотверженность португальских писателей. Кстати, о творческой судьбе Жозе Сарамаго, которого упомянул Тавареш Родригеш. Дело в том, что на профессиональный писательский путь Сарамаго стал... оказавшись безработным. Он являлся заместителем главного редактора газеты «Диариу де нотисиаш» и был уволен 25 ноября 1975 года, во время попытки контрреволюционного переворота в стране. В марте следующего года он уехал в «глубинку» Португалии, провинцию Алентежу, и там, постоянно общаясь с трудящимися, начал писать романы. Обращаюсь к Жозе Сарамаго с вопросом:

— Некоторые ваши коллеги отмечали, что в Португалии в условиях диктата рынка потребительства трудно наладить прямой разговор с читателем, что писатель по существу не знает, кто его читает. Разделяете ли вы это мнение?

САРАМАГО. Я с этим совершенно не согласен. Еще до 25 апреля зародилась традиция, получившая особенно широкое развитие после революции,— традиция прямых контактов с читателями во время коллоквиумов, творческих вечеров. Бывая в Браге, Порту, Коимбре, я всегда принимал участие в подобных мероприятиях. Не всем писателям по вкусу подобная работа. Но мне лично она доставляет большое удовольствие. Мне просто необходимо видеть своих читателей, говорить с ними о своих книгах.

Эти встречи, а также письма, которые приходят,— доказательство того, что читатели проявляют страстный интерес к дискуссиям, диалогу, стремятся узнать, как и почему пишутся книги.

Согласен, положение писателя в португальском обществе достаточно плохое. Что же касается общей тенденции — идет ли литература на подъем или ее ожидает спад,— я не сказал бы, что мы достигли пика, но бесспорно, что наша литература переживает период активного роста и развивается по восходящей. Несмотря на все трудности, прежде всего социально-экономического порядка, я думаю, что это движение будет продолжаться, о чем, на мой взгляд, свидетельствует появление все новых авторов, которым под тридцать или чуть больше. Уже первые произведения показывают высокое писательское мастерство, обращают на себя внимание новизной тем. Среди женщин — это Мария Вельо да Кошта, Деолинда Жерсао, Элия Коррейа (она, по моему мнению, может стать очень крупным романистом), Лидия Жоржи, Олга Гонсалвеш и многие другие. Среди мужчин — Марио Клаудио, Арман-до Силва Карвальо, Марио де Карвальо. У нас много талантливой, плодотворно работающей молодежи. Надеюсь, что еще до конца текущего столетия португальская литература достигнет такого уровня, на котором она ранее никогда не была.

ФЕРНАНДО НАМОРА, с которым мы беседовали накануне, высказался кратко:

Собственно, я по характеру скептик. Но в том, что касается этих вопросов, я оптимист, и, по мнению некоторых, даже чрезмерный. Хотя должен признать, что у нас существуют значительные расхождения в оценках этой проблемы.

Наш разговор прервал телефонный звонок. Намора объяснил: «Звонил писатель с Азорских островов Диаш де Мело. Он написал интересный роман о ловле китов». Этот эпизод помог затронуть немаловажный аспект португальской литературы — ее связи с другими португалоязычными литературами.

НАМОРА. Культура, созданная на основе португальского языка, распространена на нескольких континентах. Она оказала влияние на страны которые приобретают растущее влияние на мировой арене, идут к культурной самостоятельности. Некоторые из них уже ее достигли, как например, Бразилия, которая обладает таким запасом творческих сил, каким могут похвалиться немногие страны Латинской Америки. Серьезная литература зарождается в Анголе и Мозамбике. Она сохраняет тесную связь с нашей, но у нее собственные корни. Учитывая эти факторы, можно, мне кажется, предсказать, что через какое-то время литература на португальском языке займет одно из первых мест в мировой литературе.

Эту тему охотно поддержал и развил известный писатель Мануэл Феррейра. Его судьба тесно переплелась с упомянутыми португалоязычными странами.

ФЕРРЕЙРА. Сорок лет назад я находился в рядах экспедиционной армии на Островах Зеленого Мыса (Кабо-Верде). Здесь я женился, тут же родился и мой старший сын. Многие из моих рассказов посвящены кабо-вердеанской тематике, в том числе переведенные на русский язык «Ордер на арест», «Час прощания», сборник «Принесенная с собой земля».

Лет двадцать назад я посвятил себя португалоязычной Африке и как исследователь ее литературы. В 1965 году вышло второе издание антологии поэзии португалоязычной Африки в трех томах («В царстве Калибана»). Она представляет авторов из Гвинеи-Бисау, Кабо-Верде, Анголы, Мозамбика, Сан-Томе и Принсипи.

Вопросы деколонизации, освобождения были в центре диалога между прогрессивными, антиколониальными силами в Португалии и освободительными движениями колоний После Апрельской революции и провозглашения независимости этих стран в Португалии стало возможным широкое издание произведений прогрессивных авторов-африканцев. Созданы институты и центры по изучению африканских стран, их культур. Я, например, преподаю афри-

канскую литературу на филологическом факультете университета. Сейчас участвую в подготовке писательского конгресса семи португалоязычных стран — пяти африканских, Бразилии и самой Португалии. Среди наиболее интересных писателей португалоязычной Африки я бы назвал Балтазара Лобреша, Габриэла Мариану, Мануэла Лопеша, Жоржи Барбозу, Орланду Амариллис (Кабо-Верде), Агостиньо Нето, Луандино Виейру и Пепетелу, Мануэла Руя (Ангола), Алду ду Эшпириту Санту (Сан-Томе и Принсипи), Ноэмию де Соуза (Мозамбик). Я не случайно включил в этот ряд имя Агостиньо Нето, первого президента новой Анголы, прекрасного поэта. Дело в том, что почти все руководители национально-освободительного движения писали стихи — Агостиньо Нето, Амилкар Кабрал, Марселину душ Сантуш. В их произведениях звучит пламенный призыв к избавлению от колониального гнета, они прославляют героизм борцов за независимость.

Место писателя в современном обществе

Кардозо Пиреш отмечал, что большинство писателей Португалии стоит на передовых позициях. И хотя политические процессы в стране привели к известному попятному движению, хотя это создало для тех, кто работает во имя культуры страны и ее народа, немалые трудности, эти люди остаются верны своим принципам и идеалам. Тем большее уважение вызывает их преданность делу мира, взаимопонимания и дружбы между народами.

Драматург РЕБЕЛУ, один из руководителей Ассоциации португальских писателей, которая насчитывает шесть тысяч членов, говорит:

Португальские писатели, большинство которых во времена фашизма находилось в самой активной оппозиции режиму, враждебному в своей основе нормальным взаимоотношениям людей и миру во всем мире, и в наше время продолжают бороться за те же идеалы.

Вполне очевидно, что у писателей формы этой борьбы могут отличаться от форм, которые используют другие граждане Португалии, но конечные цели у них одни и те же. Писатель ведет свою борьбу в сфере культуры, эстетики. Это не защита «чистого искусства». Напротив, я защищаю искусство, непосредственно связанное с чаяниями и нуждами людей, живущими в нашем обществе. Лично для меня художественная литература — средство познания человеком самого себя, своего места на земле, с тем чтобы он мог понять, какой вклад может внести в улучшение этого мира.

Улучшить мир — значит создать более благоприятные условия взаимоотношений между людьми, а это, в свою очередь, предполагает обеспечение справедливого и прочного мира.

ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ в беседе с нами посетовал, что тема борьбы за мир пока не стала центральной в творчестве португальских писателей:

Однако есть широкое движение — и я к нему принадлежу,— которое озабочено гонкой вооружений. В этом движении активное участие принимает португальская интеллигенция.

Фернандо Намора, со своей стороны, подчеркнул, что писатель, знакомя с образом мыслей и чувств своего народа и знакомясь, через переводы и издания, с внутренним миром другого народа, по существу выполняет благородную миссию сближения людей, углубления их взаимопонимания.

НАМОРА. Сам по себе процесс литературного творчества основан на любви к ближнему, на самоотречении. Литература и музыка — вот два наиболее эффективных средства создания атмосферы большей близости между народами. Литература дает ни с чем не сопоставимые возможности для познания тех культурных ценностей, на которых воспитывается другой народ. Очевидно, что народ, который больше знаком нам, ближе для нас.

Типичный пример — ваша страна: когда думаешь о ней, мысли неизбежно обращаются к творениям ваших великих писателей. Потому культурное общение между народами просто незаменимо.

В течение десятилетий мы знакомились с вашими классиками. Из восхищения ими рождалась глубокая симпатия, уважение, наконец, близость наших литератур.

Конечно, мы намного хуже знаем современную советскую литературу. Но мне кажется, интерес к ней все возрастает. Видите стопку советских книг на моем письменном столе? Не подумайте, что они здесь очутились только в связи с вашим приходом. Ваша страна постоянно присутствует в моем доме. С ней меня связывает большая дружба.

Все мои собеседники без исключения выражали заботу о том, чтобы современная советская литература скорее стала достоянием португальских читательских масс. Сами писатели в большинстве знакомятся с ней по переводам на французский и другие европейские языки, но для широкого читателя это недоступно. Пришлось выслушать немало советов и предложений, каким образом можно было бы заинтересовать издательства, найти квалифицированных переводчиков, организовать знакомство тех, кто занимается книжным рынком, с новинками советской литературы. По этому вопросу мнение было единым. И его энергично и решительно выразил Жозе Сарамаго: «Надо, чтобы мы читали друг друга. Португальцы не знают современной советской литературы, ваши читатели гораздо лучше знакомы с произведениями наших писателей. Пора ликвидировать это несоответствие».

◆

Среди книг

Издано в СССР

ЛЕТОПИСЕЦ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Дежё Костолани. Избранное. Перевод с венгерского. Составление Е. Малыхиной. Предисловие О. Россиянова. Москва, «Художественная литература», 1986.

Творчество известного венгерского писателя Дежё Костолани (1885—1936) богато и разнообразно. Он начал как поэт в начале XX века в атмосфере напряженных противоречивых идейно-эстетических поисков. Сразу был замечен сборник его стихов «Жалобы бедного ребенка» (1910). Лирика Костолани элегична. Поэта тревожат неблагополучие, неустроенность, горе и зло, господствующие в обществе. Он мастерски владеет техникой стихосложения, смело экспериментирует. Если поэтическое творчество Костолани, к сожалению, мало знакомо нашему читателю, то его проза, так называемые «лирические» романы получили бóльшую известность.

В 1927 году в издательстве «Время» вышел первый русский перевод романа «Нерон, кровавый поэт» (1922), есть основания полагать — благодаря содействию М. Горького, с которым венгерский писатель виделся на Капри и переписывался. Хотя события происходят в Древнем Риме, писатель выносит приговор варварству XX века, обществу, которое не только терпит, но и порождает деспотизм, тиранию и губит человеческую индивидуальность. Роман провидел зарождение фашизма и не случайно обратил на себя внимание Томаса Манна, отметившего, что это произведение «до боли волнует своей человечностью, настолько оно правдиво». В 1977 году вышел новый русский перевод «Нерона».

В повестях и романах «Жаворонок», «Золотой дракон» «Анна Эдеш», изображая серые будни современной действительности, пронизанной безмерной тоской, он пишет о духовной неудовлетворенности обездоленных людей. Повесть «Жаворонок» и роман «Анна Эдеш» — о служанке, не вынесшей гнета, унижений и убившей своих господ,— издавались в нашей стране и были с интересом восприняты читателем.

Костолани известен также как критик, эссеист, страстный поборник развития венгерского языка плодовитый журналист и переводчик художественной литературы.

В сборник, выпущенный к 100-летию писателя, кроме повести «Жаворонок» вошли главы из романа «Корнел Эшти» и новеллистика. Хочется особо отметить удачное составление, емкое и содержательное предисловие, а также хороший уровень многих переводов

Произведения Костолани построены на конфликтах внешне будничных, неприметных, с использованием принципов парадокса, экспромта, стилистической игры.

Костолани интересует не только сам человек, хотя ему и не откажешь в умении точно, сжато обрисовать облик персонажей выявить характер. Для него гораздо важнее вечные вопросы бытия Не претендуя на разгадку смысла жизни, Костолани ищет в случайности обстоятельства, которые направляют жизнь человека. Как-то он сказал что в жизни все решается за несколько минут Нет Костолани не фаталист, он не верит в предопределение, и не моралист — проповедник терпения и покорности Он поэт случая. Потому-то мелочи у него играют важную роль в судьбе персонажей: случайно оторвавшаяся пуговица от купальника или неудачно сшитый костюм могут обернуться настоящей драмой («Живот его превосходительства» «Tailor for gentlemen»), неудачное выступление — испортить карьеру судьи, ошибка врача — навсегда отравить его существование («Врачеванье лекаря»).

Внимание к фактам будничной жизни, отсутствие конкретной программы обновления мира, своеобразие мировосприятия по-

родили определенную дробность и мозаичность изображения, однако в лучших новеллах Костолани удается такими минутными «капризами» судьбы высветить сущность явлений, подчеркнуть их истинное содержание.

Его маленькие будничные трагедии, эти смешные и грустные драмы повседневности озарены уверенностью в силе добра, они заставляют также задуматься над быстротечностью жизни. В них чувствуется теплота и сочувствие, стремление помочь людям, сделать их счастливыми. А много ль для этого надо? Порой хватает голубой мечты заиметь моторную лодку, как, например, для помощника бухгалтера, персонажа новеллы «Моторная лодка», или написать несколько теплых слов некрасивой девушке («Дурнушка»).

Важной задачей считал Костолани проникновение в мир своих персонажей. Тонко, психологически убедительно рисует Костолани различие между видимостью, ролью, которую человек вынужден играть на службе, и реальным содержанием жизни в семейном кругу. Порой положение, должность ставятся выше духовных ценностей. Когда же внешние атрибуты исчезают и человек выпадает из своей функции, он ощущает неприкаянность и ненужность («Пава»).

Нередко истину помогает уяснить чистое, неиспорченное детское сознание («Семейное торжество»). Мальчик, увидевший как бесправен его грозный отец на работе («Ключ»), или другой малыш, обнаруживший в рождественский вечер, что папа просто шулер («Карты»), испытывают горечь и обиду.

В поздней новеллистике Костолани импульсивный протест против дегуманизации буржуазного общества перерастает в категорический моральный императив: приносить себя в жертву ради близких, защищать тех, кто страдает или сознательно противостоит злу, эгоизму. Таковы новеллы «Узник» «Два мира»

Трагедия унижения, сопротивления давлению общества — главные темы Костолани-прозаика. Его творчество отличает особый иронический стоицизм, помогающий сохранить человеческое достоинство, дающий художнику возможность и далее осваивать действительность.

Внимательно фиксировал Костолани социальное пробуждение человека всякую попытку освободиться от душевного рабства. Таково неосознанное желание девушки из бедной семьи посидеть на одной скамейке с господином («На скамейке») или внезапное решение домашнего учителя объявить шах и мат своему угнетателю («Шах и мат»).

С горьким разочарованием пишет писатель о равнодушии, бесцельности жизни послевоенного поколения, утратившего чувство сострадания («Баркохба»). Острой критике подвергает он позиции интеллигенции, уходящей от социальных проблем, готовой заниматься чем угодно, лишь бы удержаться на поверхности («Страусовая политика»).

Повышенное внимание к внутреннему миру, к глубинным процессам в сознании человека породило литературный образ «двойника». Мотив двойничества, идущий от Гофмана, Стивенсона, Уайльда, ощущается в романе Костолани «Корнел Эшти». Герой — ироническое раздвоение личности писателя, двуединства прошлого и настоящего, своеобразное подведение итогов, размышления над прожитой жизнью. Корнел Эшти не просто материализованное отражение раздвоенной личности писателя. Определяющими в его образе являются противоречивость и загадочность. Отсутствие жестких контуров натуры позволяет ему как бы переливаться из одной индивидуальности в другую.

Восприятие образа Эшти усложняется тем, что в одних случаях он ведет рассказ от своего имени, потом о нем рассказывают другие, дальше он уже выступает как второе «я» писателя, а то и вовсе сливается с ним, в некоторых же главах это и вовсе аморфная фигура.

В его характере отсутствует ядро, стержень, его поступки импульсивны и непредсказуемы. Он может внезапно сойти с поезда, чтобы полюбоваться видом падающего снега в немецком городке, вспомнив при этом детство, или же остаться на неведомой станции, чтобы в фешенебельном швейцарском ресторане съесть обыкновенный омлет («Омлет по-вобурнски»).

Однако герой, невзирая на шутовство, богемность, напускное веселье, еле сдерживает отчаяние и слезы. Его не покидает чувство бренности жизни, ощущение близкой смерти, все для него теряет реальную основу и стабильность, разрушаются моральные ценности, исчезают критерии жизнь теряет смысл.

Сохранить самообладание помогают лишь ирония, юмор, они — знак сопротивления бездуховности и тоске.

В тяжелые времена хортистского режима Костолани сберег верность гуманистическим идеалам. Художественное мастерство снискали ему любовь и уважение читателей далеко за пределами родины. Новый сборник произведений писателя на русском языке — еще одно яркое тому подтверждение.

ИВАН МЕГЕЛА

РОЛЛАН ПИШЕТ ПИСЬМА...

Ромен Роллан. Статьи, письма. Перевод с французского. Составление и предисловие Т. Л. Мотылевой. Москва, «Радуга», 1985.

Книга эта — плод напряженного труда составителя, автора предисловия и коллектива переводчиков. Она была опубликована в канун столетия со дня рождения писателя и в год смерти его вдовы Мари Ромен Роллан. Ее подвижническому труду читатель обязан выходом в свет 26 «Тетрадей Ромена Роллана». Из этих книг тщательно отобраны 193 письма, впервые публикуемых на русском языке и составляющих лишь малую часть его эпистолярного наследия.

Письма поражают богатством и разнообразием материала. Прежде всего разнообразны адресаты: тут близкие друзья —

Луи Жилле и Жан Геэно; знакомый, участник Сопротивления — Эли Валаку, крупнейшие писатели — Максим Горький и Герберт Уэллс, начинающие литераторы... Бросается в глаза и широта географии: Роллан пишет во Францию, Германию, Россию (затем — в Советский Союз), Швейцарию, Италию, Англию, Индию, Соединенные Штаты Америки...

Однако в разнообразии угадывается единство. Роллану всегда по пути с прогрессивными силами Франции [1]. На самой заре века, в январе 1901 года, он пишет Мальвиде фон Мейзенбуг: «Меня с фатальной неизбежностью влечет в лагерь социалистов, и день ото дня все сильнее». Естественна и понятна его тесная дружба с Жан-Ришаром Блоком, в будущем видным деятелем Французской коммунистической партии. Переписка с ним началась в 1910 году, выдержала испытания империалистической войной (Блок дрался на фронте, был «честным оборонцем», в то время как Роллан от позиции «над схваткой» пришел к решительному осуждению этой войны). Переписка с Ж.-Р. Блоком продолжалась до последних дней жизни Роллана. Еще ждет публикации — и во Франции, и в СССР — обширная переписка Роллана с Барбюсом. Дружественные отношения поддерживал Роллан с первыми французскими коммунистами — Раймоном Лефевром и Полем Вайяном-Кутюрье.

Знаменательно, что одно из последних писем Роллана адресовано Морису Торезу: писатель приветствовал руководителя французских коммунистов, возвратившегося в 1944 году во Францию. Сам Роллан коммунистом не стал, но ему были близки идеалы справедливого общества, недаром в 1929 году он писал, что исповедует «коммунизм души».

Через всю долгую жизнь Роллан пронес любовь к России, к Советской стране. Его произведения — особенно «Жан Кристоф» — перекликались с исканиями русской интеллигенции и были всегда у нас популярны «Жан Кристоф»,— писал Роллан,— еще в годы гражданской войны был товарищем молодых людей, которые сражались...» Эта популярность особенно возросла после поездки Роллана в СССР в 1935 году. В письме А. М. Горькому (частично переписка Роллана с Горьким у нас опубликована) говорится: «...столько писем от простых людей, которых никогда не видел, никогда не увижу,— и все-таки они ближе мне, чем родные! Многие из них наивно повторяют: но почему же, Ромен Роллан, Вы не живете у нас? Вы наш... Вы с нами...» Среди корреспондентов Роллана — бывший красный латышский стрелок, участник боев под Перекопом Артур Буш (дружественный ответ Роллана А. Бушу опубликован по-русски в журнале «Огонек», 1985, № 23).

По наблюдениям Т. Балашовой [2], среди писем читателей в парижском архиве Ромена Роллана подавляющее большинство — из Советского Союза. Роллан вел оживленный диалог и с учителем, обеспокоенным сложными проблемами воспитания молодежи, и с рабочим, уговаривающим маститого писателя создать книгу о его заводе. Он получал письма от пионеров, красноармейцев, музыкантов, от людей, не указывавших профессии, а просто делившихся с ним радостью и горем. Переписывался Роллан с Луначарским и Фединым, Эренбургом и Алексеем Толстым, с Пастернаком, Шагинян, Кибриком, Хачатуряном, Кабалевским, а также с революционными писателями Запада — Альфредом Куреллой, Белой Иллешем, Бруно Ясенским.

Роллана всегда влекла Индия, ее великие мыслители и писатели, Ганди и Тагор. Широко известны книги Роллана о Ганди, Рамакришне и Вивекананде. Его волновала освободительная борьба индийского народа против британского владычества. Роллан придавал серьезное значение «великому делу Сатъяграхи» — разработанной Ганди тактике активных ненасильственных действий, но считал, что она применима лишь в условиях Индии. «У пролетарской революции,— писал он Ганди,— иные средства» (4 апреля 1934 года).

Заклятым врагом для Ромена Роллана был фашизм: сначала итальянский — вспомним эпизод трагической гибели Марка Ривьера от рук чернорубашечников («Очарованная душа»), затем — германский. Роллан призывал «всех свободных людей всех стран объединиться против фашизма, который угрожает всем свободам в Европе и злостно препятствует общественному прогрессу» (письмо Цанко Цанову, 12 июля 1936 года).

В книге отражено участие Ромена Роллана в борьбе за мир в 30-е годы. Менее известна его позиция в годы оккупации, позиция столь же мужественная и столь же благородная. Из письма Эли Валаку от 1 марта 1940 года: «В наше время слово бессильно; главное — надо быть смелым и терпеливым и всем вместе вести борьбу против гитлеризма, до победы над ним. Ибо, если он не будет побежден, все погибнет: все, что мы любим и чтим: наша Франция, наши свободы и наши великие надежды. Гитлер должен быть побежден...» Из письма супругам Р. Мерсье (7 декабря 1944 года — письмо написано Ролланом незадолго до смерти): «Перенесенное испытание вновь вызвало к жизни пламя самопожертвования. И в подпольной литературе, и в освобожденной прессе уже слышатся мощные голоса — в большинстве своем юные и волнующие. Я полон доверия».

Трудно бегло охватить все богатство мысли — философской, общественной, эстетической — в этих письмах. Значительны рассуждения Роллана о музыке, великим знатоком которой он был, о живописи, классической и современной, в частности о швейцарском художнике Беклине. С увлечением пишет Роллан о драмах Кальдерона, восхищается Стендалем и Бальзаком, почитая его «величайшим гением нашей литературы».

Советский читатель еще незнаком с письмами Мартен дю Гара, Мориака, Бернаноса, Моруа, Ж.-Р. Блока. Да и в отношении Роллана сделан только первый шаг. Было бы интересно издать письма, разбросанные по газетам и журналам или

[1] См. публикацию писем Р. Роллана А. В Луначарскому в «ИЛ», 1986, № 4. *(Прим. ивт.)*

[2] Т. В. Балашова. Письма из Советского Союза в парижском архиве Ромена Роллана. В сборнике «Ромен Роллан. 1866—1936». М., 1968, с. 207—224.

ставшие библиографической редкостью (например, письма Роллана его пасынку Сергею Кудашеву).

Но главное — нам необходимо полное собрание сочинений Ромена Роллана. Его отсутствие становится уже тормозом в изучении творчества писателя и всей французской литературы XX века.

Ф. НАРКИРЬЕР

Издано за рубежом

КНИГА ПРОТИВ РАБСТВА

Leslie Fiedler. What was Literature? Class Culture and Mass Society. N. Y. 1982. Lawrie Crumpacker. Four Novels of Harriet Beecher-Stowe. In: American Novelists Revisited, Boston, 1982.

Лесли Фидлер. Что было литературой? 1982.
Лори Крумпекер. Четыре романа Гарриет Бичер-Стоу. В книге «Новая встреча с американскими писателями». 1982.

«Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу [1] сохраняет свое особое место в памяти человечества, хотя отношение к роману никогда не было однозначным. Утверждение справедливости и гуманизма, не знающих расовых преград, снискало ему любовь одних и непреходящую ненависть других. Только за три года с момента его выхода в свет (1852) писатели рабовладельческого Юга опубликовали четырнадцать произведений, пытаясь опровергнуть «зловредную» аболиционистскую «чепуху».

Ненависть к роману проявлялась чаще всего в отрицании его художественных достоинств, силы его правды и патетического воздействия — в стремлении развенчать образ страдальца Тома. В сознание читателей настойчиво внедрялась мысль, что Бичер-Стоу якобы не знает подлинной жизни «аристократического» Юга и жизни рабов, которые так беззаветно преданы белым хозяевам, что и помыслить не могут о разлуке с обожаемым «массой». Дядя Том был ненавистен южанам прежде всего потому, что в конце жизни мечтал о свободе и возможности выкупить семью из неволи, а вовсе не о том, чтобы вернуться под «отеческую» опеку продавшего его хозяина. Особую ярость ретроградов вызывал и другой персонаж романа, мулат Джордж Гаррис, решивший отстаивать свободу своей семьи до последнего вздоха. Не очень нравился Джордж Гаррис и некоторым северянам, потому что отвергал Декларацию независимости. «Мы не признаем ваших законов, мы отказываемся от вашей страны»,— кричит он преследующим его блюстителям порядка.

Образ Гарриса пришелся особенно не по вкусу южному писателю-расисту Т. Диксону, который в романе «Пятна леопарда» (1901) пытался задним числом свести счеты с «Хижиной дяди Тома». Он сделал главным героем романа... сына Джорджа Гарриса. Гаррис-сын и образован и свободен, но это послужило причиной его падения.

Лишь восемьдесят четыре года спустя после публикации «Хижины дяди Тома» появился южный роман, не уступавший ей в популярности. Однако роман М. Митчелл «Унесенные ветром» (1936) таил в себе реакционную идею — оплакивал проигранное в Гражданской войне «дело Юга» — почему был критически принят прогрессивными общественно-литературными кругами. Вместе с тем многие американцы увлеченно читали роман Митчелл, видя в описании жизни на довоенной плантации идеал безмятежного бытия и довольства, что составляло заметный контраст с нищетой и лишениями недавних времен Великой депрессии. Этим можно объяснить то обстоятельство, что «Унесенные ветром» не вызвали такого резкого неприятия, с которым в 30-е годы некоторые писатели-негры, например молодой Ричард Райт, автор сборника рассказов «Дети дяди Тома», стали воспринимать роман Бичер-Стоу. Уже само название книги Р. Райта можно счесть полемичным: Райт утверждал, что современному поколению негров ни в коей мере не свойственны покорность и конформизм. Более того, нарушая принципы историзма, он писал также, что кротость и непротивление злу насилием никогда не были характерны и для их дедов и отцов. В то же время он словно не замечал существования на страницах романа Бичер-Стоу бунтаря Джорджа Гарриса. К сожалению, такое же нежелание видеть диалектику образов романа в свете исторической перспективы выказал и Джеймс Болдуин.

Однако не все писатели-негры заняли отрицательную позицию по отношению к роману Бичер-Стоу. Еще в прошлом веке славил «великую Гарриет» Пол Данбар и высоко оценил в нынешнем Лэнгстон Хьюз. По словам комедийного актера Дика Грегори, в сущности возразившего Райту, негру в свое время необходимо было «стать Томом», чтобы просто-напросто выжить. «Хижина дяди Тома»,— писал в «Автобиографии бывшего цветного» известный писатель Дж. Уэлден Джонсон,— справедливая и правдивая картина рабства... Она помогла мне понять, кто есть я, как ко мне относится моя страна. Книга пробудила мое самосознание...»

В XX веке нападки белых консерваторов на роман Бичер-Стоу отнюдь не прекратились. Еще в начале столетия в одной из школ Северной Каролины учитель заставлял детей поклясться, что никогда в жизни они не возьмут в руки «Хижину дяди Тома», да и сейчас ее не найти во многих библиотеках и Юга и Севера. В 50-е годы предпринял атаку на роман потомок южных плантаторов Дж. Фернес. В книге, симптоматично, но преждевременно озаглавленной «Прощай, дядя Том» (1956), он утверждал, что роман представляет собой

[1] В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения писательницы.

непродуманные, ошибочные и пристрастные суждения о неграх вообще и американских — в частности. Он объединял Бичер-Стоу и Джона Брауна интересами «общего дела» (и тут он был совершенно прав), но, конечно, видел в этом союзе отнюдь не достоинство. То, что вместе «сотворили» миссис Стоу и Джон Браун, нельзя назвать созидательным фактором, утверждал Фернес: они вместе подготовили кризис сознания нации, уверив читателей, что южный раб — это свободолюбивый Спартак. Но почему же роман оказал такое грандиозное воздействие на умы американцев? Фернесу ничего не остается, как назвать эти причины: умение затронуть нравственное чувство, «якобинизм» романа (недаром он был запрещен папой к печатанию в Италии) и «подрывная» идея равенства рас.

Стремление развенчать роман Бичер-Стоу как антирабовладельческое и гуманистическое произведение проявилось и в книге известного критика Лесли Фидлера «Что было литературой?» (1982). Считая главным критерием художественности и познавательности то, в какой мере в романе выражены архетипы национальной «мифологии», Фидлер утверждает, что главное в романе не его освободительный пафос, а прославление радостей домашнего очага. Неудивительно, что в итоге подобных рассуждений Фидлер уравнял «Хижину дяди Тома» и «Унесенные ветром», потому что оба романа воспевают дом как «райскую обитель». Его нисколько не смущает то обстоятельство, что у Митчелл этим «раем» является богатый особняк рабовладельцев и плантация, где проливают пот и кровь сотни «томов». Но пиком методологической беспринципности Фидлера является попытка скомпрометировать кульминационную сцену романа — мученическую смерть Тома, засеченного насмерть по приказу рабовладельца Легри. Легри у Фидлера — орудие мифического эроса, а Том — его жертва.

В какой-то мере вторит Л. Фидлеру и американская исследовательница Лори Крумпекер. Рассматривая роман Г. Бичер-Стоу, она безосновательно утверждает, что проблему рабовладения та осуждала только как женщина и мать, что «Хижина дяди Тома» — произведение «домашнего феминизма», то есть такого подхода к литературе, когда во главу угла ставится идеал дома и семьи, а не общественные интересы. Безусловно, Бичер-Стоу адресовала свой лучший роман и американским матерям. Она стремилась донести до сознания всей белой Америки, в том числе и женщин, какая это трагедия, когда мать насильственно разлучают с детьми, чтобы продать их на невольничьем рынке. Однако, рисуя подобную коллизию, писательница прямо называла виновников: неправедную социальную систему, рабовладельцев, священников и политиканов. У Л. Крумпекер же Бичер-Стоу, защитница домашних устоев, противопоставляется Бичер-Стоу, автору великого антирабовладельческого романа...

Сама Гарриет Бичер-Стоу скромно оценивала свое творение. Она предпочитала романическим произведениям то, что сейчас называется документальной прозой. Главным достоинством своего романа она всегда считала его гражданственность, не вполне отдавая себе отчет в его особой художественно-драматической выразительности. Можно предположить, однако, что ее порадовало бы мнение о романе Л. Н. Толстого, причислившего «Хижину дяди Тома» к «высшим образцам искусства», утверждающего «любовь к ближнему» [1].

М. ТУГУШЕВА

РАЗМЫШЛЕНИЯ «НА ПЛОТУ»

Claude Imbert. Ce que je crois. Paris, Grasset, 1984.

Клод Эмбер. Во что я верю. 1984.

Парижское издательство «Грассе» выпускает серию книг под таким названием: «Во что я верю». В рамках этой серии уже получали слово известные во Франции писатели, философы, историки. Клод Эмбер выделяется среди них тем, что за его плечами нет сколько-нибудь капитальных трудов, научного ли, художественного ли свойства, в которых нашла бы выражение определенная система взглядов. Он — публицист, главный редактор журнала «Пуэн», представляемого его издателями как «перекресток идей и мнений». Излагая свое кредо, Эмбер как бы подводит некоторый итог размышлениям; толчок им был дан непрекращающимся потоком всевозможной информации (равно как и дезинформации), разного рода «последних слов» буржуазной философии, новинок искусства, науки и т. д.

Во что же верит Клод Эмбер? Он сразу сообщает читателю, что не верит в Истину, а только в кое-какие истины с маленькой буквы, которые можно было бы прихватить с собой, очутившись, как он пишет, «на плоту». Образ, очевидно противопоставленный традиционному символу гордо разрезающего волны корабля, достаточно точно передает духовную ситуацию, в какой оказались определенные круги на Западе. Разумеется, картина кризисных явлений в общих чертах уже хорошо известна, но Эмбер добавляет к ней кое-какие новые штрихи, да и о том, что знакомо, рассказывает «своими словами», отчего вся картина становится более убедительной.

Взять такие институты, как семья и школа. Факты, утверждает Эмбер (основываясь на данных социологии и собственных наблюдениях), свидетельствуют не просто о неблагополучии в этих важных «областях», но о катастрофе. Образование становится проформой, лишенной внутреннего смысла; даже с грамотностью дело обстоит из рук вон плохо — и не только среди школьников, но и среди студентов.

Все в больший упадок приходит институт семьи. Один из его аспектов — растущее равнодушие к детям; взрослые слишком заняты собой, чтобы видеть в ребенке «маленького короля» как его называл Гюго. С другой стороны, на преклонный

[1] Л. Н. Толстой. Литература, искусство. М., 1979, с. 116.

возраст начинают смотреть как на что-то постыдное — такой взгляд обычно характеризует общества, находящиеся в стадии упадка. Есть в книге и ряд отдельных метких наблюдений. Вот пример: понятие о счастье мало-помалу улетучивается, его вытесняет другое — эйфория (не лучше ли сказать «кайф»?). Еще одно наблюдение: при том, что сейчас в необычайной чести юмор, ирония и самоирония, исчезает смех праздничный, раскатистый, гомерический, коммуникативный.

В одном из парижских домов для престарелых Эмбер отыскал женщину по имени Женевьева, ровесницу нашего века. О ней сообщается, что у нее «голубые глаза и короткие, но ясные идеи». Женевьева — воплощение одновременно мудрости и бесхитростности.

Так что бы посоветовала Женевьева прихватить с собою спасающимся «на плоту»? Любовь, отвечает Эмбер, «все виды любви». А также дружбу, верность, сострадание, терпимость, доброжелательность...

Вероятно, Тютчев прав: любовь прочнее «железа и крови». Потому, что «железо и кровь» многое могут уничтожить, но создать ничего не могут. У Эмбера, однако, любовь и прочие «чувства добрые» — не те, что освящены Большой Идеей. Он оценивает их чисто эмпирически, отталкиваясь, так сказать, от противного: лучше любовь, чем ненависть, лучше дружба, чем вражда, и так далее.

Обращаясь к персонажам «Волшебной флейты» Моцарта, Эмбер пишет, что «линии» принца Тамино, или «обдуманной инициации», он предпочитает «линию» птицелова Папагено, доверявшегося лишь тому, что можно, буквально или фигурально, ощущать. То, до чего нельзя дотянуться рукой, вызывает по меньшей мере сомнение. Прекрасное, Истинное и Доброе, если писать их с большой буквы, для Эмбера — «старые, иссохшие земли», которые не могут более служить ориентиром. Двигаться на ощупь, плыть, точнее, не плыть, а просто держаться на волнах, без руля и ветрил, не доверяясь никакому компасу,— вот выбор, сделанный автором книги.

Есть в этой авторской «недоверчивости» и позитивные моменты. Так, Эмбер не дает себя увлечь вошедшим в моду «озарениям», имеющим целью вдохнуть жизнь в угасающее христианство. Проявляя почтительное внимание к «традиционной мудрости» Востока, он не думает, что с ее помощью можно решать сколько-нибудь важные вопросы нынешнего дня; и уж вовсе гнушается многочисленными розничными торговцами восточной и иной мистикой. Равным образом не верит и тем футурологам, которые утверждают, что научно-техническая революция сама выведет человечество к неким высотам, что если приналечь на информатику, робототехнику и прочее, то со временем новая культура, новая этика сложатся как бы сами собой.

Увы, здравый смысл — ценный подсказчик лишь в определенных пределах, признает Эмбер. Для суждений о том, что сверх того, нужен определенный «полет». Но этого-то ему, по его собственному признанию, не дано. Я, пишет Эмбер, сам за собой крыльев не чувствую — «и сколько вокруг мне подобных»! Ибо таков, дескать, наш век. Вот в прошлом все было иначе. И откуда только брались крылья? Откуда такие уносящие ввысь порывы, например, у Баха? (Есть в книге глава о том, как воспринимают в наше время классическую музыку.) Или у Моцарта? Эмбер отвечает: от бога.

Ответ не оригинален. Так отвечают западные философы, «пересматривающие» вопрос о месте христианской религии в истории, завышая ее роль. А допустив, что «гению христианства» Запад обязан своими достижениями, легко прийти к выводу, что причиной тех кризисных явлений, о которых идет речь в книге, является его упадок.

То же твердит и Женевьева: «люди забыли о боге», оттого все пошло кувырком. Однако, если в устах верующей Женевьевы подобное объяснение звучит естественно, то гораздо более натянутым выглядит оно у автора книги. Ибо он-то в бога не верует, хотя и считает утрату веры в христианского бога основной причиной распространяющегося «нигилизма». Еще в 1960 году, пишет он, церковь регулярно посещало 35% французов, в 1981-м — только 14%. Сходное положение и в других странах Западной Европы. Это ли, дескать, не объяснение причины «наших бед»?

Но тогда напрашивается вывод: раз все очень плохо идет «без бога», значит, надо восстановить веру в него, восстановить религию. К этому и клонит автор книги, а поскольку в жизнеспособность христианства он уже не верит, то восстановление религии представляет себе как «изобретение» религии новой (впрочем, допуская, что это может быть и «радикально преображенное» христианство). Иначе говоря, изгоняя религию в дверь, он открывает для нее окно.

Думается, одна из причин и знамение кризиса, о котором пишет Эмбер, не в том, что французы и другие западные европейцы отпали от бога, а в том, что буржуазное общество предает идеалы Просвещения, «века Вольтера» — даже в том куцем виде, в каком они были этим обществом сохранены.

В «Волшебной флейте» Моцарта — этом последнем и, может быть, самом поэтическом «послании», которое Век Надежд и Обещаний оставил последующим поколениям,— кроме персонажей с их «линиями» есть еще волшебная флейта, заставляющая плясать людей и зверей. Отчего же теперь уши не внемлют и ноги не повинуются? Хуже того — уста изрыгают хулу в адрес идеалов, еще недавно почитавшихся непреложными? На протяжении ряда лет идет непрекращающаяся кампания по дискредитации Просвещения, в котором видят, и совершенно справедливо, «матрицу» идеологии прогресса и революционных преобразований Очевидно, кампания эта имеет известный успех, коль скоро в книге Эмбера просветительское наследие без каких-либо оговорок, почти полностью обойдено вниманием. И получается у него, что в прошлом был бог, в настоящем один «нигилизм», а между тем и другим как будто ничего никогда и не было!

Ю. КАГРАМАНОВ

Из месяца в месяц

АРГЕНТИНА

ОСКАР — ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОМУ ФИЛЬМУ

На последнем кинофестивале в Голливуде лучшим зарубежным фильмом 1985 года признана «Официальная история» аргентинского режиссера Луиса Пуэнсо. Латиноамериканская и испанская пресса широко комментируют это событие, подчеркивая, что Оскар впервые вручен кинематографистам Латинской Америки.

По мнению прессы, успех «Официальной истории» в Голливуде не явился полной неожиданностью ни для ее создателей, ни для широкой публики: ведь в 1985 году картина была удостоена 17-ти международных премий. Однако, как пишет газета «Диа», именно присуждение фильму Оскара стало событием не только культурной, но и политической жизни Аргентины. В поздравительной телеграмме президента страны членам съемочной группы говорится: «Признание фильма станет важным стимулом в творческой работе аргентинцев, которые хотят видеть свою родину страной мира, справедливости и свободы».

«Официальная история», снятая по одноименному роману аргентинской писательницы Аиды Бортник, рассказывает о трагических событиях, пережитых страной в годы правления военной хунты (1976—1983). Героиня фильма Алисия (ее роль исполняет Норма Алехандро) во что бы то ни стало хочет узнать, как стала сиротой маленькая девочка, которую они с мужем решили удочерить. Алисию не удовлетворяют официальные объяснения, и она сама начинает вести «расследование». Героиня встречается со многими людьми: знакомится с женщинами, у которых отняли детей, видит детей, потерявших родителей, узнает об истинном смысле выражения «пропавший без вести». «Фильм рассказал нам о горе измученного народа, — пишет испанская газета «Паис».— В нем нет сцен жестокости, насилия, зато наглядно показано действие механизма государственной преступности».

Рецензенты единодушно отмечают, что «Официальная история» стала этапной работой для аргентинского кинематографа. Газета «Тьемпо архентино» публикует материал под названием «Фильм Луиса Пуэнсо делит историю аргентинского кино на две части». «Паис» в статье, озаглавленной «Аргентинское кино восстает из пепла», приводит показательные цифры: с 1983 по 1986 год 8 аргентинских фильмов получили международные премии; в 1985 году в стране были созданы 23 художественные ленты, в этом году ожидается более 40 премьер.

С примечательным фактом знакомит читателей уругвайская газета «Диа». Телевидение Чили, транслировавшее церемонию вручения главных премий фестиваля в Голливуде, прервало передачу «по техническим причинам» именно в тот момент, когда Оскара вручали создателям аргентинского фильма, в котором разоблачаются беззакония, произвол, грубые нарушения прав человека, совершенные в период правления в Аргентине военной хунты.

Норма Алехандро в роли Алисии в фильме «Официальная история».

(Журнал «Ресенья»)

БОЛГАРИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ ВЫСШИХ НАГРАД

Состоялось вручение премий Георгия Димитрова, которые присуждаются за вклад в дело укрепления мира и демократии, заслуги в развитии отечественной науки и искусства.

Международной Димитровской премии удостоены видный южноафриканский политический деятель Нельсон Мандела и всемирно известный бразильский писатель Жоржи Амаду.

Димитровской премии удостоены пять болгарских писателей. Это Леда Милева — председатель Союза переводчиков Болгарии, главный редактор журнала «Панорама». Премия ей присуждена за сборник стихов «Три буквы» и пьесу «Золотое перо» (советским читателям ее творчество знакомо по стихотворному сборнику «Расскажите мне сказку»).

Премией отмечен роман известного в Советском Союзе прозаика и поэта Слава Хр. Караславова «Салунские братья» (на его страницах воскрешаются образы Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки) и пьеса «самого яркого представителя сатирического направления в современной болгарской драматургии», как пишет «Литературен фронт», Станислава Стратиева «Замшевый пиджак», знакомая и советским зрителям.

Строгой взыскательностью и глубокой любовью к театру отличаются книги крупного театроведа Любомира Тенева «Огни в пространстве сцены» и «Пристани мгновений», также отмеченные премией.

Димитровская премия присуждена и председателю Союза журналистов Болгарии, видному публицисту Веселину Йосифову за яркую, проникнутую гражданским пафосом книгу «Раздумья и страсти» и рубрику, которую он ведет в еженедельнике «Антени».

Состоялось также присуждение Международной литературной премии имени Христо Ботева. Ее лауреатами стали украинский поэт и переводчик Дмитро Павлычко и белорусский поэт, переводчик и литературовед Нил Гилевич (см. «ИЛ», 1986, № 10), отдавшие много сил пропаганде болгарской литературы в нашей стране.

Премия имени Х. Ботева присуждена также двум писателям, чье творчество отличается активной гражданской позицией и страстной публицистичностью,— западногерманскому публицисту Гюнтеру Вальрафу и уругвайскому поэту и прозаику Марио Бенедетти.

ВЕНГРИЯ

«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» НА ЭКРАНЕ

Известный венгерский кинорежиссер Иштван Галл осуществил экранизацию оперы Глюка «Орфей и Эвридика». Что побудило кинорежиссера взяться за оперу? Может быть, он просто следовал моде (Ингмар Бергман снял «Волшебную флейту», Франческо Росси — «Кармен»)? Или драматургические резервы киноискусства уже исчерпаны? — размышляет киновед Агнеш Колтаи на страницах журнала «Уй тюкёр». Не случайно, считает она, кинематограф обращается к опере сейчас, когда в мировом киноискусстве возродился интерес к экспрессионизму, новая черта которого — барочная пышность, а опера как раз и предлагает кинематографу свою яркую зрелищность. Происходит встреча элитарного и массового искусств, встреча оперы, нуждающейся в обновлении драматургической основы, и кино, «изголодавшегося» по зрелищности.

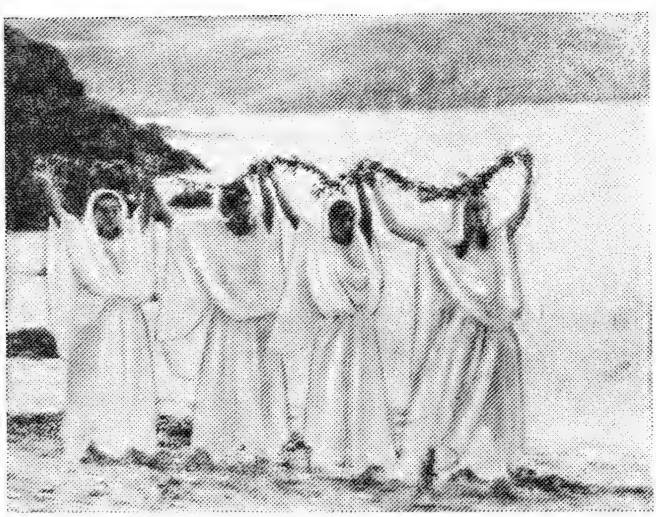
В фильме-опере Иштвана Галла действие перенесено со сцены на лоно природы — в мир, породивший миф об Орфее и Эвридике. Как и Глюк, режиссер, не «перекраивая» мифа, передает его сумрачную атмосферу, атмосферу неотвратимости судьбы. Галл убедительно воссоздает в картине образы моря—символа разрушительного времени, и земных недр — столь же всеохватного символа рождения и смерти, мифопоэтические ипостаси которых удачно реализованы в образах Орфея и Эвридики.

Хотя в целом работа Иштвана Галла была признана безусловно интересной, заслуживающей внимания, тем не менее в венгерской прессе отмечались и недостатки новой экранизации. Одни критики писали о несовпадении музыки и изобразительного ряда, другие упрекали режиссера в том, что он создал элитарное произведение, в то время как музыка Глюка общедоступна.

Зато единодушно оценили критики мастерство кинооператора Шандора Шара, прекрасное закадровое пение Лайоша Миллера, Вероники Кинчеш, Магдалены Бонифаччо и актерскую работу Шандора Тери (Орфей) и Эникё Эсени (Эвридика).

Кадр из фильма «Орфей и Эвридика».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)



ГАИТИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Французский еженедельник «Кензен литтерер» посвятил большую статью встрече десяти гаитянских писателей-эмигрантов, состоявшейся на их родине, в Порт-о-Пренсе. Автор статьи, критик Бернар Манье, отмечает, что до сих пор современная художественная литература Гаити, как это ни парадоксально, создавалась и приобретала известность во всех уголках мира: во Франции, на африканском континенте, в США и Канаде — но только не на самом острове, так как большинство прогрессивно настроенных деятелей культуры во времена диктаторского правления Дювалье были лишены права проживания в своей стране, а уделом многих других стало добровольное изгнание. Долгое время произведения писателей-патриотов были запрещены на Гаити и, следовательно, недоступны для народа. Оторванные от родины, лишенные возможности быть услышанными своими соотечественниками, они вынуждены были обратиться к более широкой аудитории — ко всему миру, искать новые пути и формы развития национальной культуры.

В интервью, данном «Кензен литтерер», все участники встречи подчеркивают, что их творчество основано на народных традициях. «Ничто не может помешать мне оставаться гаитянином»,— заявляет Роже Дорсанвиль (см. «ИЛ», 1986, № 5), завоевавший необычайную популярность среди читателей стран Африки. Шестидесятилетний Рене Депестр, который две трети своей жизни провел в изгнании, признается: «Я никогда не забываю о своей причастности к культуре Гаити и поэтому никогда не чувствую себя оторванным от нее».

Отличительной чертой современной поэзии и прозы Гаити является специфика языка: французского, креольского или сложного сочетания того и другого, которое избрали для создания своих произведений Лилиан Девьё, Жерар Этьен, Эмиль Оливье, Энтони Фелпс и другие, но категорически отверг писатель и теоретик литературы, «парижанин» Жан Метеллюс.

Среди приехавших в Порт-о-Пренс был и живший в Канаде известный литератор Жан Жонассен. Составленный им сборник «Власть слов, зло власти» (он вышел в издательстве Монреальского университета) можно назвать бестселлером, отмечает «Кензен литтерер».

Эта книга — своеобразная хрестоматия современного гаитянского романа. Помимо отрывков из произведений сборник содержит биографические данные и критический анализ творчества каждого из десяти авторов.

Во всем мире растет интерес к литературе Гаити. Как

сообщает «Кензен литтерер», сейчас в парижском издательстве «Надо» готовится переиздание сборника «Живая поэзия Гаити», составители которого, С. Ф. Баридон и Р. Филоктет, исследовали творчество шестидесяти одного поэта.

ГДР

Пьесы русских и советских авторов занимают видное место в репертуаре театров ГДР. К 69-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции берлинский театр «Фольксбюне» подготовил постановку «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского. Журнал «Театер дер цайт» опубликовал материалы, посвященные работе над этим спектаклем, в том числе выдержки из переписки режиссеров Зигфрида Хёхста и Герта Хофа с драматургом Отто Фрицем Хайнером. Лейпцигские театры в последнем сезоне поставили спектакль по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» и «Восхождение на Фудзияму» Ч. Айтматова и К. Мухамеджанова.

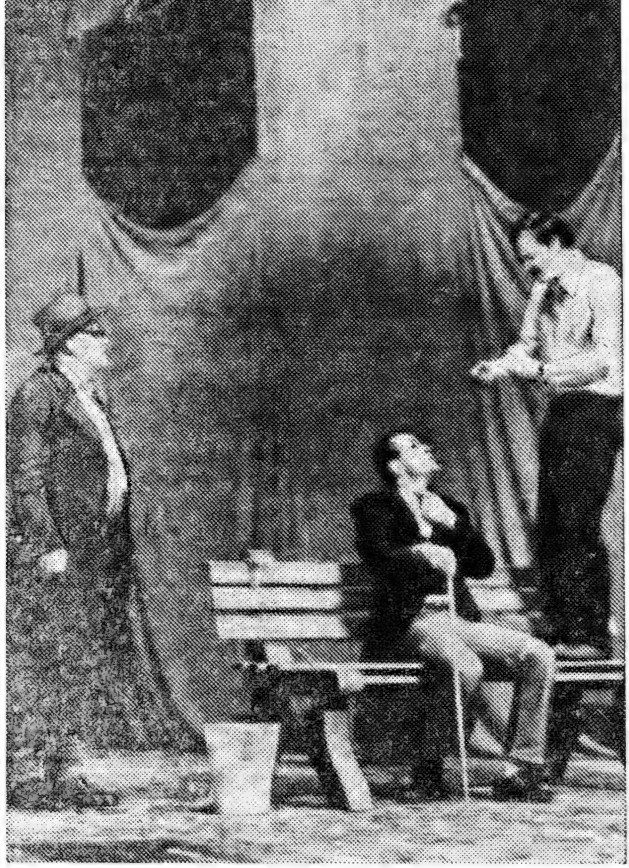
А в феврале здесь состоится премьера спектакля «Мастер и Маргарита» по роману М. Булгакова.

В Шверине идут «На дне» М. Горького и «Дядя Ваня» А. Чехова. «От первой постановки Чехова в Шверине ожидали многого, заранее предъявлялись высокие требования, — пишет в журнале «Театер дер цайт» Мартин Линцер. — Публика приняла спектакль с благодарностью: премьера завершилась бурными аплодисментами».

На снимке внизу: режиссер лейпцигского «Шаушпильхауза» Карл Георг Кайзер на репетиции спектакля «Мастер и Маргарита».

На снимке вверху: сцена из «Оптимистической трагедии» в постановке «Фольксбюне». В роли Комиссара — Урсула Каруссайт, в роли Алексея — Михаэль Луккс.

(Журнал «Театер дер цайт»)



ИНДИЯ

ПРЕМИИ ВРУЧЕНЫ

Как сообщает делийский еженедельник «Линк», на церемонии, состоявшейся в индийской столице, президент Литературной академии В. К. Гокак вручил почетные дипломы лауреатов группе индийских писателей, удостоенных премии Литературной академии за лучшие произведения, опубликованные в 1985 году. Среди авторов — представители различных регионов страны: литературу на языках Северной Индии представляют известный прозаик и поэт Нирмал Варма (хинди), Шунил Гангопадхайя (бенгали), поэтесса Кунданика Кападия (гуджарати), Мирза Ариф (кашмири), Вишрам Бедекар (маратхи), Раджендра Кишор Панда (ория), поэтесса Аджит Каур (панджаби), Шеведе (санскрит), Арджан Хасид (синдхи), Бальрадж Камаль (урду).

Литературы Южной Индии в списке лауреатов представлены такими именами, как Сукумар Ажикоде (малаялам) и Гьянасамбанди (тамили).

ИРЛАНДИЯ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Американский еженедельник «Ньюсуик» опубликовал статью Дэвида Лемана и Донны Фут «Ольстерский Ренессанс», в которой идет речь о новом поколении североирландских писателей. Их книги, пишут авторы статьи, стали значительными явлениями как отечественной, так и мировой литературы: можно говорить, как в конце XIX — начале XX века, об «ирландском Возрождении». Среди имен, упомянутых Д. Леманом и Д. Фут, — Бернард Маклаверти (советский читатель знаком с его романом «Лэм»), драматург Брайен Фрил (в его пьесе «Переводы» говорится о нависшей над ирландцами угрозе — утратить свой национальный характер, свой родной гэльский язык). «Гэльский язык питали испокон века мифология, фантазия, надежды и иллюзии, — отмечают авторы статьи, — те составляющие, что дали импульс нынешним молодым поэтам Ольстера».

Самым «экспортируемым» называют Леман и Фут поэта Шеймаса Хини: «Это один из немногих поэтов, получивших вслед за Робертом Лоуэллом признание по обе стороны океана». Чрезвычайно самобытны и талантливы Дерек Мэхон и Майкл Лонгли, сохранившие преданность музе в Ольстере, где «сильна власть винтовок и кинжалов». («Искусство, — считает Д. Мэхон, — призвано менять не контуры карт, а выражение человеческих лиц».) Симптоматично, что даже в вышедшем недавно томике «Современная британская поэзия» (издательство «Пенгвин букс») из двадцати поэтов шесть — жители Ольстера. В издательской аннотации сказано: «Поэзия Ирландии сегодня очень сильна, и неудивительно, что англичане остаются в тени». Особым вниманием авторы удостоили тридцатишестилетнюю Мэйв Макгакен: она стала первой в истории Ирландии писательницей, которую пригласили работать в университет Белфаста. В 1979 году М. Макгакен победила в Национальном поэтическом конкурсе; в последние годы выпустила сборники «Зеленый дом» (1983) и «Венера и дождь» (1984).

ИТАЛИЯ

«ВСЛУШИВАЮЩИЙСЯ КОРОЛЬ» КАЛЬВИНО И БЕРИО

В «Ла Скала» состоялась премьера двухактного музыкального действа «Вслушивающийся король». Его автор — один из видных представителей итальянского музыкального авангарда Лючано Берио, руководитель экспериментальной «Студии музыкальной фонологии» Итальянского радио и телевидения, более 30 лет ведущий исследования в области электронной музыки. Либретто написано композитором в содружестве с Итало Кальвино. Первый вариант либретто, предложенный Кальвино,— притча о короле — показался Берио слишком традиционным, и после многочисленных дискуссий сказочный король уступил место королю «метафорическому» — директору театра, который волен претворить на сцене любую из своих фантазий. Так же, как первая совместная работа Берио и Кальвино — опера «Правдивая история», поставленная на той же сцене в 1982 г.,— «Вслушивающийся король» основан на принципах брехтовского театра. Если «Правдивая история», в основу которой лег осовремененный сюжет вердиевского «Трубадура»,— своего рода «опера об опере», то в новом произведении Кальвино и Берио перед зрителем предстает «театр в театре». «Музыкальное действо» отображает процесс работы некоей труппы над музыкальным спектаклем по шекспировской «Буре». Прослушивание и отбор исполнителей, а затем репетиции «очуждаются» комментариями и оценками директора театра Просперо и постановщика спектакля. Помимо них на сцене появляются сценограф, осветитель, адвокат, врач и жена Просперо. Этот современный план пересекается с «шекспировским»: Просперо, прислушиваясь одновременно к репетирующим певцам и к своему внутреннему голосу, внезапно перестает различать явь и грезы и отождествляет себя со своим тезкой — волшебником из «Бури», раздумья которого созвучны его собственным мыслям.

В новой работе Берио-либреттист и Берио-композитор подтвердил свое умение виртуозно сплавлять в единое целое разнородные стилевые пласты, пишет журнал «Панорама». Текстовыми компонентами «Вслушивающегося короля» стали либретто немецкого поэта XVIII века Ф. В. Готтера по шекспировской пьесе, тонко анализирующее «Бурю» поэтическое произведение современного английского поэта У. Одена «Море и зеркало», пять поэтических размышлений о театре, написанных Кальвино для одной из радиопрограмм, а также его письма композитору в период их совместной работы над либретто. Не менее многослоен и музыкальный ряд...

Итальянской общественностью и критикой «Вслушивающийся король» был встречен с большим интересом. «Пожалуй, ни в одном из произведений композитору еще не удавалось создать столь рельефный, современный образ, как образ Просперо», — отмечает в «Корьере делла сера» Дуилио Курир.

Сцена из спектакля по пьесе Брайена Фрила «Переводы» (1980).

(Журнал «Ньюсуик»)

КУВЕЙТ

ПРАЗДНИК НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Журнал «Аль-араби» опубликовал репортаж о праздновании десятилетней годовщины создания Кувейтского общества содействия науке, председателем которого является со дня его основания нынешний глава государства эмир Джабир Ахмад ас-Сабах. Цель этого общества — способствовать развитию науки, образования, литературы и искусства как в Кувейте, так и в арабских странах в целом. Один из важных аспектов его деятельности — присуждение премий за выдающиеся успехи в различных областях науки. Ежегодно обществом присуждается пять премий, главная из кото-

рых — премия Кувейта. Кроме денежной суммы, составляющей десять тысяч кувейтских динаров, лауреатам этой премии вручается золотая медаль и почетный диплом.

В этом году присуждение премий совпало с празднованием 25-летней годовщины независимости Кувейта, что придало церемонии особо торжественный характер. Среди лиц, удостоенных очередной премии Кувейта, кроме видных ученых — также ряд писателей, поэтов, критиков, деятелей искусств. Это египетский писатель доктор Али ар-Раи, ливанский литературовед и историк театра доктор Мухаммед Юсуф Наджм, старейший египетский поэт-лирик Ахмад Рами, видный египетский ученый-фольклорист доктор Абд аль-Хамид Юнус, кувейтский социолог и экономист, главный редактор журнала «Аль-араби» доктор Мухаммед ар-Румейхи. Посмертно премии Кувейта удостоены кувейтский режиссер Сакр ар-Рашид и кувейтский ученый-фольклорист Ахмад Бишр ар-Руми.

МОНГОЛИЯ

Газета «Утга зохиол урлаг» сообщает о выходе в свет нового перевода на монгольский язык «Слова о полку Игореве». Впервые этот выдающийся памятник древнерусской литературы был переведен и опубликован в Монголии в 1956 году известным писателем и ученым Х. Пэрлэ. Новый перевод, выполненный академиком Цэндийном Дамдинсурэном, одним из основоположников современной монгольской литературы, отличается большей точностью, большей близостью к оригиналу. Перевод Ц. Дамдинсурэна отразил достижения науки в изучении «Слова о полку Игореве» за прошедшие тридцать лет. В издании использованы иллюстрации классика советской графики В. А. Фаворского.

На снимке: титульный лист «Слова о полку Игореве» на монгольском языке.

(Газета «Утга зохиол урлаг»)

НОРВЕГИЯ

«ВНОВЬ ЗАБЫТАЯ ПЕТУНИЯ»

Норвежская писательница Бьёрг Вик, начавшая свой творческий путь более двадцати лет назад, известна во многих странах мира. Ее произведения переведены на четырнадцать иностранных языков, в том числе и на русский. Всем литературным жанрам Вик предпочитает новеллу, ибо этот жанр, по словам писательницы, «соответствует ее темпераменту».

Недавно в издательстве «Каппельнс» вышел новый сборник новелл Бьёрг Вик «Вновь забытая петуния», получивший высокую оценку скандинавской критики. Рецензенты подчеркивают, что новому сборнику Вик присущи лучшие черты ее творчества — гуманистическая направленность, сжатость повествования, а также ясность и точность языка. Во «Вновь забытой петунии» писательница осталась верна своей основной теме — сложному миру человеческих взаимоотношений, и вместе с тем проза Б. Вик, как отмечают критики, приобрела и новое звучание. Если раньше исключительно женщины были главными героями, точнее, героинями писательницы, то теперь галерея созданных ею образов расширилась: так, например, в новелле «Зови меня Ютта» жизнь показана глазами деревенского подростка-чудака.

«В последнем сборнике Б. Вик особенно радуют именно те новеллы, которые выходят за рамки привычного представления об авторе как о мастере акварельных, тщательно выписанных женских портретов»,— пишет в газете «Дагбладет» известный норвежский писатель Кнут Фалдбаккен.

РУМЫНИЯ

«ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ»

Видному деятелю румынской культуры, писателю и литературному критику Паулу Б. Мариану исполнилось 80 лет. Еженедельник «Романия литерарэ» посвятил юбилею ветерана румынской литературы статью «За рабочим столом». Ее автор, известный литературовед А. Райку, подчеркивает, что «П. Б. Мариана отличает оригинальность, живость мысли и недюжинная работоспособность, редкие в таком возрасте». А. Райку делится своими воспоминаниями о совместной работе с П. Б. Марианом в прогрессивных довоенных изданиях — таких, как «Универсул», «Тимпул», «Адевэрул», — а также в журнале «Нацьюня», который возглавлял видный ученый-литературовед Дж. Кэлинеску.

Одной из интереснейших сторон творчества П. Б. Мариана является его публицистическая деятельность в 30—40-е годы на страницах легальной прессы. В это время закладывались основы новой, социалистической румынской публицистики, у истоков которой стояли Дж. Богза, Э. Жебеляну, А. Сахия, Г. Дину (см. «ИЛ», 1986, № 8). Сотни критических статей, новелл, заметок, репортажей и эссе, принадлежащих перу П. Б. Мариана, были опубликованы в журналах «Репортер», «Кувынтул либер», «Азь», «Рампа» и других. В годы второй мировой войны П. Б. Мариан, как и многие писатели-антифашисты, испытывал тяжкие лишения, подвергался гонениям, но не переставал работать.

«Я никогда не мог понять, — признается А. Райку, — почему до сих пор не издано полное собрание сочинений П. Б. Мариана или хотя бы собрание его художественных произведений: ведь после провозглашения народной власти в Румынии они печатались почти во всех литературных журналах страны, начиная с бухарестской «Газета литерарэ» и кончая такими изданиями местного значения, как «Арджеш» или «Томис». Не следует забывать, продолжает А. Райку, и об огромной переводческой работе заслуженного деятеля литературы: за свою жизнь П. Б. Мариан перевел на румынский язык около ста пятидесяти книг зарубежных авторов (среди них — романы Шарлотты Бронте, Эптона Синклера, Андре Моруа), а также создал множество сценариев для радио- и телеспектаклей (по мотивам произведений Г. Гауптмана, М. Дрюона, М. Дюра и других). Сценарии П. Б. Мариана отличает нетрадиционная интерпретация сюжета. П. Б. Мариан много сделал и для развития детской литературы в Румынии: «полными очарования и нежной грусти» называет его книги для детей А. Райку. А результатом совместной работы писателя и его брата Э. Б. Мариана явился недавно изданный «Словарь цитат и крылатых слов».

СИРИЯ

«ХОЧУ, ЧТОБ БЫЛ ДЕНЬ»

В г. Латакия вышел в свет новый сборник рассказов палестинской писательницы Лияны Бадр под названием «Хочу, чтоб был день».

Действие рассказов Л. Бадр происходит в осажденном израильской армией Бейруте. В них описываются бомбежки и обстрелы многострадального города, жизнь населения в условиях осады, в них показаны раннее возмужание и героизм людей — простых ливанцев и палестинцев.

США

ПУБЛИЦИСТИКА ДЖЕЙМСА БОЛДУИНА

Все, что создано одним из крупнейших мастеров современной американской литературы в этом жанре, впервые собрано вместе в книге «Цена билета». 700-страничный том позволяет проследить эволюцию мировоззрения писателя на протяжении трех с лишним десятилетий.

Уже в ранних произведениях Болдуин писал о судьбе своих черных сограждан, однако, отмечает рецензент «Таймс литерари сапплмент» Тони Тэннер, очерки, составившие сборники «Записки сына Америки», «Никто не знает моего имени», «В следующий раз — пожар» подтверждают, что в 50—60-е годы Болдуин стремился быть писателем скорее американским, а не негритянским. Он не хотел, чтобы расовый вопрос заслонил для него общенациональные, общечеловеческие проблемы: под словом «мы» он и в публицистике, и в художественной прозе подразумевает и людей вообще, и граждан США, и здравомыслящих американцев вне зависимости от цвета кожи, а иногда — в плане полемического приема — даже белых. В те годы Болдуин обращал к согражданам два вряд ли совместимых призыва: бороться с социальной несправедливостью, не озлобляясь против тех, от кого она исходит, и — принимать жизнь такой, какова она есть.

Книга «Имени его не будет на площади» (см. «ИЛ», 1974, № 2—3), открытые письма и публиковавшиеся в 70-е годы беседы Болдуина с различными общественными деятелями, отмечает Т. Тэннер, ярко свидетельствуют о переменах в мировоззрении писателя, происшедших после гибели М. Л. Кинга, Малькольма Икса, других трагических событий, которые ознаменовали обострение расового конфликта к концу 60-х годов. Перспективы его разрешения, возможности развития нации, большинство белых представителей которой не осознает общности своих интересов с интересами черных, Болдуин оценивает теперь значительно более скептически. На первый план в его творчестве выходят проблемы негритянского самосознания.

Судя по вступлению к «Цене билета», сейчас писатель настроен не менее пессимистично. «Оснований для этого предостаточно, и все же — не изменил ли Болдуин в какой-то мере себе прежнему?» — спрашивает рецензент. Для очерков последних лет (с тех пор как вышел сборник «Дьявол находит работу» (1976), посвященный отображению негритянской темы в кино, их было опубликовано всего семь) характерны повторы тем. Эти очерки уступают публицистике Болдуина 50—60-х годов в выразительности и силе, однако это, по мнению Т. Тэннера, искупается искренней болью писателя, размышляющего о судьбах черного меньшинства. Критик считает, что новая книга несомненно подтверждает репутацию Болдуина как одного из крупнейших эссеистов Америки.

«ОТКРЫВШИЙ ЗАКОНЫ ВРЕМЕНИ»

«На Западе поэзия Хлебникова была до сих пор знакома лишь узкому кругу читателей, и это вполне понятно — она с трудом поддается переводу», — пишет критик Питер Франс в английском еженедельнике «Таймс литерари сапплмент». Восполнить этот пробел и призван сборник «Царь времени», выпущенный издательством Гарвардского университета (штат Массачусетс).

В книгу включены самые различные произведения Хлебникова — от «Заклятия смехом» (1910), отразившего ранние попытки экспериментаторской работы поэта-футуриста над словом, до драматургической фантазии «Зангези» (1922), герой которой несет людям долгожданную «гармонию мира». Но основной состав почти трехсотстраничного тома определили статьи по теоретическим проблемам поэзии, работы по философии слова.

Эстетическая программа русского футуризма в значительной мере основывалась на лозунгах и принципах нового изобразительного искусства начала XX века. «Творчество Хлебникова — новатора поэтического языка — родственно изысканиям Малевича в области цвета, направленным на постижение вящей динамики линии, и опытам Татлина в сфере конструктивистской архитектуры», — отмечает литературовед Эллиотт Моссмэн в «Нью-Йорк таймс бук ревью».

«Председатель Земного Шара» считал, продолжает Э. Моссмэн, что поэт прежде всего должен освоить архаико-исторические словесные пласты, показать, как можно «свободно плавить славянские слова», должен «найти единство вообще мировых языков», которым и станет понятийная «азбука ума». Необходимость ее для человечества, по Хлебникову, — аксиома, подчеркивает Э. Моссмэн, цитируя черновой набросок известного манифеста Царя Времени: «Мы учим: слово управляет мозгом, мозг — руками, руки — царствами. Мост самовитому царству — самовитая речь...»

«Хлебников, несомненно, был одним из самых интересных стихотворцев всех времен, — замечает в «Таймс литерари сапплмент» Питер Франс. — Он жил в самой толще языковой стихии, исследуя ее корни и заставляя ее давать новые, невиданные побеги. Ранее это было очевидно только для русского читателя, теперь же благодаря прекрасным переводам Пола Шмидта, вобравшим в себя светоносную мощь оригинала, глубина поэзии Хлебникова откроется и англоязычной аудитории».

Сборник, подготовленный Полом Шмидтом и специалистом по истории русского авангарда 10—20-х годов Шарлоттой Дуглас, — лишь первый этап в крупном начинании художественного фонда «Диа» (США). Итогом же работы явится выход в свет полного собрания сочинений Велимира Хлебникова — поэта, «открывшего законы времени», — на английском языке.

ФИНЛЯНДИЯ

В театре города Рованиеми состоялась премьера спектакля по книге Ханну Мякеля «Дядюшка Ау». Спектакль предназначен в первую очередь для детей 5—12 лет.

Режиссер спектакля Аско Хейнонен в молодости был актером в детском театре и уже тогда заинтересовался постановками для детей. Он считает, что дети многое воспринимают ярче и тоньше, чем взрослые. Создатели спектакля стремились, избежав назидания, оставить простор для детской фантазии, для свободного осмысления сюжета, пишет еженедельник «Тиедонантая».

Ханну Мякеля, один из популярнейших в Финляндии прозаиков, известен и в нашей стране. Издательство «Детская литература» выпустило в 1980 году его книгу «Дядюшка Ау» в пересказе советского детского писателя Эдуарда Успенского. На снимке: сцена из спектакля «Дядюшка Ау». В главной роли О. Аунио.

(Еженедельник «Тиедонантая»)

ФРАНЦИЯ

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

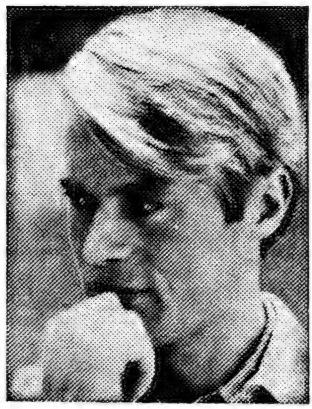
Журнал «Магазин литтерер» опубликовал интервью с французским писателем Жаном-Мари Гюставом Леклезио, посвященное его новой, 18-й по счету книге — роману «Путешествие на остров Родригес», вышедшему в издательстве «Галлимар». Имя Леклезио знакомо советским читателям, его произведения неоднократно переводились на русский язык (см. «ИЛ», 1970, № 5, 1980, № 2, а также 1983, № 10 и 1986, № 3).

«Путешествие на остров Родригес» — первый действительно автобиографический роман Леклезио — появился в результате путешествия на Маскаренские острова, которое автор совершил «по следам» своего деда (тот тщетно разыскивал на острове Родригес золотой клад).

Свою гуманистическую программу, сложившуюся еще в 70-е годы, прозаик определил так: «Я хочу писать для новой жизни, где не будет места безобразному и где слова не будут служить деньгам». Возможно, именно поэтому Ж.-М. Г. Леклезио с самого начала своей творческой деятельности держался в стороне от светских литературных кругов, избегал шумихи. На страницах «Магазин литтерер» он открыто признается в неприятии суетного и тщеславного «мира взрослых»: «Действительно, я отказываюсь приспосабливаться к миру прагматизма, миру наживы — к миру взрослых. В определенном смысле быть писателем означает жить, не желая взрослеть, и как можно дольше сохранять свойство, присущее юности, — способность мечтать и верить. Меня ужасают бестселлеры — литературные произведения, которые пишутся ради денег». Идеалом для Ж.-М. Г. Леклезио всегда была жизнь Артюра Рембо, «вечно юного, оставшегося юным до самой смерти».

Роман «Путешествие на остров Родригес», отмечает «Магазин литтерер», — это воплощение мечты автора о природном, «естественном» состоянии человека. Мир природы, по Леклезио, неотделим от мира людей. «Для меня, — признается в интервью писатель, — одинаково важно говорить и о том, и о другом. Море и скалы так же нужны мне, как и люди, — может быть, потому, что сам я провел детство и юность в Бретани. Есть много общего между жизнью человека и жизнью моря...»

Алексису, главному герою романа «Золотоискатель», на самом деле нужны не сокровища — он хотел обрести «гармонию мира». По мнению корреспондента «Магазин литтерер» Пьера Мори, Ж.-М. Г. Леклезио, как



Ж.-М. Г. Леклезио.

(Журнал «Кензен литтерер»)

истинный писатель, постигает «гармонию мира» в творчестве, в непрерывном созидании — и в этом видит свое предназначение.

ФРГ

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ ГЕНРИХА БЁЛЯ

Западногерманское издательство «Ламув» выпустило книгу «Генрих Бёль. Статьи и речи (1983—1985)». В подготовке этого издания принимали участие вдова писателя и его сын. Основная часть включенных в книгу работ уже публиковалась в периодической печати.

«Многие из статей написаны на «злобу дня», — отмечает во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» Эрхард Хефтрих,— и хотя время отчасти лишило их остроты, это отнюдь не означает, что они покрылись «ржавчиной». Именно собранные вместе, они позволяют читателю почувствовать главное, что объединяет все, написанное Генрихом Бёлем, — личность автора. Книга дает нам волнующую возможность еще раз «встретиться с человеком, которому нельзя отказать в уважении, даже если с какими-то его взглядами ты не согласен».

Эта значительность личности впечатляет не только там, продолжает Э. Хефтрих, где Бёль рассказывает непосредственно о себе и о своей жизни, как, например, в большом «Письме моим сыновьям» (см. «ИЛ», 1985, № 12), повествующем о переживаниях последних месяцев войны. Но и там, где он говорит о проблемах вооружения и мира, о финансовых аферах в Бонне, о злоупотреблениях властью, личность писателя значит порою не меньше, чем аргументы и факты. Бёль бывает способен на гнев, но этот гнев никогда не переходит в уничтожающую филиппику, он заранее ослаблен печалью.

Корни мироощущения писателя, замечает рецензент «Франкфуртер альгемайне», следует искать в юношеских переживаниях военных и первых послевоенных времен: «Подобно наиболее человечным из своих страдающих героев, Бёль так и не изжил до конца боли, порожденной этой эпохой. Тот же эмоциональный импульс, что пронизывает все его романы, чувствуется и в эссеистических работах, вплоть до самой маленькой заметки, написанной на «злобу дня».

ШВЕЙЦАРИЯ

В ГОСТЯХ У МАКСА ФРИША

Исполнилось 75 лет крупнейшему швейцарскому драматургу и прозаику Максу Фришу. В связи с этой датой Фриша посетила в его доме в местечке Берцона корреспондент швейцарского еженедельника «Вельтвохе» Клара Обермюллер.

«Интервью писатель больше не дает, опыт сделал его недоверчивым, — пишет К. Обермюллер. — То, что он хотел сказать, он сказал в своих книгах и пьесах, в многочисленных речах и статьях, наконец в фильме, который создал вместе с ним его старый друг Филипп Пиллиод». В этом фильме засняты на пленку беседы с Фришем, длившиеся в общей сложности тридцать часов; двухчасовая выборка из него демонстрировалась по швейцарскому телевидению.

«Макс Фриш не дает интервью, но охотно ведет разговор, если у корреспондента нет ни блокнота, ни магнитофона... Это не ответы на вопросы, а свободный диалог».

Фриш говорит о себе как о человеке, не удовлетворенном реальностью. Он убежден, что утопические мечты необходимы человечеству. И если он писал обычно истории о людях неблагополучных, о трудностях семейной жизни, о бедствиях, о неудавшейся любви, то делал это потому, что страдание всегда связано с надеждой на возможность чего-то лучшего. Писать, по Фришу, — значит противопоставлять миру, разрушающему человека, какой-то другой мир.

Перечитывая произведения Фриша, написанные полвека назад, замечает в связи с этим корреспондент «Вельтвохе», удивляешься, насколько там «уже присутствует поздний Фриш. С редким постоянством он кружит в своих книгах вокруг одних и тех же тем... Но повторение тем, считает Фриш, можно назвать также верностью себе».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

за 1986 год

№ 1—12

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Абэ Кобо — Вошедшие в ковчег (Роман. Перевод с японского В. Гривнина), № 10, 11, 12.

Адамештяну Габриэла — Короткая прогулка после рабочего дня (Рассказ. Перевод с румынского Татьяны Ивановой), № 6.

Ван Мэн — Рассказы (Перевод с китайского С. Торопцева), № 9.

Веллерсхоф Дитер — Победителю достанется все (Роман. Перевод с немецкого М. Рудницкого и Н. Федоровой), № 6, 7, 8.

Видал Гор — 1876 (Роман. Перевод с английского А. Файнгара. Послесловие профессора Н. Н. Яковлева), № 4, 5.

Вольф Криста — Кассандра (Повесть. Перевод с немецкого Э. Львовой. Вступление Т. Мотылевой), № 1.

Воннегут Курт — Малый Не Промах (Роман. Перевод с английского Р. Я. Райт-Ковалевой и М. Н. Ковалевой. Послесловие Г. Злобина), № 9.

Геллери Андор Эндре — Рассказы (Перевод с венгерского Т. Воронкиной, В. Середы, В. Смирнова. Вступление В. Середы), № 4.

Грин Грэм — Десятый (Повесть. Перевод с английского И. Бернштейн), № 12.

Дорсанвиль Роже — Умереть за Гаити, или Судьба святой Эстер и ее сподвижников (Повесть. Перевод с французского М. Пастер и А. Ибрагимова), № 5.

Дэвидоу Майк — Орлы и голуби (Повесть. Перевод с английского Е. Осеневой. Вступление Герберта Аптекера), № 7.

Ивашкевич Ярослав — Билек (Рассказ. Перевод с польского Н. Подольской), № 6.

Иноуэ Ясуси — Рассказы о любви (Перевод с японского Б. Раскина), № 5.

Калдерс Пере — Неожиданности в доме № 10 (Рассказ. Перевод с каталонского П. Скобцева), № 2.

Кант Герман — Рассказы (Перевод с немецкого И. Каринцевой), № 11.

Капманн Мария Аурелия — Море ласковое, море коварное (Рассказ. Перевод с каталонского П. Скобцева), № 2.

Коджагёз Самим — Спор (Роман. Перевод с турецкого и вступление Радия Фиша), № 3, 4.

Козак Ян — Адам и Ева (Роман. Перевод с чешского В. Мартемьяновой), № 2, 3.

Коруджиев Димитр — (Рассказы. Перевод с болгарского Ф. Гримберг, Н. Смирновой, И. Сумароковой, Т. Прокопьевой), № 5.

Мысливский Веслав — Камень на камень (Роман. Перевод с польского К. Старосельской), № 7, 8, 9.

РАССКАЗЫ КАТАЛОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (Вступление Н. Матяш), № 2.

РАССКАЗЫ РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 6.

Рид Пирс Пол — Женатый мужчина (Роман. Перевод с английского А. Клышко. Послесловие Г. Анджапаридзе), № 10, 11.

Родореда Мерсе — Воспоминание (Рассказ. Перевод с каталонского Н. Матяш), № 2.

Сагиэр Рубен Барейро — Рассказы (Перевод с испанского Анатолия Минина), № 3.

Сальваладжо Нантас — Акробат (Роман. Перевод с итальянского Л. Самохвалова), № 6.

Саррот Натали — Детство (Повесть. Перевод с французского Л. Зониной и М. Зониной. Вступление Мориса Ваксмахера), № 12.

Сиониль-Хосе Франсиско — Два рассказа (Перевод с английского В. Макаренко. Вступление Евг. Долматовского), № 8.

Сориано Освальдо — Ни горя, ни забвенья... (Роман. Перевод с испанского А. Минина. Вступление Маргариты Былинкиной), № 10.

Стоун Роберт — Флаг на заре (Роман. Перевод с английского К. Чугунова), № 1, 2.

Сырбу Ион Д. — Мышь «Б» (Рассказ. Перевод с румынского Андрея Ковача), № 6.

Фустер Жауме — Гибельное одиночество (Рассказ. Перевод с каталонского Н. Матяш), № 2.

Эльснер Гизела — Испытание на прочность (Повесть. Перевод с немецкого Н. Литвинец. Послесловие Л. Андреева), № 3.

Эрно Анни — Место в жизни (Повесть. Перевод с французского Г. Ерофеевой. Послесловие Л. Андреева), № 3.

Эсприу Салвадор — Тереса-которая-спускалась-по-лестнице (Рассказ. Перевод с каталонского М. Киени), № 2.

СТИХИ

Л'Ансельм Жан — Ящерица и др. стихи (Перевод с французского Александра Ревича, Элисбара Ананиашвили), № 11.

Арриэта Рафаэль Альберто — Тающее время. Семь братьев (Стихи. Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 12.

Бержере Ив — Один день в саду (Фрагмент поэмы «Двое». Перевод с французского Ильи Кутика), № 11.

Божилов Божидар — Достойно. Смерть динозавров. Улицы Варны (Стихи. Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 6.

Венцель Ханс-Эккарт — Автопортрет 1981 и др. стихи (Перевод с немецкого В. Летучего), № 2.

Гинсберг Аллен — Бруклинский академический ум и др. стихи (Перевод с английского Андрея Сергеева. Вступление А. Зверева), № 10.

Гонсалес Карбальо Хосе — Кроткая молитва и др. стихи (Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 12.

Зогович Радован — Стихи из последней книги (Перевод с сербскохорватского М. Павловой, А. Наль, А. Кушнера, А. Наймана. Предисловие Павла Топера), № 9.

ИЗ АРГЕНТИНСКОЙ ПОЭЗИИ, № 12.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ, № 6.

ИЗ ПОЭЗИИ ЮЖНОЙ АФРИКИ (Вступление Аполлона Давидсона), № 11.

ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Кирилла Ковальджи), № 8.

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление И. Ч.), № 11.

Исаев Младен — Слово о революции. «Да кто посмеет жизнь убить...». Время (Стихи. Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 6.

Йейтс Уильям Батлер — Воинство сидов и др. стихи (Перевод с английского Андрея Сергеева, Григория Кружкова. Вступление А. Саруханян), № 1.

Каисани Ариэль — Поэт. Песенка про мою глупость (Стихи. Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 12.

Кандевила Артуро — Весна. Песня клубящегося праха (Стихи. Перевод с испанского Сергея Гончаренко), № 12.

Караангов Петр — В начале лета. Оркестр (Стихи. Перевод с болгарского Лорины Дымовой), № 6.

Котсохерас Яннис — Чайка и др. стихи (Перебод с греческого Ларисы Васильевой. Вступление К. Чугунова), № 4.

Кошовей Траян Т.— Никель. 1, 2, 3 или даже больше химер... Лидо (Стихи. Перевод с румынского Льва Беринского), № 8.

Крэчунеску Иоана — Ты похож на мальчишку... Все одна только ловкость. Не это ли самое (Стихи. Перевод с румынского Льва Беринского), № 8.

Максимович Десанка — Из книги «Слово о любви» (Стихи. Перевод с сербскохорватского Маргариты Алигер), № 7.

Мелик Рубен — Лето. Любовники. Армянская легенда (Стихи. Перевод с французского Юлии Сульповар, Аллы Тер-Акопян), № 11.

Меншинг Стеффен — Лондон, пятнадцатое марта восемьдесят третьего и др. стихи (Перевод с немецкого Е. Витковского), № 2.

Мирча Ион — Кофемолка. Стихи с винтовкой (Стихи. Перевод с румынского Льва Беринского), № 8.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ГДР (Вступление Т. М.), № 2.

Незвал Витезслав — Удивительный волшебник (Два фрагмента. Перевод с чешского Игоря Инова. Вступление С. Шерлаимовой), № 3.

Оризе Жан — Машина для переваривания прохожих. Снег и детство (Стихи. Перевод с французского Григория Кружкова), № 11.

Попеску Адриан — Если бы я... Несколько саженей. Баня .(Стихи. Перевод с румынского Льва Беринского), № 8.

Скотт Ф. Р.— Стихи разных лет (Перевод с английского Романа Дубровкина), № 5.

Спис Лина — Песня для девушек и др. стихи (Перевод с африкаанс Е. Витковского), № 11.

Стокенстрём Вилма — Ужас и др. стихи. (Перевод с африкаанс Е. Витковского), № 11.

Фодор Андраш — Город-победитель и др. стихи (Перевод с венгерского Натэллы Горской, Андрея Старостина. Вступление Елены Малыхиной), № 1

Фрид Эрих — Труд каменщика и др. стихи (Перевод с немецкого В. Куприянова), № 6.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Гао Ци — Путешествуя, временно поселился в монастыре и др. стихи (К 650-летию со дня рождения. Перевод с китайского и вступление Ильи Смирнова), № 10.

Канте хондо, андалусская песенная поэзия (Перевод с испанского и вступление А. Гелескула), № 7.

Лоуренс Дэвид Герберт — Дева и цыган (Повесть. Перевод с английского И. Багрова. Вступление Дмитрия Урнова), № 3.

Стихи разных лет (Перевод с английского Сергея Сухарева. Составитель Н. Дьяконова), № 3.

Лю Юн — Утки спустились... и др. стихи (Перевод с китайского и вступление Михаила Басманова), № 4.

Павликовская-Ясножевская Мария — Чайка и др. стихи (Перевод с польского Натальи Астафьевой Вступление В. Британишского), № 5.

Тагор Рабиндранат — Из книги «Сад песней» (Стихи. Перевод с бенгали Н. Горской. Послесловие Субхаша Мукерджи), № 8.

ПУБЛИЦИСТИКА

Аллег Анри — SOS, Америка! (Главы из книги. Перевод с французского Валентины Жуковой), № 6, 7.

Вальраф Гюнтер — На самом дне (Главы из книги. Перевод с немецкого и вступление Э. Венгеровой. Послесловие Радия Фиша), № 8, 9.

Гаков Вл.— Фронтир, № 2.

Гаков Вл.— Размышляя о немыслимом (Атомный контекст американской фантастики), № 11

Грин Грэм — Мое знакомство с генералом, или Как я оказался ко всему этому причастным (Фрагменты книги. Перевод с английского Д. Аграчева и И. Бернштейн. Послесловие Е. Гениевой), № 4, 5.

Злобин Георгий — Реплика редакторам журнала «Энкаунтер», № 6.

Каграманов Ю.— В поисках удобного тупика, № 4.

Кайко Такэси — Все дальше и дальше! (Из книги путевых очерков. Перевод с японского Г. Чхартишвили), № 3.

Капица С. П.— «Научиться думать по-новому» (Глобальные последствия ядерной войны), № 1.

Моуэт Фарли — Море истекает кровью (Главы из книги. Перевод с английского И. Левидовой и Ю. Родман. Вступление И. Л.), № 1.

Покровский Никита — Пойдем со мной! (Американские зарисовки), № 12.

Феллини Федерико — Джинджер и Фред (Фрагменты книги. Перевод с итальянского Ф. Двин. Послесловие Бориса Галанова), № 10.

Шахназаров Георгий — Как одолеть дьявола, № 6.

ИЗ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

АМЕРИКА ГЛАЗАМИ АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 8.

Голсуорси Джон — Из речи в Колумбийском университете. В день столетней годовщины со дня рождения Лоуэлла (Перевод с английского М. Тугушевой), № 8.

Киплинг Редьярд — Из книги «От моря до моря» (Перевод с английского М. Тугушевой), № 8.

Мештерхази Лайош — Воспоминания (Фрагменты книги. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева), № 12.

Стивенсон Роберт Льюис — Из книги «Эмигрант-любитель» (Перевод с английского Н. Анастасьева), № 8.

Уэллс Герберт — Из книги «Будущее Америки» (Перевод с английского Н. Анастасьева), № 8.
Эренбург Илья — Испанский закал (Публикация и комментарии В. Попова и Б. Фрезинского), № 7.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

А. З. — Сандино в сознании Латинской Америки, № 7.
Иванов В. — Тени исчезают, № 4.
Кувшинников А. — Оружием мысли и слова, № 8.
Лебедева Т. — В чьих руках «микрофон Африки»?, № 5.
Мяло Ксения — Глазами «последних свидетелей», № 9.
Парникель Б. — Для кого она, индонезийская литература?, № 8.
Пиляцкин Б. — Куда идет африканер?, № 10.
Строев А. — Признание или эпитафия? (По поводу одной международной премии), № 11.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Васильева Л. — Болгарский дом Ласло Надя, № 8.
Замойский Л. — Из португальского блокнота, № 12.
Сенкевич Александр — Отстоять человека (Размышления о фестивальной литературной жизни), № 1.
Тодорова Лилия—Контакты или экспансия?, № 12.

КРИТИКА

Анастасьев Н. — Литература после Освенцима, № 9.
ВСМАТРИВАЯСЬ В ОБЛИК НОВОГО ВРЕМЕНИ. Беседа в редакции о тенденциях развития литератур европейских социалистических стран последнего десятилетия (Юрий Богданов, Виктор Хорев, Владимир Гусев, Владимир Огнев, Юрий Суровцев, Вячеслав Середа, Светлана Шерлаимова, Михаил Фридман, Святослав Бэлза, Павел Топер, Нина Павлова), № 2, 3.
Гулыга Арсений — Критерий — человечность (О двух способах художественного обобщения), № 8.
Ерофеев Вик. — Путешествие Селина на край ночи, № 11.
Ивбулис В. — Великий созидатель (К 125-летию со дня рождения Рабиндраната Тагора), № 5.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА, № 5.
Каграманов Ю. — Кто и почему воскрешает де Сада (Искушение бесчеловечностью), № 8.
Кобо Хуан — Пушки и музы (Испанские писатели о национально-революционной войне 1936—1939 годов), № 4.
Ландор М. — Мастер для нашего времени (Проза Горького на Западе), № 6.
Мотылева Т. — Антифашистская проза сегодня, № 10.
Мулярчик А. — В поисках альтернативы (О новых чертах современной литературы США), № 12.
Мур Джон Г. — Литература коренных американцев. Проблема достоверности (Перевод с английского комментарии и послесловие А. Ваценко), № 8.
Петев Никола — «...И все долги и праздники...» (Заметки о молодой болгарской поэзии. Перевод с болгарского Марины Колевой), № 9.
Саруханян А. — Ольстерский кризис в зеркале литературы, № 5.
Топер П. — Дитер Веллерсхоф и его новый роман, № 6.
Уайтхед Фред, Кроуфорд Джон — Трудные пути прогрессивной книги в США (Перевод с английского И. Дорониной), № 4.
Уваров Ю. — Достойные лучшей участи (Рабочий класс в современной французской прозе), № 1.
Федоренко Н. — Лицом к правде (Заметки о китайской прозе 80-х годов), № 11.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Книпович Е. — Полет к свободе (Вагнер Александра Блока), № 5.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Гениева Е. — «С насмешливым умом и добрым сердцем...» (К 175-летию со дня рождения У. М. Теккерея), № 1.
Стайрон Уильям — Безмолвный прах (Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление А. Зверева), № 7.
Теккерей У. М. — Милосердие и юмор и др. статьи (Перевод с английского Т. Казавчинской), № 1.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Перюс Жан — Жан Марсенак: «Сердце любви... в самом сердце хаоса» (Перевод с французского Мориса Ваксмахера. Вступление Тамары Балашовой), № 10.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Гарсиа Лорка Федерико — Как поет город от ноября до ноября (Перевод с испанского, вступление и комментарии А. Гелескула), № 9.
Неизвестные письма Ромена Роллана А. В. Луначарскому (Вступление, публикация и перевод с французского Н. Антоновой и Е. Нечаевой), № 4.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

Черкасский Л. — Начнем с заглавия..., № 5.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Дудевский Христо — Литературный процесс сквозь призму интервью (Перевод с болгарского Василия Пономарева), № 4.
Фёльдеак Иван — Планеты возвращаются... (К 90-летию со дня рождения Матэ Залки. Перевод с венгерского Т. Воронкиной), № 10.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Кувшинников А. — Омар Кабесас (Никарагуа): Пусть люди узнают правду о революции, № 5.
Савельева Л. — Антоние Исакович (Югославия), № 6.

НАШИ ГОСТИ

Вержховская Г. — Мануэль Диас Мартинес, Давид Бусси, Пабло Армандо Фернандес (Куба), № 10.
Л. С. — Абдессалям аль-Мсади, Хамида ас-Сули, Мухаммед Бен Салех, Абдельқадер Бен аль-Хадж Наср аль-Акрими (Тунис), № 4.
Николаевская А. — Кристофер Ван Вик (Южная Африка), № 4.

РЕДАКЦИЮ ПОСЕТИЛИ...

Синтио Витьер и Фина Гарсиа Маррус (Куба), № 1.
Чурмантеев В.— Писатели из Таиланда, № 5.
Маргарет Форстер и Хантер Дэвис (Великобритания), № 11.
Васильева Л.— Ованес Пиликян (Великобритания), № 12.
Кивель И.— Польские литераторы, № 12.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Доронина И.— Незамутненный мир детства, № 6.
Черняев Е.— Генрих Грубер, № 3.

АНТИРУБРИКА

Грассо Марио — Городское управление. Воскресенье и сто патронов. Новые аппараты (Рассказы. Перевод с итальянского Л. А. Вершинина), № 11.
Грин Грэм — Никто не виноват (Набросок киносценария. Перевод с английского А. Михалева), № 1.
Джексон Шерли — По-маминому (Рассказ. Перевод с английского Нины Синицыной), № 10.
Джойс Джеймс — Газ из горелки (Перевод с английского Андрея Сергеева. Послесловие Е. Гениевой), № 2.
Дилов Любен — Роботы сознают свое предназначение (Рассказ. Перевод с болгарского М. В. Тарасовой), № 12.
Каковяну Виорел — Рассказы (Перевод с румынского М. Фридмана), № 8.
Кэмпбел Патрик — Рассказы (Перевод с английского А. Ливерганта), № 2.
Таунсенд Сью — Тайный дневник Адриана Моула, тринадцати лет и девяти месяцев от роду (Фрагменты романа. Перевод с английского Юрия Зараховича), № 4.
Тот-Матэ Миклош — Рассказы (Перевод с венгерского Павла Бондаровского), № 7.
Филиппо Эдуардо де — Изо дня в день. Америка нам поможет (Рассказы. Перевод с итальянского Л. А. Вершинина), № 11.
Франке Герберт В.— Управляемые на расстоянии и др. рассказы (Перевод с немецкого Ростислава Рыбкина), № 6.
Чавиаио Даина — Искушение. Опять этот робот! (Рассказы. Перевод с испанского Ростислава Рыбкина), № 6.
Шекли Роберт — Совершенная женщина (Рассказ. Перевод с английского Наталии Падалко), № 10.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Алякринский О.— Слышим: поет Британия (Английская поэзия в русских переводах. XX век), № 3
Аникст А.— О переводческом искусстве (Ю. Д. Левин. Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода), № 6.
Басманов М.— Лицом к правде (Средний возраст. Современная китайская повесть), № 1.
Бейлис Виктор — Развенчание алмазного короля (А. Давидсон. Сесиль Родс и его время), № 2.
Брагин Ю.— Не подлежит забвению (Грозные годы), № 1.
Ваксмахер М.— Вийон средневековый (Франсуа Вийон. Стихи), № 4.
Вольпе Михаил — Найдет ли силы? (Сонала Олуменсе. Две жизни прожить не дано), № 8.
Горбань Е.—...Напряженная поэзия жизни... (Современная ангольская поэзия), № 6.
Горбань Е.— Разочарования и надежды Эсы де Кейроша (Жозе Мария Эса де Кейрош. Избранные произведения в двух томах), № 11.
Гордышевская М.— Перед рассветом (Пол Скотт. Жемчужина в короне), № 5.
Долматовский Е.— Джордж Гордон Байрон (Джордж Гордон Байрон. Дон Жуан), № 10.
Дюшен И.— И мысль и чувство (Поль Элюар. Стихотворения), № 6.
Захаренков М.— В защиту угнетенных (Нгуги Ва Тхионго. Распятый дьявол), № 2.
Здоровов Ю.— «Здесь начинается новый романс...» (Анри Лопес. Новый романс), № 2.
Зенкин С.— Бальзак глазами современников (Бальзак в воспоминаниях современников), № 10.
Зинде М.— Каким же был Теккерей? (Маргарет Фостер. Записки викторианского джентльмена: Уильям Мейкпис Теккерей), № 10.
Злобина Е.— Поднявшиеся в небо (Жозе Сарамаго. Воспоминания о монастыре), № 9.
Злобина М.— В поисках утраченной гармонии (Жан-Мари-Гюстав Леклезио. Пустыня), № 3.
Кабанов А.— Меняясь и обновляясь... (Времена года. Из современной японской поэзии классических жанров), № 6.
Кивель И.— Преемственность и новаторство (Верность. Эстафета поколений), № 1.
Климовский В.— Старый Добош и другие (Чехословацкая повесть. 70—80-е годы), № 1.
Левидова И.— Движение романа (Уилла Кэсер. Моя Антония. Карсон Маккаллерс. Сердце — одинокий охотник), № 3.
Мазурик В.— Сиюминутное и вечность (Человек и мир в японской культуре), № 5.
Мегела Иван — Летописец повседневности (Дежё Костолани. Избранное), № 12.
Наркирьер Ф.— Роллан пишет письма... (Ромен Роллан. Статьи, письма), № 12.
Панкратова Элеонора — Краски родной земли... (Оулавюр Йоуханн Сигурдссон. Игра красок земли. Письмо пастора Бёдвара. Часовой механизм. Наваждение), № 4.
Парин А.— Итальянцы, заговорившие по-русски (Вернисаж. Стихи итальянских поэтов), № 11.
Парнов Еремей — Счастливый Новый год! (Нгуен Кхай Встреча в конце года), № 1.

ПО СТРАНИЦАМ ЛИТЕРАТУР СТРАН АЗИИ И АФРИКИ, № 2.

ПО СТРАНИЦАМ ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ, № 6.

Ратгауз Г.— Герман Гессе — хранитель огня (Герман Гессе. Паломничество в Страну Востока. Игра в бисер. Рассказы), № 5.
Рзянин В.— Пути спасения (Э. Воиску. Кошмары и мечты), № 8.
Ряузова Е.— На рубеже культур (С. В. Прожогина. Рубеж эпох — рубеж культур), № 2.
Сенкевич Александр — Панорама древнейшей литературы (И. Д. Серебряков. Литературы народов Индии), № 9.
Старосельская Наталья — «...Возвожу время» (Тадеуш Ружевич. Стихотворения и поэмы), № 1.

Топоров Виктор — Этапы духовного роста (Мария Луиза Кашниц. Мартовский ветер), № 8.
Федоренко Н. — Живое дыхание традиции (Синь Цицзи. Стихи), № 6.
Федосюк О. — Канада стала ближе (Рассказы канадских писателей. Канадская новелла. Лампа, зажженная в полдень), № 9.
Хорев В. — Лабиринты политики и психологии (Тадеуш Бреза. Стены Иерихона. Лабиринт), № 4.

Издано за рубежом

Гордышевская М. — Сорок лет назад (Джеймс Боллард. Империя солнца), № 9.
Григорьев Алексей — Буря в тихой заводи (Мартин Вальзер. Прибой), № 5.
Гринев Роман — «Магический кристалл» Пушкина (Ниота Тун. Образы Пушкина. Булгаков, Тынянов, Платонов, Зощенко, Цветаева), № 6.
Каграманов Ю. — Размышления «на плоту» (Клод Эмбер. Во что я верю), № 12.
Калинникова Е. — О смысле жизни... (Мулк Радж Ананд. Пузырь), № 2.
Каменская В. — Вечно живое время мертвых (Карел Гоуба. Головокружение. Живое время мертвых), № 3.
Ковалев Ю. — Портрет патриарха (Малькольм Каули. Цветы и листья. Заметки о современной американской литературе после 1941 года), № 8.
Ковальджи Кирилл — Памяти поэта (Никита Стэнеску. Мемориальный альбом), № 11.
Кожевникова И. — Сорок лет спустя (Тосио Симао. Бухта в заливе. Сотокити Кусака. Серое море), № 2.
Краснов И. — Из поэтического наследия Джона Рида (Джон Рид. Сборник стихов), № 5.
Крузенштерн А. — За счастье народа (Выпка Горанова. Глубокие корни), № 4.
Лапатухина О. — Итоги и перспективы (Советская полонистика. Литературоведение), № 8.
Малевич Олег — Фауст в эпоху НТР (Иржи Кршенек. Томаш и Маркета), № 9.
Мамонтов С. — «Мы вернемся!..» (Исабель Альенде. Любовь и тень), № 4.
Мендоса Далия — Новый роман Артуро Асуэлы (Артуро Асуэла. Дом тысячи дев), № 3.
Мендоса Далия — В огне революции (К. Фуэнтес. Старый гринго), № 11.
Млечина И. — Сад вместо стрельбища (Зигфрид Ленц. Полигон), № 10.
Мотылева Т. — Шум и ярость на юге Франции (Рене-Виктор Пий Помпеи), № 5.
Николюкин А. — Новые работы американских пушкинистов, № 6.

ПО СТРАНИЦАМ ЛИТЕРАТУР СТРАН АЗИИ И АФРИКИ, № 2

Ряузова Е. — Глядя в будущее из прошлого (Педро Кардозо. Фольклор Кабо-Верде), № 10.
Седельников В. — Игры правосудия (Фридрих Дюрренматт. Правосудие), № 8.
Сепанов Л. — Во времена тунисских беев (Бен Слама аль-Бешир. Аиша), № 4.
Степанов Л. — Колокола свободы (Джон Я-Отто. Фронтовая Намибия), № 2.
Тимашева О. — В лабиринтах «женской души» (Франсуаза Саган. Уставший от войны), № 9.
Тугушева М. — Книга против рабства (Лесли Фидлер. Что было литературой? Лори Крумпекер. Четыре романа Гарриет Бичер-Стоу), № 12.
Фрижьери Оливер — Гванн Мамо и мальтийская литература, № 3.

Зарубежная литература в СССР,
№ 4, 8.

Советская литература за рубежом
№ 1, 4, 5, 6, 7, 8.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ,
№ 1—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ, (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Т. П. ГРИГОРЬЕВА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Я. Н. ЗАСУРСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. П. МОТЫЛЕВА**, **П. В ПАЛИЕВСКИЙ**, **В. С. ПЕРЕХВАТОВ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 24.09.86 г. Подписано в печать 12.11.86. А 05442. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч.-изд. л. 29,81

Тираж 475 000 экз. (1-й завод: 1 — 425 000 экз.) Зак. 3368.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394